

# СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ



**2023**  
**Том 22. №3**

---

---

ISSN 1728-1938

Эл. почта: [puma7@yandex.ru](mailto:puma7@yandex.ru)

Веб-сайт: [sociologica.hse.ru](http://sociologica.hse.ru)

Адрес редакции: ул. Старая Басманная, д. 21/4, к. А205, Москва 105066

Тел.: +7-(495)-772-95-90\*12454

## Международный редакционный совет

Николя Айо (Университета Фрибура, Швейцария)  
Джеффри Александер (Йельский университет, США)  
Ян Вальсинер (Университет Альборга, Дания)  
Гэри Дейвид (Университет Бентли, США)  
Владимир Камнев (СПбГУ, Россия)  
Александр Марей (НИУ ВШЭ, Россия)  
Питер Мэннинг (Северо-восточный университет, США)  
Альбер Ожъен (Высшая школа социальных наук, Франция)  
Энн Роулз (Университет Бентли, США)  
Ирина Савельева (НИУ ВШЭ, Россия)  
Ирина Троцук (РУДН, Россия)  
Никита Харламов (Университет Альборга, Дания)

## Учредители

Национальный исследовательский университет  
«Высшая школа экономики»  
Александр Фридрихович Филиппов

## Редакционная коллегия

*Главный редактор*  
Александр Фридрихович Филиппов

*Зам. главного редактора*  
Марина Геннадиевна Пугачева

*Члены редколлегии*  
Светлана Петровна Баньковская  
Дмитрий Юрьевич Куракин  
Александр Владимирович Павлов  
Наиль Галимханович Фархатдинов  
Руслан Заурбекович Хестанов

*Литературные редакторы*  
Максим Сергеевич Фетисов  
Перри Франц

*Корректор*  
Инна Евгеньевна Кроль

*Верстальщик*  
Анастасия Валериановна Меерсон

## О журнале

«Социологическое обозрение» — академический рецензируемый журнал теоретических, эмпирических и исторических исследований в социальных науках. Журнал выходит четыре раза в год. В каждом выпуске публикуются оригинальные исследовательские статьи, обзоры и рефераты, переводы современных и классических работ в социологии, политической теории и социальной философии.

## Цели

- Поддерживать дискуссии по фундаментальным проблемам социальных наук.
- Способствовать развитию и обогащению теоретического словаря и языка социальных наук через междисциплинарный диалог.
- Формировать корпус образовательных материалов для развития преподавания социальных наук.

## Область исследований

Журнал «Социологическое обозрение» приглашает социальных исследователей присылать статьи, в которых рассматриваются фундаментальные проблемы социальных наук с различных концептуальных и методологических перспектив. Нас интересуют статьи, затрагивающие такие проблемы как социальное действие, социальный порядок, время и пространство, мобильности, власть, нарративы, события и т. д.

В частности, журнал «Социологическое обозрение» публикует статьи по следующим темам:

- Современные и классические социальные теории
- Теории социального порядка и социального действия
- Методология социального исследования
- История социологии
- Русская социальная мысль
- Социология пространства
- Социология мобильности
- Социальное взаимодействие
- Фрейм-анализ
- Этнометодология и разговорный анализ
- Культурсоциология
- Политическая социология, философия и теория
- Нарративная теория и анализ
- Гуманитарная география и урбанистика

## Наша аудитория

Журнал ориентирован на академическую и неакадемическую аудитории, заинтересованные в обсуждении фундаментальных проблем современного общества и социальных наук. Кроме того, публикуемые материалы (в частности, обзоры, рефераты и переводы) будут интересны студентам, преподавателям курсов по социальным наукам и другим ученым, участвующим в образовательном процессе.

## Подписка

Журнал является электронным и распространяется бесплатно. Все статьи публикуются в открытом доступе на сайте: <http://sociologica.hse.ru/>. Чтобы получить сообщения о свежих выпусках, подпишитесь на рассылку журнала по адресу: [farkhatdinov@gmail.com](mailto:farkhatdinov@gmail.com).

# RUSSIAN SOCIOLOGICAL REVIEW



**2023**  
**Volume 22. Issue 3**

---

---

ISSN 1728-1938

Email: [puma7@yandex.ru](mailto:puma7@yandex.ru)

Web-site: [sociologica.hse.ru/en](http://sociologica.hse.ru/en)

Address: Staraya Basmannaya str., 21/4, Room A205, Moscow, Russian Federation 105066

Phone: +7-(495)-772-95-90\*12454

## International Advisory Board

Jeffrey C. Alexander (Yale University, USA)  
Gary David (Bentley University, USA)  
Nicolas Hayoz (University of Fribourg, Switzerland)  
Vladimir Kamnev (Saint-Petersburg State University, Russia)  
Nikita Kharlamov (Aalborg University, Denmark)  
Alexander Marey (HSE University, Russia)  
Peter Manning (Northeastern University, USA)  
Albert Ogien (EHESS, France)  
Anne W. Rawls (Bentley University, USA)  
Irina Savelieva (HSE University, Russia)  
Irina Trotsuk (People's Friendship University of Russia, Russia)  
Jaan Valsiner (Aalborg University, Denmark)

## Establishers

HSE University  
Alexander F. Filippov

## Editorial Board

*Editor-in-Chief*  
Alexander F. Filippov

*Deputy Editor*  
Marina Pugacheva

*Editorial Board Members*  
Svetlana Bankovskaya  
Nail Farkhatdinov  
Ruslan Khestanov  
Dmitry Kurakin  
Alexander Pavlov

*Copy Editors*  
Maxim Fetisov  
Perry Franz

*Russian Proofreader*  
Inna Krol

*Layout Designer*  
Anastasia Meyerson

## About the Journal

*The Russian Sociological Review* is an academic peer-reviewed journal of theoretical, empirical and historical research in social sciences.

*The Russian Sociological Review* publishes four issues per year. Each issue includes original research papers, review articles and translations of contemporary and classical works in sociology, political theory and social philosophy.

## Aims

- To provide a forum for fundamental issues of social sciences.
- To foster developments in social sciences by enriching theoretical language and vocabulary of social science and encourage a cross-disciplinary dialogue.
- To provide educational materials for the university-based scholars in order to advance teaching in social sciences.

## Scope and Topics

*The Russian Sociological Review* invites scholars from all the social scientific disciplines to submit papers which address the fundamental issues of social sciences from various conceptual and methodological perspectives. Understood broadly the fundamental issues include but not limited to: social action and agency, social order, narrative, space and time, mobilities, power, etc.

*The Russian Sociological Review* covers the following domains of scholarship:

- Contemporary and classical social theory
- Theories of social order and social action
- Social methodology
- History of sociology
- Russian social theory
- Sociology of space
- Sociology of mobilities
- Social interaction
- Frame analysis
- Ethnomethodology and conversation analysis
- Cultural sociology
- Political sociology, philosophy and theory
- Narrative theory and analysis
- Human geography and urban studies

## Our Audience

*The Russian Sociological Review* aims at both academic and non-academic audiences interested in the fundamental issues of social sciences. Its readership includes both junior and established scholars.

## Subscription

*The Russian Sociological Review* is an open access electronic journal and is available online for free via <http://sociologica.hse.ru/en>.

# Содержание

## СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

- Катектические механизмы культуры. Часть 1 . . . . . 9  
*Дмитрий Куракин*
- Ретроактивные категоризации, или Постколониальность как состояние. . . . . 53  
*Владимир Малахов*
- Парадоксы советско-китайской и либерально-демократической моделей  
правления . . . . . 75  
*Руслан Хестанов, Артем Космарский*

## SCHMITTIANA

- «Тирания ценностей» Карла Шмитта в контексте спора о природе  
конституционных прав . . . . . 96  
*Вячеслав Кондуров*
- «Тирания ценностей» как «воля к власти»: к генеалогии и последствиям  
ценностного дискурса в правосудии. . . . . 125  
*Елена Тимошина*
- Война во время любви: размышление над статьей С. И. Каспэ  
в свете различения частной и публичной вражды в учении  
Карла Шмитта. . . . . 147  
*Владимир Бродский*

## ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ

- «Православный пояс» на электоральной карте России  
в 2011-21 годах . . . . . 172  
*Андрей Щербак*
- Почему граждане доверяют правительству? Истоки политического  
доверия в современной России . . . . . 196  
*Руслан Мухаметов*

## СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИКА

- Каноны и колонии: глобальный путь развития социологии . . . . . 219  
*Рэйвин Коннелл*

## СОЦИОЛОГИЯ В ЭПОХУ КОВИДА

- Отображение и политизация пандемии COVID-19 на первых полосах ежедневных газет России, Италии, Великобритании, Испании, Франции, Португалии, Германии и США . . . . . 237  
*Сантьяго Техедор, Фернанда Туса, Лаура Черви, Марта Порталес, Маргарита Заботина*

## ОБЗОРЫ

- Взаимозависимость «человек-машина» за пределами искусственного интеллекта: случай биткойна . . . . . 263  
*Андрей Резаев, Наталья Трегубова*
- Эволюция модели культурных измерений Хофстеде: параллели между объективной и субъективной культурой . . . . . 287  
*Михаил Минков, Борис Соколов, Илья Ломакин*

## СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

- Рост структур организованного насилия и типы контроля над ними размышления над книгой . . . . . 318  
*Николай Розов*
- Пути постижения русской культуры («Театральная рецензия»). . . . . 335  
*Дмитрий Носов*

## РЕЦЕНЗИИ

- Магия, разврат и... переводы . . . . . 350  
*Александр Марей*
- Трепетная плоть, метаболические техники . . . . . 356  
*Максим Мирошниченко*
- Историческая социология несвободы? . . . . . 368  
*Олег Кильдюшов*

## IN MEMORIAM

- Правда Нормана Дензина: введение в научный некролог . . . . . 376  
*Дмитрий Рогозин*

# Contents

## SOCIOLOGICAL THEORY AND RESEARCH METHODOLOGY

- Cathectic Mechanisms of Culture. Part 1. . . . . 9  
*Dmitry Kurakin*
- Retroactive Categorizations, or Post-Coloniality as Condition . . . . . 53  
*Vladimir S. Malakhov*
- Paradoxes of the Soviet-Chinese and Liberal-Democratic  
Models of Government . . . . . 75  
*Rouslan Khestanov, Artyom Kosmarski*

## SCHMITTIANA

- Carl Schmitt's "Tyranny of Values" in the Context of the Debate on the Nature  
of Constitutional Rights . . . . . 96  
*Viacheslav E. Kondurov*
- The "Tyranny of Values" as the "will to Power": on the Genealogy  
and Effects of Value Discourse in Justice. . . . . 125  
*Elena Timoshina*
- War in the Time of Love: Reflection on the Paper by Svyatoslav Kaspe  
in the Light of the Distinction between Private and Public Enmity  
in the Teachings of Carl Schmitt . . . . . 147  
*Vladimir Brodskiy*

## POLITICAL SOCIOLOGY

- The "Orthodox Belt" on Russia's Electoral Map in 2011–2021. . . . . 172  
*Andrey N. Shcherbak*
- Why Do Citizens Trust the Government? The Origins of Political Trust  
in Modern Russia . . . . . 196  
*Ruslan Mukhametov*

## SOCIOLOGICAL CLASSICS

- Canons and Colonies: a Global Trajectory of Sociology. . . . . 219  
*Raewyn Connell*

## SOCIOLOGICAL AT THE ERA OF COVID-19

- The Representation and Politicization of the Covid-19 Pandemic  
on the Front Pages of the Daily Newspapers of Russia, Italy, the United Kingdom,  
Spain, France, Portugal, Germany, and the United States . . . . . 237  
*Santiago Tejedor, Fernanda Tusa, Laura Cervi, Marta Portales,  
Margarita Zabolina*

## REVIEW

- Human-Machine Interdependence Beyond Ai Development:  
the Case of Bitcoin . . . . . 263  
*Andrey V. Rezaev, Natalia D. Tregubova*
- Evolution of the Hofstede Model of Cultural Dimensions: Parallels Between  
Objective and Subjective Culture. . . . . 287  
*Michael Minkov, Boris Sokolov, Ilya Lomakin*

## EDUCATION

- The Growth of Organized Violence Structures and the Types of Control  
Over Them . . . . . 318  
*Nikolai S. Rozov*

## REFLECTIONS ON A BOOK

- Comprehension of Russian Culture (“Theater Review”). . . . . 335  
*Dmitry M. Nosov*

## BOOK REVIEWS

- Magic, Debauchery and... Translations. . . . . 350  
*Alexander V. Marey*
- Trembling Flesh, Metabolic Techniques . . . . . 356  
*Maxim Miroshnichenko*
- Historical Sociology of Unfreedom? . . . . . 368  
*Oleg Kildyushov*

## IN MEMORIAM

- Norman Denzin’s Truth: an Introduction to the Scientific Obituary . . . . . 376  
*Dmitry Rogozin*



# Катектические механизмы культуры\*

## Часть 1

*Дмитрий Куракин*

Кандидат социологических наук, ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной социологии, профессор Департамента образовательных программ Института образования Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Приглашенный профессор социологии Йельского университета. Адрес: ул. Мясницкая, 20, Москва, 101000 Российская Федерация  
E-mail: dmitry.kurakin@hse.ru

Первая часть статьи посвящена изложению и обоснованию новой исследовательской программы, нацеленной на признание конститутивной роли эмоций, аффекта и их интенсивности в формировании культурных смыслов. Она противопоставит широкой традиции, так или иначе сводящей культуру к информации, а культурные процессы — к кодированию, передаче и обработке этой информации. Выдвигается предположение, что эта «кибернетическая» парадигма культуры связана с явным или скрытым доминированием вычислительной модели познания в социологии. Благодаря прогрессу нейронауки и его теоретическому осмыслению, уже приведшим к серии когнитивных поворотов в ряде дисциплин, эта модель сегодня уже не может считаться адекватной. Наметившийся переход к распределенным моделям познания требует пересмотра и уточнения понятия культуры, связанного с ее «вертикальным» измерением, формируемым эмоциями и их интенсивностью. Предлагаемая программа исходит из того, что вместо того, чтобы рассматривать эмоции как «усилитель» уже готовых культурных смыслов или «топливо» культурных и социальных процессов, необходимо видеть их как ингредиент эмерджентного синтеза, в котором рождается культура. В первой части статьи производится историко-социологическая реконструкция теорий, различающих эмоциональное измерение культуры как составной элемент социальности, в противоположность широкому спектру хорошо разработанных подходов, описывающих социальные и культурные факторы и последствия эмоций как особого феномена психической жизни человека, составляющих корпус субдисциплины социологии эмоций. На основе этой реконструкции и в контексте дебатов о когнитивном повороте в социологии производится попытка построения дюркгеймианской теории катектических механизмов культуры, в основании которой лежит реинтерпретация фрейдовского понятия «катексис». Сформулированы основные принципы и имплика-

\* Публикация подготовлена в рамках исследовательского проекта «Стратегии нормализации повседневности в чрезвычайных ситуациях: инерция аффекта и открытость вызовам», реализуемого Центром фундаментальной социологии НИУ ВШЭ в 2023 году в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ.

Благодарности. Я выражаю особую признательность И. Ф. Девятко и А. Ф. Филиппову за многие часы обсуждений, продолжительную переписку и детальные советы и рекомендации, которые позволили сделать это исследование намного лучше. Нет сомнений, что мне удалось воспользоваться этим ценным ресурсом лишь в меру своих знаний и способностей. Я также признателен Ванине Лещинер и Джейсону Масту за очень полезные комментарии к разделу, посвященному теории катексиса, в другой статье, над которой я работал параллельно этой. Комментарии Ф. Смита, Дж. Александера, В. Биндера и других участников воркшопа Центра культурсоциологии Йельского университета в ноябре 2020 года повлияли на ранние этапы работы над исследованием. Андреа Бригенти, Джузеппе Шортино и другие коллеги в Университете Тренто, где я провёл прошлый академический год, также существенно способствовали моему продвижению в работе над темой.

ции социологической теории катексиса. Вторая часть статьи будет посвящена изложению основ позитивной программы катектических механизмов культуры.

*Ключевые слова:* катексис, культура, эмоции, аффект, сакральное, культурсоциология, социология культуры и познания, когнитивные процессы

Социология последовательно «кибернетизирует» культуру, сводит ее к информации, а «энергетическая» сторона дела, представленная прежде всего эмоциями, часто остается на периферии социальной теории даже в тех случаях, когда ее значимость для изучаемых феноменов очевидна исследователям. А именно: когда интенсивность эмоций, а не только их валентность, модус или стиль, становится ключевым фактором формирования и протекания культурных процессов. Подобно тому, как Фрейд отступил от «энергетического» проекта психоанализа, социология, за редкими исключениями, в основном избегает принципиальных постановок проблемы об эмоциональной интенсивности как неотъемлемой части формирования смыслов или ограничивается эмпирическими ее описаниями, не достигающими уровня теории.

Классические социологические рассуждения о сетях смыслов, бинарных оппозициях и структурах, текстах, культурных и когнитивных схемах, практиках и рутинках, не вмещают яркой социальной энергетики, которая — когда мы с ней встречаемся — почти всегда становится наиболее примечательной чертой социальных процессов, ситуаций и явлений<sup>1</sup>. Даже неистовые ритуалы в изложении поведенческих ученых чаще всего высушиваются до состояния аккуратно классифицированных музейных мумий и предстают перед читателем в виде схем, структур и иерархий, из которых ушла вся эмоциональная интенсивность, которая только и способна привести их к жизни.

Картина культуры, подобная кибернетической схеме, различающей элементы и наличествующие или отсутствующие связи между ними, находит отражение даже в основных методах нашей дисциплины: будь то количественный анализ опросных данных, в котором выраженные респондентами суждения рассматриваются в качестве однотипных и аддитивных смысловых единиц — «бит» информации, или качественные методы, как правило, построенные по принципу классификации и кодирования рядоположенных смысловых единиц.

Но решительно все, что мы знаем из опыта социальной жизни, стремительно противится «плоскому» видению культуры как совокупности рядоположенных элементов информации. То есть такому видению, которое не имеет «энергетического» измерения, способного влиять не только на выраженность смыслов или

---

1. Эмпирически-ориентированные методики, особенно близкие к психометрике и психологии в целом, зачастую лучше различают роль эмоциональной интенсивности в смысловых конструкциях. Например, ставшие популярными в социологии методики, восходящие к работам Чарльза Осгуда и его коллегам (Девятко, 1993), имели в своей основе оси «оценка/сила/активность», восходящие к трехкомпонентной теории эмоций Вильгельма Вундта, распознававшей роль не только модальности, но и интенсивности эмоций. Я благодарен И. Ф. Девятко за то, что она обратила мое внимание на эту важную часть истории вопроса.

их способность влиять на социальную жизнь, но и на сами эти смыслы. «Возвышенное», самым своим наименованием отсылающее к вертикальному измерению, для культуры — парадигма, а не аномалия. Религия и поэзия, музыка и любовь — все, на чем, как принято считать, построено существование любого человека, живущего жизнью, достойной быть прожитой, конституируется эмоциями, нехарактерными и почти недостижимыми для повседневности. Как получилось, что социология по большей части либо избегает столь очевидно важного измерения жизни, либо отводит ему роль «анклава»? И почему именно сейчас, как я предполагаю, сложились все условия, чтобы вернуть это измерение в картину социальной жизни и культуры?

В данном исследовании я выдвигаю предположение, что «кибернетическая» модель культуры, явным или скрытым образом сводящая ее к информации и не включающая эмоционального измерения, связана с явным или скрытым доминированием вычислительной модели познания в поведенческих науках и в особенности с тем, в каком виде эта модель подспудно закрепились в социологии. Однако благодаря прогрессу в нейрокогнитивных науках и его теоретическому осмыслению — процессам, уже приведшим к серии когнитивных поворотов в ряде дисциплин — сегодня и сама эта модель, и формы ее существования в социологии уже не могут считаться адекватными. Этот прогресс одновременно и угрожает существованию социологии, потому что наиболее радикальные голоса призывают к ее переформатированию в подраздел когнитивной науки, и дает возможность, избегая этой крайности, существенно уточнить центральное для социологии понятие культуры.

Происходящее в настоящее время усиление распределенных моделей познания (исходящих из того, что познание происходит в гораздо более широких ландшафтах, нежели только мозг, и, соответственно, не сводится к приему и обработке информации) требует пересмотра и уточнения понятия культуры — в первую очередь связанных с ее «вертикальным» измерением, формируемым эмоциями и их интенсивностью. Вместо того чтобы рассматривать эмоции как «усилитель» уже готовых культурных смыслов или «топливо» социальных процессов, необходимо видеть эмоции как ингредиент эмерджентного синтеза, в котором рождаются культурные смыслы. Для решения этой задачи в настоящем исследовании я предлагаю реинтерпретацию почти забытого в социологии понятия «катексис» и формулирую такие принципы изучения катектических механизмов культуры, которые опираются на современное положение дел в социологии культуры и познания.

Такая постановка вопроса отделяет предпринимаемую мною попытку от обширного и хорошо разработанного подраздела социологии — социологии эмоций (Bericat, 2016; Shilling, 2014; Stets, Turner, 2006, 2014; Деева, 2010; Николаев, 2002; Симонова, 2018а, 2018б). В рамках этой высокоразвитой субдисциплины тщательно изучены разнообразные связи между культурой и социальной жизнью, с одной стороны, и эмоциями — с другой. Эти исследования в основном фокусировались на описании социально-сконструированных особенностей (стилей, режимов,

практик и пр.) проявлений эмоций в современных обществах. Однако упомянутые находки нейрокогнитивных наук и запущенные под их влиянием дебаты позволяют «повысить ставки» и поставить вопрос по-другому: если культура неразрывно связана с эмоциями, как построить такое ее описание, которое бы учитывало это ее фундаментальное свойство?

Настоящее исследование является попыткой ответить на этот вызов. В этом отношении оно типологически соотносимо с проектами Сары Ахмед (Ahmed, 2004), Рэндалла Коллинза (Collins, 2004), Марты Нуссбаум (Nussbaum, 2001, 2013), Брайана Массуми (Massumi, 1995) и немногих других исследователей, которые теоретизируют эмоции и аффект как интегральную часть социальности и культуры, а не как отдельные феномены, влияющие на социальную жизнь, — и потому не относят свои исследования к области социологии эмоций. Со стороны последней, указанное различие в целом схватывается «родительным падежом»: социология эмоций как «социология по поводу эмоций». В свою очередь, теории эмоций/аффекта отличаются от социологии эмоций подобно тому, как культурсоциология, в версии Джеффри Александера и Филиппа Смита (Александр, Смит, 2010), в своем ключевом аспекте отличается от социологии культуры, а также подобно тому, как проект *sociologie religieuse* Эмиля Дюркгейма имеет мало общего с субдисциплиной социологии религии (он посвящен не описанию конкретных религий и их социальных аспектов, а пониманию базовых принципов социальности).

В первом разделе статьи я предпринимаю краткий экскурс в историю социологической мысли, классической и современной, связанной с проблемой эмоциональной интенсивности. В нем я стремлюсь показать, что, хотя социологи, от классики до современности, не игнорировали эмоции, они, как правило, не отдавали себе отчет в том, что те эмоции особой интенсивности, которые иногда попадали в их поле зрения, — отнюдь не исключения или отклонения от «нормальной» социальности, а проявление фундаментальных для нее свойств. Отталкиваясь от этого, я формулирую и кратко иллюстрирую тезис, что дюркгеймианство способно предложить адекватное и последовательное решение этой проблемы и рассматриваю отдельные дюркгеймианские теории, чтобы выявить наиболее важные свойства эмоционального измерения культуры. Во втором разделе я обращаюсь к истории развития понятий, связанных с той реинтерпретацией катексиса, которую я выстраиваю в данной работе. С опорой на эти изыскания, в третьем разделе я перехожу к позитивной части построения теории катексиса. Для преодоления вычислительной теории познания, повлекшей многие трудности и заблуждения в социологии, я обращаюсь к философии эмерджентизма как ключевому эпистемологическому средству решения этих проблем и к тому, какую форму приобретают понятие «катексис» и катектические механизмы культуры, выстроенные на этой основе.

В свою очередь, во второй части статьи я произведу краткий экскурс в теории и модели, представляющие существенный ресурс для объяснения катектических механизмов культуры и обозначу перспективные направления развития исследовательской программы, развернутой в первой части.

## Проблема эмоциональной интенсивности в социологии

### *Интенсивные эмоции у классиков*

Классики социологии, определившие долгосрочные сценарии развития дисциплины, отнюдь не игнорировали значимость эмоций, однако эмоции в их построениях чаще играли вспомогательную роль, они не вошли в число основных социологических категорий, а вопрос об эмоциональной интенсивности затрагивался редко. Для Вебера, выстраивающего понятийный аппарат понимающего метода, свойство эмоциональной эмпатии было неотъемлемой предпосылкой способности людей к взаимной интерпретации смыслов их действий, лежащей в основе его теории действия (Вебер, 2004). В своем исследовании Саймон Кларк отмечает, что эмоции, в том числе интенсивные, сыграли важную роль в объяснительной схеме «Протестантской этики», определяя мотивы действий и способы осмысления опыта протестантов, а также в исследовании харизмы (Clarke, 2003: 150–51). Но в целом можно заключить, что «юридическая» по своему духу социология Вебера маргинализировала аффект — в духе доминирующих в первой половине XX века теорий права как герметичной самореферентной системы<sup>2</sup>, в которой нет места аффектам и напряжениям социальной жизни — и в противоположность возвращению эмоций в правовой дискурс в первые десятилетия XXI века (Karstedt, 2011). Рассуждения об эмоциональной жизни и эмпатии можно найти и у Зиммеля, и у Шелера, и у Маркса, и у Дюркгейма (Clarke, 2003: 150–51). Интенсивные эмоции также привлекали внимание теоретиков толпы, работавших на стыках социологии, психологии и теории культуры, — Гюстава Лебона, Габриеля Тарда и Элиаса Канетти. Не говоря уже о Джеймсе, разработавшем теорию эмоций<sup>3</sup>, и хотя не считавшемся социологом, но оказавшем существенное влияние на нашу дисциплину.

Неочевидным образом за фасадом отдельных и не выходящих прорывными описаний эмоций у Дюркгейма, вроде упомянутого Кларком чувства солидарности или спектра аффектов, связанных с самоубийством, в дюркгеймовской теории можно обнаружить существенно более принципиальную и имеющую далеко идущие последствия попытку включить интенсивные эмоции в большой социологический проект. Эта историко-социологическая реконструкция — первый шаг на пути предпринимаемой мной здесь реконцептуализации понятия катексиса.

Высокоинтенсивные эмоции коллективного происхождения стали, ни больше ни меньше, ключевым звеном выстроенного Дюркгеймом решения проблемы социального порядка, и в том числе разработанной им социологической теории познания. В онтологии *homo duplex* ненаблюдаемые абстракции «социального» и «индивидуального» воплощаются через эмпирические референты четко отгра-

---

2. Представленных, например, работами Ганса Кельзена и только усиливавшихся на протяжении XX века, хотя и знавших антитезы: и по линии «командной теории права» Джона Остина, и по линии Гоббс-Доносо Кортес-Шмитт, и даже в некоторых колебаниях в сторону децизионизма у самого Вебера в его поздние годы (Brighenti, 2023: 21–25).

3. См. теорию эмоций Джеймса-Ланге (Dewey, 1894).

нических друг от друга базовых категорий сакрального и профанного, которые пронизывают жизнь не только традиционных, но и современных обществ (как минимум потому, что не существует человеческих обществ, в которых запреты не играли бы ключевую роль) (Durkheim, 1973; Kurakin, 2015; Дюркгейм, 2018; Куракин, 2018). В терминах теории познания проблема, однако, состоит в следующем: как различие между сакральным и профанным становится устойчивым фактом социальной жизни?

Первейшее свойство этого различия состоит в том, что оно упраздняет произвол наблюдателя — то есть навязывает себя участникам и свидетелям взаимодействий в качестве общезначимого<sup>4</sup>. Для описания такого процесса Дюркгейм и вводит модель «effervescence», или «бурления»: особым образом устроенное социальное взаимодействие порождает эмоции, интенсивность которых несопоставима с интенсивностью эмоций, которые индивиды испытывают в повседневной жизни. *Эти эмоции маркируют предметы, тела, участки пространства, отрезки времени и события: произведенное эмоциями различие воплощается в них и посредством этого становится частью наблюдаемой реальности* — именно это свойство культуры впоследствии ляжет в предложенное мной рабочее определение катексиса. Таким образом, эмоциональное измерение культуры оказывается фундаментальной частью выстраиваемой Дюркгеймом конструкции социального, будучи принципиально связанным с культурой и познанием (Kurakin, 2019; Куракин, 2018).

Неудивительно, что выраженное и теоретически-нагруженное внимание к эмоциональной интенсивности в социологии чаще всего встречается именно у дюркгеймианцев, таких, например, как Жорж Батай, Клиффорд Гирц и Рэндалл Коллинз<sup>5</sup>. Ниже я кратко остановлюсь на некоторых из дюркгеймианских теорий, чтобы зафиксировать наиболее важные свойства эмоционального измерения культуры, выявленные в них. Эти свойства — ключевые ориентиры для решения основных задач данного исследования — реинтерпретации понятия катексиса и выхода на исследовательскую программу катектических механизмов культуры.

### *Жорж Батай и его визионерское внимание к «энергетике» культуры*

Потенциал дюркгеймианского подхода к эмоциям и познанию долго оставался скрытым, во многом из-за того, что сам Дюркгейм был озабочен дисциплинарной обособленностью социологии от биологии и психологии и старался избегать акцентирования тем и явлений, которые могли бы размыть дисциплинарные границы. Эмоции, которые куда привычнее было рассматривать в качестве фактов

4. Иными словами, является «абсолютным событием», в терминах теории события А. Ф. Филиппова (Филиппов, 2006).

5. Это далеко не полный список: выстраиваемый здесь фокус на катектических механизмах культуры позволяет усмотреть такие механизмы в исследованиях многих дюркгеймианцев, от Роберта Герца и Мориса Хальбвакса до Анри Юбера и Марселя Мосса и современных дюркгеймианских культурсоциологов.

психической жизни, относятся именно к этой категории (Куракин, 2018). Гейб Игнатоу отмечает, что в ряде случаев соображения дисциплинарной демаркации противоречили теоретической логике подхода Дюркгейма и препятствовали развитию его социологического проекта. В этом смысле нужно согласиться с утверждением Игнатоу о том, что проект социологии «тотального человека» главного ученика и последователя Дюркгейма Марселя Мосса, в котором тот расширил схему *homo duplex* на инфра-индивидуальные процессы, включающие тело и организм, вместе с эмоциями, в которых социальное соединяется с физиологическим<sup>6</sup>, действительно в полной мере воплощает логику развития дюркгеймовского проекта, освободившегося наконец от острой необходимости защищать место автономной социологии под солнцем (Ignatow, 2012).

В историко-социологической перспективе именно Жорж Батай оказался дюркгеймианцем, на несколько десятилетий опередившим доминирующий сегодня способ прочтения теории сакрального, развернутой классиком в «Элементарных формах религиозной жизни» и некоторых других работах<sup>7</sup> (Батай, 2006; Фуко, 1994). Сверхинтенсивные эмоции как ключевой фактор социальной жизни оказались в центре его внимания, в первую очередь в контексте теории трансгрессии и теории траты. Поиск ритуальных основ жизни, способных вывести за пределы эмоциональной умеренности и сдержанности светской жизни, и идея траты — неутилитарной эмоциональной, экономической и — в широком смысле — энергетической, стали главными ориентирами работы Батая и его окружения. Весьма влиятельный в свое время, проект Батая и его группы не привел, однако, к формированию школы последователей, хотя и повлиял на работы ряда ключевых социальных ученых 1960–1970-х годов, в первую очередь постструктуралистов (Smith, 2020; Зыгмонт, 2018). Но острый интерес Батая к сакральному и миру аффекта делает его труды настоящим кладом идей и моделей, представляющих первостепенный интерес для изучения эмоционального измерения культуры.

Филипп Смит и Флориан Штольц прибегают к этому ресурсу, выстраивая свою расширительную модификацию теории жертвоприношения (Smith, Stoll, 2021). Они утверждают, что наиболее влиятельная в современной социологии культуры модель жертвоприношения Юбера и Мосса (Мосс, Юбер, 2000) слишком близка еще к чуждой дюркгеймианцам утилитаристской логике, характерной для другой влиятельной теории жертвоприношения, принадлежащей Брониславу Малиновскому (Малиновский, 2004); и лишь в более зрелых своих работах, прежде всего в исследовании о даре, Моссу удалось преодолеть это плоское видение (Мосс,

---

6. Самый яркий пример в этом контексте — исследование коллективно внушенной мысли о смерти, в котором было показано, что во многих задокументированных случаях физически здоровые индивиды скоростно умирают вследствие нарушения священных табу (Мосс, 1996б).

7. То же самое до известной степени справедливо и для его окружения из интеллектуального кружка под названием «Коллеж социологии» и в первую очередь Роже Кайуа (Зенкин, 2011; Кайуа, 2003).

1996а)<sup>8</sup>. Чтобы построить широкую культуросоциологическую теорию жертвоприношения, приложимую к обширному кругу явлений современной жизни, Смит и Штольц опираются на Батаю, что позволяет им выстроить понимание жертвоприношения как «неутилитарного расходования денег, энергии, страсти и усилий, нацеленных на трансцендентный опыт» (Smith, Stoll, 2021: 53).

Суть проницательной гипотезы Батая, отмечают Смит и Штольц, следует понимать так, что вообще все, что связано с потреблением, имеет выраженные черты и логику жертвоприношения<sup>9</sup> (Smith, Stoll, 2021: 55). Их исследование ценно тем, что проект Батая, который сегодня привычно воспринимать как интересную, но экзотическую и малоприменимую к описанию обычной социальной жизни теорию, становится мощным объяснительным ресурсом. А именно — оно не только выводит жертвоприношение из сокровенных анклавов экзотических религиозных практик на широкий оперативный простор, но и существенно способствует решению более фундаментальной задачи, на значимость которой давно указывали отдельные проницательные комментаторы (см., например: Massumi, 1995): встраиванию измерения (эмоциональной) интенсивности в доминирующую в культурной теории «плоскую» картину культуры. Это открывает большую перспективу развития дюркгеймианской культуросоциологии в ближайшем будущем.

Обобщая, можно зафиксировать, чем важна теория Батая для предпринимаемого мною здесь начинания: она позволяет вскрыть важное заблуждение, относящее эпизоды «эмоционального избытка» к побочным эффектам «нормальных» социальных процессов или к экзотическим анклавам, все больше уходящим в прошлое. В противоположность этому интенсивные эмоции во многих процессах являются ключевым ингредиентом человеческого опыта, без которых многие социальные процессы — в первую очередь те, что связаны с социально-санкционированным изменением коллективных и индивидуальных идентичностей — невозможны. Конститутивная встроенность этих эмоций в социальные и культурные процессы — общее свойство культуры, а не просто психический феномен, связанный с ней лишь в отдельных категориях ситуаций.

### *Большой проект Рэндалла Коллинза*

Рэндалл Коллинз — современный дюркгеймианец, который наиболее прямым и последовательным образом откликнулся на дюркгеймовскую теорию эмоций. При этом если Дюркгейм говорил об «эмоциональной энергии» скорее в метафорическом ключе, Коллинз трактует это понятие вполне буквально, как квантифицируемую и аддитивную субстанцию, и помещает его в самый центр своего обширного проекта. Эмоциональная энергия — это то, что формируется в цепочках

---

8. Тесная связь между даром и жертвоприношением, как показал Алексей Зыгмонт, была очевидна и для Батая (Зыгмонт, 2018: 52).

9. Стоит также упомянуть о попытках построить социологию потребления на базе батаевской теории траты (Miller, 1998).



ритуальных взаимодействий (дюркгеймовская концепция ритуала, масштабированная на мириады повседневных процессов) и таким образом перераспределяется между индивидами (Collins, 2004). Ее избыток дает индивиду или группе весьма существенные преимущества: как в достоинстве и признании, так и в способности эффективно и результативно действовать.

Опираясь на эту теорию, Коллинз провел впечатляюще масштабные исследования в разных сферах. В своем исследовании физического насилия в его разнообразнейших проявлениях, от домашнего насилия и уличных драк до войн и военных преступлений, Коллинз выстроил объяснение динамики протекания батальных сцен, в котором ключевую роль играет именно реципрокное перераспределение эмоциональной энергии: ее наращивание у одной стороны напрямую влечет дефицит у другой (Collins, 2008).

С опорой на доступные статистические данные о ходе боевых конфликтов, применении оружия и специфике нанесения ран, в широком историческом диапазоне, Коллинз утверждает, что, в силу эмоционально-когнитивной конституции человека, эволюционно ориентированной на эмпатию как фасилитатор сложной коммуникации, столкновение на равных чрезвычайно трудно дается людям и они стремятся избегать его всеми доступными способами. Поэтому, вопреки доминирующим стереотипам, главной эмоцией войн и насилия в целом является отнюдь не гнев или ярость — эмоции, сонаправленные насилию, а страх — эмоция, ориентированная в противоположном направлении. А подавляющая часть увечий и смертей в вооруженных конфликтах происходит в ходе односторонне-направленных атак на ретирующегося противника, когда атакующая сторона находится в состоянии агрессивного и безжалостного аффекта — панического по своей природе (Коллинз вводит специальное понятие «forward panic», которое стоит в том числе за военными зверствами). Сторона, которую атакуют, в этот момент страдает от острого дефицита эмоциональной энергии, парализована страхом и фактически не способна защищаться. Например, в ходе Нанкинской резникратно превосходящие числом японцев китайские военные массово гибли, не оказывая практически никакого сопротивления: Коллинз утверждает, что это не обусловлено их трусостью или военной несостоятельностью, но проистекает из структурных свойств ситуации и типично для массы подобных случаев.

Для битв до-огнестрельной эпохи, по данным источников Коллинза, в целом характерны военные потери погибшими на уровне пяти процентов участников — за исключением отдельных, существенно более редких битв, которые он называет «решающими». В случае этих решающих битв потери оказывались намного выше — и это разительное отличие, согласно Коллинзу, может быть обусловлено лишь формированием «forward panic» у атакующей стороны и эмоционального паралича у противоположной. Коллинз утверждает, что многочисленные случаи побед войска Александра Македонского над существенно численно превосходящим противником обусловлены именно тем, что он целенаправленно стремился именно к этому сценарию, выискивая в порядках противника слабое звено и за-

пуская коллективный эмоциональный механизм «резни». Анализируя реконструкцию битвы при Азенкуре во время Столетней войны, где англичанам удалось не только одержать победу надкратно превосходящими силами французов, но и добиться многократного перевеса в числе погибших, Коллинз предполагает, что именно созерцание масштаба насилия, нетипичного для битв с использованием холодного оружия, ввело англичан в агрессивный аффект и парализовало французов — в том числе тех следующих рядов, наблюдавших за гибелью соотечественников (иначе, рассуждает он, затруднительно объяснить, почему большие массы французов не пришли на помощь первым линиям).

Помимо этого Коллинз обращался к проблемам циркуляции эмоциональной энергии в науке и философии, пытаясь показать, что формирование по-настоящему креативных и влиятельных теорий обусловлено сверхконцентрацией эмоциональной энергии в небольших группах, структурно благоприятствующих таким суперэффектам (Коллинз, 2002). Хотя это исследование встретило существенную критику на основании избирательного и чересчур вольного в части интерпретации стиля работы с историческими свидетельствами, Коллинзу удалось выстроить интригующие эвристические объяснения некоторых хорошо знакомых исследователям эффектов, от творческих тупиков до зависимости смысла научного утверждения от статуса производящего его ученого — именно вследствие того, что в процессе участвуют более интенсивные эмоции (Куракин, 2018).

Коллинз пошел дальше предшественников, потому что ему удалось показать, как интенсивные эмоции встраиваются в самые разные культурные процессы и, что самое главное, могут влиять на формируемые в этих процессах смыслы. Последнее играет ключевую роль для данного исследования, поскольку указывает на важное свойство культуры (равно как и на дефициты в его объяснении): если эмоции не просто усиливают уже сформированные в культурных процессах смыслы, но участвуют в самом их формировании, требуется такая модель культуры, которая бы учитывала это эмоциональное измерение и его роль в познании. Однако в целом Коллинзу не удастся избавиться от «топливного» видения эмоций, а его понятие эмоциональной энергии остается умозрительным и спекулятивным.

### *Эмоции как ингредиент культуры и познания и «воспитание чувств»*

Сверхинтенсивные эмоции часто указывают на самые важные социальные устроения, служащие основой многим другим элементам жизни людей. Знаменитый анализ балинезийских петушиных боев, проделанный Клиффордом Гирцем, может послужить тут отличной иллюстрацией. И с точки зрения организации жизни, и в космологическом отношении, и в части распределения статуса, достоинства и престижа, и даже во многом в экономическом плане петушиные бои являются центральным общественным институтом балинезийцев. А в сердцевине самих этих боев — настолько интенсивные эмоции, что победа и поражение служат метафорами рая и ада (а не наоборот).

В контексте нашего исследования наиболее примечательное тут — не просто роль эмоций в социальной жизни, а то, что во многих социальных процессах, в которых участвуют сверхинтенсивные эмоции, присутствует ярко выраженная составляющая коллективных когнитивных процессов. В этом смысле петушиный бой — особый способ социально-организованного познания. Гирц лучше большинства современников различал значимость этого обстоятельства и прямо указывал на то, что лишь выстраиваемый им культурный подход, рассматривающий петушиный бой как текст, способен выявить эту, самую важную его черту, а именно: «задействие эмоций в познавательных целях».

То, что петушинные бои говорят, они говорят на языке чувств — на языке трепета риска, отчаяния поражения, радости победы. И все же они говорят не просто о том, что риск волнует, поражение удручает, а триумф вознаграждает (банальные тавтологии), но о том, что именно с помощью этих эмоций — поставляющих, таким образом, своего рода наглядный пример — строится общество и индивиды соединяются воедино. Посещение петушинных боев и участие в них — это для балийцев своего рода воспитание чувств. Там балиец открывает для себя, как выглядят этос его культуры и его личные чувства (или, по крайней мере, некоторые из их проявлений), когда они произносятся «вслух» в коллективном тексте; он открывает для себя, что то и другое достаточно похоже, чтобы быть выраженными в символах одного и того же текста; и — взволновывающая часть — что текст, с помощью которого совершается это открытие, состоит из петуха, который бездумно рвет на части другого петуха (Гирц, 2004а: 509).

В этом высказывании Гирца для нас важны две фиксации. Первая: культурные и когнитивные процессы выходят далеко за пределы зашифрованных в символы отрезков информации, циркулирующих от мозга к мозгу. Они распределены и включают в себя разнородные объекты, человеческие и не человеческие тела и их окружение, а также связи между ними: позы владельцев петухов, сидящих на корточках с высоко задранными коленями, сжимающих между бедрами петухов, лезвия, привязанные к ногам петухов, и многое другое. Вторая: они «энактивны», то есть нуждаются в «проигрывании», включающем в себя скоординированные эмоциональные переживания участников. Если «скрипт» включает в себя «петуха, который бездумно рвет на части другого петуха», а не прочувствовав это, страдая и торжествуя, и закрепляя эти переживания денежными ставками, проигранными или выигранными, затруднительно осмыслить основы собственной культуры, то перед нами открывается более сложная и богатая картина культуры, нежели просто сеть смыслов. Сложная эмоционально-заряженная культурно-когнитивная симфония, для понимания которой необходимо прояснить взаимоотношения между культурой, эмоциями и когнитивными процессами.

Задолго до разработок Эдвина Хатчинса и других теоретиков распределенного познания (Clark, Chalmers, 1998; Hutchins, 1995) Гирц оказался чрезвычайно чувствителен к распределенной природе познания и ключевой роли эмоций в куль-

турных и когнитивных процессах. В работе, посвященной построению концепции культуры в контексте эволюции разума, он пишет:

Пользование картой дорог позволяет нам точно проделать свой путь от Сан-Франциско до Нью-Йорка; чтение романов Кафки позволяет сформировать ясное и вполне определенное отношение к современной бюрократии. Мы овладеваем умением моделировать полет самолетов в аэродинамических трубах; мы развиваем в себе способность испытывать подлинный благоговейный трепет в церкви. Прежде чем считать «в уме», ребенок считает на пальцах; сначала он ощущает любовь на своей коже, а только потом в «своем сердце». Культурными артефактами в человеке являются не только идеи, но и эмоции (Гирц, 2004б: 95–96).

Картина культурных смыслов и связей между ними, не имеющая этого «энергетического» — эмоционального измерения, или даже включающая эмоции, но лишь с учетом их модальности — то есть, по сути, как некая отдельная разновидность культурных смыслов, явно или неявно опирается на «вычислительную теорию познания», более или менее уподобляющую человеческое взаимодействие обмену и обработке информации. То, что для прояснения разума и чувств, передачи привилегии, укрепления социального порядка и прочих социальных процессов иногда жизненно важно, чтобы один петух разрывал другого на части, вгоняя в стыд и отчаяние владельца последнего, просто не вписывается в эту картину. Гирц дополняет культурные смыслы эмоциями. Между тем, как мы увидим далее, культурные процессы, которые невозможно адекватно понять без учета плотно вплетенного в них эмоционального измерения — это правило, а не экзотическое балинезийское исключение.

Осмысливая эту проблему в своей подводящей итоги исследований на протяжении всей жизни книге «Религия в человеческой эволюции» Роберт Белла следует логике Гирца, уточняя и усиливая его понимание эмоций как конститутивной части социального познания (Белла, 2019). Характеризуя взаимную обусловленность эмоций и культурных форм, он останавливается на формулировке, что они соотносятся как аристотелевские материя и форма (Белла, 2019: 13). Это сравнение призвано показать неразрывную связь, существующую между гетерогенными сущностями культуры и эмоций. Однако оно требует уточнения и корректировки, ведь во всех приведенных выше примерах эмоции были далеко не единственным «материалом», из которого синтезируются культурные формы. В этом сравнении больше умолчания, нежели позитивного знания: выведя нас в нужном направлении, и Гирц, и Белла останавливаются на пути построения конкретной теории эмоционального измерения культуры (что, конечно, не составляло их целей, но составляет мою).

Другие разнородные элементы этого синтеза культурных форм — материальные объекты, тела и их части, пространственные и временные зоны и даже события. Как мы могли убедиться в первом подразделе, ключевым необходимым условием «синтеза особого рода», в котором, согласно теории Дюркгейма, форми-

руются коллективные представления (то есть культура), является то особое свойство, благодаря которому все эти элементы способны вмещать в себя, удерживать и передавать коллективно производимые эмоции. Без этого подразумеваемого свойства социальной и психической жизни вся модель социального как верхнего уровня реальности, связанного с индивидуальным и нижними уровнями природных порядков, распадается. Описывая ключевую для социологической теории познания модель коллективного «бурления», Дюркгейм никак не именует это фундаментальное свойство, но ближайший его аналог в поведенческих науках — это фрейдовское понятие «катексис».

### **Катексис: в поисках потерянного открытия**

#### *Дюркгеймовское неназванное свойство и фрейдовский катексис*

Зигмунд Фрейд ввел термин *Besetzung*, позже приобретший известность как «катексис», в своих ранних трудах середины 1890-х годов: в «Нейропсихозах защиты» (1894) и «Дополнительных замечаниях к нейропсихозам защиты» (1896), в «Исследованиях истерии» (1895) и в «Проекте научной психологии» (1895) — не опубликованном при жизни Фрейда трактате, текст которого известен из переписки Фрейда с Вильгельмом Флиссом. Фактически понятие *Besetzung* впервые употребляется в «Исследованиях истерии», но сама идея обсуждается и в чуть более ранних исследованиях. Во всех этих работах Фрейд рассуждает о свойстве, позволяющем психической энергии «занимать», «заполнять» или «захватывать» некий объект — предмет или идею и пребывать в этом качестве, влияя на этот объект и обращение с ним. Как отмечают многие комментаторы (см., например: Hoffer, 2005; Strachey, 1962), ближайшая аналогия, заложенная в этом терминологическом решении, это военная оккупация некой территории или объекта, изменяющая его политические, социальные и «энергетические» свойства (то есть актуализированную или потенциальную способность стать площадкой высокоинтенсивных взаимодействий) и изменяющая его предрасположенность к другим «оккупациям». Как Фрейд уточняет в «Нейропсихозах защиты», «квота аффекта» или «сумма возбуждения», характеризующая этот «захват», — это количественная характеристика, способная увеличиваться, уменьшаться или вовсе «разряжаться»: иными словами, речь идет об эмоциональной интенсивности как основном свойстве описываемого Фрейдом феномена.

Фрейд пошел намного дальше Дюркгейма в уточнении свойств эмоционального заряда, прикрепляемого к объектам восприятия, и он имеет дело с другими уровнями реальности — психическим и нейрофизиологическим, а не социальным и индивидуальным, как Дюркгейм. Но на самом общем уровне гомология между их рассуждениями очевидна, и это открывает важную для дюркгеймианской социологии перспективу терминологического заимствования и реинтерпретации. Аналогичное фрейдовскому катексису, не поименованное Дюркгеймом, но играющее ключевую роль в его модели свойство культуры состоит в том, что коллек-

тивно произведенные эмоции могут прикрепляться к объектам самого разного рода, удерживаться на них и менять их свойства в части влияния на социальную жизнь. Именно так в дюркгеймовской модели «бурления» возникают сакральные объекты в ходе эмоционально-интенсивных ритуальных взаимодействий.

Это позволяет дать первичное, рабочее определение: *я буду называть катексисом базовое свойство культуры, в соответствии с которым эмоции, производимые в социальных взаимодействиях, могут прикрепляться к разного рода объектам — вещам, идеям, представлениям, символам, телам и их частям, пространственным (таким как, например, территории) и темпоральным (таким как события) феноменам.* Чтобы продвинуться дальше на пути социологической реинтерпретации катексиса, я попробую проследить потенциал и пределы указанной параллели.

На ранней стадии разработки проблемы для Фрейда энергетическая трактовка катексиса носит вполне буквальный характер — он рассматривает катектические процессы как материальные нейрособытия. Собственно, в первоначальной трактовке именно нейрон может быть «катектирован» — заполнен количественно-исчислимой физической энергией (Freud, 1966: 298). В этой части Фрейд следует совсем еще недавним прорывным открытиям: к концу XIX века была окончательно сформирована классическая нейронная доктрина, представляющая нервную систему состоящей из нейронных цепочек, по которым распространяется возбуждение, да и сам термин «нейрон» был введен Вильгельмом фон Вальдейером буквально за несколько лет до публикации указанных работ Фрейда.

Но очень скоро Фрейд вынужден отказаться от этой физикалистской трактовки и начинает использовать понятие катексиса исключительно для характеристики психических процессов: вместо нейронов катектированы теперь могут быть представления, идеи и другие объекты восприятия, причем как на сознательном, так и на бессознательном уровне. Как отмечает Джеймс Стрейчи, уже в «Проекте научной психологии» Фрейд не ограничивается материальной трактовкой катексиса и пытается перебросить мостик между неврологией и психологией; то же самое характерно для «Исследований истерии», где Фрейд склонен к неврологическим трактовкам, тогда как его наставник и соавтор Брейер — к психологическим (Breuer, Freud, 1955). Через несколько лет, начиная с «Толкования сновидений» и во всех последующих работах, его трактовка катексиса становится уже исключительно менталистской (Strachey, 1962: 64–65). Речь по-прежнему идет об «энергии», и, например, в «Толковании сновидений» Фрейд прямо утверждает, что эта энергия так или иначе восходит к энергии нейронов, но он решительно отказывается от идеи проследить прямое соответствие между описываемыми им катектическими механизмами психической жизни и нейрофизиологическими процессами. Так, он пишет про один из них: «[М]еханизм этих процессов мне совершенно неизвестен; кто захотел бы серьезно заняться этим, тот должен был бы подобрать аналогию из физики и проложить себе путь к пониманию процесса движения при раздражении нейронов» (Фрейд, 2020: 428). К 1905 году, согласно Стрейчи, этот процесс окончательно завершен, и Фрейд оставляет всякие попытки трактовок

катексиса через нейронные корреляты и сведения путей и направлений психических ассоциаций к нейропроцессам (Strachey, 1955: xxiv–xxv).

Зафиксируем этот ключевой вывод: уже у Фрейда катексис — это понятие, характеризующее эмоциональной энергетической интенсивностью заряда объектов катектирования; физически эта энергия локализована в нейронах; однако описание и объяснение наблюдаемых событий психической жизни оказывается невозможно свести напрямую к этим нейронным процессам. Что же мы находим у Дюркгейма в тех рассуждениях, применительно к которым я реконструирую аналогию с фрейдовским катексисом? Очень похожие аргументы и выводы.

В том месте рассуждения, где Фрейд оставляет попытки интегрировать нейронауку с психологией и проследить каузальные цепочки, ведущие от нейрофизиологического к психическому уровню, Дюркгейм вводит свое, уже упомянутое выше, понятие «синтеза особого рода». Синтез *sui generis* — это то, что приводит к формированию коллективных представлений (культурных смыслов) из субстрата индивидуальных представлений. Коллективные представления были бы невозможны, если бы не существовали представления индивидуальные, они формируются из их материала как из субстрата, но они представляют явления более высокого порядка и формируются из своего субстрата не каузальным образом, не в результате какого-либо сложения или генерализации, а в результате этого «синтеза», порождающего качественно иные объекты. Дюркгейм начинает эти рассуждения уже в своих ранних работах, а окончательный вид они принимают в «Элементарных формах религиозной жизни» (Дюркгейм, 2018), где указанная несводимость занимает краеугольное место в социологической теории познания.

Итак, как и Фрейд, Дюркгейм прямо указывает на невозможность проследить прямую каузальную связь между индивидуальными и коллективными представлениями, но для Дюркгейма это намного больше, чем просто эпистемологическое затруднение. Прерывание каузальных рядов при переходе от индивидуального к коллективному порядку явлений — это то, что на уровне теоретической абстракции стоит за разнородностью социального и индивидуального, а на конкретно наблюдаемом уровне — за абсолютным характером различия сакрального и профанного.

Аналогия с рассуждениями Фрейда усиливается тем, что когда Дюркгейм начинает выстраивать рассуждения о синтезе *sui generis*, приводящем к формированию коллективных представлений из субстрата индивидуальных, он опирается на аналогичный процесс, происходящий между уровнями нейрофизиологии мозга и психическими состояниями, причем он разворачивает эти рассуждения в своей ранней работе «Представления индивидуальные и представления коллективные», изданной через пару лет после упомянутых выше первых работ Фрейда, выводящих на сцену понятие «катексис», и за два года до «Толкования сновидений». Обращаясь к указанной аналогии, Дюркгейм, в частности, пишет:

Внешнее существование психических фактов по отношению к клеткам мозга имеет такие же причины и такую же природу. В самом деле, нет никаких

оснований предполагать, что представление, каким бы элементарным оно ни было, может быть прямо порождено клеточным колебанием определенной интенсивности и тональности. Но нет такого ощущения, в котором бы не участвовало известное количество клеток» (Дюркгейм, 1995: 197).

Таким образом, на этом, наиболее общем уровне рассуждения, Дюркгейм продвигается на шаг дальше Фрейда и не ограничивается констатацией прерывания каузальных рядов (или даже невозможностью их проследить), но предлагает и формулу отношения между явлениями соседних уровней: «субстрат — синтез *sui generis*». Признавая присущие ей познавательные ограничения, он делает комментарий, по тону и смыслу почти в точности предвосхищающий процитированный выше фрейдовский: «Это дело метафизики найти концепцию, которая бы делала эту разнородность представимой; что касается нас, то нам достаточно того, чтобы само ее существование было признано бесспорным» (Дюркгейм, 1995: 197). Рассуждения двух великих мыслителей обнаруживают свой предел почти в одном и том же месте, отсылая для его преодоления, однако, в противоположных направлениях: где Фрейд взывает к физике, Дюркгейм апеллирует к метафизике.

Эта противоположность для нас сегодня не менее показательна, чем выявленные сходства между дюркгеймовской социологической теорией познания и фрейдовским катексисом. Я предполагаю, что как минимум отчасти она связана с недостатком знаний о нейрокогнитивных процессах и их философского осмысления — на первое указал Фрейд, а на второе Дюркгейм, но для преодоления тупика важны обе составляющие: без надежного знания о нейропроцессах философия и социальная теория вынуждены полагаться на спекуляции о природе познания, а без осмысления этих знаний в терминах теории действия они остаются достоянием узкоспециализированной области, в которой были получены.

Сама возможность моей нынешней попытки социологической реинтерпретации катексиса обусловлена тем, что именно сейчас наконец сложились оба этих условия: прогресс второй половины XX века в когнитивной нейронауке и его философское осмысление в работах конца XX и начала XXI века привели к серии «когнитивных поворотов» в поведенческих науках и дебатах о «когнитивном повороте» в социологии. Но прежде чем перейти к позитивной части рассуждения, которой посвящен следующий раздел данной статьи, важно, не ограничиваясь отсылкой к высказанным вскользь комментариям Фрейда и Дюркгейма об актуальных для них границах познания, кратко проиллюстрировать, как указанные познавательные дефициты сказались на судьбе интересующих нас понятий.

### *В поисках катексиса: скрытое и явное*

Первое, что бросается в глаза при попытке проследить ранние этапы истории понятия «катексис», это разительный контраст между большим значением, придаваемым ему в работах отдельных влиятельных комментаторов, и фактическим



узусом употребления термина у Фрейда — не говоря уже о еще более красноречивом *отсутствии* близко соответствующего ему и подразумеваемого, но неназванного Дюркгеймом понятия. Действительно, Джеймс Стрейчи — редактор Стандартного издания полного собрания психологических сочинений Фрейда, переводчик и один из самых влиятельных исследователей работ Фрейда, утверждает, что катексис — это центральное и наиболее фундаментальное понятие Фрейда (Ornston, 1985), лежащее в фундаменте большей части его построений. Принцип постоянства и принцип удовольствия, первичные и вторичные ментальные процессы, теория отреагирования, обширная терминология «загрузки» и вся огромная совокупность энергетических коннотаций имеют в своем основании теорию катексиса, указывает Стрейчи (Strachey, 1962).

Но уже из этих рассуждений (равно как и их позднейших обсуждений (Hoffer, 2005; Ornston, 1985)) ясно, что для того, чтобы распознать значимость этого понятия, требуется недюжинный труд теоретической реконструкции. «Теорию катексиса» приходится буквально собирать по мельчайшим фрагментам: согласно Стрейчи, она начинает разворачиваться еще до первого употребления термина *Besetzung*; сам термин, используемый Фрейдом, выглядит как обыденный немецкий оборот речи; в некоторых переводах он вообще остается незамеченным, например, в раннем русском переводе «Толкования сновидений» (включая последующие доработки и переиздания), седьмую главу которого Стрейчи указывает в числе важных источников для формируемой теории катексиса, мы вообще не обнаружим ни слова «катексис», ни слова «захват», которым иногда переводят на русский Фрейдов *Besetzung*, ни какого-либо иного консистентного перевода<sup>10</sup>.

Сам термин «катексис» — неочевидное и оспариваемое некоторыми комментаторами терминологическое решение Стрейчи: в английском переводе, «в интересах ясности» (Strachey, 1962: 63), он воспользовался греческим словом, что первоначально вызвало неудовольствие Фрейда, впоследствии сменившееся принятием (поздний Фрейд и сам использовал терминологическое решение Стрейчи). В литературе по этому вопросу можно обнаружить бурные дискуссии, в инструментальной части которых обосновывается и отсутствие адекватного варианта в английском языке, и разница между немецкой и английской грамматикой; а в принципиальной части — сложность самого фрейдовского понятия, соединяющего в себе «статический» и «динамический» смыслы — которые не схватываются в том числе и немецким оригиналом *Besetzung* (Hoffer, 2005; Ornston, 1985; Strachey, 1962)<sup>11</sup>. Но трудно удержаться от предположения, что Стрейчи воспользовался

10. В более позднем переводе А. М. Боковикова уже широко используется термин «катексис».

11. Споры об адекватности этого переводческого решения не утихают по сей день и во многом сводятся к тому, использовал ли Фрейд «плоское» и почти просторечное терминологическое решение для того, что некоторые исследователи считают центральным понятием всей его концепции, ненамеренно (и, возможно, в качестве временного), или же, напротив, это было хорошо взвешенное и продуманное решение, для которого Стрейчи подобрал неадекватно-напыщенный и заимствованный из греческого термин «катексис» (Bettelheim, 1983; Hoffer, 2005; Strachey, 1962).

экстраординарным переводческим решением в немалой степени ради того, чтобы акцентировать особую значимость теории катексиса.

Терминологическое решение Стрейчи ведет к еще одной неочевидной и неожиданной параллели между Фрейдом катексисом и аналогичным свойством культуры и коллективной жизни, описанном, но не поименованным Дюркгеймом. Как напоминает Андреа Бригенти, слово «катексис» связано с раннехристианским понятием «катехон» (Brighenti, 2023: 14–15), которое, в свою очередь, тоже не обойдено вниманием в социальной теории (Шмитт, 2008). Катехон принято переводить как «удерживающий», причем исходно имеется в виду сдерживание наступления Антихриста. И если у Фрейда катексис, как правило, не связан с сакральным или религией, то Дюркгейм описывает соответствующее свойство именно в этом контексте: в рассуждениях о «мане», о фетишизме и особенно в модели «бурления», построенной на материале первобытного ритуала (Дюркгейм, 2018). Хотя смысл «сдерживания» присущ и фрейдским описаниям катексиса, у Дюркгейма он выходит на другой уровень: речь идет о сдерживании наиболее фундаментальной границы — между сакральным и профанным<sup>12</sup>. Таким образом, переводческое решение Стрейчи, как это иногда случается, оказалось еще более пронизательным в отношении обсуждаемого нами фундаментального свойства, чем можно было бы предположить: так, термин «катексис» в силу «логики вещей» нащупывает потенциальную недостаточность психологической трактовки и вызывает к социологической реинтерпретации.

Без сомнения, наброски фрейдской психологической теории катексиса остаются намного более детально проработанными, чем рассуждения Дюркгейма, к которым я здесь отсылаю. Если непосредственно из дюркгеймовской модели «бурления» мы понимаем лишь немногим более того, что катектированный сакральный объект более или менее стабильно хранит эмоциональный заряд, то у Фрейда мы имеем дело и с «принципом постоянства», описывающим то, как психический аппарат регулирует объем возбуждения, и с настоящей «экономией аффекта», и со многими другими детальными объяснениями связи катексиса с передачей и блокированием возбуждения. Поэтому отмеченная мной гомология между двумя подходами лишь указывает на пока нереализованный потенциал принципа катексиса в социологии. Она носит общий характер, а более подробная разработка теории катексиса в социологии, вероятно, будет иметь не так много общего с детальными описаниями работы катектических механизмов психической жизни, развертываемыми Фрейдом. В свою очередь, установленная Дюркгеймом контекстуализация этого принципа в теории сакрального и заложенное им базовое понимание связи между индивидуальными и коллективными представлениями, о которых я писал выше, закладывают другую стратегию развертывания

---

12. Подчеркнем лишний раз для ясности, что пересечения и нарушения этой границы возможны, и в действительности постоянно происходят, но полное ее упразднение означало бы обесмысливание, уничтожение культуры и языка как системы различий.

принципа катексиса в социологии. И эта стратегия может оказаться куда ближе к логике понятия, разрабатываемого Фрейдом и Стрейчи.

Чтобы сделать следующий шаг к реинтерпретации катексиса в логике дюркгеймианской теории, необходимо обратиться к последовательности и логике аргументации, приведшей Дюркгейма к ключевому свойству социальной жизни, наиболее полным образом описанному им в модели «бурления» в «Элементарных формах религиозной жизни» (Дюркгейм, 2018). Как хорошо известно, Дюркгейм построил свою позднюю теорию, включая модель «бурления», преимущественно на материале этнографических исследований Болдуина Спенсера и Фрэнсиса Гиллена. Однако у Спенсера и Гиллена мы не обнаружим идеи «захвата» высокоинтенсивными эмоциями коллективного происхождения вещей, людей или идей (Miller, 2012; Schiermer, 2019). Где же искать источник его последующего открытия?

Как ни странно, ключевым ресурсом на пути реконструкции логики аргументации, ведущей Дюркгейма к открытию социологического аналога Фрейдова катексиса, оказывается привлекающая все большее внимание современных теоретиков полемика Дюркгейма с Габриэлем Тардом. Эта полемика длилась многие годы, причем если со стороны Тарда она иногда принимала конвенциональные формы рецензий, то Дюркгейм в основном облакал свои атаки в неспецифические жанры, такие как обзоры современной социологии (Durkheim, 1895) и собственные оригинальные исследования: про книгу «Самоубийство» Тард даже говорил, что она целиком посвящена его критике.

Критика Дюркгейма сосредоточена на центральном понятии Тарда — «подражании» (imitation). В своем историко-социологическом исследовании Бьерн Ширмер в деталях обосновывает контринтуитивное утверждение, что именно эта многолетняя полемика во многом приводит Дюркгейма к модели «бурления» (Schiermer, 2019). С самого ее начала Дюркгейм избирает двусоставную стратегию: с одной стороны, он резко обличает тардовское «подражание» как чисто индивидуальный феномен психической жизни — плоское и лишённое социологической релевантности понятие. С другой стороны, и в противопоставление Тарду, он раз за разом выстраивает собственное, оригинальное и отличное от общепринятого понятие подражания — по замыслу, уже вполне социологическое. В ранней работе — «Правилах метода» — оно принимает форму объяснения, которое Ширмер называет «подражание-через-нормы»: идея, что ключевым посредником в подражательном поведении может выступать не индивидуальный, а социальный феномен — нормы. Этот аргумент становится объектом острой критики молниеносной рецензии Тарда, которая успела выйти даже раньше самой рецензируемой книги (Дюркгейм ранее опубликовал «сигнальную» главу).

В своей ответной реплике в том же 1895 году Дюркгейм под давлением этой критики (а может, и под косвенным влиянием упомянутых выше работ Фрейда, выходящих в это же самое время?) существенно видоизменяет свой аргумент: та или иная форма практики вызывает подражание не непосредственно, указывает он, а из-за того, что она обладает *престижем* и содержит в себе *интенсивную энер-*

гию (Durkheim, 1895) — то есть подражание происходит в силу коллективно-сконструированной притягательности образца или привязанности к нему (Schiermer, 2019: 59).

Здесь мы имеем дело уже почти с социологизированной концепцией катексиса, вполне консистентной предложенному мной выше его рабочему определению. Конечно, это прорывное объяснение сформулировано «под давлением» и несколько опережает ход мысли самого Дюркгейма: Ширмер показывает, что уже в «Самоубийстве» Дюркгейм на время возвращается к более привычным для себя позициям по вопросу подражания. Но в итоге именно это, рожденное в жесткой полемике с Тардом объяснение приводит Дюркгейма к поздней модели «бурления», в которой подражание понимается как «взаимное вовлечение» или «взаимный захват» («mutual entrainment») — то есть социологический аналог катексиса — и Ширмер действительно неоднократно, хотя и не акцентируя внимания, употребляет это слово, описывая рассматриваемые Дюркгеймом явления. Говоря о рассматриваемом нами фундаментальном свойстве, для которого у Дюркгейма не нашлось отдельного термина и которое я переопределяю как катексис, он подчеркивает, что важность этого во многом просмотренного в литературе великого открытия трудно переоценить: «Дюркгейм говорит нам, в сущности, что социальное вращается вокруг того, что в коллективно-разделяемые в эмпирическом опыте объекты выдыхается жизнь, очарование, значимость, чувственное притяжение, данность и действительность» (Schiermer, 2019: 66). Это и есть социологический смысл катексиса.

Катектическая природа подражания может показаться неожиданным аргументом, однако он встречается и в других работах, в которых обращение к сакральному прокладывает путь к «энергетической» стороне культуры. Один из ключевых источников, который необходимо упомянуть в этой связи, — исследование Рене Жирара о сакральном и насилии и один из его центральных аргументов — о миметической природе желания (Жирар, 2000: 179).

Мимесис, который в интерпретациях, выстроенных в логике кибернетизирующих/семиотических концепций культуры и вычислительной модели познания, на деле обнаруживает конститутивно важную для него эмоционально-энергетическую составляющую. Почти ритуальные ссылки на «зеркальные нейроны», которые при поверхностной интерпретации якобы напрямую, в силу «нейропрошивки», побуждают людей подражать друг другу, при более аккуратном подходе куда лучше отвечают структуре дюркгеймианской модели катексиса — в качестве нейросоставляющей синхронизации катектического захвата. Это указывает на направление реинтерпретации катексиса, которую я стремлюсь выстроить в этом исследовании.

### *Катексис у Парсонса*

Предпринимаемая здесь попытка социологической реинтерпретации катексиса — не первое такого рода обращение к этому понятию. Если для того, чтобы распо-

знать фундаментальную роль теории катексиса для описания психической жизни, потребовались визионерские способности Джеймса Стрейчи, сходную роль для социологии сыграл Толкотт Парсонс — наиболее влиятельный формирователь канона классической социологии. Именно благодаря его работам понятие катексиса обрело некоторую известность в социологии (Parsons, 1937, 1970; Parsons et al., 1951). Разрабатывая свою большую социологическую теорию, Парсонс во многом опирался на Фрейда и смог распознать значимость теории катексиса, открывающей перспективу описания «энергетического» измерения осмысленной жизни. Когда он вводит в рассмотрение элементарное действие, у него обнаруживаются три базовых ориентации: когнитивная, катектическая и оценочная; и если первая и последняя определяют содержательные и реляционные (то есть определяемые в контексте целей и интересов действующего) характеристики объектов, с которыми имеет дело индивид, и с выбираемыми сценариями действий, катектическая ориентация обозначает притяжение/отталкивание, которые отвечают за интенсивность и напряжение, присущие ситуации действия.

Влияние Парсонса на развитие социологии — сложная историко-социологическая проблема. Долгое время будучи «главным американским социологом», он впоследствии оказался отвергнут (если не сказать больше) дисциплинарным мейнстримом, и на явном уровне это отторжение действительно и по сей день, полвека спустя. Не вдаваясь в подробности дебатов вокруг влияния Парсонса на современную социологию, можно зафиксировать, однако, укрепляющийся консенсус, что оно весьма велико, но носит скрытый характер<sup>13</sup>. Я предполагаю, что в данном случае это влияние распространяется двумя основными путями.

Первый — неявное наследование типологий и классификаций, введенных Парсонсом. Поскольку в теории систем Парсонса катексис относился к сфере личности, а не к сфере культуры, социологи культуры в целом не рассматривали это понятие как относящееся к своей сфере интересов. Второй — логика кибернетического контроля, пронизывающая большую часть построений Парсонса. В этой логике любые процессы включают в себя кибернетическую и энергетическую составляющие, причем первые доминируют над вторыми (Парсонс, 2002). Для иллюстрации Парсонс приводит в пример таймер в стиральной машинке: почти не потребляя энергии, он вводит в действие нагревание воды и вращение барабана — сравнительно энергозатратные процессы (Парсонс, 2002: 10). Задействованная в них энергия не влияет на выбор и содержание процесса и играет исключительно обслуживающую роль.

Можно предположить, что именно эта логика внесла существенный вклад в закрепление «топливной» метафоры за эмоциями в социологии. Так, когда социологи привлекают эмоции в свои объяснительные схемы, очень часто они «подпитывают» (fuel) практики, культурные смыслы, образцы поведения, институты

---

13. В этом смысле также весьма показательно происходящее в последние годы повышение интереса к его работам теоретиков социологии — и в первую очередь тех, кто вовлечен в дебаты о «когнитивном повороте» (см., например: Lizardo, 2021).

и установления и т. д. Это является общим местом и во многих эмпирических исследованиях в социологии эмоций, и в построениях теоретически-фундированных исследователей эмоций, таких как Рэндалл Коллинз. Согласно этой логике, эмоции могут осуществлять лишь «энергетическое» наполнение действий, но сами эти действия по смыслу и содержанию структурированы процессами, в которых эмоции не участвуют. Однако реконструированная в предыдущих подразделах дюркгеймианская трактовка катексиса ведет нас совсем иным путем: эмоции и, в частности, их интенсивность участвуют в формировании самих культурных смыслов. В противоположность логике «топливной метафоры» я стремлюсь выстроить такую реинтерпретацию понятия катексиса и катектических механизмов культуры, которые бы отвечали положению дел в современной социологии культуры и познания, а именно: преодолению сложившейся в социологии рецепции вычислительной модели познания.

## **К социологической теории катексиса**

### *Преодоление вычислительной модели познания и возвращение катексиса*

Представленная здесь попытка социологической реинтерпретации катексиса обусловлена тем, что именно сейчас сложились обе эпистемические предпосылки, на дефицит которых указывали Фрейд и Дюркгейм. Прогресс второй половины XX века в нейрокогнитивных науках и их философское осмысление в работах конца XX и начала XXI века уже привели к серии «когнитивных поворотов» в поведенческих науках. Их причина — в том, что любая поведенческая теория так или иначе содержит в себе явные или неявные предположения о природе когнитивных процессов и их связи с другими составляющими действия — и внесение уточнений в эти предположения иногда способны привести к революционным результатам.

В предыдущем разделе я попытался показать, как отсутствие достоверных знаний такого рода сделало катексис и катектические процессы концептами «глубинного залегания»: и Фрейд, и Дюркгейм выстраивали свои теории, лишь пунктиром намечая связанные с ними положения. Потребовался труд проникательных интерпретаторов — Стрейчи и Парсонса — чтобы в принципе выявить значимость катексиса для понимания когнитивных и культурных процессов и в конечном счете его потенциал для социальной теории. Однако это не сняло познавательных ограничений, на которые указывали Фрейд и Дюркгейм: это привело к тому, что парсонсовская модель интеграции катексиса в социологическую теорию оказалась во многом тупиковой для этого понятия, что, в частности, выразилось в доминировании «топливной метафоры» применительно к эмоциям в социологии. В совокупности это привело к недооценке великого открытия Дюркгейма и маргинализации катексиса (Hoffer, 2005; Schiermer, 2019).

Дебаты о возможности «когнитивного поворота» в социологии стали одним из наиболее важных событий последних лет (Kurakin, 2020; Lamont et al., 2017; Liz-

ardo, 2014, 2017; Lizardo et al., 2020; Martin, 2010; Mast, 2020; Norton, 2020; Vaisey, 2009; Девятко, 2015; Куракин, 2018; Шариков, 2019). Консенсус пока не сформирован: традиционно настроенные социологи все еще стараются игнорировать этот вызов; на противоположном полюсе наиболее радикальные голоса призывают к интеграции социологии культуры в науку о принятии решений (Vaisey, Valentino, 2018) или даже к упразднению социологии, называемой «псевдоцарицей» социальных наук, и ее переход в федерацию когнитивных социальных наук (Lizardo, 2014).

В логике радикальной версии, если все имеющее отношение к миру смысла происходит «в голове», логично, по возможности, перейти от абстракций «культурных процессов» к твердой реальности нейрокогнитивных процессов. Это воспроизводит аргумент раннего Фрейда, но не учитывает ни его же последующего отказа от прямой редукции катектических механизмов психики к нейронным процессам, ни замечания Дюркгейма о необходимости продвижения в философском понимании синтеза *sui generis*. Неудивительно поэтому, что сегодня столь радикальные постановки вопроса столкнулись с серьезной критикой, причем не столько со стороны «традиционной» социологии, сколько со стороны когнитивных наук и философии познания.

На уровне философии познания наиболее важным общим выводом из современного осмысления следует признать уход от вычислительных теорий познания и связанных с ними «традиционного когнитивизма» (Newen, Gallagher, De Bruin, 2018) и «компутиационизма» (Eck, Turner, 2019), в целом исходящих из того, что познание происходит исключительно в мозгу и сводится к операциям с информацией, подобным тем, что производит компьютер (Eck, Turner, 2019; Menary, 2010, 2018; Newen et al., 2018)<sup>14</sup>. В наиболее емком и наглядном виде критика узкого рассмотрения познания как процесса переработки информации в мозгу представлена совокупностью так называемых «4E-подходов к познанию», подчеркивающих четыре его свойства (*extended, embodied, embedded, enacted*), каждое из которых прямо противоречит вычислительной модели познания.

Это означает, что любое валидное объяснение когнитивных процессов, локализованных «внутри» индивида, принципиально неполно и с необходимостью требует учета превосходящих их по сложности и значимости «внешних» процессов, которые принято называть культурными. Действительно, человек окружен не только другими людьми, но также и знаками и символами, хранилищами знаний вроде библиотек и компьютерных сетей, материальными объектами, участвующими в познании, вплоть до элементарных — например, листочка и ручки, посредством которых мы умножаем в столбик (если познание происходит только

---

14. Важно отметить, что большинство утверждений сторонников 4E-подходов — не новшество. Теория аффордансов отчасти восходит ещё к разработкам Выготского; процитированные в первом разделе утверждения Гирца сегодня можно использовать в качестве иллюстраций к 4E-теориям; этот список можно продолжать довольно долго. Однако, как это часто бывает, понимание недостатков доминирующей модели не привело к парадигматическому сдвигу и узкое рассмотрение познания как переработки информации продолжало быть основным в социологии и социальных науках.

в голове или в компьютере, откуда в данном случае берется демонстрируемое приращение познавательного потенциала?).

Все эти распределенные когнитивные процессы эмоционально размечены: указанные разнообразные и разнородные объекты и представления могут быть катектированы, подобно тому как сакральный символ обретает свою мощь в результате описанного Дюркгеймом процесса «бурления», и они могут, в свою очередь, нести и передавать катектический заряд. Именно катексис оказывается ключевым свойством, благодаря которому происходит синтез *sui generis*. Эмпирические исследования, проведенные в ряде смежных дисциплин, доказывают намного более ранние предположения Вильгельма Вундта, Марселя Мосса и многих других: что эмоции не просто участвуют в формировании и работе культурных смыслов и в разнообразных когнитивных процессах, от памяти до восприятия и когнитивного контроля, но являются их конститутивной частью (Abrutyn, Lizardo, 2020; Damasio, 1994; Haidt, 2001; Harlé et al., 2013; Ignatow, 2007; Levine, Burgess, 1997; Marzi et al., 2014; J. H. Turner, 2000, 2007).

Катектические механизмы участвуют не только в «энергизировании» поведенческих образцов (например, как это описал Дюркгейм, применительно к «подражанию», или в более сложных ситуациях, когда человеческое поведение структурировано престижем, удовольствием и другими эмоционально заряженными элементами, вплетенными в смысловой ландшафт жизни), но даже и в элементарных актах восприятия. Например, человек, взаимодействуя со своим окружением, может различить (а может не различить) темное от серого, красивое от некрасивого и т.п.; любой объект восприятия содержит неограниченное количество различий, которые могут быть, а могут не быть в действительности различены. Актуальное различение с необходимостью включает в себя «энактивный» компонент: действительное усилие, «энергичное» воздействие, актуализирующее то, что могло бы и не состояться как различение. Роль этого энергетического начала в познании играют эмоции, именно с их помощью человек различает «нечто» из бесконечного «ничто», сообщая ему значимость<sup>15</sup>.

Описанные процессы иногда характеризуются как имеющие «надындивидуальный характер», но эта несколько старомодная формулировка страдает двусмысленностью, и в одном из своих значений — а именно описывая нечто, воздействующее на человека «извне», со стороны «большого мира» — ведет к заблуждениям. Ведь, как показал еще Марсель Мосс и как справедливо подчеркивают упомянутые выше современные исследователи культуры и познания, инфра-индивидуальные процессы играют схожую роль — на них в той же мере распространяется тезис о распределенной природе познания.

---

15. Эмпирически это подтверждается результатами многочисленных экспериментов, выявляющих положительное влияние интенсивности эмоций на результативность ряда когнитивных операций, например, таких как запоминание (Haidt, 2001; Harlé et al., 2013; Ignatow, 2007; Levine, Burgess, 1997; Marzi et al., 2014).



Например, хорошо известно, насколько важную роль в когнитивных процессах играет тело: существующие исследования показывают ключевую роль сенсомоторных практик в познании. Мы организуем восприятие и понимаем мир, вступая с ним в физический контакт, включающий в себя катектическое «захватывание» предметов, символов, частей тела, идей и событий, таким образом постоянно увязывая движение и чувственные ощущения в эмоционально-размеченные смысловые элементы. Помимо сенсомоторных, сюда вовлечены и другие процессы и системы, как утверждают отдельные исследователи, — вплоть до микробиотической (Ignatow, 2007, 2010, 2022). В своем недавнем исследовании Игнатоу постарался показать, что, по мере того как в постгеномной биологии совершается переход от идеи «ДНК как каузального агента» к реляционной и экосистемной перспективам, на первый план выходят такие модели, как «ось микробиом-кишечник-мозг». Эта модель приближает нас к пониманию того, как нейроэндокринные гормоны, дофамин, серотонин и прочие модулируют динамические сетевые взаимодействия между микробиомом, центральной и автономной нервными системами и «внешним миром», воздействуя на эмоции, когнитивные процессы и поведение в целом (Ignatow, 2022). Познание поэтому имеет фундаментальным образом распределенный характер (Damasio, 1994; Menary, 2018; Norton, 2020). А ключевая роль в смысловой интеграции этих разнородных ландшафтов — то есть в их синтезе в смысловые единства культурных единиц, благодаря катектическим механизмам культуры, принадлежит эмоциям.

#### *От вычислительной теории познания к «социологии плоти и крови»*

Итак, существуют веские причины того, что проблема эмоциональной интенсивности десятилетиями оставалась на периферии социологии. Но недавний прогресс в нейрокогнитивных науках и философии познания уже поспособствовал сдвигам в этом отношении. Например, несколько лет назад Лоик Вакан — один из наиболее видных современных последователей Пьера Бурдьё, опубликовал оказавшийся весьма резонансным призыв к построению «социологии плоти и крови» (Wacquant, 2015). Необходимо сформировать модель человека, настаивает Вакан, альтернативную тому, что Эрнст Кассирер называл «символическим животным», дополнив сети символов чувствами, страданиями и энактивно, в трудах вырабатываемыми умениями (Wacquant, 2015: 1–3). Примечательно, что для обозначения эмоционально-энергетической составляющей драйверов действий Вакан, вслед за Бурдьё (Bourdieu, 2000), тоже обращается к фрейдовскому понятию, но не к катексису, а к «либидо». Речь пока идет не о построении теории, а скорее, о более внимательном отношении к проблемам эмоциональной интенсивности (для этой цели понятие «либидо», указывающее на конкретный феномен и существенно более известное, удобнее катексиса). Однако призыв Вакана не только указывает на направление развития, но и делает яснее его собственные более старые работы (Wacquant, 2004), к анализу материалов которых он возвращается спустя почти двадцать лет (Wacquant, 2022).

Так, в своих снискавших широкую известность этнографических исследованиях боксеров из черных чикагских гетто Вакан акцентирует страдающее и страдающее тело (Wacquant, 2004) и то, в каких социальных практиках формируются и угасают драйверы его стремлений (Wacquant, 2022). Как тренировки, бои, экономика любительского спорта и покровительство тренеров и агентов в плотной связи с социальными и экономическими контекстами жизни формируют тело и умонастроение «умелого» и «страдающего» кулачного бойца. Какова эмоциональная и когнитивная конституция успешного бойца и того, кто находится на спаде, какие социальные и телесно-эмоциональные практики оказываются необходимым условием «чемпионской» карьеры и длинных рядов беспроектных боев. На данный момент эта чрезвычайно важная концептуальная амбиция, сформулированная Ваканом, в существенно большей степени нашла методологические, нежели теоретические воплощения. Однако важно зафиксировать, что, во-первых, теоретический вызов сформулирован и, судя по популярности манифеста социологии плоти и крови, услышан; а во-вторых, действительным поводом для этого вызова становятся успехи нейрокогнитивных наук и их философских осмыслений.

Последнее в точности совпадает с тем, что я попытался проиллюстрировать в предыдущем подразделе, а именно, что актуальная необходимость уточнить понятие культуры, интегрировав в него эмоциональное измерение, вызвана перспективой когнитивного поворота. Действительно, три установки социальной науки, которые Вакан предлагает преодолеть на пути построения социологии плоти и крови, следуют именно из дебатов о «когнитивном повороте». Это, во-первых, ставшее общим местом преодоление дуализма сознания и «отсутствующего, вялого и бестолкового тела» (Wacquant, 2015: 2). Во-вторых, отход от рассмотрения структур как внешнего ограничения для деятельного начала индивида, и вместо этого их рассмотрение как «динамических силовых сетей» и «перцептивных разметок, сенсомоторных способностей, эмоциональных предрасположенностей и самого желания» (Wacquant, 2015: 2)<sup>16</sup>. И, в-третьих, преодоление менталистского понимания знания как информации — то есть вычислительной модели познания.

### *Теория эмерджентности как решение проблемы*

Фрейд и Дюркгейм хорошо понимали, что даже если мы сможем проследить формирование эмоций на уровне нейрофизиологии, это не приведет нас к пониманию поведения человека. Дюркгейм придал форму этой несводимости культуры к когнитивным процессам с помощью своей формулы синтеза *sui generis*. Сейчас мы куда лучше понимаем масштаб и разнообразие сложных и разнородных процессов, в которых это происходит. Речь не идет всего лишь о запутанном пути от возбужденного нейрона к, например, музыкальному смыслу произведения. Как я попытался показать в предыдущих разделах, современное понимание когнитив-

---

16. По сути, это апелляция к концепции аффордансов.

ных и культурных процессов открывает перед нами бескрайний ландшафт, где мы распознаем и участие гормонов и нейромедиаторов в сложных сетевых взаимодействиях между энтеральной и центральной нервными системами; и сложные, протяженные во времени практики воспитания чувств, без которых мы не только не могли бы оценить изящество композиции или хотя бы распознать жанровый фрейм, но и вообще уловить какую бы то ни было «мелодичность»; и акустическую ситуацию прослушивания (и ее геометрию, и характеристики древесины, из которой сделаны колонки, и престиж фирмы-изготовителя); и постукивание по полу ногой в такт, без которого мы иногда совершенно не можем обойтись; и бесконечные сети культурных ассоциаций; и многое, многое другое. Каждый из этих процессов, как мы видели, включает в себя эмоциональную составляющую, и результат этого «синтеза» уже не может быть разъят на культурные смыслы и «энергизирующее» их эмоциональное «топливо».

Отказ от вычислительной теории познания и признание этого безбрежного ландшафта полностью исключает весьма популярную эпистемическую стратегию — от обнаруженного свойства когнитивных процессов (или нейрофизиологической характеристики, или расшифрованного гена) — напрямую к объяснению поведения. Например, от выведения из существования зеркальных нейронов — к якобы присущей людям довлеющей необходимости имитировать поведение друг друга. От «гена агрессии» — к объяснению девиантного поведения или даже конкурентного характера общественных институтов, и так далее.

В контексте представленных обстоятельств единственную надежную альтернативу этому предоставляет эмерджентизм: если мы посмотрим на культуру через призму этой эпистемической стратегии, она предстанет как результат эмерджентного синтеза, субстратом которого служат когнитивные и более низкоуровневые процессы, которые я описал выше. Поскольку невозможно выстраивать взаимно-однозначные соответствия между процессами на нейрофизиологическом, когнитивном и культурном уровнях, а также поскольку множественность этих процессов явно не складывается в эмпирически обозримую схему (мы не можем надеяться записать формулу, в которой постукивание ногой в такт музыке будет соединяться с сортом древесины, из которой сделаны колонки, партитурой и всем прочим), эмерджентистский подход фактически остается последней гаванью для тех, кто готов ставить фундаментальные вопросы о сочетании культуры и когнитивных процессов.

Как показал Филип Клейтон, в результате материалистической инверсии гегельянства, произведенной Фейербахом и Марксом, эмерджентизм вышел на широкий научный простор и, в частности, сыграл ключевую роль в рождении социологии как отдельной дисциплины, представленной контовским проектом и получившей наиболее последовательное развитие именно в работах Дюркгейма (Clayton, 2006: 7). Ведь именно эмерджентистское видение — пусть и до того, как оно сложилось в теорию — лежит за идеей обоснования автономии социологии, которой Дюркгейм придерживался вслед за Контом.

В контексте этого и с учетом историко-социологических обстоятельств, представленных во втором разделе этой статьи, сегодня эмерджентистский характер теории Дюркгейма становится почти очевиден (Kurakin, 2020: 71–74). Он распознается не только в содержании аргументов, но даже в терминологии: например, свое рассуждение о синтезе *sui generis* в «Представлениях» Дюркгейм фреймирует в качестве критики эпифеноменализма — термина, широко используемого современными эмерджентистами в качестве оппозиции теории эмерджентности. Но Роберт Кит Сойер был, вероятно, первым<sup>17</sup>, кто наиболее полным и последовательным образом показал, что именно эмерджентизм является наиболее адекватным современным способом прочтения теории Дюркгейма, позволяющим в том числе разрешить некоторые внутренние дилеммы проекта (Sawyer, 2002).

Сойер показывает, что в европейском интеллектуальном ландшафте конца XIX и начала XX века идеи, связанные с эмерджентизмом, такие как контингентность, несводимость верхних уровней порядка к нижним и формула «целое больше суммы своих частей», были чрезвычайно популярны и влиятельны. Будучи частью духа времени, они существенно повлияли и на Дюркгейма, и на Фрейда (как и на возникновение социологии и психологии в целом (Sawyer, 2005: 27–45)), однако напряжение между формально доминирующими в то время парадигмами утилитарного атомизма и метафизического органицизма оставили это влияние имплицитным (Sawyer, 2002: 227–32).

Что именно проистекает из опоры на эмерджентизм для уточненного понимания культуры и ее эмоционального измерения? Прежде всего невозможность «прямой локализации» и отсутствие функциональной и физической независимости элементов эмерджентного синтеза означают, что описание нейрофизиологических принципов формирования эмоций не ведет нас к объяснению культурных процессов и поведения человека в целом. В свою очередь, это исключает переопределение культурных процессов в нейрокогнитивных терминах, как предлагает ряд исследователей: например, из того, что познание, возможно, состоит из двух видов операций («горячих» и «холодных», или «автоматических» и «делиберативных»), не следует, что нужно ожидать соответствующих им культурных типов (Lizardo, 2017)<sup>18</sup>.

Другое важное следствие эмерджентной природы культуры состоит в том, что значимость каждого из элементов распределенного познания для формирования культурных смыслов не сводится к их внутренним содержаниям, а определяется в основном синтетическими свойствами их эмерджентной композиции. Поэтому вопросы локализации элементов познания, которые часто привлекают острый интерес («где происходит культура?»), отходят на второй план. Точнее, они играют

---

17. Он, впрочем, справедливо указывает на то, что некоторые комментаторы вскользь упоминали это сходство и раньше, среди них Энтони Гидденс, Айра Коэн и др. (Sawyer, 2002).

18. Эпистемическая стратегия нейроимпорта, которую я обозначил термином «ловушка гомологии»: она состоит в том, что структурные свойства когнитивных процессов напрямую переносятся на структурные свойства культуры (Kurakin, 2020: 75–76).

не ту роль, какую им готовы приписать те, кто надеется обнаружить культурные механизмы, идентифицировав локализацию связанных с ними нейропроцессов (в логике «открытия» в том смысле, в каком можно «открыть» Америку, когда, например, «открытие» гена математических способностей, то есть само его обнаружение, якобы раскрывает нам природу самих этих математических способностей и их проявлений)<sup>19</sup>.

Во-первых, эти элементы заменяемы: мы можем хранить нечто в памяти, а можем быстро «загуглить». А во-вторых, гораздо важнее становятся те их свойства, которые влияют на их сцепление между собой в процессе эмерджентного синтеза и их способность служить «аффордансами» для процессов более высокого уровня (простейший пример: в широком классе практических задач высокая скорость «гугления» позволяет «заменить» память — в отличие от долгого процесса поиска и заказа книги в библиотеке). Я считаю, что изучение свойств такого рода «сцеплений» и есть наиболее перспективное направление «нейроимпорта» — обогащения и уточнения социальной теории знаниями из когнитивных наук<sup>20</sup>. Именно такова стратегия изучения катектических механизмов культуры.

Описанное свойство — принципиальная заменимость элементов субстрата эмерджентного синтеза — называется «множественной реализуемостью». Оно обычно иллюстрируется множественностью нейрофизиологических механизмов, ведущих к одним и тем же ментальным состояниям, но поскольку оно напрямую вытекает именно из свойств эмерджентного синтеза, оно может быть сформулировано и как свойство культуры. Нейрофизиология описывает такие ключевые свойства мозга, как вырожденность и нейропластичность. Вырожденность означает способность разных нейроструктур выполнять одни и те же функции. Нейропластичность характеризует способность мозга в процессе изменения замещать поврежденные или утраченные физиологические структуры другими, перекладывая на них исходный функционал. По аналогии с этим мы можем охарактеризовать описываемое нами свойство культуры как *принцип культурно-когнитивной пластичности* или свойство *вырожденности культурно-когнитивных комплексов*: одни и те же процессы могут быть реализованы посредством разного набора элементов, поскольку композиция важнее их внутреннего содержания.

---

19. Другая эпистемическая стратегия, которую я назвал «остенсивная иллюзия» (Kurakin, 2020: 74–75).

20. Чтобы продвинуться дальше на этом пути, стоит прибегнуть к принципу граничных условий, разработанному Майклом Поланьи. Принцип граничных условий предлагает способ описания функционирования систем, ключевые процессы которых протекают на разных «уровнях», например, физиологическом и психическом или психическом и социальном. Поланьи показал, что любой организм или механизм можно рассматривать как систему, работающую под «двойным контролем». Например, машина работает в соответствии с законами физики, но знания этих законов недостаточно, чтобы описать какие бы то ни было из ее характеристик. Для этого надо знать ее устройство, «дизайн», который «обуздывает» или «запрягает» законы физики. Этот дизайн и называется граничными условиями (Paksi, 2014; Polanyi, 1968). Что это может означать применительно к культуре, я рассмотрел в работе: (Kurakin, 2020: 80–84).

Наконец, одно из важнейших, хотя и наиболее трудно описываемых свойств эмерджентности, в противоположность свойствам более привычных причинно-следственных связей, состоит в непредзаданности результата эмерджентного синтеза. То, что получается в результате сложного соединения разнородных факторов, всегда до некоторой степени непредсказуемо — собственно, это центральное свойство и заложено уже в самом термине «эмерджентность». Чтобы проиллюстрировать это, хорошо подходит исследование одного из наиболее проницательных современных культурсоциологов, Хартмута Розы, который разработал ставшую широко известной теорию резонанса<sup>21</sup> (Rosa, 2019; Катаев, 2020). Эта теория описывает фундаментальное свойство человеческой природы входить в особое взаимодействие с миром — «резонанс», то есть действенную взаимную ориентированность этой возникающей связи. Резонанс может происходить и в отношениях между людьми, и в созерцании природы, и при прослушивании музыки, и во всех других «специфически-человеческих» процессах.

Среди выделенных Розой четырех базовых свойств резонанса два представляют особый интерес в контексте нашего обсуждения: одно из них отсылает к катексису, а другое к эмерджентности. Первое — эмоциональная вовлеченность, подразумевающая физиологический ответ, но не реактивный, а взаимно-конституирующий возникающую связь между человеком и миром. То есть во вводимых мной здесь терминах — синхронизированный с помощью нейроинструментов (таких как зеркальные нейроны) и других элементов расширенного познания катектический «захват». Второе — «неподконтрольность»: ему посвящена даже отдельная небольшая книга, опубликованная после «Резонанса». Оставляя в скобках весьма любопытные рассуждения Розы о главном конфликте современности (между стремлением к контролю и его невозможностью — хотя именно эта оппозиция определяет его терминологическое решение), суть которого состоит в том, что мы никогда не можем контролировать или точно предсказать исход резонанса, и это, по сути, является главным его свойством. Очарование футбольного матча, пишет Роза, немислимо без неопределенности относительно его результата. Путешествие или романтическая встреча могут принести восторг или разочарование. Чем сильнее мы пытаемся заснуть (а это один из повторяющихся примеров резонанса у Розы), тем меньше у нас шансов преуспеть. Резонанс находится в сложных отношениях с идеей контроля: тщательное соблюдение условий ритуала все же сильно повышает шансы получить дюркгеймовское «бурление», хоть и не гарантирует его, но «[р]езонанс *может* возникнуть (emerge) даже в неблагоприятных или радикально отчуждающих условиях...» (Rosa, 2020: 37).

Короче говоря, культура — это всегда немного чудо.

---

21. Во второй части статьи я более подробно останавливаюсь на работах Розы и альтернативных социологических теориях резонанса, равно как и целом ряде других недавних исследований, с разных сторон выходящих на интуицию эмоций и аффекта как конститутивной части культуры. Выстраиваемая мной программа катектических механизмов культуры призвана стать общим знаменателем для этих разрозненных попыток, сформировав общую концептуальную базу для них.

Главный общий вывод из развернутых выше аргументов для эмоций и культуры состоит в том, что эмоциональное измерение культуры невозможно свести к нейрофизиологической стороне вопроса: требуются именно верхнеуровневые описания. Как бы мы ни продвинулись в понимании нейрофизиологии эмоций, это не позволит нам объяснить формирование культурных смыслов и поведение людей: эмоциональные свойства культуры требуется искать именно на уровне культуры. И хотя нейрофизиологические процессы, порождающие эмоции, важны для понимания культуры и поведения людей, последние не могут быть изучены на их основании, поэтому именно катектические механизмы культуры играют главную роль для социологического изучения эмоций. Это контринтуитивный вывод: вопреки здравому смыслу, способность впечатлять, притягивать и отталкивать, изумлять и пугать нужно атрибутировать в первую очередь культуре, а не мозгу, воспринимающему информацию извне.

Катексис — это фундаментальное свойство культуры соединяться с эмоциями, которые сами по себе, онтологически, оказываются телесно-физиологическими реакциями<sup>22</sup>. Иными словами, биопсихическая способность испытывать эмоции является субстратом формирования культуры как «ингредиента человеческой природы», а катектические эффекты культуры, с другой стороны, — отвечающим этой способности фундаментальным свойством культуры. Таким образом, необходимо различать эмоции как телесные реакции (имеющие определенные свойства, подчиняющиеся нейрофизиологическим законам), относящиеся к субстрату эмерджентного синтеза, и катектическое измерение культуры, относящееся к «верхнему» уровню этого синтеза. Эмоции и катексис тесно связаны, но они имеют отношение к разным порядкам явлений и управляются разными логиками: одно не является прямым отображением другого. Для понимания процессов культуры и познания необходимо в первую очередь изучать свойства и принципы катектического измерения культуры, то есть понимание устройства культурных структур с необходимостью должно включать в себя имманентно присущее культуре «энергетическое» измерение — способность культурных смыслов индуцировать эмоционально-заряженное действие.

В свою очередь, свойства эмоций как таковых важны как условия возможности тех или иных процессов в ходе этого синтеза. Например, эмоционально-физиологические свойства организма влияют на возможные сценарии протекания ритуалов; скорость протекания физиологических процессов и их совместимость между

---

22. В эмерджентистской логике этот нейрофизиологический субстрат эмоций еще не содержит культурной интерпретации — она появляется только в результате эмерджентного синтеза. Однако это именно идеально-типическая модель, потому что, как указывали авторы, от У. Джеймса и К. Ланге до Дж. Тернера и А. Дамасио, эмпирически фиксируемые эмоции всегда уже содержат когнитивное означивание (Damasio, 1994; Tomasello, 2008; Turner, 2000, 2018). В данном случае я придерживаюсь той же стратегии идеально-типической реконструкции, что и Дюркгейм в различении индивидуального и коллективного (Дюркгейм, 1995), утверждаемом, несмотря на то, что в любой реальной ситуации индивидуальное уже испытало на себе воздействие коллективного и несет в себе его свойства.

собой<sup>23</sup> определяют границы возможных модусов коммуникации, организованно-го действия и т. д. — фактически физиологическая конституция нейрофизиологических процессов играет здесь роль аффорданса. Помимо прочего, необходимость введения такого различия косвенно подтверждается отмеченными многими исследователями и комментаторами трудностями в определении понятия эмоции, которые обусловлены тем, что в феномене эмоций соединяются разнородные — нейрофизиологические, социальные и культурные процессы, и способствуют разрешению этих трудностей.

## Заключение

Сформулированные в первой части статьи принципы открывают перспективы изучения конкретных катектических механизмов. Многообразие способов культурного «энергизирования» человеческого действия чрезвычайно широко. В заключении к этой части я могу сделать лишь первый шаг в эту сторону и наметить перспективные направления исследований, которые будут рассмотрены более подробно во второй части. Прежде всего, если вернуться к исходному пункту, из которого разворачивается социологическая теория катектических процессов — дюркгеймовской теории сакрального, — можно, с опорой на предыдущие разработки в теории сакрального, выделить два наиболее общих класса таких процессов, которые я называю здесь их базовыми валентностями: пиетической и трансгрессивной. Обе они выстроены на основе понятия символических границ. Почему понятие границ выходит на первый план, когда мы говорим о катексисе?

Катектирование любого объекта создает или меняет символические границы. Любая граница эмоционально заряжена; если эмоциональный вес границы равен нулю, это означает, что границы нет. Поэтому катектирование объекта любой природы либо создает новую границу — благодаря тому, что формируется аффективная «разность потенциалов» между тем, что находится внутри и за пределами этого объекта — либо видоизменяет существующую (в тривиальных случаях — усиливает или ослабляет). Лучше других связь между границами и эмоциями и аффективную природу формирования границ продемонстрировала Сара Ахмед (Ahmed, 2004). В своей теории эмоциональной циркуляции она показала, как эмоции создают границы объектов в ходе аффективно-выраженных взаимодействий. Страх и отвращение, боль и ненависть, по сути, до-определяют или даже создают объекты, уточняя или даже формируя их поверхности. К примеру, боль глав-

---

23. Например, конституция и композиция конкретных эмоций, которые Дж. Тернер и его последователи выводят из «смешивания» неких первичных эмоций в ходе эволюции — то есть развитие таких эмоций, которые в наибольшей степени пригодны для фасилитации социальной интеграции (например, стыд — эффективное средство социального контроля) (Turner, 2000, 2007). Другие исследователи делают акцент на культурной специфичности эмоций, но и в этом случае эмоции в той же мере видятся как вспомогательные средства культурных паттернов и/или социальных процессов (см., например: Фельдман Баррет, 2018).



ным образом определяет границу субъекта: именно боль отличает «я» от «не я» (Ahmed, 2004).

В свою очередь, катектические механизмы культуры — это такие способы формирования смыслов, в которых катексис играет центральную роль. Это не только собственно «катектирование» объектов — *наполнение* их эмоциональным зарядом, но и операции с этим зарядом, такие как его распространение и передача, «разряд» и те культурные процессы, в которых эти операции участвуют. Во многих этих процессах именно границы и базовые операции с ними — следование им или их нарушение — играют ключевую роль.

Во второй части статьи я перейду к изложению позитивной программы изучения катектических механизмов культуры и опишу базовые валентности катексиса, а после этого рассмотрю исследования, которые уже в той или иной степени продвинулись по пути разработки катектических механизмов культуры, разделив их на три категории процессов: восприятие; идентичность и порядок; и энергетика социального действия.

## Литература

- Abrutyn S., Lizardo O.* (2020). Grief, Care, and Play: Theorizing the Affective Roots of the Social Self // *Advances in Group Processes* / S. R. Thye and E. J. Lawler (Eds.). Vol. 37. Bingley: Emerald Publishing Limited. P. 79–108.
- Ahmed S.* (2004). *The Cultural Politics of Emotion*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Bericat E.* (2016). The Sociology of Emotions: Four Decades of Progress // *Current Sociology*. Vol. 64. № 3. P. 491–513.
- Bettelheim B.* (1983). *Freud and Man's Soul: An Important Re-Interpretation of Freudian Theory*. New York: Vintage Books.
- Bourdieu P.* (2000). *Pascalian Meditations* / Tr. by Richard Nice. Palo Alto: Stanford University Press.
- Breuer J., Freud S.* (1955). *The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud*. Vol. 2. *The Studies of Hysteria* / Transl. from the German under the General Editorship of James Strachey. London: The Hogarth Press.
- Brighenti A. M.* (2023). *Elias Canetti and Social Theory*. New York: Bloomsbury Academic.
- Clark A., Chalmers D. J.* (1998). The extended mind // *Analysis*. Vol. 58. № 1. P. 7–19.
- Clarke S.* (2003). Psychoanalytic Sociology and the Interpretation of Emotion // *Journal for the Theory of Social Behaviour*. Vol. 33. № 2. P. 145–163.
- Clayton P.* (2006). *Conceptual Foundations of Emergence Theory* // *The Re-Emergence of Emergence. The Emergentist Hypothesis from Science to Religion* / P. Clayton and P. Davies (Eds.). Oxford: Oxford University Press. P. 1–30.
- Collins R.* (2004). *Interaction Ritual Chains*. Princeton: Princeton University Press.
- Collins R.* (2008). *Violence. A Micro-Sociological Theory*. Princeton: Princeton University Press.

- Damasio A. R.* (1994). *Descartes' Error: Emotion, Rationality and the Human Brain*. New York: Putnam.
- Dewey J.* (1894). *The Theory of Emotion: I: Emotional Attitudes*// *Psychological Review*. Vol. 1. № 6. P. 553–569.
- Durkheim, E.* (1895). *Lo stato attuale degli studi sociologici in Francia*// *La Riforma Sociale*. Vol. 3. P. 607–622.
- Durkheim E.* (1973). *The Dualism of Human Nature and its Social Conditions*// *Emile Durkheim: On Morality and Society. Selected Writings* / R.N. Bellah (Ed.). Chicago: The University of Chicago Press. P. 149–163.
- Eck D., Turner S.* (2019). *Cognitive Science and Social Theory*// *The Oxford Handbook of Cognitive Sociology* / W.H. Brekhus and G. Ignatow (Eds.). Oxford: Oxford University Press. P. 153–168.
- Freud S.* (1966). *Project for a Scientific Psychology*// *The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud*. Vol. 1. *Pre-Psycho-Analytic Publications and Unpublished Drafts* / Transl. from the German under the General Editorship of James Strachey. London: The Hogarth Press. P. 283–397.
- Haidt J.* (2001). *The Emotional Dog and its Rational Tail: A Social Intuitionist Approach to Moral Judgment*// *Psychological Review*. Vol. 108. P. 814–834.
- Harlé K. M., Shenoy P., Paulus M. P.* (2013). *The Influence of Emotions on Cognitive Control: Feelings and Beliefs—Where do they Meet?*// *Frontiers in Human Neuroscience*. Vol. 7.
- Hoffer P. T.* (2005). *Reflections on Cathexis*// *Psychoanalytic Quarterly*. Vol. LXXIV. P. 1127–1135.
- Hutchins E.* (1995). *Cognition in the wild*. Boston: MIT Press.
- Ignatow G.* (2007). *Theories of Embodied Knowledge: New Directions for Cultural and Cognitive Sociology?*// *Journal for the Theory of Social Behaviour*. Vol. 37. № 2. P. 115–135.
- Ignatow G.* (2010). *Morality and Mind-Body Connections*// *Handbook of the Sociology of Morality* / S. Hiltin and S. Vaisey (Eds.). New York: Springer. P. 411–424.
- Ignatow G.* (2012). *Mauss's Lectures to Psychologists: A Case for Holistic Sociology*// *Journal of Classical Sociology*. Vol. 12. №1. P. 3–21.
- Ignatow G.* (2022). *The Microbiome-Gut-Brain and Social Behavior*// *Journal for the Theory of Social Behaviour*. Vol. 52. №1. P. 164–182.
- Karstedt S.* (2011). *Handle with Care: Emotions, Crime and Justice*// *Emotions, Crime and Justice* / S. Karstedt, I. Loader, H. Strang (Eds.). Oxford: Hart Publishing. P. 1–22.
- Kurakin D.* (2015). *Reassembling the Ambiguity of the Sacred: A Neglected Inconsistency in Readings of Durkheim*// *Journal of Classical Sociology*. Vol. 15. №4. P. 377–395.
- Kurakin D.* (2019). *The Sacred, Profane, Pure, Impure, and Social Energization of Culture*// *The Oxford Handbook of Cognitive Sociology* / W.H. Brekhus and G. Ignatow (Eds.). Oxford: Oxford University Press. P. 485–506.
- Kurakin D.* (2020). *Culture and Cognition: The Durkheimian Principle of Sui Generis Synthesis vs. Cognitive-Based Models of Culture*// *American Journal of Cultural Sociology*. Vol. 8. №1. P. 63–89.

- Lamont M., Adler L., Park B. Y., Xiang X.* (2017). Bridging Cultural Sociology and Cognitive Psychology in Three Contemporary Research Programmes // *Nature Human Behaviour*. Vol. 1. №12. P. 866–872.
- Levine L. J., Burgess S. L.* (1997). Beyond General Arousal: Effects of Specific Emotions on Memory // *Social Cognition*. Vol. 15. №3. P. 157–181.
- Lizardo O.* (2014). Beyond the Comtean Schema: The Sociology of Culture and Cognition versus Cognitive Social Science // *Sociological Forum*. Vol. 29. №4. P. 983–989.
- Lizardo O.* (2017). Improving Cultural Analysis: Considering Personal Culture in its Declarative and Nondeclarative Modes // *American Sociological Review*. Vol. 82. №1. P. 88–115.
- Lizardo O.* (2021). Culture, Cognition, and Internalization // *Sociological Forum*. Vol. 36. №51. P. 1177–1206.
- Lizardo O., Sepulvado B., Stoltz D. S., Taylor M. A.* (2020). What Can Cognitive Neuroscience do for Cultural Sociology? // *American Journal of Cultural Sociology*. Vol. 8. №1. P. 3–28.
- Martin J. L.* (2010). Life's a Beach but you're an Ant, and Other Unwelcome News for the Sociology of Culture // *Poetics*. Vol. 38. P. 228–243.
- Marzi T., Regina A., Righi S.* (2014). Emotions Shape Memory Suppression in Trait Anxiety // *Frontiers in Psychology*. Vol. 4.
- Massumi B.* (1995). The autonomy of Affect // *Cultural Critique*. Vol. 31. №2. P. 83–109.
- Mast J. L.* (2020). Representationalism and Cognitive Culturalism: Riders on Elephants on Turtles all the Way Down // *American Journal of Cultural Sociology*. Vol. 8. №1. P. 90–123.
- Menary R.* (2010). Introduction to the Special Issue on 4E Cognition // *Phenomenology and the Cognitive Sciences*. Vol. 9. №4. P. 459–463.
- Menary R.* (2018). Cognitive Integration: How Culture Transforms Us and Extends Our Cognitive Capabilities // *The Oxford Handbook of 4E Cognition* / A. Newen, L. De Bruin, S. Gallagher (Eds.). Oxford: Oxford University Press. P. 187–216.
- Miller D.* (1998). *A Theory of Shopping*. Ithaca: Cornell University Press.
- Miller W. W.* (2012). Durkheim's Re-Imagination of Australia: A Case Study of the Relation Between Theory and "Facts" // *L'Année Sociologique*. Vol. 62. №2. P. 329–349.
- Newen A., Gallagher S., De Bruin L.* (2018). 4E Cognition: Historical Roots, Key Concepts, and Central Issues // *The Oxford Handbook of 4E Cognition* / A. Newen, L. De Bruin, S. Gallagher (Eds.). Oxford: Oxford University Press. P. 3–16.
- Norton M.* (2020). Meaning on the Move: Synthesizing Cognitive and Systems Concepts of Culture // *American Journal of Cultural Sociology*. Vol. 8. №1. P. 45–62.
- Nussbaum M. C.* (2001). *Upheavals of Thought: The Intelligence of Emotions*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Nussbaum M. C.* (2013). *Political Emotions: Why Love Matters for Justice*. Boston: The Belknap Press of Harvard University Press.
- Ornston D. G.* (1985). The Invention of "Cathexis" and Strachey's Strategy // *The International Review of Psycho-Analysis*. Vol. 12. P. 391–400.

- Paksi D.* (2014). The Concept of Boundary Conditions // *Polanyiana*. Vol. 23. №1–2. P. 5–20.
- Parsons T.* (1937). *The Structure of Social Action*. New York: The Free Press.
- Parsons T.* (1970). *Social Structure and the Development of Personality: Freud's Contribution to the Integration of Psychology and Sociology* // *Social Structure and Personality*. New York: The Free Press. P. 78–111
- Parsons T., Shils E., Allport G., Kluckhohn C., Murray H., Sears R., Sheldon R., Stouffer S., Tolman E.* (1951). *Some Fundamental Categories of the Theory of Action: A General Statement* // *Toward a General Theory of Action* / T. Parsons and E. Shils (Eds.). Boston: Harvard University Press. P. 3–29.
- Polanyi M.* (1968). *Life's Irreducible Structure* // *Science, New Series*. Vol. 160. №3834. P. 1308–1312.
- Rosa H.* (2019). *Resonance: A Sociology of our Relationship to the World*. Cambridge: Polity Press.
- Rosa H.* (2020). *The Uncontrollability of the World* / Tr. by James C. Wagner. Cambridge: Polity Press.
- Sawyer R. K.* (2002). *Durkheim's Dilemma: Toward a Sociology of Emergence* // *Sociological Theory*. Vol. 20. №2. P. 227–247.
- Sawyer R. K.* (2005). *Social Emergence: Societies as Complex Systems*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Schiermer B.* (2019). *Durkheim on Imitation* // *Imitation, Contagion, Suggestion: On Mimicry and Society* / C. Borch (Ed.). Milton Park: Routledge. P. 54–72.
- Shilling C.* (2014). *The Two Traditions in the Sociology of Emotions* // *The Sociological Review*. Vol. 50. №2. P. 10–32.
- Smith P.* (2020). *Durkheim and After: The Durkheimian Tradition, 1893–2020*. New York: Polity Press.
- Smith P., Stoll F.* (2021). *A Maximal Understanding of Sacrifice: Bataille, Richard Wagner, Pilgrimage and the Bayreuth Festival* // *Religions*. Vol. 12. №1. P. 53–67.
- Stets J. E., Turner J. H.* (Eds.). (2006). *Handbook of the Sociology of Emotions*. New York: Springer.
- Stets J. E., Turner J. H.* (Eds.). (2014). *Handbook of the Sociology of Emotions: Volume II*. Dordrecht: Springer.
- Strachey J.* (1955). *Editor's Introduction to Studies of Hysteria (1893–1895)* // *The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud*. Vol. 2 / Translated from the German under the General Editorship of James Strachey. In collaboration with Anna Freud. Assisted by Alix Strachey and Alan Tyson. London: The Hogarth Press. P. ix–xxviii.
- Strachey J.* (1962). *The Emergence of Freud's Fundamental Hypotheses, Appendix to The Neuro-Psychoses of Defence* // *The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud*. Vol. 3. London: The Hogarth Press. P. 62–68.
- Tomasello M.* (2008). *Origins of Human Communication*. Boston: MIT Press.
- Turner J. H.* (2000). *On the Origins of Human Emotions: A Sociological Inquiry into the Evolution of Human Affect*. Palo Alto: Stanford University Press.

- Turner J. H. (2007). *Human Emotions: A Sociological Theory*. Milton Park: Routledge.
- Turner S. (2018). *Cognitive Science and the Social: A Primer*. Milton Park: Routledge.
- Vaisey S. (2009). Motivation and Justification: A Dual-Process Model of Culture in Action // *American Journal of Sociology*. Vol. 114. №6. P. 1675–1715.
- Vaisey S., Valentino L. (2018). Culture and Choice: Toward Integrating Cultural Sociology with the Judgment and Decision-Making Sciences // *Poetics*. Vol. 68. P. 131–143.
- Wacquant L. (2004). *Body and Soul: Notebooks of an Apprentice Boxer*. Oxford: Oxford University Press.
- Wacquant L. (2015). For a Sociology of Flesh and Blood // *Qualitative Sociology*. Vol. 38. P. 1–11.
- Wacquant L. (2022). Ruination in the Ring: Habitus in the Making of a Professional “Opponent” // *Ethnography*. №2. P. 193–217.
- Александр Д., Смит Ф. (2010). Сильная программа в культурсоциологии: Элементы структурной герменевтики / Пер. с англ. С. Джакуповой под ред. Д. Куракина // *Социологическое обозрение*. Т. 9. №2. С. 11–30.
- Батай Ж. (2006). Проклятая часть. Опыт общей экономики / Пер. с фр. А. В. Соловьева // *Проклятая часть: сакральная социология* / Сост., общ. ред. и вступит. статья С. Н. Зенкина. М.: Ладомир. С. 109–236.
- Белла Р. (2019). *Религия в человеческой эволюции: от палеолита до осевого времени*. М.: Издательство Библиейско-богословского института св. апостола Андрея.
- Вебер М. (2004). *Хозяйство и общество* / Пер. с нем. А. Ф. Филиппова // *Западная экономическая социология. Хрестоматия современной классики* / Сост. и науч. ред. В. В. Радаева. М.: РОССПЭН.
- Гириц К. (2004а). Глубокая игра: заметки о петушиных боях у балийцев / Пер. с англ. Е. М. Лазаревой под ред. А. В. Матешук // *Интерпретация культур*. М.: РОСПЭН. С. 473–522.
- Гириц К. (2004б). Развитие культуры и эволюция разума / Пер. с англ. В. Г. Николаева // *Интерпретация культур*. М.: РОСПЭН. С. 69–103.
- Девятко И. Ф. (1993). *Диагностическая процедура в социологии: очерк истории и теории*. М.: Наука.
- Девятко И. Ф. (2015). Социальное знание и социальная теория: от социологии знания к когнитивной социологии // *Обыденное и научное знание об обществе: взаимовлияния и реконфигурации* / И. Ф. Девятко, Р. Н. Абрамов, И. В. Катерный (ред.). М.: Прогресс-Традиция. С. 13–40.
- Деева М. (2010). От индивидуального к разделяемому аффекту: постдюркгеймианская традиция в социологии эмоций // *Социологическое обозрение*. Т. 9. №2. С. 134–154.
- Дюркгейм Э. (1995). Представления индивидуальные и представления коллективные // *Дюркгейм Э. Социология: ее предмет, метод, предназначение* / Пер. с фр., составление, послесловие и примечания А. Б. Гофмана. М.: Канон.
- Дюркгейм Э. (2018). Элементарные формы религиозной жизни / Пер. с фр. В. Земсковой под ред. Д. Куракина; Вступ. ст. Д. Куракина. М.: Элементарные формы.

- Жирав Р. (2000). Насилие и священное / Пер. с фр. Г. Дашевского. М.: Новое литературное обозрение.
- Зенкин С. Н. (2011). Явленное сакральное (numen) // Социологическое обозрение. Т. 10. № 1–2. С. 197–222.
- Зыгмонт А. (2018). Святая негативность: Насилие и сакральное в философии Жоржа Батая. М.: Новое литературное обозрение.
- Кайуа Р. (2003). Миф и человек. Человек и сакральное / Пер. с фр. С. Н. Зенкина. М.: ОГИ.
- Катаев Д. (2020). Новая критическая теория или аналитический эмпиризм? // Социологическое обозрение. Т. 19. №3. С. 426–449.
- Коллинз Р. (2002). Социология философий: глобальная теория интеллектуального изменения / Пер. с англ. Н. С. Розова и Ю. Б. Вертгейм. Новосибирск: Сибирский хронограф.
- Куракин Д. (2018). Предисловие к русскому переводу “Элементарных форм религиозной жизни” // Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни: тотемическая система в Австралии / Пер. с фр. В. Земсковой; науч. ред. Д. Куракина. М.: Элементарные формы. С. 15–48.
- Малиновский Б. (2004). Избранное: Аргонавты западной части Тихого океана / Пер. с англ. В. Н. Поруса. М.: РОССПЭН.
- Мосс М. (1996а). Очерк о даре. Форма и основание обмена в архаических сообществах // Мосс М. Общества. Обмен. Личность. Труды по социальной антропологии. М.: Восточная литература. С. 83–222.
- Мосс М. (1996б). Физическое воздействие на индивида коллективно внушенной мысли о смерти // Мосс М. Общества. Обмен. Личность: Труды по социальной антропологии. М.: Восточная литература. С. 223–241.
- Мосс М., Юбер А. (2000). Очерк о природе и функциях жертвоприношения // Социальные функции священного / Пер. с франц. под общ. ред. И. В. Утехина. СПб.: Евразия.
- Николаев В. Г. (2002). Джек М. Барбалет. Эмоция, социальная теория и социальная структура: Макросоциологический подход // Социологическое обозрение. Т. 2. №2. С. 3–9.
- Парсонс Т. (2002). Понятие общества: компоненты и их взаимоотношения // Теоретическая социология: Антология: В 2-х ч. / Сост. и общ. ред. С. П. Баньковской. М.: Книжный дом “Университет”. С. 3–42
- Симонова О. А. (2018а). Изучение эмоций как область междисциплинарной интеграции: история и социология в поисках объяснения «эмоционального поворота» // Социологическое обозрение. Т. 17. №3. С. 356–378.
- Симонова О. А. (2018б). Социология эмоций: основные принципы и перспективы изучения // Личность. Культура. Общество. Т. 20. №3–4. С. 212–219.
- Фельдман Баррет Л. (2018). Как рождаются эмоции. Революция в понимании мозга и управлении эмоциями. М.: Манн, Иванов и Фербер.
- Филитов А. Ф. (2006). Триггеры социальных событий // Логос. №5. С. 104–117.

- Фрейд З. (2020). Толкование сновидений / Пер. с нем.: М. К. Коган, Я. М. Коган. М.: Академический проект.
- Фуко М. (1994). О трансгрессии // Танатография Эроса: Жорж Батай и французская мысль середины XX века. СПб: Мифрил. С. 113–131.
- Шариков Д. Д. (2019). Новая социология культуры: от «ящиков с инструментами» к когнитивным процессам // Журнал социологии и социальной антропологии. Т. 22. №3. С. 179–210.
- Шмитт К. (2008). Номос Земли в праве народов *jus publicum Europaeum* / Пер. с нем. К. Лощевского и Ю. Коринца под ред. Д. Кузницына. СПб: Владимир Даль.

## Cathectic mechanisms of culture<sup>24</sup>

### Part 1

*Dmitry Kurakin*

PhD, Lead Research Fellow, Centre for Fundamental Sociology, Professor the Department of Educational Programmes at the Institute of Education, HSE University. Visiting Professor in Sociology at Yale University. Address: Myasnitskaya str., 20, Moscow, Russian Federation 101000  
E-mail: dmitry.kurakin@hse.ru

The first part of the article introduces a new research program that focuses on the constitutive role of emotions, affect, and their intensity in meaning-making. It opposes the existing broad tradition that effectively posits culture as information and sees cultural processes as coding, transferring, and processing information. I suggest that such a “cybernetic” paradigm of culture stems from the implicit or explicit domination of the computational models of cognition in sociology. However, current progress in cognitive neuroscience and its theoretical comprehension makes these models inadequate. The ongoing shift to distributed models of cognition calls for an adjustment of the concept of culture regarding its “vertical”, emotional dimension. Instead of seeing emotions as an “amplifier” of pre-existing cultural meanings or as a “fuel” of social processes, we should see emotions as an ingredient of an emergent synthesis that creates culture. The first part of the article introduces a historical-sociological reconstruction of theories recognizing an integral emotional dimension of culture; this is opposed to the entire sub-discipline of the sociology of emotions that broadly describes the mutual influences between social life and emotions as a human psychic trait. In the context of the ongoing debates about a cognitive turn in sociology, this historical-sociological reconstruction allows me to build a Durkheimian theory of cathectic mechanisms of culture based on the re-interpretation of the Freudian concept of cathexis. The article also contains the basic principles and implications of the sociological theory of cathexis.

*Keywords:* cathexis, emotions, affect, the sacred, cultural sociology, sociology of culture and cognition, cognitive processes

24. Acknowledgments. I am genuinely grateful to Inna Deviatko and Alexander Filippov, who contributed many hours of focused discussions and lengthy correspondence, rich with sophisticated commentaries and invaluable suggestions. Undoubtedly, the advancements I was able to develop based on this important resource were limited by my own knowledge and talents. I am grateful to Vanina Leschziner and Jason Mast for very useful suggestions for a section containing an outline of the theory of cathexis in a different article. The feedback I received from Philip Smith, Jeffrey Alexander, Werner Binder, and other participants of the Yale Center for Cultural Sociology Workshop in November 2020 helped me at an earlier stage of my work. This study has also largely benefited from the influence of Andrea Brighenti, Giuseppe Sciortino, and other colleagues from the University of Trento where I spent the last academic year.

## References

- Abrutyn S., Lizardo O. (2020) Grief, Care, and Play: Theorizing the Affective Roots of the Social Self. *Advances in Group Processes, Vol. 37* (eds. S. R. Thye, E. J. Lawler), Bingley: Emerald Publishing Limited, pp. 79–108.
- Ahmed S. (2004) *The Cultural Politics of Emotion*, Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Aleksander D., Smit F. (2010) Sil'naja programma v kul'tursociologii: Jelementy strukturnoj germenevtiki [Strong Program in Cultural Sociology: Elements of Structural Hermeneutics]. Tr by S. Dzhakupovoj (ed. D. Kurakina). *Sociologicheskoe Obozrenie*, vol. 9, no 2, pp. 11–30.
- Bataj Zh. (2006) Prokljataja chast': Opyt obshhej jekonomiki [The Accursed Share: General Economics]. *Prokljataja chast': sakral'naja sociologija* [The Accursed Share: Sacred Sociology]. Tr by A. V. Solov'eva (ed. S. N. Zenkina), Moscow: Ladomir, pp. 109–236.
- Bella R. (2019) *Religija v chelovecheskoj jevoljucii: ot paleolita do osevogo vremeni* [Religion in Human Evolution: from the Paleolithic to the Axial Age], Moscow: Izdatel'stvo Biblejsko-bogoslovskogo instituta sv. apostola Andreja.
- Bericat E. (2016) The Sociology of Emotions: Four Decades of Progress. *Current Sociology*, vol. 64, no 3, pp. 491–513.
- Bettelheim B. (1983) *Freud and Man's Soul: An Important Re-Interpretation of Freudian Theory*, New York: Vintage Books.
- Bourdieu P. (2000) *Pascalian Meditations*, Palo Alto: Stanford University Press.
- Breuer J., Freud S. (1955) The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud. Vol. 2. The Studies of Hysteria (ed. J. Strachey), London: The Hogarth Press.
- Brighenti A. M. (2023) *Elias Canetti and Social Theory*, New York: Bloomsbury Academic.
- Clark A., Chalmers D. J. (1998) The extended mind. *Analysis*, vol. 58, no 1, pp. 7–19.
- Clarke S (2003) Psychoanalytic Sociology and the Interpretation of Emotion. *Journal for the Theory of Social Behaviour*, vol. 33, no 2, pp. 145–163.
- Clayton, P. (2006). Conceptual Foundations of Emergence Theory. *The Re-Emergence of Emergence. The Emergentist Hypothesis from Science to Religion* (eds. P. Clayton, P. Davies), Oxford: Oxford University Press, pp. 1–30.
- Collins R. (2004) *Interaction Ritual Chains*, Princeton: Princeton University Press.
- Collins R. (2008) *Violence. A Micro-Sociological Theory*, Princeton: Princeton University Press.
- Damasio A. R. (1994) *Descartes' Error: Emotion, Rationality and the Human Brain*, New York: Putnam.
- Deeva M. (2010) Ot individual'nogo k razdeljaemomu affektu: postdurkgejmianskaja tradicija v sociologii jemocij [From Individual to shared affect: the Post-Durkheimian tradition in the Sociology of Emotions]. *Russian Sociological Review*, vol. 9, no 2, pp. 134–154.
- Devjatko I. F. (2015). Social'noe znanie i social'naja teorija: ot sociologii znanija k kognitivnoj sociologii [Social Knowledge and Social Theory: from the Sociology of Knowledge to Cognitive Sociology]. *Obydennoe i nauchnoe znanie ob obshhestve: vzaimovlijanija i rekonfiguracii* [Ordinary and Scientific Knowledge about Society: Mutual Influences and Reconfigurations] (eds. I. F. Devjatko, R. N. Abramov, I. V. Katernyj), Moscow: Progress-Tradicija, pp. 13–40.
- Devjatko I. F. (1993) *Diagnosticheskaja procedura v sociologii: ocherk istorii i teorii* [Diagnostic Procedure in Sociology: an Essay on History and Theory], Moscow: Nauka.
- Dewey J. (1894) The Theory of Emotion: I: Emotional Attitudes. *Psychological Review*, vol. 1, no 6, pp. 553–569.
- Durkheim E. (1995) Predstavlenija individual'nye i predstavlenija kolektivnye [Individual Representations and Collective Representations]. *Sociologija: ee predmet, metod, prednaznachenie* [Sociology: Its Subject, Method, Purpose]. Tr. by A. B. Gofmana, Moscow: Kanon.
- Durkheim E. (2018) *Jelementarnye formy religioznoj zhizni* [Elementary Forms of Religion Life]. Tr. by V. Zemskovoj (ed. D. Kurakina), Moscow: Jelementarnye formy.
- Durkheim E. (1895) Lo stato attuale degli studi sociologici in Francia. *La Riforma Sociale*, vol. 3, pp. 607–622.
- Durkheim E. (1973) The Dualism of Human Nature and its Social Conditions. *Emile Durkheim: On Morality and Society. Selected Writings* (ed. R. N. Bellah), Chicago: The University of Chicago Press, pp. 149–163.



- Eck D., Turner S. (2019) Cognitive Science and Social Theory. *The Oxford Handbook of Cognitive Sociology* (eds. W. H. Brekhus, G. Ignatow), Oxford: Oxford University Press, pp. 153–168.
- Fel'dman Barret L. (2018) *Kak rozhdajutsja jemocii. Revolucija v ponimanii mozga i upravlenii jemocijami* [How Emotions Are Made. The Secret Life of the Brain], Moscow: Mann, Ivanov and Ferber.
- Filippov A. F. (2006) Triggery social'nyh sobytij [Social event triggers]. *Logos*, no 5, pp. 104–117.
- Freud S. (2020) *Tolkovanie snovidenij* [The Interpretation of Dreams]. Tr. by M. K. Kogan, Ja. M. Kogan, Moscow: Akademicheskij proekt.
- Freud S. (1966) Project for a Scientific Psychology. *The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud. Vol. 1* (ed. J. Strachey), London: The Hogarth Press. P. 283–397.
- Fuko M. (1994) O transgressii [About Transgression]. *Tanatografija Jerosa: Zhorzh Bataj i francuzskaja mysl' sere diny XX veka* [Thanatography of Eros: Georges Bataille and French Thought of the Mid-20th Century], Saint Petersburg: Mifril, pp. 113–131.
- Girc K. (2004a) Glubokaja igra: zametki o petushinyh bojah u balijcev [Deep Play: Notes on Balinese Cockfighting]. *Interpretacija kul'tur* [Interpretation of Culture]. Tr. by E. M. Lazarevoj (ed. A. B. Mateshuk), Moscow: ROSPJeN, pp. 473–522.
- Girc K. (2004b) Razvitie kul'tury i jevoljucija razuma [Development of Culture and Evolution of the Mind]. *Interpretacija kul'tur* [Interpretation of Culture]. Tr. by V. G. Nikolaeva, Moscow: ROSPJeN, pp. 69–103.
- Haidt J. (2001) The Emotional Dog and its Rational Tail: A Social Intuitionist Approach to Moral Judgment. *Psychological Review*, vol. 108, pp. 814–834.
- Harlé K. M., Shenoy P., Paulus M. P. (2013) The Influence of Emotions on Cognitive Control: Feelings and Beliefs—Where do they Meet? *Frontiers in Human Neuroscience*, vol. 7.
- Hoffer P. T. (2005) Reflections on Cathexis. *Psychoanalytic Quarterly*, vol. LXXIV, pp. 1127–1135.
- Hutchins E. (1995) *Cognition in the wild*, Boston: MIT Press.
- Ignatow G. (2007) Theories of Embodied Knowledge: New Directions for Cultural and Cognitive Sociology? *Journal for the Theory of Social Behaviour*, vol. 37, no 2, pp. 115–135.
- Ignatow G. (2010) Morality and Mind-Body Connections. *Handbook of the Sociology of Morality* (eds. S. Hiltin, S. Vaisey), New York: Springer, pp. 411–424.
- Ignatow G. (2012) Mauss's Lectures to Psychologists: A Case for Holistic Sociology. *Journal of Classical Sociology*, vol. 12, no 1. pp. 3–21.
- Ignatow G. (2022) The Microbiome-Gut-Brain and Social Behavior. *Journal for the Theory of Social Behaviour*, vol. 52, no 1, pp. 164–182.
- Kajua R. (2003) *Mif i chelovek. Chelovek i sakral'noe* [Myth and Man. Man and Sacred]. Tr. by S. N. Zenkina, Moscow: OGI.
- Karstedt S. (2011) Handle with Care: Emotions, Crime and Justice. *Emotions, Crime and Justice* (eds. S. Karstedt, I. Loader, H. Strang), Oxford: Hart Publishing, pp. 1–22.
- Kataev D. (2020) Novaja kriticheskaja teorija ili analiticheskij jempirizm? [New critical Theory or Analytical Empirism?]. *Russian Sociological Review*, vol. 19, no 3, pp. 426–449.
- Kollins R. (2002) *Sociologija filosofij: global'naja teorija intellektual'nogo izmenenija* [Sociology of Philosophie: A Global Theory of Intellectual Change]. Tr. by N. S. Rozova, Ju. B. Vertgejm, Novosibirsk: Sibirskij hronograf.
- Kurakin D. (2015) Reassembling the Ambiguity of the Sacred: A Neglected Inconsistency in Readings of Durkheim. *Journal of Classical Sociology*, vol. 15, no 4, pp. 377–395.
- Kurakin D. (2018) Predislovie k russkomu perevodu "Jelementarnyh form religioznoj zhizni" [Editor's Introduction to «Elementary Forms to Religious Life», Durkheim E., *Jelementarnye formy religioznoj zhizni: totemicheskaja sistema v Avstralii* [Elementary Forms to Religious Life: The Totemic System in Australia]. Tr. by V. Zemskovoj, ed. D. Kurakina, Moscow: Jelementarnye formy, pp. 15–48.
- Kurakin D. (2019) The Sacred, Profane, Pure, Impure, and Social Energization of Culture. *The Oxford Handbook of Cognitive Sociology* (eds. W. H. Brekhus, G. Ignatow), Oxford: Oxford University Press, pp. 485–506.
- Kurakin D. (2020) Culture and Cognition: The Durkheimian Principle of Sui Generis Synthesis vs. Cognitive-Based Models of Culture. *American Journal of Cultural Sociology*, vol. 8, no 1. pp. 63–89.

- Lamont M., Adler L., Park B.Y., Xiang X. (2017) Bridging Cultural Sociology and Cognitive Psychology in Three Contemporary Research Programmes. *Nature Human Behaviour*, vol. 1, no 12. pp. 866–872.
- Levine L.J., Burgess S.L. (1997) Beyond General Arousal: Effects of Specific Emotions on Memory. *Social Cognition*, vol. 15, no 3. pp. 157–181.
- Lizardo O. (2014) Beyond the Comtean Schema: The Sociology of Culture and Cognition versus Cognitive Social Science. *Sociological Forum*, vol. 29, no 4, pp. 983–989.
- Lizardo O. (2017) Improving Cultural Analysis: Considering Personal Culture in its Declarative and Nondeclarative Modes. *American Sociological Review*, vol. 82, no 1, pp. 88–115.
- Lizardo O. (2021) Culture, Cognition, and Internalization. *Sociological Forum*, vol. 36, no 51, pp. 1177–1206.
- Lizardo O., Sepulvado B., Stoltz D.S., Taylor M. A. (2020) What Can Cognitive Neuroscience do for Cultural Sociology? *American Journal of Cultural Sociology*, vol. 8, no 1, pp. 3–28.
- Malinovskij B. (2004) *Izbrannoe: Argonavty zapadnoj chasti Tihogo okeana* [Select Argonauts of the Western Pacific]. Tr. by V.N. Porusa, Moscow: ROSSPEN.
- Martin J.L. (2010) Life's a Beach but you're an Ant, and Other Unwelcome News for the Sociology of Culture. *Poetics*, vol. 38, pp. 228–243.
- Marzi T., Regina A., Righi S. (2014) Emotions Shape Memory Suppression in Trait Anxiety. *Frontiers in Psychology*, vol. 4.
- Massumi B. (1995) The autonomy of Affect. *Cultural Critique*, vol. 31, no 2, pp. 83–109.
- Mast J.L. (2020) Representationalism and Cognitive Culturalism: Riders on Elephants on Turtles all the Way Down. *American Journal of Cultural Sociology*, vol. 8, no 1, pp. 90–123.
- Menary R. (2010) Introduction to the Special Issue on 4E Cognition. *Phenomenology and the Cognitive Sciences*, vol. 9, no 4, pp. 459–463.
- Menary R. (2018) Cognitive Integration: How Culture Transforms Us and Extends Our Cognitive Capabilities. *The Oxford Handbook of 4E Cognition* (eds. A. Newen, L. De Bruin, S. Gallagher), Oxford: Oxford University Press, pp. 187–216.
- Miller D. (1998) *A Theory of Shopping*, Ithaca: Cornell University Press.
- Miller W.W. (2012) Durkheim's Re-Imagination of Australia: A Case Study of the Relation Between Theory and "Facts". *L'Année Sociologique*, vol. 62, no 2, pp. 329–349.
- Moss M. (1996a) Oчерk o dare. Forma i osnovanie obmena v arhaicheskikh soobshhestvakh [Essey on Gift. Form and Basis of Exchange in Archaic Communities]. *Obshhestva. Obmen. Lichnost'. Trudy po social'noj antropologii* [Society. Exchange. Personality: Works on Social Anthropology], Moscow: Vostochnaja literature, pp. 83–222.
- Moss M. (1996b) Fizicheskoe vozdejstvie na individa kollektivno vnushennoj mysli o smerti [Physical Impact on an Individual of a Collectively Inspired Thought of Death]. *Obshhestva. Obmen. Lichnost': Trudy po social'noj antropologii* [Society. Exchange. Personality: Works on Social Anthropology], Moscow: Vostochnaja literatura, pp. 223–241.
- Moss M., Juber A. (2000) Oчерk o prirode i funkciyah zhertvoprinoshenija [Essay on the Nature and Functions of Sacrifice]. *Social'nye funkcii svjashhennogo* [Social Functions of the Sacred] (ed. I.V. Utehina), Saint Petersburg: Evrazija.
- Newen A., Gallagher S., De Bruin L. (2018) 4E Cognition: Historical Roots, Key Concepts, and Central Issues. *The Oxford Handbook of 4E Cognition* (eds. A. Newen, L. De Bruin, S. Gallagher), Oxford: Oxford University Press, pp. 3–16.
- Nikolaev V. G (2002) Dzhek M. Barbalet. Jemocija, social'naja teorija i social'naja struktura: Makrosociologicheskij podhod [Emotion, Social theory and Social Structure: Macrosociological Approach]. *Russian Sociological Review*, vol. 2, no 2, pp. 3–9.
- Norton M. (2020) Meaning on the Move: Synthesizing Cognitive and Systems Concepts of Culture. *American Journal of Cultural Sociology*, vol. 8, no 1, pp. 45–62.
- Nussbaum M. C. (2001) *Upheavals of Thought: The Intelligence of Emotions*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Nussbaum M. C. (2013) *Political Emotions: Why Love Matters for Justice*, Boston: The Belknap Press of Harvard University Press.
- Ornston D.G. (1985) The Invention of "Cathexis" and Strachey's Strategy. *The International Review of Psycho-Analysis*, vol. 12, pp. 391–400.

- Paksi D. (2014) The Concept of Boundary Conditions. *Polanyiana*, vol. 23, no 1-2. pp. 5–20.
- Parsons T. (1937) *The Structure of Social Action*, New York: The Free Press.
- Parsons T. (1970) Social Structure and the Development of Personality: Freud's Contribution to the Integration of Psychology and Sociology. *Social Structure and Personality*, New York: The Free Press, pp. 78–111.
- Parsons T., Shils E., Allport G., Kluckhohn C., Murray H., Sears R., Sheldon R., Stouffer S., Tolman E. (1951) Some Fundamental Categories of the Theory of Action: A General Statement. *Toward a General Theory of Action* (eds. T. Parsons, E. Shils), Boston: Harvard University Press, pp. 3–29.
- Parsons, T. (2002). Ponjatje obshhestva: komponenty i ih vzaimootnosheniya [The Concept of a Society: Components and their Relationships]. *Teoreticheskaja sociologija: Antologija: V 2-h ch.* [Theoretical Sociology: An Antology], 2 Vols., ed. S. P. Ban'kovskoj, Moscow: Knizhnyj dom "Universitet", pp. 3–42
- Polanyi M. (1968) Life's Irreducible Structure. *Science, New Series*, vol. 160, no 3834, pp. 1308–1312.
- Rosa H. (2019) *Resonance: A Sociology of our Relationship to the World*, Cambridge: Polity Press.
- Rosa H. (2020) *The Uncontrollability of the World*, Cambridge: Polity Press.
- Sawyer R. K. (2002) Durkheim's Dilemma: Toward a Sociology of Emergence. *Sociological Theory*, vol. 20, no 2, pp. 227–247.
- Sawyer R. K. (2005) *Social Emergence: Societies as Complex Systems*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Schiermer B. (2019) Durkheim on Imitation. *Imitation, Contagion, Suggestion: On Mimesis and Society* (ed. C. Borch), Milton Park: Routledge, pp. 54–72.
- Sharikov D. D. (2019) Novaja sociologija kul'tury: ot «jashhikov s instrumentami» k kognitivnym processam [New sociology of culture: from "toolboxes" to cognitive processes]. *The Journal of Sociology and Social Anthropology*, vol. 22, no 3, pp. 179–210.
- Shilling C. (2014) The Two Traditions in the Sociology of Emotions. *The Sociological Review*, vol. 50, no 52. pp. 10–32.
- Shmitt K. (2008) *Nomos Zemli v prave narodov jus publicum Europaeum* [Nomos of the Earth in the Law of Peoples Jus Publicum Europaeum]. Tr. by K. Loshhevskogo, Ju. Korinca (ed. D. Kuznycyna), Saint Petersburg: Vladimir Dal'.
- Simonova O. A. (2018a) Izuchenie jemocij kak oblast' mezhdisciplinarnoj integracii: istorija i sociologija v poiskah objasnenija «jemocional'nogo povorota» [The Study of Emotions as a Field of Interdisciplinary Integration: History and Sociology in Search of an Explanation of the «Emotional Turn»]. *Russian Sociological Review*, vol. 17, no 3, pp. 356–378
- Simonova O. A. (2018b) Sociologija jemocij: osnovnye principy i perspektivy izuchenija [Sociology of emotions: basic principles and prospects for study]. *Lichnost'. Kul'tura. Obshhestvo*, vol. 20, no 3-4, pp. 212–219.
- Smith P. (2020) *Durkheim and After: The Durkheimian Tradition, 1893-2020*, New York: Polity Press.
- Smith P., Stoll F. (2021) A Maximal Understanding of Sacrifice: Bataille, Richard Wagner, Pilgrimage and the Bayreuth Festival. *Religions*, vol. 12, no 1, pp. 53–67.
- Stets J. E., Turner J. H. (Eds.) (2006) *Handbook of the Sociology of Emotions*, New York: Springer.
- Stets J. E., Turner J. H. (Eds.) (2014) *Handbook of the Sociology of Emotions: Volume II*, Dordrecht: Springer.
- Strachey J. (1955). Editor's Introduction to Studies of Hysteria (1893-1895). *The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud. Vol. 2*, London: The Hogarth Press, pp. ix–xxviii.
- Strachey J. (1962) The Emergence of Freud's Fundamental Hypotheses, Appendix to The Neuro-Psychoses of Defence. *The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud. Vol. 3*, London: The Hogarth Press, pp. 62–68.
- Tomasello M. (2008) *Origins of Human Communication*, Boston: MIT Press.
- Turner J. H. (2000) *On the Origins of Human Emotions: A Sociological Inquiry into the Evolution of Human Affect*, Palo Alto: Stanford University Press.
- Turner J. H. (2007) *Human Emotions: A Sociological Theory*, Milton Park: Routledge.
- Turner S. (2018) *Cognitive Science and the Social: A Primer*, Milton Park: Routledge.
- Vaisey S. (2009) Motivation and Justification: A Dual-Process Model of Culture in Action. *American Journal of Sociology*, vol. 114, no 6, pp. 1675–1715.

- Vaisey S., Valentino L. (2018) Culture and Choice: Toward Integrating Cultural Sociology with the Judgment and Decision-Making Sciences. *Poetics*, vol. 68, pp. 131–143.
- Weber M. (2004) Hozhajstvo i obshhestvo [Economy and Society]. *Zapadnaja jekonomicheskaja sociologija. Hrestomatija sovremennoj klassiki* [Western Economic and Sociology. Readers of Modern Classics]. Tr. by A. F. Filippov (ed. V.V. Radaev), Moscow: ROSSPJeN.
- Wacquant L. (2004) *Body and Soul: Notebooks of an Apprentice Boxer*, Oxford: Oxford University Press.
- Wacquant L. (2015) For a Sociology of Flesh and Blood. *Qualitative Sociology*, vol. 38, pp. 1–11.
- Wacquant L. (2022) Ruination in the Ring: Habitus in the Making of a Professional “Opponent”. *Ethnography*, no 2, pp. 193–217.
- Zenkin S. N. (2011) Javlennoe sakral'noe (numen) [Revealed Sacred (Numen)]. *Russian Sociological Review*, vol. 10, no 1-2, pp. 197–222.
- Zhirar R. (2000) *Nasilie i svjashhennoe* [Violence and the Sacred]. Tr. by G. Dashevskogo, Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.
- Zygmunt A. (2018) *Svjataja negativnost': Nasilie i sakral'noe v filosofii Zhorzha Bataja* [Holy Negativity: Violence and the Sacred in the Philosophy of Georges Bataille], Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.

## Ретроактивные категоризации, или Постколониальность как состояние\*

Владимир С. Малахов

Доктор политических наук, профессор, Школа актуальных гуманитарных исследований,  
Институт общественных наук, РАНХиГС.

Адрес: проспект Вернадского, 82, Москва, 119571, Россия

E-mail: vmalachov@yandex.ru

Бум постколониального и деколониального нарратива, переживаемый сегодня в постсоветских странах, резко контрастирует с отторжением этого нарратива российским академическим и социокультурным мейнстримом. В статье анализируются возможности и границы концептуальной рамки постколониализма; реконструируются аргументы исследователей, скептически воспринявших данную рамку. Автор разводит «постколониализм» как исследовательскую стратегию и «деколониализм» («деколониальную мысль») как форму активизма. По мнению автора, парадигма постколониальных исследований, несмотря на присущие ей теоретические дефициты, заключает в себе серьезный аналитический потенциал, тогда как деколониализм представляет собой внутренне противоречивую идеологическую программу. Кроме того, в статье проводится различие между *постколониализмом* как ситуацией и *постколониальностью* как рефлексией на эту ситуацию. Постколониальность возможна без колониализма. Она обозначает осмысление и переосмысление определенного исторического опыта, независимо от того, квалифицируется ли прошлое состояние как колониальное.

*Ключевые слова:* постколониальные исследования, деколониальная мысль, постсоветское пространство, Россия, Беларусь, Центральная Азия

Понимание постсоветских обществ в концептуальной рамке постколониальных исследований (ПКИ) сегодня многим кажется едва ли не само собой разумеющимся (Ушакин, 2021; Сулейманова, 2022; Мустояпова, 2022; Бисенова, 2023). Между тем еще совсем недавно подобная оптика была в диковинку и в международной, и в русскоязычной академии. Мысль о том, что на постсоветское можно взглянуть как на постколониальное, стала посещать ученых не ранее чем в начале нынешнего века. В числе первых, кого она посетила (во всяком случае, первым, кто облек ее в форму научной публикации), был Дэвид Чиони Мур (Moore, 2001). Правда, характеристика советской периферии в качестве колоний, по отношению к которым Москва выступала метрополией, встречалась в литературе и ранее (Празаускас, 1992; Gleason, 1997; Baberovsky, 1999), не говоря уже о том, что в теории международных отношений и *security studies* такая характеристика давно является рутинной (Ауооб, Ismayilov, 2015). Однако одно дело — использование подобной терминологии по умолчанию, и другое — ее сознательное употребление, предполагающее исследовательскую программу. Именно в этом состоит значимость

---

\* Статья подготовлена в рамках гранта, предоставленного Министерством науки и высшего образования Российской Федерации [соглашение о предоставлении гранта № 075-15-2022-326].

статьи Мура: он поставил вопрос о возможности систематического применения понятийного инструментария ПКИ к постсоветскому кейсу. Но почему для подобной постановки вопроса понадобилось так много времени? Где вы были десять лет?

Надо сказать, что после публикации Мура предложение прибегнуть к постколониальной оптике в анализе постсоветских обществ не получило однозначной поддержки в гуманитарной науке. Вопрос о возможности описывать постсоветское на языке постколониализма еще долго оставался дискуссионным (Adams, 2008; Зубковская, 2007; Round table, 2008). В начале 2010-х, т. е. спустя уже два десятилетия после распада СССР, Сергей Ушакин делится с читателями наблюдением о том, что «среди разнообразных форм концептуализации советского прошлого *начинает складываться* (курсив мой. — В. М.) любопытная — постсоветская — версия постколониализма» (Ушакин, 2011: 210).

Симптоматичен, впрочем, не только временной лаг между концом советского режима и артикуляцией идеи распространить язык ПКИ на постсоветское пространство. Симптоматично то, что сама идея такой экстраполяции натолкнулась на достаточно серьезную критику. Целый ряд исследователей подвергли сомнению допущение, согласно которому постсоветское = постколониальное, и, соответственно, советское = колониальное (Khalid, 2006; Kandiyoti, 2002; Morrison, 2012, 2013; Абашин, 2016). Кроме того, в научном сообществе отчетливо прозвучали голоса тех, кто скептически воспринял парадигму ПКИ как таковую. Одни указывали на опасность семантической инфляции (Todorova, 2010; 2015; Morrison, 2013); другие противопоставляли оптике постколониальности оптику Empire studies как более объемную (Герасимов и др., 2010; Бёрбанк, 2012: 352-353); третьи отмечали обусловленность экстраполяции языка ПКИ на постсоветское пространство конъюнктурными мотивациями — стремлением постсоветских интеллектуалов оптимизировать собственные позиции на глобальном символическом рынке (Garova, 2010). Понадобилось еще десятилетие, чтобы данная оптика овладела воображением исследователей по обе стороны некогда существовавшего «железного занавеса» (цезурой стали два спецвыпуска журнала «Новое литературное обозрение», вышедшие в 2020 году). Однако и после своего утверждения в академическом поле нарратив постколониализма оставался маргинальным в публичном поле (об отсутствии широкого общественного запроса на этот нарратив см.: Abashin, 2014; Gogshenina, 2021; Гапова, 2020). По крайней мере, подобным образом дело обстояло до 24 февраля 2022 года.

Как бы то ни было, в наши дни на всем постсоветском пространстве, за исключением России, наблюдается бум «постколониализма», а интеллектуалы, занимающиеся «деколонизацией сознания», подпитываются энергией гражданского общества. Кроме того, к риторике деколонизации активно прибегают и политики постсоветских государств. Диана Кудайбергенова охарактеризовала это явление как «политический постколониализм» (Kudaibergenova, 2016). Последний представляет собой попытки различных политических групп, от правящих до оппозиционных, присвоить постколониальный нарратив, направив его на решение

чисто инструментальных задач. Происходит это, как отмечает исследовательница, в отсутствие полноценных академических дискуссий.

Таких дискуссий нет и сегодня, зато в соцсетях кипят нешуточные страсти. Мнения участников поляризованы. По одну сторону находятся те, для кого сама попытка осмысления советского опыта в терминах колониальности есть проявление «русофобии». По другую — те, для кого любое сомнение в продуктивности (пост) колониальной оптики в изучении (пост)советских обществ есть не что иное, как манифестация русского имперского шовинизма.

К написанию этого текста нас побудило не столько стремление смягчить данное противостояние (вряд ли такое в настоящий момент возможно), сколько желание прояснить позиции сторон. В первой части статьи предпринимается попытка инвентаризации критических аргументов, высказанных в отношении концептуальной рамки ПКИ вообще и возможности ее экстраполяции на постсоветское пространство, в частности. Во второй части демонстрируется, почему эти аргументы не способны произвести никакого эффекта на исследователей, принявших данную рамку в качестве рабочей.

## **ПКИ как концептуальная рамка: возможности и ограничения**

### *Критика ПКИ в западной академии*

За четыре десятилетия протагонисты ПКИ (или, в другом изводе, Subaltern studies, исследования подчиненных) внесли заметный вклад в гуманитарную науку. Обобщенно говоря, предложенная ими оптика позволила вернуть бывшим «субальтернам» субъектность (Guha, Spivak, 1988; Chatterjee, 1993; Бхабха, 2020; Чакрабартти, 2021).

Надо, однако, заметить, что данная концептуальная рамка была неоднозначно встречена академическим сообществом. Сомнения по поводу ее аналитического потенциала стали звучать практически сразу после публикации знаменитой книги Эдварда Саида (которая, собственно, и послужила толчком последующего развития ПКИ) (Said, 1978; Саид, 2021). Оставляя в стороне множество претензий, высказанных учеными-востоковедами в адрес концепции «ориентализма», остановимся на соображении, затрагивающем ее базовые допущения. Речь идет об аисторизме подхода Саида: Запад и Восток в рамках его подхода мыслятся как застывшие сущности, противостояние которых уходит корнями едва ли не в эпоху греко-персидских войн (Irvin, 2006).

Дальнейшая критика ПКИ исходила в основном из двух аналитических перспектив — марксизма, с одной стороны, и «исследования империй» (Empire studies) — с другой.

Главный упрек марксистов «постколониалистам» состоит в том, что последние подменяют проблематику капитализма проблематикой колониализма. Колониализм представляет собой лишь одну из манифестаций (империалистического)

капитализма (Ahmad, 1992; Dirlik, 1994; San Huan, 1998). Фокусировка на колониальных отношениях в отрыве от политико-экономического контекста капитализма изначально ущербна. Представители «постколониальных исследований» не случайно вписаны в «культурный поворот» («cultural turn»), произошедший в социально-гуманитарных науках в последнюю треть XX столетия. Postcolonial studies — разновидность cultural studies, в эпистемологию и методологию которых заложено игнорирование «экстра-культурных» условий и обстоятельств (Chibber, 2013). Популярность, которую приобрели «постколониальные исследования» в современных западных университетах, марксисты объясняют усталостью радикальных левых интеллектуалов из поколения 1968 года. Они по-прежнему хотят быть радикальными, но теперь стрелы их критики направлены не против капитализма, а против расизма и сексизма (Chibber, 2023).

Представители Empire studies отреагировали на притязание теоретической альтернативы со стороны ПКИ с изрядной долей скепсиса. Энн Стоулер и Фредерик Купер даже позволяют себе выражение «так называемые постколониальные исследования», имея в виду то, что фокусировка на изучении колоний приглашает изучать *части вместо целого*. Ведь сосредоточившись на опыте колоний в отрыве от опыта метрополии, мы подходим к колониальной ситуации как к чему-то самодостаточному. Более того, как подчеркивают Стоулер и Купер, такая фиксация на колонии таит в себе опасность манихейской картины мира — с жестко изолированными друг от друга миром подчиненных и миром господствующих, тогда как на практике имеет место множественность жизненных форм, их постоянное взаимопроникновение (Stoler, Cooper, 1997). Не следует смотреть на колониальную ситуацию в бинарных оппозициях — мир в эпоху колониализма был не меньше, чем сегодня, сложен, фрагментирован и размыт. Всегда существовали гибридные формы культурного поведения.

Процессы, происходящие в центре империи, оказывают влияние на процессы, происходящие на периферии, и наоборот. Французская революция стала триггером Гаитянской революции; национально-освободительная борьба в колониях вдохновляла левосоциалистические движения в метрополиях. Идея социального национального государства, появившаяся в европейских метрополиях в последнюю треть XIX столетия, была подхвачена в колониях, где на такой же идеал государства ориентируются местные реформаторы. Идея «чистой» («аутентичной») яванской культуры возникла на острове Ява не вопреки условиям колониализма, а благодаря им. Она была совместным продуктом голландских антропологов и местных консервативных элит. Аналогичным образом обстояло дело и с представлением об аутентичной индийской культуре: оно формировалось совместными усилиями националистических элит Индии и британских индологов (Чаттерджи, 2002).

Словом, метрополия и колонии теснейшим образом взаимосвязаны. Если же сосредоточиться исключительно на истории «подчиненных», мы не видим этой взаимосвязи. За рамками нашего внимания оказывается *зона взаимодействия*,



каковой по определению является пространство империи (Герасимов и др., 2010). «Постколониальные исследования, — отмечают российские историки, — несмотря на значительные успехи в изучении культурных практик в изначально неравноправных ситуациях культурного или социального контакта, не интересовались империей как особой формой политической организации поликонфессионально-го и полиэтнического пространства, империей как ситуацией *неопределенных границ и взаимных каналов влияния* (курсив мой. — В. М.)» (Герасимов и др., 2010: 17).

Недостаточное внимание к взаимодействию центра и периферии внутри имперских образований, свойственное ПККИ, сопровождается повышенным вниманием к практикам власти в культурной сфере, что в свою очередь ведет к «онтологизации дискурсивной границы между “Востоком” и “Западом” (несмотря на *a priori* заявленное желание теоретиков постколониализма деконструировать эту границу)» (Герасимов и др., 2010: 18). Кстати, полемизируя с ориентализмом, который реифицирует «Восток», постколониальные исследователи склонны реифицировать «Запад». Последний, начиная с Саида, выступает как гомогенный империалистический субъект, которому противостоит сложный и разнообразный Восток.

Итак, *эссенциалистская онтология*, лежащая в основе ПККИ, приглашает к конструированию двух сущностей — культуры колонизаторов, с одной стороны, и культуры колонизированных — с другой. В результате вне поля зрения оказываются различные формы культурной гибридизации<sup>2</sup>.

Впрочем, как уже говорилось, дело не упирается только в культуру. Уместно обратиться к характеру и динамике социально-классовой дифференциации в европейских империях. Отношение их высших классов к низшим долгое время было вполне сравнимо с их отношением к аборигенам в колониях. Это — «опасные классы», отделенные от джентльменов цивилизационной границей: их неправильный диалект и далекие от цивилизованности поведенческие нормы ставят их в один ряд с дикарями на заморских территориях. С распространением гражданства на все мужское население метрополии происходит расширение границ воображаемого сообщества: низшие классы теперь включены в нацию (из которой обычно исключены жители колоний). В то же время, однако, в высшие классы империи инкорпорированы представители колониальных элит: налицо «консолидация буржуазной власти дома и за границей», что порождает «поливалентный дискурс цивилизованности» (Stoler, Cooper, 1997: 10). Это не может не сказаться на дизайне социальной политики (скажем, в сфере образования), а именно на ее нацеленности на поддержание культурных различий между управляемыми и управляющими (будь то в метрополии или в колониях).

---

2. Так, голландские власти в Западной Индии в 1848 году высказывали озабоченность тем, что белые поселенцы (креолы) идентифицировали себя в большей мере с местной «родиной», чем с Нидерландами (или же считали себя скорее гражданами мира, чем голландскими гражданами). Еще одна иллюстрация: в Южной Африке 1930-х годов правящая бюрократия опасалась того, что белые пролетарии в своем «габитусе» имели больше общего с цветными рабочими на тех предприятиях, где они трудились, чем со своими европейскими соотечественниками из средних классов (Stoler, Cooper, 1997).

Еще более радикальна в своей критике постколониальной парадигмы Мария Тодорова. Будучи историком-балканистом, она предпочитает не покидать сферу своей компетенции и, обращаясь к материалу Балкан, приходит к заключению, что словарь колониальности/деколониальности является избыточным. В нем нет необходимости потому, что он ничего не добавляет к знанию о регионе. Имеет смысл кратко воспроизвести ее аргументацию.

Рамка (пост)колониализма для Тодоровой проблематична уже по той причине, что *не все империи — колониальные*. Примером может служить Османская империя. Целых четыре параметра делают ее специфичной по сравнению с колониальными империями Великобритании или Франции. Первое: здесь отсутствует институциональное и правовое разделение между метрополией и зависимыми территориями. (Исключение — арабские провинции в поздний период Османской империи, когда Балканы уже отделились.) Второе: здесь нет изначальной и устойчивой целостности, выступающей субъектом колонизации. Государство в данном случае становится империей по мере своего расширения; если в ситуации с Британской и прочими империями с самого начала налицо государство, которое приступает к колонизации, то в Османской Турции государство, управленческая машина формируется по мере своей территориальной экспансии. Третье: здесь нет *комплекса окультуривания*, одержимости цивилизаторской миссией, свойственных французскому и британскому колониальным проектам. (Опять же за исключением арабских провинций в последние десятилетия существования Османской империи.) И, наконец, четвертое. Здесь нет гегемониального «культурного остатка» (*residue*), выступающего основанием лингвистической и культурной гегемонии (английский язык в Индии, французский язык в Африке и Индокитае и т. д.).

Итак, Османская империя не была колониальной империей. Поэтому не случайно «никто из жителей Балкан, находившихся под Оттоманским правлением, не считал себя колонизированным» (Todorova, 2015: 712). Это — принципиальный момент, поскольку для адекватной характеристики того или иного режима владения историкам необходимо принимать в расчет субъективные восприятия этого режима людьми. *Subjectivity matters!*<sup>3</sup>

Поэтому вплоть до недавнего времени на Балканах и во всей Восточной Европе постколониальная методология не была популярной — в отличие от методологии мир-системного анализа. Турецкие и греческие исследователи, равно как и их коллеги из бывшей Югославии, отдавали предпочтение И. Валлерстайну перед Э. Саидом.

Вердикт Тодоровой однозначен: за отсутствием колонизатора и колонизируемого на Балканах XIX века «использование концепта деколонизация представляется необоснованным» (Todorova, 2015: 714).

---

3. Единственной группой, которая считала себя полукolonизированной, были модернизирующиеся элиты самой империи и, в частности, интеллектуалы. Их голоса звучали и в поздний имперский период, и в республиканской Турции (Todorova, 2010).

### *Опасность семантической инфляции*

Критики рамки ПКИ указывают на расплывчатое, чрезмерно расширительное употребление понятий «колонизация» и «колониализм». Откровенно ироничен в своей полемике с постколониалистами историк Центральной Азии Александр Моррисон, замечая, что *cultural studies*, к которым дисциплинарно принадлежат многие из них, есть способ «сказать о многом, при этом не сказав ничего определенного» (Morrison, 2013: 446). За нестрогое употребление понятий «приходится платить слишком высокую когнитивную и этическую цену», замечает вышеупомянутая Мария Тодорова (Todorova, 2015: 713). При этом она эксплицитно отсылает к «критикам культуры» (Гаятри Спивак и ее коллегам), «*бесконечно расширившим дефиниции колониального и постколониального*» (Ibid.). Целью же такого расширения было создание универсальной, ко всему применимой теории.

«Всякое ли национальное движение должно считаться антиколониальным? — задается вопросом Тодорова. — И всегда ли оно ведет к возникновению постколониальной ситуации? Является ли борьба, которую ведут курды в Турции или Ираке, антиколониальной? Были ли «бархатные революции» в Восточной Европе 1989 года антиколониальными? Можно ли утверждать, что национализм хорватов, словенцев, боснийских мусульман или косовских албанцев достиг кульминации в виде антиколониальной войны против сербских колонизаторов? Является ли ЭТА постколониальным авангардом баскского национализма?» (Todorova, 2010: 181). Риторический характер этих вопросов очевиден.

Семантической инфляцией чревата и концепция «внутреннего колониализма», предложенная Александром Эткингом (Etkind, 2011; Эткинд, Уффельман, Кукулин, 2012). Колонизация и колониализм здесь выступают скорее как метафора, чем как аналитическое понятие (Малахов, 2013; Morrison, 2013). Эткинд предлагает считать объектами колонизации русских крестьян в империи Романовых. Почему, собственно, отношение двора и земельной аристократии к российскому крестьянству нельзя адекватно описать в категориях социального класса? Классовые различия, классовое господство (включая господство культурное) — этот категориальный репертуар представляется для понимания ситуации вполне достаточным. Еще более надуманными выглядят попытки некоторых последователей Эткинга использовать словарь колониализма в описании обращения сталинского режима с сельскими жителями и с заподозренными в нелояльности горожанами — «колонизированными» в результате оказываются и колхозники, и узники ГУЛАГа (Хили, 2012).

### *Неудобства с «деколониальной мыслью»*

В ходе эволюции постколониализма от него отпочковалась так называемая «деколониальная мысль» (ДМ). Пожалуй, самым активным протагонистом последней в англоязычном пространстве является Вальтер Миньоло, а в русскоязычном —

Мадина Тлостанова (Миньоло, 2004a; Tlostanova, Mignolo, 2009; Тлостанова, 2009; Тлостанова, 2020). Если ПКИ — это территория науки, то ДМ — территория активизма. Он не о приращении знания, а о субверсивных практиках по отношению к знанию уже существующему.

«Можно сказать, что для деколониальных мыслителей <...> постколониальный дискурс недостаточно радикален и критичен. Наша критика постколониальности — это не критика слева или справа, а критика с позиции колониального различия, которая выступает в деколониальной мысли не как объект исследования, а как собственное выстраданное состояние, как точка, в которой мы существуем и из которой мы говорим» (Тлостанова, 2020: 34).

Мотивация и движущая сила ДМ — изобличить Модерн («модерность») как «проект» (проект, продемонстрировавший свою агрессивность и деструктивность). Хотелось бы, однако, заметить, что квалифицировать модерность в качестве «проекта» можно лишь с множеством оговорок<sup>4</sup>. Проектом называется план действий, а модерность никто не планировал. Она случилась. Модерность стала результатом структурных обстоятельств, а не чьих-то намерений или особенностей чьего-то менталитета. Технологические прорывы, произошедшие в Европе в раннее Новое время (= ранний Модерн), привели к радикальному изменению общественных отношений. Эти отношения, огрубляя, описываются как капиталистические. Результатом экспансии капитализма (сначала торгового, а затем промышленного) стал колониализм. Поскольку, однако, протагонисты ДМ не пользуются понятием «капитализм» как аналитическим инструментом, они предпочитают вести речь о колониализме в онтологической плоскости, относя колониализм к имманенции Запада, к его внутренней сущности. «Запад» выступает в ДМ не как изменчивое, пронизанное противоречиями историческое образование, а как внеисторическая субстанция, наделенная изначальными свойствами. Эссенциализация Запада плавно переходит в его *демонизацию*. Коль скоро главное свойство «евромодерна» — стремление навязывать миру свои представления о правильном общественном устройстве, Запад оказывается трехговым монстром, первая голова которого — христианство, вторая — либерализм, третья — марксизм. Миньоло прямо говорит, что у христианства, либерализма и марксизма «одна и та же логика» — это «логика колониальности» (Миньоло, 2004: 158). Данное заявление следует понимать в том смысле, что Запад, претендуя на обладание универсальным знанием, стремится распространить это знание на все человечество. Возникает вопрос, а как тогда обстоит дело с «колониальностью», скажем, ислама? Разве ислам (будучи порождением «Востока») не претендует на ту же универсальность, что и порожденные «Западом» христианство, либерализм и марксизм?

У Миньоло и его единомышленников «евромодерн» и «колониальность» неотделимы друг от друга. По сути, модерность тождественна идеологии и практике

---

4. Связывая ее с Просвещением, как это делал в своей известной книге Хабермас.

колониализма<sup>5</sup>. Но если модерность = колониализм, а колониализм = модерность, то как объяснить колониализм Японии первой половины XX века? Это уже не евро-, а «японо-модерн»? Или Япония — географически отдаленное ответвление Запада? Но даже если бы это было так, остается неувязка с приверженностью этой страны к христианству и либерализму.

На мой взгляд, адепты ДМ, хотя бы они того или нет, впадают в *морализацию истории*. Ведь коль скоро стремление колонизировать весь мир сопряжено с насилием, Запад на протяжении последних пяти столетий — это перманентное насилие. Напрашивается совсем банальный вопрос: а разве писаная человеческая история на протяжении шести тысячелетий не была сопряжена с перманентным насилием? Или Древний Египет, империи Ахеменидов, Моголов, Чингисхана, Тамерлана и т. д. обращались с подчиненными народами как-то иначе, чем европейцы?

В оптике ДМ колониальное насилие, исходящее от «Евромодерна», не исчерпывается экономической и политической сферой, но затрагивает и сферу (по) знания. Так у наших авторов появляется концепция «эпистемологического колониализма». Эта концепция предполагает понимание европейской/западной науки как «колониаторской» по своей сути. Эта ее сущность выражается, во-первых, в том, что эта наука исторически выступала союзником колонизаторов, легитимируя порабощение и угнетение. Во-вторых, в ней заложено притязание на универсализм, который на деле таковым не является. Для Миньоло и его единомышленников универсализм есть не что иное, как камуфляж западного партикуляризма, попытка выдать собственную частичность за всеобщность.

Остановимся на каждом из этих моментов подробнее.

Причастность европейской науки к европейской колониальной политике — бесспорный факт. Однако представление о ней как константе аисторично и совершенно игнорирует ее развитие и ее *самокритику*. Европейская наука (в частности, антропология), в самом деле, на протяжении длительного времени выступала союзником колониализма и расизма. Но с середины XX века европейские ученые проделали огромную работу над ошибками: евгеника, «расология», социал-дарвинизм и т. д. сегодня считаются ненаучными, относятся к области предрассудков, а не к области знания. Европейская философия в XIX — первой половине XX столетия опиралась в основном на прогрессистские допущения, унаследованные от эпохи Просвещения. (Хотя, заметим, что внутри европейской мысли было немало представителей консервативной, «почвеннической», антипросвещенческой традиции; стало быть, Европа в эпистемологическом плане — это не только либерализм и прогрессизм, но и их энергичная критика<sup>6</sup>.) Но начиная с «Диалектики Просвещения» Адорно и Хоркхаймера (написанной еще в 1944 году), работ Деррида и других постструктуралистов эти допущения подвергнуты масштабной

---

5. В текстах Глостановой эти понятия употребляются всегда вместе: модерность/колониальность. См.: Глостанова, 2020.

6. Не говоря уже о критике прогрессизма, инициированной Римским клубом в начале 1970-х, а затем развернувшейся в «глубинной экологии» и «инвайронментализме».

ревизии. (Кстати, не на европейскую ли критику европейской мысли опирается Саид в своей критике «ориентализма»?)

Момент второй. На мой взгляд, за представлением о наличии двух сущностей — западной эпистемологии и ее незападной визави — стоит непонимание того, как устроено знание. Никакой западной эпистемологии не существует по той причине, что знание универсально по определению. Теория относительности и теория эволюции не являются, соответственно, немецкой и английской оттого, что первую создал немец, а вторую — англичанин. Они — равно как и «диалогизм» Бахтина, «генеалогия» Фуко, «деконструкция» Деррида — принадлежат к общечеловеческому тезаурусу научного знания. Конечно, на эмпирическом уровне в процессе производства и потребления знания возникает множество асимметрий. Так случилось, что первую скрипку в науке начиная с XVII-XVIII веков играли европейцы. Но это не отменяет значимости в истории науки таких фигур, как, скажем, Ибн Халдун, Маймонид, Ибн Сина, Ибн Рушд и т. д.

Есть еще один вопрос, который хотелось бы адресовать протагонистам тотальной «деколонизации сознания». В той мере, в какой обитатели бывшей периферии усвоили определенные представления, происходящие из бывшей метрополии, они их *присвоили*; эти представления отныне являются их собственными. Или мы должны объявить, что на деле имело место нечто другое: навязывание извне чуждого набора представлений, т. е. «эпистемологический колониализм»? Но не будет ли само такое объявление колониальным жестом? В самом деле, если некоторый набор идей (например, гражданское равенство и демократическое участие), впервые сформулированных на Западе, превратился в составную часть самосознания людей на Востоке — в чем будет заключаться борьба последних за «деколонизацию» их сознания? Может быть, вместо того, чтобы пытаться заменить «западные» идеи «аутентичными» местными, более продуктивно исходить из наличия универсального по содержанию знания, которое в разных местах приобретает разные формы и которые высказываются в разное время?

Нам бы меньше всего хотелось, чтобы изложенное выше было понято как категорическое отрицание необходимости критики существующего знания. Нам, однако, представляется, что способ критики, предложенный классиками постколониальных исследований — Ринаджитом Гуха, Партой Чаттерджи, Дипешем Чакрабартти, — гораздо более продуктивен, чем «деколониальная мысль» в духе Миньоло и его сторонников. Постколониалисты, в отличие от деколониалистов, не отрицают универсальности знания. Чакрабартти, в частности, неустанно подчеркивает, что его целью не является утверждение культурного релятивизма и что, критикуя универсализм и историцизм западного знания, он не собирается противопоставить ему некое альтернативное «незападное» знание. Свою цель он видит в том, чтобы пошатнуть «абстрактный образ универсального человека посредством привнесения в свое прочтение Маркса несколько мыслей Хайдеггера о принадлежности человека и об исторических различиях» (Чакрабартти, 2021: 65). Есть абстрактные понятия (составляющие сильную сторону «аналитической тра-

диции» в истории мысли, которую Чакрабарти связывает с Марксом) и есть конкретные жизненные миры (к изучению которых приглашает «герменевтическая традиция», восходящая к Хайдеггеру). Более пристальное внимание к жизненным мирам не означает отказа от абстрактных понятий. Речь, стало быть, идет о перенастройке взгляда, а не о замене всего зрительного аппарата.

Далек от культурного релятивизма и такой классик ПКИ, как Парта Чаттерджи. Прочитируем: «западный универсализм» не в меньшей степени, чем «восточная исключительность», может оказаться всего лишь особой формой богатой, более сложной и многообразной концептуализации новой всеобщей идеи» (Чаттерджи, 2002: 295).

### *Ретроактивные категоризации: к вопросу о применимости ПКИ к постсоветскому случаю*

Исчерпывающим образом на вопрос «советское = колониальное?» ответил Сергей Абашин (2016). Обращаясь к истории Центральной Азии в составе СССР, ученый начинает каждый параграф своей статьи с пассажа, в котором гипотетически допускается возможность прочесть эту историю в колониальных терминах. Но затем следует разбор, фальсифицирующий эту гипотезу. Итоговый вывод статьи: *советское общество не может быть адекватно описано как колониальное.*

В ходе недавней дискуссии о возможности интерпретировать советский опыт в терминах постколониальной теории Елена Гапова поставила вопрос о закономерностях в «конструировании ретроактивных категоризаций и означиваний, осуществляемых из ситуации, объявленной постколониальной, после превращения некоторых прежде условных разделений в формальные внешние границы» (Гапова, 2020). Выделим здесь два принципиальных момента. Первый: ситуация, в которой находятся бывшие республики Советского Союза, была в определенный момент *объявлена колониальной*, причем, как мы уже отмечали, случилось это далеко не сразу, а спустя почти два десятилетия после 1991 года. Момент второй: изнутри этой ситуации конструируются ретроактивные категоризации и означивания. Исследовательница развивает здесь мысль, высказанную ранее Сергеем Ушакиным (Ушакин, 2011). Речь идет о том, что в процессе переосмысления советского прошлого интеллектуалы постсоветских стран создают ментальные конструкции, позволяющие представить свое присутствие в этом прошлом в выгодном для себя свете. Ушакин предложил в этой связи категорию «постколониального остранения». Благодаря процедуре остранения нечто привычное, знакомое и свое удастся превратить в странное и *чужое*. Гапова, уже без аллюзий на Шкловского, говорит об отчуждении, благодаря которому память о советском прошлом замещается памятью о многовековой национальной истории, в рамках которой советский период оказывается всего лишь неприятным эпизодом. «Советское, то есть бывшее ранее “своим”, отождествляется с внешним (“Москови-ей” как другой страной), отчуждается и, таким образом, может быть представлено в качестве колонизирующей или оккупационной силы» (Гапова, 2020). Тем самым

происходит то, что Ушакин назвал «ретроактивным созданием колониальной субъектности»: интеллектуалы (в анализируемом им случае белорусские) задним числом конструируют аутентичное национальное сообщество. Последнее представляется трансисторическим (вечным и неизменным) целым, пострадавшим от деструктивных внешних воздействий — «оккупаций» и «колонизаций», из чего вытекает интеллектуальная миссия по восстановлению нарушенной аутентичности (Ушакин, 2011). Понятно, что для выполнения этой миссии приходится идти на бесконечное количество натяжек и искажений, в частности — на «замалчивание культурного взаимодействия и обмена, социальной гомогенизации при социализме и т. д.» (Гапова, 2020).

Слово «социализм» имеет в данном контексте принципиальное значение. Интерпретация советского в качестве колониального некорректна прежде всего потому, что советский проект был проектом антикапиталистическим, нацеленным на радикальное устранение социально-классового неравенства. В отличие от колониальных проектов капиталистических держав Запада, социалистический проект пользовался широкой низовой поддержкой. Если британские и французские колонизаторы опираются на элиты, то советские коммунисты — на массы (Чокобаева, 2016). Если колониальные империи распадаются под напором вооруженной борьбы, то «советская империя» прекратила свое существование в результате административного решения (Коткин, 2018).

### Постколониальность как состояние

Сколь бы весомыми ни казались возражения по поводу применимости постколониальной теории к постсоветской реальности, они не способны произвести ни малейшего эффекта на постсоветских интеллектуалов, попавших под обаяние этой концептуальной рамки. Популярность постколониальных нарративов в ближнем для России зарубежье лишь растет. Почему? Тому есть несколько причин. Первая связана с групповыми интересами постсоветских ученых.

Описывая эпистемологическую ситуацию в бывших социалистических странах, Альмира Усманова затронула тему *ангажированного знания*. Это знание, производство которого мотивировано внешними по отношению к чисто исследовательскому интересу причинами (такими, например, как попытка вписаться в господствующие эпистемологические рамки). В качестве примеров ангажированного знания она приводит *gender studies*, *national revival* и *decolonialism* (Усманова, 2020). Эта мысль перекликается с тезисом, выдвинутым в свое время Еленой Гаповой. Выступая на круглом столе, посвященном вопросу о возможности прочтения постсоветского как постколониального, она заявила, что ПКИ не слишком помогают понять советское прошлое, зато очевидно помогают адаптации постсоветских ученых к структурной ситуации на глобальном интеллектуальном рынке (Rountable, 2008: 91-92)<sup>7</sup>.

7. Здесь, как и в ряде других работ, Гапова развивает подход Бурдьё, согласно которому интеллектуалы являются классом, имеющим свои собственные интересы, далеко не всегда совпадающие с интересами непривилегированных классов. См.: Garova, 2010.



И все же за увлечением интеллектуалов постсоветских стран постколониальными нарративами — особенно заметном в Казахстане и Кыргызстане — стояло и стоит нечто большее, чем неосознаваемый корпоративный интерес. Мотивацией обращения к концептуальной рамке ПКИ было не только стремление вписаться в сложившееся в международной академии разделение труда, но и обещание *новых познавательных возможностей*, связанных с этой концептуальной рамкой. Центральноазиатские гуманитарии по мере отдаления от момента конца советского проекта все острее ощущали потребность в смене оптики. Преодолению, а точнее, критическому осмыслению подлежали два навязанных извне языка (внутри которых за местными учеными закреплялась роль ведомых). Язык, навязанный (советской) Россией, предполагал размышление о национальных историях в терминах «преодоления отсталости», «пережитков феодализма», а язык, исходивший с Запада, был заиклен на «нативизме», «коррупции» и «ислаимизме» (Бисенова, Медеуова, 2016).

Центральноазиатские ученые чувствовали свою постоянную объективированность со стороны субъекта, дислоцированного либо в условной Москве, либо в условных Вашингтоне, Лондоне или Париже. Ситуация колониальности проявлялась, среди прочего, в отношении к региону как поставщику сырья для историков (Шелекпаев, Чокобаева, 2023) и объекту наблюдений для антропологов. Существовала презумпция, что местные жители всегда открыты для изучения приезжими учеными, а когда обнаруживалось, что «аборигены» обладают собственной волей, это объяснялось «закрытостью» и «традиционализмом». Например, после того, как казахстанские имамы отказались беседовать с антропологом из США, американская сторона обвинила казахстанскую в «нарушении режима академической свободы» (Бисенова, Медеуова, 2016).

Итак, взгляд из перспективы ПКИ позволяет разглядеть *властные асимметрии* в культурной сфере вообще и в сфере знания в частности.

Нари Шелекпаев и Аминат Чокобаева говорят в этой связи о «тактическом эссенциализме» центральноазиатских исследователей. Отдавая себе отчет в неэффективности эссенциализма как методологической установки, они прибегают к эссенциализму как инструменту дистанцирования от советского прошлого. Именно в таком ключе следует понимать их обращение с нациями как трансисторическими сущностями (Шелекпаев, Чокобаева, 2020).

Развивая хрестоматийный сюжет о том, «могут ли угнетенные говорить», Ольга Зубковская задалась вопросом о «собственном» голосе центральноазиатского феминизма (Зубковская, 2007). В самом деле, возможность автохтонного, не инспирированного секулярным Западом феминистского проекта в регионе, находящемся под сильным влиянием ислама, вызывает сомнения. Анализируя дискурсивную ситуацию в Центральной Азии, Зубковская выделила три формы дискурса: «советский» (характерный для правящих групп и близких к правительству интеллектуальных элит), «националистический» (агентами которого являются в основном оппозиционные политики) и «спонсорский» (его носители, наряду с отдельными

учеными, — гражданские активисты, работающие в международных НКО). Автор далека от мысли, будто обретение местными феминистками собственного голоса тождественно обнаружению некоей «аутентичности» («аутентичность» невозможна в принципе)<sup>8</sup>. Она полагает, что такое обретение возможно исключительно через поиск своего места на пересечении этих трех дискурсов.

### *От взаимной изоляции интеллектуального и публичного полей к их сближению*

В середине нулевых носителями постколониальных нарративов в постсоветских странах были немногочисленные группы интеллектуалов и гражданских активистов, о существовании которых широкая публика могла даже не догадываться. В то время как Зенон Пазняк и его сторонники были озабочены необходимостью «деколонизации» белорусов (рассматривая советский период как эпизод в многовековой колонизации), рядовые граждане считали советский период «временем создания промышленности, системы образования, широкой национальной культуры и т. д.» (Гапова, 2020). Сходным образом обстояло дело и в других уголках постсоветского пространства (за исключением Прибалтики, где, правда, языку колонизации предпочитали язык оккупации). Но ситуация постепенно менялась, и сегодня разговоры о деколонизации и постколониализме уже не выглядят фантазиями начитавшихся западных книг гуманитариев. Для одних цезурой стал 2008 год (Грузинская война), для других 2014-й (смена юрисдикции Крыма и вооруженный конфликт на Юго-Востоке Украины), для всех — 24.02.2022.

В сегодняшних постсоветских странах запрос на постколониальный нарратив — часть запроса на национальное достоинство, к которому лучше подойти со всей серьезностью.

Впрочем, было бы неверно предположить, что водораздел между сторонниками и противниками постколониальных нарративов пролегает по политико-географической линии. В российской академии немало исследователей, которые либо симпатизируют концептуальной рамке постколониализма (Абашин, 2015<sup>9</sup>; Говорунов, Кузьменко, 2013, Бессмертная, 2018), либо используют ее в своей работе (Кукулин, 2013; Шафранская, 2018). И, напротив, среди центральноазиатских интеллектуалов можно встретить тех, кто настроен к ней критически (Мамедов, Шаталова, 2016)<sup>10</sup>.

---

8. Это, между прочим, контрастирует с позицией Глостановой, которая верит в возможность докопаться до не тронутой внешними напластованиями внутренней сущности местной культуры вообще и местной женщины в частности. Так, Глостанова не просто постулирует, что феминизм в Центральной Азии был результатом двойной колонизации (советской и американской), но и предлагает вернуться к национальным истокам — к традиционному гендерному порядку (Глостанова, 2009).

9. Относясь к этой рамке с пониманием, ученый не устает отмечать присущие ей уязвимости.

10. Нельзя пройти мимо такого заметного публичного интеллектуала из Алматы, как Олжас Кожахмет с его энергичным оппонированием соотечественникам, увлеченным постколониальным и деколониальным нарративом.

### *Постколониальность как состояние, или постколониальность без колониализма*

Андреас Лангеноль предложил весьма продуктивное различие — между постколониализмом и постколониальностью (Лангеноль, 2011). Постколониализм (наступающий после колониализма) есть *социетальная конфигурация*, тогда как постколониальность есть *дискурс*, т. е. совокупность нарративов по поводу этой конфигурации. При этом важно, что данные нарративы перестают быть моралистическими, становясь аналитическими. Речь идет не об оценке (обличении, сведении счетов и т. д.), а о рефлексии — осмыслении актуальной социокультурной ситуации во всей ее сложности<sup>11</sup>.

Таким образом, наличие колониального прошлого не является условием возможности постколониальности как состояния. Значение имеет не то, была или не была та или иная нация колонией в прошлом, а то, как это прошлое переживается в настоящем. *Subjectivity matters*. Нельзя объяснить людям, считающим себя (своих предков) объектом колониальных практик, что их на самом деле облагодетельствовали. Вступая на такую деликатную территорию, как историческая память, наивно полагаться на силу объективных фактов, способных эту память скорректировать в приятную нам сторону. Между прочим, уже сам отказ оппоненту в праве пользоваться языком постколониализма есть не что иное, как колониальный жест.

Состояние постколониальности (подобно состоянию постмодерна, в свое время зафиксированному Жаном-Франсуа Лиотаром) — это прежде всего реакция на сложившееся положение дел в сфере производства знания<sup>12</sup>. Это, если угодно, реакция постсоветских интеллектуалов на патронаж со стороны северного соседа. Это попытки отстоять собственную субъектность. И если какие-то из этих попыток в наших глазах выглядят сомнительными, к ним уместно отнестись несколько более сдержанно. В конечном итоге постколониальность — не приговор, а приглашение к рефлексии.

## Литература

- Абашиш С. Н. (2015). Советский кишлак: между колониализмом и модернизацией. М.: Новое литературное обозрение.
- Абашиш С. (2016). Советское = колониальное? (За и против) // Понятия о советском в Центральной Азии. Альманах Штаба № 2 / Г. Мамедов, О. Шаталова (состав., ред.). Бишкек: Штаб-Press. С. 28-48.

---

11. В числе категорий, позволяющих подступиться к этой сложности, — уже упомянутая «гибридизация», а также «мимикрия» в том понимании, какое предложил Хоми Бхабха (2020).

12. Приведем высказывание известного российского ученого: «Российские историки ощутимо утратили контроль над производством знаний о прошлом этого региона. На фоне возросшего интереса к казахской истории американских, европейских, китайских и японских исследователей ситуация выглядит еще более удручающей» (Ремнев, 2011: 190). Симптоматично, что в списке претендентов на контроль над производством знания о казахском прошлом казахские исследователи отсутствуют.

- Бессмертная О. Ю. (2018). Взгляд из прошлого. Представления о Другом, или Как изучать Другого: некоторые тенденции «постколониальных исследований» и исторического поворота глазами постсоветского африканиста // Шаги. № 4 (3). С. 195-212
- Бисенова А., Медеуова К. (2016). Давление метрополий и тихий национализм академических практик // Ab Imperio. № 4. С. 207-255.
- Бисенова А. (2023) (ред.). Казахстан: лабиринты современного постколониального дискурса. Алматы: Центр современной культуры «Целинный».
- Бёрбанк Д. (2012). Связанные законом: подданные, служащие и имперский суверенитет в Казанской губернии, 1890-1917 годы // Там, внутри. Практики внутренней колонизации в культурной истории России: Сб. статей / Под ред. А. Эткин-да, Д. Уффельмана, И. Кукулина. М.: Новое литературное обозрение. С. 349-375.
- Бхабха Х. (2020) [1984]. Мимикрия и человек. Двойственность колониального дискурса // Новое литературное обозрение. Т. 161. № 1.
- Гапова Е. (2020). Пограничное состояние: беларуские постколониальные дискуссии после пакта Молотова-Риббентропа // Новое литературное обозрение. Т. 166. № 6. [https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe\\_literaturnoe\\_obozrenie/166\\_nlo\\_6\\_2020/article/22955/](https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/166_nlo_6_2020/article/22955/) (дата обращения: 01.08.2023).
- Герасимов И., Глебов С., Кусбер Я., Могильнер М., Семенов А. (2010). Новая имперская история и вызовы империи // Ab Imperio. № 1. С. 19-51.
- Говорунов А., Кузьменко О. (2013). Ориентализм и право говорить за другого // Международный журнал исследований культуры. № 2 (11). С. 26-43.
- Зубковская О. (2007). Постколониальная теория в анализе постсоветского феминизма: дилеммы применения // Ab Imperio. № 1. С. 395-420.
- Коткин С. (2018). Предотвращенный Армагеддон: распад Советского Союза, 1979-2000. М.: НЛО.
- Лангеньоль А. (2011). Общественная память после смены строя: сходства и различия между практиками памяти в посткоммунистических и постколониальных странах // Империя и нация в зеркале исторической памяти. Ред.-сост.: И. Герасимов, М. Могильнер, А. Семенов. М.: Новое издательство. С. 365-390.
- Кукулин И. В. (2013). «Внутренняя постколонизация»: формирование постколониального сознания в русской литературе 1970-2000 годов // Политическая концептология: журнал междисциплинарных исследований. №. 2. С. 149-185.
- Малахов В. (2013). Бритые и бородатые // Отечественные записки. Т. 56. № 5. <https://strana-oz.ru/2013/5/britye-i-borodatye> (дата обращения: 11.06.2023)
- Мамедов Г., Шаталова О. (2016). Как мы понимаем советское // Понятия о советском в Центральной Азии. Бишкек: Штаб-Press. С. 8-27.
- Миньоло В. (2004). Предварительные замечания к тексту «Постоксидентализм...» // Перекрестки. № 1-2. С. 157-160.
- Миньоло В. (2004а). Оксидентализм, колониальность и подчиненная рациональность с префиксом «пост» // Перекрестки. № 1-2. С. 161-197.

- Мустоянова А. (2022). Деколонизация Казахстана. Алматы: AmalBooks.
- Празаускас А. (1992). СНГ как постколониальное пространство // Независимая газета. 2 февраля.
- Ремнев А. (2011) Постколониальность и «историческая политика» в современном Казахстане // *Ab imperio*. №1. С.169-205
- Саид Э. (2021). Ориентализм. М.: Музей современного искусства «Гараж».
- Сулейманова С. (2022). Кудатку билиг, или Наука о том, как быть счастливым // Деколониальность: настоящее и будущее. М.: Горизонталь. С. 75-111.
- Глостанова М. (2009). Деколониальные гендерные эпистемологии. М.: Маска.
- Глостанова М. (2020). Деколониальность бытия, знания и ощущения: сборник статей. Алматы: Центр современной культуры «Целинный».
- Усманова А. (2020). Дебаты о постсоциализме и политики знания в пространстве множественных «post-» // Социологическое обозрение. Т. 19. № 3. С. 44-69.
- Ушакин С. А. (2011). В поисках места между Сталиным и Гитлером: о постколониальных историях социализма // *Ab Imperio*. № 1. С. 209-233.
- Ушакин С. (2021). Колониальный омут и его последствия: о публичных историях постколоний социализма // Все в прошлом: Теория и практика публичной истории / Под ред. А. Завадского, В. Дубиной. М.: Новое издательство. С. 401-434.
- Хили Д. (2012). Наследие ГУЛАГа: принудительный труд советской эпохи как внутренняя колонизация // Там, внутри. Практики внутренней колонизации в культурной истории России: Сб. статей. М.: Новое литературное обозрение. С. 684-730.
- Чокобаева А. (2016). Красные кыргызы: советская историография восстания 1916 года // Понятия о советском в Центральной Азии / Г. Мамедов, Б. Шаталова (ред.). Штаб-Press. С. 50-76.
- Эткинд А., Уффельман Д., Кукулин И. (ред.) (2012). Там, внутри. Практики внутренней колонизации в культурной истории России: Сб. статей. М.: Новое литературное обозрение.
- Чаттерджи П. (2002). Воображаемые сообщества: кто их воображает? // Нации и национализм. М.: Праксис. С. 283-296.
- Чакрабартти Д. (2021). Провинциализируя Европу. М.: Музей Гараж.
- Шафранская Э. (2019). Колониальная и постколониальная литература: терминология и содержание // Филология и культура. № 1(55). С. 203-211.
- Шелекпаев Н., Чокобаева А. (2020). Восток внутри «Востока»? Центральная Азия между «стратегическим эссенциализмом» глобальных символов и «тактическим эссенциализмом» национальных нарративов // Социологическое обозрение. Т. 19. № 3. С. 70-101.
- Шелекпаев Н., Чокобаева А. (2023). Как быть историком Центральной Азии сегодня? Наш ответ Изабель Огайон, Жюльену Торезу и Томохико Уяме // Социологическое обозрение. Т. 22. № 1. С. 72-81.
- Abashin S. (2014). "Nations and Post-Colonialism in Central Asia; Twenty Years Later" // *Development in Central Asia and the Caucasus: Migration, Democratization*

- and Inequality in the Post-Soviet Era / ed. by S. Hohman, C. Mouradian, S. Serano, J. Torez. L.; NY.: IB Tauris. P. 80-97.
- Adams L. (2008). Can we apply postcolonial theory to Central Asia? // *Central Asia Studies Review*. Vol.7. №1. P.1-7.
- Ahmad A. (1992). In *Theory. Classes, Nations, Literaries*. Oxford: Oxford University Press.
- Ayoob M., Ismayilov M. (eds.) (2015). *Identity and Politics in Central Asia and Caucasus*. L.: Routledge.
- Babrovsky J. (1999). Auf der Suche nach Eindeutigkeit: Kolonialismus und zivilisatorische Mission im Zarenreich und der Sowjetunion [In Search of Clarity: Colonialism and the Mission of Civilization in the Tsarist Empire and the Soviet Union] // *Jahrbuecher fuer Geschichte Osteuropas*. Bd.47. Heft 4. S.482-504.
- Chibber V. (2013). *The Class Matrix: Social Theory after Cultural Turn*. Harvard University Press.
- Chibber V. (2023). Interview. Marxism, postcolonial studies, and the tasks of radical theory // *International Socialist Review*. <https://isreview.org/issue/89/marxism-postcolonial-studies-and-tasks-radical-theory/index.html> (доступ 31.07.2023)
- Dirlik A. (1994). The Postcolonial Aura. Third World Criticism in the Age of Global Capitalism // *Critical Inquiry*. Vol. 20. № 2. P. 328-356.
- Etkind A. (2011). *Internal Colonization. Russia's Imperial Experience*. Cambridge: Polity Press.
- Gapova E. (2010). Anxious Intellectuals: Framing the Nation as Class in Belarus // In *Marx's Shadow: Knowledge, Power, and Intellectuals in Eastern Europe and Russia* / Ed. by Costica Bradatan and Serguei Alex. Oushakine. Lanham, Boulder, New York, Toronto, Plymouth, UK: Lexington Books. P.197-220.
- Gleason G. (1997). Independence and Decolonization in Central Asia // *Asian Perspective*. Vol.21 (2). P. 223-246.
- Guha R., Spivak G.Ch. (1988). *Selected Subaltern Studies*. Oxford: Oxford University Press.
- Gorshenina S. (2021). Orientalism, Postcolonial and Decolonial Frames on Central Asia: Theoretical Relevance and Applicability // *European Handbook of Central Asian Studies: History, Politics & Societies* / Ed. by Bruno De Cordier, Adrien Fauve, Jeroen Van Den Bosch. Stuttgart: Ibidem-Verlag. P.177-243.
- Irvin R. (2006). *Dangerous Knowledge: Orientalism and its Discontents*. Boston: Brill.
- Kandiyoti D. (2002). How Far Do Analyses of Postsocialism Travel? The Case of Central Asia // *Postsocialism: Ideals, Ideologies and Practices in Eurasia* / Ed. by C. M. Hann. London and New York: Routledge. P. 238-257.
- Khalid A. (2006). Backwardness and the Quest for Civilization: Early Soviet Central Asia in Comparative Perspective // *Slavic Review*. Vol. 65. № 2. P. 231-251.
- Kudaibergenova D. (2016). The Use and Abuse of Postcolonial Discourses in Post-Independent Kazakhstan // *Europe-Asia Studies*. Vol. 68 (5). P. 917-935.
- Morrison A. S. (2012). The Pleasures and Pitfalls of Colonial Comparisons // *Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History*. Vol. 13. № 4. P.919-936.

- Morrison A. S.* (2013). Review of Alexander Etkind 'Internal Colonization. Russia's Imperial Experience // *Ab Imperio*. № 3. P. 445-457.
- Moore D. Ch.* (2001). Is the Post in Postcolonial the Post in Post-Soviet? Toward a Global Postcolonial Critique // *Publications of the Modern Language Association of America (PMLA)*. Vol. 116. № 1. P. 111–128.
- Roundtable* "Round table" (2008). A View at Postcolonial Paradigm from Inside Russian/Soviet History // *Ab Imperio*. № 2. P.80-92.
- Said E. W.* (1978). *Orientalism*. NY: Pantheon Books.
- San Huan E., Jr.* (1998). *Beyond Postcolonial Theory*. New Yourk: Palgrave.
- Stoler A. L., Cooper F.* (1997). Between Metropole and Colony: Rethinking the Research Agenda. In: *Stoler A. L., Cooper F. (eds.). Tensions of Empire: Colonial Cultures in a Bourgeois World*. University of California Press, 1997. P.1-56.
- Tlostanova M., Mignolo W.* (2009). Global Coloniality and the Decolonial Option // *Kult* 6 (Special Issue). P.130–147.
- Todorova M.* (2010). Balkanism and Postcolonialism or On the Beauty of the Airplane View // *In Marx's Shadow* /Ed. by Costica Bradatan, Serguei Oushakine. NY: Lexington Books. P. 175–195.
- Todorova M.* (2015). On Public Intellectuals and Their Conceptual Frameworks // *Slavic Review*. Vol.74. № 4. P.708-714.

## Retroactive categorizations, or post-coloniality as condition<sup>13</sup>

*Vladimir S. Malakhov*

Doctor of Political Science, Professor, School for Advanced Studies in the Humanities

Institute for Social Sciences, RANEPa.

Address: Vernadsky prosp., 82, Moscow, 119571, Russia

E-mail: vmalachov@yandex.ru

The rise of the post-colonial and de-colonial narrative that is being experienced nowadays in post-Soviet countries stands in contrast with the rejection of this narrative by the Russian academic and sociocultural mainstream. The paper analyzes the opportunities and constrains of the "post-colonialism" conceptual framework. As well, the arguments of researchers who were skeptical about this framework are reconstructed. The author separates "post-colonialism" as a research strategy and "de-colonialism" ("de-colonial thought") as a form of activism. According to the author, the paradigm of post-colonial studies, despite its inherent theoretical shortcomings, contains a serious analytical potential, while de-colonialism is an internally contradictory ideological program. In addition, the article makes a distinction between post-colonialism as a situation and post-colonialism as a reflection on this situation. Post-coloniality is possible without colonialism. It denotes the comprehension and rethinking of a certain historical experience, regardless of whether the past condition qualifies as colonial.

*Keywords:* postcolonial studies, decolonial thought, post-Soviet space, Russia, Belarus, Central Asia

13. The article was prepared in the framework of a research grant funded by the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation (grant ID: 075-15-2022-326)

## References

- Abashin S. (2014) Nations and Post-Colonialism in Central Asia; Twenty Years Later. *Development in Central Asia and the Caucasus: Migration, Democratization and Inequality in the Post-Soviet Era* (eds. by S. Hohman, C. Mouradian, S. Serano, J. Torez), L.; NY.: IB Tauris, pp. 80-97.
- Abashin S. (2015) *Sovietskiy kishlak: mezhdu kolonializmom i modernizatsiei* [Soviet kishlak: between colonialism and modernization], Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.
- Abashin S. (2016) Sovetskoe = kolonial'noe? (Za i protiv) [Soviet=Colonial? (Pros and Cons)]. *Ponjatija o sovetskom v Central'noj Azii. Al'manah Shtaba № 2* (G. Mamedov, O. Shatalova sostav. eds.), Bishkek: Shtab-Press, pp.28-48.
- Adams L. (2008) Can we apply postcolonial theory to Central Asia? *Central Asia Studies Review*, vol.7, no 1, pp.1-7.
- Ahmad A. (1992) *In Theory. Classes, Nations, Literaries*, Oxford: Oxford University Press.
- Ayoob M., Ismayilov M. (eds.) (2015) *Identity and Politics in Central Asia and Caucasus*, L.: Routledge.
- Baberovsky J. (1999) Auf der Suche nach Eindeutigkeit: Kolonialismus und zivilisatorische Mission im Zarenreich und der Sowjetunion [In Search of Clarity: Colonialism and the Mission of Civilization in the Tsarist Empire and the Soviet Union]. *Jahrbuecher fuer Geschichte Osteuropas*, Bd.47, Heft 4, pp.482-504.
- Bhabha H. (2020) [1984] Mimikrija i chelovek. Dvojtvennost' kolonial'nogo diskursa [Mimicry and Man. Duality of colonial discourse]. *Novoe literaturnoe obozrenie*, vol.161, no 1.
- Bisenova A. (ed.) (2023) *Kazakhstan: labirinty sovremennogo postcolonial'nogo diskursa* [Kazakhstan: labyrinths of modern post-colonial discourse], Almaty: Tselinny Center for Contemporary Culture.
- Bisenova A., Medeuova K. (2016) Davlenie metropolij i tihij nacionalizm akademicheskikh praktik [The Pressure of Metropolises and the Quiet Nationalism of Academic Practices]. *Ab Imperio*, no 4, pp. 207-255.
- Burbank J. (2012) *Svjazannyje zakonom: poddannye, sluzhashhie i imperskij suverenitet v Kazanskoj gubernii, 1890-1917 god* [Bound by Law: Subjects, Servants, and Imperial Sovereignty in the Kazan Governorate, 1890-1917]. *Tam, vnutri. Praktiki vnutrennej kolonizacii v kul'turnoj istorii Rossii: Sb. statej statej* ( Pod red. A. Jetkinda, D. Uffel'manna, I. Kukulina), Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie, pp. 349-375.
- Chakrabarti D. (2021) *Provincializiruja Evropu* [Provincializing Europe], Moscow: Muzej Garazh.
- Chatterdzhi P. (2002) Voobrazhaemye soobshhestva: kto ih voobrazhaet? [Imaginary Communities: Who Imagines Them?]. *Nacii i nacionalizm*, Moscow: Praxis, pp. 283-296.
- Chatterjee P. (1993) *The Nation and its Fragments: Colonial and Postcolonial Histories*, Princeton: Princeton University Press.
- Chibber V. (2013) *The Class Matrix: Social Theory after Cultural Turn*, Harvard University Press.
- Chibber V. (2023) Interview. Marxism, postcolonial studies, and the tasks of radical theory. *International Socialist Review*. <https://isreview.org/issue/89/marxism-postcolonial-studies-and-tasks-radical-theory/index.html> (доступ 31.07.2023)
- Chokobaeva A. (2016) *Krasnye kyrgyzy: soveteskaja istoriografija vosstanija 1916 goda* [Red Kyrgyz: Soviet historiography of the 1916 uprising]. *Ponjatija o sovetskom v Central'noj Azii* (eds. G. Mamedov, O. Shatalova), Bishkek: Shtab Press, pp. 50–76.
- Dirlik A. (1994) The Postcolonial Aura. Third World Criticism in the Age of Global Capitalism. *Critical Inquiry*, vol. 20, no 2, pp. 328-356.
- Etkind A. (2011) *Internal Colonization. Russia's Imperial Experience*, Cambridge: Polity Press.
- Etkind A., Uffel'mann D., Kukulina I. (eds.) (2012) *Tam, vnutri. Praktiki vnutrennej kolonizacii v kul'turnoj istorii Rossii: Sb. Statej* [There, inside. Practices of internal colonization in the cultural history of Russia: articles], Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.
- Gapova E. (2010) Anxious Intellectuals: Framing the Nation as Class in Belarus. *In Marx's Shadow: Knowledge, Power, and Intellectuals in Eastern Europe and Russia*. (eds. by Costica. Bradatan, Serguei Alex. Oushakine), Lanham, Boulder, New York, Toronto, Plymouth, UK: Lexington Books, pp.197-220.
- Gapova E. (2020) Pogranichnoe sostojanie: belaruskie postkolonial'nye diskussii posle pakta Molotova — Ribbentropa [Border state: Belarusian post-colonial discussions after the Molotov-



- Ribbentrop pact]. *Novoe literaturnoe obozrenie*, vol. 166, no 6. [https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe\\_literaturnoe\\_obozrenie/166\\_nlo\\_6\\_2020/article/22955/](https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/166_nlo_6_2020/article/22955/) (Accessed 10.05.2023).
- Gerasimov I., Glebov S., Kusber Ja., Mogil'ner M., Semenov A. (2010) Novaja imperskaja istorija i vyzovy imperii [New Imperial History and the Challenges of Empire]. *Ab Imperio*, no 1, pp. 19-51.
- Gleason G. (1997) Independence and Decolonization in Central Asia. *Asian Perspective*, vol. 21 (2), pp. 223-246.
- Gorshenina S. (2021) Orientalism, Postcolonial and Decolonial Frames on Central Asia: Theoretical Relevance and Applicability. *European Handbook of Central Asian Studies: History, Politics & Societies* (eds. Bruno De Cordier, Adrien Fauve, Jeroen Van Den Bosch), Stuttgart: Ibidem-Verlag, pp.177-243.
- Govorunov A., Kuzmenko O. (2013) Orientalism I pravo govorit' za drugogo [Orientalism and the right to speak for another]. *Mezhdunarodnyi zhurnal issledovanoi kultury*, no 2 (11), pp. 26-43.
- Guha R., Spivak G.Ch. (1988) *Selected Subaltern Studies*, Oxford: Oxford University Press.
- Irvin R. (2006) *Dangerous Knowledge: Orientalism and its Discontents*, Boston: Brill.
- Kandiyoti D. (2002) How Far Do Analyses of Postsocialism Travel? The Case of Central Asia. *Postsocialism: Ideals, Ideologies and Practices in Eurasia*. (Eed. by C. M. Hann), London and New York: Routledge, pp. 238-257.
- Khalid A. (2006) Backwardness and the Quest for Civilization: Early Soviet Central Asia in Comparative Perspective. *Slavic Review*, vol. 65, no 2, pp. 231-251.
- Kotkin S. (2018) *Predotvrashhennyj Armageddon: raspad Sovetskogo Sojuza, 1979-2000* [Armageddon averted: the collapse of the Soviet Union, 1979-2000.], Moscow: NLO.
- Kudaibergenova D. (2016) The Use and Abuse of Postcolonial Discourses in Post-Independent Kazakhstan. *Europe-Asia Studies*, vol. 68, no 5, pp. 917-935.
- Kukulin I. (2013) "Vnutrennyia postkolonizatsiya": formirovanie postkolonial'nogo soznaniia v russkoi literature 1970-2000 ["Internal post-colonization": the formation of post-colonial consciousness in Russian literature of 1970-2000]. *Poliichskaya kontseptologiya: zhurnal mezhdistsiplinarnykh issledovaniy*, no 2, pp. 149-185.
- Langenol' A. (2011) Obshhestvennaja pamjat' posle smeny stroja: shodstva i razlichija mezhdu praktikami pamjati v postkommunisticheskikh i postkolonial'nykh stranah [Public memory after change of order: similarities and differences between memory practices in post-communist and post-colonial countries]. *Imperija i nacija v zerkale istoricheskoi pamjati* (Red.-sost. I. Gerasimov, M. Mogil'ner, A. Semenov), Moscow: Novoe izdatel'stvo, pp. 365-390.
- Malakhov V. (2013) Britye i borodatye [Shaved and bearded]. *Otechestvennye zapiski*, vol. 56, no 5. <https://strana-oz.ru/2013/5/bryte-i-borodatye> (data access: 01.08.2023)
- Mamedov G., Shatalova O. (2016) Kak my ponimaem sovetskoe [How do we understand the Soviet]. *Ponyatiya o sovetskom v tsentralnoy Asii*. (eds. G. Mamedov, O. Shatalova), Bishkek: Shtab-Press, pp. 8-27.
- Mignolo V. (2004) Predvaritel'nye zamechanija k tekstu «Postoksidentalizm...» [Preliminary remarks on the text "Post-occidentalism..."]. *Perekrestki*, no 1-2, pp.157-160.
- Mignolo V. (2004a) Oksidentalizm, kolonial'nost' i podchinennaja racional'nost' s prefiksom «post» [Occidentalism, Coloniality, and Subordinate Rationality Prefixed with Post]. *Perekrestki*, no 1-2, pp.161-197.
- Moore D. Ch. (2001) Is the Post in Postcolonial the Post in Post-Soviet? Toward a Global Postcolonial Critique. *Publications of the Modern Language Association of America (PMLA)*, vol. 116, no 1, pp. 111-128.
- Morrison A.S. (2012) The Pleasures and Pitfalls of Colonial Comparisons. *Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History*, vol.13, no 4, pp. 919-936.
- Morrison A.S. (2013) Review of Alexander Etkind 'Internal Colonization. Russia's Imperial Experience. *Ab Imperio*, no 3, pp. 445-457.
- Mustojapova A. (2022) *Dekolonizacija Kazahstana*. [Decolonization of Kazakhstan], Almaty: AmalBooks.
- Prazauskas A. (1992) SNG kak postkolonial'noe prostranstvo [CIS as a Postcolonial State]. *Nezavisimaja gazeta*, 2 fevralja.

- Remnev A. (2011) Postkolonial'nost' i «istoricheskaya politika» v sovremennom Kazakhstane [Post-coloniality and "historical politics" in modern Kazakhstan]. *Ab Imperio*, no 1, pp.169-205.
- Roundtable "Round table" (2008) A View at Postcolonial Paradigm from Inside Russian/Soviet History. *Ab Imperio*, no 2, pp. 80-92.
- Said E. (2021) *Orientalism*, Moscow: Garage Museum of Contemporary Art.
- Said E.W. (1978) *Orientalism*, NY: Pantheon Books.
- San Huan E., Jr. (1998) *Beyond Postcolonial Theory*, New York: Palgrave.
- Shafranskaya E. (2019) Kolonial'naya i postkolonial'naya literatura: terminologiya i sodержanie [Colonial and postcolonial literature: terminology and content]. *Filologiya i kul'tura*, no 1(55), pp. 203-211.
- Shelekpaev N., Chokobaeva A. (2020) Vostok vntri 'Vostoka'? Central'naja Azija mezhdu 'strategicheskim jessencializmom' global'nyh simvolov i 'takticheskim jessencializmom' nacional'nyh narrativov [East within 'East'? Central Asia between 'strategic essentialism' global symbols and 'tactical essentialism' of national narratives]. *Russian Sociological Review*, vol. 19, no 3, pp. 70-101.
- Shelekpaev N., Chokobaeva A. (2023) Kak byt' istorikom Central'noj Azii segodnja? Nash otvet Izabel' Ohayon, Zhjul'enu Torezu i Tomohiko Ujame [How to be a historian of Central Asia today? Our response to Isabelle Ohayon, Julien Thorez and Tomohiko Uyama]. *Russian Sociological Review*, vol. 22, no 1, pp.72-81.
- Stoler A.L., Cooper F. (1997) Between Metropole and Colony: Rethinking the Research Agenda. *Tensions of Empire: Colonial Cultures in a Bourgeois World* (A.L. Stoler, F. Cooper eds.), University of California Press, pp.1-56.
- Sulejmanova S. (2022) Kudatku bilig, ili Nauka o tom, kak byt' schastlivym. [Kudatku bilig, or the science of how to be happy] *Dekolonial'nost': nastojashhee i budushhee*, Moscow: Gorizonta', pp. 75-111.
- Tlostanova M. (2009) *Dekolonial'nye gendernye jepistemologii*. [Decolonial gender epistemologies], Moscow: Maska.
- Tlostanova M. (2020) *Dekolonial'nost' bytija, znaniya i oshhushheniya: sbornik statej*. [Decoloniality of being, knowledge and sensations: a collection of articles], Almaty: Centr sovremennoj kul'tury "Celinnij".
- Tlostanova M., Mignolo W. (2009) Global Coloniality and the Decolonial Option. *Kult 6* (Special Issue), pp.130-147.
- Todorova M. (2010) Balkanism and Postcolonialism or On the Beauty of the Airplane View. In *Marx's Shadow*, (eds. by Costica Bradatan and Serguei Oushakine), NY: Lexington Books, pp. 175-195.
- Todorova M. (2015) On Public Intellectuals and Their Conceptual Frameworks. *Slavic Review*, vol. 74, no 4, pp.708-714.
- Ushakin S. (2021) Kolonial'nyj omet i ego posledstvija: o publichnyh istorijah postkolonij socializma [Colonial Omelet and Its Consequences: On Public Histories of Post-Colonies of Socialism] *Vse v proshlom: Teorija i praktika publichnoj istorii*. [Everything in the Past: Theory and Practice of Public History]. (Eeds. A. Zavadskogoy, V. Dubinoja), Moscow: Novoe izdatel'stvo, pp. 401-434.
- Ushakin S. A. (2011) V poiskah mesta mezhdu Stalinym i Gitlerom: o postkolonial'nyh istorijah socializma [In search of a place between Stalin and Hitler: on the post-colonial histories of socialism]. *Ab Imperio*, no 1, pp. 209—233.
- Usmanova A. (2020) Debaty o postsocializme i politiki znaniya v prostranstve mnozhestvennyh «post-» [Debates on post-socialism and the politics of knowledge in the space of multiple "post-"]. *Russian Sociological Review*, vol. 19, no 3, pp. 44-69.
- Zubkovskaja O. (2007) Postkolonial'naja teorija v analize postsovet'skogo feminizma: dilemmy primeneniya [Postcolonial Theory in the Analysis of Post-Soviet Feminism: Dilemmas of Application]. *Ab Imperio*, no 1, pp.395-420.

## Парадоксы советско-китайской и либерально-демократической моделей правления\*

*Руслан Хестанов*

Доктор философии, заведующий Лабораторией исследований культуры Института исследований культуры Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».  
Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, Москва, 101000, Российская Федерация  
E-mail: khestanov@hse.ru

*Артём Космарский*

Кандидат социологических наук, научный сотрудник Государственного академического университета гуманитарных наук (ГАУГН).  
Адрес: Мароновский пер., 26, Москва, Российская Федерация, 119049  
E-mail: artyom.kosmarski@gmail.com

В фокусе статьи находятся две модели политико-государственных образований — либерально-демократическая и советско-китайская. Использование концепции *решения* Никласа Лумана при анализе их системных оснований открывает новую перспективу как на эти модели, так и на современный политический процесс. Был предложен краткий обзор дискуссии по теме принятия решений в организациях и обоснована эвристическая ценность концепции решения, развитой Никласом Луманом. Решение понимается им как функция и элемент организации или организационных систем. Организация непрерывно принимает решения, но ни одно из них не решает проблему, поскольку в его основе находится парадокс: решать можно только те вопросы, которые принципиально неразрешимы. Вместе с тем каждое новое решение не только является ответом на вызовы окружающего мира, но контингентным образом определяется серией предшествующих решений. Поэтому можно говорить о том, что в основе процесса принятия решений лежит конституирующий организацию парадокс, который определяет ее специфику и идентичность. В статье демонстрируется, что в основе либерально-демократической модели лежит парадокс политики и администрации. В основе советско-китайской — партии и государства.

*Ключевые слова:* СССР, Китай, решение, политико-административная дихотомия, однопартийное государство, Никлас Луман

### Парадоксальность решения

В настоящей статье будут представлены две известные модели политико-государственных образований, которые мы условно назовем либерально-демократической и советско-китайской. Их сопоставление само по себе не может претендовать на оригинальность. Однако использование *теории систем* и концепции *решения* Никласа Лумана при анализе их системных оснований поможет по-новому взглянуть на современный политический процесс.

---

\* Публикация подготовлена в рамках исследовательского проекта «Стратегии нормализации повседневности в чрезвычайных ситуациях: инерция аффекта и открытость вызовам», реализуемого Центром фундаментальной социологии НИУ ВШЭ в 2023 году в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ.

Изначально вопрос звучал прямолинейно: кто и каким образом принимает политические решения? Исследователи феномена принятия решений часто упоминают историю о том, как принимал решения по важным политическим вопросам Бенджамин Франклин. Вертикальной линией он делил лист бумаги на две равные части, а затем записывал аргументы «за» и «против» в разных колонках. Как правило, этот старый анекдот используется для того, чтобы подчеркнуть тот факт, что в современных условиях решения не принимаются в результате рационального взвешивания аргументов и не имеют интенциональной природы. Дискуссия по поводу принятия решений, которая развернулась 70 лет назад, охватила разные гуманитарные и социальные дисциплины. Рациональность и как норма, и как практический принцип решения была отвергнута. Джеймс Марч, которого нередко цитировал Луман, подвел предварительные итоги этой длительной дискуссии в статье 1997 года. Современные теории принятия решений опираются на четыре представления: 1) решения рождаются как результат серии предшествующих действий; 2) они подчиняются логике идентичности, которая реализуется через систему организационных структур, правил, ролей и привычек; 3) решения являются результатом столкновения разных импульсов в жизни различных агентов; 4) решения обусловлены контекстом, который обживается и оценивается индивидом (March, 1997). Однако в этой плодотворной для социологии организаций полемике, как замечает А. Н. Андерсен, само понятие решения как бы отступает на второй план, начинает занимать все более ненадежную позицию, теряя свой изначальный смысл: «Решение, похоже, превратилось из интенционального коммуникативного акта <...> в особый ритуал среди множества других ритуалов» (Andersen, 2001: 5).

Нет смысла сейчас глубоко погружаться в эту интересную дискуссию. Опишем в общих чертах только ту содержательную позицию, которую занял Луман. С его точки зрения, решение нельзя интерпретировать как результат или нечто произведенное. Его нельзя определять как продукт консенсуса, достигнутого в спорах, или же работы сложных организационных устройств, деталями которых могут быть бюрократические аппараты, медийные кампании, формальные и неформальные институты вроде государственной бюрократии, политических партий, парламентов, семейных или территориальных кланов и т.п. Решение также не является результатом процесса социализации или коллективной работы над неким индивидуальным решением, которое обрастает подробностями, аргументами, предпосылками, исходящими от разных индивидов или организаций. Легко сказать, чем не является решение. Трудность возникает тогда, когда ставится вопрос о том, что же оно из себя представляет.

Внутри теории систем Лумана концепт решения, как один из важнейших, имел собственную историю становления и интерпретации. В данном случае неуместно подробно останавливаться на этой истории. Обратимся к относительно поздней версии, которая, по нашему мнению, обладает значительным эвристическим потенциалом. В статье «Организация и решение» решение не получает окончательного понятийного определения, но разворачивается в сложном нарративе,

из которого мы узнаем, что оно понимается как элемент организации или организационных систем. Луман делает важную оговорку: рассматривать элемент следует не как «онтологический предикат, но как функцию». В чем состоит эта функция? Решение — это фиксация одной альтернативы в горизонте других альтернатив, которым она была предпочтена. Здесь, на наш взгляд, уместна одна аналогия с похожим по силе абстракции определением. Речь идет о данном Грегори Бейтсоном определении бита, единицы информации, как «различия, производящего различие». С функциональной точки зрения решение производит в организации ту же операцию, что совершает различие в информационном потоке фиксирует себя в однозначной форме, в одной из альтернатив. Тем самым решение не только закрывает отодвинутые в сторону альтернативы, но и преодолевает неопределенность. Таким образом, говорит Луман, происходит настройка ожиданий внутри организации (Luhmann, 1981: 338). Одновременно всякий состоявшийся выбор открывает горизонт новых альтернатив.

Луман связывает поэтому решение с проблемой сложности организационной системы. Сложной она оказывается тогда, когда между ее элементами существует больше потенциальных связей, чем она способна актуализировать. Сложность принуждает организации делать выбор. Серии следующих друг за другом решений — есть процесс роста сложности (Луман, 2007: 53-54). Уникальный стиль организации определяется, таким образом, тем, какие решения она принимает, чтобы справляться со сложностью.

Серии решений, принимаемых организационной системой, конструируют свою собственную темпоральность. Это означает, что каждое принятое решение не только проводит различие между «до» и «после», но становится предпосылкой для следующего решения, то есть формирует ситуацию нового выбора или принятия решения. Каждое принятое решение удерживается в последующем решении как история и контингенция (Luhmann, 1981: 339), способствуя выработке собственного образца селективности. Решения, таким образом, в большей мере обусловлены предшествующими решениями, чем соображениями рациональности.

Получается странная на первый взгляд картина. Организация непрерывно принимает решения, но ни одно из них не устраняет проблему окончательно. Проблема заявляет о себе снова и снова. Каждое новое решение ведет к умножению альтернатив, к повышению сложности. Если проблема все же решается на основе каких-либо дедукций или рациональных соображений, то она не приводит к возникновению потенциальных альтернатив, а потому решением не является, но представляет собой либо дедукцию, либо рациональный расчет. Отсюда вытекает парадоксальность решения: решать можно только те вопросы, которые принципиально неразрешимы (Луман, 2007: 198). Но функцией решения, как мы помним, не является решение проблемы, а фиксация себя в однозначной форме в различии альтернатив. Парадоксальность решения как элемента системы делает саму систему парадоксальной.

Конечно, система игнорирует парадоксальность и вытекающую из нее принципиальную неразрешимость проблем и вопросов с помощью решений. Если бы она

была способна наблюдать собственную парадоксальность, это привело бы к самоблокировке, поэтому она сглаживает, зашифровывает или игнорирует парадокс, требующий своего решения. Эту операцию Луман называет *депарадоксализацией*. Она осуществляется через введение множества различий, скрывающих фундаментальную форму парадокса, который заряжает систему энергетикой безотлагательности принятия решений.

### Политика/администрация

Отсюда мы наконец можем перебросить мостик от крайне абстрактной теории Лумана к нашему эмпирическому материалу и предложить схему, на которую можно опереться в анализе. А. Н. Андерсен приводит актуальный для нас пример операции депарадоксализации. Разграничение *политики* и *администрации* в рамках либеральных демократий представляет собой парадокс, поскольку само это различие является политическим: «Разделение политики и администрации необходимо для сохранения демократического государства, но однозначное разграничение невозможно, поскольку администрация всегда уже является политической. Однако в политической коммуникации этот факт затушевывается целым рядом других различий, например, различием политик/чиновник, решение/исполнение, главное/второстепенное и т. д.» (Andersen, 2001: 15). Такого рода различия основаны на различии политика/администрация, но они приводят к затушевыванию парадокса, по крайней мере, на некоторое время. В отдельных национальных контекстах различие политика/администрация может также обозначаться по-разному. В современном Иране говорят о разделении «политической воли и административного потенциала» (Danaeefard, 2021). В англоязычной литературе данное разделение называют политико-административной дихотомией — термином, который был впервые введен Вудро Вильсоном (будущим американским президентом) в его работе «Учение об администрировании» (Wilson, 1887).

Вудро Вильсон исходил из необходимости высвобождения рутинного и повседневного государственного администрирования от «торопливости и раздоров» политики, полагая, что государственное администрирование относится к сфере бизнеса. Хотя политика определяет задачи для администрирования, управленческий офис не должен подвергаться манипуляциям со стороны политиков. В целом исследователи трактуют данную дихотомию как необходимость сохранения политической нейтральности органов административного управления. Идеи Вильсона стали реакцией на появление и рост влияния групп реформирования местных муниципалитетов, которые в 1890-х годах осудили партийную систему и стремились выделить и освободить особую «административную» часть осуществления власти. Они выступали за эффективность управления, разрабатывали соответствующие инструменты и призывали к созданию сильной исполнительной власти, отделенной от политики (Schiesl, 1977).

Со времен Вильсона либеральные демократии стремились охранять незыблемость границ между политикой и администрацией. Социологизация административных исследований 1940–1950-х годов была охранительной реакцией на сложности, которые скрываются за угрозой стирания границы между политическим и административным секторами (Bezès et al., 2012). В ходе исторической эволюции либеральных демократий происходило спонтанное и настораживающее сближение административных и политических ролей: бюрократизация политического персонала и политизация бюрократов иллюстрируют размывание границы между двумя мирами (Aberbach et al., 1981: 16). Перемещение индивидов между административной и политической сферами, ставшее ключевым явлением конца XX века, привело к появлению «супербюрократов» и «чистых гибридов» двух групп (Campbell, Szablowski, 1979: 286). В 1990-е годы наступает еще одна волна реформирования под эгидой целого семейства доктрин под общей рубрикой *нового государственного управления* (New public management). Была предпринята очередная попытка провести более четкую демаркационную линию между политикой и администрацией, определяя особую сферу государственной администрации через функции предоставления услуг населению. Однако и эта попытка разрешения фундаментального парадокса привела к его обострению и новой волне критики «политизации функций» администрирования. Государственное администрирование столкнулось с необходимостью принимать политические решения, поскольку вызовы окружающего мира принуждали их непрерывно изменять перечень и параметры услуг. Решением дихотомии на новой ступени кризиса стали призывы к административному персоналу учитывать ограничения, характерные для политического поля, предвосхищать требования политиков, лично вкладываться в проекты и брать на себя ответственность за свои решения при разработке и реализации государственной политики (Bezès et al., 2007). В рамках той же политики Нового государственного управления до недавнего времени осуществлялась деполитизация политического руководства через делегирование — своеобразной конверсии политических проблем в технократические: целый ряд полномочий центральное правительство отдавало независимым агентствам, «квазигосударственным органам» (quango) или «органам-спутникам», неправительственным организациям, полуавтономным правительственным комитетам и прочим *гибридам*. Считалось, что такое решение («Правительство при лунном свете»), приближает к решению «старейшей задачи политики» — окончательной деполитизации (Rancière, 1995: 19).

История административных реформ в европейских странах и США на протяжении полутора веков так или иначе возвращалась к неразрешимому парадоксу политического руководства и администрирования. Каждая новая административная реформа принимала окончательное решение по поводу парадокса, но серии решений были лишь детализацией парадокса в новых формулировках. В самом начале административной реформы в России, которая растянулась с 2004 по 2010

год, некоторым экспертам была очевидна складывающаяся размытость политики/администрирования, а точнее, поглощение административным управлением функций политического руководства, которая затронула даже президентскую власть: «Вымывание политической составляющей не только из социальной реальности, но и из языка действующей власти достигло столь высокого уровня, что даже глава государства позиционирует себя как “высшего чиновника”, стремящегося к добросовестному выполнению своих обязанностей» (Куренной, 2004).

Государственное управление культурой на современном этапе оказывается в довольно сложной ситуации, которая была описана в недавней статье Александра Кибовского, руководителя департамента культуры Москвы (материал опубликован в «Литературной газете»). С одной стороны, государство вынуждено следовать существующему законодательству, отделяя администрацию от политики, во имя сохранения административных ценностей, а с другой стороны, оказывается под перекрестным огнем представителей разных политических лагерей, желающих подчинить администрацию политике, ради торжества очень определенных политических ценностей: «Однако давайте вспомним, что власть исполнительная обязана реализовывать то, что приняла власть законодательная. С 1992 года действуют Основы законодательства РФ о культуре. Прочитайте 31-ю статью, где черным по белому написано: власти гарантируют все свободы и не имеют права вмешиваться в творческий процесс. Финансировать обязаны, а регулировать — нельзя, только через суд. То же и в пункте 16 Положения о театре в РФ 1999 года, где прямо установлено, что снять спектакль нельзя. Министерство может влиять лишь на кадровую политику, например, уволить художественного руководителя. Но опять же для этого нужны “железные” доказательства его профессиональной непригодности. А если худрок, к примеру, талантлив, но имеет свой взгляд на наше прошлое и наше будущее — тогда что? Разве есть какие-то по этому поводу указания в Трудовом кодексе? Тогда что вы требуете от министерства, если его в лихие 90-е загнали за либеральные законодательные флажки... При такой ситуации откуда было взяться валу патриотических произведений? Если критерием успешности молодых режиссеров и художников являлась публичная слава любым путем, индекс упоминаемости в СМИ, то чего удивляться, что языком современного искусства стал эпатаж, провокация, скандальность?» (Кибовский, 2022).

В лице столичного министра культуры реальность формального администрирования вдруг получила слово. И похоже, это слово защищает свои операции по принятию решений от политики, что особенно интересно, если учесть, что они связаны именно с фиксацией ожиданий для создания предпосылок для новых операций по принятию решений. Министр убежден, что необходимо политическое или законодательное решение, которое снимет напряжение, связанное с обвинениями департамента в пассивности. Таким образом, дебаты вокруг разделения политики и администрирования со времен Вудро Вильсона непрерывно воспроизводят базовый системный парадокс, который формирует идентичность системы.



## Партия/государство

### *Советская модель*

Внутри советской модели неразрешимость дилеммы политики и администрации не могла быть системной. В СССР не было оппозиции, а потому неактуально было сохранение преемственности администрирования в электоральных циклах. Рынок также не имел автономии, которая требовала бы нейтральных процедур и правил конкуренции. Советский Союз не без основания называл себя государством нового типа, поскольку открыто признал свою классовую природу и свое радикальное отличие от остальных государств.

В СССР было заложено новое основание политико-государственной организации через отказ от нейтральности государственных структур в пользу сильного политического руководства одной партии. В основе модели здесь находилась иная неразрешимость. В самом начале процесса строительства нового социалистического государства большевики сформулировали оригинальный парадокс и искали собственные причудливые решения. Этот парадокс стал своего рода «родимым пятном» или особым советским способом разделения политического руководства и управления. Решение сводилось к разграничению руководящих функций партии и управленческих функций государственного (советского) аппарата. В исследовательской литературе оно иногда описывается как параллелизм партийных и государственных аппаратов, как своего рода ловушка советской государственности, в которую угодил СССР, вынужденный непрерывно пересматривать баланс решений и исполнений, компетенций и ответственности между партией и государственными органами.

Примечательным является тот факт, что проблема разграничения государственных и партийных функций впервые была озвучена именно тогда, когда обсуждалась культурная политика нового советского государства, а именно в ходе дискуссии вокруг организации Главполитпросвета — основного государственно-го органа, управляющего в тот исторический момент культурой (Десятый съезд РКП(б), 1933: 149). Именно в культурной сфере самым насущным образом ощущалась эта потребность в различении. Принцип разграничения партии и государства, выработанный в полемике по поводу культурного строительства, был понят как универсальный и распространился на все сферы партийно-государственной организации. Наиболее четко и рельефно главный принцип разграничения функций партии и государства сформулировал в 1921 году в докладе X съезду партии Евгений Преображенский. Он отмечал, что в настоящее время происходит стихийное формирование «аппарата по пропаганде коммунизма», но он складывается фрагментарным образом одновременно внутри целого ряда отдельных государственных комиссариатов. Теперь настало время создания единого аппарата, который был бы способен «вести эту пропаганду централизованно и систематически по принципу массового производства». Важный вопрос состоял в том, должен ли этот аппарат быть партийным или государственным?

Дискуссия о распределении функций между партийным и государственным аппаратами имела в виду множество разных управленческих проблем: эффективная концентрация кадров, учет специфики работы с конкретной социальной группой, преодоление бюрократизма, разграничение компетенций партийного руководства и государственного управления. Однако все участники дискуссии на X съезде исходили из одной неоспоримой предпосылки — монополия на культуру и производство культурных смыслов принадлежит исключительно партийному руководству.

Схема, предложенная Преображенским, состояла в том, что партия отводит государству (т. е. Главполитпросвету и Наркомпросу) культурно-просветительскую работу только в том случае, когда ее можно подчинить принципу «массового производства», когда она поддается «механизации» или «тиражированию» с учетом специфики социальных групп и классов, с которыми велась пропагандистская работа (молодежь, крестьяне, рабочие, солдаты, школьники, женщины, студенты и т. д.). Если можно «механизировать образование коммунистов», то эта работа также передается государственным структурам образования. Однако вся полнота организационной работы, включающей в себя политическое и идейное руководство, распределение кадров и общее руководство — это «абсолютная область» партии (Десятый съезд РКП(б), 1933: 143-153). Таким образом, «серийное производство» агитации, пропаганды и культурной работы передавалось государственным структурам, а руководство — их «двойнику», на тот момент партийному Отделу пропаганды и агитации. Иными словами, государственные органы принимают решения там, где возможны стандартизированные решения. Партия же принимает решения уникальные, учитывающие специфику момента.

Второй важной инновацией, помимо различения функций партии и государства, стало создание номенклатуры<sup>2</sup>. Необходимость номенклатуры в системе с базовой дихотомией партии и государства вполне понятна: политические решения в уникальных, трудно поддающихся стандартизации условиях, нужно принимать на разных уровнях управления и в разных культурных, географических и социально-политических контекстах. Решением задачи сложности в таком случае будет образование и формирование специальной категории специалистов — партийных кадров («номенклатуры», людей со стандартизированной идеологической мотивацией, обученных принимать нестандартные решения.

Учебник по партийному строительству дает следующее определение номенклатуры — «это перечень наиболее важных должностей, кандидатуры на которые

---

2. Термин «номенклатура» появляется в партийных документах в 1923 году. По всей видимости, он был заимствован из зоологии времен Линнея. В зоологии номенклатура — способ наименования животных (род, вид и разновидность). Линней первый ввел двойную (бинарную) номенклатуру при описании животных и растений. Наиболее сходные между собой виды Линней соединял в роды (genus) и каждому виду давал двойное наименование: одно родовое, общее для нескольких сходных видов, и затем каждому отдельному виду специальное видовое название. Оргбюро ЦК РКП(б) приняло постановление «О назначениях» 12 июня 1923 года, а в октябре того же года ЦК вынес решение об основных задачах учетно-распределительной работы (Земляной, 2004).

предварительно рассматриваются, рекомендуются и утверждаются данным партийным комитетом (райкомом, горкомом, обкомом партии и т. д.). Освобождаются от работы лица, входящие в номенклатуру партийного комитета, также лишь с его согласия. В номенклатуру включаются работники, находящиеся на ключевых постах» (Партийное строительство, 1981: 300). Вопрос кадровых назначений был признан главным, поэтому ключевым аппаратом, осуществлявшим учет, расстановку и руководство образованием кадров на всех уровнях партийно-государственного управления, стало учетно-распределительное бюро ЦК (Учраспред). Этот «маленький аппаратик» (И. В. Сталин), или узел настройки, обладал наивысшей политической и структурообразующей значимостью внутри государственных и партийных органов. До создания Учраспреда кадровые вопросы решались разовыми кампаниями — через так называемые партмобилизации. Теперь же, с появлением Учраспреда, работа становилась системной и регулярной — его аппарат работал как в центре, так и на местах, у каждого заведующего отделами учраспредов были заместители по советской (государственной) и хозяйственной части, а также по учету «комсостава», «каждый работник изучался по косточкам» (Двенадцатый съезд РКП(б), 1923: 63-64), а затем распределялся по предприятиям, трестам, советским и партийным аппаратам. Позже вся эта система работы с кадрами (учет, распределение, образование) была названа системой партийно-хозяйственной номенклатуры.

В номенклатурной системе привлекают внимание три аспекта. Во-первых, она стала своего рода орденом внутри партии. По замыслу Сталина, номенклатуру должен был отличать особый корпоративный дух избранности — партии внутри партии. Он сравнивал его с орденом меченосцев (Павлюченков, 2008: 19). Избранность номенклатурных кадров была производной партийно-государственной системы, требовавшей выделения людей, умеющих принимать решения в особых обстоятельствах. Во-вторых, это был способ учета и контроля кадров на всех уровнях партийно-государственной вертикали и во всех регионах. Кадровый учет и контроль был способом контроля и селекции решений. В-третьих, именно через кадровый контроль, через внедрение номенклатурных работников в государственные и общественные организации, осуществлялось партийное руководство ими.

Историю партийно-государственного строительства в СССР можно описать как охрану различия между партией и государством и как процесс поиска оптимального равновесия<sup>3</sup>. Практически все форумы партии предлагали то или иное решение сложившихся дисбалансов между партией и советскими органами. Решения некоторых форумов выглядели окончательными и бесповоротными. Например, переход от функционального к производственно-отраслевому принципу строения партийного аппарата на XVII съезде. Затем в 1966 году на XXIII

---

3. На XVII съезде партии, под предлогом перехода от функционального к производственно-отраслевому принципу построения партийного аппарата, партия взяла на себя не только политическое руководство, но и многие функции оперативного управления (Жилинский, 1989: 10).

съезде КПСС осуждение этого принципа и требование от партийных комитетов всех уровней «до конца изжить мелочную опеку и подмену советских органов» (Двадцать третий съезд КПСС, 1966: 92). В 1977 году важной вехой стало совмещение высшей партийной и высшей государственной должности, когда генеральный секретарь КПСС стал председателем Верховного Совета СССР. Наконец, один из последних значительных партийных форумов — XIX партийная конференция — устами М. С. Горбачева объявил курс на реформу политической власти, суть которого описывалась формулировкой «отделение партийных органов от государственных», но на деле устанавливался лишь новый баланс распределения партийных кадров внутри государственной системы (например, принцип совмещения должностей главы партийного комитета и главы совета соответствующего уровня).

### *Китайская модель*

Китайская Народная Республика унаследовала и развила советскую модель партийного руководства государством и номенклатурную систему<sup>4</sup>. Именно политическое руководство является центральным вопросом китайской политики (Li, 2016: 14). В основе всей системы государственного управления в Китайской Народной Республике лежит «смычка» партии и правительства — эти отношения разыгрываются в госаппарате на всех уровнях и во всех ведомственных сферах. Коммунистическая партия Китая (КПК) играет главенствующую роль в государстве с 1949 года, однако конкретные формы ее связей с остальными структурами постоянно корректируются (Chen, 2007). Об однопартийном руководстве и принципах реализации кадровой политики в КНР написано немало работ, в том числе отечественными исследователями — мы ограничимся здесь базовыми вехами, сделав акцент на управлении культурой, в котором наиболее рельефно проявляет себя специфика советско-китайской модели.

Первое поколение руководителей (и лично Мао Цзэдун) сознательно «клонировали» советскую номенклатурную систему, и даже при последующем разрыве отношений с СССР эта преемственность сохранялась. Кризисные события 1989 года поставили заслон и на пути сближения с западными образцами административного и политического управления. В результате с начала 1990-х годов и вплоть до 2020-х (даже и сейчас, в эпоху «авторитарных реформ» Си Цзиньпина, зафиксированных Шестым пленумом ЦК КПК в ноябре 2021 года) кадровые процессы в КНР идут по пяти принципам: открытое выдвижение, экзамены, аттестация кадров, кадровая ротация, децентрализация аппаратного управления (усиление кадров локального уровня и высокое качество низовой демократии на стадии обсуждения решений) (Мацузато, Сельцер, 2021: 120-122).

---

4. Концепция «кадров» была напрямую заимствована из работы В. И. Ленина «Что делать?», что отражено у современных китайских авторов и в партийных доктринальных документах. См.: Brøds-gaard, 2017: 390.

В серии глубинных интервью с руководителями разных уровней партийно-государственного управления КНР респондентам задавался вопрос о том, почему сохранились Китай и КПК, но исчезли КПСС и СССР (Зуенко, Сельцер, 2022). Китайские чиновники были единодушны: «Секрет жизнеспособности КНР — в контроле правящей партии над руководящими кадрами. Потеря партией контрольных функций чревата для Китая неизбежным распадом и уходом КПК с исторической арены, то есть повторением судьбы СССР-КПСС». Поэтому советские принципы номенклатуры и разделения партийных и государственных функций являются краеугольными не только для устойчивого развития китайской политической системы.

Китайские исследователи сознают, насколько экзотично, мягко выражаясь, выглядит система партийного руководства для западных наблюдателей. Они называют ее партийно-правительственной (Lin, 2006: 5) или партийно-государственной системой (Chen, 2015) правления, что также напоминает советские определения. Поэтому они часто утверждают, что достоинства такой модели лучше всего проявляют себя в периоды «интенсивных, сложных, ненормативных трансформаций общества или в кризисах» (Guo, 2019), когда подобная модель управления является наилучшим инструментом мобилизации достижения стратегической цели (Bai, Liu, 2020: 6).

Руководящая и направляющая роль КПК в стране реализуется, во-первых, через координационные структуры в конкретных сферах и, во-вторых, через надзорные организации (комиссии по контролю над дисциплиной и др.). В целом профильные госорганизации в городах и других административных единицах занимаются прежде всего рутинными делами, «текучкой». Партийные же органы активно включаются в деятельность профильных организаций в ходе политических кампаний — то есть краткосрочных, но сильно воздействующих на реальность мероприятий, запущенных «сверху», после очередного значимого выступления генерального секретаря или партийного съезда, знаменующего поворот политики.

Наконец, что касается карьерного продвижения и отбора кадров, то базовой системой выступает *даньвэй* — два трека, политический и профессиональный: при продвижении работник идет либо по «линии» благонадежности и верности партийной идеологии, либо по линии образования, компетенций и профессионального опыта (Li, Walder, 2001). Два трека также рассматриваются по оси универсализм-партикуляризм: профессионалов отбирают и продвигают по универсальным критериям, а партийных работников — не в меньшей степени по субъективным критериям, в том числе возрасту, месту происхождения, связям (Zang, 2004). Вместе с тем, как отмечают исследователи, механизмы карьерного роста в партийной иерархии отчасти напоминают внутренние рынки труда в крупных американских и японских компаниях: малое количество точек входа на нижние ступени организации, иерархические должностные лестницы, четко определенные схемы карьерного роста, акцент на обучение на рабочем месте (а не вовне, в вузах, например)

и приобретенные таким образом навыки для карьерного продвижения, низкая текучесть кадров, бонусы за стаж работы (Zang, 2004).

Такова была в общих чертах ситуация со времен завершения культурной революции до середины 2010-х. Однако в последние годы генеральный секретарь КПК Си Цзиньпин запустил ряд инициатив по «партийному строительству», стремясь изменить систему отношений партии, государства и общества — посредством более активного внедрения партийного контроля и влияния над госструктурами и общественными организациями и, что еще важнее, интенсификации и кодификации инструментов поддержания идеологической «чистоты» и политической лояльности (Snape, Wang, 2020).

Однако сложность разработки единой политики для такой неоднородной и сложной страны, как Китай, означает, что в результате она часто оказывается чересчур абстрактной, расплывчатой и неточной (Shi, 1997). Это оставляет заинтересованным сторонам свободное пространство для переговоров или сделок с властями на этапе реализации политики — в отличие от западной политической традиции, где «политика формулируется в виде правил и правовых норм, которые являются точными и конкретными» (Keane, 2001: 10).

В другом исследовании китайской модели управления дали название «экспериментирование в условиях иерархии» (Heilmann, 2008) — в результате чего практика опережает планы и инструкции. Это особенно заметно на примере реформы китайских государственных учреждений культуры. Многие из них были вынуждены самостоятельно формировать свои бюджеты без финансовой поддержки со стороны правительства. Это, в свою очередь, способствовало развитию предпринимательства и коммерческих инициатив (Zhang, 2006). «Экспериментирование в условиях иерархии» способствует конкуренции между местными органами власти, тогда как Пекин получает возможность отбирать успешные инициативы на местах и реализовывать их уже в масштабе страны.

Но культурная политика в Китае не стоит на месте — и в последние 5–8 лет к исторически первому ее компоненту (пропаганда и агитация), второму (коммерциализация, культура как индустрия, мягкая сила и культурный экспорт), утвердившемуся с 1990-х годов, прибавился третий — культура как пространство безопасности и, соответственно, необходимость точечных цензурных интервенций для обеспечения такой безопасности. Современная государственная идеология «Китайской мечты» и «Размышлений о социализме с китайскими чертами в новую эпоху» Си Цзиньпина отвергают западную концепцию либеральной демократии, а контролируемое партией государство пытается сохранить свою активную роль в мониторинге и надзоре за общественным дискурсом. Контроль государства над публичным пространством детализируется. Одновременно ряд новых институциональных и законодательных поправок значительно укрепил контроль над массовыми коммуникациями. Такого рода нововведения черпают свою легитимность в императиве защиты культурной безопасности Китая (вэньхуа аньцюань) (Fürst, 2021).

В современном Китае поток культурной продукции становится все шире, культурная политика, как было указано выше, в немалой степени децентрализована, культура прошла рыночные реформы, культурные продукты производятся массово и все более быстрыми темпами. Одновременно контроль и надзор со стороны партии реализуется уже не столько через общую линию и стратегию, определяемую раз в пятилетку, а через множество точечных цензурных мероприятий, прежде всего в цифровом пространстве. С момента прихода к власти Си Цзиньпина список цензурных ограничений стремительно растет. Черные списки СМИ, списки «опасных слов» и сайтов в интернет-изданиях постоянно обновляются, как и руководства для журналистов и редакторов, а также черные списки (стоп-листы) нежелательных персон в музыке, кино и других сферах культуры.

Эти явления идут рука об руку с нарастающей цифровой модернизацией китайской модели управления общественными и политическими процессами. Она затронула и собственно кадровую политику: «Цифровая трансформация дала властям возможность резко динамизировать процессы кадрового рекрутинга. Чиновник в Китае в полном смысле рождается в цифре» (Лу, Сельцер, 2022: 28). Именно в «цифре», во включении «больших данных» во все процессы, китайское руководство видит идеальный материал для разрешения всех противоречий, возникающих в ходе управления таким сложным объектом, как культура (противоречий между рынком и дирижизмом, между идеологическим контролем «сверху» и децентрализацией, между политическим и оперативным руководством). Здесь, как мы показали в работе о системе социального рейтинга, современный Китай обнажает свое глубинное сходство с СССР — точнее, их общие истоки в утопическом проекте модерны: количественные данные отражают истинное положение дел в обществе, и научная их обработка и использование не просто оптимизирует управление обществом и экономикой, но и позволит решить социальные проблемы технологическими инструментами (Chenchen Zhang, 2020: 13; Космарский, 2021).

Подводя промежуточный итог, можно сказать, что своеобразие и специфика китайской версии партийно-государственного управления по сравнению с советской состоит в том, что индустриальное и сельскохозяйственное производство, а также предприятия культуры функционируют в рыночной среде и на рыночных условиях. Более того, некоторые принципы рыночного стимулирования внедряются в государственные структуры: у рядовых сотрудников есть фиксированные ставки, но возможны заработки сверх зарплат, что регулируется соответствующими регламентами. Государство гарантирует уровень минимального спроса соответствующими государственными заказами.

На первый взгляд процесс принятия решений выглядит запутанным и нерациональным. Однако эта замысловатость процедур принятия решений служит тому, чтобы затушевать системный парадокс о неразрешимости вопроса о разделении функций между партией и государством. Как и в СССР, регулярно возникающие споры о более четком или эффективном разделении функций партии и государства находят свое окончательное решение на очередном пленуме или съезде партии.

## Заключение

Прежде чем в общих чертах мы представим возможные перспективы описанных нами двух моделей, отметим, что они развиваются сегодня в жестком соревновании. За пределами нашего анализа осталось обширное проблемное поле, связанное с эффектами взаимного влияния этих моделей друг на друга, а также на страны, вставшие на путь модернизации и обладающие возможностью выбора в пользу одной из альтернатив.

Факт влияния моделей друг на друга проявился в том, что Китаю удалось осуществить синтез однопартийной политической системы и рыночного капитализма, что в конце XX века казалось невозможным. Китай развернул базовый парадокс партия/государство через ряд решений, которые в СССР не были реализованы, хотя и могли обсуждаться. Во-первых, КПК допустила, что рекрутирование кадров должно происходить на основе технического и профессионального образования, а не классового происхождения или идеологических установок. Во-вторых, более решительно, чем в СССР, были регламентированы сроки пребывания на руководящих партийных и государственных позициях (хотя в настоящее время наблюдается появление исключений). В-третьих, были введены рейтинги и критерии оценок партийных должностных лиц согласно корпоративным образцам — нечто вроде KPI. В последнее время данная система оценок интегрируется в отстраиваемую систему социального кредита. В-четвертых, и, наверное, это самое важное, партия уделяла особое внимание тому, что процесс принятия решений процедурно оформляется и распределяется между организациями партии, государства и частного бизнеса, а также между разными иерархическими уровнями этих организаций. Создание специфических площадок принятия решений, объединяющих структуры партии, государства и бизнеса, является одной из характерных черт китайской версии модели, отличающей ее от советской. С 2015 года эта форма принятия и согласования решений именуется во всех партийных документах как *консультативная демократия*<sup>5</sup>.

Нам представляется перспективным исследование того, каким образом масштабная партийная программа создания системы социального кредита повлияет на развитие базового для данной модели парадокса. О социальном кредите сегодня выходит много публикаций. Как правило, исследования проводятся в перспективе технологий контроля и ограничений индивидуальных свобод. В настоящее время социальный кредит не является интегрированной системой, а представляет собой фрагментированный набор локальных инициатив. Остаются без внимания вопросы, связанные с тем, к какой эволюции партийно-государственной модели приведет возможная интеграция этих экспериментов в единую систему. Кто и каким образом будет принимать решения по поводу алгоритмов и критериев оценки

---

5. В 2015 году ЦК КПК выпустил важный документ «Замечания относительно укрепления социалистической консультативной демократии». На последующих съездах принимались решения по развитию форм и регламентов консультативной демократии.



рейтингов, какое влияние это может оказать на партию, ее кадровую политику и консультативную демократию.

В последнее десятилетие в западной литературе по управлению идут острые и идеологически насыщенные споры о новом типе управления и лидерства. Часть исследователей утверждает, что сетевые, а не иерархические структуры управления выдвигают на первый план запрос на *постгероическое правительство и управление*. Оно преподносится как новый тип демократического лидерства, требующего репрезентации разного рода меньшинств в структурах управления. Некоторые называют такой «толерантный» стиль антиподом героическому, или харизматическому лидерству. Управление, полагают они, должно впитать в свою сеть культурное разнообразие и избежать создания новых иерархий (Kelan, 2017). Левые радикалы полагают, что необходимы макроизменения и ради более широкой представленности меньшинств в управлении нужно использовать энергию радикально мыслящих героических лидеров, в особенности среди высших руководителей. Таким образом, наметился отход от принципов нейтральности управления, в особенности государственного, который исповедовался многими социальными теоретиками на протяжении XX столетия.

По нашему мнению, требуется точная оценка данных тенденций. С одной стороны, отход от нейтральности и технократизма в управлении можно принять за исчерпанность модели, построенной вокруг различения политики/администрации, что проявляется в усилении полемики вокруг ценностей. Луман утверждал, что «ценности служат для того, чтобы остановить рефлекссию. Когда это не работает, дифференцируются небольшие системы, в которых это работает» (Luhmann, 2008: 28). Сами по себе споры вокруг ценностей свидетельствуют о распространении политизации на сами основания либерально-демократической модели. С другой стороны, разворачивание системного парадокса происходит в виде циклов осцилляции, а потому важно очередное колебание не спутать с глобальной системной перестройкой или началом нового этапа эволюции политико-государственной системы в развитых странах Запада.

Но с большой определенностью можно сказать, что движение вроде конвергенции, когда одна модель эволюционирует в другую, невозможно — системность политических организаций осуществляется через преемственность решений по отношению друг к другу. Китай может превратиться в либеральную демократию только через семантический коллапс. Впрочем, верно и обратное утверждение.

Неутешительный итог подвел один из известных исследователей дискуссии вокруг политико-административной дихотомии: «Оглядываясь на пройденный путь, мы, к сожалению, не можем прийти к выводу, что почти два века обсуждений отношений между политикой и администрацией привели к большому консенсусу или даже к большей ясности по рассматриваемым вопросам. Напротив, традиция, похоже, застряла в запутанном нагромождении недоразумений и недопонимания» (Overeem, 2010).

## Литература

- Жилинский С. (1989). Разграничение функций партийных и государственных органов // Правоведение. № 6.
- Земляной С. Н. (2004). Истоки и смысл сталинской номенклатуры // Политическая наука. № 1. С. 119-137.
- Зуенко И., Сельцер Д. (2022). «Кадры решают все»: реформа кадровой системы КНР на рубеже 1980–1990-х годов // Известия Восточного института. № 1. С. 58-69.
- Кибовский А. (2022). Мы давно стали мишенью для Запада // Литературная газета. 30 ноября. URL: <https://lgz.ru/article/-48-6862-30-11-2022/my-davno-stali-mishepu-dlya-zapada/> (дата обращения: 19.11.2022).
- Космарский А. А. (2021). Китайский социальный рейтинг: технология доверия для нового общества модерна // Социодиггер. № 2 (7). С. 55-61.
- Куренной В. А. (2004). В поисках достоинств: смысл и логика административной реформы // Отечественные записки. № 2 (17). URL: <https://strana-oz.ru/2004/2/v-poiskah-dostoinstv-smysl-i-logika-administrativnoy-reformy#s1> (дата обращения: 19.11.2022).
- Луман Н. (2007). Социальные системы. Очерк общей теории. СПб.: Наука.
- Лу С., Сельцер Д. Г. (2022). Система аттестации руководящих кадров современного Китая // Власть и элиты. Т. 9. № 2. С. 27–55.
- Мацузато К., Сельцер Д. (2021). Государственная кадровая политика в КНР (время Ху Цзиньтао) // Власть и элиты. Т. 8. № 2. С. 113–133.
- Павлюченков С. А. (2008). «Орден меченосцев»: партия и власть после революции 1917–1929 гг. М.: Собрание.
- Партийное строительство (1981): Учебное пособие. М.
- Двадцать третий съезд КПСС 29 марта — 8 апреля 1966 г. (1966). Стенографический отчет. В 2-х т. М.: Политиздат. Т. 1.
- Двенадцатый съезд РКП(б). Апрель 1923 г. (1968). Стенографический отчет. М.: Политиздат.
- Десятый съезд РКП(б). Март. 1921 г. (1933). Ин-т Маркса-Энгельса-Ленина при ЦК ВКП(б). Протоколы съездов и конференций ВКП(б). М.: Парт. изд.
- Aberbach J. D., Putnam R. D., Rockman B. A. (1981). Bureaucrats and Politicians in Western Democracies. Londres: Harvard University Press.
- Andersen A. N. (2001). The Undecidability of Decision // MPP Working Paper No. 12.
- Bai Z., Liu J. (2020). China's governance model and system in transition // Journal of Contemporary East Asia Studies. Vol. 9. № 1. P. 65-82.
- Bezes P., Le Lidec P. (2007). French Top Civil Servants Within Changing Configurations: from Monopolization to Contested Places and Roles? // From the Active to the Enabling State. The Changing Role of Top Officials in European Nations / E. C. Page, V. Wright (eds). London: Palgrave Macmillan.
- Bezes P., Pierru F. (2012). État, administration et politiques publiques: les déliaisons dangereuses. La France au miroir des sciences sociales nord-américaines // Gouvernement & action publique. Vol. 2. P. 41-87.

- Brødsgaard K. E.* (2017). *Management of Party Cadres // Critical Readings on the Chinese Communist Party* / Ed. by K. E. Brødsgaard. Leiden: Brill.
- Campbell C., Szablowski G. J.* (1979). *The Super-Bureaucrats: Structure and Behaviour in Central Agencies*. New York: New York University Press.
- Chenchen Zhang* (2020). *Governing (through) trustworthiness: technologies of power and subjectification in China's social credit system // Critical Asian Studies*. Vol. 52. № 4. P. 565-588.
- Chen L. A.* (2007). *Historical Survey of Leadership System Under the Guidance of the Communist Party of China: 1921–2006*. Shanghai: Shanghai People's Publishing House.
- Chen M.* (2015). *Zai Geming Yu Xiandaihua Zhijian : Guanyu Dangzhi Guojia De Yige Guancha He Taolun [Between Revolution and Modernization: An Observation and Discussion about the Rule of the Party]*. Shanghai: Fudan Daxue Chubanshe.
- Danaeefard H.* (2021). *The Fate of Public Policies after Proclamation: An Analysis of the Interaction of Political Will and Administrative Capacity // Journal of Iranian Public Administration Studies Winter*. Vol. 4. № 4. URL: [http://www.jipas.ir/article\\_151301.html?lang=en](http://www.jipas.ir/article_151301.html?lang=en). (дата обращения: 19.11.2022).
- Fürst R.* (2021). *Cultivating the Art of Anxiety: Securitising Culture in China // China Report*. Vol. 57. P. 433–450.
- Heilmann S.* (2008). *Policy experimentation in China's Economic Rise // Studies in Comparative International Development*. Vol. 43. P. 1-26.
- Keane M.* (2001). *Broadcasting policy, creative compliance and the myth of civil society in China // Media Culture & Society*. Vol. 23. P. 783–798.
- Kelan E.* (2017). *Post-Heroic Leadership, Tempered Radicalism and Senior Leaders as Change Agents for Gender Equality // European Management Review*. Vol.15. Issue 1. P. 5-18.
- Li B., Walder A.* (2001). *Career Advancement as Party Patronage: Sponsored Mobility into the Chinese Administrative Elite, 1949–1996 // American Journal of Sociology*. Vol. 106. P. 1371-1408.
- Li C.* (2016). *Chinese Politics in the Xi Jinping Era: Reassessing Collective Leadership*. Washington: Brookings Institution.
- Lin Y.* (2006). *Gongwuyuanfa yanjiu (A Study of the Civil Service Law)*. Beijing: Dangjijian Duwu Chubanshe.
- Luhmann N.* (2008). *Are There Still Indispensable Norms in Our Society? // Soziale Systeme*. Heft 1. S. 18-37.
- Luhmann N.* (1981). *Organisation und Entscheidung // Luhmann N. Soziologische Aufklärung*. Opladen: Westdeutscher Verlag. S. 335-390.
- March J. G.* (1997). *Understanding how decisions happen in organizations // Organizational decision making / Z. Shapira (ed.)*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Overeem P.* (2010). *The politics-administration dichotomy: a reconstruction*. Leiden: LEI Universiteit Leiden. URL: <https://hdl.handle.net/1887/14560> (accessed 19 November 2022).

- Ranciere J.* (1995). *On the Shores of Politics*. London: Verso.
- Shan S.* (2014). Chinese cultural policy and the cultural industries // *City, culture and society*. Vol. 5. P. 115–121.
- Shi T.* (1997). *Political participation in Beijing*. Cambridge: Harvard University Press.
- Snape H., Wang W.* (2020). Finding a place for the Party: debunking the «party-state» and rethinking the state-society relationship in China's one-party system // *Journal of Chinese Governance*. Vol. 5. P. 477–502.
- Schiesl M. J.* (1977). *The Politics of Efficiency. Municipal Administration and Reform in America: 1880-1920*. Berkeley (Calif.): University of California Press.
- Wilson W.* (1887). *The Study of Administration* // *Political Science Quarterly*. Vol. 2. № 2. P. 197–222.
- Zang X.* (2004). *Elite Dualism and Leadership Selection in China*. New York: Routledge Curzon.
- Zhang X.* (2006). From institution to industry: Reforms in cultural institutions in China // *International Journal of Cultural Studies*. Vol. 9. P. 297–306.

## Paradoxes of the Soviet-Chinese and Liberal-Democratic Models of Government

*Rouslan Khestanov*

Doctor of Philosophy (PhD), Professor, School of Philosophy and Cultural Studies, Faculty of Humanities, National Research University Higher School of Economics; Head of the Laboratory of Cultural Research of the Institute of Cultural Studies of the National Research University Higher School of Economics  
Address: Myasnitskaya st. 20, Moscow, 101100, Russia  
E-mail: khestanov@hse.ru

*Artyom Kosmarski*

Artyom Kosmarski, Ph. D. in sociology, researcher, State Academic University for the Humanities (GAUGN),  
Address: Moscow, Russia, Maronovskiy Lane 26, 119049  
E-mail: artyom.kosmarski@gmail.com

The article focuses on two models of political and state formations, those of liberal-democratic and Soviet-Chinese. The use of Niklas Luhmann's concept of decision in analyzing their systemic foundations opens a new perspective on both these models and the contemporary political process. A brief overview of the discussion on the topic of decision-making in organizations was offered, and the heuristic value of Niklas Luhmann's concept of decision was substantiated. One of his key definitions of decision is that decision-making can be described as the transformation of uncertainty into risk. In this view, decision is seen as a function and element of the organization or organizational systems. An organization continuously makes decisions, though none solve the problem because it is based on a paradox: only those issues that are fundamentally undecidable can be decided. At the same time, each new decision is not only a response to the challenges of the surrounding world, but is contingently determined by a series of previous decisions. Therefore, one can say that the decision-making process is based on the paradox that constitutes the organization and determines its specificity and identity. The article demonstrates that the liberal-

democratic model is based on the paradox of politics and administration. The Soviet-Chinese model is based on the paradox of party and state.

*Keywords:* USSR, China, decision, political-administrative dichotomy, one-party state, Niklas Luhmann

## References

- Aberbach J. D., Putnam R. D., Rockman B. A. (1981) *Bureaucrats and Politicians in Western Democracies*, Londres: Harvard University Press.
- Andersen A. N. (2001) *The Undecidability of Decision*. MPP Working Paper no 12.
- Bai Z., Liu J. (2020) China's governance model and system in transition. *Journal of Contemporary East Asia Studies*, vol. 9, no 1, pp. 65-82.
- Bezes P., Le Lidec P. (2007) French Top Civil Servants Within Changing Configurations: from Monopolization to Contested Places and Roles? *From the Active to the Enabling State. The Changing Role of Top Officials in European Nations* (E. C. Page, V. Wright eds.), London: Palgrave Macmillan.
- Bezes P., Pierru F. (2012) État, administration et politiques publiques: les déliaisons dangereuses. La France au miroir des sciences sociales nord-américaines. *Gouvernement & action publique*, vol. 2, pp. 41-87.
- Brødsgaard K. E. (2017) Management of Party Cadres. *Critical Readings on the Chinese Communist Party* (ed. K. E. Brødsgaard), Leiden: Brill.
- Campbell C., Szabowski G. J. (1979) *The Super-Bureaucrats: Structure and Behaviour in Central Agencies*, New York: New York University Press.
- Chenchen Zhang (2020) Governing (through) trustworthiness: technologies of power and subjectification in China's social credit system. *Critical Asian Studies*, vol. 52, no 4, pp. 565-588.
- Chen L. A. (2007) *Historical Survey of Leadership System under the Guidance of the Communist Party of China: 1921-2006*, Shanghai: Shanghai People's Publishing House.
- Chen M. (2015) *Zai Geming Yu Xiandaihua Zhijian: Guanyu Dangzhi Guojia De Yige Guancha He Taolun* [Between Revolution and Modernization: An Observation and Discussion about the Rule of the Party], Shanghai: Fudan Daxue Chubanshe.
- Danaeefard H. (2021) The Fate of Public Policies after Proclamation: An Analysis of the Interaction of Political Will and Administrative Capacity. *Journal of Iranian Public Administration Studies*, Winter, vol. 4, no 4. URL: [http://www.jipas.ir/article\\_151301.html?lang=en](http://www.jipas.ir/article_151301.html?lang=en). (дата обращения: 19.11.2022).
- Fürst R. (2021) Cultivating the Art of Anxiety: Securitising Culture in China. *China Report*, vol. 57, pp. 433-450.
- Heilmann S. (2008) Policy experimentation in China's Economic Rise. *Studies in Comparative International Development*, vol. 43, pp. 1-26.
- Keane M. (2001) Broadcasting policy, creative compliance and the myth of civil society in China. *Media Culture & Society*, vol. 23, pp. 783-798.
- Kelan E. (2017) Post-Heroic Leadership, Tempered Radicalism and Senior Leaders as Change Agents for Gender Equality. *European Management Review*, vol.15, issue 1, pp. 5-18.
- Kibovsky A. (2022) 'We have long been a target for the West'. *Literary newspaper*. November 30. URL: <https://lgz.ru/article/-48-6862-30-11-2022/my-davno-stali-mishenyu-dlya-zapada/> (accessed 19 November 2022). (In Russian).
- Kosmarsky A. A. (2021) Chinese social rating: technology of trust for the new modern society. *Sociodigger*, vol. 2 (7), pp. 55-61. (In Russian).
- Kurennoy V. A. (2004) 'In search of virtues: the meaning and logic of administrative reform'. *Otechestvennyye zapiski* [Domestic notes], no 2(17). URL: <https://strana-oz.ru/2004/2/v-poiskah-dostoinstv-smysl-i-logika-administrativnoy-reformy#s1> (accessed 19 November 2022). (In Russian).
- Li B., Walder A. (2001) Career Advancement as Party Patronage: Sponsored Mobility into the Chinese Administrative Elite, 1949-1996. *American Journal of Sociology*, vol. 106, pp. 1371-1408.
- Li C. (2016) *Chinese Politics in the Xi Jinping Era: Reassessing Collective Leadership*, Washington: Brookings Institution.

- Lin Y. (2006) *Gongwuyuanfa yanjiu* [A Study of the Civil Service Law], Beijing: Dangjian Duwu Chubanshe.
- Lu S., Selzer D. G. (2022) The system of certification of managerial personnel of modern China. *Power and Elites*, vol. 9, no 2, pp. 27-55. (In Russian).
- Luhmann N. (2008) Are There Still Indispensable Norms in Our Society? *Soziale Systeme*, Heft 1, pp. 18-37.
- Luhmann N. (1981) *Organisation und Entscheidung. Soziologische Aufklärung*, Opladen: Westdeutscher Verlag, pp. 335-390.
- Luhmann N. (2007) *Social Systems. Sketch of the general theory*, St. Petersburg: Nauka. (In Russian).
- March J. G. (1997) Understanding how decisions happen in organizations. *Organizational decision making* (Z. Shapira ed.), Cambridge: Cambridge University Press.
- Matsuzato K., Selzer D. (2021) State Personnel Policy in the PRC (Hu Jintao's time). *Power and Elites*, vol. 8, no 2, pp. 113-133. (In Russian).
- Party Building* (1981) *Study Guide*, Moscow. (In Russian).
- Pavlyuchenkov S. A. (2008) "The Order of Sword Bearers": *Party and Power after the Revolution of 1917-1929*, Moscow: "Sobranie". (In Russian).
- Overeem P. (2010) *The politics-administration dichotomy: a reconstruction*, Leiden: LEI Universiteit Leiden. URL: <https://hdl.handle.net/1887/14560> (accessed 19 November 2022).
- Schiesl M. J. (1977) *The Politics of Efficiency. Municipal Administration and Reform in America: 1880-1920*, Berkeley (Calif.): University of California Press.
- Ranciere J. (1995) *On the Shores of Politics*, London: Verso.
- Shan S. (2014) 'Chinese cultural policy and the cultural industries'. *City, culture and society*, no 5, pp. 115-121.
- Shi T. (1997) *Political participation in Beijing*, Cambridge: Harvard University Press.
- Snape H., Wang W. (2020) Finding a place for the Party: debunking the «party-state» and rethinking the state-society relationship in China's one-party system. *Journal of Chinese Governance*, no 5, pp. 477-502.
- Schiesl M. J. (1977) *The Politics of Efficiency. Municipal Administration and Reform in America: 1880-1920*, Berkeley (Calif.): University of California Press.
- Tenth Congress of the RCP(b). March. 1921 (1933) *Institute of Marx-Engels-Lenin under the Central Committee of the CPSU(b). Protocols of congresses and conferences of the CPSU(b)*, Moscow: Part. ed. (In Russian).
- Twelfth Congress of the RCP(b). April 1923'. (1968) *Verbatim record*, Moscow: Politizdat, pp. 63-64. (In Russian).
- Wilson W. (1887) The Study of Administration. *Political Science Quarterly*, vol. 2, no 2, pp. 197-222.
- Zang X. (2004) *Elite Dualism and Leadership Selection in China*, New York: Routledge Curzon.
- Zemlyanoy S. (2004) The origins and meaning of the Stalinist nomenklatura. *Political Science*, no 1, pp. 119-137. (In Russian).
- Zhang X. (2006) From institution to industry: Reforms in cultural institutions in China. *International Journal of Cultural Studies*, no 9, pp. 297-306.
- Zhilinsky S. (1989) Distinguishing the functions of party and state bodies. *Jurisprudence*, no 6. (In Russian).
- Zuenko I., Seltser D. (2022) "Staff decide everything": the reform of the personnel system of the PRC at the turn of the 1980-1990s. *News of the Eastern Institute*, no 1, pp. 58-69. (In Russian).

## От редакции

Центр фундаментальной социологии НИУ ВШЭ (ЦФС) и московское издательство «Праксис» готовят к печати первое русское научное издание работы Карла Шмитта «Тирания ценностей» (1960). В нем немецкий правовед и политический мыслитель радикально проблематизирует вторжение философии ценностей в дискурсивное пространство конституционного правосудия послевоенной Германии, указывая на далеко идущие разрушительные последствия попытки непосредственного применения ценностей для правового порядка современного типа. Меткая и до сих пор актуальная критика Шмитта направлена против агрессивной экспансии ценностного дискурса внутри правового поля, создающей угрозу для юриспруденции как автономной сферы духа, оперирующей правовыми нормами.

В рамках русского издания шмиттовского трактата научный сотрудник ЦФС О. В. Кильдюшов выступил в качестве переводчика текста, а руководитель ЦФС д.ф.н., профессор А. Ф. Филиппов — в качестве автора политико-философского предисловия.

Развернутые историко- и философско-правовые комментарии к данному тому любезно согласились подготовить известные отечественные правоведы — д.ю.н., профессор Е. В. Тимошина и к.ю.н. В. Е. Кондуров (оба — СПбГУ). В них анализируется широкий идейно-теоретический и политико-правовой контекст — от истории возникновения сочинения в конце 1950-х годов до текущей практики Европейского суда по правам человека.

## «Тирания ценностей» Карла Шмитта в контексте спора о природе конституционных прав\*

*Вячеслав Кондуров*

Кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного права, Санкт-Петербургский государственный университет

Адрес: Университетская наб., д. 7–9, Санкт-Петербург, 190034, Россия

E-mail: v.kondurov@spbu.ru

Дебаты о природе конституционных прав, закрепленных в Основном законе, разразились в послевоенной Германии в конце 50-х — начале 60-х годов XX века, будучи спровоцированы в том числе решением Федерального конституционного суда Германии по «делу Люта». В своем решении Суд впервые со всей ясностью сформулировал позицию, согласно которой основные права являются объективной системой ценностей, распространяющей юридическую силу во все отрасли права, в том числе в частное право. Хотя обращение суда к философии ценностей может быть объяснено общей на тот момент тенденцией к отказу от юспозитивизма, теоретико-правовой исток его позиции обнаруживается в конституционных дебатах довоенного времени, в частности, в работах Р. Сменда.

Экспансия философии ценностей в область юстиции вызвала критику Э. Форстхоффа и его учителя К. Шмитта. Форстхофф атаковал «ценностное» толкование ФКС Германии с позиций конституционного права, указывая, что в своих следствиях такое толкование ведет к разрушению юридического метода и правового государства. Шмитт же практически полностью опустил юридические аргументы и сосредоточился на критике самой философии ценностей. Он утверждал, что принятие ценностного толкования конституционной юстицией означает прямое применение ценностей, которое разрушает правопорядок.

Оба они, пусть и различными способами, призывали к возврату к ситуации классического правового государства с центральной ролью законодателя и формальной легальности. Это тем более парадоксально, что концептуальный аппарат, который они использовали в своей критике «ценностного» правосудия, ранее был сформулирован Шмиттом в контексте критики классического правового государства и его системы формальной легальности. Наряду с иным объяснение этому парадоксу может быть найдено в конституционной ситуации поствоенной Германии.

*Ключевые слова:* конституционные права, конституционное толкование, философия ценностей, К. Шмитт, Э. Форстхофф, М. Вебер, правовое государство, парламентаризм

Ценностная риторика уже давно стала чем-то само собой разумеющимся не только в конституционном праве (см., например: Зорькин, 2008: 7–20; Белов, 2019: 68–83), но и во вполне рутинной социальной жизни. Там, где раньше говорили о благах и интересах, теперь исключительно о ценностях: традиционных, чуждых, политических, религиозных, секулярных, конституционных, духовно-нравствен-

\* Статья подготовлена в рамках поддержанного Российским научным фондом научного проекта № 23-28-00973 «Догма публичного права в условиях постглобализации».

Работа опубликована при поддержке Программы «Университетское партнерство».



ных, общеевропейских и т. д. Столь широкое распространение ценностной риторики заставляет усомниться в том, что речь идет лишь о легкомысленном словоупотреблении. В конце концов, публично-правовые понятия неразрывно связаны с политической и конституционной реальностью, а потому редко когда трансформации и споры вокруг них происходят без какой-либо причины. Оттого тем более удивительно, что истоки ценностного дискурса так редко становятся предметом рефлексии, не говоря уже об обсуждении возможных опасностей утверждения верховенства ценностей над, к примеру, строго формальными юридическими нормами (об этом см. например: Филиппов, 2023: 54–58).

«Тирания ценностей» Карла Шмитта — одна из немногих работ, которая касается одновременно и истоков проникновения философии ценностей в сферу конституционного права, и тех опасностей, которые такое проникновение несет с собой. Тем не менее в отечественной, да и в мировой науке трудов, посвященных анализу данной работы, не так уж много. Особенно если иметь в виду другие, более популярные для исследования, работы Шмитта, такие как «Понятие политического», «Политическая теология» и др.

Данная статья не претендует на сколь-либо полное исчерпание этой темы. Свою задачу мы видим лишь в том, чтобы задать «Тирании ценностей» интеллектуальный контекст. Это означает, что «Тирания ценностей» должна быть одновременно рассмотрена как с точки зрения реалий времени ее опубликования, так и конституционно-правовой системы понятий, разработанных ее автором.

В первую очередь представляется правильным обратиться к анализу контекста выхода в свет «Тирании ценностей» в двух перспективах: (1) правовой ситуации и, в частности, судебной практики в ФРГ образца 50-х годов XX века, в рамках которой ключевую роль общепризнанно сыграло решение Федерального конституционного суда Германии (далее — ФКС) по так называемому «делу Люта»; (2) идейного контекста и теоретических истоков соответствующей правовой ситуации, поскольку очевидно, что последняя не может и не могла возникнуть в интеллектуальном вакууме.

Далее, было бы обоснованно обратиться непосредственно к критике ценностного дискурса в конституционном праве и правосудии, которую осуществляет Карл Шмитт и его ученик Эрнст Форстхофф. Вместе с тем соответствующая критика рискует быть неполной или не совсем ясной в случае, если предварительно не предложить ту систему понятий, из которой она выросла. По этой причине мы полагаем необходимым, по возможности кратко, описать ряд ключевых конституционно-правовых позиций, которые были заданы Шмиттом еще до Второй мировой войны.

Затем мы подвергнем анализу критику ценностного дискурса Эрнстом Форстхоффом, поскольку, во-первых, в хронологическом отношении его работы в существенной части предшествовали «Тирании ценностей» Шмитта, и во-вторых, последний имел ее в виду при написании собственного текста. Наконец, мы обратимся непосредственно к «Тирании ценностей» Карла Шмитта с учетом обстоятельств ее выхода в свет и места, которое она занимает в наследии немецкого юриста.

## Конституционно-правовая ситуация ФРГ и «дело Люта»

Правовой акт, который на данный момент имеет в ФРГ статус конституции, называется Основным законом (далее — ОЗ). Данным термином в германском публичном праве традиционно обозначали не конституции, а скорее фундаментальные законодательные акты, т. е. термин «основной закон» по своему содержанию ближе к французскому понятию «органический закон» (закон, принятие которого прямо предписано конституцией) или, если несколько упрощать, к современному для России понятию «федеральный конституционный закон». Объяснением использования столь специфического понятия может служить то обстоятельство, что первоначально Основной закон планировался как временный акт, принятый на территории оккупационных зон «западных» стран. Он и не должен был заменить Веймарскую конституцию, которая продолжала действовать даже после полной капитуляции Германии (Хессе, 1981: 57 и далее). Тем не менее фактически данный акт обрел силу конституции, не будучи при этом как-либо связан с учредительной властью.

Значительную роль в процессе конституционализации Основного закона сыграл учрежденный им ФКС Германии. В отличие от Имперского суда Веймарской республики, обладавшего достаточно узкой компетенцией в сфере конституционной юстиции, полномочия ФКС Германии в соответствии с ОЗ были значительно расширены, в частности, граждане получили возможность прямой защиты своих конституционных прав (статьи 93 и 100 ОЗ).

Одним из наиболее значимых в данном контексте актов ФКС Германии было решение по «делу Люта» (*Lüth-Entscheidung*). Эрих Лют, руководивший государственной пресс-службой города Гамбурга, в начале 1950-х годов призвал в своей речи по случаю открытия «Недели немецкого кино» к бойкоту бывшего нацистского режиссера, создателя антисемитского фильма «Еврей Зюсс», Файта Харлана. Позднее он повторил и усилил свое требование в открытом письме. В это время в производстве компании *Domnick-Film-Produktion GmbH* находился фильм Харлана «Бессмертная возлюбленная». Данная компания, объединившись с дистрибьютером фильма *Herzog-Film GmbH*, подали против Люта иск, в котором требовали запретить ему призывать к бойкоту фильма. Иск кинокомпаний был удовлетворен Земельным судом Гамбурга, а поданная апелляция на соответствующее решение отклонена. При этом суд исходил из того, что сделанные Лютом публичные заявления противоречили добрым нравам (*sittenwidrig*), поскольку его призыв сводился к тотальному исключению Харлана из сферы кинопроизводства, хотя тот не подлежал после денацификации каким-либо юридическим ограничениям. Одновременно этот призыв к бойкоту был направлен и против кинокомпаний-истцов, поскольку им грозили серьезные финансовые потери. Таким образом, суды посчитали, что имело место умышленное причинение вреда способом, противным добрым нравам (§ 826 BGB).

В связи с данным решением Лют обратился в ФКС Германии с жалобой, в которой утверждал, что в его случае имело место нарушение свободы выражения мнения, которая предполагает в том числе «свободу действия посредством слова» (*die*

*Freiheit des Wirkens durch das Wort*). ФКС Германии своим решением от 15 января 1958 года удовлетворил его жалобу, сформулировав при этом чрезвычайно важную правовую позицию: «...основные права призваны в первую очередь защищать сферу свободы гражданина от посягательств государственной власти <...>. Однако также верно и то, что Основной закон, не претендующий на ценностную нейтральность, в разделе об основных правах установил объективный порядок ценностей (*objektive Wertordnung aufgerichtet hat*), а также то, что именно в этом выражается принципиальное укрепление действительной силы основных прав (*prinzipielle Verstärkung der Geltungskraft der Grundrechte*) <...>. Эта система ценностей <...> в качестве конституционно-правового основного решения (*als verfassungsrechtliche Grundentscheidung*) должна обладать юридической силой (*gelten*) для всех отраслей права; законодательство, управление (*Verwaltung*) и юстиция (*Rechtsprechung*) получают от этой системы ценностей установки (*Richtlinien*) и импульсы. Так что само собой она оказывает влияние и на гражданское право; ни одно его предписание не может ей противоречить, каждое из них должно толковаться в ее духе» (Urt. v. 15.01.1958–1 BvR 400/51 (BVerfGE 7, 198 ff.) Rn. 24–25).

Данная правовая позиция была важна по двум причинам. Во-первых, фактически впервые здесь ФКС Германии указал на ценностную природу конституции и основных прав, а во-вторых, он напрямую встал на позицию допустимости *Drittwirkung* — доктрины, ставшей в настоящее время важным элементом в современной практике не только судов Германии, но и ЕСПЧ (Engle, 2009: 165–173). *Drittwirkung* подразумевает, что конституционные права влияют не только на отношения между государством и гражданами (вертикально), но и на отношения между гражданами в сфере частного права (горизонтально), т. е., например, конституционные права действуют и в случае, если речь идет о возникновении спора между коммерческой организацией и гражданином. Таким образом, благодаря пониманию основных прав как системы ценностей их юридическая сила получила более широкий охват, проникнув во все отрасли права (Hofmann, 2016: 305). Это, естественно, означало расширение компетенции ФКС Германии (Кумм, Комелла, 2006: 65), а также распространение логики ценностей вообще на всю правовую систему (Anter, 2015: 486).

Прежде догматической юриспруденции были известны по большому счету лишь две интерпретации конституционных прав. Первая из них понимала конституционные права как разновидность субъективных прав. Под последними понимались при этом подкрепленные правовой нормой требования частного лица к публичной власти совершать или не совершать некие действия. Например, право на частную жизнь в этом смысле может быть понято как требование к публичной власти не вмешиваться в частную жизнь гражданина. Остатки такого понимания основных прав, следует отметить, присутствуют в вышеприведенной правовой позиции Суда, однако они полностью перекрыты интерпретацией основных прав как элементов системы ценностей.

Другая догматическая интерпретация связана с пониманием конституции как правового акта и воспринимает основные права в качестве его элементов, т. е. как

общих нормативных установлений, которые, подобно любым другим правовым положениям, можно подвергнуть классическому логическому анализу в ходе интерпретации. Предложенная же ФКС Германии интерпретация конституционных прав как ценностей означала, что конституционные положения, закреплявшие основные права, перестали быть нормами в юридическом смысле, став, следуя впоследствии появившейся теории Р. Алекси, принципами, требующими оптимальной, а не безусловной реализации (о связи с Р. Алекси см.: Jansen, 1997: 27–28).

### Теоретико- и философско-правовые истоки ценностного дискурса

Приведенная выше позиция ФКС Германии стала результатом проникновения в юриспруденцию философии ценностей. В XIX веке старое учение о естественном праве (классический юснатурализм), как об объективных и универсальных юридических требованиях к властно установленному праву (позитивному праву), подверглось разрушительной критике. С одной стороны, эта критика осуществлялась сторонниками юридического позитивизма, полагавшими, что юриспруденция должна осуществлять исключительно анализ подкрепленных властным принуждением и действующих в конкретном государстве правовых норм. С другой стороны, юснатурализм оказался под ударом исторической школы права, отрицавшей любую универсальность и полагавшей, что право является специфическим продуктом культуры конкретного народа и его национального духа. Возрождение естественного права началось лишь в конце XIX — начале XX века, однако оно уже имело мало общего со старым юснатурализмом. В своей «возрожденной» версии естественное право не обладало ни универсальной, ни, строго говоря, юридической природой, поскольку сводилось к культурно детерминированным и динамичным категориям вроде нравственности, морали и т. д.

После Второй мировой войны поворот юристов ФРГ к естественному праву был вполне объясним — осуждение гитлеровского режима стало насущной необходимостью, тогда как позитивное право не давало для этого никакой возможности, ведь действия нацистских преступников в момент совершения были по большей части вполне легальны. В ситуации, когда апелляция к категориям классического естественного права оказалась невозможной, философия ценностей была воспринята юриспруденцией как адекватная замена, которая могла обеспечить определенную систематичность подхода, не вызывая при этом обвинений в метафизическом характере. Потребность в возрождении юснатурализма была столь сильна, что порой приводила к эксцессам. Например, Федеральный суд Германии на первых порах весьма сомнительно обосновывал уголовное наказание за сводничество «нравственным законом» (Eser, 1970: 223), а в рамках конфликта с ФКС Германии признавал права человека выше Основного закона<sup>2</sup>.

---

2. В конце 1953 года ФКС Германии вынес решение, согласно которому, поскольку нацистский режим сознательно разрушил государственную службу, основанную на верховенстве права, а капитуляция Германии была не просто сменой государственной формы, но уничтожением конституции

Считается, что с философской точки зрения в основу подхода ФКС Германии легла философия ценностей, как ее разрабатывал М. Шелер. Хотя ФКС Германии нигде не делал прямых ссылок на его работы, в позиции Суда и философии Шелера обнаруживается ряд сходств, которые нельзя оставить без внимания. Так, именно объективистской философии Шелера (и следующего за ним Н. Гартмана) было свойственно убеждение в иерархическом порядке ценностей (Шелер, 1994: 316). Не лишена смысла идея влияния данной версии философии ценностей на ФКС Германии и с учетом воздействия, которое оказали идеи Шелера на «возрождение» естественного права (Hofmann, 2016: 294).

Вряд ли «возрожденное» естественное право было единственным и главным способом транзита ценностей в конституционную юстицию. В поствоенной ситуации риторика ценностей получила столь широкое распространение, что стала подобием «шифра» для маркировки антиюспозитивистской идентичности автора, подобно тому, как в ГДР ссылки на труды Карла Маркса свидетельствовали о следовании линии коммунистической партии (Hofmann, 2016: 295). Ситуация с достоверной реконструкцией истоков позиции ФКС Германии усложняется, впрочем, не только благодаря широте распространения ценностной риторики. Ясных ответов на вопрос об источнике не дает и текст судебного решения: ФКС Германии в соответствующем параграфе лишь отвлеченно ссылается на комментарий к Основному закону под редакцией Г. фон Мангольдта и Ф. Кляйна (*Das Bonner Grundgesetz. Kommentar*). Если же посмотреть на текст решения в целом, то можно обратить внимание на присутствие в соседних правовых позициях (например, в параграфе 23, там, где ФКС Германии обсуждает проблему *Drittwirkung*) ссылок на Гюнтера Дюрига — представителя неотомистского направления в естественном праве того времени.

Дюриг действительно писал о ценностном содержании Основного закона еще в 1952 году (Dürig, 1952: 259–263), однако его ключевым вкладом было обоснование понимания достоинства личности как ценностного центра конституции, восходящего к христианской моральной философии, а не к либеральному представлению об атомарном индивиде (Dürig, 1952: 259–260)<sup>3</sup>. Решение же

---

Рейха (параграфы 86 и 88 решения), отношения государственной службы лиц, ставших служащими при нацистском режиме, прекратились в день капитуляции. Новый же формат государственной службы стоит на «традиционных принципах профессионального чиновничества» (статья 33 ОЗ), а потому не имеет отношения к государственной службе нацистского режима (BVerfG, 17.12.1953 - 1 BvR 147/52). Данное решение имело значительные негативные последствия для многих государственных служащих с точки зрения пенсии, заработной платы и выслуги лет. В пике данному решению ФКС Большая палата по гражданским делам Федерального суда приняла решение, в котором указала, что нацистский режим не затронул государственной службы, а оценка, данная ФКС, является не правовым, но исторически-ценностным суждением (Hofmann, 2016: 304).

3. Небезынтересно, что в данной части Гюнтер Дюриг явно и открыто ссылается на «Политическую теологию» Карла Шмитта, что в то время было достаточно смелым решением. Тем более важно, что ссылка эта несколько не дежурная, но вполне содержательная. Дюриг пишет: «...понятие личности (*Persönlichkeit*) является устойчивым понятием христиански-философской антропологии, христианского социального учения и моральной теологии. <...> Для таких понятий, как «персона» (*Person*) (индивидуум) и личность (*Persönlichkeit*), в равной мере действуют заключения Розенштока

ФКС Германии, хотя и признавало достоинство человека сердцевинной объективной системы ценностей, было лишено какого-либо христианского подтекста.

Классический комментарий Дюрига к Основному закону, написанный совместно с Т. Маунцем, впервые вышел в свет лишь в 1958 году, то есть в любом случае позже, чем был написан текст решения по «делу Люта». В этом комментарии ценностное толкование ФКС получило поддержку (Hofmann, 2016: 305), но, очевидно, сама эта идея была взята не из комментария.

Помимо Дюрига в качестве возможного источника позиции ФКС Германии может быть упомянут сторонник юснатурализма и неокантионец Г. Радбрух (Kommer, 2006: 180). Его идеи об эйдетических ценностях права (справедливость, стабильность и целесообразность), а также разработанная им формула (абсолютно несправедливый закон не может являться правовым, т. е. не обладает юридической силой (Радбрух, 2004: 232–233)) сыграли значимую роль, в том числе в судебной практике по денацификации Германии. Вместе с тем Радбрух скорее призывал к пересмотру философского подхода к праву, к тому, чтобы смотреть на право в целом, как на культурную ценность, но не интерпретировать в качестве ценностей конституционные права (Радбрух, 2004: 16). Эйдетические же ценности права, о которых писал Радбрух, не охватывают всю систему ценностей Основного закона.

Таким образом, хотя идеи Дюрига и Радбруха вполне могли оказать влияние на проникновение логики ценностей в судебную практику ФКС Германии, вклад ни одного из них не был, по-видимому, решающим. Скорее оба они, как и многие другие, составляли общий хор голосов, превративших понятие «ценностей» в нормальный юридический концепт.

Наиболее часто в качестве источника правовой позиции ФКС Германии упоминается теория конституционной интеграции, созданная еще во время Веймарской республики Рудольфом Смендом (Henne, 2015 219–230; Kommer, 2006: 180). В работе «Конституция и конституционное право» (*Verfassung und Verfassungsrecht*, 1928) Сменд пишет, что закрепление основных прав во второй части Веймарской конституции было сделано не столько для осуществления нормативного регулирования, сколько ради встраивания в позитивное право системы ценностей. Конечной целью такого закрепления была интеграция граждан, т. е. фиксация в позитивном праве их идентичности, благодаря чему они могли бы осознать собственное единство и отличие от других народов (Smend, 1928b: 165). Основные права здесь выступали как элементы национальной культурной системы, объективный характер которой возникал из народного духа и совместной жизни чле-

---

и Карла Шмитта о том, что все ключевые понятия современного учения о государстве являются секуляризованными теологическими понятиями. Несмотря на то что одно понятие не может быть понято без другого, «персона» (*Person*) (индивидуум) есть онтологическое содержание бытия (*ein ontologischer Seinsgehalt*), «личность» (*Persönlichkeit*) же, напротив, — аксиологическое содержание ценности (*axiologischer Wertgehalt*)» (Dürig, 1952: 260).

нов нации (Rennert, 2014: 36–37). Это означало, что основные права, став внешне конституционными нормами, в действительности выполняли функцию политической декларации, их природа осмыслялась не столько как строго юридическая, сколько как государственно-политическая, интегрирующая (Smend, 1928a: 46; Carrino, 2016: 221).

В пользу справедливости тезиса о влиянии Сменда на ФКС Германии свидетельствует то, что следы его теории обнаруживаются в практике Суда не только в вопросе об основных правах, но и в ряде других областей, особенно в вопросах избирательного права (Badura, 1977: 305). Конечно, это еще не свидетельствует о далеко идущем влиянии Сменда на всю конституционно-правовую практику. В конце концов, рассуждая о предполагаемом конституцией образе человека, ФКС Германии, пусть и опосредованно, но брал за основу идеи Шмитта (Anter, 2015: 481), что, однако, не означает широкого влияния последнего на конституционную юстицию.

В пользу выдвинутого тезиса отметим дополнительно, что в докладе на конференции Объединения преподавателей государственного права (*Die Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer*) в 1927 году Сменд выдвинул ряд положений, которые, по существу, предвосхищают позиции ФКС Германии в решении по «делу Люта». Среди них утверждение о ценностном характере основных прав (Smend, 1928a: 53), призыв к новым, не «формальным», способам толкования основных прав как системы (Smend, 1928a: 51), косвенное обоснование *Drittwirkung* основных прав (Smend, 1928a: 45–46, 48) и т. д.

Однако опять же было бы неверно сводить проблему влияния исключительно к теории Сменда. В конце концов, для последнего проблема основных прав вообще не являлась ключевой (Badura, 1977: 324): в центре его внимания находились государство и нация, а не отдельная личность. Еще одна причина не абсолютизировать идеи именно Сменда заключается в том, что близкие позиции высказывались и другими авторами. Например, Г. Хольштейн еще в 1926 году на Конференции объединения преподавателей государственного права призвал к построению идеи права на основе исторически объединяющей немецкую нацию и реально присутствующей в социальных связях системы ценностей (Holstein, 1926: 35). Несмотря на общую патетику такого призыва, он содержал в себе и вполне конкретные теоретические положения. Например, обосновывалась этическая концепция правового государства как государства реальной, а не только формальной справедливости (Holstein, 1926: 40).

Итак, наиболее взвешенный взгляд на интеллектуальное происхождение позиции ФКС Германии предполагает учет двух факторов: (1) критики юридического (в т.ч. нормативистского) позитивизма «гуманитарной» юриспруденцией веймарского периода (Р. Сменд, Г. Хольштейн и др.); (2) общего интеллектуального фона послевоенной Германии, характеризуемого не только чрезвычайным распространением ценностной риторики, но и общим направлением к «возрождению» юснатурализма (Г. Радбрух, Г. Коинг, Г. Дюриг, А. Кауфманн и др.).

## Конституционно-правовые воззрения К. Шмитта в период Веймарской республики

Прежде чем обратиться непосредственно к критике Шмиттом ценностного дискурса, необходимо рассмотреть разработанную им еще в эпоху Веймарской республики систему конституционных понятий, без понимания которой «Тирания ценностей» останется не до конца ясной.

Одним из ключевых элементов творчества Шмитта с начала 1920-х годов и до прихода к власти национал-социалистов была критика конституционной ситуации Веймарской Германии. Свое теоретическое развитие эта критика получила в работах начала 30-х годов — «Гарант конституции» (*Der Hüter der Verfassung*, 1931) и «Легальность и легитимность» (*Legalität und Legitimität*, 1932). Обе эти работы посвящены различным сторонам кризиса так называемого «парламентского государства законодательства» (*der parlamentarische Gesetzgebungsstaat*), которым, как полагал Шмитт, является Веймарская республика.

Термин «государство законодательства» родился в самом конце 1920-х годов и не использовался Шмиттом в более ранних критических сочинениях, например, в «Духовно-историческом состоянии современного парламентаризма» (1923) или «Учении о конституции» (1928). По-видимому, впервые Шмитт использует термин «государство законодательства» в статье «Имперский суд как гарант конституции» (*Das Reichsgericht als Hüter der Verfassung*, 1929), которая послужила прообразом его более масштабной работы 1931 года «Гарант конституции». В статье он лишь контурно обозначает характерные признаки как данного типа государства, так и двух других типов, которые в дальнейшем получают развитие в «Легальности и легитимности», хотя еще и не называет их по имени (Schmitt, 2003a: 98–99). Речь идет о государстве правосудия (*Jurisdiktionsstaat* или *Jusitzstaat*) и государстве исполнительной власти (*Staat der Exekutive*). Последнее, в свою очередь, может существовать как государство правительства (*Regierungsstaat*) или государство управления (*Verwaltungsstaat*).

Критерием различения данных типов государств служит ответ на вопрос о том, где находится «сердцевина его государственной жизни» (*Kernsubstanz des staatlichen Lebens*) (Schmitt, 2003a: 98). Иначе говоря, где именно у того или иного государства находится в институциональной структуре центр власти и принятия конечного решения, центр проявления общей воли, центральное представление о нормальном и типичном проявлении права и его обосновании (Шмитт, 2013b: 78).

В государстве правосудия типичным выражением права выступает решение суда по конкретному делу, которое выносится без обязательного посредства закононо установленных норм, т. е. непосредственно от имени права и справедливости. Таким образом, центром государственной жизни и конечной инстанцией определения содержания права и его юридической силы является суд (Шмитт, 2013c: 225, 228).



В государстве правительства типичным проявлением права является суверенный приказ. В наиболее ясном виде этот тип государства проявился в абсолютных монархиях XVII-XVIII веков с их театрализованным пафосом репрезентации. Государство управления — другая разновидность того же самого государства исполнительной власти — также помещает центр в исполнительную власть, но, в отличие от государства правительства, воля и приказ в нем лишены личного характера, свойственного абсолютным монархиям, скорее речь идет о системе целесообразных распоряжений и мер, как о наиболее явной форме права (Шмитт, 2013с: 225, 229).

Что же касается государства законодательства, то пусть и с некоторыми оговорками данный тип тождественен правовому государству, как оно сложилось по итогам развития в континентальной Европе с XIX века. Государство законодательства, по мысли Шмитта, представляло собой такую политическую общность, в которой ключевым выражением общей воли и типичным проявлением права являются облеченные в форму закона безличные, универсальные, заранее установленные на длительный период времени и определенные по содержанию нормы, принимаемые парламентом по закрепленной процедуре. В этом смысле принципиальное условие существования такого государства — четкое разделение между установлением и применением общих норм, что с институциональной точки зрения означало традиционное для правового государства разделение властей: орган законодательной власти устанавливает общие нормы, органы исполнительной власти применяют общие нормы, суды отправляют правосудие на основании общих норм (Шмитт, 2013с: 223–224).

Особая роль парламента как законодателя в данной институциональной схеме была связана с двумя обстоятельствами. Во-первых, правовое государство основано на идее четкого разделения между государством и обществом, где парламент есть не просто орган, создающий законы, но институт, который представлял гражданское общество и был противопоставлен исполнительной власти (в лице монарха, бюрократии и армии) (Schmitt, 1935: 190). Разделение государства и общества в данном контексте означало также и автономию гражданского общества в юридическом смысле, т. е. предполагало защиту прав и свобод частных лиц от вмешательства государственной власти (Schmitt, 2017: 125).

Во-вторых, в государстве законодательства присутствует внутренний «этнос», связанный с верой в то, что «мудрый и неподкупный законодатель принимает правильные законы сообразно доброй и справедливой общей воле» (Шмитт, 2013с: 229). Данная вера в случае парламентаризма классической либеральной эпохи означала доверие к процедуре дискуссии. Действительно, раз гражданин в ситуации парламентаризма соглашается не с конкретным содержанием регулирования, но *in abstracto* с результатом парламентской процедуры (Шмитт, 2016: 119), такое согласие может обладать достаточной силой лишь в том случае, если сам процесс дискуссии соответствует определенным требованиям, в том числе публичности и рациональности.

Вместе с тем определенная вера в дискуссию должна присутствовать не только у граждан как адресатов законов, но и у самих парламентариев. Обязательным условием существования парламентаризма является готовность членов парламента без оглядки на партийные связи быть убежденными рациональным образом в правоте противоположной стороны. Тем самым парламент в классическом правовом государстве означал то место, где путем обмена аргументами необходимо убедить собеседника, а не задавить большинством мандатов, найти истину, а не партийный компромисс (Schmitt, 1940a: 53–56). Потому не вызывает удивления, что расцвет либеральной концепции правового государства в большей или меньшей степени совпал с подъемом классического юридического позитивизма с его безоговорочным доверием к наличному, установленному праву: очевидно, если законодатель рационален, то он и не сможет сотворить никакого зла, противного общей воле или даже общему благу (если воспринимать его как рациональный конструкт).

Наконец, в силу рассмотренной специфической структуры и роли общих норм, призванных связать не только исполнительную и судебную власти, но и власть законодательную, единственной формой легитимности законодательного государства стала легальность (Шмитт, 2013с: 224). Легальность в сухом остатке означает, что всякая власть может считаться обоснованной только в том случае, если она действует в рамках и от имени закона. Существенное значение тогда приобретает вопрос о том, что именно понимается под законом и предъявляется ли к нему какое-либо содержательное требование. Ведь если закон утрачивает статус правильного выражения внепартийной общей воли, обращаясь в лучшем случае в простой партийный компромисс, продиктованный требованиями момента (Штолльайс, 2012: 67; Schmitt, 2021: 101), легальность парламентского государства законодательства становится пустой формой, открытой любому содержанию, в том числе и такому, которое отрицает саму эту легальность. Такая возможность как раз и составляет один из предметов обеспокоенности Шмитта в 1920–1930-е годы.

Если системно рассматривать работы, опубликованные немецким юристом, то применительно к государству законодательства его волнует несколько взаимосвязанных проблем: стирание границы между государством и обществом и их общая плюрализация (напр., «Государственная этика и плюралистическое государство», 1930), формализация легальности парламентского государства законодательства («Легальность и легитимность»), поворот к «слабому», квантитативному тотальному государству (напр., «Поворот к тотальному государству» (*Die Wendung zum totalen Staat*, 1931)), а также политизация юстиции («Гарант конституции»).

Итак, Шмитт утверждает следующее. Правовое государство, придя в XIX веке на смену монархическому абсолютизму, вдохновлялось верой в рациональность законодателя и правильность его решений. В течение XIX — начале XX века оно, однако, оказалось нейтрализовано и выхолощено (Schmitt, 1935: 196). Парламентское государство законодательства, как оно сложилось в Веймарской республике,

представляло собой замкнутую систему формальной легальности, безразличной к содержанию закона и, соответственно, к тем политическим силам, которые будут определять его наполнение. В связи с утратой содержательного основания распада подверглась и государственная этика, поскольку государство не способно было поддержать себя как единство (Шмитт, 2010: 237–238) на основе одной только формальной легальности. В образовавшееся пустое пространство государства законодательства проникла идеологическая плюрализация, которая не только поляризовала различные общественные группы сообразно их политическим воззрениям, но устранила разделение между государством и обществом, прежде характерное для правового государства (Schmitt, 1940b: 154–157).

В ситуации формального понимания легальности парламентское государство не могло ничего противопоставить возникшим в контексте поляризации радикальным, «тотальным» партиям (*totale Partei*), которые стремились использовать инструменты государства законодательства для устранения самого этого государства (Шмитт, 2013с: 179; Schmitt, 2003b: 363). На практике это выглядело как неконтролируемое насилие национал-социалистов и коммунистов на улицах городов Германии, которое удивительным образом сочеталось с их участием в легальных выборах под лозунгами о фактическом устранении действующей конституции.

С точки зрения требования веры в рациональность законодателя, как условия существования парламентаризма, такая ситуация, конечно, оказалась катастрофой, ведь если государство не способно заявить себя как высшее единство, а верх берет партийный интерес, ни о какой готовности парламентария быть убежденным без оглядки на партийные предпочтения не может идти речи.

Учреждение конституционной юстиции, которую Шмитт критикует в «Гаранте конституции», было своеобразным ответом на ситуацию утраты четкого разделения между государством и обществом (Schmitt, 1940b: 154–157). При этом не секрет, что первейшее предназначение конституционного правосудия — это контроль над законодательной властью, ведь проверке на соответствие конституции подлежат в первую очередь именно законы. В этом смысле конституционная юстиция — это прямое следствие утраты законодателем доверия и краха государства законодательства: «Если теперь не законодатель, а судья решает, имеет ли место несправедливость, это означает, в своей конечной конституционной форме, что государство, которое до сих пор было законодательным, и, вероятно, задумывалось (*gedacht*) и предполагалось (*gewollt*) таковым Веймарской конституцией, превращается в государство юстиции (*Justizstaat*)» (Schmitt, 2003с: 165). Сходным образом возникновение административной юстиции (т. е. такого судопроизводства, в рамках которого на соответствие закону проверяются акты органов исполнительной власти) стало явным выражением краха абсолютизма и становления правового государства: парламент получил последнее слово в вопросе юридической силы решений и действий исполнительной власти.

Как видно, Шмитт критикует государство законодательства не потому, что оно представляет собой изначальное зло: каждый из выделяемых им типов государ-

ства имеет свое функциональное предназначение. Так, государство правосудия благоприятно для закрепления *status quo*, а государство правительства — для управляемого преодоления кризисов (Шмитт, 2013с: 228). Скорее Шмитта волнует, что в конкретной ситуации Веймарской республики выхолощенное, формализованное государство законодательства не способно ответить на конкретные вызовы времени.

Позднее, в 1936 году, в статье, посвященной полномочиям правительства по созданию общих норм, Шмитт прямо пишет, что «упрощение» законодательства путем передачи правительству соответствующих полномочий представляло собой проникновение в Веймарскую республику отдельных элементов государства исполнительной власти, что было продиктовано особыми внешними обстоятельствами, такими как инфляция, репарации и т. д. (Schmitt, 1940: 223). То же самое справедливо и для других государств, например, таких как Франция, которая также приняла в себя под давлением обстоятельств ряд элементов целесообразного планирования, свойственных государству управления (Schmitt, 1940: 214, 218–219.): «Сегодня ни одно государство на земле не может избежать необходимости “упрощения” законодательства („*vereinfachten*“ *Gesetzgebung*)» (Schmitt, 1940: 227).

Можно подумать, будто определенное предпочтение, которое немецкий юрист оказывает здесь государству исполнительной власти, продиктовано тем фактом, что указанная статья написана уже в эпоху господства национал-социалистов. Вместе с тем ровно в той же плоскости лежит и куда более ранняя апелляция Шмитта к президенту республики как гаранту конституции (Шмитт, 2013а: 54.). Таким образом, по крайней мере до Второй мировой войны Карл Шмитт прямо и недвусмысленно показывает, какой выход из кризиса парламентского государства законодательства он видит предпочтительным — государство исполнительной власти (Шмитт, 2013с: 227; Schmitt, 2003b: 361). В этом отношении Шмитт *de facto* предлагает преодолеть опасную плюрализацию и политическую поляризацию общества применением на новый лад старых инструментов *ancien régime*, методов абсолютизма, которые в прошлом сработали для приведения в единство средневекового плюралистического порядка.

В известном смысле того же мнения придерживается и Форстхофф. Его склонность к плебисцитарно обоснованному государству управления широко известна: в нацистский период это было своеобразное «тотальное государство», а после войны — специфическая форма плебисцитарно-административной демократии (*Verwaltungsdemokratie*) (Meinel, 2012: 345–347). Тем более интересны аргументы, которые выдвигает ученик Шмитта против ценностной ориентации конституционной юстиции.

### Юридическая критика Э. Форстхоффа

Послевоенный интерес к проблемам толкования и, более узко, к практике ФКС Германии проснулся у Форстхоффа к середине 1950-х годов. В 1954 году, после

решения ФКС Германии, в котором констатировалось разрушение нацистским режимом системы государственной службы, он публикует статью «Федеральный конституционный суд и профессиональная гражданская служба» (*Das Bundesverfassungsgericht und das Berufsbeamtentum*). Позднее, в 1957 году он проводит семинар «Конституция и управление в зеркале правоприменения» (*Verfassung und Verwaltung im Spiegel der Rechtsprechung*) со студентами в Гейдельберге. В письме к Шмитту от 8 июля 1957 года Форстхофф пишет, что связанное с подготовкой к проведению названного семинара систематическое изучение правовой практики ФКС позволило ему «...лучше осознать всю чудовищность государства юстиции (*Justizstaat*) <...>», поскольку уже сам факт его существования «приводит к искажению правового метода и логики, что становится все более очевидным в практике Федерального конституционного суда» (Mußgnug et al., 2007: 132).

В это время Форстхофф совместно с Х. Баррионом и В. Вебером готовили к публикации юбилейное издание (*Festschrift*) в честь 70-летия Карла Шмитта. В сборник была включена и статья Форстхоффа «Преобразование конституционного закона» (*Die Umbildung des Verfassungsgesetzes*), в которой он впервые подробно изложил свою критическую позицию по отношению к конституционной юстиции и практике ФКС Германии. Тезисы Форстхоффа, содержащиеся в этой статье, можно разделить на три смысловые группы: методологические (об изменении подхода к толкованию под воздействием философии ценностей), институциональные (об изменении государственной формы) и эпистемологические (об инфляции роли юриспруденции как науки).

Форстхофф исходит из того убеждения, что наука права заняла центральное место в конституционных вопросах лишь благодаря приданию последней формы закона в рамках правового государства; одновременно эта форма служила не только обеспечению стабильности, но и в практическом смысле привела к созданию научного метода ее интерпретации. Как полагает Форстхофф, будучи по форме законом, конституция должна интерпретироваться по классическим правилам, разработанным для толкования законов (Forsthoff, 1994: 36–37, 41).

В методологической части своих тезисов Форстхофф утверждает, что интерпретация конституции в духе объективного порядка ценностей игнорирует ее юридическую форму, из-за чего в каждом конкретном случае ответ на вопрос о пределах основного права или соотношении принципов может различаться, содержание остается «открытым», а потому интерпретация теряет свою рациональность (Forsthoff, 1994: 55). Такая неограниченная интерпретация приводит к дестабилизации конституции и, соответственно, уменьшению тех гарантий, которые предполагались ее формой (Forsthoff, 1994: 36). С точки зрения правоприменительной практики привнесение ценности в правовую норму превращает «применение нормы в реализацию ценности» (*Normanwendung zur Wertverwirklichung*), т. е. процесс интерпретации нормы как постижения ее содержания упраздняется, это уже не юридическое искусство, а философия. Юридическое толкование предполагает положение предела логическому выводу из нормы, подход же с точки

зрения философии ценностей фактически размывает границы рациональности, поскольку помещает смысл нормы за пределы содержания положений Основного закона (Forsthoff, 1994: 41). При этом Форстхофф не ограничивается простой констатацией, но пытается указать на источник тех концептуальных ходов, которые возобладали в новом конституционном толковании. Эти истоки он справедливо находит в теории интеграции Р. Сменда (Forsthoff, 1994: 45).

В эпистемологическом смысле изменение подхода к конституционному толкованию приводит к тому, что юриспруденция теряет свои позиции с точки зрения осуществления научной интерпретации конституции, уступая место философии ценностей. Это влечёт за собой утрату юриспруденцией самостоятельности, а также грозит сползанием судей, слабо знакомых с философией, в поверхностный дилетантизм (Forsthoff, 1994: 52). Как полагает Форстхофф, юриспруденции (и конституционному праву в частности), по существу, не может и не должно быть свойственно следование смене философских парадигм, поскольку это бы означало, что она должна, например, от ценностной перейти к феноменологической, экзистенциальной и/или антропологической концепции основных прав, но между этими подходами нет ничего общего, что могло бы обеспечить преемственность, которая составляет значимую характеристику правовой системы (*Rechtswesen*) (Forsthoff, 1994: 52).

Институциональный аспект содержания обсуждаемой работы сосредоточен в первую очередь на проблеме социального государства. Форстхофф исходит из того, что в противовес правовому государству социальное государство выдвигает не формальные, а содержательные требования, что ведет к распаду юридического формализма. В поддержку этого аргумента он ссылается на М. Вебера (Forsthoff, 1994: 52–53), описавшего современные для него тенденции по расширению свободы судейского усмотрения в рамках так называемого «свободного права» и указавшего на то, что исток эрозии формального подхода к праву находится в новых содержательных социальных требованиях, в чисто этических притязаниях содержательной (а не формальной) справедливости «на основе патетически звучащих моральных постулатов» (Вебер, 2018: 212). Эти содержательные требования, проистекающие из принципа социального государства, предопределяют возрастание в правоприменительной практике роли этических общих положений (т.н. генеральных клаузул)<sup>4</sup>, что связывается Форстхоффом с изменением природы интерпретации.

---

4. «Генеральная клаузула», «общее положение» или «общая оговорка» — это разновидность правового положения, содержащего заранее неопределённое юридическое понятие, которое по своему существу предполагает, что ему будет дана интерпретация применительно к конкретному случаю. Наиболее часто встречающимся примером служит запрет на сделки, противоречащие добрым нравам. Скажем, статья 169 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, является ничтожной. Очевидно, что критерии противоречия основам правопорядка или нравственности не являются заранее определёнными.

Иначе говоря, включение в структуру конституции социальных гарантий означало, что они не могут быть применены, подобно нормативным предписаниям, — безусловно и предсказуемо. Мера их исполнения зависит от фактических (в частности, экономических) возможностей, а потому реализация социальных гарантий в действительности не является чем-то предсказуемым. Кроме того, это означает, что нормы о социальных гарантиях могут быть исполнены частично, и это все еще будет считаться правомерным — такая ситуация применительно к классическому пониманию юридической гарантии абсолютно невозможна. В итоге включение в конституцию социальных гарантий и возрастание роли общих положений приводят к коренной перемене в институциональной роли судов, и ФКС в особенности. Это более не суд, подчиненный конституционному закону, но высший политический орган, вносящий в конституцию изменения и участвующий в процессе интеграции сообщества (Forsthoff, 1994: 35, 56–57). Поскольку же последнее является государственно-политическим процессом, юстиция встраивается в систему политической власти. Иными словами, речь идет уже не о правовом государстве в его классическом понимании (т. е. о государстве законодательства), но о государстве юстиции. Позднее в статье «Связанность законом и правом (абз. 5 ст. 20 ОЗ)» (*Die Bindung an Gesetz und Recht (Art. 20 Abs. 5 GG)*) Форстхофф, уже совершенно очевидно опираясь на позицию Шмитта, напишет, что там, где судья самостоятельно решает, когда он связан законом, а когда может обойти его со ссылкой на «право», речь уже не может идти о правовом государстве, но только о государстве юстиции, сам факт существования которого влечет за собой «разложение (*Korruption*) юридического метода и логики» (Mußgnug et al., 2007: 132).

С учетом господствовавшей на тот момент как в теории, так и на практике приверженности риторике ценностей, атакующий ход Э. Форстхоффа неминуемо вызвал критику. В последующих работах по рассматриваемому вопросу он, несмотря на уверения в нежелании продолжать дискуссию (Mußgnug et al., 2007: 178, 190; Forsthoff, 1961: 190), развил свои тезисы, имея в виду выдвинутые против него аргументы, в том числе, он учел обвинения в возврате к позитивизму и технико-формальному подходу к конституции (Hollerbach, 1960: 241–270). Так, в работе 1961 года «К проблематике конституционного толкования» (*Zur Problematik der Verfassungsauslegung*) Форстхофф, в ответ на адресованный ему упрек в возрождении юридического позитивизма, вполне справедливо указывает на то, что методы классической юридической интерпретации были сформулированы вне рамок позитивизма, а именно — у представителя исторической школы права Ф. К. фон Савиньи (Forsthoff, 1961: 39–40).

С точки зрения Форстхоффа, возрождение юридического позитивизма, в котором его обвиняли, в принципе невозможно, поскольку он (юспозитивизм) был результатом совершенно другой эпохи: «Юридический позитивизм как некритическое отношение к позитивному праву <...> возможен только при определенных условиях <...> Некритическое отношение к позитивному праву — со всеми его преимуществами с точки зрения практического осуществления права (*Praktika-*

*bilität des Rechts*), с которыми позитивизм связан — только тогда позволительно <...>, когда вся институциональная правовая система (*gesamte institutionelle Rechtswesen*) функционирует на таком уровне и с такой степенью предсказуемости, что законодательные просчеты относятся к числу исключений, которые теория права может либо игнорировать, либо принимать, осознавая риск (*bewußt in Kauf nehmen kann*)» (Forsthoff, 1961: 36). Этот юридический позитивизм, не вступающий в конфликт с правосознанием, был бы возможен только благодаря «высокому уровню правовой культуры, постоянству и гомогенности исторического развития», которое не разрушает основы правовой системы. В ситуации своего расцвета юридический позитивизм служил противоядием от возведения в общеобязательный статус частных мнений, идеологий или конфессиональных интересов и тем самым защищал правовой порядок. Очевидно, что о возврате к такому позитивизму не может быть и речи, хотя бы из-за изменений самой эпохи (Forsthoff, 1961: 36). Но отказ от позитивизма в конце концов не должен становиться отказом от законности как таковой (Forsthoff, 1963: 397).

Наконец, в вышедшей в 1963 году статье «Интровертивное правовое государство и его позиционирование» (*Der Introvertierte Rechtsstaat und seine Verortung*) он еще более усиливает свой тезис о формальном правовом государстве и юридической форме конституции, отмечая, что «вопрос о том, является ли конституционный закон идентичным конституции (в юридическом смысле), не имеет практического значения в текущих обстоятельствах, потому что в нормальной ситуации, которая существует с момента принятия Основного закона, он не является актуальным <...> В настоящий момент нет (помимо коммунизма) фундаментальных и имеющих серьезный вес противников Основного закона. При таких условиях юридическая значимость конституции редуцируется к конституционному закону. [Соответственно] конституционные проблемы превращаются в проблемы конституционного закона, а значит, и в проблемы [его] толкования» (Forsthoff, 1963: 385). И добавляет, что «конституционная проблема соотношения легальности и легитимности устарела» (Forsthoff, 1963: 386).

Далее Форстхофф развивает еще один тезис, ранее обсуждавшийся в переписке с Шмиттом и одобренный последним (Mußgnug et al., 2007: 194), — он указывает на уже известное нам снятие (*aufheben*) границы между государством и обществом (Forsthoff, 1963: 393) и, как следствие, на устранение не просто правового государства, но вообще классического государства Нового времени (Forsthoff, 1961: 16, 24; 1963: 396). В этом отношении он даже снимает со Сменда и его теории ответственность за указанные последствия, поскольку в теории интеграции государство все еще было политической реальностью. В актуальной же конституционной практике «тотальность жизни государства (Сменд) заменяется тотальностью системы ценностей» (Forsthoff, 1963: 392).

Таким образом, позиция Форстхоффа сводится к тому, что отказ под влиянием принципов социального государства от юридических методов интерпретации приводит к эрозии как конституции, так и самой науки права, а также к изменению государственной формы (от правового государства к государству юстиции). Неслож-



но заметить, что концептуально эта позиция прямо наследует критике К. Шмитта начала 1930-х годов. Однако Форстхофф прямо обращается к принципам критикуемого его учителем нейтрального правового государства, используя их в качестве обоснования уже собственной критики ценностного правосудия и новых методов толкования.

### «Тирания ценностей» Карла Шмитта

Вышедшая в виде «частного издания» (*Privatdruck*) в 1960 году «Тирания ценностей» стала реакцией Карла Шмитта на критические выпады его ученика против ценностной конституционной юстиции. Первая публикация широко не распространялась, будучи разслана лишь узкому кругу близких людей, в том числе участникам очередного Эбрахского семинара<sup>5</sup>, на котором впервые прозвучали ключевые тезисы данной работы.

В 1964 году в *Frankfurter Allgemeine Zeitung* появилась резко критическая статья Карла Лёвита «Макс Вебер и Карл Шмитт». В ней Лёвит проводит параллели между социологом и юристом, обвиняя, в частности, Вебера в том, что своим формальным и релятивистским отношением к ценностям, а также описанием харизматического вождизма тот сделал возможной нацистскую диктатуру. Шмитт же был в ней представлен теоретиком, который обосновал переход от парламентской демократии к авторитаризму и тоталитарной демократии (Zeitlin, 2021: 443–445). Повторил Лёвит и свою критическую оценку Шмитта как «окказионального децизиониста» (Лёвит, 2012: 120–122; Löwith, 1995: 137–169), с той лишь разницей, что на этот раз поводом послужило как раз издание «Тирании ценностей».

Вряд ли критика Лёвита стала единственной причиной для написания обширного предисловия к вышедшему в 1967 году публичному изданию «Тирании ценностей», хотя и нельзя отрицать, что в конце предисловия Шмитт указывает, что знаком с выпадами К. Лёвита (Schmitt, 2011: 33). Подавляющая же часть предисловия посвящена совсем другим вопросам и скорее продиктована необходимостью вписать «Тиранию ценностей» в изданный в честь 65-летия Форстхоффа сборник «Секуляризация и утопия» (*Säkularisation und Utopie*), в котором работа Шмитта была фактически впервые опубликована в своем полном и актуальном виде.

В отличие от Форстхоффа, чья критика была преимущественно юридической, Шмитт сознательно обращается к философской и историко-философской стороне вопроса, но сама позиция, с которой он это делает, равно как и его выводы, при этом остаются в юридической плоскости.

С точки зрения Карла Шмитта, смысл логики ценностей заключается в их свойстве сводить различные категории, такие как блага, интересы, идеи, идеалы и т. д.,

---

5. Эбрахские семинары (*Ebracher Ferienseminare*) — ежегодные междисциплинарные собрания, которые организовывались и финансировались преимущественно Форстхоффом. Они проходили с 1957 по 1971 год. Их участниками в разное время были, помимо Э. Форстхоффа и К. Шмитта, Х. Баррион, А. Гелен, И. Риттер, Г. Люббе, Э.-В. Бёкенфёрде, Н. Луман и др. (Meinel, 2011: 89–108).

к общему ценностному знаменателю, что делает возможным их помещение в единое смысловое пространство, устраняя всякое по-настоящему качественное различие. Как следствие, это позволяет сравнивать ценности между собой, выстраивать иерархию и т. д. (Schmitt: 2011, 18).

Иерархия ценностей, однако, имеет не просто отвлеченное значение. Так, с точки зрения Н. Гартмана, сформулировавшего само понятие «тирания ценностей», в случае конфликта между ценностями, эта иерархия исполняет роль шкалы для осуществления ценностного выбора, т. е. упразднить нижестоящую ценность вышестоящей или даже отменять отрицательную ценность. Иерархия тем самым частично снимает конфликтность, поскольку упрощает выбор между вышестоящими и нижестоящими ценностями (Гартман, 2002: 510). Однако это свидетельствует о том, что уже в самом основании ценностного мышления заложена идея о конфликтности ценностей (Luhmann, 1962: 445).

Таким образом, функцией ранжирования ценностей является снятие хаотичности ценностных конфликтов — антиномии разноранговых ценностей не являются конфликтами в узком смысле слова. Вместе с тем следствием наличия иерархии ценностей может стать «тирания ценностей». Под последней Гартман понимает ситуацию, когда вышестоящая ценность абсолютизируется, завладевает личностью и порождает нетерпимость и фанатизм (Гартман, 2002: 515). Вместе с тем такая тирания — не естественное свойство всякой иерархии ценностей, она не принадлежит миру ценностей, но является следствием «ценностного чувства», т. е. коренится в субъекте (Гартман, 2002: 515).

Шмитт перенимает понятие «тирания ценностей», но модифицирует его, транслируя логику понятия из внутрисубъектной сферы на социальные общности. Здесь он опирается, в частности, на М. Вебера, который утверждал, что ценности устанавливаются субъективно, а потому, раз, «по крайней мере теоретически, существует столько ценностей, сколько субъектов» (Anter, 2014: 249), итогом их установления становится столкновение, ведущее «не к альтернативам, а к бескомпромиссной смертельной борьбе» (Вебер, 1990: 565).

В этом новом *bellum omnium contra omnes* Вебера Шмитт находит отправную точку для обнаружения агрессивного характера ценностей (Schmitt, 2011: 39–42). По мнению Шмитта, «объективирование» и ранжирование ценностей, которое осуществили Гартман и Шелер, не привели к упразднению этой агрессивности, но лишь усилили ее (Schmitt, 2011: 46–47): тот, кто верит, что защищает высшую ценность против низшей (или даже не-ценности), естественным образом будет относиться к тем, кто мешает ему или защищает другие ценности, как к преступнику, как к невидящему их (*wertblind*) (Schmitt, 2011: 25–26, 50). Эта мысль, вновь проговоренная в «Тирании ценностей», красной нитью проходит сквозь многие работы Шмитта, через его идеи о «дискриминационном характере» современных войн во имя человечества и своеобразной жестокости гражданских войн (на эту связь он, впрочем, сам прямо и указывает (Schmitt, 2011: 57)).

Хотя основную критику Шмитт направляет против философии ценностей Шелера, на самом деле для него любая философия ценностей является злом (Schmitt, 2011: 25–26). Разница лишь в том, что субъективистская, неокантианская философия ценностей нашла отражения в юридической практике (Schmitt, 2011: 21). Кроме того, неокантианская философия ценностей, которую Шмитт находит у Вебера, по крайней мере честна (Schmitt, 2011: 39), когда указывает на то, что ценности приводят к «борьбе всех против всех».

Таким образом, возникает парадокс. Шмитт, опираясь на Вебера, как будто помещает самого великого социолога в общий критический контекст. Эта двусмысленность окончательно устраняется только в предисловии к первому публичному изданию «Тирании ценностей», где Шмитт еще более, чем в основном тексте, заостряет противопоставление Шелера и Вебера (Schmitt, 2011: 23), а также, защищая последнего, указывает на то, что для Вебера ценности не являлись (в отличие от Шелера и Гартмана) ключом ко всякой мудрости, альфой и омегой. Для Вебера, как полагает Шмитт, ценности были лишь инструментом, который позволял продолжать штудии в области социологии и истории, не впадая в продиктованную естественнонаучным позитивизмом строго детерминистскую логику (Schmitt, 2011: 22).

Есть и еще один момент, который показывает ориентацию Шмитта на наследие Вебера, — историко-философский. Отсылая к М. Хайдеггеру, Шмитт утверждает, что философия ценностей стала ответом на нигилизм и наступление естественнонаучной методологии в XIX столетии (Schmitt, 2011: 24, 37–38). Иными словами, она стала следствием краха метафизики и ее «позитивистским эрзацем» (Schmitt, 2011: 38–39).

В предисловии к «Тирании ценностей» Шмитт связывает этот историко-философский элемент критики с общей интеллектуальной историей права, а именно — с утратой представления о естественном праве, неспособном более предложить никакой легитимности. Соответственно, философия ценностей — это не только «позитивистский эрзац» метафизики, но «научный эрзац» (*wissenschaftlichen Er-satz*) естественного права (Schmitt, 2011: 21). Тем самым метафизика и естественное право прошлого сопрягаются Шмиттом даже на уровне языковых формул, а их утрата становится общим условием возникновения философии ценностей. Шмитт здесь во многом следует Максиму Веберу, который «в разных контекстах <...> диагностировал утрату объективного ценностного порядка<sup>6</sup>, приписывая этому также «исчезновение старых идей естественного права»» (Anter, 2014: 249).

---

6. Старое естественное право, пожалуй, не было объективным порядком ценностей, оно, как правило, мыслилось юридически (как закон, как права и т. д.), но в своем основании данная мысль абсолютно верна — проникновение в юриспруденцию философии ценностей во многом действительно стало возможно благодаря тому, что старые представления о естественном праве ушли в прошлое. Естественное право столь сильно слилось с ценностными, моральными и нравственными представлениями, что в настоящий момент под юснатурализмом понимается лишь простое убеждение в нерасторжимой концептуальной связи между правом и моральной справедливостью (т. н. «соединительный тезис») (Алекси, 2011: 4).

В юридическом же отношении критика Шмитта служит непосредственным основанием для атаки на ФКС Германии. Последний, как полагает Шмитт, против Основной закон в объективную систему ценностей, более не занимается правоприменением, но непосредственно применяет ценности, проводя тем самым в жизнь их агрессивную логику (Schmitt, 2011: 23–24).

Фактически речь идет о растворении юриспруденции в философии ценностей как на эпистемологическом, так и на институциональном уровне. Шмитт, как и Форстхофф, в данном случае защищает автономию права и юристов, которую в институциональном смысле он усматривает прежде всего в автономии законодателя (Schönberger, 2011: 65). При этом Шмитт ясно понимает, что логика ценностей стала объективной реальностью юриспруденции (Schmitt, 2011: 54), а потому не призывает к ее тотальной отмене. Для тех государств, которые в своей конституции предусматривают наличие законодателя и законов, он видит выход в сосредоточении непосредственного применения ценностей в руках законодательной власти, поскольку законы предполагают ясную формулировку и принимаются в соответствии со строгими правилами процедуры, что позволит опосредовать агрессивную логику ценностей (Schmitt, 2011: 54).

Иными словами, Шмитт предлагает возврат к государству законодательства. Этот вывод, конечно, не может не удивлять. Парадоксально, но Шмитт полагает, что именно парламент способен обуздать агрессивную логику ценностей, хотя ранее неоднократно указывал на кризис самого духа парламентаризма и его неспособность обеспечить государству положение «над схваткой». Рациональным основанием вывода о возможности именно парламента нейтрализовать ценности, предотвратить их яростное столкновение, была бы вера в классическую либеральную дискуссию, поскольку в ее рамках ценности оказываются ограничены той самой установкой на возможность быть убежденным разумными доводами вне зависимости от партийных или, добавим, идеологических предпочтений. Шмитт же апеллирует даже не к дискуссии, но к процедуре, т. е. к наиболее формальному элементу легальности парламентского государства.

## Заключение

На протяжении Веймарского периода К. Шмитт подвергал критике не только парламентаризм, легальность государства законодательства, но и юридический позитивизм. Оттого еще более удивительно, что в контексте спора о ценностях и сам немецкий юрист, и концептуально следовавший за ним Э. Форстхофф встали на защиту именно тех идей, которые прежде яростно атаковали.

Данному парадоксальному факту вполне может быть дано биографическое объяснение, основанное на идее, что Шмитт (как и Форстхофф) видел все опасности порядка, в котором общие ценности ставились выше формального закона — Третий рейх был именно такой общностью (Филиппов, 2023: 54–55). Не имея в виду оспаривать справедливость такого утверждения, мы бы хотели предложить

версию, основанную на внешнем факторе — различии конституционных ситуаций Веймарской республики и ФРГ.

Кризис Веймарской республики, с точки зрения К. Шмитта, был парламентским, что делало невозможной апелляцию к законодательной власти. Конституции тогда грозил захват «тотальными» партиями и неконтролируемая политизация юстиции, которую Шмитт усматривал в статусе Имперского суда как гаранта конституции. По этой причине единственным конституционным выходом была апелляция к исполнительной власти рейхспрезидента. Помимо прочего, эта апелляция, совмещенная с плебисцитарной легитимностью, находилась вполне в рамках действующей конституции, а значит, не влекла за собой слома государственной формы. Здесь точки зрения Форстхоффа и Шмитта вполне совпадали.

В ситуации же после окончания Второй мировой войны основным узлом того движения, которое распознавалось ими как кризисное, стал суд, объявивший конституцию системой ценностей. Шмиттом и Форстхоффом проникновение в конституционную юриспруденцию философии ценностей было прочитано как дрейф в сторону государства правосудия, т. е. как внутренняя смена конституции, ее слом. Действительно, обращение суда напрямую к ценностям мало чем отличается от его непосредственной апелляции к чистой справедливости, особенно с учетом того, что сама справедливость, понятая как естественное право, обрела в послевоенной Германии ценностную природу.

Основной закон учредил государство законодательства, но не создал фактически столь же сильной исполнительной власти, какая была в Веймарской республике, а потому противопоставить ФКС Германии можно было только парламент. По этой причине и Форстхофф, и Шмитт на разных уровнях совершают одно и то же — обращение к старому парламентскому государству с его ясной системой легальности и формализмом.

Сложно сказать, стремился ли Шмитт напрямую восполнить юридическую критику своего ученика, но из проведенного анализа ясно, что связь между «Тиранией ценностей» и атакой Форстхоффа на конституционную юстицию не только биографически-ситуативная, но и концептуальная. Наиболее явные совпадения прослеживаются на эпистемологическом (защита автономии юриспруденции) и институциональном (призыв к формализму правового государства) уровнях. Различие же заключается в том, что Форстхофф осуществил свою критику преимущественно в юридическом поле, тогда как Шмитт попытался нанести удар в философию ценностей. Таким образом, обе критики (Шмитта и Форстхоффа) взаимодополняют друг друга, образуя в определенном смысле общее целое и атакуя дискурс ценностей как на правовом, так и на философском уровнях.

## Литература

Алекси Р. (2011). Понятие и действительность права (ответ юридическому позитивизму) / Пер. с нем. А. Н. Лаптева, Ф. Кальшойера. М.: Инфотропик Медиа.

- Белов С. А. (2019). Ценности российской Конституции в тексте и практике ее толкования // Сравнительное конституционное обозрение. № 4. С. 68–83.
- Вебер М. (1990). Смысл «свободы от оценки» в социологической и экономической науке // Вебер М. Избранные произведения / Пер. с нем., сост., общ. ред. и послесл. Ю. Н. Давыдова. М.: Прогресс. С. 547–601.
- Вебер М. (2018). Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии в 4 т. Т. III. Право. / Пер. с нем., сост., общ. ред. и предисл. Л. Г. Ионина. М.: Изд. дом Высшей школы экономики.
- Гартман Н. (2002). Этика / Пер. А. В. Глаголева. М.: Владимир Даль.
- Зорькин В. Д. (2008). Аксиологические аспекты Конституции России // Сравнительное конституционное обозрение. № 4. С. 7–20.
- Кумм М., Комелла В. Ф. (2006). Особая роль конституционных прав в разрешении частноправовых споров // Сравнительное конституционное обозрение. № 2 (55). С. 51–74.
- Лёвит К. (2012). Политический децизионизм // Логос. № 5 (89). С. 115–142.
- Радбрух Г. (2004). Философия права / Пер. с нем. М.: Международные отношения.
- Филиппов А. Ф. (2023). Ценности и мобилизация: к динамике стерильного возбуждения // Россия в глобальной политике. Т. 21. № 1. С. 51–70.
- Хессе К. (1981). Основы конституционного права ФРГ. М.: Юридическая литература.
- Шелер М. (1994). Формализм в этике и материальная этика ценностей. Раздел 2: Формализм и априоризм // Шелер М. Избранные произведения / А. В. Денежкина (ред.). М.: Гнозис, С. 259–337.
- Шмитт К. (2010). Государственная этика и плюралистическое государство // Шмитт К. Государство и политическая форма. М.: ВШЭ. С. 237–258.
- Шмитт К. (2013а). Гарант конституции // Шмитт К. Государство: право и политика / Пер. с нем. О. Кильдюшова. М.: Территория будущего. С. 27–220.
- Шмитт К. (2013б). Легальность и легитимность (послесловие к изданию 1958 г.) / Пер. и предисловие А. Ф. Филиппова // Социологическое обозрение. Т. 12. № 3 С. 76–92.
- Шмитт К. (2013с). Легальность и легитимность // Шмитт К. Государство: право и политика / Пер. с нем. О. В. Кильдюшова. М.: Территория будущего. С. 221–305.
- Шмитт К. (2016). Духовно-историческое состояние современного парламентаризма // Шмитт К. Понятие политического / Пер. с нем. Ю. Ю. Коринца, А. Ф. Филиппова, А. П. Шурбелева; под ред. А. Ф. Филиппова. СПб.: Наука. С. 93–170
- Штолльайс М. (2012). Око закона. История одной метафоры. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН).
- Anter A. (2014). Max Weber's Theory of the Modern State. Origins, Structure and Significance / Transl. from germ. by K. Tribe. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Anter A. (2015). Ordnungsdenken in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts Wertordnung, Ordnungsmacht und Menschenbild des Grundgesetzes // Handbuch Bundesverfassungsgericht im politischen System / R. Chr. van Ooyen, M. H. W. Möllers (eds.). Wiesbaden: Springer Fachmedien. P. 479–495.

- Badura P.* (1977). Staat, Recht und Verfassung in der Integrationslehre Zum Tode von Rudolf Smend (15. Januar 1882 - 5. Juli 1975) // *Der Staat*. Vol. 16. № 3. S. 305–325.
- Carrino A.* (2016). Chapter 6. Law and the State in the Conservative Revolution // *A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence* / E. Pattaro, C. Roversi (eds.). Vol. 12. Dordrecht: Springer. P. 209–221.
- Dürig G.* (1952). Die Menschenauffassung des Grundgesetzes // *Juristische Rundschau*. Heft 7. S. 259–263.
- Engle E.* (2009). Third Party Effect of Fundamental Rights (Drittwirkung) // *Hanse Law Review*. Vol. 5. № 2. P. 165–173.
- Eser A.* (1970). Die Sexualität in der Strafrechtsreform // *Juristische Analysen*. № 2. S. 218–242.
- Forsthoff E.* (1961). Zur Problematik der Verfassungsauslegung. Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag.
- Forsthoff E.* (1963). Der Introvertierte Rechtsstaat und seine Verortung // *Der Staat*. Vol. 2. № 4. S. 385–398.
- Forsthoff E.* (1994). Die Umbildung des Verfassungsgesetzes // *Festschrift für Carl Schmitt: zum 70. Geburtstag dargebracht von Freunden und Schülern* / H. Barion, E. Forsthoff, W. Weber (eds.). Berlin: Duncker & Humblot, S. 35–62.
- Henne T.* (2015). „Smend oder Hennis“. Bedeutung, Rezeption und Problematik der ‚Lüth-Entscheidung‘ des Bundesverfassungsgerichts von 1958 // *Handbuch Bundesverfassungsgericht im politischen System* / R. Chr. van Ooyen, M. H. W. Möllers (eds.). Wiesbaden: Springer Fachmedien. P. 219–230.
- Hofmann H.* (2016). Chapter 10. The Development of German-Language Legal Philosophy and Legal Theory in the Second Half of the 20th Century // *A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence* / E. Pattaro, C. Roversi (eds.). Vol. 12. Dordrecht: Springer. P. 285–365.
- Hollerbach A.* (1960). Auflösung der rechtsstaatlichen Verfassung? Zu Ernst Forsthoffs Abhandlung „Die Umbildung des Verfassungsgesetzes“ in der Festschrift für Carl Schmitt // *Archiv des öffentlichen Rechts*. Vol. 85. № 3. S. 241–270.
- Holstein G.* (1926). Von Aufgaben und Zielen heutiger Staatsrechtswissenschaft. Zur Taugung der Vereinigung deutscher Staatsrechtslehrer // *Archiv des öffentlichen Rechts*. Vol. 50. № 1. S. 1–40.
- Jansen N.* (1997). Die Abwägung von Grundrechten // *Der Staat*. Vol. 36. № 1. S. 27–54.
- Kommer D. P.* (2006). Germany: Balancing Rights and Duties // *Interpreting Constitutions. A Comparative Study* / J. Goldsworthy (ed.). New York: Oxford University Press. P. 161–214.
- Löwith K.* (1995). The Occasional Decisionism of Carl Schmitt // *Löwith K. Martin Heidegger and European Nihilism* / R. Wolin (ed.). New York: Columbia University Press. P. 137–169.
- Luhmann N.* (1962). Wahrheit und Ideologie: Vorschläge zur Wiederaufnahme der Diskussion // *Der Staat*. Vol. 1. № 4. S. 431–448.
- Meinel F.* (2011) Die Heidelberger Secession. Ernst Forsthoff und die «Ebracher Ferien-seminare» // *Zeitschrift für Ideengeschichte*, H. V/2. S. 89–108.

- Meinel F.* (2012). *Der Jurist in der industriellen Gesellschaft. Ernst Forsthoff und seine Zeit.* Berlin: Akademie Verlag.
- Mußgnug D., Mußgnug R., Reinthal A. Giesler G., Tröger J.* (eds.). (2007). *Briefwechsel Ernst Forsthoff — Carl Schmitt (1926-1974).* Berlin: Akademie Verlag.
- Rennert D.* (2014). Die Verdrängte Werttheorie und ihre Historisierung: Zu „Lüth“ und den Eigenheiten bundesrepublikanischer Grundrechtstheorie // *Der Staat.* Vol. 53. № 1. S. 31–59.
- Schmitt C.* (2021). Staat, Bewegung, Volk. Die Dreigliederung der politischen Einheit // *Schmitt C. Gesammelte Schriften 1933–1936 mit ergänzenden Beiträgen aus der Zeit des Zweiten Weltkrieg.* Berlin: Duncker & Humblot, S. 76–115.
- Schmitt C.* (1935). Was bedeutet Streit um den «Rechtsstaat»? // *Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft.* Bd. 95. H. 2. S. 189–200.
- Schmitt C.* (1940a). Der Gegensatz von Parlamentarismus und moderner Massendemokratie // *Schmitt C. Positionen und Begriffe im Kampf mit Weimar -Genf—Versailles. 1923 -1939.* Hamburg: Hanseatische Verlagsanstalt. S. 52–66.
- Schmitt C.* (1940b). Die Wendung zum Totalen Staat // *Positionen und Begriffe, im Kampf mit Weimar — Genf — Versailles 1923–1939.* Berlin: Duncker & Humblot, S. 147–184.
- Schmitt C.* (1940c). Vergleichender Überblick über die neueste Entwicklung des Problems der gesetzgeberischen Ermächtigungen; “Legislative Delegationen” // *Schmitt C. Positionen und Begriffe im Kampf mit Weimar — Genf — Versailles. 1923–1939.* Hamburg: Hanseatische Verlagsanstalt. S. 214–229.
- Schmitt C.* (2003a). Das Reichsgericht als Hüter der Verfassung (1929) // *Schmitt C. Verfassungsrechtliche Aufsätze aus den Jahren 1924–1954. Materialien zu einer Verfassungslehre.* Berlin: Duncker & Humblot, S. 63–109.
- Schmitt C.* (2003b). Die Weiterentwicklung des totalen Staates in Deutschland // *Schmitt C. Verfassungsrechtliche Aufsätze aus den Jahren 1924–1954. Materialien zu einer Verfassungslehre.* Berlin: Duncker & Humblot, S. 359–366.
- Schmitt C.* (2003c). Freiheitsrechte und institutionelle Garantien // *Schmitt C. Verfassungsrechtliche Aufsätze aus den Jahren 1924–1954. Materialien zu einer Verfassungslehre* Berlin: Duncker & Humblot, S. 140–173.
- Schmitt C.* (2011). *Die Tyrannei der Werte.* Berlin: Duncker & Humblot.
- Schmitt C.* (2017). *Verfassungslehre.* Berlin: Duncker & Humblot.
- Schönberger C.* (2011) Werte als Gefahr für das Recht? Carl Schmitt und die Karlsruher Republik // *Schmitt C. Die Tyrannei der Werte.* Berlin: Duncker & Humblot. S. 57–91.
- Smend R.* (1928a). Das Recht der freien Meinungsäußerung // *Das Recht der freien Meinungsäußerung. Der Begriff des Gesetzes in der Reichsverfassung. Verhandlungen der Tagung der Deutschen Staatsrechtslehrer zu München am 24. und 25. März 1927 / K. Rothenbücher, R. Smend (eds.).* Berlin und Leipzig: Walter de Gruyter & Co. S. 44–74.
- Smend R.* (1928b). *Verfassung und Verfassungsrecht.* Berlin: Duncker & Humblot.
- Zeitlin S. G.* (2021). Indirection and the Rhetoric of Tyranny: Carl Schmitt’s *The Tyranny of Values 1960–1967* // *Modern Intellectual History.* Vol. 18. № 2. P. 427–450.



## Carl Schmitt's "Tyranny of Values" in the Context of the Debate on the Nature of Constitutional Rights

*Viacheslav E. Kondurov*

PhD in Law, Assistant Professor, Department of Constitutional Law, Saint Petersburg State University.  
Address: Saint Petersburg State University 7/9, Universitetskaya embankment, Saint Petersburg 199034,  
Russian Federation  
E-mail: v.kondurov@spbu.ru

Discussions about the nature of constitutional rights set out in the Constitution emerged in post-war Germany in the late 1950s and early 1960s, triggered by the judgement of the German Federal Constitutional Court in the so-called "Lüth case". In this judgement, for the first time, the Court clearly articulated the position that fundamental rights are an objective value system that extends its legal force to all branches of law, including civil law.

One of the fiercest critics of the Court decision was Ernst Forsthoff, a disciple of Carl Schmitt. In a series of articles, he attacked the "value" legal interpretation, pointing out that it leads not only to the destruction of the legal method and the loss of jurisprudence autonomy, but also to changes in the institutional structure of the state. E. Forsthoff's criticism was predominantly juridical, focusing on the actual law enforcement, as well as on the theoretical-legal origins of value interpretation which he found in R. Smend's "integration theory".

In contrast, C. Schmitt, in *Tyranny of Values*, practically omitted legal arguments and attacked the philosophical basis of the German Court's position. Relying on M. Weber, the German legal scholar attempted to demonstrate that the adoption of value interpretation by constitutional justice means the direct application of values, which destroys the rule of law. Despite the different trends of criticism, the conclusions reached by E. Forsthoff and C. Schmitt show a significant similarity in that both call for the autonomy of legal science and a return to the formal legal state.

**Keywords:** Constitutional rights, constitutional interpretation, philosophy of values, tyranny of values, C. Schmitt, E. Forsthoff, M. Weber, M. Scheler

### References

- Alexy R. (2011) *Ponjatje i dejstvitel'nost' prava (otvet juridicheskomu pozitivizmu)* [The Concept and Validity of Law (Reply To Legal Positivism)], Moscow: Infotropic Media.
- Anter A. (2014) *Max Weber's Theory of the Modern State. Origins, Structure and Significance*, Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Anter A. (2015) *Ordnungdenken in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts Wertordnung, Ordnungsmacht und Menschenbild des Grundgesetzes. Handbuch Bundesverfassungsgericht im politischen System* (ed. R. Chr. van Ooyen, M. H. W. Möllers), Wiesbaden: Springer Fachmedien, pp. 479–495.
- Badura P. (1977) *Staat, Recht und Verfassung in der Integrationslehre Zum Tode von Rudolf Smend* (15. Januar 1882 - 5. Juli 1975). *Der Staat*, vol. 16, no 3, pp. 305–325.
- Belov S. A. (2019) *Cennosti rossijskoj Konstitucii v tekste i praktike ee tolkovanija* [Values of the Russian Constitution in its Text and in Practice of its Interpretation], *Comparative Constitutional Review*, no 4, pp. 68–83.
- Carrino A. (2016) Chapter 6. Law and the State in the Conservative Revolution. *A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence. Vol. 12.* (eds. E. Pattaro, C. Roverisi), Dordrecht: Springer, pp. 209–221.

- Dürig G. (1952) Die Menschenauffassung des Grundgesetzes. *Juristische Rundschau*, heft 7. pp. 259–263.
- Engle E. (2009) Third Party Effect of Fundamental Rights (Drittwirkung). *Hanse Law Review*, vol. 5, no 2, pp. 165–173.
- Eser A. (1970) Die Sexualität in der Strafrechtsreform. *Juristische Analysen*, no 2, pp. 218–242.
- Forsthoﬀ E. (1961) *Zur Problematik der Verfassungsauslegung*, Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag.
- Forsthoﬀ E. (1963) Der Introvertierte Rechtsstaat und seine Verortung. *Der Staat*, vol. 2, no 4, pp. 385–398.
- Forsthoﬀ E. (1994) Die Umbildung des Verfassungsgesetzes. *Festschrift für Carl Schmitt: zum 70. Geburtstag dargebracht von Freunden und Schülern* (eds. H. Barion, E. Forsthoﬀ, W. Weber), Berlin: Duncker & Humblot, pp. 35–62.
- Filippov A. F. (2023) Values and Mobilization: Towards the Dynamics of “Sterile Excitement”. *Russia in Global Affairs*, vol. 21, no 1, pp. 51–70.
- Hartmann N. (2002) *Jetika* [Ethik], Moscow: Vladimir Dal’.
- Henne T. (2015) “Smend oder Hennis”. Bedeutung, Rezeption und Problematik der ‚Lüth-Entscheidung‘ des Bundesverfassungsgerichts von 1958. *Handbuch Bundesverfassungsgericht im politischen System* (ed. R. Chr. van Ooyen, M. H. W. Möllers), Wiesbaden: Springer Fachmedien, pp. 219–230.
- Hesse K. (1981) *Osnovy konstitucionnogo prava FRG* [Foundations of the Constitutional Statute of the FRG], Moscow: “Juridicheskaja literatura”.
- Hofmann H. (2016) Chapter 10. The Development of German-Language Legal Philosophy and Legal Theory in the Second Half of the 20th Century. *A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence. Vol. 12.* (eds. E. Pattaro, C. Roversi), Dordrecht: Springer, pp. P. 285–365.
- Hollerbach A. (1960) Auflösung der rechtsstaatlichen Verfassung? Zu Ernst Forsthoﬀs Abhandlung „Die Umbildung des Verfassungsgesetzes“ in der Festschrift für Carl Schmitt. *Archiv des öffentlichen Rechts*, vol. 85, no 3, pp. 241–270.
- Holstein G. (1926) Von Aufgaben und Zielen heutiger Staatsrechtswissenschaft. Zur Taugung der Vereinigung deutscher Staatsrechtslehrer. *Archiv des öffentlichen Rechts*, vol. 50, no 1, pp. 1–40.
- Jansen N. (1997) Die Abwägung von Grundrechten. *Der Staat*, vol. 36, no 1, pp. 27–54.
- Kommer D. P. (2006). Germany: Balancing Rights and Duties. *Interpreting Constitutions. A Comparative Study* (ed. J. Goldsworthy), New York: Oxford University Press, pp. 161–214.
- Kumm M., Comella V. F. (2006) Osobaja rol’ konstitucionnyh prav v razreshenii chastnopravovyh sporov [What is So Special about Constitutional Rights in Private Litigation?]. *Comparative Constitutional Review*, no 2 (55), pp. 51–74.
- Löwith K. (1995) The Occasional Decisionism of Carl Schmitt. Löwith K. *Martin Heidegger and European Nihilism* (ed. R. Wolin), New York: Columbia University Press, pp. 137–169.

- Löwith K. (2012) Politicheskij decizionizm [Political Decisionism]. *Logos*, no 5 (89), pp. 115–142.
- Luhmann N. (1962) Wahrheit und Ideologie: Vorschläge zur Wiederaufnahme der Diskussion. *Der Staat*, vol. 1, no 4, pp. 431–448.
- Meinel F. (2011) Die Heidelberger Secession. Ernst Forsthoff und die “Ebracher Ferien-seminare”. *Zeitschrift für Ideengeschichte*, no. V/2, pp. 89–108.
- Meinel F. (2012) *Der Jurist in der industriellen Gesellschaft. Ernst Forsthoff und seine Zeit*. Berlin: Akademie Verlag.
- Mußnug D., Mußnug R., Reinthal A., Giesler G., Tröger J. (eds.) (2007) *Briefwechsel Ernst Forsthoff — Carl Schmitt (1926-1974)*, Berlin: Akademie Verlag.
- Radbruch G. (2004) *Filosofija prava* [The Philosophy of Law], Moscow: Mezhdunar. ot-noshenija.
- Rennert D. (2014) Die Verdrängte Werttheorie und ihre Historisierung: Zu „Lüth“ und den Eigenheiten bundesrepublikanischer Grundrechtstheorie. *Der Staat*, vol. 53, no 1, pp. 31–59.
- Scheler M. (1994) Formalizm v jetike i material'naja jetika cennostej. Razdel 2: Formalizm i apriorism [Formalism in Ethics and Non-Formal Ethics of Values. Section 2: Formalism and Apriorism] // Scheler M. *Izbrannye proizvedenija* [Selected Writings] (ed. A. V. Denezhkina), Moscow: Gnosis, pp. 259–337.
- Schmitt C. (2021) Staat, Bewegung, Volk. Die Dreigliederung der politischen Einheit. *Gesammelte Schriften 1933–1936 mit ergänzenden Beiträgen aus der Zeit des Zweiten Weltkrieg*, Berlin: Duncker & Humblot, pp. 76–115.
- Schmitt C. (1935) Was bedeutet Streit um den «Rechtsstaat»? *Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft*, vol. 95, no 2, pp. 189–200.
- Schmitt C. (1940a) Der Gegensatz von Parlamentarismus und moderner Massendemokratie. *Positionen und Begriffe im Kampf mit Weimar — Genf — Versailles*, Hamburg: Hanseatische Verlagsanstalt, pp. 52–66.
- Schmitt C. (1940b) Die Wendung zum Totalen Staat // *Positionen und Begriffe, im Kampf mit Weimar — Genf — Versailles 1923–1939*, Berlin: Duncker & Humblot, pp. 147–184.
- Schmitt C. (1940c) Vergleichender Überblick über die neueste Entwicklung des Problems der gesetzgeberischen Ermächtigungen; “Legislative Delegationen”. *Positionen und Begriffe im Kampf mit Weimar — Genf — Versailles. 1923–1939*, Hamburg: Hanseatische Verlagsanstalt, pp. 214–229.
- Schmitt C. (2003a) Das Reichsgericht als Hüter der Verfassung. *Verfassungsrechtliche Aufsätze aus den Jahren 1924–1954. Materialien zu einer Verfassungslehre*, Berlin: Duncker & Humblot, pp. 63–109.
- Schmitt C. (2003b) Die Weiterentwicklung des totalen Staates in Deutschland. *Verfassungsrechtliche Aufsätze aus den Jahren 1924–1954. Materialien zu einer Verfassungslehre*, Berlin: Duncker & Humblot, pp. 359–366.
- Schmitt C. (2003c) Freiheitsrechte und institutionelle Garantien *Verfassungsrechtliche Aufsätze aus den Jahren 1924–1954. Materialien zu einer Verfassungslehre*, Berlin: Duncker & Humblot, pp. 140–173.

- Schmitt C. (2010) State Ethics and the Pluralist State. *Gosudarstvo i politicheskaja forma* [State and Political Form], Moscow: HSE, pp. 237–258.
- Schmitt C. (2011) *Die Tyrannei der Werte*, Berlin: Duncker & Humblot.
- Schmitt C. (2013a) Garant konstitutsii [Guarantor of the Constitution]. *Gosudarstvo: pravo i politika* [State: Law and Politics], Moscow: Territoriya budushhego, pp. 27–220.
- Schmitt C. (2013b) Legal'nost' i legitimnost' (posleslovie k izdaniyu 1958 g.) [Legality and Legitimacy (1958 Edition Afterword)]. *The Russian Sociological Review*, vol. 12, no 3, pp. 76–92.
- Schmitt C. (2013c) Legal'nost' i legitimnost' [Legality and Legitimacy]. *Gosudarstvo: pravo i politika* [State: Law and Policy], Moscow: Territorija budushhego, pp. 221–305.
- Schmitt C. (2016) Duhovno-istoricheskoe sostojanie sovremennogo parlamentarizma [The Spiritual and Historical State of Modern Parliamentarism]. *Ponjatje politicheskogo* [The Concept of the Political], Saint Petersburg: Nauka, pp. 93–170.
- Schmitt C. (2017) *Verfassungslehre*, Berlin: Duncker & Humblot.
- Schönberger C. (2011) Werte als Gefahr für das Recht? Carl Schmitt und die Karlsruher Republik. Schmitt C. *Die Tyrannei der Werte*, Berlin: Duncker & Humblot, pp. 57–91.
- Smend R. (1928a) Das Recht der freien Meinungsäußerung. *Das Recht der freien Meinungsäußerung. Der Begriff des Gesetzes in der Reichsverfassung. Verhandlungen der Tagung der Deutschen Staatsrechtslehrer zu München am 24. und 25. März 1927* (eds. K. Rothenbücher, R. Smend), Berlin und Leipzig: Walter de Gruyter & Co, pp. 44–74.
- Smend R. (1928b) *Verfassung und Verfassungsrecht*, Berlin: Duncker & Humblot.
- Stolleis M. (2012) *Oko zakona. Istorija odnoj metafory* [The Eye of the Law: Two Essays on Legal History], Moscow: Rossijskaja politicheskaja jenciklopedija (ROSSPEN)
- Weber M. (1990) Smysl "svobody ot ocenki" v sociologicheskoy i jekonomicheskoy nauke [The Meaning of "Wertfreiheit" in Economic and Social Sciences], Weber M. *Izbrannye proizvedenija* [Selected Writings], Moscow: Progress, pp. 547–601.
- Weber M. (2018) *Hozjajstvo i obshhestvo: ocherki ponimajushhej sociologii v 4 t. T. III. Pravo* [Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology in 4 vol. Vol. III. The Law], Moscow: Izd. dom Vysshej shkoly jekonomiki.
- Zeitlin S. G. (2021) Indirection and the Rhetoric of Tyranny: Carl Schmitt's The Tyranny of Values 1960–1967. *Modern Intellectual History*, vol. 18, no 2, pp. 427–450.
- Zor'kin V. D. (2008) Aksiologicheskie aspekty Konstitucii Rossii [Axiological aspects of the Russian Constitution], *Comparative Constitutional Review*, no 5, pp. 7–20.

## «Тирания ценностей» как «воля к власти»: к генеалогии и последствиям ценностного дискурса в правосудии\*

*Елена Тимошина*

Доктор юридических наук, профессор кафедры теории и истории государства и права,

Санкт-Петербургский государственный университет

Адрес: Университетская наб., д. 7–9, Санкт-Петербург, Российская Федерация, 199034

E-mail: e.timoshina@spbu.ru

Эссе К. Шмитта «Тирания ценностей» позволяет прояснить генеалогию и последствия ценностного поворота в правосудии. В первом разделе статьи даются пояснения относительно различий между традиционным судебным методом, оперирующим нормами, и способами обращения судей с ценностями. Отмечается, что методы работы судей с ценностями зачастую герметичны и иррациональны. Во втором разделе обосновывается, что, несмотря на обращение Шмитта к неокантианской объективистской философии ценностей, основным объектом его критики была метафизика ценностей Ф. Ницше, в анализе которой он следует М. Хайдеггеру. Шмитт отмечает такое свойство ценностей, как их субъективная значимость, а также взаимосвязанные пунктуализм и перспективизм ценностного мышления, обуславливающие его агрессивность. Он опускает указание на связь полагания ценностей с ницшеанским концептом воли к власти, однако предположение такой связи необходимо для объяснения агрессивности логики ценностей и условий их ранжирования. В третьем разделе для демонстрации актуальности критики Шмиттом философии ценностей приводятся несколько кейсов из практики Европейского суда по правам человека. Показывается, что Суд определяет ценность акта поведения не путем его соотнесения с юридически действительными нормами, а волюнтаристски — в зависимости от степени соответствия акта поведения предмету его собственных этических устремлений, дискредитируя оппозиционные ценности (не-ценности) и их носителей. Именно такой способ судебного разрешения дел Шмитт называл террором непосредственных нормами, автоматического осуществления ценностей. В заключение отмечается, что эссе Шмитта с разной степенью очевидности указывает на три последствия ценностного поворота в правосудии — методологическое, политико-институциональное, этическое.

*Ключевые слова:* ценности, правосудие, права человека, Европейский суд по правам человека, К. Шмитт, Ф. Ницше

О ценностях в конституционном праве и правосудии, как и о мертвых, принято говорить либо хорошо, либо ничего. Аксиоматическое положение современной конституционной доктрины состоит в том, что от ценностей при судебном контроле прав человека некуда деться — «в сложных случаях... нет такой аргументации, которая не ссылалась бы на... ценности» (Мальманн, 2008: 79). Эта аксиома соседствует с другой: «Возврат к идее абсолютного — платонического, гегельянско-го, (нео)томистского и т.п. — постижения Добра и Справедливости уже никогда

---

\* Статья подготовлена в рамках поддержанного Российским научным фондом научного проекта № 23-28-00973 «Догма публичного права в условиях постглобализации».

Работа опубликована при поддержке Программы «Университетское партнерство».

всерьез не будет стоять на философской повестке дня» (Там же). Позиция морального реализма, рассматривающая блага и ценности как онтологические сущности, была бы способна снять различие между нормами и ценностями, однако в условиях постметафизического мышления, предполагающего гибкость ценностных иерархий и их множественность, такая позиция считается архаичной (Habermas, 1996: 256–257). Признание взаимосвязанных релятивизма и плюрализма ценностей, казалось бы, должно предостеречь от использования языка ценностей при разрешении судебных споров из-за невозможности найти всеобщие рациональные основания аргументации, но конституционная доктрина и практика не предполагают такого отступления от логики ценностей, рассматривая подобный путь как нелегитимный дискурс. Идея приоритета деонтологии над телеологией, норм над ценностями, по оценке судьи Конституционного суда РФ Г. А. Гаджиева, «нереалистична, иллюзорна, избыточно фикционна» (Гаджиев, Войниканис, 2021: 57).

Что произошло, что нормы конституций в конституционном правосудии и нормы Конвенции о защите прав человека и основных свобод — в конвенционном правосудии превратились в «иллюзию», «фикцию», уступили место ценностям? Почему судьи при обосновании решений стали оперировать не столько нормами и принципами права, сколько обнаруживаемыми за ними ценностями? Ответы на эти вопросы можно найти в эссе Карла Шмитта «Тирания ценностей», обстоятельства создания которого и сопровождавшая его полемика подробно освещены в статье Вячеслава Кондурова. Эссе германского правоведа, будучи интерпретированным в единстве с упоминаемыми в нем источниками, способно пролить свет на генеалогию ценностного дискурса в правосудии, а также показать риски того, что Шмитт называл «террором непосредственного и автоматического осуществления ценностей» (Schmitt, 2011: 54).

Эссе Шмитта сегодня имеет контекст, в котором предложенный правоведем анализ философии ценностей демонстрирует проницательность. Представлению этого контекста посвящен первый раздел статьи. Во втором разделе речь идет об основных свойствах ценностей и ценностного мышления в трактовке Шмитта, раскрываемых им на пересечении философии и юриспруденции. Наконец, в третьем разделе на примере нескольких кейсов из практики Европейского суда по правам человека показывается, как проявляются отмечаемые Шмиттом свойства логики ценностей, когда Суд практикует непосредственное нормами права применение ценностей.

### **Догматическая юриспруденция и юриспруденция ценностей: необходимые пояснения**

Догматическая юриспруденция — наука, концептуальные основания которой были разработаны в XIX веке, создала определенные алгоритмы решения судебных споров, составляющие содержание юридического (судебного) метода и практикуемые юристами по сей день. Согласно требованиям метода, судебное решение

должно иметь нормативное обоснование, которое представляет собой особый тип рационального объяснения — обоснование деонтической квалификации поведения (действия/бездействия) в качестве разрешенного, обязательного или запрещенного в соответствии с некоторой нормативной системой. Такое обоснование «заключается в демонстрации того, что обязательство, запрет или разрешение данного действия могут быть выведены (являться следствиями) из данной системы» (Альчуррон, Булыгин, 2013: 183). Иными словами, требование рационального обоснования решения означает, что основания для вынесения решения не должны создаваться самим судьей (Там же: 191). Юридический метод предполагает юридическую квалификацию предусмотренных нормами и установленных в судебном процессе фактов — субсумцию; применимые к конкретному случаю нормы подлежат толкованию — их смысл должен быть уяснен с помощью выработанных догматикой правил толкования. Частью юридического метода являются правила деятельности судьи в сложных случаях обнаружения пробела или противоречия в нормативной системе. Упрощая, можно сказать, что с помощью субсумции, т. е. соотнося рассматриваемый индивидуальный случай с описанием родового случая в норме, судья посредством правил вывода данной нормативной системы выносит решение, присваивая акту поведения определенный деонтический статус. Если не воспринимать требование идеала правового государства о «связанности» судьи законом исключительно как метафору, то данное требование означает, что на судью нормами правопорядка возложена обязанность эксплицитного обоснования решения при помощи норм (Булыгин, 2016: 285). Именно эту догматическую точку зрения защищал К. Шмитт в своей полемике с Г. Кельзенем о гаранте конституции: «Если судья покидает территорию, где... существует подведение дела под действие общих норм в зависимости от его обстоятельств и тем самым содержательная привязка к закону, то он уже не может быть независимым судьей, и никакая видимость формы юстиции не избавит его от этого следствия» (Шмитт, 2013а: 51).

Однако в связи с развитием конституционной и наднациональной юстиции во второй половине XX века произошло удвоение методологии обоснования судебных решений: традиционный судебный метод оказался зарезервированным для «простых» дел и «ординарных» судов, в то время как для «трудных» дел, связанных с конкуренцией основных прав, и рассматривающих данные дела институтов «высокого правосудия» стало практиковаться «взвешивание» ценностей. Но если дедуктивная модель применения права позволяет обнаруживать дефекты юридической квалификации и нормативного обоснования решения, что является основанием его оспаривания в вышестоящих судебных инстанциях, то методы работы судьи с ценностями не имеют алгоритма — они непрозрачны, не имеют характера рационально-логических операций с конституционными нормами и принципами (Белов, 2014: 51) и часто заслуживают упрек в иррациональности (Habermas, 1996: 259). При отсутствии ясной и воспроизводимой методологии решения органов конституционного и конвенционного контроля обладают силой *res judicata* — они не подлежат пересмотру, а следовательно, установленный ими

баланс ценностей, даже если он заменяет баланс, найденный законодателем (Гаджиев, 2013: 246–247), является окончательным, несмотря на дефекты аргументации или даже ее отсутствие, что может влиять на легитимность и действенность решения, но не влияет на его юридическую действительность.

Признание доктриной ограниченности и даже непригодности юридико-догматических методов в конституционном и наднациональном правосудии (Там же: 203–204) имеет под собой основания и связано с особенностями формулировок норм и принципов в конституционных и международно-правовых актах. Это высокая степень абстрактности и вследствие этого неопределенность их нормативного содержания, а также отсутствие указаний на факты, которые подлежали бы доказыванию, что ограничивает или вообще исключает возможность использования субсумции. Вместе с отсутствием разработанной догматики публичного права все это дает основания для вывода о том, что институты конституционного и конвенционного контроля имеют дело с совершенно иными объектами по сравнению с теми, с которыми работает «обычный» судья, что требует также и принципиально иных методов обращения с ними.

В итоге доктрина и судебная практика нашли выход из методологических затруднений: юридически действительные правовые нормы, принципы, права человека были превращены в «интерсубъективно разделяемые предпочтения» (Habermas, 1996: 255) — ценности, с тем чтобы сделать возможным их судебное градуирование и взвешивание. Однако в отличие от норм ценности имеют телеологический смысл, отмечает Ю. Хабермас, один из непримиримых критиков использования доктрины порядка ценностей (*Wertordnungslehre*) в практике ФКС Германии и автор термина «юриспруденция ценностей» (Habermas, 1996: 253). Это методологическое решение нельзя не признать парадоксальным хотя бы с точки зрения того, что ценностью стала сама ценностная нейтральность, на что обращал внимание Шмитт, подчеркивая, что «утверждение ценностей и ценностная нейтральность исключают друг друга» (Шмитт, 2013б: 262). Оно парадоксально и с точки зрения того, что стремление Федерального Конституционного суда Германии (далее — ФКС) усилить действительность прав человека привело к тому, что они трансформировались в «соображения, которые могут быть вытеснены другими соображениями» (Alexy, 2002: 57). Типичный практикуемый судами способ аргументации — установление соразмерности целей (ценностей) и средств их достижения, т. е. прагматичное рассуждение о том, какая цель (ценность) какие средства оправдывает. Шмитт видел в современной градации более высоких и более низких ценностей старомодное соотношение цели и средства, однако то, что цель должна освятить средство, раньше считалось предосудительным принципом (Schmitt, 2011: 51).

После того как «стена, возведенная в ходе юридического дискурса посредством деонтологического понимания правовых норм, разрушена» (Habermas, 1996: 258–259), ничто не препятствует тому, чтобы признать одно право нуждающимся в ограничении, а другое — в защите, равно как и принять противоположное реше-



ние. Кроме того, «различные ценности конкурируют за приоритет от случая к случаю; в той мере, в какой они находят интересубъективное признание в рамках культуры... они образуют гибкие конфигурации, наполненные напряжением» (Ibid.: 255). Отсюда постоянно изменяемый судами масштаб ценностей способен менять и однажды уже установленный баланс между ними. Однако способы обнаружения судами ценностей непрозрачны, и даже «опросы общественного мнения, — отмечает судья ЕСПЧ А. Шайо (2008–2017), — необязательно отражают истинные конституционные ценности» (Шайо, 2008: 5).

Между тем сами общности, будь то народ в государстве или наднациональные объединения, рассматриваются конституционными судами и ЕСПЧ как конституированные ценностями, что фиксируется в понятиях конституционной и европейской идентичности. Так, Европейский союз определяется как «сообщество ценностей» (Schorkopf, 2020: 956). По выражению судьи ЕСПЧ А. Нуссбергер (2011–2019), Европейский союз — это общность, в которой присутствуют «общие ценностные скрепы, которые объединяли Западную Европу после 1945 года» (Нуссбергер, 2020: 17). Эта система ценностей осознается как общая в том числе в ее противопоставлении другим общностям, ценности которых интерпретируются как противоположные и несущие угрозу. Обращаясь к обстоятельствам принятия Конвенции, Нуссбергер отмечает, что «тогда необходим был кодекс ценностей (Западной) Европы, так как уже существовал кодекс ценностей (Восточной) Европы, в котором усматривалась... угроза» (Нуссбергер, 2019: 17). Здесь обозначается функция общих ценностей — маркировать «друзей» и «врагов» и тем самым создавать и поддерживать пространство политического, и функция ЕСПЧ — осуществлять защиту «ценностей цивилизованных обществ» (ECtHR. *Gäffen v. Germany*. 2010. § 175)<sup>2</sup>.

Представление о конституции как объективном порядке ценностей наделяет судей «привилегией читать невидимую конституцию» (Шайо, 2008: 5). Такое знание оказывается герметичным для всех, кто не обладает полномочием конституционного судьи. Сходные возможности «погружения на уровень метаюридических основ... Конституции, в которых содержится высокая степень концентрации... нравственно-этических... начал», признаются и за Конституционным судом РФ (Бондарь, 2014: 82). Суд обладает возможностью не только констатировать выраженные в Конституции ценности, но и извлекать их из духа Конституции, имея непосредственный доступ к нему (Там же: 84–85). Подобная герметичность знания в истории часто соединялась с идеей его сакральности, для трансляции которого требовался оракул. На роль «современных пророков, несущих народу сакральные юридические знания» теперь Конституция уполномочивает судей (Гаджиев, 2013: 157), а в самопрезентации органов конституционного и конвенционного контроля появляется моральное измерение. Так, ЕСПЧ, по мнению его судьи, занимается

---

2. Все приводимые в статье решения ЕСПЧ доступны на английском языке на официальном сайте Суда: <https://hudoc.echr.coe.int>.

тем, что отделяет добро от зла (Гарлицкий, 2008: 87)<sup>3</sup>, является «совестью Европы» (Нуссбергер, 2016: 150); Конституционный суд РФ дает оценку поведения людей «с точки зрения ценностей добра и зла... совести и греховности», выступая хранителем и генератором ценностных нормативов общества (Бондарь, 2014: 52, 9).

Право, конечно, несвободно от ценностей. Не вдаваясь в детали, можно сказать, что они так или иначе получают воплощение в позитивном праве. В связи с этим может быть проведено различие между объективными и субъективными ценностями в праве. Акт поведения обладает объективной положительной ценностью, когда он соответствует юридически действительной норме (или принципу права), отрицательной — когда не соответствует. Субъективная ценность акта поведения определяется его соотношением с направленным на него желанием или волей одного либо нескольких индивидов — в зависимости от того, соответствует акт поведения этой воле или нет, он обладает положительной или отрицательной ценностью. Субъективная ценность акта поведения может иметь различные степени, поскольку желание или воля человека могут проявляться с различной степенью интенсивности, в то время как градация объективной ценности невозможна — поведение не может соответствовать или противоречить действительной норме в большей или меньшей степени (Кельзен, 2015: 32–34). Отсюда следует, что, устраняя необходимость соотнесения поведения с нормами, судьи вверяются логике исключительно субъективных ценностей, устанавливая ценность акта поведения в зависимости от его соответствия собственным желаниям и воле.

### Генеалогия философии ценностей: через Хайдеггера к Ницше

Критика Шмиттом философии ценностей в ее последствиях для правосудия весьма сдержанна. В конце своего эссе Шмитт советует юристу избегать легкомысленного отношения к проблеме непосредственного применения ценностей. Прежде чем решиться оценивать, переоценивать или обесценивать ценности и в качестве их носителя и выразителя устанавливать в форме имеющих законную силу судебных решений субъективный или объективный порядок ценностей, юристу следует прояснить для себя современную философию ценностей, ее происхождение и структуру — для того, чтобы знать, что именно он делает, когда становится непосредственным исполнителем ценностей (Schmitt, 2011: 54–55). После всех пояснений Шмитта, касающихся происхождения философии ценностей, со ссылками на М. Шелера и Н. Гартмана как ее главных представителей, этот заключительный призыв может показаться странным — избыточным, если только не предположить, что Шмитт сознательно умолчал о чем-то значимом в ее происхождении, что юристу надлежит понять самостоятельно. Эссе Шмитта не включает в себе окончательных ответов, но скорее определяет направления их самостоятельного поиска.

---

3. Древнеримский юрист Ульпиан был более точен, когда говорил, что юристы занимаются тем, что отделяют справедливое от несправедливого (D. 1.1.1.1).

В Послесловии к «Тирании ценностей» К. Шёнбергер предпринимает попытку вывести из-под полемиического удара Шмитта философию ценностей Шелера и Гартмана. Он приходит к выводу, что правовед критикует ее за то, чего она в действительности не имела притязаний добиться (Schönberger, 2011: 74–75), и в этом отношении он, безусловно, прав. Вместе с тем Шёнбергер обращает внимание на отсутствие в эссе Шмитта какого-либо критического обсуждения той манеры говорить о ценностях, которая была характерна для практики ФКС Германии (Schönberger, 2011: 76). Таким образом, он стремится доказать, что, с одной стороны, философия Шелера и Гартмана является ненадлежащим предметом критики Шмитта, а с другой — заслуживающий ее предмет не получает критического обсуждения. Это обстоятельство кажется далеко не случайным.

Шмитт начинает свое эссе с понятия достоинства — именно достоинство отделяет человека от мира вещей: «У вещей есть ценность, а у людей — достоинство», поэтому превращать достоинство в ценность считалось недостойным (Schmitt, 2011: 35). Достоинство, таким образом, сопротивляется его размещению на шкале ценностей, помещению его в упоминаемый в решении по делу Люта<sup>4</sup> порядок ранжированных ценностей (*Wertrangordnung*), любым попыткам его «взвешивания». В этом обращении к достоинству, которое в качестве *права* признано абз. 1 ст. 1 Конституции ФРГ 1949 года и которое стало *просто ценностью* в решениях ФКС Германии, философская и юридическая проблематика завязывается в единый узел, а практика ФКС по превращению основных прав в ценности неявным образом оценивается как «недостойная». У читающих эссе юристов, для которых достоинство — это не столько понятие моральной философии, сколько конструкция позитивного права (или естественно-правовая идея, получившая закрепление в позитивном праве), появляются основания проецировать критику Шмиттом философии ценностей на юриспруденцию. Он также приводит наглядный для юристов пример: собственность сначала была *вещью*, потом стала *правом*, теперь превратилась в *ценность* (Schmitt, 2011: 11). Для юриста это означает, что собственности больше нет. Не то же ли самое может произойти и с другими правами?

Шмитт ставит диагноз сложившейся в философии ситуации словами Хайдеггера, считая необходимым процитировать их целиком из-за их «исчерпывающей и окончательной правильности». Он приводит из работы философа «*Nietzsches Wort "Gott ist tot"*» («Слова Ницше "Бог мёртв"», 1943) один небольшой абзац, в котором утверждается, что «вследствие распространения сочинений Ницше ценности вошли в обиход» (Хайдеггер, 1990: 152). Единственное упоминание о Ницше в «Тирании ценностей» заключено в кавычки и принадлежит Хайдеггеру, однако попробуем отнести к этому упоминанию так, *как если бы* Шмитт с помощью приведенной цитаты стремился сообщить юристам, где именно следует искать

---

4. Более подробно см. статью В. Кондурова в этом номере. С. 98.

корень волновавшей его проблемы экспансии ценностей в правосудие, но сделал это прикровенно.

Происхождение понятия «тирания ценностей»<sup>5</sup> на первый взгляд не составляет проблемы, ведь Шмитт сам указывает на его появление в «Этике» Гартмана (Schmitt, 2011: 48). Однако его использовал уже Ницше: «Если, — пишет философ, — ...*тирания* прежних *ценностей* будет сломлена... то... возникнет новый строй ценностей» (Ницше, 2005: 269). Гартман мыслит тиранию ценностей психологически — как свойство личности, фанатично преданной какой-либо ценности (Гартман, 2002: 515), Ницше — социологически, в контексте приведенного высказывания — как свойство христианской культуры Запада. Ницшеанское понятие «*тирании* абсолютных *скрижалей ценностей*» (Ницше, 2005: 272) оказывается гораздо ближе интерпретации Шмитта, чем психологическая трактовка Гартмана. Оно могло быть известно Шмитту как из регулярного чтения Ницше (Schmitt, 2018: 77–78, 359, 411 и др.)<sup>6</sup>, так и из лекций о Ницше Хайдеггера, который приводит это высказывание философа (Хайдеггер, 2006: 33).

Шмитт использует в эссе анализ Хайдеггера, но непосредственно ссылается на него лишь однажды, в первой сноске. Уже без ссылок на его работы Шмитт раскрывает в нескольких местах эссе его тезис о том, что у Ницше «бытие стало ценностью», и даже «Бог, сущее из сущего», унижен до высшей ценности (Хайдеггер, 1990: 170). Для ценностного мышления, пишет правовед, Бог может быть наивысшей ценностью, но не более того; ценностями стали бог, человечество, личность, свобода и др. — из того, чем все это является и чем оно было до сих пор, оно превращается в ценность (Schmitt, 2011: 19), размещается на шкалах ценностей и за пределами системы ценностей не существует. «Полагание ценностей подобрано под себя все сущее как сущее для себя — тем самым оно убрало его, покончило с ним, убило его»; «бытие прибито и превращено *просто* в ценность», — так Хайдеггер резюмирует осуществленный Ницше переворот в философии (Хайдеггер, 1990: 171).

Ницше ставил в себе в заслугу обоснование «точки зрения *ценностной значимости сущего*» (Ницше, 2005: 553). Это свойство значимости в ницшеанском понятии ценности акцентирует Хайдеггер: не существует никакой ценности в себе,

---

5. Проблема «Ницше и Шмитт» имеет долгую историю обсуждения, предметный анализ которой здесь едва ли уместен. В исследованиях этой темы мы найдем различного рода тематические сравнения — понятия политического у Шмитта и концепта воли к власти Ницше (Aydin, 2008: 806–808), понимания ими дружбы/вражды и политики (Graham, 2011), их критики либерализма, демократии и техницизма (напр.: McCormick, 1997: 83 и сл.), а также их анализа современности в целом (напр.: Lobo, 2022), отношения мыслителей к христианству (напр.: Gluth, 2018), значения их идей для консервативной революции (Zhavoronkov, 2018), используемых ими методов интеллектуальной генеалогии (Castrucci, 1999: 245) и даже, в числе иного, концепций пространства (Galli, 2014) и др. Вместе с тем они не касаются возможных интеллектуальных связей Шмитта с философией ценностей Ницше и, в частности, с его концептом тирании ценностей.

6. Автор благодарит Вячеслава Кондурова за сведения об упоминаниях о Ницше в дневниках Шмитта, из которых следует, что он перечитывал работы философа и постоянно, даже в бытовых ситуациях, о нем упоминал.

ценность прежде всего значима, а значима она потому, что полагается как значимая (Хайдеггер, 2007: 88). Значимость как сущностный признак ценности подчеркивает и Шмитт: ценности не имеют бытия, но обладают действительностью, значимостью (*Geltung*), стремлением к осуществлению (Schmitt, 2011: 35). Такое понимание ценности радикальным образом отличается от предлагаемого Гартманом, который адресует Ницше упрек в ценностном релятивизме, противопоставляя этой «фатальной ошибке первооткрывателя» ценностей идею о том, что «ценности и их идеальный порядок... предметны и в-себе-сущи» и, в отличие от изменчивого «ценностного взгляда», неизменны (Гартман, 2002: 206).

Фундаментальные отличия релятивистской ницшеанской и объективистской неокантианской философии ценностей заставляют усомниться в обоснованности утверждения Шёнбергера о том, что Шмитт ведет полемику главным образом с последней (Schönberger, 2011: 73), коль скоро правовед определяющим свойством ценности полагает ее субъективную значимость. Складывается впечатление, что Шмитт, если использовать приводимую Шёнбергером поговорку, «бьет по мешку, имея в виду осла» (Schönberger, 2011: 73): правовед явным образом критикует объективистскую философию ценностей, имея в виду метафизику ценностей Ницше. Впрочем, и у Гартмана Шмитт находит элементы субъективизма в той степени, в какой актуальная действительность ценности, в отличие от ее объективной идеальной значимости, зависит от «чувствующего ценности субъекта» (Гартман, 2002: 223). Однако трудно согласиться со Шмиттом в том, что Гартман как-то особенно настойчиво это подчеркивает — напротив, уже в следующем предложении он как раз пишет про «исходящее от ценности долженствование», обращенное к субъекту, который таким образом не полагает ценности, но «имеет свободу приступить или не приступить к реализации данной ценности» (Гартман, 2002: 223). Очевидно, что для иллюстрации тезиса субъективизма полагания ценностей уместнее было бы обратиться к размышлениям Ницше, но Шмитт настойчиво избегает этого, притом что по отношению к Ницше неокантианская философия ценностей имела вторичный характер, о чем пишет Хайдеггер, характеризуя ее как «плетущуюся в хвосте» его метафизики (Хайдеггер, 2007: 86).

Одно из ключевых понятий философии ценностей — точка приложения сил (*Angriffspunkt*). Шмитт находит его у М. Вебера — с его помощью социолог показывает обусловленное различными точками зрения разнообразие возможных интерпретаций произведений культуры (Weber, 1922: 246). Шмитт использует это амбивалентное понятие, обозначающее и точку нападения, и точку уязвимости, в качестве обобщающего термина для разного рода точек зрения (*Stand-, Gesichts-, Blick-, Augen-punkt*), характеризующих *пунктуализм* и происходящую из него агрессивность ценностного мышления. Примечательно, что и в этом разделе эссе Шмитт делает отсылку к Ницше, к его «*Umwertung aller Werte*», опыту переоценки всех ценностей — выражению, однозначно ассоциирующемуся с подзаголовком его книги «Воля к власти», и подчеркивает, что такая переоценка легко смогла войти в обиход (Schmitt, 2011: 42). Однако в его объяснении легкости переоценки

ценностей, осуществляемой, по его словам, путем простого переключения, присутствует некоторая недосказанность. Шмитт отмечает, что функция и смысл ценности, понятой как точка, — в том, чтобы меняться вместе с изменяющимся уровнем (Schmitt, 2011: 42), никак не поясняя, уровень *чего* он имеет здесь в виду. И только сделанные Шмиттом отсылки к Ницше и комментатору его работ Хайдеггеру позволяют найти ответ на этот вопрос.

Шмитт характеризует философию и этику ценностей как, соответственно, философию и этику точки (*Punkt-Philosophie, Punkt-Ethik*) (Schmitt, 2011: 42). Ценности как точки зрения находятся в системе чистого *перспективизма*, — используя специфический термин Ницше, поясняет Шмитт; они создают систему отсчета. На эту редукцию ценности к точке, свободно перемещаемой по шкале и создающей перспективу зрения и систему отсчета, также обращает внимание Хайдеггер в своем анализе следующего суждения Ницше: «Точка зрения “ценности” — это точка зрения *условий сохранения, условий подъема* сложных образований...» (Ницше, 2005: 393). Ценность как точка зрения, комментирует Хайдеггер, есть то, что «становится центром *перспективы* для зрения», оно намечает эти точки и ведет отсчет в соотношении с ними (Хайдеггер, 2007: 87–88).

Превращение в ценность одновременно означает ее размещение на шкале ценностей — если бы нечто не было ценностью, то оно вообще не могло бы появиться на шкале (Schmitt, 2011: 19). Каждая ценность, подчеркивает Шмитт, это всегда местоположение (*Stellenwert*), ранг ценности (Ibid.: 42). К свойству порядка ценностей принадлежит возможность постоянной переоценки с помощью перестановок на шкале ценностей (Ibid.: 18). Хайдеггер задает ключевой вопрос — с чем соотносится эта шкала возрастания и убывания ценностей (Хайдеггер, 2007: 88)? Или — вернемся к незаконченному тезису Шмитта — вместе с изменяющимся уровнем *чего* меняется ранг ценности? Ответ на этот вопрос определенно не следует искать в объективной философии ценностей — согласно Гартману, как уже подчеркивалось, ценности не участвуют в перемещениях по шкале ценностей.

Хайдеггер находит ответ на этот вопрос в следующем суждении Ницше: «*Ценности и их изменение* пропорциональны *росту власти* у полагающего *ценности*» (Хайдеггер, 1990: 155; ср.: Ницше, 2005: 34). Он поясняет: «Каждый акт утверждения ценности... должен соотноситься с *волей к власти*» (Хайдеггер, 2007: 87). Собственно, воля к власти и выражается в непрерывном полагании ценностей; точнее говоря, резюмирует Хайдеггер, «воля к власти и утверждение ценности есть одно и то же», поэтому «разъясняя сущность ценности и природу ее утверждения, мы лишь характеризуем волю к власти» (Там же: 94). Отсюда ценность предстает как определенное количество власти, утвержденное волей к власти (Там же), а шкала ценностей — шкалой степеней силы (Ницше, 2005: 391). Воля к власти, являясь основополагающей чертой жизни, складывается в центры власти — сложные, характеризующиеся переплетением перспектив и ценностных полаганий образования (командующие центры), осуществляющие господство. В этом смысле ценность

есть точка зрения роста или умаления этих центров господства (Хайдеггер, 2007: 94; Ницше, 2005: 393).

Сведение воли к власти к воле, полагающей ценности, объясняется тем, что власть остается таковой до тех пор, пока она остается постоянным возрастанием власти, а утверждаемые ею ценности являются условиями ее сохранения и возрастания. Задержаться в возрастании власти, остановиться в полагании ценностей означает начать терять власть (Хайдеггер, 1990: 157). Не указывая на эту связь установления ценностей с ницшеанским концептом воли к власти, Шмитт воспроизводит ту же логику размышлений по отношению к ценностям *per se*: чтобы они не превратились в пустую видимость, они должны постоянно обновляться, становиться действенными, осуществляться (Schmitt, 2011: 41).

В своих рассуждениях Шмитт опускает один шаг — он нигде не указывает на связь полагания ценностей с ницшеанским концептом воли к власти, однако, с учетом его постоянного (чаще неявного) обращения к статье Хайдеггера, он не мог не знать о том, что стоит за действительностью (значимостью) ценностей и их изменяющимся рангом в трактовке Ницше. Без установления такой связи, пожалуй, трудно объяснить имманентную агрессивность ценностного мышления, о которой пишет Шмитт. Он приписывает агрессивность каждому акту определения места ценности, оставляя открытым вопрос о том, от чего зависит ранг ценности и его изменение. Однако *значимое для других* полагание ценностей как способ существования воли к власти должно совершаться в публичном пространстве, и здесь, кажется, не обойтись без идеи Ницше о центрах господства, устанавливающих ценности и обладающих достаточной властью для того, чтобы заставить считаться с установленными ими ценностями — принимая их в расчет, разделяя их или оказывая им сопротивление. Укротитель стихии политического с ее разделением на публичных «друзей» и «врагов», наверное, как никто другой понимал, что ценность приобретает агрессивность вместе с публичностью ее полагания. Именно тогда, когда ценности выходят в публичное пространство, мы становимся наблюдателями или участниками той безысходной смертельной битвы принявших образ безличных сил богов (Вебер, 1990а: 727), о которой с отмечаемой Шмиттом интеллектуальной честностью пишет Вебер и в которой «не может быть ни релятивизаций, ни компромиссов» (Вебер, 1990б: 565). Однако Вебер пишет об этом как о наблюдаемом факте — это своего рода иллюстрации непримиримости ценностей, но как таковые они не объясняют ни механизмов ранжирования ценностей, ни их меняющийся ранг.

Концепт воли к власти вносит окончательную ясность в отмечаемые Шмиттом в качестве особенностей ценностного мышления *пунктуализм* и *перспективизм*. В мире «есть только пунктуации воли, которые постоянно увеличивают или теряют свою власть» (Ницше, 2005: 393). Свойство воли к власти проставлять точки зрения, т. е. полагать ценности, Ницше называет «необходимым перспективизмом»: «Каждый центр силы имеет по отношению ко всему остальному свою *перспективу*, т. е. свою... оценку», он «конструирует из себя весь остальной мир, т. е.

меряет его своей силой» (Там же: 318, 351). Поскольку «нет никакой другой оценки, кроме основанной на перспективах» (Там же: 165), различные точки зрения, ценности задают различные перспективы, в пределах которых только и доступен носительный мир, предстающий разделенным на противостоящие перспективы: коль скоро бытия нет, то только «перспективность... сообщает миру характер “видимости”» (Там же: 318). В контексте этих идей могут быть поняты и слова Шмитта о слепоте, иногда демонстрируемой в отношении ценностей, — в отсутствие точки зрения нет перспективы зрения (Schmitt, 2011: 50).

В ситуации, когда в послевоенной Германии Ницше считали идейным спонсором нацизма, крестным отцом Третьего рейха (Орбел, 2005: 622, 624), устанавливать связь между ницшеанским концептом воли к власти и актами полагания Конституционным судом новых и дискредитации старых ценностей, было, без сомнения, делом рискованным. Возможно, этим обстоятельством можно объяснить ту прикровенность, с которой Шмитт использует хайдеггеровский анализ Ницше. Вместе с тем именно в контексте идей Ницше наиболее отчетливо выступает смысл тирании ценностей как тирании, осуществляемой не ценностями, а наделенными властью субъектами — действующими от имени ценностей судами, которые непосредственно, без ссылок на нормы права, применяют ценности, зачастую сопровождая такое применение «дискриминацией неценного» (Schmitt, 2011: 25).

### **Неопосредованное нормами права применение ценностей в практике ЕСПЧ**

Неопосредованное нормами права применение ценностей, о котором пишет Шмитт, удобнее всего показать на примере практики ЕСПЧ, в которой степень конфликтности ценностей интенсивна вследствие сохраняющихся различий в ценностных порядках государств — участников Конвенции, а палитра конкурирующих ценностей весьма широка: свобода выражения мнения вступает в конфликт со свободой совести, правом на уважение частной жизни или правом на достоинство, свобода экономической деятельности — со свободой собраний, свобода мысли — со свободой совести *etc.* Вместе с тем наиболее чувствительной остается область, связанная с осуществленным Судом «расширением» понятия семьи, определенного в тексте Конвенции как союз мужчины и женщины (ст. 12). В своей практике Суд выработал определенные инструменты, позволяющие ему преодолевать «узость» формулировок Конвенции, — это прежде всего концепция эволютивного толкования, в рамках которой Конвенция рассматривается как «живой инструмент», что санкционирует ее толкование «в свете условий сегодняшнего дня» (ECtHR. *Tyrer v. the United Kingdom*. 1978. § 31), т. е. на основе полагаемых Судом действующими в текущий момент моральных стандартов. Данная концепция позволяет Суду утверждать, что считавшееся допустимым и нормальным во время разработки Конвенции, впоследствии может оказаться несовме-



стимым с ней (ЕСtHR. *Marckx v. Belgium*. 1979. § 41). К таким эволюционирующим понятиям Суд относит концепцию семьи (ЕСtHR. *Mazurek v. France*. 2000. § 52). На примере практики ЕСПЧ, выработанной им в данной области, непосредственное нормами права применение ценностей, осуществляемое поверх текста Конвенции, сами свойства ценностного мышления, отмечаемые Шмиттом, а также акты *переоценки* Судом *ценностей* могут быть показаны наиболее наглядно.

Долгое время ЕСПЧ отказывался признавать право лиц, изменивших пол, на вступление в брак с лицом их первоначального пола и не усматривал нарушений в отказе национальных властей в регистрации таких браков. Хотя и не без некоторых оговорок, Суд отстаивал ценность традиционной семьи как союза двух лиц противоположного биологического пола (ЕСtHR. *Rees v. the United Kingdom*. 1986. § 49; ЕСtHR. *Sheffield u Horsham v. the United Kingdom*. 1998), считая необходимым использовать биологические критерии при определении пола лица, желающего вступить в брак (ЕСtHR. *Cossey v. the United Kingdom*. 1990. § 40). Однако в 2002 году ЕСПЧ осуществил «переоценку ценностей» и изменил свою позицию, применив инструменты эволютивного толкования для расширения смысла конвенционного понятия брака. Суд объяснил отход от собственных прецедентов *желанием* принять во внимание изменяющиеся обстоятельства и отреагировать на развивающееся в правопорядках участников Конвенции сходство стандартов (ЕСtHR. *Christine Goodwin v. the United Kingdom*. 2002. § 74). Сославшись на изменения в подходах к институту брака со времени принятия Конвенции, т. е. на изменения в системе ценностей, Суд заявил, что он более «не убежден в том, что... все еще можно полагать, что данная формулировка должна относиться к определению пола с помощью чисто биологических критериев» (§ 100), и что он «не видит оправдания попыткам помешать транссексуалу воспользоваться правом на вступление в брак ни при каких условиях» (§ 103).

Следующим шагом в расширении конвенционного понятия брака стало признание ЕСПЧ права на вступление в брак партнеров однополых союзов. Суд допустил, что ст. 12 Конвенции может быть истолкована так, чтобы не исключать брак между двумя мужчинами или двумя женщинами (ЕСtHR. *Schalk and Kopf v. Austria*. 2010. § 55). Отметив «быструю эволюцию общественного отношения к однополым парам» в государствах — участниках Конвенции, т. е. вновь апеллируя к изменениям в системе ценностей, Суд провозгласил, что он «больше не будет считать, что право на вступление в брак... должно при всех обстоятельствах ограничиваться браком между двумя лицами противоположного пола» (§ 61), и что он считает искусственным поддерживать мнение о том, что, в отличие от разнополой пары, однополая пара не может вести семейную жизнь (§ 94), поскольку «однополые пары так же способны, как и разнополые пары, вступать в стабильные, преданные отношения» (§ 94). В последующих решениях Суд неоднократно использовал аргумент к изменениям в системе ценностей: «государство... должно принимать во внимание... изменения в восприятии социальных и гражданских проблем и отношений, включая тот факт, что не существует только одного пути или одного выбора, когда

речь идет о ведении семейной... жизни» (ЕСtHR. *Vallianatos and Others v. Greece*. 2013. § 84; см. также: ЕСtHR. *X and Others v. Austria*. 2013. § 139).

Наконец, в недавнем решении ЕСПЧ установил для всех участников Конвенции позитивное обязательство обеспечить юридическое признание однополым парам (ЕСtHR. *Fedotova and Others v. Russia*. 2023. § 166). В обоснование этого обязательства Суд сослался на *стремление* гарантировать эффективную защиту частной и семейной жизни гомосексуалистов, что, по его мнению, служит ценностям плюрализма, толерантности и широты взглядов (§ 179–180). Данное решение, очевидно, выработывалось в условиях сопротивления ему некоторой части судей ЕСПЧ, о чем свидетельствуют четыре особых мнения. По мнению судьи К. Войтычека, хотя оно и выглядит несколько запоздалым по отношению к уже сложившейся практике эволютивного толкования, Суд действовал *ultra vires* — его полномочия не включают в себя установление новых норм и, соответственно, новых обязательств для государств, а настойчивое подчеркивание Судом тенденции к сближению моральных стандартов участников Конвенции свидетельствует об отсутствии аргументов, основанных на толковании норм, в котором отправной точкой рассуждения всегда является юридический текст и его значение как непреодолимой границы. Судья отмечает, что меры такого масштаба в отношении вопросов, затрагивающих мораль, являются делом национальных законодателей, стремление же Суда продвигать тенденции, которые он считает прогрессивными, не дает ему права использовать судебную власть для агрессивного принуждения к социальным изменениям в договаривающихся государствах.

Признание права на усыновление детей лицами гомосексуальной ориентации произошло значительно раньше признания права однополых партнерств на защиту их семейной жизни. В одном из первых таких дел ЕСПЧ согласился с позицией государства-ответчика, отказавшего лицу гомосексуальной ориентации в усыновлении, отметив, что решение национальных властей преследовало законную цель защиты здоровья и прав детей (ЕСtHR. *Fretté v. France*. 2002. § 38), а обжалуемое в данном деле различие в обращении по признаку сексуальной ориентации не является дискриминационным (§ 43). Однако впоследствии Суд, вновь осуществляя переоценку ценностей, отошел от данного прецедента и признал дискриминацией отказ властей Франции выдать разрешение на усыновление лицу гомосексуальной ориентации, находившемуся в постоянных отношениях со своим партнером (ЕСtHR. *E. B. v. France*. 2008). В данном деле, как и в последующей практике, конкурирующее право ребенка уже не принималось во внимание, что, возможно, находит объяснение в том, что «для воплощения в жизнь наивысшей ценности никакая цена не может быть слишком высокой» (Schmitt, 2011: 51).

Последовательно борясь с различием в обращении по признаку сексуальной ориентации, ЕСПЧ фактически санкционировал дискриминацию по признаку предубеждения к гомосексуальным партнерствам. Так, Суд не усмотрел признаков дискриминации по признаку религиозных убеждений в решении работодателя уволить работника, которая, ссылаясь на свои убеждения, отказалась в качестве

должностного лица службы регистрации актов гражданского состояния регистрировать однополые гражданские союзы. Суд не предпринял попытки оценить соразмерность вмешательства в право на свободу совести и заключил, что политика местных властей была направлена на обеспечение прав других лиц, также защищаемых Конвенцией (ECtHR. *Eweida and Others v. the United Kingdom*. 2013. § 105–106).

Практика ЕСПЧ демонстрирует избирательность подходов Суда в оценке пропорциональности вмешательства государства в реализацию того или иного права, связанного со свободой сексуального самоопределения. Так, ЕСПЧ признал нарушением Конвенции запрет властей Москвы на проведение парадов представителями сексуальных меньшинств, мотивировав данное решение в том числе тем, что подобные мероприятия стимулируют публичную дискуссию по сложным вопросам, и такие дебаты пойдут на пользу социальной сплоченности (ECtHR. *Alekseyev v. Russia*. 2010. § 86). Сославшись на предыдущие правовые позиции, Суд указал, что любые меры, связанные с вмешательством в право на свободу собраний и выражения мнения — какими бы шокирующими и неприемлемыми ни казались отдельные взгляды или высказывания — ставят демократию под угрозу (§ 80).

Однако спустя два года ЕСПЧ поддержал государство-ответчика, привлекшего заявителей к уголовной ответственности за распространение среди школьников листовок о вреде гомосексуализма, что, как пояснили заявители, было сделано с целью инициировать общественную дискуссию. Европейский суд посчитал сведения, содержащиеся в листовках, «вредоносными утверждениями» (ECtHR. *Vejdeland and Others v. Sweden*. 2012. § 54), а также принял во внимание «впечатлительный и чувствительный возраст» детей — адресатов этой информации (§ 56). Суд признал вмешательство властей Швеции в свободу выражения мнения заявителей соразмерным, согласившись с позиций национальных судов о том, что содержание листовок было неоправданно оскорбительным. При этом ЕСПЧ не использовал аргументы, прозвучавшие в деле *Alekseyev v. Russia*, о необходимости честной публичной дискуссии даже в условиях высказывания шокирующих и неприемлемых взглядов. В особых мнениях по данному делу одни судьи сожалели о том, что Суд упустил возможность выработать консолидированный подход к «гомофобному языку вражды» как «разновидности речи ненависти», другие — вынуждены были признать, что «люди, включая судей, предрасположены клеймить позиции, с которыми они не согласны».

В связи с данными кейсами находится дело, в котором заявители, привлеченные к административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, оспаривали дискриминационный характер законодательного запрета такой пропаганды. Европейский суд, признав в действиях национальных властей нарушение Конвенции, с одной стороны, использовал забытый в предыдущем деле аргумент о необходимости широкой общественной дискуссии (ECtHR. *Bayev and Others v. Russia*. 2017. § 77), допускающей высказывание шокирующих и неприемлемых взглядов, а с дру-

гой — забыл об использованном в деле против Швеции аргументе о впечатлительном возрасте детей, для которых предназначались идеи многообразия. Он пришел к выводу, что российское законодательство в той степени, в какой оно «утверждает неполноценность отношений между лицами одного пола по сравнению с отношениями между лицами противоположного пола» (§ 90), укрепляет стереотипы и предрассудки и поощряет гомофобию (§ 83), поэтому необходимо защитить детей не от пропаганды гомосексуализма, а от проявлений гомофобии (§ 82). В данном деле ЕСПЧ не предпринимает попытки «взвесить» конкурирующие со свободой выражения мнения права детей и их родителей, но прямолинейно утверждает исключительную ценность однополых отношений, ограничение информации о которых не может иметь оправдания в свете любых иных ценностей. Суд последовательно нивелирует заявляемые национальными властями, в качестве обоснования ограничений, ценности традиционной семьи, религиозных убеждений родителей, интересов ребенка, здоровья, общественной морали *etc.*

Данное решение ЕСПЧ примечательно тем, что Суд использует в нем тот самый язык вражды, который он счел неприемлемым в деле *Vejdeland and Others v. Sweden*, словно забыв собственный тезис о том, что Конвенция не гарантирует человеку, в том числе и судье, права изолировать себя от мнений, которые противоречат его собственным убеждениям, а защищаемая Судом толерантность обязывает к терпимости по отношению к противоположным взглядам также и его самого. В этом решении ЕСПЧ сопровождает защиту прав лиц, принадлежащих к сексуальным меньшинствам, моральной дискредитацией лиц, разделяющих оппозиционные Суду ценности, как нетолерантных носителей гендерных стереотипов и предрассудков, гомофобов, практикующих предвзятое отношение к гомосексуальному меньшинству (§ 91). Здесь Суд использует указываемый Шмиттом прием ценностного мышления — дисквалификацию оппонентов как слепых по отношению к ценностям (Schmitt, 2011: 50).

Во всех этих делах мы сталкиваемся с ситуацией исчезновения «нейтралистских иллюзий», когда, казалось бы, безграничные толерантность и нейтралитет меняются на свою противоположность — на вражду, как только ситуация с осуществлением прав становится предельно серьезной (Schmitt, 2011: 46–47). Кто же теперь здесь определяет ценности? — спрашивает Шмитт. Суд становится тем субъектом, кто оценивает и переоценивает, т. е. обесценивает старые и полагает новые ценности, погружая нас в иррациональное царство ценностей, где «то, что для одного является дьяволом, будет для другого богом» (Schmitt, 2011: 39):

— где можно, реализуя свободу выражения мнения, знакомить девятилетних детей с ценностями однополых отношений, не принимая во внимание их впечатлительный возраст и право родителей воспитывать детей в соответствии со своими убеждениями (ECtHR. *Macate v. Lithuania*. 2023), но нельзя размещать распятие в школьных классах, потому что в силу впечатлительного возраста дети

не обладают способностью к критическому мышлению, чтобы дистанцироваться от этого послания, а родители должны иметь право воспитывать детей в соответствии со своими убеждениями (ЕСtHR. *Lautsi and Others v. Italy* [Second Section]. 2009. § 50)<sup>7</sup>;

— отсылка к христианскому празднику в рекламе презервативов и изображение Христа в рекламе одежды признаются допустимыми способами реализации свободы выражения мнения, способствующими общественной дискуссии, поскольку Конвенция не защищает носителей религиозных убеждений от столкновения с шокирующими и оскорбляющими их идеями (ЕСtHR. *Gachechiladze v. Georgia*. 2021. § 49, 55; ЕСtHR. *Sekmadienis Ltd. v. Lithuania*. 2018. § 81), однако допустимо ограничить свободу выражения мнения и подвергнуть уголовному наказанию за разжигание ненависти к сексуальным меньшинствам лиц, распространявших среди детей листовки о вреде однополых отношений, что является шокирующим настолько, что превосходит практикуемые ЕСПЧ стандарты толерантности.

Все это, мог бы резюмировать Шмитт, показывает только путаное замешательство всей ценностной аргументации, которая постоянно подбрасывает новые соотношения и точки зрения и всегда оказывается способной упрекнуть оппонента в том, что он не видит очевидных ценностей (Schmitt, 2011: 50). Во всех приведенных случаях Суд определяет ценность акта поведения не путем его соотнесения с юридически действительными нормами, а волюнтаристски — в зависимости от степени соответствия акта поведения предмету его собственных этических устремлений, воли и желания — полагаемой им ценности. Подобные примеры непосредственного нормами применения ценностей мы можем найти и в практике конституционных судов. И дело здесь не в содержании устанавливаемых судами ценностей — «хороших» или «плохих», а в самой логике ценностного мышления, диктующей агрессивный подход как к защите разделяемых судами моральных стандартов, так и к дискредитации оппозиционных ценностей (не-ценностей) и их носителей.

## Заключение

Эссе Шмитта с разной степенью очевидности указывает, по крайней мере, на три последствия ценностного поворота в правосудии — методологическое, политико-институциональное, этическое. В методологическом аспекте ценности, в той степени, в какой они принадлежат сфере политического, представляют собой, если использовать термин Шмитта, «неюстициабельную материю» (Шмитт, 2013а: 55) — их можно только устанавливать, продвигать, взвешивать или дискредитировать, зачастую дискредитируя и их носителей. Ценностный дискурс в правосудии рискует быть проявлением волюнтаризма, устраняющего авторитетный текст и саму возможность и необходимость его толкования, и оставляет судьбу

---

7. В 2011 г. Большая Палата ЕСПЧ приняла по данному делу противоположное решение.

наедине с неюстициабельными ценностями, за которыми уже не видно прав, но виден только «враг» или «друг». В политико-институциональном аспекте, в той степени, в какой суд вместо законодателя устанавливает ценности в форме не подлежащих обжалованию решений, он становится новым сувереном, а границы между правом и политикой, с таким трудом возведенные классической европейской философско-правовой традицией, стираются, а вместе с ними исчезает и автономия права. В этическом плане — в той степени, в какой суд, осознавая себя «совестью» сообществ, вменяет моральную оценку в качестве правовой обязанности — он становится субъектом, осуществляющим моральный выбор за человека, пренебрегая предназначением права хранить свободу его морального самоопределения.

Судья, сознавая себя пионером определенной ценности, вместе с тем становится пионером сил, властей, целей и интересов (Schmitt, 2011: 11). Обращенный к судьям призыв Шмитта — обдумать происхождение и структуру ценностей, прежде чем стать их непосредственными исполнителями — дает основание предположить, что избавление от «тирании ценностей» он видел не столько в законодателе — единственном субъекте, кто уполномочен устанавливать ценности, опосредуя их предсказуемыми и исполнимыми правилами закона (Schmitt, 2011: 54), сколько в личном — этическом и профессиональном — выборе судьи, отказавшегося от роли благовествующего пророка и избирающего альтернативную логику ценностей стратегию толкования конституции и Конвенции.

## Литература

- Альчуррон К. Э., Булыгин Е. В. (2013). Нормативные системы // Лисанюк Е. Н. (ред.). «Нормативные системы» и другие работы по философии права и логике норм. СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та. С. 44–210.
- Белов С. А. (2014). Пределы универсальности конституционализма: влияние национальных ценностей на практику принятия решений конституционными судами // Сравнительное конституционное обозрение. Т. 23. № 4. С. 37–56.
- Бондарь Н. С. (2014). Аксиология судебного конституционализма: конституционные ценности в теории и практике конституционного правосудия. 2-е изд., доп. М.: Юрист.
- Булыгин Е. В. (2016). Понятие действительности / Пер. с нем. М. В. Антонова // Булыгин Е. В. Избранные работы по теории и философии права / Под науч. ред. М. В. Антонова, Е. Н. Лисанюк, С. И. Максимова. СПб.: Алеф-Пресс. С. 273–293.
- Вебер М. (1990а). Наука как призвание и профессия // Вебер М. Избранные произведения / Пер. с нем., сост., общ. ред. и послесл. Ю. Н. Давыдова. М.: Прогресс. С. 707–735.
- Вебер М. (1990б). Смысл «свободы от оценки» в социологической и экономической науке // Вебер М. Избранные произведения / Пер. с нем., сост., общ. ред. и послесл. Ю. Н. Давыдова. М.: Прогресс. С. 547–601.

- Гаджиев Г. А. (2013). *Онтология права: критическое исследование юридического концепта действительности*. М.: Норма.
- Гаджиев Г. А., Войниканис Е. А. (2021). *Балансирование ценностей и ценность балансирования (часть вторая)* // *Вопросы философии*. 2021. № 10. С. 53–64.
- Гартман Н. (2002). *Этика* / Пер. с нем. А. Б. Глаголева. СПб.: Владимир Даль.
- Кельзен Г. (2015). *Чистое учение о праве*. 2-е изд. / Пер. с нем. М. В. Антонова и С. В. Лёзова. СПб.: Алеф-Пресс.
- Мальманн М. (2008). *Теория ценностей и практика конституционного правосудия* // *Сравнительное конституционное обозрение*. № 6 (67). С. 76–80.
- Ницше Ф. (2005). *Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей* / Пер. с нем. Е. Герцык и др. М.: Культурная революция.
- Нуссбергер А. (2020). *Европа, твои права человека* // *Международное правосудие*. № 3 (35). С. 3–19.
- Нуссбергер А. (2019). *Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод — Конституция для Европы?* // *Международное правосудие*. № 2 (30). С. 3–19.
- Нуссбергер А. (2016). *Независимость судебной власти и верховенство права в практике Европейского суда по правам человека* // *Сравнительное конституционное обозрение*. № 2 (111). С. 142–151.
- Орбел Н. (2005). *Ессе liber: опыт ницшеанской апологии* // *Ницше Ф. Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей* / Пер. с нем. Е. Герцык и др. М.: Культурная революция. С. 569–734.
- Хайдеггер М. (2006). *Ницше* / Пер. с нем. А. П. Шурбелева. Т. 1. СПб.: Владимир Даль.
- Хайдеггер М. (2007). *Ницше* / Пер. с нем. А. П. Шурбелева. Т. 2. СПб.: Владимир Даль.
- Хайдеггер М. (1990). *Слова Ницше «Бог мертв»* / Пер. с нем. А. В. Михайлова // *Вопросы философии*. № 7. С. 143–176.
- Шайо А. (2008). *Конституционные ценности в теории и судебной практике: введение* // *Сравнительное конституционное обозрение*. 2008. № 4 (65).
- Шмитт К. (2013а). *Гарант Конституции* // *Шмитт К. Государство: Право и политика* / Пер. с нем. и вступ. ст. О. В. Кильдюшова; сост. В. В. Анашвили, О. В. Кильдюшов. М.: Территория будущего. С. 27–220.
- Шмитт К. (2013б). *Легальность и легитимность* // *Шмитт К. Государство: Право и политика* / Пер. с нем. и вступ. ст. О. В. Кильдюшова; сост. В. В. Анашвили, О. В. Кильдюшов. М.: Территория будущего. С. 221–305.
- Alexy R. (2002). *Theory of Constitutional Rights*. Oxford: Oxford University Press.
- Aydın C. (2008). *The Struggle Between Ideals: Nietzsche, Schmitt and Lefort on the Politics of the Future* // *Siemens H. W., Roodt V. (eds.). Nietzsche, Power and Politics: Rethinking Nietzsche's Legacy for Political Thought*. Berlin, New York: De Gruyter. P. 801–816.
- Castrucci E. (1999). *Genealogie della potenza costituente. Schmitt, Nietzsche, Spinoza* // *Filosofia Politica*. Vol. XIII, № 2. P. 245–251.

- Galli C.* (2014). Nichilismi a confronto: Nietzsche e Schmitt // *Filosofia Politica*. № 1. P. 99–120.
- Gluth S. A.* (2018). Carl Schmitt und Friedrich Nietzsche: Eine weitere Nietzsche-Lektüre der Konservativen Revolution? // *Kaufmann S., Sommer A. U.* (eds.). *Nietzsche und Die Konservative Revolution*. Berlin, Boston: De Gruyter. P. 331–342.
- Graham S.* (2011). *Friendship and the Political: Kierkegaard, Nietzsche, Schmitt*. Imprint Academic.
- Habermas J.* (1996). *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy* / transl. by W. Rehg. Cambridge: The MIT Press.
- McCormick J.* (1997). *Carl Schmitt's Critique of Liberalism: Against Politics as Technology*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lobo I. E.* (2022) Liberalismo: um confronto entre Nietzsche e Schmitt // *Revista Brasileira de Ciência Política*. № 37. P. 1–32.
- Schmitt C.* (2011). *Die Tyrannei der Werte*. Berlin: Duncker & Humblot.
- Schmitt C.* (2018). *Tagebücher 1925 bis 1929* / hrsg. M. Tielke, G. Giesler. Berlin: Duncker & Humblot.
- Schorkopf F.* (2020). Value Constitutionalism in the European Union // *German Law Journal*. Vol. 21. P. 956–967.
- Weber M.* (1922). *Kritische Studien auf dem Gebiet der kulturwissenschaftlichen Logik* // Weber M. *Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre*. Tübingen: Mohr. P. 215–290.
- Zhavoronkov A.* (2018). Nietzsches Idee der Gemeinschaft zwischen Liberalismus und Konservativer Revolution: Helmuth Plessner contra Carl Schmitt // *Kaufmann S., Sommer A. U.* (eds.). *Nietzsche und die Konservative Revolution*. Berlin, Boston: De Gruyter. P. 343–362.

## The “Tyranny of Values” as the “Will to Power”: on the Genealogy and Effects of Value Discourse in Justice

*Elena Timoshina*

Doctor in Law; Professor, Department of Theory and History of State and Law, Saint Petersburg State University  
Address: 7–9, Universitetskaya nab., St. Petersburg, 199034, Russia  
E-mail: e.timoshina@spbu.ru

K. Schmitt's essay “The Tyranny of Values” helps to clarify the genealogy and effects of the value turn in justice. The first part of the article explains the differences between the traditional judicial method, which operates with norms and the way judges deal with values. It is noted that judges' methods of dealing with values are hermetic and irrational. The second part substantiates that the main object of Schmitt's criticism was F. Nietzsche's metaphysics of values in the analysis of which he follows M. Heidegger. Schmitt notes such a property of values as their subjective significance, as well as the interrelated punctuality and perspectivism of value thinking conditioning its aggressiveness. He omits the reference to the connection of value thinking with the Nietzschean concept of the will to power, but the assumption of such a connection is necessary to explain the



aggressiveness of the logic of values. In the third part, several cases from case law of the European Court of Human Rights are presented. It is shown that the Court determines the value of an act of behavior not by correlating it with legally valid norms, but voluntarily. It is this mode of the judicial resolution of cases that Schmitt called the terror of the automatic realization of values unmediated by norms. In conclusion, it is noted that Schmitt's essay points with varying degrees of clarity to the three implications of value discourse in justice, those of the methodological, political-institutional, and ethical.

*Keywords:* values, justice, human rights, European Court of Human Rights, C. Schmitt, F. Nietzsche

## References

- Alchourrón C. E., Bulygin E. (2013) Normativnye sistemy [Normative Systems]. "*Normativnye sistemy" i drugie raboty po filosofii prava i logike norm* ["Normative Systems" and Other Works in Philosophy of Law and Logic of Norms] (ed. E. N. Lisanjuk), St. Petersburg: St. Petersburg University Publishing, pp. 44–210.
- Alexy R. (2002) *Theory of Constitutional Rights*, Oxford: Oxford University Press.
- Aydin C. (2008) The Struggle Between Ideals: Nietzsche, Schmitt and Lefort on the Politics of the Future. *Nietzsche, Power and Politics: Rethinking Nietzsche's Legacy for Political Thought* (eds. H. W. Siemens, V. Roodt), Berlin, New York: De Gruyter, pp. 801–816.
- Belov S. (2014) Predely universal'nosti konstitucionalizma: vlijanie nacional'nyh cennostej na praktiku prinjatija reshenij konstitucionnymi sudami [The Limits of Universality in Modern Constitutionalism: the Influence of National Values on Judicial Practice in Constitutional Cases]. *Comparative Constitutional Review*, vol. 23, no. 4, pp. 37–56.
- Bondar' N. S. (2014) *Aksiologija sudebnogo konstitucionalizma: konstitucionnye cennosti v teorii i praktike konstitucionnogo pravosudija* [Axiology of Judicial Constitutionalism: Constitutional Values in the Theory and Practice of Constitutional Law], Moscow: Jurist.
- Bulygin E. (2016) Ponjatije dejstvennosti [The Concept of Efficacy]. Bulygin E. *Izbrannye raboty po teorii i filosofii prava* [Selected Works in Theory and Philosophy of Law] (eds. M. V. Antonov, E. N. Lisanjuk, S. I. Maksimov), St. Petersburg: Alef Press, pp. 273–293.
- Castrucci E. (1999) Genealogie della potenza costituente. Schmitt, Nietzsche, Spinoza. *Filosofia Politica*, vol. XIII, no 2, pp. 245–251.
- Gadzhiev G. A. (2013) *Ontologija prava: kriticheskoe issledovanie juridicheskogo koncepta dejstvitel'nosti* [Ontology of Law: Critical Study of Legal Concept of Validity], Moscow: Norma.
- Gadzhiev G. A., Voinikanis E. A. (2021) Balansirovanie cennostej i cennost' balansirovanija (chast' vtoraja) [Balancing of Values and the Value of Balancing (Part Two)]. *Voprosy filosofii*, vol. 10, pp. 53–64.
- Galli C. (2014) Nichilismi a confronto: Nietzsche e Schmitt. *Filosofia Politica*, no 1, pp. 99–120.
- Gluth S. A. (2018) Carl Schmitt und Friedrich Nietzsche: Eine weitere Nietzsche-Lektüre der Konservativen Revolution? *Nietzsche und Die Konservative Revolution* (eds. S. Kaufmann, A. U. Sommer), Berlin, Boston: De Gruyter. P. 331–342.
- Graham S. (2011) Friendship and the Political: Kierkegaard, Nietzsche, Schmitt. Imprint Academic.
- Habermas J. (1996) *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy* (transl. by W. Rehg), Cambridge: The MIT Press.
- Hartmann N. (2002) *Etika* [Ethik]. Saint Petersburg: Vladimir Dal'.
- Heidegger M. (2006) *Nietzsche*, vol. 1, St. Petersburg: Vladimir Dal'.
- Heidegger M. (2007) *Nietzsche*, vol. 2, St. Petersburg: Vladimir Dal'.
- Heidegger M. (1990) Slova Nietzsche "Bog mertv" [The Word of Nietzsche: "God Is Dead"]. *Voprosy filosofii*, vol. 7, pp. 143–176.
- Kelsen H. (2015) *Chistoe uchenie o prave* [Pure Theory of Law], St. Petersburg: Alef-Press.
- McCormick J. (1997) *Carl Schmitt's Critique of Liberalism: Against Politics as Technology*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Mahlmann M. (2008) Teorija cennostej i praktika konstitucionnogo pravosudija [Value Theory and the Practice of Constitutional Adjudication]. *Comparative Constitutional Review*, no 6 (67), pp. 76–80.

- Lobo I. E. (2022) Liberalismo: um confronto entre Nietzsche e Schmitt. *Revista Brasileira de Ciência Política*, no 37, pp. 1–32.
- Nietzsche F. (2005) *Volja k vlasti. Opyt pereocenki vseh cennostej* [The Will to Power. An Attempted Transvaluation of All Values], Moscow: Kul'turnaja Revoljucija.
- Nussberger A. (2020) Evropa, tvoji prava cheloveka [Europe, Your Human Rights]. *Mezhdunarodnoe pravosudie [International Justice]*, vol. 10, no 3, pp. 3–19.
- Nussberger A. (2019) Evropejskaya Konventsija o zashchite prav cheloveka i osnovnykh svobod — Konstitutsija dlya Evropy? [The European Convention for Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms — a Constitution for Europe?]. *Mezhdunarodnoe pravosudie [International Justice]*, vol. 9, no 2, pp. 3–19.
- Nussberger A. (2016) Nezavisimost' sudebnoy vlasti i verkhovenstvo prava v praktike Evropejskogo Suda po pravam cheloveka [Independence of the Judiciary and Rule of Law in the Jurisprudence of the European Court of Human Rights]. *Comparative Constitutional Review*, no 2, pp. 142–151.
- Orbel N. (2005) Ecce liber: opyt nicsheanskoj apologii [Ecce liber: An Attempt of Nietzschean Apology]. *Nietzsche F. Volja k vlasti. Opyt pereocenki vseh cennostej* [The Will to Power. An Attempted Transvaluation of All Values], Moscow: Kul'turnaja Revoljucija. C. 569–734.
- Sajó A. (2008) Konstitucionnye cennosti v teorii i sudebnoj praktike: vvedenie [Constitutional Values in Theory and Judicial Practice: Introduction]. *Comparative Constitutional Review*, no 4 (65), pp. 4–6.
- Schmitt C. (2013a) Garant Konstitucii [The Guardian of the Constitution]. *Schmitt C. Gosudarstvo: Pravo i politika* [The State: Law and Politics], (eds. V. V. Anashvili, O. V. Kil'djushov), Moscow: Territorija budushhego, pp. 27–220.
- Schmitt C. (2013b) Legal'nost' i legitimost' [Legality and Legitimacy]. *Schmitt C. Gosudarstvo: Pravo i politika* [The State: Law and Politics], (eds. V. V. Anashvili, O. V. Kil'djushov), Moscow: Territorija budushhego, pp. C. 221–305.
- Schmitt C. (2011) *Die Tyrannei der Werte*, Berlin: Duncker & Humblot
- Schmitt C. (2018) *Tagebücher 1925 bis 1929* (hrsg. M. Tielke, G. Giesler), Berlin: Duncker & Humblot.
- Schorkopf F. (2020) Value Constitutionalism in the European Union. *German Law Journal*, vol. 21, pp. 956–967.
- Weber M. (1922). Kritische Studien auf dem Gebiet der kulturwissenschaftlichen Logik. *Weber M. Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre*, Tübingen: Mohr, pp. 215–290.
- Weber M. (1990a) Nauka kak prizvanie i professija [Science as a Vocation and Profession]. *Weber M. Izbrannye proizvedenija* [Selected Writings] (ed. J. N. Davydov), Moscow: Progress, pp. 727–735.
- Weber M. (1990b) Smysl "svobody ot ochenki" v sociologicheskoi i jekonomicheskoi nauke [The Meaning of "Wertfreiheit" in Economic and Social Sciences]. *Weber M. Izbrannye proizvedenija* [Selected Writings] (ed. J. N. Davydov), Moscow: Progress, pp. 547–601.
- Zhavoronkov A. (2018) Nietzsches Idee der Gemeinschaft zwischen Liberalismus und Konservativer Revolution: Helmuth Plessner contra Carl Schmitt. *Nietzsche und Die Konservative Revolution* (eds. S. Kaufmann, A. U. Sommer), Berlin, Boston: De Gruyter. P. 343–362.

## Война во время любви: размышление над статьей С. И. Каспэ в свете различения частной и публичной вражды в учении Карла Шмитта\*

Владимир Бродский

M. A. in Philosophy (Leiden University, the Netherlands), старший преподаватель ИОН РАНХиГС при Президенте РФ и факультета социальных наук МВШСЭН.

Адрес: пр-т Вернадского, д. 82, Москва, 119571

E-mail: brodskiy-vi@ranepa.ru

Статья развивает дискуссию, инициированную профессором С. И. Каспэ как автором работы «Любовь во время войны». Против автономии политического» (Каспэ, 2023). В тексте формулируется предполагаемый ответ Карла Шмитта на предложение С. И. Каспэ деавтономизировать политическое путем создания возможности для частичного подчинения политических отношений христианской заповеди, указывающей на необходимость любви к врагам (Мф. 5:44). Отмечается, что, согласно Шмитту, данное предписание актуально лишь для частной вражды, представляющей собой иной континуум по отношению к реализующей политической антагонизм публичной вражде. Любовь, обращенная к частному врагу, вполне приемлема для Шмитта. В условиях внешней напряженности она может способствовать временному забвению межличностных конфликтов, укрепляя политическое единство, что полностью соответствует логике шмиттовского учения. Обращение Карла Шмитта к платоновскому описанию *stasis* как к иллюстрации частной вражды анализируется на предмет возможных противоречий. Утверждается, что ни одна из форм *stasis* (гражданская война, мятеж) не обнаруживает конфронтации с *inimicus* — частным врагом. Ставится вопрос о допустимости любви в устанавливаемых Шмиттом условиях полноценной внешней войны как апогея политической вражды. Ответ учитывает особенности различных форм войны. Ряд современных военных тенденций рассматривается в качестве условий, существенно сужающих пространство для любви.

*Ключевые слова:* Карл Шмитт, война, любовь, *stasis*, *polemos*, частная вражда, публичная вражда

Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви.

(Граффити Дмитрия Врубеля на фрагменте Берлинской стены)

Первая половина 2023 года ознаменована публикацией важного и актуального текста — статьи профессора С. И. Каспэ «Любовь во время войны». Против автономии политического» (Каспэ, 2023). Данная работа заслуживает самого пристального внимания читателя, представляя собой редкое сочетание точной

---

\* Статья подготовлена в рамках гранта, предоставленного Министерством науки и высшего образования Российской Федерации (№ соглашения о предоставлении гранта: 075-15-2022-326). Автор выражает огромную благодарность своему другу и коллеге Станиславу Топоркову за ценную критику во время подготовки статьи. Без своевременных комментариев Станислава рассмотрение взяло бы ложный след. Также автор искренне благодарит уважаемого коллегу В. В. Башкова за содержательные рекомендации, позволившие повысить качество текста.

историко-философской реконструкции важного интеллектуального феномена (автономизации политического) и его глубокой проблематизации, учитывающей вызовы эпохи. Попытка Каспэ найти выход из кризиса, в котором, с его точки зрения, пребывает современная политическая мысль, при помощи обращения к теме любви — интригующее решение, объединяющее в себе свежесть подхода<sup>2</sup> и верность классическим философским традициям. К слову, первое в истории философии фундаментальное осмысление любви изложено в великом диалоге Платона «Пир», где, в частности, указывается на то, что подлинная любовь (персонифицированная «демоном» Эротом) неизбежно обращена к мудрости (Платон, 1922: 51). Автор этих строк обязан любовью к мудрости своим учителям, важное место среди которых занимает С. И. Каспэ.

«Любовь во время войны» — не только содержательное высказывание, но и приглашение к дискуссии. Данная работа представляет собой первый и весьма скромный шаг на этом пути. Реагируя на аргумент Каспэ, автор делает попытку предположить, как на него мог бы ответить один из главных (анти)героев «Любови во время войны» — немецкий мыслитель Карл Шмитт. Впоследствии наиболее острые вопросы, звучащие здесь, задаются именно Шмитту в связи с возможными противоречиями, присущими фрагменту «Понятия политического» (Шмитт, 2016а), вокруг которого выстраивается линия защиты.

Выбор Каспэ в пользу обращения к наследию Шмитта абсолютно справедлив — именно шмиттовское учение представляет собой наиболее известную попытку осмыслить политическое в качестве самостоятельной области человеческого существования, обладающей собственной внутренней логикой. Смыслообразующим механизмом понятия политического в контексте учения Шмитта становится различие коллективного друга и врага, требующее *готовности умереть и убивать*. Это требование объясняется тем, что политическая вражда (в отличие от прочих форм группового антагонизма) допускает реальную возможность вооруженного столкновения, физического убийства на поле боя (Шмитт, 2016а: 310, 321, 326). Каспэ полагает, что относительная открытость политического внеш-

---

2. Один из наиболее пронизательных политических мыслителей XX века — Лео Штраус — полагает, что основателем *современной* политической философии является Макиавелли (Штраус, 2000: 37), а продолжателем его начинаний, закрепившим успех новой политической парадигмы, — Томас Гоббс (Там же: 43–44). Со Штраусом невозможно не согласиться — современная политическая теория в значительной степени говорит на языках этих мыслителей. Вопрос о степени имморализма учений двух указанных фигур является открытым и заслуживающим отдельного рассмотрения, однако исходя из задач, стоящих перед настоящей работой, достаточно будет упомянуть, что в учении Макиавелли краеугольным камнем политического является *жажда славы* (Там же: 39). Что касается Гоббса, то Штраус видит стержнем его политической концепции саму *власть* (Там же: 44). Этот статус также приписывается *страху насильственной смерти*, желанию человека максимально продлить земное существование (Бродский, 2022: 81; Филиппов, 2006: 25–32). В любом случае, система координат современной политической мысли задана таким образом, что христианская любовь на первый взгляд едва ли может играть в ней какую-либо значимую роль. Здесь будет достаточно упомянуть тезис, способный, с точки зрения Штрауса, дать емкую характеристику подходу Макиавелли: «Иисус проиграл, потому что был распят» (Штраус, 2000: 41). На этом фоне предложения Каспэ действительно содержат в себе новаторство, несмотря на обращение к *вечной* теме любви.

ним *не*-политическим мотивам, а конкретно — черпающему свое идейное содержание в христианстве мотиву любви — способна сделать связь войны и политики менее *необходимой*. Данная работа углубляется в напряжение, возникающее между шмиттовским подходом к политическому и требованиями, продиктованными мотивами любви; исследует возможность любви в рамках созданной Шмиттом системы координат, в особенности в контексте различных форм вражды (частная и публичная) и войны (дискриминационная и недискриминационная).

Основной блок работы поделен на четыре части. В первом разделе изложена краткая реконструкция основных положений статьи Каспэ, сопровождающаяся краткими комментариями автора. Во второй части формулируется предполагаемый ответ Шмитта, выстраиваемый вокруг различения частного и публичного врага. Далее, в третьей части, ставятся вопросы о том, насколько справедливым является обращение Шмитта к *stasis* (внутренней распри или гражданской войне) как к примеру частной вражды, и о том, возможна ли любовь в рамках подобного противостояния. В этом рассуждении автор развивает критические начинания Жака Деррида (Derrida, 2005), опирается на важные этимологические замечания, сделанные Димитрисом Вардулакисом (Vardoulakis, 2009), подчеркивает контраст между подходами Карла Шмитта и Джорджо Агамбена (Агамбен, 2021). В данном разделе ранний Шмитт (как автор проблемного фрагмента «Понятия политического» (Шмитт, 2016a)) сталкивается автором с поздним Шмиттом (как автором «Теории партизана» (Шмитт, 2007)). В четвертой части исследуется возможность любви в условиях внешней войны. В этом контексте Шмитт интересен автору прежде всего как автор «Номоса земли» (Шмитт, 2008).

## I

Работа Каспэ содержит подробный экскурс в историю политической теории и практики, призванный продемонстрировать, что шмиттовское определение политического как сферы различения коллективного друга и врага (где враг — это общность-антагонист, в отношении которой допускается возможность физического уничтожения) не является внезапным философским открытием Шмитта, а скорее подводит черту под многовековой традицией. Источник большинства определяющих политических смыслов — античный полис — «сообщество воинов *par excellence*» (Каспэ, 2023: 17)<sup>3</sup>. С этим определением сложно не согласиться — все рассуждения Ханны Арендт о насилии как о до-полисном феномене, тотальной альтернативой которому является полисное убеждение (Арендт, 2017: 39), актуальны в рамках осмысления *внутренней* политической культуры полиса. Противопоставляя греческую свободу восточной деспотии, Арендт не уделяет должного внимания тому, что первую приходилось *с оружием в руках* защищать от последней. Средневековый подход, возводящий в ранг главной политической ценности мир, не пре-

3. Отмечается, что в полисе возникает «тождество гражданина и солдата, локализирующее в одном и том же человеке как политические, так и военные функции» (Manicas, 1982: 681).

одолевает крепнущую связь политического с войной, а фокусируется на обратной стороне все той же логики. Если смысл политического действия состоит в создании или сохранении мира на фоне преодоления или пресечения войны, то последняя сохраняет себя в роли источника политических смыслов. К тому же, как справедливо замечает Каспэ (озвучивая один из важнейших тезисов статьи): *мир делается из войны*, иной предтечи у него нет (Каспэ, 2023: 17). Эта опробованная греками механика ложится в основу одного из главных политико-философских проектов Нового времени — «Левиафана» Томаса Гоббса, в рамках которого гражданское состояние, по мере возможностей воплощающее в себе ценности мира и безопасности, имеет смысл лишь на фоне угроз войны всех против всех и покупается ценой войны суверенов, остающихся в парадигме естественного состояния (Гоббс, 1991: 167). Суверен *делает мир из войны* (Каспэ, 2023: 22) и оберегает его, отвечая на военные вызовы. Важным элементом работы Каспэ является указание на то, что элементы гоббсовской модели просматриваются в политическом проекте Иммануила Канта — одного из главных вдохновителей идеи автономии политического. Политическое образование мыслится Кантом как цельная самоидентифицирующаяся личность, на фоне чего «...коллективная автономия уподобляется индивидуальной, делается неотличимой от полного и безоговорочного суверенитета, обладатель которого весьма смахивает на Левиафана со знаменитой гравюры, только отчего-то высоконравственного» (Там же: 30). По мысли Канта, подобные коллективные личности способны эффективно взаимодействовать друг с другом на рациональных началах в рамках единого политического пространства. Сторонние (и потенциально диссоциирующие) факторы, такие как различия в языках и религиях, должны уйти в тень на фоне общего стремления к миру, продиктованного политическим рацио каждой коллективной личности (Кант, 2019: 281–282). Все вышеперечисленное — предпосылки ожидаемого Кантом вечного мира, которого человечество, разумеется, не увидело и не увидит. Сохраняется лишь тенденция к осмыслению политического в качестве особого пространства, в рамках которого политические субъекты взаимодействуют друг с другом, руководствуясь специфически политическими мотивами. Подобный подход сопровождается стремлением *нейтрализовать* и *обезвредить* политическое: строго ограничить его юрисдикцию, зафиксировать установку на вынесение сторонних факторов за скобки политических отношений.

Тем не менее, как справедливо замечает Каспэ, «попытка изолирующей секьюритизации политического не то чтобы совсем провалилась, но далеко не оправдала ожиданий. Более того, она обернулась откатом — интенсивное действие, как и положено, повлекло за собой противодействие» (Каспэ, 2023: 33).

Апогеем этой обратной тенденции становится учение Шмитта: оно подменяет «кантовскую дистиллированную рациональность» (Там же: 29) государства не чуждой иррационализму политической *экзистенцией*<sup>4</sup> и объявляет вражду — потен-

---

4. Одной из наиболее известных работ, посвященных связи учения Шмитта с иррационалистическими философскими традициями, является статья Ричарда Волина (Wolin, 1992). Качество этого исследования может вызывать вопросы, однако присутствующие в нем указания на шмиттовский

циально смертоносный коллективный антагонизм — смысловым началом политических отношений. С этого момента политическое мыслится как особая сфера человеческого бытия, специфика которой состоит в допущении причинения смерти представителям противоположной стороны конфликта. Определяя политическую автономию в другой работе, Каспэ заключает, «что политическое автономно в той мере, в какой политические законы устанавливаются политическим же образом, и никакой иной закон (моральный, религиозный, семейный, экономический, эстетический etc.) не обретает политической силы прямо — но только через посредство закона *политического*» (Каспэ, 2016: 104–105). Выделяя политическое в качестве самостоятельной области человеческого бытия, Шмитт не использует категорию закона, но стремится подчеркнуть, что политическое необходимо отделять от нравственно-эстетического, экономического и т. д. в связи с тем, что политическое существует на собственных основаниях, несводимых к понятиям и принципам, характерных для указанных областей (Шмитт, 2016а: 301–302). «Специфически политические вопросы» (Шмитт, 2010: 152), связанные с экзистенциальным различием коллективного друга и врага, требуют специфически политического способа их решения, объединяющего в себе механизмы правления и использования военного потенциала.

Каспэ признает, что политическое не оформляется в виде герметичной области бытия, совершенно безразличной к внешним феноменам (Каспэ, 2016: 105–106; Каспэ, 2023: 32). Политическое способно сдвигать свои границы, проявлять восприимчивость к изначально не-политическим явлениям. Так, политические решения могут быть связаны с религиозными, научными, экологическими, медицинскими и прочими мотивами. Тем не менее даже подвижные границы остаются границами и по-прежнему проходят по линии деления на друзей и врагов. Война остается тенью политического в любых обстоятельствах. Говоря о «вылазках» политических акторов в не-политические области, Каспэ приводит в пример пандемию COVID-19 (Каспэ, 2023: 32). Итальянский мыслитель Джорджо Агамбен (опираясь на итальянский опыт) добавляет, что подобная интервенция «фактически приводит к настоящей милитаризации» районов, где выявлены зараженные лица (Агамбен, 2023: 11–12).

Центральным тезисом работы Каспэ является указание на то, что частичная деавтономизация политического, открывающая дорогу мотивам *любви*, способна отдалить политическое от войны. Попытка осуществить сближение политического с любовью рассматривается в тексте как способ нанести войне *ответный удар* (Каспэ, 2023: 37). В рамках последующего рассуждения Каспэ, преимущественно опираясь на Джованни Джентиле (Джентиле, 2021), обращается к феномену гражданских религий, подчеркивая, что подобное явление «мягко субординирует политическое внеположным ему инстанциям» (Каспэ, 2023: 38). Гражданские религии противопоставляются политическим — последние принимают гораздо

---

иррационализм получают развитие и в новейших работах, см.: (Van de Wall, 2023). Об органическом понимании народа у Шмитта см.: (Orsi, 2022). В этом контексте будет также не лишним напомнить о великольном исследовании В. В. Башкова, проясняющем связь Шмитта с наследием Кьеркегора (Башков, 2022).

более резкую, исключаящую форму, возводят политические идеологемы в культ, способствуют групповой диссоциации. Гражданские религии действуют внутри политических сообществ (в частности, приводятся примеры США и Израиля) и поддерживают их стабильность, организуя причастность населения общим ценностям и символам — достаточно универсальным, чтобы объединить (но не слить воедино) различные, непохожие друг на друга подгруппы и создать условия для их гармоничного сосуществования (Там же: 38–40). Автор настоящей статьи интерпретирует тезисы Каспэ как указание на возможность создания того, что могло бы быть названо метаполитической религией, а именно системы духовных ориентиров, способной (мягко) субординировать отношения между политическими сообществами идейно восходящим к христианству мотивам любви. Разумеется, работа Каспэ не содержит план создания планетарной *Respublica Christiana* — гражданские религии, как уже было отмечено, способны принимать над-доктринальные формы, использовать более обобщенные формулировки и символы. Тем не менее ядро предполагаемой программы деавтономизации политического образуют две христианские максимы — евангельская заповедь «любите врагов ваших, благословляйте проклинаящих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас» (Мф. 5:44) и восходящий к учениям Отцов Церкви принцип, призывающий «ненавидеть грех, а не грешника» (Каспэ, 2023: 45).

Ответный удар нанесен. Обращен он в сторону персонифицированного фигурой Карла Шмитта подхода, накрепко связывающего автономию политического с войной. Но нет ли в арсенале Шмитта действенного контратакующего приема?

## II

Итак, работа Каспэ содержит предположение, что заповедь любви к врагам способна лишить связь войны и политического того *необходимого* характера, что закреплена за ней усилиями Шмитта. Несколько удивительно, что «Любовь во время войны» никак не затрагивает релевантный фрагмент «Понятия политического», в котором Шмитт делится своей интерпретацией евангельской заповеди, указывающей на необходимость любви к врагу, и отмечает, что она *никоим образом* не вступает в противоречие с отстаиваемым им определением врага как политического сообщества, антагонизм с которым допускает причинение смерти (Шмитт, 2016а: 304)<sup>5</sup>. Аргумент Шмитта укоренен в различении частного (*inimicus*) и публичного врага (*hostis*)<sup>6</sup>, на фоне чего подчеркивается, что в заповеди речь идет *лишь о первом из них* (Там же). Вражда с *inimicus* разворачивается в сфере приватного — в этих границах уместно говорить о любви, мотивированном ею при-

5. Каспэ утверждает, что «такая (предусмотренная заповедью. — В. Б.) любовь не тождественна и не ортогональна, а прямо антагонистична войне» (Каспэ, 2023: 36). Шмитт, очевидно, не согласился бы с данным тезисом в связи с совершенно иным прочтением заповеди.

6. В своих работах Шмитт преимущественно пользуется латинскими терминами, но в «Понятии политического» указывает и на их греческие аналоги — *ekhthros* и *polémios* соответственно (Шмитт, 2016а: 304).



мирении, забвении обид. Политический враг представляет собой чуждую коллективную сущность, несущую экзистенциальную угрозу в отношении *способа существования сообщества* (Norris, 1998: 73), — согласно Шмитту, любовь к нему невозможна даже на фоне необязательной личной ненависти к его представителям. Публичный враг, *hostis* — источник «бытийственного отрицания чужого бытия» (Шмитт, 2016а: 308), возлюбить его (для противоположной стороны) значит открыть дорогу собственному уничтожению в качестве политической экзистенции. В связи с этим «идея любить врагов своего народа и поддерживать их против своего народа» (Там же: 304) представляется Шмитту полным абсурдом.

Различению частного и публичного врага соответствуют два типа войны — *stasis* и *polemos*. *Stasis*<sup>7</sup> — внутренняя распря («возмущение, восстание, бунт, гражданская война» (Там же)) — вспыхивает в рамках одного народа; Шмитт, обращаясь к Платону, называет ее «самоистреблением» (Там же). Таковы баталии между эллинами — даже в период вражды друг с другом они остаются близкими, *своими* — в случае же войн между греками и варварами справедливо говорить о *polemos* — вражде с чуждым политическим бытием (Платон, 2017: 222–223). В условиях эвентуального или потенциального *stasis* стороны являются частными врагами, вследствие чего к ним может быть обращено напоминание о необходимости любви друг к другу.

*Stasis* фигурирует в работе Каспэ в рамках рассуждения о гражданской религии. В тексте отмечается, что гражданской религии «*удается поддерживать худой мир, не допуская ни перерастания стасиса в гражданскую войну*<sup>8</sup> (курсив мой. — В. Б.), ни превращения войны внешней в войну гражданскую и даже удерживая от слишком авантюристических внешних войн, чреватых созданием чрезмерных угроз для выживания <...> сообщества» (Каспэ, 2023: 40). Темы любви и гражданской религии неизбежно перекликаются: едва ли возможно представить гражданскую религию, в которой бы начисто отсутствовала идея (братской) любви<sup>9</sup> — именно она является одним из мощнейших сдерживающих факторов в отношении перспективы гражданской войны (эту функцию Каспэ располагает первой в ряду). Вместе с тем в этих условиях любовь обращена к потенциальной стороне *stasis*, *частному врагу*, что никак не нарушает логику Шмитта.

7. В работе Каспэ говорится, что «Стасис — тема неисчерпаемая, и здесь (в статье. — В. Б.) ее можно было затронуть лишь поверхностно» (Каспэ, 2023: 19). С указанием на широчайший масштаб данной темы сложно не согласиться. Тем не менее данная работа не может позволить себе обойти стороной важнейший вопрос о различии внутренних логик *stasis* и *polemos*.

8. Говоря о возможном переходе *stasis* в состояние гражданской войны, Каспэ, судя по всему, обращается к одному из значений греческого термина, отсылающему к политическим волнениям. Тем не менее *stasis* может обозначать и полноценную гражданскую войну. Напряжение между двумя этими значениями будет более подробно рассмотрено далее.

9. Развивая мысль о гражданской религии, Каспэ ссылается на американский опыт. Символическая сторона, обладающая огромным значением для гражданской религии, также проиллюстрирована в работе рядом американских примеров (Каспэ, 2023: 38–39). К этому списку можно добавить еще один феномен, символически передающий важную роль любви в контексте американской гражданской религии. Декларация независимости, Конституция США и Билль о правах были приняты в Филадельфии — *городе братской любви*.

Шмитт отмечает положительный потенциал социальной гомогенности (Шмитт, 2010: 57), однако соглашается с тем, что «нашу социальную жизнь уже не пронизывает — как это было прежде — принцип единства» (Филиппов, 2006: 74), признавая наличие внутренних противоречий в любых политических образованиях. Шмитту — благодарному ученику Гоббса — знаком страх гражданской войны, распада политического единства на фоне внутренних конфликтов. Укоренение заповеди любить врагов *внутри* сообщества, вероятно, было бы встречено Шмиттом с большим одобрением: *мир между частными* врагами в рамках одного народа — вполне желаемое им обстоятельство<sup>10</sup>.

Любовь к врагу — действенный рецепт против *stasis*, братоубийственной распри. Если она и способна оказывать какое-то влияние на отношения с внешними политическими единствами, то лишь косвенно. Подобный механизм имплицитно прослеживается в представленном выше тезисе Каспэ об эффективности гражданской религии: пресечение внешних войн, создающих слишком резкие угрозы для выживания сообщества (именно на этой перспективе заостряет внимание Каспэ), вписано в логику заботы о *ближнем*, о *своих* (включая тех, кто остается *своим*, не смотря на личные разногласия).

Если заповедь любви к врагу все же проникает в ткань межгосударственного вооруженного конфликта, то в рамках шмиттовской системы координат остается лишь один способ избежать противоречия — *увидеть в ней гражданскую войну, распрю между своими*. Однако эта мера подразумевает лишение противоположной стороны полноценной политической субъектности, принудительное стирание социально-политических границ, игнорирующее стремление к самоопределению.

Вероятно, это не лучший фон для любви.

### III

Признание Карла Шмитта авторитетным мыслителем (свойственное даже его идеологическим оппонентам<sup>11</sup>) не должно превращаться в поклонение идолу. Рассмотренный выше аргумент Шмитта требует проверки на соответствие правилам, установленным самим Шмиттом.

На возможное присутствие противоречий в осуществленном Шмиттом различении *stasis* и *polemos* впервые обращает внимание Жак Деррида (Derrida, 2005: 119)<sup>12</sup>. Граница между частной и публичной враждой столь важна для Шмитта, что

---

10. В частности, можно обратиться к одному из ярких примеров внутренних противостояний — упоминаемому в «Понятии политического» праву семей на кровную месть (Шмитт, 2016а: 324). Мотивированный любовью к врагу отказ от вендетты был бы рассмотрен Шмиттом как позитивный феномен, укрепляющий политическое единство народа.

11. Наиболее эксплицитно об этом заявляет Шанталь Муфф, см.: (Mouffe, 1999: 1–6).

12. Впоследствии вопрос об убедительности шмиттовского различения частной и публичной вражды ставится еще в нескольких заслуживающих внимания работах. В одном из текстов (Dusenbury, 2015) указывается на то, что Шмитт некорректно ассоциирует римское понятие *inimicus* исключительно с частным врагом (в частности, приводится цитата Цицерона, где данный термин используется

любая ее проблематичность, согласно французскому автору, способна привести к коллапсу «шмиттеанского дискурса» (Ibid.: 88). Столь решительный вердикт Деррида — повод присмотреться к указанной границе повнимательнее.

Идея частной вражды отсылает к фигуре, в отношении которой испытывается *личная* неприязнь (Башков, 2022: 109; Durden, 2011: 568). Подобный антагонизм допускает огромное количество форм «частной конкуренции» (Kennedy, 1999: 44): от борьбы за сердце любимого человека до показательного конфликта между бойцами ММА. Стремление Шмитта отделить подобные противоречия, актуальные лишь для двух фигур, от столкновения с «борющейся совокупностью людей» (Шмитт, 2016а: 304) — коллективным Другим — справедливо и последовательно. Но насколько справедливым на этом фоне является обращение к платоновскому *stasis* как к примеру *частной вражды*?<sup>13</sup> Для Платона воюющие греки действительно остаются *своими*, но могут ли они оставаться таковыми для Шмитта на фоне того, что антагонизм между их группировками достигает той самой точки кипения, допускающей возможность (и действительность) взаимного причинения смерти, превращающей вражду в политическую?

Живой классик Джорджо Агамбен, развивающий многие положения учения Шмитта, указывает на то, что *stasis* представляет собой амбивалентный феномен, который невозможно герметично локализовать в сфере частного. В условиях *stasis* дом (сфера частной жизни, семья или домохозяйство) и полис *неразличимы*, граница между ними стирается: родной брат (наиболее близкий, *свой*, сторона частных отношений) оказывается неотличим от *врага* (*polemios*, наиболее чуждого) (Агамбен, 2021: 22–23). Семейная ссора и сегодня способна разделять отцов и детей, братьев и сестер, в соответствии с линией *политического* фронта. На этом фоне любить становится некого — вместо *близкого*, которого можно прощать и с которым можно искать примирения, несмотря ни на что, обнаруживается *представитель вражеского политического единства*, аватар *hostis*, любовь к которому невозможна.

Просматривается несколько способов работы с проблемным фрагментом «Понятия политического». Один из них берет начало в работе Жака Деррида. Французский мыслитель указывает на то, что в платоновской логике различения *stasis* и *polemos* присутствует важное звено, не находящее прямых аналогов в шмиттовском подходе к проблеме (Derrida, 2005: 91). Согласно Деррида, едва ли не центральную

---

применительно к противнику на поле боя) (Ibid.: 437). В этом же тексте отмечается, что Шмитт допускает неточность, ссылаясь на Помпония: *hostis* в сочинении Помпония противопоставляется не *imicus*, а другим терминам — *latro* (разбойник) и *praedo* (пират) — не лишенным политического значения (Ibid.: 438). В другом источнике (Durden, 2011: 575–576) отстаивается идея того, что Шмитт искажает христианскую мораль в своей попытке связать ее с платоновским различием греков и варваров как своих и чужих по природе (и потому заслуживающих разного отношения). В настоящей статье вопрос о теологической и этимологической состоятельности шмиттовского аргумента оставлен за скобками, автор сосредотачивается на вопросе о корректности использования Шмиттом платоновского примера, исходя из внутренней логики его собственного учения.

13. Следует отметить, что рассматриваемая ссылка на Платона отсутствует в оригинальном издании «Понятия политического» 1927 года и представляет собой более позднюю вставку, впервые появляющуюся в издании 1932 года, а затем — в издании 1933, см.: (Schmitt, 2018).

роль в платоновском рассуждении играет *phusis* — общая эллинская природа, создающая *естественную* социально-политическую границу греческого мира. Варвары, обладая чуждым естеством, являются врагами эллинов *по природе*. В условиях *stasis* естественное родство греков сохраняется, несмотря на вооруженное противостояние. *Stasis* — своего рода заболевание<sup>14</sup>, помутнение, на фоне которого греки забывают о естественной для себя дружбе. Болезни способны причинять неудобства и наносить серьезный ущерб организму, но чаще всего оказываются временным обстоятельством, далеким от того, чтобы обуславливать фатальный исход.

Деррида прослеживает в *phusis* характерный для любого этноцентризма «дискурс рождения и природы» (Ibid.), согласно которому политическое сообщество создается и удерживается естественным родством<sup>15</sup>. Вопрос о степени шмиттовского национализма является дискуссионным, и одна из исследовательских позиций связывает Шмитта с наиболее радикальными формами этой политической программы (Orsi, 2022: 1)<sup>16</sup>. Тем не менее признать Шмитта мыслителем, отстаивающим абсолютный приоритет национального и не допускающим возникновения конфликтов, способных ослабить национальные связи до степени формирования альтернативных политических единств, значит (вероятно, безосновательно) обвинить Шмитта в противоречии самому себе. В этом случае политическое оказывалось бы своего рода надстройкой над национальным, а политические границы были бы строго детерминированы национальными. Один из важнейших тезисов Шмитта, указывающий на то, что любой конфликт (экономический, религиозный, морально-нравственный) может перерасти в политический (Шмитт, 2016а: 312), делает подобное рассуждение невозможным. Политическая вражда способна возникать на фоне любых противоречий, и ничто не мешает ей разделять народы изнутри, превращать вчерашних друзей в полноценных политических врагов<sup>17, 18</sup>.

14. Подробнее об этом значении термина *stasis* см.: (Vardoulakis, 2009: 130–131).

15. Описывая афинский политический опыт, российский исследователь С. Ермаков отмечает в нем «известный *натурализм*», в рамках которого огромным политическим значением наделяется «общность происхождения, рождение от одной матери-земли» (Ермаков, 2021: 142–143). В вердикте Ермакова, согласно которому данный дискурс, «хотя и не являясь в Афинах по-настоящему ксенофобским, будучи экстраполированным на сегодняшние условия, был бы прочитан как достаточно расистский» (Там же: 143), можно уловить созвучие предложенному Жаком Деррида прочтению Платона.

16. Успешная попытка выделить относящиеся к этому «лагерю» тексты предпринята Дж. Бендерски (Bendersky, 1987). Все они подвергаются им резкой критике. Актуальные исследования также подчеркнута дистанцируются от позиции, приписывающей Шмитту радикально националистические взгляды, см.: (Hodrick, 2022: 98).

17. Также, как справедливо отмечает А. Ф. Филиппов, политическое единство, опасаясь предательства, может «объявлять врагом кого-либо и внутри себя» (Филиппов, 2006: 74), создавая тем самым перспективу гражданской войны. Речь в данном случае идет именно о политической вражде, притом что врагом вполне может быть объявлена *идеологически* нелояльная часть населения, неотличимая от остальной в этническом, культурном или языковом плане. Крайне принципиально, что сам Шмитт, рассуждая о внутрисоциальном объявлении врагом, называет объект подобной процедуры *hostis*'ом, что еще раз подчеркивает публичную природу внутренней вражды (Шмитт, 2016а: 322).

18. Степень диссоциации, возникающая в рамках гражданской войны, очень точно передается следующей ремаркой Филиппова: «При этом (при гражданской войне. — В. Б.) распадается не только оболочка, политическая форма народа. Распадается сам народ как *материя* государства» (Филиппов,

В учении Шмитта присутствует концепт *самотождественности* (тождества народа с самими собой как с политическим единством), рассматриваемый немецким мыслителем как одно из условий существования политического сообщества и связываемый с его внутренней *гомогенностью* (Шмитт, 2010: 56–57). Рассуждая о природе гомогенности, Шмитт рассматривает национальный фактор (Там же: 78), но не говорит о нем как о единственно возможном<sup>19</sup>. «Большевистская политика советской республики попыталась заменить национальную гомогенность на гомогенность одного *класса* — пролетариата» (Там же: 82), и эту попытку едва ли можно признать совсем неудачной. Не менее важно, что максимально гомогенный народ может существовать в качестве этнической, языковой, культурной, *но не политической общности*, в том случае, если он теряет волю к различению общего врага и принимает защиту политически более сильного народа (Шмитт, 2016: 328–329)<sup>20</sup>. Исходя из вышесказанного, шмиттовскую самотождественность справедливо определить как максимальную (и действенную) консолидацию сообщества в отношении общего врага, способную возникать на *любой* почве.

Итак, национальная гомогенность не создает никакой априорной политической дружбы<sup>21, 22</sup> или вражды в шмиттовском контексте. Не гарантирует она и политического бытия как такового — гомогенное, но безвольное сообщество существует вне категорий дружбы и вражды. В иных обстоятельствах национальная гомогенность всегда может перестать быть политически значимым фактором на фоне превалирования антагонизма, укорененного в иных основаниях (напри-

---

2022: 32). Данное рассуждение посвящено гражданской войне в связи с философией Гоббса, но вполне актуально и для учения Шмитта.

19. На этом фоне более убежденным националистом, чем Шмитт, представляется даже Макс Вебер. Последний отказывает классовой идентичности в политическом статусе, прослеживая более значительный политический потенциал в «таких переменных, как раса, этничность и национальность» (Kalyvas, 2008: 43). Для Шмитта классовый антагонизм — одно из возможных оснований политической ассоциации и диссоциации. Тесная связь национального и политического, отличающая подход Вебера, ярко являет себя в тексте «Между двумя законами», см.: (Вебер, 2023).

20. Также см.: (Шмитт, 2010: 57).

21. Шмитт признает смысловую связь дружбы и родства (что наводит на аналогии с платоновским рассуждением о естественной дружбе между греками), но допускает *искусственные* формы последнего: «... «друг» изначально есть только соплеменник. То есть друг изначально — это лишь кровный друг, родня по крови, или тот, кто «сделан родичем» через супружество, *общую присягу* (курсив мой. — В. Б.), усыновление или тому подобные учреждения» (Шмитт, 2016а: 383). Формирование партизанских отрядов путем общей присяги может служить примером подобного родства: некто, вступая в ряды партизан, «делается родичем» как брат по оружию. Прочитанный фрагмент хорошо коррелирует с отстаиваемой Агамбенем идеей неразличимости семейного и политического в условиях гражданской войны, см.: (Агамбен, 2021: 23–24).

22. В данном контексте перспективным также представляется обращение к недавнему исследованию А. Ф. Филиппова, важным элементом которого является интерпретация понятий общность (*Gemeinschaft*) и общество (*Gesellschaft*), вокруг которых построено наиболее известное сочинение немецкого социолога Тённиса, см.: (Тённис, 2002). В рамках общности имеют место столь глубокие и крепкие внутренние связи, что о них можно говорить как о *родственных*. В случае конфликтов внутри общности подобное *родство* сохраняется. Шмиттовское учение, также содержащее понятие общности, сближает его с такими явлениями, как партия или братство, а не с национальным государством, как это делают многие его современники, см.: (Филиппов, 2023).

мер, классового). Во втором случае линии политической дружбы и вражды могут значительно расходиться с границами этнических, языковых и культурных ареалов. В учении Шмитта нет эквивалента *phusis*, естественным образом создающей *polemos* (войну) между греками и варварами и *stasis* (распря между друзьями) внутри эллинского мира. Шмитт не может органично вписать платоновский пример в ткань своего учения — греческие политики, реализующие различные политические проекты и вступающие в открытый вооруженный конфликт, следуя логике самого Шмитта, должны быть признаны публичными, а не частными врагами<sup>23</sup>. Более перспективным на этом фоне представляется подход Агамбена, указывающего на то, что *stasis* способен превратить *своих* в политических врагов, но несет в себе потенциал примирения<sup>24</sup>.

В условиях современного *stasis* — гражданской войны — появляется новая фигура — «революционно борющаяся партия», ведущая партизанскую войну (Шмитт, 2007: 27–28)<sup>25</sup>. Шмитт признает присущую ей более высокую степень политической вовлеченности по сравнению с суверенным государством, определяя революционную партию как «настоящую и по сути дела единственную тоталитарную организацию» (Там же: 28). Эта особенность воюющей партии связана не с ее национальной гомогенностью (история знает достаточное количество революционных движений, национальный состав которых отличается значительной пестротой), а с готовностью ее членов полностью посвятить себя вооруженной борьбе, *их выдвинутостью в смерть* (Бродский, 2022: 94–95). Шмитт подчеркивает, что партизан (вне зависимости от того, сражается он с иностранным интервентом или действующим режимом) несет в себе *политическое* начало — Шмитт проводит принципиальное различие между партизанами и отрядами разбойников, преследующих цели *личной* наживы (Шмитт, 2007: 27). Несмотря на то что этот тезис явно указывает на не-частный характер вражды, стороной которой является партизан, вопрос о возможности признания партизана публичным врагом требует более предметного рассмотрения.

---

23. На первый взгляд аргументом в пользу признания частного (приватного) характера вражды между греческими политиями могло бы служить следующее утверждение, описывающее ряд мотивов, лежавших в основании подобных баталий: «В Древней Греции некто мог воевать за добычу — рабов, золото или богатство — или, чтобы восполнить нехватку предметов домохозяйственной необходимости (*domestic necessities*) — древесины, железа или зерна — или, чтобы обеспечить поставки подобных ресурсов» (Manicas, 1982: 679). Однако данный аргумент был бы валиден в рамках подхода Ханны Арендт, где все приватное, связанное с природной необходимостью, строго отделяется от публичного/политического, см.: (Арендт, 2017: 41–51), но не в рамках подхода Шмитта, допускающего пере рождение экономической борьбы в политическую вражду в том случае, если на ее фоне возникает коллективное вооруженное противостояние.

24. Развивая данный аргумент, Агамбен реагирует на важнейшее для темы *stasis* исследование Николь Лоро, см.: (Лоро, 2021).

25. В «Теории партизана» Шмитт преимущественно рассуждает о партизанах, ведущем борьбу с иностранным интервентом, и о партизанах, ведущем внутреннюю революционную борьбу. В силу задач, стоящих перед настоящим исследованием, автор позволяет себе сосредоточиться только на фигуре партизана-революционера. При этом следует иметь в виду, что партизанское движение как феномен открыто любым политическим аффилиациям, в том числе консервативным.

В условиях гражданской войны партизан является носителем амбивалентной природы. С одной стороны, Шмитт открыто рассуждает о нем как о не-публичной фигуре: «Общественный строй существует как *res publica*, как публичность (*Öffentlichkeit*. — В. Б.), и он ставится под вопрос, если в нем образуется пространство не-публичности (*Nicht-Öffentlichkeit*. — В. Б.), действительно дезавуирующее эту публичность. Быть может, этого указания будет достаточно, чтобы осознать, что партизан, которого оттеснило профессионально военное сознание XIX века, внезапно оказался в центре нового способа ведения войны, смысл и цель которого состояли в разрушении наличного социального порядка» (Шмитт, 2007: 111–112). В этом контексте не-публичное представляет собой нечто выделяющее себя из действующего социального порядка и бросающее ему вызов. Партия, безусловно, является *частью* (на что указывает этимология слова), но при этом не удовлетворяется ведением *частных* дел, а «отрицает у имеющегося учрежденного Целого характер целостности и в качестве части встает над Целым, чтобы осуществить, так сказать, истинное или всеохватное Целое, грядущее, новое Целое, новое единство, *новое политическое единство*» (Шикель, Шмитт, 2007: 169). В этом проявляется то, что, будучи иррегулярной фигурой, партизан *всегда стремится к регулярности* (Шмитт, 2007: 117): бросая вызов действующему порядку, он претендует на то, *чтобы установить и поддерживать свой собственный*, что, с точки зрения Шмитта, делает его именно политическим, а не криминальным субъектом<sup>26</sup>. Революционер несет угрозу в отношении «способа существования сообщества» (Norgis, 1998: 73) в той же мере, что и внешнеполитический враг. На этом фоне партизан как инициатор и участник революционной гражданской войны, безусловно, должен рассматриваться как враг государства — публичный враг. Цель партизана — создание нового порядка на руинах старого, что, разумеется, выходит за рамки частных амбиций и соотносится с «целым народом» (Шмитт, 2016а: 304), его дальнейшей политической судьбой. Именно через это соотношение Шмитт определяет публичное в «Понятии политического» (Там же). Таким образом, мы не обнаруживаем частного врага (в отношении которого допустима любовь) не только в античной, но и в современной форме *stasis* — революционной гражданской войне.

Не-публичность партизана связана с методами, а не целями партизанской борьбы. Шмитт обращает внимание на то, что «Скрытность и темнота — его (партизана. — В. Б.) мощнейшие орудия, от которых он честно не может отказаться без того, чтобы не утратить пространство иррегулярности, т. е. без того, чтобы перестать быть партизаном» (Шмитт, 2007: 60). Следует помнить, что в «Духовно-историческом состоянии европейского парламентаризма» Шмитт рассуждает о тайном голосовании как о подчеркнуто не-публичной практике не только в связи с присущим ему уединением (противопоставляемом коллективному характеру аккламации), но и обращая подчеркнутое внимание на то, что в этих условиях волеизъявление осуществляется «в глубочайшей тайне» и «отсутствии слежки» (Шмитт,

26. Как справедливо, обращаясь к Шмитту, отмечает Т. А. Дмитриев: «Партизанское движение <...> всегда представляет собой новое государство и новую армию *in nuce*» (Дмитриев, 2007: 296).

2016в: 109). На этом фоне можно предположить, что не-публичный характер партизана связан в том числе и с его стремлением осуществлять свои операции тайно, *подпольно*, скрываясь от глаз социально-политического порядка, который он стремится уничтожить<sup>27</sup>. В пользу данной интерпретации говорит указание Шмитта на то, что партизану не свойственно ношение формы и прочих опознавательных знаков, что образует резкую альтернативу по отношению к обмундированному солдату регулярной армии, являющему себя *публично* (Шикель, Шмитт, 2007: 152).

Второй способ работы с обнаруженной проблемой предполагает обращение к иному пониманию концепта *stasis*, тяготеющему не к развернутой гражданской войне, в рамках которой стороны полноценно контролируют определенные территории внутри признанных границ государства (устанавливая и поддерживая на них собственные порядки), а к таким предшествующим ей явлениям как бунт, путч, мятеж. Этим путем идет Томас Гоббс, использующий термин «мятеж» (*sedition*) как аналог греческого *stasis* в своем переводе «Истории» Фукидида (Vardoulakis, 2009: 128). Позиция Шмитта на предмет внутренних конфликтов открыта интерпретациям в схожем ключе: «Конфликты между внутренними акторами — дворцовые интриги, восстания недовольных — были (для Шмитта. — В. Б.) не более чем вопросом общественного порядка и классифицировались в качестве “волнений” (*disturbances*), с которыми должна разбираться полиция» (Arditi, 2008: 16)<sup>28, 29</sup>. Рассмотрение *stasis* как основания для полицейской акции, направленной против возмутителя спокойствия (мятежника), имеет полное право на существование, но закрепляет за источником волнений статус *преступника*, а не врага<sup>30</sup>. В этих условиях христианская заповедь теряет актуальность, так как не регламен-

---

27. Что находит выражение в следующем характере ведения боевых действий: «Воюет партизан также иррегулярным образом — он встречается с врагом не в открытом бою лицом к лицу, но нападает из-за угла, выбирая для этого самый подходящий момент с тем, чтобы застать врага врасплох и нанести ему наибольший ущерб» (Дмитриев, 2007: 209). В подобной специфике партизанского *метода* автор настоящей статьи видит не-публичность партизана, уравновешивающуюся публичным характером его целей, связанных с установлением нового *общественного* порядка.

28. Данная интерпретация находит поддержку в следующем фрагменте «Теории партизана»: «Открытая гражданская война считалась вооруженным восстанием, подавленным с помощью осадного положения [*Belagerungszustand*] полицией и отрядами регулярной армии, если дело не доходило до признания восставших в качестве воюющей партии» (Шмитт, 2007: 22). Вместе с тем следует обратить внимание на то, что данное рассуждение сохраняет перспективу признания мятежников в качестве полноценного политического врага.

29. Этой же позиции придерживается известная исследовательница шмиттовского наследия Габриэлла Сломп: «...без внешнего союзника деятельность партизана перестает быть политической и становится просто преступной» (Slomp, 2009: 114). В «Теории партизана» Шмитт действительно говорит о рисках партизана «опуститься, подобно разбойнику или пирату, в Неполитическое, <...> криминальное» (Шмитт, 2007: 116–117) в условиях отсутствия внешней поддержки. Тем не менее Шмитт допускает и альтернативу: «осуществление новой регулярности собственными силами» (Там же: 117). Подобное достигается в случае обретения контроля над определенной территорией (в идеале над всей территорией страны, где вспыхивает гражданская война), сопровождающегося установлением и поддержанием порядка.

30. «...разбойники, пираты и мятежники (курсив мой. — В. Б.) — это не враги, не *justi hostes*, но объекты уголовного преследования и обезвреживания» (Шмитт, 2008: 187).



тирует отношения с преступником. На этом фоне фрагмент «Понятия политического», связывающий *stasis* с возможностью любви к частному врагу, остается убедительным.

Упомянутая выше революционно борющаяся партия или партизан-революционер (Шмитт отличает его от партизана, борющегося с иностранным оккупантом) сражается на политическом фронте, являясь примером предельно интенсивной *политической* вовлеченности (Шмитт, 2007: 28). Партизан-революционер способен получить признание в качестве полноценного публичного врага, но гораздо более вероятен сценарий его криминализации и дискриминации со стороны государства, чей порядок революционер стремится насильственно заменить собственным проектом. Вместе с тем подобная криминализация оказывается взаимной: «революционный борец объявляет врага преступником, а все понятия врага о праве, законе и чести — идеологическим обманом»; «...приводит в исполнение смертный приговор преступнику и со своей стороны рискует тем, что его будут рассматривать как преступника» (Там же: 49–50). Интересно, что партизан в этом контексте несет в себе черты суверенного диктатора<sup>31</sup>: подобно тому, как последний легитимизирует свою деструктивную акцию, ссылаясь на *будущую* конституцию, первый осуществляет уголовное преследование, ориентируясь на порядок, который он *только стремится установить*. Взаимная криминализация не снижает, а увеличивает интенсивность вражды — стороны отказывают друг другу в праве на существование и ведут боевые действия для того, чтобы претворить этот отказ в жизнь (войну на *уничтожение*). От «врага народа» рукой подать до «последнего врага человечества» — так, в лоне ленинской революционной борьбы рождается *абсолютная вражда*, преодолевающая любые политические границы и правовые регуляции (Там же: 140–141)<sup>32</sup>. Стоит ли говорить о том, что человечество едва ли знает *менее* открытую перспективе любви форму взаимоотношений, чем абсолютная вражда.

Криминализация внутреннего врага находит свое отражение во внешней вражде. Исследуя проблему чрезмерного ожесточения внешних войн, поздний Шмитт связывает эту тенденцию с постепенной криминализацией вражеских режимов, сопровождающейся реформатированием межгосударственной войны в полицейскую акцию. В этих условиях война быстро становится «не более чем

---

31. «Суверенная же диктатура весь существующий порядок рассматривает как состояние, которое должно быть устранено ее акцией. Она не *приостанавливает* действующую конституцию в силу основанного на ней и, стало быть, конституционного права, а стремится достичь состояния, которое позволило бы ввести такую конституцию, которую она считает истинной конституцией. Таким образом, она ссылается не на действующую конституцию, а на ту, которую надлежит ввести» (Шмитт, 2005: 158).

32. Широкое распространение партизанских движений, деятельность которых невозможно локализовать в привычных государственных границах, по мнению Тарика Кочи, трансформирует международную политическую парадигму в *глобальную гражданскую войну* (Kochi, 2006: 284), равноценными участниками которой являются государства, повстанческие отряды, революционные армии. Совершенно очевидно, что превращение всех политических акторов в стороны глобального *stasis* не делает их частными врагами, открытыми взаимной любви.

карательной акцией, обретает *пунитивный* характер», на фоне чего враг лишается «какого бы то ни было правового статуса и всякого рода противоправные действия в его отношении (разбой и мародерство)» становятся обычной практикой (Шмитт, 2008: 137). Таким образом, если мы понимаем под *stasis* возмущение спокойствия, ответом на которое становится полицейская акция, то поздний Шмитт предостерегает современное человечество от использования в *polemos* карательных стратегий и средств, характерных для борьбы со *stasis*. Феномен криминализации вражеских государств и объявления политических режимов преступными хорошо знаком ныне живущим поколениям. Стоит ли говорить о том, что присутствие любви в подобной политической практике уверенно стремится к нулю.

Шмитт предметно возвращается к теме *stasis* в одной из своих позднейших работ — «Политической теологии II» (Schmitt, 2008). Подчеркивая многозначность оригинального греческого термина, Шмитт перечисляет те же значения, что и в «Понятии политического»: «...*stasis* также означает <...> (политическое) *неспокойствие*, движение, волнения и гражданскую войну» (Ibid.: 123). Таким образом, поздний Шмитт также легитимизирует обе рассмотренные выше трактовки. Проблема заключается в том, что ни в одной из них не находится места частному врагу (и, как следствие, любви): в случае полноценной гражданской войны мы имеем дело с публичным врагом, в случае борьбы с возмутителем спокойствия (полицейской акцией) — с преступником.

В действительности грань между двумя статусами представляется мерцающей<sup>33</sup>, зависящей от случая, масштаба и стороны, осуществляющей интерпретацию<sup>34</sup>. Не исключено, что речь идет о разных фазах, через которые проходит одно и то же социальное явление. Зачинщик «хулиганских» волнений (мятежник), рассматриваемый государством как объект *уголовного* преследования, нередко мнит себя его *политическим* врагом и в случае обретения доступа к людским ресурсам и оружейным складам обеспечивает данную претензию серьезными основаниями. Дальнейшее развитие событий способно вылиться в реалии гражданской войны, которые, вероятно, будут охарактеризованы государством в качестве контр- или антитеррористической операции (нацеленной на уничтожение *преступных* элементов), что едва ли изменит действительное положение дел, в рамках которого имеет место эвентуальное вооруженное столкновение двух борющихся совокуп-

---

33. Стоит отметить, что различение преступника и публичного врага (*hostis*) становится важной теоретической задачей лишь для позднего Шмитта (прежде всего как автора «Номоса земли»). В ранних произведениях эти понятия в значительной степени смешиваются: в «Понятии политического» указывается на то, что объявление кого-то внутренним *hostis*'ом — одновременно значит его объявление вне закона (при помощи инструментов юстиции) (Шмитт, 2016а: 322), в «Диктатуре» встречается идентичный тезис, подчеркивающий, что объявленный вне закона бунтовщик одновременно «становится “чужеземцем” (*hostis*)» (Шмитт, 2005: 197).

34. Зависимость признаваемого статуса группы от «лагеря», изнутри которого осуществляется оценка, обнаруживает интересную историческую иллюстрацию в одном из шмиттовских текстов: «...в то время как буржуазные защитники священного права частной собственности еще видели в большевиках банду стоящих вне закона преступников, католики уже вели с ними деловые переговоры» (Шмитт, 2016б: 61).

ностей (Шмитт, 2016а: 304) — политических врагов. Несмотря на возможный спор о преступном или политическом статусе группировки, бесспорным остается тот факт, что она не может быть охарактеризована в качестве частного врага.

#### IV

Не обнаружив в контексте *stasis* действующих лиц, к которым могла бы быть обращена любовь, вернемся к *polemos*. Сохраняет ли подход Шмитта к внешней войне хоть какое-то пространство для любви?

Ответ на этот вопрос зависит от особенностей конкретного типа войны. Например, *тотальная война* начисто стирает границы между комбатантами и нон-комбатантами (Шмитт, 2016: 389), превращая все население государства-антагониста в единого публичного врага. В связи с этим вспоминается Левиафан с гоббсовской обложки, который исходя из текущего сюжета может явить себя как государство, объединившее *всех* граждан для решения внешней военно-политической задачи (Левиафан изображается вне городских стен), но оставившее город (где должна идти мирная жизнь) совершенно *пустым*<sup>35</sup>. Именно так воспринимают друг друга вражеские политические единства в условиях тотальной войны — как монолитные военные машины, подчинившие все доступные людские и материальные ресурсы экзистенциальной борьбе.

Современные войны не всегда принимают тотальную форму, но в силу разных причин воплощают в себе все ту же проблему размывания границы между воюющим и мирным населением. Фигура партизана, маскирующегося под гражданского (Шмитт, 2007: 60), превращает каждого жителя оккупируемой территории в объект подозрения, что зачастую влечет за собой меры, не способные иметь ничего общего с любовью. Переход к морскому, а впоследствии и к воздушному типу войны уничтожает институт оккупации и снимает с атакующей стороны ответственность за судьбу мирного населения (Шмитт, 2008: 467–468, 626). В сегодняшних условиях, когда войны зачастую ведутся средствами БПЛА, *человеческое* соприкосновение атакующей стороны с территорией вражеского государства и проживающим на ней мирным населением практически устраняется. Если сухопутные войска, помимо разрушений, могут принести на занимаемые земли какой-то порядок и средства к существованию, то у боевого БПЛА задача только одна. Упомянутая выше криминализация вражеских режимов дискриминиру-

---

35. Интерпретация вдохновлена наблюдением Джорджо Агамбена (Агамбен, 2021: 50). Итальянский автор сосредотачивает внимание на пустоте города, но проследивает в данном образе иной смысл, связанный с несовпадением понятий «народ» и «множество». Признавая колоссальную ценность открытия Агамбена, отметим, что изображение способно проливать свет на самые разные стороны великого политического проекта в зависимости от контекста рассмотрения. Возможности изображения были использованы автором настоящей статьи с целью указания на отстаиваемые Гоббсом тезисы, устанавливающие легитимность государственных мобилизационных предписаний в отношении *любого* гражданина и обязанность последнего следовать им (Гоббс, 1991: 536–537). Шмитт в значительной степени наследует эту позицию.

ет противника, превращает его в объект *уничтожения*, а не выяснения политических отношений при помощи силы. Все эти тенденции отдаляют войну от любви.

Окошко для любви *во время войны* обнаруживается лишь при помощи политико-философской археологии — исследовании форм войны, оставшихся в прошлом. Поздний Шмитт открыто ностальгирует по традициям европейской сухопутной войны, в соответствии с которыми враждующие государства ведут войны силами регулярных армий, не атакуя мирное население (Шмитт, 2008: 62б). В рамках данного порядка ведения войны мирные жители не воспринимаются в качестве аватаров публичного врага, несмотря на то что говорят с ним на одном языке. Солдаты и офицеры атакующей армии могут с любовью относиться к жителям занимаемых территорий (как одни частные обладатели сотворенной Богом души к другим) — в этих условиях не-политический мотив христианской любви хорошо коррелирует<sup>36</sup> с базовой политической формулой *protego er oblige* (Шмитт, 2016а: 329), требующей от суверена обеспечивать заботой и защитой население оккупированных земель (в том случае если оно не оказывает вооруженное сопротивление) (Шмитт, 2008: 269). В симпатиях послевоенного Шмитта к недискриминационным формам войны, предполагающим четкое деление на воюющее и мирное население, отсутствие установки на тотальное уничтожение, принятие атакующей стороной ответственности за судьбу жителей оккупированных территорий, может, и нет желания «укротить псов войны» (Каспэ, 2023: 46), но точно присутствует положительная оценка политической парадигмы, в рамках которой войны были погружены в систему строгих ограничений (а также, вероятно, стремление обелить запятнанную репутацию). Войны неустранимы, но между игроками, уважающими недискриминационные правила, возможны переговоры на равных, дающие шансы на мир. Такая интерпретация позднего Шмитта местами созвучна заключительным тезисам работы Каспэ. Однако фундаментальное отличие<sup>37</sup> между двумя подходами состоит в том, что укрощенная война, с которой Каспэ связывает надежды на будущее<sup>38</sup>, для Шмитта является достоянием прошлого, историческим артефактом.

Следует еще раз подчеркнуть и то, что любовь (будучи «запертой» Шмиттом в сфере приватного) в шмиттовской системе координат не может определять политические процессы напрямую. Для Шмитта принципиальная субординация человеческих отношений принципу христианской любви была бы возможна лишь

---

36. Именно *коррелирует*, т. е. создает самостоятельный параллельно протекающий процесс, гармонирующий с политическими обязанностями государства в условиях сухопутной оккупации.

37. Еще одно важное отличие состоит в том, что Каспэ предлагает мягко *подчинить* войну мотиву любви для того, чтобы пресечь или облагородить войну, в то время как Шмитт (как автор «Номоса земли») оставляет возможность лишь для *сопровождения* войны любовью в тех случаях, когда речь идет о взаимодействии комбатантов и нон-комбатантов.

38. Так можно интерпретировать заключительные строки работы: «Войну нельзя упразднить, но псов войны можно укротить. Мир достигим. К миру ведет любовь. Как говорил разбитыми в кровь губами Рокки Бальбоа, “I can change... you can change... everybody can change”» (Каспэ, 2023: 46).

в условиях реализации либерального абсолюта<sup>39</sup> — эфемерной «демократии человечности» (Шмитт, 2016в: 103) — мира без войны, но и без *политики*, без публичного.

## Заключение

История философии есть история вопросов, а не ответов. Вопросы, касающихся наиболее серьезных из тех самых *serious things*, что упоминаются в статье Каспэ как точки «максимального экзистенциального напряжения» (Каспэ, 2023: 34), определяющие человеческую участь. Просто отнести любовь и войну к этой категории — недостаточно, они должны открывать список. Любовь и война — вещи столь серьезные, что некто мог бы вспомнить о завете Людвига Витгенштейна: «О чем невозможно говорить, о том следует молчать» (Витгенштейн, 2017: 218). Порой это не только философский тезис, но и достаточно дельный совет.

Очень ценно, что работа Каспэ идет другим путем и ставит вопросы о войне и любви крайне открыто и остро. Открывая дорогу новым вопросам в полном соответствии с внутренней логикой истории философского знания. Миссия ученика на этом фоне — актуализировать результаты своего учителя, отзываясь на них собственным скромным вопрошанием.

Оттолкнувшись от тезисов Каспэ, автор настоящей статьи позволил себе задаться несколькими вопросами.

Каким мог бы быть ответ Шмитта на предложение частично субординировать политическое христианской максиме, указывающей на необходимость любви к врагу? Попытка ответа была выстроена вокруг важного для Шмитта различения частного и публичного врага. С точки зрения Шмитта, заповедь актуальна лишь для частного врага, являющегося стороной *stasis*, вследствие чего она способна выступить в роли средства пресечения гражданской войны (что полностью устраивает Шмитта), но не войны внешней.

Обращение к шмиттовскому различению частного и публичного врага (а также соответствующего ему различения двух типов войны — *stasis* и *polemos*) стало поводом задаться вопросом о состоятельности данного рассуждения, особенно в связи с решением Шмитта использовать фрагмент платоновского «Государства» в качестве примера. Было продемонстрировано, что частному врагу (в отношении которого возможна любовь) не находится места в интерпретациях *stasis*, соответствующих логике учения Шмитта. В том случае, если речь идет о полноценной гражданской войне, справедливо определять врага как полноценного политического (и, как следствие, публичного) врага. В условиях мятежа источник беспокойства квалифицируется как преступник, что опять же не совпадает с образом стороны межличностной неприязни. Грань между двумя определениями представляется

---

39. Основными ценностями либерализма, с точки зрения Шмитта, являются индивидуальная свобода и *всегообщее* равенство, делегитимизирующие саму идею политических границ между сообществами, см.: (Шмитт, 2016в: 103–106).

весьма тонкой, однако использование Шмиттом платоновского аргумента не становится от этого менее проблематичным.

Возвращение к теме внешней войны повлекло за собой вопрос о том, оставляет ли шмиттовское понимание *poletos* хоть какое-то пространство для любви. С опорой на «Номос земли» было высказано предположение, что любовь не нарушает сформулированных Шмиттом условий в контексте взаимоотношений комбатантов атакующей стороны с мирными жителями оккупируемых территорий в парадигме традиционной европейской войны суверенов. Тем не менее пространство для любви стремительно сужается в условиях размывания границы между комбатантами и гражданским населением, усиливающегося в связи с широким распространением партизанских движений и все более широким использованием воздушных средств ведения войны (в том числе полностью автоматизированных БПЛА).

Представленное в статье разыскание не обнаружило частного врага, любовь к которому легитимизирует Карл Шмитт, ни в контексте *stasis*, ни в контексте *poletos*. Но это не значит, что любовь во время войны невозможна. Как минимум одно ее направление актуально в любые времена. Речь об отмеченной во введении любви к мудрости.

Благо она живуча и способна пережить даже самые разрушительные катаклизмы.

## Литература

- Агамбен Д. (2021). *Stasis*. Гражданская война как политическая парадигма. *Nomo Sacer*, II, 2 / Пер. с итал. С. Ермакова. СПб.: Владимир Даль.
- Агамбен Д. (2022). Куда мы пришли? Эпидемия как политика / Пер. с итал. В. Данилова. М.: Независимое издательство «Ноократия».
- Арендт Х. (2017). *Vita Activa*, или О деятельной жизни / Пер. с нем. и англ. В. Библихина. М.: Ад Маргинем Пресс.
- Башков В. В. (2022). Репетиция политического. Сёрен Кьеркегор и Карл Шмитт. СПб.: Владимир Даль.
- Бродский В. И. (2022). Жизнь, смерть и политическое: экзистенциальные основания учений Томаса Гоббса и Карла Шмитта // *Социология власти*. Т. 34. №3–4. С. 72–101.
- Бродский В. И. (2023). Политическая онтология Карла Шмитта: тождество и репрезентация как способы самоутверждения политической экзистенции // *Stasis*. Т. 15. № 1 (в печати).
- Вебер М. (2023). Между двумя законами / Пер. с нем. О. В. Кильдюшова // *Россия в глобальной политике*. Т. 21. № 3. С. 112–116.
- Витгенштейн Л. (2017). *Логико-философский трактат* / Пер. с нем. И. С. Добронравова, Д. Г. Лахути. М.: Канон + РООИ «Реабилитация».
- Гоббс Т. (1991). *Левиафан* / Пер. с лат. и англ. Н. Федорова, А. Гутермана // *Сочинения в двух томах*. Т. 2. М.: Мысль.

- Дмитриев Т. А. (2007). Теория партизана вчера и сегодня // Шмитт К. Теория партизана. М.: Праксис. С. 203–300.
- Ермаков С. (2021). Апокалиптическое народничество, или Чем опасен Агамбен // Агамбен Д. Stasis. Гражданская война как политическая парадигма. Homo Sacer, II, 2. СПб.: Владимир Даль. С. 127–188.
- Кант И. (2019). Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане / Пер. с нем. И. А. Шапиро // Кант И. К вечному миру (сборник). М.: РИПОЛ классик. С. 29–49.
- Каспэ С. И. (2016). Политическая форма и политическое зло. М.: Школа гражданского просвещения.
- Каспэ С. И. (2023). «Любовь во время войны». Против автономии политического // Философия. Журнал Высшей школы экономики. Т. 7. № 1. С. 13–61.
- Лоро Н. (2021). Разделенный город. Забвение в памяти Афин / Пер. с фр., предисл. и примеч. С. Ермакова. М.: Новое литературное обозрение.
- Платон (1922). Пир / Пер. с древнегреч. С. А. Жебелева; под ред. Л. П. Карсавина, Э. Л. Радлова // Полное собрание творений Платона в 15 томах. Т. 5. Пир, Федр. Петербург: Academia. С. 1–83.
- Платон (2017). Государство / Пер. с древнегреч. А. Н. Егунова. М.: АСТ.
- Тённис Ф. (2002). Общность и общество: основные понятия чистой социологии / Пер. с нем. Д. В. Скляднева. СПб.: Владимир Даль.
- Филиппов А. Ф. (2006). Критика Левиафана // Шмитт К. Левиафан в учении Томаса Гоббса. Смысл и фиаско одного политического символа. СПб.: Владимир Даль. С. 5–100.
- Филиппов А. Ф. (2022). Долгое ненастье. К философии гражданской войны // Вестник Европы. Т. 59. С. 31–39.
- Филиппов А. Ф. (2023). Ценности и мобилизация: к динамике стерильного возбуждения // Россия в глобальной политике. Т. 21. № 1. С. 51–70.
- Шикель И., Шмитт К. (2007). Беседа о партизанах / Пер. с нем. Ю. Ю. Коринца; общ. ред. и коммент. Т. А. Дмитриева // Шмитт К. Теория партизана. М.: Праксис.
- Шмитт К. (2005). Диктатура: от истоков современной идеи суверенитета до пролетарской классовой борьбы / Пер. с нем. Ю. Ю. Коринца; под ред. Д. В. Кузницына. СПб.: Наука.
- Шмитт К. (2007). Теория партизана / Пер. с нем. Ю. Ю. Коринца; под ред. Б. М. Скуратова. М.: Праксис.
- Шмитт К. (2008). Номос земли в праве народов *Jus Publicum Europaeum* / Пер. с нем. К. В. Лощевского, Ю. Ю. Коринца; под ред. Д. В. Кузницына. СПб.: Владимир Даль. С. 5–572.
- Шмитт К. (2010). Учение о конституции (фрагмент) / Пер. с нем. О. В. Кильдюшова // Государство и политическая форма. М.: ГУ–ВШЭ. С. 33–236.
- Шмитт К. (2016а). Понятие политического / Пер. с нем. А. Ф. Филиппова // Шмитт К. Понятие политического. СПб.: Наука. С. 280–408.
- Шмитт К. (2016б). Римский католицизм и политическая форма / Пер. с нем. А. Ф. Филиппова // Шмитт К. Понятие политического. СПб.: Наука. С. 60–92.

- Шмитт К.* (2016в). Духовно-историческое состояние современного парламентаризма / Пер. с нем. Ю. Ю. Коринца; под ред. А. Ф. Филиппова // *Шмитт К. Понятие политического*. СПб.: Наука. С. 93–170.
- Штраус Л.* (2000). Что такое политическая философия? / Пер. с англ. М. Фетисова // *Штраус Л. Введение в политическую философию*. М.: Логос, Праксис. С. 9–50.
- Arditi B.* (2008). On the Political: Schmitt contra Schmitt // *Telos*. Vol. Spring 2008. № 142. P. 7–28.
- Bendersky J. W.* (1987). Carl Schmitt and the Conservative Revolution // *Telos*. Vol. 1987. № 72. P. 27–42.
- Derrida J.* (2005). *The Politics of Friendship* / Tr. by George Collins. Verso: London and New York.
- Durden W. S.* (2011). Public and Private Responsibility: Christianity and Politics in Carl Schmitt's *The Concept of the Political* // *Christianity & Literature*. Vol. 60. № 4. P. 561–579.
- Dusenbury D. L.* (2015). Carl Schmitt on Hostis and Inimicus: A Veneer for Bloody-Mindedness // *Ratio Juris*. Vol. 28. № 3. P. 431–439.
- Hodrick C.* (2022). From Neoreaction to Alt-Right: A Schmittian Perspective // *Telos*. Vol. Spring. № 198. P. 90–112.
- Kalyvas A.* (2008). *Democracy and the Politics of the Extraordinary: Max Weber, Carl Schmitt, and Hannah Arendt*. New York: Cambridge University Press.
- Kennedy E.* (1997). Hostis not Inimicus: Toward a Theory of the Public in the Work of Carl Schmitt // *Canadian Journal of Law & Jurisprudence*. Vol. 10. № 1. P. 35–47.
- Kochi T.* (2006). The Partisan: Carl Schmitt and Terrorism // *Law and Critique*. Vol. 17. №3. P. 267–295.
- Manicas P. T.* (1982). War, Stasis, and Greek Political Thought // *Comparative Studies in Society and History*. Vol. 24. № 4. P. 673–688.
- Mouffe C.* (1999). Introduction: Schmitt's Challenge // *The Challenge of Carl Schmitt* / C. Mouffe (ed.). London and New York: Verso. P. 1–7.
- Norris A.* (1998). Carl Schmitt on Friends, Enemies and the Political // *Telos*. Vol. Summer 1998. № 112. P. 68–88.
- Orsi R.* (2023). On the Concept of Volk in Carl Schmitt // *History of European Ideas*. Vol. 49. №4. P. 692–707.
- Schmitt C.* (2008). *Political Theology II. The Myth of the Closure of any Political Theology*. Cambridge and Malden (MA): Polity Press.
- Schmitt C.* (2018). *Der Begriff des Politischen. Synoptische Darstellung der Texte*. Berlin: Duncker & Humblot.
- Slomp G.* (2009). *Carl Schmitt and the Politics of Hostility, Violence and Terror*. Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan.
- Van de Wall B.* (2023). Political Existentiality in Carl Schmitt; Reenchanted the Political // *Philosophy & Social Criticism*. Vol. o. №. o (Forthcoming). P. 1–34.
- Vardoulakis D.* (2009). Stasis: Beyond Political Theology? // *Cultural Critique*. Vol. Fall 2009. №73. P. 125–147.



Wolin R. (1992). Carl Schmitt: The Conservative Revolutionary Habitus and the Aesthetics of Horror // *Political Theory*. Vol. 20. №3: 424–447.

## War in the Time of Love: Reflection on the Article by S. I. Kasje in the Light of the Distinction between Private and Public Enmity in the Teachings of Carl Schmitt<sup>40</sup>

Vladimir Brodskiy

M. A. in Philosophy (Leiden University, the Netherlands), Senior Lecturer, Institute for Social Sciences, RANEPa and Faculty of Social Sciences, MSSES.

Address: Vernadsky Lane, 82, Moscow, 119571, Russia

E-mail: brodskiy-vi@ranepa.ru

The article develops the discussion initiated by professor S. I. Kasje in his 2023 paper *Love in the Time of War. Contra autonomy of the Political*. The text formulates Carl Schmitt's supposed response to S. I. Kasje's proposal to de-autonomize the political by creating an opportunity for the partial subordination of political relations to the Christian commandment, indicating the necessity of love for one's enemies (Mt 5:44). It is noted that, according to Schmitt, the considered prescription is valid only for private enmity, representing a different continuum in relation to the public enmity that realizes political antagonism. Love directed towards a private enemy is entirely acceptable to Schmitt. In the conditions of external tension, it can contribute to the temporary oblivion of interpersonal conflicts, thus strengthening political unity, and is fully consistent with the logic of Schmitt's teaching. Carl Schmitt's reference to Plato's description of stasis (civil war, sedition) as an illustration of the private enmity is analyzed in the text in the light of its possible contradictions. It is argued that none of the forms of stasis reveals confrontation with inimicus, the private enemy. It is questioned whether love is admissible under the conditions of a full-fledged foreign war (in Schmitt's understanding) as the apogee of political enmity. The answer takes the characteristics of various forms of war into account. A number of contemporary military trends is considered as significantly narrowing the space for love.

**Keywords:** Carl Schmitt, war, love, stasis, polemós, private enmity, public enmity

### References

- Agamben G. (2021) *Stasis. Grajdanskaya vojna kak politicheskaya paradigma*. Homo Sacer, II, 2 [Stasis. Civil War as a Political Paradigm. Homo Sacer, II, 2], Saint Peterburg: Vladimir Dal'.
- Agamben G. (2023) *Kuda mi pryishli? Epidemiya kak politika* [Where Are We Now? The Epidemic as Politics], Moscow: Nookratia.
- Arditi B. (2008) On the Political: Schmitt contra Schmitt. *Telos*, vol. Spring, no 142, pp. 7–28.
- Arendt H. (2017) *Vita Activa, ili O deyatel'noy gizni* [Vita Activa, or On Active Life], Moscow: Ad Marginem Press.
- Bashkov V. (2022) *Repeticiya politicheskogo. Seryon Kyerkegor i Karl Schmitt* [Repetition of the Political. Søren Kierkegaard and Carl Schmitt], Saint Peterburg: Vladimir Dal'.
- Bendersky J. W. (1987) Carl Schmitt and the Conservative Revolution. *Telos*, vol. 1987, no 72, pp. 27–42.

40. The author deeply thanks his friend and colleague Stanislav Toporkov for valuable criticism that took place during the work on the article. Without Stanislav's timely comments, the consideration would have taken a false trail. The author also sincerely thanks dear colleague V. V. Bashkov for informative recommendations that have improved the quality of the text.

- Brodskiy V. (2022) Gism, smert' i politicheskoye: ekzistencialniye osnovaniya ucheniy Tomasa Gobbssa i Karla Schmitta [Life, Death, and the Political: Existential Foundations of Thomas Hobbes's and Carl Schmitt's Teachings]. *Sociologiya vlasti*, vol. 23, no 3–4, pp. 72–101.
- Brodskiy V. (2023) Politicheskaya ontologiya Karla Schmitta: tojdestvo i reprezentaciya kak sposoby samoutverjdeniya poticheskoy ekzistencii [The Political Ontology of Carl Schmitt: Identity and Representation as the Ways of Self-Affirmation of Political Existence]. *Stasis*, vol. 15, no 1 (Forthcoming).
- Derrida J. (2005) *The Politics of Friendship*, Verso: London and New York.
- Dmitriyev T. (2007) Teoriya partizana vchera i segodnya [The Theory of Partisan Yesterday and Today]. Schmitt C. *Teoriya partizana* [The Theory of Partisan], Moscow: Praxis, pp. 203–300.
- Durden W. S. (2011). Public and Private Responsibility: Christianity and Politics in Carl Schmitt's The Concept of the Political. *Christianity & Literature*, vol. 60, no 4, pp. 561–579.
- Dusenbury D. L. (2015). Carl Schmitt on Hostis and Inimicus: A Veneer for Bloody-Mindedness. *Ratio Juris*, vol. 28, no 3, pp. 431–439.
- Filippov A. (2006) Kritika Levafana [Critique of the Leviathan]. Schmitt C. *Leviafan v uchenii Tomasa Gobbssa. Smisl i fiasco odnogo politicheskogo simvola* [The Leviathan in the State Theory of Thomas Hobbes: Meaning and Failure of a Political Symbol], Saint Petersburg: Valdimir Dal', pp. 5–100.
- Filippov A. (2022) Dolgoe nenastye, K filosofii grajdanskoy voyni [The Long Storm. To the Philosophy of Civil War]. *Vestnik Evropy*, vol. 59, pp. 31–39.
- Filippov A. (2023) Cennosti i mobilizatsia: k dinamike steril'nogo vzbujdeniya [Values and Mobilization: Toward the Dynamics of Sterile Arousal]. *Rossiya v globalnoy politike*, vol. 21, no 1, pp. 51–70.
- Hobbes T. (1991) *Leviafan* [Leviathan], Moscow: Misl'.
- Hodrick C. (2022) From Neoreaction to Alt-Right: A Schmittian Perspective. *Telos*, vol. Spring, no 198, pp. 90–112.
- Kalyvas A. (2008) *Democracy and the Politics of the Extraordinary: Max Weber, Carl Schmitt, and Hannah Arendt*, New York: Cambridge University Press.
- Kant I. (2019) Ideya vseobshey istorii vo vseмирno-grajdanskom plane [Idea for a Universal History from a Cosmopolitan Point of View]. Kant I. *K vyechnomu miru (sbornik)* [To Perpetual Peace (Collected Works)], Moscow: RIPOL classic, pp. 29–49.
- Kaspe S. (2016) *Politicheskaya forma i politicheskoye zlo* [The Political Form and the Political Evil], Moscow: Shkola grajdanskogo prosvyasheniya.
- Kaspe S. (2023) «Lyobov' vo vremya voyni». Protiv avtonomii politicheskogo [Love in The Time of War: Contra Autonomy of the Political]. *Filosofiya. Jurnal Visshey Shkoli Ekonomiki*, vol. 7, no 1, pp. 13–61.
- Kennedy E. (1997) Hostis not Inimicus: Toward a Theory of the Public in the Work of Carl Schmitt. *Canadian Journal of Law & Jurisprudence*, vol. 10, no 1, pp. 35–47.
- Kochi T. (2006) The Partisan: Carl Schmitt and Terrorism. *Law and Critique*, vol. 17, no 3, pp. 267–295.
- Loro N. (2021) *Razdelenniy gorod. Zabvenie v pamyati Afin* [The Divided City: on Memory and Forgetting in Ancient Athens], Moscow: Novoye literaturnoye obozreniye.
- Manicas P. T. (1982) War, Stasis, and Greek Political Thought. *Comparative Studies in Society and History*, vol. 24, no 4, pp. 673–688.
- Mouffe C. (1999) Introduction: Schmitt's Challenge. *The Challenge of Carl Schmitt* (C. Mouffe (ed.), London and New York: Verso, pp. 1–7.
- Norris A. (1998) Carl Schmitt on Friends, Enemies and the Political. *Telos*, vol. Summer 1998, no 112, pp. 68–88.
- Orsi R. (2023) On the Concept of Volk in Carl Schmitt. *History of European Ideas*, vol. 49, no 4, pp. 692–707.
- Platon (1922) Pir [the Symposium]. Platon. *Pir, Fedr*, Peterburg: Academia, pp. 1–83.
- Platon (2017) *Gosudarstvo* [the Republic], Moscow: AST press.
- Schmitt C. (2005) *Diktatura: ot istokov sovremennoj idei suvereniteta do proletarskoj klassovoj bor'by* [Dictatorship: From the Origin of the Modern Concept of Sovereignty to Proletarian Class Struggle], Saint Petersburg: Nauka.

- Schmitt C. (2007) *Teoriya partizana* [The Theory of Partisan], Moscow: Praxis.
- Schmitt C. (2008) *Nomos Zemli v prave narodov Jus Publicum Europaeum* [The Nomos of the Earth in the International Law of the Jus Publicum Europaeum], Saint Petersburg: Valdimir Dal', pp. 5–572.
- Schmitt C. (2008) *Political Theology II. The Myth of the Closure of any Political Theology*, Cambridge and Malden (MA): Polity Press.
- Schmitt C. (2010) Ucheniye o konstitucii (fragment) [Constitutional theory (fragment)]. Schmitt C. *Gosudarstvo i politicheskaya forma* [The State and the Political Form], Moscow: HSE, pp. 33–236.
- Schmitt C. (2016) Rimskij katolicizm i politicheskaya forma [Roman Catholicism and political form]. *Ponjatie politicheskogo* [The Concept of the Political], Saint Petersburg: Nauka, pp. 60–92.
- Schmitt C. (2016a) Ponjatie politicheskogo [The Concept of the Political]. *Ponjatie politicheskogo* [The Concept of the Political], Saint Petersburg: Nauka, pp. 280–408.
- Schmitt C. (2016c) Duhovno-istoricheskoe sostojanie sovremennogo parlamentarizma [The Historical and Spiritual State of Modern Parliamentarism]. *Ponjatie politicheskogo* [The Concept of the Political], Saint Petersburg: Nauka, pp. 93–170
- Schmitt C. (2018) *Der Begriff des Politischen. Synoptische Darstellung der Texte*, Berlin: Duncker & Humblot.
- Shikel I., Schmitt C. (2007) Beseda o partizane [The Dialogue on Partisan]. Schmitt C. *Teoriya partizana*, Moscow: Praxis.
- Slomp G. (2009) *Carl Schmitt and the Politics of Hostility, Violence and Terror*. Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan.
- Strauss L. (2000) Chto takoye politicheskaya filosofiya? [What is Political Philosophy?]. Strauss L. *Vvedeniye v politicheskuyu filosofiyu* [Introduction to Political Philosophy], Moscow: Logos, Praxis, pp. 9–50.
- Tönnies F. (2002) *Obshestvo i obschestvo* [Community and Society], Saint-Petersburg: Valdimir Dal'.
- Van de Wall B. (2023) Political Existentiality in Carl Schmitt; Reenchanted the Political. *Philosophy & Social Criticism*, vol. 0, no 0 (Forthcoming), pp. 1–34.
- Vardoulakis D. (2009) Stasis: Beyond Political Theology? *Cultural Critique*, vol. Fall, no 73, pp. 125–147.
- Weber M. (2023). Mejdru dvumya zakonami [Between the Two Laws]. *Rossiya v global'noy politike*, vol. 21, no 3, pp. 112–116.
- Wittgenstein L. (2017) *Logiko-filosofskiy traktat* [Logico-Philosophical Tractate], Moscow: Kanon+ROOI «Reabilitaciya».
- Wolin R. (1992) Carl Schmitt: The Conservative Revolutionary Habitus and the Aesthetics of Horror. *Political Theory*, vol. 20, no 3, pp. 424–447.
- Yermakov S. (2021). Apokalipticheskoye narodnichestvo, Ili chem opasen Agamben [Apocalyptic Populism, Or What Makes Agamben Dangerous]. Agamben G. *Stasis. Grajdanskaya vojna kak politicheskaya paradigma*. Homo Sacer, II, 2. Saint Peterburg: Vladimir Dal', pp. 127–188.

## «Православный пояс» на электоральной карте России в 2011–2021 годах\*

*Андрей Щербак*

Кандидат политических наук, заместитель заведующего Лабораторией сравнительных социальных исследований, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»  
Адрес: ул. Седова, 55-2, Санкт-Петербург, Российская Федерация 192171  
E-mail: ascherbak@hse.ru

Данная статья изучает взаимосвязь электоральной поддержки «партии власти» и православной религиозности на федеральных выборах в 2011–2021 годах. Основной предлагаемый аргумент заключается в обнаружении регионального кластера — «православного пояса», который состоит из регионов в основном Центральной России, частично Поволжья и Юга России. Данная статья показывает, что это не случайность, а новый тренд в электоральной географии России, который уже наблюдается в течение последних десяти лет. Регионы данного кластера отличаются повышенной православной религиозностью, социальным консерватизмом и лояльностью «партии власти». Используя теорию десекуляризации Питера Бергера, мы связываем во едино церковно-государственные отношения и электоральное поведение верующих. Основные гипотезы тестируются как на данных регионального, так и индивидуального уровня, с использованием широкого набора статистических методов, включая Т-тесты, панельную регрессию, множественную многоуровневую регрессию. Анализ демонстрирует, что выявленная связь между православной религиозностью и провластным электоральным поведением выявляется не только на индивидуальном, но и на региональном уровне. При этом показывается, что электоральная лояльность власти определяется в том числе и социальным консерватизмом, что позволяет сделать вывод о значимости не столько технологий манипулирования, сколько ценностных установок избирателей. Важным выводом является повышение роли регионов великорусского «ядра» в определении итогов федеральных выборов.

Ключевые слова: электоральное поведение, Русская православная церковь, религиозность, «православный пояс», социальный консерватизм, выборы в России, теория десекуляризации

Результаты прошедших в 2021 году выборов в Государственную Думу РФ позволяют сделать ряд парадоксальных наблюдений. Национальные республики ожидаемо показали завышенные показатели явки и голосования «Единой России»: например, в Кабардино-Балкарской Республике за нее отдали свои голоса 78,9% избирателей, в Карачаево-Черкесской Республике — 80%, в Башкортостане — 67,5%, в Дагестане — 81,7%, Ингушетии — 85,2%, Татарстане — 79%, Тыве — 85,3%. Но проявилась и еще одна категория регионов — типично русские области, которые также дают очень высокие показатели политической поддержки «партии власти»: например, Брянская область дала ей 64,3% голосов, Волгоградская — 58,4%, Пензенская — 56,2%, Тамбовская — 58,2%, Воронежская — 55,6%, Белгородская —

---

\* Статья подготовлена в результате проведения исследования в рамках Программы фундаментальных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).

59,2%. В целом по всей стране «ЕР» набрала 49,82% голосов (ЦИК РФ, 2021). Эти результаты нельзя назвать случайными, так как на выборах Президента РФ в 2018 году эти же регионы продемонстрировали весьма схожие показатели: Тамбовская область — 81,81% голосов за Владимира Путина, Брянская — 81,6%, Курская — 81,01%, Пензенская — 79,98%, Белгородская — 79,71%. Отметим, что если электоральные процессы в национальных республиках находятся в центре исследовательской повестки, то «обычные» русские регионы оказываются, как правило, на периферии внимания ученых. В значительной степени эти регионы оказываются недоизученными политологами, за редкими исключениями (Лункин, 2008; Козлов, 2008), представляя интерес как элемент одного из кластеров в различных интерпретациях электоральных процессов (например: Туровский, 2012), но не оказались в основном фокусе исследования.

В литературе предлагается несколько объяснений результатов прошедших за последние годы федеральных выборов. Помимо подходов, учитывающих особенности избирательного процесса мобилизации в национальных республиках (Goodnow, Moser, 2012; Goodnow, Moser, Smith, 2014; White, 2016), популярной считается концепция «политических машин» (Hale, 2003, 2007; Golosov, 2014). Эта модель фокусируется на практиках и механизмах административной мобилизации избирателей в поддержку правящей партии. В то же время эти концепции могут мало что предложить для объяснения именно регионального измерения недавних выборов, особенно в «обычных» русских регионах.

В данной работе предлагается свой вариант переосмысления электоральной географии России в 2010-х годах. Мы считаем Русскую православную церковь (РПЦ) и уровень православной религиозности важными факторами в электоральной политике, особенно с началом «консервативного поворота», обозначенного президентом Владимиром Путиным в 2012 году (Østbø, 2017). Ключевой идеей статьи выступает тезис о формировании «православного пояса» из регионов, преимущественно расположенных в Центральной России, с добавлением областей на Юге и в Поволжье. Отличительными характеристиками выявленного регионального кластера являются повышенный уровень православной религиозности, социального консерватизма и электоральной лояльности власти на федеральных выборах. Отметим, что все включенные регионы — области с высокой долей этнических русских и православных.

Важным аспектом новизны нашего подхода является рассмотрение электорального поведения изучаемых регионов в широкой социетальной перспективе — в совокупности с изучением ценностных установок. Ранее уже выдвигался тезис о наличии «православного пояса» в России (Ухватова, 2017; Щербак, Ухватова, 2018), однако только в этой работе все аргументы проверяются на максимально полных массивах данных. Во-первых, анализируются все федеральные выборы с 2011 по 2021 год, включая и референдум о поправках в Конституцию РФ. Во-вторых, для проверки тезиса и на индивидуальном уровне используются данные регионального репрезентативного опроса LCSR Regional Survey из 53 регионов.

На наш взгляд, интересным наблюдением можно считать пересечение регионов «православного пояса» с бывшим «красным поясом». Мы рассматриваем данный феномен сквозь призму теории десекуляризации Питера Бергера (Berger, 1999; Карпов, 2012; Shishkov, 2012; критика данного подхода — Малахов, Летняков, 2019). Государство было заинтересовано в сотрудничестве с РПЦ, в том числе с точки зрения способности РПЦ проводить мобилизацию верующих на выборы. Церковь, в свою очередь, нуждалась в государстве для проведения политики десекуляризации. Однако вся динамика отношений между Церковью и государством в России лежит за пределами данной статьи (см., например: Митрохин, 2004; Штекль, 2018).

Религиозность — это характеристика индивидуального уровня, поэтому основные теоретические объяснения взаимосвязи религии и электорального поведения фокусируются на индивидуальном уровне (например: Kellstedt, Green, 1993; Manza, Brooks, 1997; Layman, 1997). Обычно предлагаемые модели связывают электоральные предпочтения верующих или с различием деноминаций (включая особенности догмата, организации церковных структур), или с градацией уровня религиозности индивида, где более высокий уровень религиозности соответствует поддержке более консервативных партий и кандидатов. Мы предлагаем дополнить эти модели региональным измерением, допуская, что чем выше «региональная» религиозность, тем выше политическая поддержка власти. Основное объяснение — это участие региональных структур РПЦ в политической мобилизации верующих, что соотносится с моделью «десекуляризации сверху» (Lisovskaya, Карпов, 2010), подчеркивающей ключевую роль именно церковных структур в этом процессе, на фоне относительной слабости религиозных организаций и активистов.

Цель данного исследования — продемонстрировать наличие на политической карте России предполагаемого «православного пояса», состоящего из регионов, сочетающих повышенную православную религиозность, социальный консерватизм и электоральную лояльность. Исследования взаимосвязи религиозности и электоральных предпочтений в России уже проводились (например: Кулькова, 2015; Богачев, 2019; Карпич, 2021); свой вклад в разработку проблематики мы видим в артикуляции именно региональной перспективы. Существуют работы, посвященные отдельным региональным случаям или выборам (например: Карпич, 2020; Лункин, 2008), однако задач выявить связь между электоральным поведением, православной религиозностью в региональном разрезе еще не ставилось.

Структура работы выглядит следующим образом. В первой части описывается теоретическая рамка и дается обзор литературы. В ней мы рассматриваем теорию десекуляризации, отношения между РПЦ и государством, отдельное внимание уделяя последнему десятилетию. Вторая часть представляет собой эмпирический анализ региональных данных. Используя данные опроса АРЕНА об отношении к религии за 2012 год, мы с помощью факторного анализа выявляем регионы «православного пояса». Далее проводится регрессионный анализ, который показывает наличие взаимосвязи между религиозностью и провластным голосованием

на региональном уровне с 2011 по 2021 год. В третьей части мы используем данные индивидуального уровня — регионального репрезентативного опроса по 53 регионам — и с помощью многоуровневого регрессионного анализа находим подтверждение как более высокому уровню религиозности и социального консерватизма, так и электоральной лояльности в регионах «православного пояса». В Заключении представлены выводы и возможные интерпретации наших результатов.

## Православная религиозность и голосование в России

Какое влияние оказывает православная религиозность на результаты федеральных выборов? В этой части мы соединяем в одну модель религиозность, отношения между государством и РПЦ в современной России, политический режим и электоральное поведение. Мы во многом опираемся на положения теории десекуляризации, так как она фокусируется на изменении характера государственно-церковных отношений в посткоммунистических странах. Применяя ее к российскому политическому контексту, мы рассматриваем роль церковных структур в политической мобилизации.

В зарубежной литературе предлагаются две основные модели влияния религии на политические предпочтения: *этнорелигиозная* и *теологическая модель* реструктуризации (McTague, Layman, 2009). Этнорелигиозная модель основана на дюркгеймовском понимании религии как групповом явлении, что подразумевает важность таких факторов, как этничность, раса, регион. Религиозная доктрина и обряды воспринимаются как механизмы поддержания групповых норм и традиций среди последователей. В результате групповая сплоченность и артикуляция отличий от других социальных групп позволяют политикам манипулировать верующими, апеллируя к групповой идентичности. Вторая модель в большей степени подчеркивает важность не деноминаций, а верований и поведения верующих. Главное в ней — это поддержка традиционных религиозных норм и обрядов, а также политиков, которые заявляют о своем согласии с соответствующими ценностными установками. Считается, что случай России относится к первой модели, из-за наличия сильной ассоциации между православием и русской этнической идентичностью (про обзор подходов к определению религиозной принадлежности см.: Filatov, Lunkin, 2006); при относительно невысокой доле воцерковленных культурная идентификация играет основную роль (Рыжова, 2010).

Для описания трансформаций в церковно-государственных отношениях мы используем *теорию десекуляризации* (Berger, 1999). Согласно ей, после коллапса коммунизма в Восточной Европе в отношениях между религией и обществом стала происходить «контресекуляризация», выражающаяся в сближении светских институтов и религиозных норм, возрождении религиозных практик, возвращении религии в публичную сферу (Lisovskaya, Karpov, 2010: 278). В своем роде это реакция на воинственный атеизм советской эпохи. При этом случай постсоветской России характеризуется как «десекуляризация сверху»: так как низовые участники

религиозного возрождения — прихожане, церковные НКО, религиозные активисты — довольно слабы и малочисленны, основную роль в нем играют официальные церковные структуры. Только в союзе с государством РПЦ может успешно продвигать свою повестку, которая включает как сугубо церковные вопросы, так и светские, в том числе связанные с интересами в сфере образования, здравоохранения, демографии, культуры. Социолог Кристина Штекль (2018) предложила классификацию государственно-церковных отношений: секуляризм (*laïcité*), избирательное сотрудничество и государственная церковь. Секуляризм предполагает отделение всех религий от государства, они на равных условиях конкурируют за внимание и ресурсы государства. Этот тип соответствует идеалу светского государства, но на практике он едва ли где-либо в посткоммунистических странах был достигнут. Вариант государственной церкви, с приданием одной из религий статуса государственной (например, Греция, Дания), встречается довольно редко. Основным вариантом оказывается модель избирательного сотрудничества, которая предполагает предоставление различных привилегий одной или нескольким «традиционным» религиям (Штекль, 2018). Случай России описывается именно как избирательное сотрудничество; при этом в последние годы позицию РПЦ можно было иногда трактовать как стремление к модели государственной церкви. Ключевым аспектом здесь является взаимодействие РПЦ и государства по крайне широкому спектру вопросов, включая сугубо политические. Обе стороны заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве.

Данный подход позволяет свести воедино государство (потребность в дополнительной легитимации со стороны Церкви и верующих), Церковь (поддержка со стороны государства, в том числе ресурсная) и верующих (одобрение союза светской и церковной власти, готовность следовать наставлениям клира). Особую роль здесь играют церковные структуры, в том числе региональные, которые выступают своего рода посредниками между государством и верующими. Почему тогда верующие поддерживают именно «Единую Россию»? Можно предложить два объяснения. Во-первых, из-за ее консервативной повестки, если считать, что в последние годы происходил сдвиг «ЕР» в сторону умеренно правой консервативной идеологии. Во-вторых, по причине идентификации «ЕР» как наиболее провластной, лояльной президенту партии. Второе объяснение мы считаем более убедительным: несмотря на следование «ЕР» с 2012 года политике «консервативного поворота», верующие избиратели поддерживают ее во многом по причине того, что она является «партией власти». Согласно нашей модели, структуры РПЦ постоянно им об этом напоминают. Определенное влияние оказывает характер российского политического режима: как у структур РПЦ едва ли есть возможность «продать» голоса верующих избирателей иной партии, кроме «партии власти», так и у верующих избирателей едва ли есть иной выбор для демонстрации своей лояльности РПЦ и государству. У них нет возможности выбирать между «религиозными консерваторами» и «светскими традиционалистами», реальный выбор состоит или в поддержке «ЕР», или неучастии в выборах. Для РПЦ же это



ситуация «монопольного соглашения», при котором есть один-единственный «покупатель» голосов верующих — Кремль; задача же состоит в максимизации числа этих голосов.

Сотрудничество с государством, в том числе ради электоральной мобилизации верующих де-факто делает структуры РПЦ частью «политических машин» на местном и региональном уровне (e.g., Гилев, 2017). Политика «десекуляризации сверху» придала новый импульс развитию консервативных групп, движений, активистов в России, особенно начиная с 2012 года. С объявлением «консервативного поворота» традиционалистские круги получили необычайную поддержку своих инициатив, что и создало благоприятный фон для возвышения в российской электоральной политике кластера регионов, которые мы называем «православным поясом».

Можно утверждать, что РПЦ оказалась одним из главных выгодополучателей политики «консервативного поворота». С момента интронизации патриарха Кирилла в 2009 году РПЦ демонстрирует более активную позицию в социально-политической жизни страны. Церковные структуры начали создавать новые институты, выдвигать громкие инициативы и запускать новые общественные кампании — как минимум в сфере образования, здравоохранения, культуры. РПЦ, по сути, поддерживала откат от демократических принципов управления, выдвигая тезис «Вся власть от Бога» и тем самым легитимируя несменяемость власти (Ухватова, 2018).

Учитывая важную символическую роль РПЦ и православия для российских граждан, политики давно пытались использовать религию в своих целях. Исследование программ политических партий с 1995 по 2005 год выявило повышение значимости православия политиками как символа русской культуры и патриотизма (Раркова, 2006). В другой работе показано, что священники высказывались о политике во время богослужений в православных храмах, об этом заявляли около 18% опрошенных. При этом около 14% сообщали о том, что это повлияло на их электоральные предпочтения (Богачев, Сорвин, 2019).

Как связаны православная религиозность и электоральные предпочтения? Анализ, проведенный А. Кульковой на данных Европейского социального исследования (ESS), показал положительный эффект православной религиозности на провластное голосование (Кулькова, 2015). В другой работе была выявлена нелинейная связь между православной религиозностью и голосованием за «ЕР»: как наименее религиозные, так и наиболее религиозные респонденты не поддерживали «партию власти», в то время как умеренно религиозные ее поддерживали (Богачев, 2016). Эти результаты соотносятся с полученными ранее. Например, Р. Лункин (2008) показал, что более «православные» регионы, в основном в Центральной и Южной России, были более склонны голосовать за «ЕР» и «патриотов». Еще более ранние наблюдения обнаруживали, что среди «православных» регионов преобладали прогосударственные и коммунистические установки (Лункин, 2008). В сравнительном исследовании политической культуры в России Н. Козлов (2008) фиксирует «православный морализм», который преобладает в регионах Черноземья — Липецке, Тамбове, Курске, Брянске, Белгороде, и в Поволжье — Пензе и Ульяновске.

К уже предложенным ранее политическим и географическим размежеваниям — коммунисты-демократы, Центр-периферия, области-республики — мы предлагаем добавить и религиозную перспективу. Фактор православной религиозности оказывает важное влияние на результаты голосования на федеральных выборах как минимум последние 10 лет. Суть нашего аргумента состоит в том, что взаимосвязь православия и голосования носит специфический региональный характер, который проявляется в наличии особого кластера регионов с повышенным уровнем религиозности, социального консерватизма, лояльности и более высоким уровнем провластного голосования. Можно предположить как минимум две причины выделения данного кластера. Во-первых, эти регионы отличаются определенными социально-экономическими характеристиками: доля сельского населения, доход, безработица, доля русских. Отметим, что эти же факторы обсуждаются и в дискуссии о применимости концепта «политических машин» для объяснения электорального процесса в России (Hale, 2003, 2007; Golosov, 2014). Во-вторых, регионы данного кластера могут отличаться ценностными установками. Стоит предположить, что религиозность может оказаться элементом более широкой ценностной системы, основанной на консервативных, традиционных нормах, лояльности властям и конформизме (Middendorp, 1991; De Koster, Van der Waal, 2007). Так как религиозность в России может считаться основным маркером консерватизма, в данном случае можно допустить тождественность этих двух понятий. Нам кажется это оправданным, особенно после того, как РПЦ стала одним из главных проводников политики «консервативного поворота», объявленной президентом Путиным в 2012 году (Østbø, 2017), а православная религиозность прочно ассоциируется с множеством консервативных инициатив.

Пытаясь изучить новые тренды в российской электоральной географии, мы собираемся выявить новый региональный кластер, «православный пояс», который отличается более высоким уровнем православной религиозности, социального консерватизма и электоральной поддержки Кремля на федеральных выборах. Мы формулируем следующие гипотезы:

- Н1: Более высокий уровень *региональной* православной религиозности связан с более высокой электоральной поддержкой Кремля на выборах 2011–2021 годов.
- Н2: Более высокий уровень *индивидуальной* православной религиозности связан с более высоким уровнем социального консерватизма.
- Н3: Более высокий уровень *индивидуальной* православной религиозности связан с более высоким уровнем электоральной лояльности.

Подтверждение данных гипотез позволит продемонстрировать, что связь между православной религиозностью и голосованием наблюдается не только на индивидуальном уровне, но и на региональном. Существование «православного пояса» покажет, что влияние религии и церкви на политику в России растет, в соответствии с моделью «десекуляризации сверху».

Наша эмпирическая стратегия выглядит следующим образом. Вначале мы используем данные опроса АРЕНА, проведенного в 2012 году, для классификации регионов по уровню и типам православной религиозности. Следующим шагом будет анализ влияния степени «православности» регионов на поддержку «ЕР» и президента В. Путина на федеральных выборах с 2011 по 2021 год на региональном уровне. После этого мы проверим наши выводы на индивидуальном уровне, используя данные опроса LCSR Regional Survey. С помощью Т-тестов и многоуровневого регрессионного анализа будет показано, что респонденты из регионов «православного пояса» более консервативны, более лояльны и более склонны поддерживать «Единую Россию».

### **Голосование за власть на федеральных выборах в 2011-2021 годах: появление «православного пояса»**

Согласно определению российских исследователей С. Филатова и Р. Лункина (Filatov, Lunkin, 2005), религиозность выражается в численности практикующих верующих, то есть тех, кто разделяет определенное вероучение, исполняет предписываемые религиозные практики. В данной работе мы в большей степени опираемся на определение Чарльза Глока, включающее такие измерения, как «опытное» (субъективные религиозные переживания), «обрядовое», «идеологическое» (приверженность основным символам веры), «интеллектуальное» (знакомство с религиозной литературой, знание канона), «интегративное» (перенос религиозности на иные сферы жизни индивида) (Glock, 1962). В итоге мы используем комплексную шкалу для измерения религиозности.

Для измерения влияния православной религиозности на электоральное поведение мы выбрали данные проекта АРЕНА, реализованного центром СРЕДА в 2012 году. На наш взгляд, данные этого опросного проекта представляют собой наиболее детальную и подробную информацию о религиозности практически во всех регионах страны. При этом мы ограничиваем нашу выборку только преимущественно православными регионами, исключая мусульманские республики Северного Кавказа и Поволжья, а также Тыву. Всего в выборке — 72 региона; данные доступны только на региональном уровне. Чтобы выделить различные типы религиозности на уровне регионов, мы используем метод анализа главных компонент.

Согласно опросу, 41% респондентов отвечает положительно на вопрос *«Исповедую православие и принадлежу к Русской православной церкви»*. Самый высокий уровень ответов — в Тамбовской и Липецкой областях (79%). При этом религия является важной для довольно небольшой части россиян, только 15% респондентов утвердительно ответили на вопрос *«религия играет важную роль в моей жизни»*. Для дальнейшего анализа мы выбрали следующие вопросы, соотнося их с подходом Глока:

*«Опытное»*

— *исповедую православие и принадлежу к Русской православной церкви*

— *религия играет важную роль в моей жизни;*

- верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую;
- я лично сталкивался(-лась) с чудесными, необъяснимыми явлениями  
«Обрядовое»
- я молюсь каждый день, положенными молитвами или своими словами;
- я по возможности соблюдаю все религиозные предписания (в соответствии с моим вероисповеданием);
- я исповедуюсь раз в месяц и чаще  
«Идеологическое»
- способен жертвовать;
- я поддерживаю традиционные семейные устои, когда главой семьи является мужчина;
- я безвозмездно помогаю другим людям, занимаюсь благотворительностью  
«Интеллектуальное»
- я прочитал(-а) Евангелия  
«Интегративное»
- я готов(-а) участвовать в гражданской, добровольной, общественной работе

Результаты факторного анализа представлены ниже (табл. 1). Было извлечено два фактора; значимыми признавались только коэффициенты выше 0,500. Факторные нагрузки были сохранены как регрессионные коэффициенты, что позволило проранжировать регионы по каждому из факторов. Фактор 1 варьирует от -1,956 to 3,086 (топ-5 регионов — Еврейская АО, Калужская обл., Ямало-Ненецкий АО, Брянская и Новгородская обл.), а Фактор 2 — от -1,448 to 2,607 (топ-5 — Северная Осетия, Тамбовская, Липецкая, Пензенская и Нижегородская обл.). Оба фактора стандартизованы (средняя — 0, стандартное отклонение 1), они показывают низкие и высокие уровни разных типов религиозности на региональном уровне.

Таблица 1. Эксплораторный факторный анализ православной религиозности

Вопрос	Фактор 1	Фактор 2
Исповедую православие и принадлежу к Русской православной церкви	,886	-,059
Верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую	-,730	,188
Религия играет важную роль в моей жизни	,669	,255
Я по возможности соблюдаю все религиозные предписания (в соответствии с моим вероисповеданием)	,841	-,125
Способен жертвовать	-,290	,770

Я поддерживаю традиционные семейные устои, когда главой семьи является мужчина	,253	,628
Я молюсь каждый день, положенными молитвами или своими словами	,758	,191
Я прочитал(-а) Евангелия	,387	,645
Я лично сталкивался(-лась) с чудесными, необъяснимыми явлениями	,022	,647
Я исповедуюсь раз в месяц и чаще	,500	,497
Я безвозмездно помогаю другим людям, занимаюсь благотворительностью	,036	,789
Я готов(-а) участвовать в гражданской, добровольной, общественной работе	-,234	,852
Извлеченная дисперсия	32,6%	27,6%

Источник: опрос АРЕНА (региональный уровень). Метод ротации: Варимакс с нормализацией Кайзера.

Фактор 1: «*обрядовая вера*» (ОВ), выделяющий регионы, в которых верующие отдадут приоритет обрядовой составляющей религиозности (опытное и обрядовые составляющие по Глоку), включая принадлежность к учению, молитвы, исповедание.

Фактор 2: «*консервативный активизм*» (КА), подчеркивающий приоритет идеологической, интеллектуальной и интегративной составляющей религиозности (то есть служение, волонтерство, благотворительность и традиционные ценности, над обрядовостью).

Как интерпретируются данные факторы? Фактор 1 подчеркивает важность обрядов и принадлежность к РПЦ, в то время как Фактор 2 выделяет консервативную повестку и религиозный активизм. Можно предположить, что регионы «консервативного активизма» готовы поддерживать Кремль за его консервативную повестку, в то время как регионы «обрядовой веры» голосуют для демонстрации лояльности. Однако после предварительного анализа было обнаружено, что Фактор КА не коррелирует ни с одним показателем электорального поведения, в то время как Фактор ОВ значимо коррелирует со всеми, поэтому было решено исключить Фактор КА из дальнейшего анализа. Кроме того, была выявлена сильная положительная корреляция между Фактором ОВ и долей ответов на вопрос «*Исповедую православие и принадлежу к РПЦ*»: 0,886 ( $N = 72$ ,  $p = 0,00$ ), в то время как с Фактором КА эта связь отрицательная и незначимая — 0,059 ( $N = 72$ ,  $p = 0,625$ ). Хотя наличие столь сильной связи между Фактором ОВ и православием ставит вопрос о самостоятельности этого показателя, мы считаем, что он более ре-

левантский по сравнению с долей православных, так как отражает разные аспекты именно религиозности, а не просто принадлежность к конфессии.

Данный анализ позволил нам выделить регионы «православного пояса»: в него были отобраны регионы с максимальной факторной нагрузкой. Этот список включил в себя 15 регионов из верхнего квантиля: Липецкая, Тамбовская, Белгородская, Курская, Костромская, Тульская, Нижегородская, Пензенская, Брянская, Рязанская, Волгоградская, Воронежская, Ульяновская, Астраханская обл., а также Северная Осетия. Фактор ОВ варьирует от 2,561 и до -1,443, в список попали регионы со значением не менее 0,725.

Для дальнейшего анализа мы создали следующие переменные:

*Доход* — логарифм среднего дохода по региону в 2011, 2016 и 2020 годах (в рублях, данные Росстата)

*Село* — доля сельского населения в 2011, 2016 и 2021 годах (данные Росстата)

*Русские* — доля этнических русских в регионе (данные переписи 2010 года)

*Безработица* — доля безработного населения в регионе в 2011, 2016 и 2020 годах (данные Росстата)

Для проверки гипотезы о влиянии православной религиозности на электоральную поддержку власти на федеральных выборах был проведен статистический анализ с использованием метода панельной регрессии. Ключевой независимой переменной является региональное значение *Фактора ОВ*. Так как православие иногда считается «этнической религией» русских (Filatov, Lunkin, 2006), в качестве контрольной переменной мы используем долю русских. Также включены основные социально-экономические индикаторы (доход, безработица, доля сельского населения). В качестве зависимых переменных мы используем объединенный пул данных по доле голосов за «Единую Россию» в 2011, 2016 и 2021 годах; по доле голосов за президента В. Путина в 2012 и 2018 годах. В обоих случаях мы показываем спецификации моделей методом *pooling* (результаты со спецификацией методом *random effects* дали очень похожие результаты). Отдельно мы проводим схожий регрессионный анализ (OLS) с зависимой переменной *доля голосов на референдуме за поправки в Конституцию РФ* в 2020 году. Результаты анализа представлены в таблицах 2 и 3.

Таблица 2. Голосование и православная религиозность на федеральных выборах, 2011-2021 (региональный уровень)

	M1	M2
	«ЕР» Pooling	Путин Pooling
Фактор «Обрядовая вера»	0,045*** (0,007)	0,022*** (0,08)
Русские, %	-0,135*** (0,046)	-0,039 (0,050)
Сельское население, %	0,129* (0,069)	0,314*** (0,081)
Log Доход	-0,004 (0,016)	0,162*** (0,025)

Безработица, %	-0,097 (0,170)	0,088 (0,160)
<i>R-square</i>	0,255	0,278
<i>Adj. R-square</i>	0,238	0,252
<i>N</i>	216	144

Примечания: \* $p < 0,05$ ; \*\* $p < 0,01$ . Нестандартизованные коэффициенты, стандартные ошибки в скобках. Источник: опрос АРЕНА 2012, Росстат, ЦИК РФ.

Таблица 3. Голосование и православная религиозность на референдуме за поправки в Конституцию РФ в 2020 году

	М3
	Поправки OLS
Фактор «Обрядовая вера»	0,033*** (0,008)
Русские, %	-0,001 (0,055)
Сельское население, %	0,175* (0,091)
Log Доход	-0,029 (0,030)
Безработица, %	-0,988** (0,434)
<i>R-square</i>	0,398
<i>Adj. R-square</i>	0,352
<i>N</i>	72

Примечания: \* $p < 0,05$ ; \*\* $p < 0,01$ . Нестандартизованные коэффициенты, стандартные ошибки в скобках. Источник: опрос АРЕНА 2012, Росстат, ЦИК РФ.

Данные регрессионного анализа показывают, что во всех моделях Фактор ОВ значим, с ожидаемым знаком: более православные регионы оказывают более высокую поддержку власти как на выборах в ГД, так и на выборах президента или при голосовании на референдуме за конституционные поправки. Контрольные переменные проявили себя различным образом. В моделях про голосование за «ЕР» в ГД РФ значимое негативное влияние оказывала «доля русского населения», что соотносится с предыдущими исследованиями (Goodnow, Moser, 2012; Goodnow, Moser, Smith, 2014; White, 2016), социально-экономические переменные оказались незначимыми. В моделях с голосованием за В. Путина значимы «Доход» и «Сельское население», в то время как незначимость доли русских может говорить о равномерной поддержке президента среди всех этнических групп. В модели с голосованием за конституционные поправки значимыми оказались «Сельское население» и «Безработица». Таким образом, степень «православности» региона, с учетом эффекта социально-экономических факторов оказывает значимое влияние на провластное голосование во всех моделях, что подтверждает Гипотезу 1. В следующей части мы проверяем выявленную связь между православной религиозностью и электоральным поведением уже на индивидуальном уровне.

## Ценностные установки «православного пояса»

Полученные нами результаты основаны на данных регионального опроса, проведенного в 2012 году. В этой части мы подтверждаем наличие «православного пояса» в России, используя данные опроса LCSR Regional Survey 2019–2020, проведенного в 60 регионах страны. Это репрезентативный опрос, который в том числе содержал вопросы об отношении к религии и религиозности, установкам о репродуктивном поведении, доверии политическим институтам, оценке деятельности губернатора и мэра, поддержке политических партий. Используя методы Т-теста (Mann-Whitney U Test), многоуровневой логистической регрессии, мы показываем, что респонденты «православного пояса» характеризуются более высокими уровнями религиозности, социального консерватизма и лояльности к власти, в том числе декларируемой поддержки «ЕР». Наша выборка, после исключения шести преимущественно мусульманских регионов (Северный Кавказ и Поволжье) и Республики Тыва включает 11 регионов «православного пояса» (Воронежская, Белгородская, Тамбовская, Курская, Тульская, Волгоградская, Нижегородская, Пензенская, Астраханская, Ульяновская обл., Северная Осетия) и 42 «обычных» региона<sup>2</sup>. Мы предполагаем, что жители «православного пояса» значительно отличаются от остальных как своими ценностными установками, так и политическими предпочтениями.

Сначала мы создали бинарную переменную «ПрПояс», которая кодирует регионы «православного пояса» как (1), остальные — (0).

Опрос включал в себя три вопроса про измерение религиозности.

*Независимо от того, посещаете Вы религиозные службы или нет, можете ли Вы сказать, что Вы: (1) религиозный человек, (2) нерелигиозный человек, (3) атеист.* Далее переменная была перекодирована в обратном порядке; затем она была перекодирована в бинарную переменную «Религиозность» (1 — да, 0 — нет).

*Не считая венчаний, похорон и крещений, как часто Вы посещаете религиозные службы в настоящее время? (1) чаще, чем раз в неделю, (2) раз в неделю, (3) раз в месяц, (4) по особым религиозным праздникам, (5) раз в год, (6) реже, чем раз в год, (7) никогда или почти никогда.* Мы перекодировали переменную в обратном порядке: (1) никогда и (7) чаще, чем раз в неделю.

*Исповедуете ли Вы какую-либо религию?* Мы перекодировали ответы в бинарную переменную «Православие», где (1) — Православие, и (0) — для иной другой религии. Далее мы создали переменную «Православная религиозность» (произведение «Религиозности» и «Православия»), где «Православный религиозный» — (1), а остальные значения — (0).

---

2. Москва, Санкт-Петербург; Московская, Владимирская, Тверская, Ярославская, Ленинградская, Архангельская, Вологодская, Мурманская, Калининградская, Ростовская, Самарская, Саратовская, Оренбургская, Свердловская, Челябинская, Кемеровская, Тюменская, Новосибирская, Иркутская, Омская, Томская, Амурская, Магаданская, Сахалинская обл.; Ставропольский, Краснодарский, Красноярский, Забайкальский, Алтайский, Приморский, Хабаровский край; Удмуртия, Чувашия, Мордовия, Коми, Крым, Бурятия, Тува, Якутия (Саха); Ханты-Мансийский АО.



Вначале мы сделали Mann-Whitney U Test, аналог Т-теста для порядковых переменных, чтобы проверить, действительно ли жители «православного пояса» отличаются более высокой религиозностью. Анализ выявил значимые различия, наше предположение подтвердилось (табл. 4).

Таблица 4. Mann-Whitney U Test по религиозности: сравнение регионов «православного пояса» и «обычных» регионов

	Пр.Пояс	N	Mean	w	Sig.
Независимо от того, посещаете Вы религиозные службы или нет, можете ли Вы сказать, что Вы: (1) атеист, (2) нерелигиозный человек, (3) религиозный человек?	Да	2483	2,79	10 483 019	,000**
	Нет	9068	2,65		
Не считая венчаний, похорон и крещений, как часто Вы посещаете религиозные службы в настоящее время?	Да	2430	2,57	11 439 696	,000**
	Нет	10 462	2,25		

Источник: LCSR Regional Survey 2019-20. Значимость: \*p < 0,05; \*\*p < 0,01.

Далее мы сделали еще один подобный тест, чтобы проверить, отличаются ли жители «православного пояса» по своим ценностным установкам; можно ли утверждать, что они являются носителями более традиционалистских, консервативных, лоялистских установок. Мы включили в анализ бинарную переменную «Поддержка ЕР» (1 — поддержка «ЕР», 0 — поддержка иной партии), которая есть результат перекодирования вопроса «Какая партия является наиболее близкой к Вашим взглядам?»

Результаты представлены в таблице 5.

Таблица 5. Mann-Whitney U Test по консерватизму, лояльности, политическому доверию и активизму: «Православный пояс» vs «обычные» регионы

	Пр.Пояс	N	Mean	w	Sig.
В какой степени гомосексуализм может быть оправдан? (1 — всегда оправдан, 10 — никогда не оправдан)	Да	3178	9,01	19 449 007	,000***
	Нет	12 929	8,72		
В какой степени аборт может быть оправдан? (1 — всегда оправдан, 10 — никогда не оправдан)	Да	3223	7,13	19 858 696	,000***
	Нет	13 056	6,85		
В какой степени развод может быть оправдан? (1 — всегда оправдан, 10 — никогда не оправдан)	Да	3200	5,68	19 847 541	,000***
	Нет	13 132	5,40		

Как бы Вы оценили работу губернатора области? (1 — очень плохо, 4 — очень хорошо)	Да	2758	2,85	14 390 079	,000***
	Нет	10 875	2,79		
Как бы Вы оценили работу мэра Вашего города (главы района)? (1 — очень плохо, 4 — очень хорошо)	Да	2587	2,61	1 251 938	,000***
	Нет	10 321	2,52		
Насколько Вы доверяете правительству? (1 — совсем не доверяю, 4 — полностью доверяю)	Да	3228	2,57	20 990 006	,258
	Нет	13 167	2,55		
Насколько Вы доверяете Государственной Думе? (1 — совсем не доверяю, 4 — полностью доверяю)	Да	3184	2,25	20 357 989	,104
	Нет	13 019	2,21		
Насколько Вы доверяете Президенту России? (1 — совсем не доверяю, 4 — полностью доверяю)	Да	3253	3,06	20 949 250	,009***
	Нет	13 249	3,00		
Поддержка «ЕР» (1 — поддержка «ЕР», 0 — иной партии)	Да	2255	,50	9 654 018	,008***
	Нет	8840	,46		
Готовы ли Вы делать материальные пожертвования на благотворительные акции? (0 — не готов, 1 — да, готов)	Да	2907	,47	22 120 760	,025*
	Нет	11 000	,48		
Готовы ли Вы работать волонтером для решения общественной проблемы, для благотворительной акции? (0 — не готов, 1 — да, готов)	Да	3347	,46	16 204 155	,195
	Нет	12 938	,48		

Источник: LCSR Regional Survey 2019. «Да» — православный верующий, «Нет» — иное. Значимость: \* $p < 0,05$ ; \*\* $p < 0,01$ .

Результаты анализа показывают значимые отличия респондентов «православного пояса» от остальных регионов: они более консервативны и лояльны; за исключением доверия правительству, Государственной Думе и готовности работать волонтером. В том числе они более консервативны в отношении к репродуктивному поведению, более высоко оценивают работу местных и региональных властей, у них более высокий уровень доверия парламенту и президенту, более

высокий уровень поддержки партии «Единая Россия». Эти данные подтверждают Гипотезу 2.

Наш следующий шаг — это дополнительная проверка гипотезы о более высоком уровне поддержки «ЕР» в регионах «православного пояса», на индивидуальном уровне. Мы применяем метод многоуровневой логистической регрессии, используя переменную «Поддержка ЕР» в качестве зависимой переменной. Группирующей переменной второго уровня является регион ( $N = 53$ ); ключевой независимой переменной второго уровня — «Фактор ОВ». Ключевой независимой переменной индивидуального уровня является «Православный религиозный». Наши социально-демографические контрольные переменные «Пол» (0 — М, 1 — Ж), «Возраст» (в годах), «Образование» (1 — Начальное образование или меньше, 4 — Высшее образование или научная степень), «(Субъективный) доход» (1 — Очень трудно жить на такой доход, 4 — Живете, не испытывая материальных затруднений). Сначала мы тестируем «пустую» модель ANOVA (M1), затем добавляем переменную второго уровня Фактор ОВ (M2), потом добавляем демографические контроли (M3), а после этого последовательно вставляем переменные социального консерватизма (M4), доверия политическим институтам (M5) и все переменные вместе (M6). Модели M4-M6 могут показать, связана ли поддержка респондентами «Единой России» с их традиционалистскими установками и институциональным доверием. Результаты анализа представлены в таблице 6.

Таблица 6. «Православный пояс» и поддержка «Единой России» в 2018 году: многоуровневая логистическая регрессия

	M1	M2	M3	M4	M5	M6
Фактор ОВ		0,106*** (0,031)	0,101*** (0,033)	0,102*** (0,034)	0,061* (0,032)	0,068** (0,034)
Правосл. религ.			0,290*** (0,042)	0,222*** (0,044)	0,148*** (0,049)	0,086* (0,051)
Пол			0,853*** (0,043)	0,969*** (0,046)	0,762*** (0,050)	0,845*** (0,053)
Возраст			0,003*** (0,001)	0,0003 (0,001)	-0,015*** (0,002)	-0,015*** (0,002)
Образование			-0,157*** (0,027)	-0,141*** (0,029)	-0,086*** (0,032)	-0,076** (0,033)
Доход (суб.)			0,283*** (0,023)	0,302*** (0,025)	0,050* (0,028)	0,055* (0,029)
Гомос-ть оправдана				0,060*** (0,010)		0,031** (0,012)

Аборт оправдан				0,040*** (0,009)		0,027** (0,011)
Развод оправдан				0,036*** (0,009)		0,019* (0,010)
Доверие правительству					0,471*** (0,036)	0,458*** (0,038)
Доверие ГД					0,270*** (0,032)	0,274*** (0,034)
Доверие президенту					0,796*** (0,038)	0,786*** (0,039)
Intercept	-0,120*** (0,038)	-0,133*** (0,032)	-1,100*** (0,116)	-2,114*** (0,151)	-4,349*** (0,160)	-4,889***
Наблюдения	11 095	10 874	10 375	9557	9862	9173
Log Likelihood	-7 632,2	-7 481,6	-6 812,9	-6 191,3	-5 233,1	-4 846,1
AIC	15 268,3	14 969,3	13 641,9	12 404,6	10 488,2	9 720,2
BIC	15 282,9	14 991,2	13 699,8	12 483,4	10 567,4	9 819,9
Adj. ICC	0,017	0,010	0,011	0,012	0,008	0,008

Примечание: \*\* $p < 0,01$ ; \* $p < 0,05$ ; + $p < 0,1$ . Нестандартизованные коэффициенты, стандартные ошибки в скобках. Зависимая переменная — поддержка «ЕР». Группирующая переменная — регион. Источник: LCSR Regional Survey 2019-20

Все модели показывают значимость ключевых переменных как второго уровня — Фактор ОВ, так и индивидуального уровня — «православной религиозности». Среди значимых предикторов оказываются — Пол (женщины чаще склонны поддерживать «ЕР»), Доход (чем выше доход, тем выше поддержка), Образование (чем ниже образование, тем выше поддержка «ЕР»). Возраст меняет знак от положительного в М3 (чем старше, тем выше поддержка «ЕР») — до отрицательного (чем младше, тем ниже поддержка «ЕР» в М5 и М6. В этой связи едва ли Возраст является важным предиктором для объяснения связи православной религиозности и электоральной лояльности. Модели М4, М5 и М6 показывают значимость установок социального консерватизма и институционального доверия для объяснения причин поддержки «ЕР». Для респондентов оказываются значимыми как установки социального консерватизма, так и институционального доверия. Значения ICC (коэффициента интерклассовой корреляции) варьируют от 1,7 до 0,8%. Гипотеза 3, таким образом, подтвердилась. В целом полученные результаты показывают, что православная религиозность оказывает значимое влияние на под-

держку «партии власти» не только на индивидуальном, но также и на региональном уровне: она выше среди регионов «православного пояса». Резюмируя, можно сделать вывод, что индивидуальные данные подтверждают наш тезис о существовании «православного пояса» на политической карте России. Жители этого пояса не только более склонны поддерживать «Единую Россию» по сравнению с жителями иных регионов, но также и более религиозны, более консервативны, более лояльны в отношении политических институтов.

## Заключение

В данном исследовании был предложен новый подход к изучению электоральной географии России в последнее десятилетие, с 2011 по 2021 год. Мы утверждаем, что на политической карте России можно выявить новый кластер регионов — «православный пояс», который отличается повышенной православной религиозностью, социальным консерватизмом, политической и электоральной лояльностью власти. Используя различные источники данных о религиозности, применяя разнообразные статистические методы, анализируя как региональный, так и индивидуальный уровень, мы приходим к выводу не только о влиянии православной религиозности на поддержку «ЕР» и президента В. Путина, но и об устойчивости данного тренда. Это не случайность, не аномалия (например, связанная с подсчетом голосов), а важный социетальный сдвиг — на уровне ценностей, установок и политического поведения. Удивительно, но предлагаемый нами пояс регионов практически полностью совпадает с географией «красного пояса» 1990-х годов, ареалом поддержки КПРФ.

Связь между религиозностью и голосованием уже давно изучена и объяснена, но во многом на индивидуальном уровне. Как объяснить проявление этой взаимосвязи именно на региональном уровне? Хотя очевидно, что данная постановка вопроса требует отдельного изучения, на основании иных данных и, возможно, иных методологических подходов позволим себе несколько спекулятивно предположить, что важную роль могут играть региональные структуры РПЦ. Обладая значимым влиянием на паству, с одной стороны, и поддерживая тесное сотрудничество с региональными органами власти, с другой стороны, церковные структуры могут оказываться значимым структурным звеном в организации политической мобилизации верующих. Вероятно, регионы «православного пояса» управляются консервативными администрациями, которые стремятся распространить «традиционные ценности» на местное население. Структуры РПЦ играют важную роль в процессе институционализации отношений между местными элитами и населением. В данной модели это в большей степени движение «сверху вниз» — от РПЦ к верующим, чем «снизу вверх» — от паствы к Церкви.

Объявление политики «консервативного поворота» можно считать одной из причин проявления «православного пояса» на политической карте России. Включение в текущую повестку защиты традиционных ценностей, использование в этих целях символического капитала РПЦ принесло свои политические дивиденды: консерва-

тивные регионы, похоже, стали еще более консервативными и тем самым получили шанс повысить свою субъектность в российской политике. На наш взгляд, консервативные голоса православного и русского ядра стоит рассматривать как важнейшую часть базы политической поддержки Кремля. Однако вопрос о способности конвертировать свой политический капитал в экономические блага и привилегии, например, дополнительные трансферты, инвестиции, программы развития, остается открытым и требует дальнейших исследований. Проводя аналогию с другой группой регионов, демонстрирующих повышенный уровень поддержки федеральной власти, с этническими республиками, можно отметить, что повышенная лояльность вознаграждается Центром. Если выделять в базе поддержки Кремля региональные составляющие, то ее ключевыми элементами окажутся именно этнические республики и регионы «православного пояса». На первый взгляд этот альянс кажется неожиданным и ситуативным, ведь это исконно русские земли и мусульманские республики. Позволим себе предположить, что его реальной основой может оказаться приверженность жителей этих регионов консервативным, традиционным ценностям. Этот тезис нуждается в подтверждении в дальнейших исследованиях.

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что мы считаем появление «православного пояса» социетальным сдвигом, а не продуктом политтехнологий. Как бы ни менялись текущая повестка, руководство или даже режим, на политической карте страны останется кластер регионов с высоким уровнем религиозности, социального консерватизма, способный с помощью альянса светских и церковных властей на региональном уровне контролировать значимое число избирателей. Это дает нам основание предсказывать рост политического потенциала «православного пояса» в российском обществе, но сможет ли этот кластер обрести субъектность и реализовать свой потенциал, покажет время.

## Литература

- Алмакаева А. М., Андреевкова А. В., Климова А. М., Соболева Н. Э., Понарин Э. Д. (2019). LCSR Regional Survey. М.: Высшая школа экономики.
- АРЕНА (2012). Официальный сайт проекта АРЕНА, [www.sreda.org/arena](http://www.sreda.org/arena)
- Богачёв М. И., Сорвин К. В. (2019). Политика в Церкви: воздействуют ли священники на электоральные предпочтения православных верующих? // Мир России. Социология. Этнология. Т. 28. № 4. С. 68-91.
- Богачёв М. И. (2016). Воцерковленность и политические предпочтения православных верующих: количественный анализ // Религиоведческие исследования. № 13. С. 8-76.
- Гилёв А. В. (2017). Политические машины и политический клиентелизм в российских регионах // Политическая наука. № 4. С. 61-84.
- Карпич Ю. В. (2020). Влияние религиозности на политический выбор православных верующих в России (на примере Липецкой области) // Вестник Пермского университета. Серия: Политология. Т. 14. № 4. С. 85-97.

- Карнич Ю. В.* (2021). Политический выбор православных верующих в России: возможности и ограничения качественных и количественных исследований // Социологическое обозрение. Т. 20. № 2. С. 48-69.
- Карпов В.* (2012). Концептуальные основы теории десекуляризации // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. Т. 30. № 2. С. 114-164.
- Козлов Н. Д.* (2008). Политические культуры регионов России: уравнение со многими неизвестными // Полис. Политические исследования. № 4. С. 8-26.
- Кулькова А. Ю.* (2015). Религиозность и политическое участие: роль политики в российских религиозных общинах // Высшая школа экономики. Серия WP14 «Политическая теория и политический анализ. № 2.
- Лункин Р.* (2008). «Русские» регионы России: степень православности и политические ориентации // Социологические исследования. № 4. С. 27-36.
- Малахов В. С., Летняков Д. Э.* (2019). Российское государство в конфессиональной сфере, или Национальные особенности секуляризма // Мир России. Социология. Этнология. Т. 28. № 4. С. 49-67.
- Рыжова С. В.* (2010). Становление православной идентичности русских: традиционно-культурные и гражданские основания // Социологические исследования. № 12. С. 59-69.
- Туровский Р. Ф.* (2012). Электоральное пространство России: от навязанной национализации к новой регионализации? // Журнал политической философии и социологии политики «Полития. Анализ. Хроника. Прогноз». № 3 (66). С. 100-120.
- Штекль К.* (2018). Три модели церковно-государственных отношений в современной России // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. Т. 36. № 3. С. 195-223.
- Ухватова М. В.* (2018). Напутствия охранителей (Религиозная риторика на инаугурациях российских губернаторов) // Журнал политической философии и социологии политики «Полития. Анализ. Хроника. Прогноз». № 2 (89). С. 84-101.
- Ухватова М. В.* (2017). Религия и электоральное поведение в России: региональный аспект // Вестник Пермского университета. Серия: Политология. № 4. С. 26-48.
- Шишков А.* (2012). Некоторые аспекты десекуляризации в постсоветской России // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. Т. 30. № 2. С. 165-177.
- Щербак А. Н., Ухватова М. В.* (2018). От «красного пояса» — к «библейскому»: исторические предпосылки сдвигов в политической географии России // Общественные науки и современность. № 6. С. 98-113.
- Berger P. L.* (1999). The desecularization of the world. Washington, DC: Ethics and Public Policy Center.
- Brooks C., Manza, J.* (1997). Social cleavages and political alignments: US presidential elections, 1960 to 1992 // American Sociological Review. Vol. 62. № 8. P. 937-946.

- De Koster W., Van der Waal J.* (2007). Cultural value orientations and Christian religiosity: On moral traditionalism, authoritarianism, and their implications for voting behavior // *International Political Science Review*. Vol. 28. № 4. P. 451-467.
- Filatov S., Lunkin R.* (2006). Statistics on religion in Russia: the reality behind the figures // *Religion, State & Society*. Vol. 34. № 1. P. 33-49.
- Glock C.* (1962). On the Study of Religious Commitment // *Religious Education*. Vol. 57 (S4). P. 98-110.
- Goloso V. G.* (2014). The territorial genealogies of Russia's political parties and the transferability of political machines // *Post-Soviet Affairs*. Vol. 30. № 6. P. 464-480.
- Goodnow R., Moser R. G.* (2012). Layers of ethnicity: the effects of ethnic federalism, majority-minority districts, and minority concentration on the electoral success of ethnic minorities in Russia // *Comparative political studies*. Vol. 45. № 2. P. 167-193.
- Goodnow R., Moser R. G., Smith T.* (2014). Ethnicity and electoral manipulation in Russia // *Electoral studies*. Vol. 36. P. 15-27.
- Hale H. E.* (2003). Explaining machine politics in Russia's regions: Economy, ethnicity, and legacy // *Post-Soviet Affairs*. Vol. 19. № 3. P. 228-263.
- Hale H. E.* (2007). Correlates of Clientelism: Political Economy, Politicized Ethnicity, and Post-Communist transition // *Patrons, Clients, and Policies: Patterns of Democratic Accountability and Political Competition* / Herbert Kitschelt, Steven I. Wilkinson (eds.). Cambridge: Cambridge University Press. P. 227-250.
- Kellstedt L. A., Green J. C.* (1993). Knowing God's many people // *Rediscovering the religious factor* / David C. Leege, Lyman A. Kellstedt (eds.). New York, London: M. E. Sharpe. P. 53-71.
- Layman G. C.* (1997). Religion and political behavior in the United States: The impact of beliefs, affiliations, and commitment from 1980 to 1994 // *Public Opinion Quarterly*. Vol. 61. № 2. P. 288-316.
- Lisovskaya E., Karpov V.* (2010). Orthodoxy, Islam, and the desecularization of Russia's state schools // *Politics and Religion*. Vol. 3. № 2. P. 276-302.
- McTague J. M., Layman G. C.* (2009). Religion, parties, and voting behavior // *The Oxford handbook of religion and American politics* / James L. Guth, Lyman A. Kellstedt, Corwin E. Smidt (eds.). New York: Oxford University Press. P.330-370.
- Middendorp C.* (1991). Ideology in Dutch Politics: The Democratic System Reconsidered, 1970-1985. Assen and Maastricht: van Gorcum.
- Østbø J.* (2017). Securitizing "spiritual-moral values" in Russia // *Post-Soviet Affairs*. Vol. 33. № 3. P. 200-216.
- Papkova I.* (2006). The Russian Orthodox Church and Political Party Platforms // Paper presented at the American Association for Advancement of Slavic Studies, Washington, DC. URL: <http://www.sova-center.ru/files/religion/papkova.doc> (дата доступа: 19.12.2022).
- White A. C.* (2016). Electoral fraud and electoral geography: United Russia strongholds in the 2007 and 2011 Russian parliamentary elections // *Europe-Asia Studies*. Vol. 68. № 7. P. 1127-1178.



## The “Orthodox Belt” on the Russia’s electoral map in 2011–2021

*Andrey N. Shcherbak*

Candidate of Political Science, Deputy Head of Laboratory for Comparative Social Research, HSE University

Address: Sedova str. 55-2, Saint Petersburg, 192171, Russian Federation

E-mail: ascherbak@hse.ru

The article explores the relationship between Orthodox religiosity and voting in Russia in 2011–2021. Using the theoretical framework of de-secularization from above which claims that church structures play a key role in the religious renaissance policy, we argue that the rise of the political influence of the ROC (Russian Orthodox Church) may be explained by its capacity for the dissemination of traditional values that ultimately results in votes for United Russia and President Vladimir Putin in national elections. This study reveals the emergence of a new area on Russia’s political map, that of the Orthodox belt, which combines higher levels of Orthodox religiosity and pro-Kremlin voting in national elections. Using multiple empirical strategies, we construct an index of religiosity on the regional level and identify the Orthodox Belt regions, test the relationship between Orthodox religiosity and voting in the national elections in 2011–2018, and test the differences in value orientations and electoral support between the Orthodox Belt regions and others. We conclude that non-Orthodox Belt regions in Russia with higher Orthodox religiosity, conservatism, and loyalty are an emerging trend in the Russian political geography.

*Keywords:* Orthodox belt, Russian Orthodox Church, religiosity, social conservatism, desecularization theory, elections

### References

- Almakaeva A. M., Andreenkova A. V., Klimova A. M., Soboleva N. E., Ponarin E. D. (2019) *LCSR Regional Survey*, Moscow: Higher School of Economics.
- Official web site of the ARENA survey. <http://sreda.org/arena>
- Bogachev M., Sorvin K. (2019) Politics in the Church: Do Priests Influence the Electoral Preferences of Orthodox Believers? *Mir Rossii*, vol. 28, no 4, pp. 68–91.
- Bogachov M. I. (2016) Votserkovlennost’ i politicheskiye predpochteniya pravoslavnykh veruyushchikh: Kolichestvennyy analiz [Churchliness and political preferences of Orthodox believers: a quantitative analysis]. *Religiovedcheskiye issledovaniya*, no 13, pp.8-76.
- Brooks C., Manza J. (1997) Social cleavages and political alignments: US presidential elections, 1960 to 1992. *American Sociological Review*, vol. 62, no 8, pp. 937-946.
- De Koster W., Van der Waal J. (2007) Cultural value orientations and Christian religiosity: On moral traditionalism, authoritarianism, and their implications for voting behavior. *International Political Science Review*, vol. 28, no 4, pp. 451-467.
- Filatov S., Lunkin R. (2006) Statistics on religion in Russia: the reality behind the figures. *Religion, State & Society*, vol. 34, no 1, pp. 33-49.
- Gilev A. V. (2017) *Politicheskiye mashiny i politicheskii klientelizm v rossiiskikh regionakh* [Political Machines and political clientelism in the Russian regions]. *Political Science*, no 4, pp. 61-84.
- Glock C. (1962) On the Study of Religious Commitment. *Religious Education*, vol. 57 (S4), pp. 98–110.

- Golosov G. V. (2014) The territorial genealogies of Russia's political parties and the transferability of political machines. *Post-Soviet Affairs*, vol. 30, no 6, pp. 464-480.
- Goodnow R., Moser R. G. (2012) Layers of ethnicity: the effects of ethnic federalism, majority-minority districts, and minority concentration on the electoral success of ethnic minorities in Russia. *Comparative Political Studies*, vol. 45, no 2, pp. 167-193.
- Goodnow R., Moser R. G., Smith T. (2014) Ethnicity and electoral manipulation in Russia. *Electoral studies*, vol. 36, pp. 15-27.
- Hale H. E. (2003) Explaining machine politics in Russia's regions: Economy, ethnicity, and legacy. *Post-Soviet Affairs*, vol. 19, no 3, pp. 228-263.
- Hale H. E. (2007) Correlates of Clientelism: Political Economy, Politicized Ethnicity, and Post-Communist transition. *Patrons, Clients, and Policies: Patterns of Democratic Accountability and Political Competition* (eds. Herbert Kitschelt, Steven I. Wilkinson), Cambridge: Cambridge University Press, pp. 227-250.
- Karpich Yu.V. (2020). Vliyaniye religioznosti na politicheskii vybor pravoslavnykh veruyushchikh (na primere Lipetskoj oblasti) [The influence of religiosity on political choice of Orthodox believers in Russia (the case of the Lipetsk region)]. *Bulletin of Perm University. Political Science*, vol. 14, no 4, pp. 85-97.
- Karpich Yu.V. (2021). Politicheskii vybor pravoslavnykh veruyushchikh v Rossii: vozmozhnosti i ogranicheniya kolichestvennykh i kachestvennykh issledovaniy [The political choice of Orthodox believers: opportunities and limitations of quantitative and qualitative studies]. *Russian Sociological Review*, vol. 20, no 2, pp. 48-69.
- Kellstedt L. A., Green J. C. (1993) Knowing God's many people. *Rediscovering the religious factor* (eds. David C. Legee, Lyman A. Kellstedt), New York, London: M. E. Sharpe, pp. 53-71.
- Layman G. C. (1997) Religion and political behavior in the United States: The impact of beliefs, affiliations, and commitment from 1980 to 1994. *Public Opinion Quarterly*, vol. 61, no 2, pp. 288-316.
- Karpov V. (2012) *Kontseptual'nyye osnovy teorii desekulyarizatsii* [Conceptual foundations of the theory of desecularization]. *State, church and religion in Russia and beyond*, vol. 30, no 2, pp. 114-164.
- Kozlov N. D. (2008) Politicheskiye kul'tury regionov Rossii: Uravneniye so mnogimi neizvestnymi [Political cultures of Russian regions: an equation with many unknowns]. *POLIS*, no 4, pp. 8-26.
- Kul'kova A. (2015) Religioznost' i politicheskoye uchastiye: Rol' politiki v rossiyskikh religioznykh obshchinakh [Religiousness and Political Participation: The Role of Politics in Russian Religious Communities]. *Higher School of Economics. Series WP14. «Political theory and political analysis*, vol. 2.
- Lisovskaya E., Karpov V. (2010) Orthodoxy, Islam, and the desecularization of Russia's state schools. *Politics and Religion*, vol. 3, no 2, pp. 276-302.
- Lunkin R. N. (2008) Russkiye regiony Rossii: Stepen' pravoslavnosti i politicheskoye orientatsii ["Russian" regions of Russia: the degree of Orthodoxy and political orientation]. *Sotsiologicheskiye issledovaniya*, no 4, pp. 27-36.

- McTague J. M., Layman G. C. (2009) Religion, parties, and voting behavior. *The Oxford handbook of religion and American politics* (eds. James L. Guth, Lyman A. Kellstedt, Corwin E. Smidt), New York: Oxford University Press, pp.330–370.
- Malakhov V., Letnyakov D. (2019) *Rossiiskoye gosudarstvo v konfessional'noy sfere, ili natsional'nyie osobennosti sekulyarizma* [The Russian State in the Religious Sphere (or National Secularism)]. *Mir Rossii*, vol. 28, no 4, pp. 49–67.
- Middendorp C. (1991) *Ideology in Dutch Politics: The Democratic System Reconsidered, 1970–1985*, Assen and Maastricht: van Gorcum.
- Østbø J. (2017) Securitizing “spiritual-moral values” in Russia. *Post-Soviet Affairs*, vol. 33, no 3, pp. 200–216.
- Papkova I. (2006) The Russian Orthodox Church and Political Party Platforms. *Paper presented at the American Association for Advancement of Slavic Studies*, Washington, DC. URL: <http://www.sova-center.ru/files/religion/papkova.doc> (accessed 19 December 2022).
- Ryzhova S. V. (2010) Stanovleniye pravoslavnoy identichnosti russkikh: traditsionno-kul'turnyie i grazhdanskiie osnovaniia [The construction of Orthodox identity: traditional, cultural and civic foundations]. *Sotsiologicheskiye issledovaniya*, no 12, pp. 59–69.
- Shcherbak A. N., Ukhvatova M. V. (2018) Ot “krasnogo poyasa — k “bibleyskomu”: istoricheskiye predposylki sdvigo v elektoral'noy geografii Rossii [From the “Red Belt” — to the “Bible” one: historical reasons of the shift in political geography of Russia]. *Social Sciences and Contemporary World*, no 6, pp. 98–113.
- Shishkov A. (2012) Nekotoryye aspekty desekulyarizatsii v postsovetskoj Rossii [Some aspects of desecularization in post-Soviet Russia]. *State, religion, church in Russia and beyond*, vol. 30, no 2, pp. 165–177.
- Shtoekl K. (2018) Tri modeli tserkovno-gosudarstvennykh otnosheniy v sovremennoy Rossii [Three models of the state-church relations in contemporary Russia]. *State, religion, church in Russia and beyond*, vol. 36, no 3, pp. 195–223.
- Turovskiy R. F. (2012) Elektoral'noye prostranstvo Rossii: ot navyazannoy natsionalizatsii k novoy regionalizatsii? [Electoral space of Russia: from imposed nationalization to a new regionalization?]. *Politeia*, vol. 66, no 3, pp. 100–120.
- Ukhvatova M. V. (2017) Religiya i elektoral'noye povedeniye v Rossii: regional'nyy aspekt [Religion and electoral behaviour in Russia: a regional aspect]. *Bulletin of Perm University. Political Science*, no 4, pp. 26–48.
- Ukhvatova M. V. (2018). Naputstviya okhraniteley (religioznaya ritorika na inauguratsiyakh rossiyskikh gubernatorov) [Blessing of the Guardians: Religious Rhetoric at the Inauguration of Governors in Russia]. *Politeia*, vol. 89, no 2, pp. 84–101.
- White A. C. (2016) Electoral fraud and electoral geography: United Russia strongholds in the 2007 and 2011 Russian parliamentary elections. *Europe-Asia Studies*, vol. 68, no 7, pp. 1127–1178.

# Почему граждане доверяют правительству? Истоки политического доверия в современной России\*

*Руслан Мухаметов*

Кандидат политических наук, доцент, Уральский федеральный университет  
Адрес: пр. Ленина, д. 51, г. Екатеринбург, Российская Федерация, 620083  
E-mail: muhametov.ru@mail.ru

Политическое доверие занимает центральное место в изучении политических режимов. Оно является одним из наиболее важных показателей политической легитимности и стабильности, указывая на степень поддержки государства (правительства или партии) народом. В статье проводится исследование количественных показателей влияния социально-психологических, гражданских, институциональных и информационных факторов на политическое доверие. Целью этого исследования было внести вклад в понимание детерминант доверия к правительству. Анализ основан на данных социологического опроса 7-й волны исследований Всемирного обзора ценностей (2017–2022 гг.). Используя набор данных по России, автор оценил влияние межличностного и обобщенного доверия, участия в работе некоммерческих неправительственных организаций, восприятия гражданами своего материального положения, безопасности и коррупции, просмотра ТВ новостей на доверие к правительству. Данное исследование показало, что более высокий уровень межличностного и социального доверия оказывает положительное влияние на политическое доверие. Выдвигается и подтверждается гипотеза о положительном влиянии просмотра политических ТВ программ на доверие к правительству. Статья дополняет существующие эмпирические исследования институционального доверия, а также адаптирует известные теории, объясняющие происхождение доверия, к российской политической реальности.

*Ключевые слова:* доверие, политическое доверие, социальный капитал, политические институты, правительство, «школа демократии», некоммерческие организации

Почему одни граждане больше доверяют политическим институтам, чем другие? За последние время этот вопрос стал занимать важное место в области политической социологии и сравнительной политологии. Политическое доверие является одной из главных тем для обсуждения политологами и социологами. Считается, что его наличие или отсутствие оказывает важное влияние на политическую стабильность и эффективность правительства (Zmerli, Newton, 2008). Доверие к политическим институтам важно для поддержания стабильности режима (Van der Meer, Nakhverdian, 2017). Доверие к основным институтам — президенту, правительству, СМИ, военным — занимает центральное место в функционировании общества. Когда граждане не доверяют государственным органам, таким как правительство и парламент, стабильность политического режима подвергается сомнению. Доверие — это фундамент, на котором основывается легитим-

\* Статья представляется в рамках проекта по поддержке публикаций авторов российских образовательных и научных организаций.

Работа опубликована при поддержке Программы «Университетское партнерство».

ность политической системы. Оно имеет решающее значение для поддержания участия в политической жизни и социальной сплоченности (Seligman, 1997: 13). В более длительной перспективе доверие необходимо для решения долгосрочных социальных проблем, таких как изменение климата, старение населения и автоматизация труда. Доверие способствует экономическому росту и экономической эффективности, предоставлению общественных благ, социальной интеграции, сотрудничеству и гармонии, удовлетворенности личной жизнью, демократической стабильности и развитию и даже хорошему здоровью и долголетию (Hetherington, Husser, 2012). Кроме того, социальное доверие в целом и политическое доверие в частности являются ключевым компонентом социального капитала и обычно используется в качестве его основного показателя (Патнэм, 1996; Фукуяма, 2004).

Необходимо отметить, что настоящая статья не является первой работой, которая стремится получить ответ на вышеназванный вопрос. В научной литературе можно встретить пул работ, авторы которых стремятся объяснить уровень доверия к политическим институтам в целом и к правительству в частности на данных отдельно взятых стран или группы государств: Ганы (Godefroidt, Langer, Meuleman, 2017), африканских стран (Hutchison, Johnson, 2011), Китая (Chen, 2017; Shi, 2001), государств АТР (Chang, Chu, 2006; Choi, Woo, 2016), стран Карибского бассейна (Stoyan, Niedzwiecki, Morgan, Hartlyn, Espinal, 2016), западноевропейских государств (Fitzgerald, Wolak, 2016), а также посткоммунистического пространства (Lühiste, 2006; Mishler, Rose, 2001). Доверие к российским политическим институтам становится важной темой отечественных исследователей (Давыборец, 2016; Киселев, 2014; Козырева, Смирнов, 2015; Малкина, Овчинников, Холодилин, 2020; Терин, 2018).

Целью данной статьи является выявление факторов, определяющих доверие граждан к политическим институтам в России. В этом исследовании основное внимание уделяется трем детерминантам институционального доверия. В ходе работы планируется проверить, как 1) межличностное и социальное доверие, 2) участие в деятельности неправительственных организаций, 3) эффективность политических институтов и 4) просмотр телевизионных новостей влияют на политическое доверие. Для этого используются данные 7-й волны исследований Всемирного обзора ценностей (WVS-7).

Хотя литература о детерминантах политического доверия обширна, данные о его истоках в России недостаточны. Основной вклад настоящей статьи в литературу по институциональному доверию имеет несколько оснований. Она призвана, во-первых, систематизировать основные теоретические подходы, лежащие в основе подобной работы, во-вторых, проверить эти теоретические положения на соответствие последнему исследованию 7-й волны Всемирного обзора ценностей (2017–2022 гг.). В результате предполагается расширить понимание факторов, оказывающих влияние на доверие граждан к институту правительства, продолжив традицию изучения политического доверия в России (Mishler, Rose, 2005; Shlapentokh, 2006).

Структура статьи представлена следующим образом. Первая часть посвящена систематизации различных подходов к определению происхождения политического доверия. На основе базовых теорий будут сформулированы гипотезы для дальнейшей эмпирической проверки. Во второй части представлены источники данных и методы исследования, используемые в работе. Результаты регрессионного анализа рассматриваются в третьем разделе. Наконец, в заключительной части будут подведены основные итоги.

### **Теоретические подходы к объяснению происхождения политического доверия**

Доверие — это многогранное понятие, означающее для людей несколько вещей. Это сложная концепция, которую исследователи из разных дисциплин пытались четко и последовательно определить. Для целей настоящей работы доверие определяется как вера субъекта в то, что в худшем случае другие люди сознательно или добровольно не причинят ему вреда, а в лучшем случае — будут действовать в его интересах (Newton, 2001: 202). Политическое доверие можно определить как «доверие отдельных лиц к государственно-правовым и политическим институтам и субъектам» (Berg, Hjerm, 2010: 391). Оно в своей основе является отношенческим и ситуативным (Van der Meer, Zmerli, 2017). Политическое доверие может меняться с течением времени, отражая краткосрочные и/или долгосрочные результаты, а также ожидания общественности по отношению к правительствам и институтам (Bauer, Freitag, 2017). Это определение не включает доверие к конкретным должностным лицам или политикам, но относится к очень обобщенной, «абстрактной» форме доверия к политическим институтам (Гидденс, 2011: 208). Политическое доверие можно рассматривать как форму диффузной поддержки политической системы и ее основных институтов в целом. Оно не обязательно должно отражать согласие с конкретными политическими решениями (Easton, 1965). Более того, можно даже утверждать, что демократическое устройство представляет собой «институционализированное недоверие», когда разные ветви власти и группы акторов уравновешивают влияние друг друга, составляя систему сдержек и противовесов (Штомпка, 2012). Частным случаем политического доверия выступает доверие к правительству. Мы следуем за большинством ученых в определении доверия к правительству, как соотношения оценки людьми деятельности правительства по отношению к их нормативным ожиданиям того, как должно действовать правительство (Hetherington, Husser, 2012: 313). Под правительством в работе понимается совокупность государственных учреждений в целом, которые занимаются реализацией политики, а также регулированием и предоставлением государственных услуг.

В научной литературе отсутствует консенсус относительно истоков политического доверия. В этом разделе рассматриваются четыре основных теоретических подхода к возникновению политического доверия, которые предполагается эмпи-

рически проверить, — социально-психологические теории, теория добровольных организаций, теория институциональной эффективности, а также авторитарная теория массовой коммуникации.

Представители *социально-психологической школы* мысли утверждают, что доверие является основной чертой личности индивидов (Эриксон, 1996; Rosenberg, 1957; Kramer, 1999). Оно возникает в раннем детстве и, как правило, сохраняется в дальнейшей жизни, меняясь медленно в результате последующего опыта, особенно травматического. По мнению исследователей, политическое доверие есть часть более широкого синдрома личностных характеристик, которые включают оптимизм, веру в сотрудничество и уверенность в том, что люди могут разрешить свои разногласия и жить удовлетворительной социальной жизнью вместе (Delhey, Newton, 2003). Родители влияют на отношение и нормы своих детей тремя основными способами. Во-первых, дети, которые социализируются в доверительном и открытом родительском окружении, в атмосфере толерантности, с большей вероятностью будут доверять и отвечать взаимностью. Во-вторых, родители учат своих детей, как судить других и с кем сотрудничать. В-третьих, семьи функционируют как реальные арены обучения, где дети непосредственно сталкиваются с эпизодами сотрудничества или дезертирства (Stolle, 2003). Весомый вклад в развитие этого подхода внес Э. Усланер, который утверждает, что дети рано учатся доверию у родителей, которое основано на двух других ключевых характеристиках личности: оптимизме и способности контролировать мир или, по крайней мере, собственную жизнь (Uslaner, 1999: 138). Таким образом, в рамках этого подхода политическое доверие воспринимается как пролонгация межличностного доверия. Связь межличностного доверия и доверия к правительству в этом случае заключается в том, что высокий уровень частного доверия может улучшить доверие граждан к правительству: индивиды с высоким уровнем межличностного доверия склонны доверять другим лицам и верить, что они действуют не только в своих интересах, но и в интересах третьих лиц; это приводит к тому, что они будут склонны доверять правительству как институту, который представляет интересы всех граждан. Стоит отметить, что описание причинно-следственного механизма, связывающего межличностное доверие и абстрактное доверие системам и организациям, требует проведения отдельного исследования.

Второй подход — *теория добровольных организаций*. Он заключается в том, что политическое доверие есть результат участия индивидов в социальных и политических институтах, которые поощряют развитие кооперативных отношений (Morales, De Ulzurrun, 2002). Эта теория утверждает, что политическое доверие порождается личным участием в добровольных ассоциациях, что создает взаимные нормы в отношениях между гражданами (Van Der Meer, Van Ingen, 2009). В силу этих обстоятельств НКО в целом рассматриваются как «школы низовой демократии» (Stolle, Rochon, 1998). Данная теория восходит к идеям А. де Токвиля, который считал, что личное взаимодействие в рамках добровольных ассоциаций является доминирующим способом создания социального капитала. Участие в по-

литических объединениях Токвиль рассматривает в качестве школы, в которой каждый гражданин изучает общую теорию ассоциаций. Гражданские объединения подготавливают почву для создания политических ассоциаций; политические ассоциации способствуют развитию и совершенствованию гражданских союзов. Иными словами, участие в деятельности НКО вызывает желание объединяться и обучает искусству создания союзов массы людей, которые в противном случае всегда жили бы сами по себе. Демократической страной является то государство, в котором индивиды достигли наивысшего совершенства в искусстве сообща добиваться цели, отвечающей их общим желаниям, и чаще других применяют этот новый метод коллективного действия (Токвиль, 2002).

Третий подход — *теория эффективности институтов*. Данный подход берет свое начало в основополагающей работе Э. Даунса (Downs, 1957). Этот тип объяснения институционального доверия опирается на теорию рационального выбора. Ее центральное утверждение состоит в том, что рациональный избиратель — это тот, кто принимает решение голосовать только в том случае, если ожидаемая полезность голосования превышает стоимость действия. Актеры совершают поступки и/или принимают решения, которые максимизируют полезность в достижении целей. Институциональная теория эффективности предполагает, что политическое доверие является следствием деятельности институтов. Доверие к институтам рационально обоснованно: институты, которые хорошо работают, порождают доверие; ненадежные институты порождают скептицизм и недоверие (Kaasa, Andriani, 2021). Другими словами, доверие к правительству является следствием эффективного управления, политические институты должны продемонстрировать компетентность, чтобы создать/вызвать доверие. Теория институциональной эффективности основывается на модели когнитивной оценки, которая изображает политическое доверие как результат постоянных субъективных оценок гражданами деятельности политических субъектов, политических институтов или политической системы в целом (Hetherington, 1998). Данный подход предполагает, что политическое доверие основывается на оценках гражданами результативности политического института (Raxton, 2007). Люди, которые являются безработными или чьи личные финансы пострадали от того, что они считают государственной политикой, скорее всего, будут меньше доверять политическим институтам, чем те, кто находится в лучших или улучшающихся экономических условиях. Институциональное доверие изменяется в соответствии с индивидуальными оценками экономических и социальных условий и зависит от способности институтов удовлетворять и представлять чисто экономические потребности, а также запросы граждан, которые в основном коренятся в социально-экономических интересах (Stolle, 2008). Таким образом, доверие к правительству отражает краткосрочные результаты, оценки институтов и их способности предоставлять качественные государственные услуги, реагировать на потребности, запросы граждан.

Четвертый подход — *авторитарная теория массовой коммуникации*. Согласно ему, СМИ должны уважать то, чего хотят власти, и работать в соответствии с по-



желаниями властей. СМИ не могут работать независимо. Свободное распространение информации может поставить под удар национальную безопасность и стать угрозой. Данная теория исходит из того, что государство должно контролировать средства массовой информации. Свобода слова в целом бросает вызов авторитету, а свобода слова, которая подразумевает критику тех, кто находится у власти, рассматривается как подрывная. Власти имеют все права разрешать или запрещать любые СМИ, предоставляя или отзывая лицензию и устанавливая определенные ограничения на звучащие в СМИ мнения. Средства массовой информации в рамках данной теории являются рупором правительства (Siebert et al., 1956). Восприятие спонсируемых государством новостей как весьма достоверных облегчает некритическое принятие большинством населения проправительственной политической повестки (Сироткина, Завадская, 2016; Sirotkina, 2020).

Таким образом, основываясь на предыдущих исследованиях и их результатах, мы ожидаем, что:

H1: Чем больше уровень межличностного доверия, тем сильнее доверие граждан к политическим институтам.

H2: Чем активнее граждане принимают участие в деятельности НКО, тем выше уровень политического доверия.

H3-1: Более высокий уровень материального положения граждан приводит к более высокому уровню политического доверия.

H3-2: Чем выше уровень восприятия коррупции, тем ниже уровень политического доверия.

H3-3: Чем выше уровень восприятия безопасности, тем выше уровень доверия граждан к политическим институтам.

H4: Граждане, которые чаще подвергаются воздействию информации из контролируемых властями СМИ, должны больше доверять правительству.

## Источники данных и методы исследования

Данные гипотезы делают конкурирующие теоретические основы проверяемыми. Для их эмпирического тестирования нужны количественные данные, содержащие показатели институционального и межличностного доверия, гражданской активности, восприятия коррупции и безопасности, а также экономические индикаторы.

Для проверки этих теоретических подходов необходимо определить институциональное доверие и уточнить способ его измерения. Зависимая переменная — доверие граждан к правительству. Доверие — это суждение, которое может быть понято дихотомически (либо доверяет, либо не доверяет) или более градуированным образом (доверяю или не доверяю в определенной степени) (Levi, Stoker, 2000: 476). Доверие можно измерить тремя способами:

- 1) субъективным и прямым с помощью опросов населения;
- 2) объективным и косвенным, используя прокси-переменные (например, доверие, измеряемое как соотношение совпадения между рекомендацией городского

правительства по вопросу, поставленному на голосование, и фактическим результатом голосования) (Kucher, Götte, 1998);

3) с помощью экспериментальных измерений доверия с использованием поведенческих игр (Nabyarimana et al., 2009).

По мнению исследователей, опросы восприятия являются самым популярным методом измерения политического доверия на сегодняшний день (Kumagai, Porio, 2020: 7–8). В этих условиях источником данных выступили результаты 7-го опроса о мировых ценностях, который проводится в рамках проекта «Обзор мировых ценностей» (World Values Survey, Wave 7, 2017–2022) (Haerpfer et al., 2022). В России опрос проведен в 2017 году. Основным методом сбора данных в опросе WVS-7 было личное интервью у респондента дома/по месту жительства. Выборка составила 1465 респондентов. В WVS-7 доверие к институтам измерялось с помощью следующего вопроса: «Я перечислю Вам сейчас некоторые организации и общественные институты. Скажите, насколько Вы доверяете каждому из них — полностью доверяете, в некоторой степени доверяете, не очень доверяете или совсем не доверяете?»

Выбор независимых переменных определялся теоретической рамкой исследования и поставленными гипотезами. В рамках гипотез H1 проверяется влияние переменной, которая отражает межличностное доверие. Для его измерения были выбраны ответы респондентов на вопрос о том, насколько Вы доверяете 1) людям, с которыми вы лично знакомы, 2) людям, живущим с вами по соседству. Вариантами ответов были: «полностью доверяю», «в некоторой степени доверяю», «не очень доверяю» или «совсем не доверяю этим людям». Вторая гипотеза предполагает тестирование теории добровольных организаций/«школы демократии». Для проверки этого теоретического подхода переменная была операционализована через уровни участия граждан в деятельности НКО. Источником данных стали ответы на вопрос: «Сейчас я назову различные общественные организации, а Вы скажете по каждой из них — Вы в них активно участвуете; состоите, но активно не участвуете; не состоите в этой организации или группе?» В вопроснике респондентам предлагалось определить уровень своего участия в разных типах НКО — религиозных, спортивных, профессиональных, экологических, гуманитарных. Переменная «Уровень участия в деятельности НКО» представляет собой агрегированную переменную, которая получалась путем объединения ответов опрошенных. В случае, если респондент принимает активное участие, например, в работе организации по защите прав потребителей (кодировалось как 2), а в организации по защите прав женщин состоит, но активность не проявляет (кодировалось как 1), то переменная получала значение 2. Для тестирования теории институциональной эффективности и сформулированных на ее основе рабочих гипотез был использован ряд переменных. Способом, с помощью которого исследователи из WVS измерили уровень финансовой удовлетворенности (H3-1), был вопрос: «Насколько Вы удовлетворены финансовым положением Вашей семьи?» Респондентам предлагалось выбрать ответ на шкале от 1 до 10, где 1 — совершенно не удовлетворен, а 10 — полностью удовлетворен. Переменная «коррупция» в рамках

гипотезы Н3-2 была операционализована через ответы на следующий вопрос в WVS-7: «Теперь мне хотелось бы узнать Ваше мнение о коррупции — ситуациях, когда люди дают взятки, дарят подарки или делают одолжения другим для того, чтобы были решены их вопросы или оказаны услуги, на которые они и так имеют право. В какую точку Вы поместили бы Россию на этой шкале, где 1 означает, что в стране “совсем нет коррупции”, а 10 — что “коррупция в России повсеместна”». Операционализация переменной «безопасность» в рамках гипотезы Н3-3 была осуществлена через ответы на такой вопрос, как: «Насколько Вы чувствуете себя в безопасности в наши дни?» (в полной безопасности; довольно безопасно; не очень безопасно; совсем небезопасно). Наконец, переменная «Частота просмотра ТВ новостей» операционализована через ответы респондентов на следующий вопрос из анкеты: «Люди узнают о происходящем в России и в мире из разных источников. По каждому из следующих источников скажите, пользуетесь Вы им каждый день, каждую неделю, каждый месяц, реже, чем раз в месяц, или никогда?» В качестве источника информации были взяты телевизионные новости.

Для повышения достоверности результатов исследования необходимо контролировать влияние смежных факторов и альтернативных объяснений. В этой связи в качестве управляемой переменной использовались показатели, отражающие финансовый и образовательный уровни респондентов. Теоретически они опираются на концепцию модернизации С.М. Липсета, которая утверждает, что рост доходов и образования приведет к поддержке демократии и неприятию авторитарных режимов (Lipset, 1959). Необходимо оговориться, что ряд исследователей считает, что уровень экономического развития не влияет на вероятность перехода к демократии, а изобилие делает демократические режимы более стабильными, шансы на выживание демократии выше, когда страна богаче (Przeworski, Limongi, 1997). Исходя из этого, следует ожидать, что более образованные и более состоятельные граждане демонстрируют более низкий уровень доверия к правительству авторитарного государства.

Объясняющие переменные, которые могут быть условно разделены на основные и контрольные, представлены в таблице 1.

Таблица 1. Переменные, используемые в регрессионном анализе

Переменные	Тип переменной	Теоретический подход	Влияние в рамках гипотезы
Доверие к правительству	Зависимая		
Уровень межличностного доверия	Независимая	Социально-психологический	+
Степень доверия к соседям	Независимая		+
Уровень участия в деятельности НКО	Независимая	Теория добровольных организаций	+

Уровень финансовой удовлетворенности	Независимая	Теория институциональной эффективности	+
Уровень восприятия коррупции в стране	Независимая		-
Уровень восприятия безопасности	Независимая		+
Частота просмотра ТВ новостей	Независимая	Авторитарная теория массовой коммуникации	+
Уровень доходов	Контрольная	Теория модернизации	-
Уровень образования	Контрольная		-

Описательная статистика выборки представлена в таблице 2.

Таблица 2. Описательная статистика по переменным (n = 1465)

Переменная	Среднее	Медиана	Станд. отклон.	Минимум	Максимум
Доверие к правительству	2,48	2	0,930	1	4
Уровень межличностного доверия	1,69	2	0,598	1	2
Степень доверия к соседям	2,1	2	0,861	1	4
Уровень участия в деятельности НКО	0,112	0	0,384	0	2
Уровень финансовой удовлетворенности	5,49	6	2,28	1	10
Уровень восприятия коррупции в стране	7,36	8	2,52	1	10
Уровень восприятия безопасности	2,2	2	0,811	1	4
Частота просмотра ТВ новостей	1,71	1,00	1,21	1	5
Уровень доходов	4,59	5	2,19	2	10
Уровень образования	4,85	5	1,84	1	8

В силу того, что зависимая переменная представляет собой порядковую (ранговую) шкалу (варианты ответов — полностью доверяю, в некоторой степени дове-

рю, не очень доверяю и совсем не доверяю), то методом анализа количественных данных была порядковая логистическая регрессия. Анализ данных был осуществлен в прикладном программном пакете GRETЛ.

## Результаты исследования

В данном разделе статьи мы тестируем влияние четырех объясняющих переменных, отражающих уровень межличностного доверия, степень участия граждан в деятельности НКО, эффективность правительства, частоту просмотра телевизионных новостей. Для проверки установленных в ходе исследования гипотез и определения наиболее значимых факторов, влияющих на доверие к правительству, была построена порядковая логистическая регрессионная модель (см. табл. 3). После построения модели регрессии был сделан тест на обнаружение мультиколлинеарности. Для проверки регрессионной модели в программе GRETЛ был использован метод инфляционных факторов (VIF). Самое большое значение VIF фактора у переменной «Уровень дохода» 1,229. Таким образом, можно сделать вывод об отсутствии мультиколлинеарности в построенной модели.

Таблица 3. Результаты регрессионного анализа

Переменные	Коэффициенты	Стандарт. ошибка	t	P-значение
Уровень межличностного доверия	0,140	0,044	3,182	0,001***
Уровень доверия к соседям	0,177	0,031	5,710	0,00***
Уровень участия в деятельности НКО	0,029	0,067	0,428	0,668
Уровень финансовой удовлетворенности	-0,054	0,012	-4,353	0,00***
Уровень восприятия коррупции в стране	0,097	0,01	9,191	0,00***
Уровень восприятия безопасности	0,023	0,032	0,730	0,464
Частота просмотра ТВ новостей	0,098	0,021	4,552	0,00***
Уровень доходов	-0,000	0,013	-0,056	0,954
Уровень образования	0,031	0,014	2,199	0,027**
R-квадрат — 0,43				

\*\*\*  $p < 0,01$ ; \*\*  $p < 0,05$ .

Из полученных коэффициентов регрессионных моделей, оценивающих взаимосвязь между уровнем межличностного доверия и степенью политического доверия, видно, что гипотеза о прямой связи между данными показателями в моделях подтверждается. Иными словами, тезис о том, что политическое доверие — это своего рода расширение межличностного доверия на институциональный объект, является верным. Данный вывод соответствует результатам предшествующих исследований (Schiffman, Thelen, Sherman, 2010).

Согласно результатам регрессионного анализа, неотоквилианский подход не подтвердился, гипотеза была опровергнута. Этот вывод нуждается в определенной интерпретации. Важно сказать, что данный результат согласуется с рядом предыдущих работ российских исследователей, где утверждается, что российские НКО трудно назвать «школами демократии». Так, Л. Якобсон отмечает, что «взаимоотношения внутри НКО... зачастую далеки от идеала “гражданских добродетелей”. Третий сектор, выступая “ареалом” опережающей группы, сам находится в лучшем случае на полпути в “обучении демократии”» (Якобсон, 2014: 104). Ю. Скокова подчеркивает, что ряд отечественных НКО способствуют развитию социального капитала их участников, имеют потенциал для возвращения нового «демократического» поколения граждан, но экстраполировать это на весь российский третий сектор преждевременно (Скокова, 2016: 65). Исследователи утверждают, что большинство НКО в авторитарных государствах нельзя назвать «школами демократии» а-ля Токвиль, они с равным успехом могут быть и сторонниками автократий. НКО являются «органами-амфибиями», которые связывают общество и государство. Если автократическим режимам удастся кооптировать их лидеров, ассоциации превращаются из противников в защитников существующих режимов (Wischermann, Bunk, Köllner, Lorch, 2018). Для обозначения квази-общественных организаций, работающих на интересы власти, был придуман термин ГОНГО (GONGO, Government Organized Non-Government Organization) — спонсируемые правительством неправительственные организации (Naim, 2009). Данный феномен «отражает реалии существования имитационных форм демократических институтов и соответствующих организаций в рамках незападных политий» (Лушников, 2019: 138). Важно подчеркнуть, что гражданские ассоциации могут способствовать формированию устойчивости авторитарного порядка и его легитимации. В научной литературе отмечается, что гражданское общество и его институты порой используются в качестве каналов опосредованного взаимодействия с населением как механизм обратной связи между гражданами и властью (Бедерсон, 2020). Недавние исследования показывают, что не все добровольные объединения производят положительный эффект. Как отмечают исследователи, работы, выполненные в неотоквилианской традиции, рассматривают все добровольные ассоциации одинаково, что некорректно, т.к. определенные типы добровольных ассоциаций лучше способствуют достижению просоциальных результатов, в то время как некоторые типы ассоциаций наносят ущерб тем же результатам (Rothstein, Stolle, 2008). Участие в деятельности НКО может приводить к росту

межличностного доверия, доверия к членам группы, но не обобщенному доверию к политическим институтам (Paxton, 2007). Необходимо обсудить принципиальную возможность не просто присутствия двусторонней направленности между переменными, но и, особенно в современном российском контексте, рассмотреть участие в деятельности НКО как следствие (а вовсе не причину) низкого уровня доверия к правительству. Исследования показывают, что одним из мотивирующих факторов, который стимулирует молодых людей оказывать помощь и поддержку незащищенным гражданам России через неправительственные организации, — это недоверие к государству в вопросах решения социальных проблем (Нежина и др., 2014: 64).

В рамках группы факторов, отобранных на основании теории институциональной эффективности, проверялись три гипотезы: 1) о положительном влиянии уровня финансовой удовлетворенности; 2) о негативном воздействии коррупции; 3) о положительном влиянии восприятия безопасности на уровень доверия к правительству. Прямая связь между финансовым благополучием и политическим доверием чаще всего воспринимается как прямое следствие хорошо известной закономерности, согласно которой личный экономический успех усиливает восприятие легитимности, лояльности и доверия к существующим политическим институтам. Данная логика подтверждается предыдущими исследованиями (Gustozzi, Gangl, 2021; Lee, Chang, Hur, 2020). Существует устойчивая положительная корреляция между социально-экономическим статусом и социальным доверием, т. е. бедные граждане сообщают о меньшем социальном доверии, чем их коллеги с более высоким социально-экономическим статусом (Alesina, La Ferrara, 2002). Эти результаты работы опровергают теоретические ожидания, что обусловлено спецификой российского «среднего класса» (среди ученых нет единого мнения о том, какие критерии следует использовать при определении принадлежности к этому классу, обычно применяют три широких критерия: доход и собственность, образование и профессия, самоидентификация). Исследования показывают, что многие представители данного класса в материальном плане зависят от государства и его бюджета (Gontmakher, Ross, 2015). Большинство участников российского среднего класса, при всей спорности этого понятия, — это государственные служащие, менеджеры высшего и среднего звена государственных корпораций, а также предприниматели, принимающие активное участие в государственных тендерах и закупках (Rosenfeld, 2017). Кроме того, полученные результаты регрессионного анализа показывают, что коррупция повышает лояльность и политическое доверие граждан, что противоречит рабочей гипотезе H3-2. Полученные результаты представляют интерес с точки зрения интерпретации. Коррупцию можно рассматривать как один из описанных ранее в социальной науке механизмов уменьшения «сложности» и снижения рисков, что повышает уверенность одного лица в ожиданиях будущих действий другого человека (Luhmann, 2018). Кроме того, коррупция может быть выгодна гражданам из-за искажений, вызванных плохо функционирующими институтами. Согласно теории «смазывания колес», кор-

рупция может обеспечить гражданам определенные выгоды, которые повышают их доверие к политическим институтам. Коррупция — это способ избежать бюрократических препятствий, особенно в странах с часто меняющимся законодательством (Bailey, 1967; Leff, 1964; Leys, 1965; Хантингтон, 2004).

В результате регрессионного анализа была обнаружена положительная связь между просмотром новостей и политическим доверием. Иными словами, чем чаще граждане смотрят новостные программы по ТВ, тем выше уровень доверия российскому правительству. Это подтверждает четвертую гипотезу. Данный вывод укладывается в доминирующий тезис, который существует в научной литературе, о том, что использование традиционных СМИ оказывает прямое положительное влияние на доверие к правительству (Marcinkowski, Starke, 2018). Что касается влияния использования Интернета и социальных сетей на доверие к правительству, то оценки исследователей разные. Так, одни находят убедительные доказательства значительного положительного влияния использования Интернета на доверие пользователей сети к правительству (Lu et al., 2020), в то время как другие — отрицательное (Im et al., 2014).

Таким образом, первая и четвертая гипотезы были подтверждены, а вторая и третья не прошли эмпирическую проверку. Такой результат можно объяснить двумя взаимосвязанными причинами. Во-первых, некоторые вопросы в анкете могут являться чувствительными для респондентов. Страх перед государственными институтами может вызывать существенную и значительную предвзятость в ответах, особенно на вопросы, касающиеся отношений между гражданами и властью. Респонденты, как правило, дают неправдивые ответы на деликатные вопросы. Если истинное мнение отклоняется от общепринятой в обществе нормы и точки зрения, то опрашиваемый может сообщить социально одобряемый ответ (Tannenberг, 2017). Респонденты могут почувствовать необходимость подвергнуть цензуре свои ответы, если (а) это вторжение в частные/интимные вопросы (например, сексуальность или личный доход); (б) это вызывает ответы, которые могут быть социально нежелательными или политически некорректными; (в) респондент опасается, что его ответ может иметь последствия в случае раскрытия (Tourangeau, Yan, 2007). Во-вторых, в любом обществе люди склонны хранить молчание, когда они чувствуют, что их взгляды противоречат мнению большинства по какому-либо вопросу. Это явление в научной литературе получило название «спирали молчания». Согласно существующей теории, граждане хранят молчание по нескольким причинам: 1) страх изоляции, когда группа или общественность осознает, что мнение отдельного человека расходится со сложившимся положением вещей; 2) страх репрессий, когда высказывание мнения может привести к негативным последствиям, выходящим за рамки простой изоляции, например, к потере работы (Ноэль-Нойман, 1996).

В ходе исследования при работе с контрольными переменными было получено несколько интересных результатов, которые требуют дальнейшей интерпретации. Во-первых, в ходе исследования выявлено, что уровень дохода граждан не явля-



ется достаточным фактором, который мог бы объяснить уровень политического доверия. С учетом того, что гипотеза H3-1 о положительном влиянии восприятия финансовой удовлетворенности на институциональное доверие показала противоположный эффект, представляется необходимым проведение дополнительных научных изысканий. Во-вторых, модель, оценивающая влияние уровня образования на политическое доверие, значима. В то же время она показывает положительную взаимосвязь между переменными: граждане с более высоким уровнем образования больше доверяют правительству. Это противоречит нашим теоретическим ожиданиям.

## Заключение

Доверие к другим лежит в основе социального, политического и экономического функционирования современного общества. Несмотря на его важность для поддержания социальной структуры, истоки политического доверия остаются неясными. В этой статье предпринята попытка проверить ряд объяснений того, почему уровни доверия граждан к правительственным институтам в целом различаются. Эта работа началась с изложения четырех теоретических подходов, которые преобладают в качестве объяснений политического доверия. Согласно социально-психологическому подходу, семья является потенциальным источником таких установок, как доверие и нормы взаимности. В литературе по социальной психологии отмечается, что семейный опыт будет оказывать значительное влияние на уровень доверия индивидов, отношение родителей к открытости незнакомцам передается ребенку. Доверие является базовой личностной характеристикой, приобретаемой в основном в раннем возрасте. Второй подход опирается на теорию добровольных организаций. Следуя ее логике, участие в гражданских объединениях порождает определенный тип межличностных отношений, который лежит в основе доверия к политическим институтам. Существует подход, который утверждает, что институциональное доверие — это положительная обратная связь от восприятия гражданами эффективности экономики, политическое доверие есть продукт эгоистичных оценок институциональной продукции, интерпретируемых в терминах экономических показателей. Наконец, авторитарная теория массовой коммуникации подразумевает, что СМИ, большинство из которых находится под фактическим контролем государства, не разрешается печатать или транслировать что-либо, что могло бы подорвать авторитет существующей политической системы, уменьшив тем самым ее легитимность.

Эти конкурирующие объяснения формирования институционального доверия редко подвергались эмпирической проверке. В этом и заключается цель данной статьи. Для этого мы обратились к данным всероссийского социологического опроса, который был выполнен в рамках 7-й волны исследований Всемирного обзора ценностей в 2017–2022 гг.

Удалось достичь ряда результатов, определяющих новизну представленной работы. Во-первых, осуществлено исследование взаимосвязи межличностного и социального доверия с политическим доверием. Во-вторых, немногие из прошлых исследований проводились на узких выборках. В данной работе использованы данные Всемирного обзора ценностей с выборкой в 1465 респондентов. Таким образом, представленное исследование становится важным шагом к пониманию влияния восприятия материального положения, коррупции, безопасности на доверие граждан РФ к правительству РФ.

Результаты подтверждают гипотезу о том, что уровень доверия граждан к политическим институтам в целом и к правительству в частности в значительной степени положительно зависит от уровня межличностного и социального доверия. Вопреки теоретическим ожиданиям, было установлено, что российские НКО не являются «школами демократии», а также «инкубаторами» социального капитала в целом. Иными словами, участие граждан в деятельности НКО не оказывает влияния на институциональное доверие. Эмпирическая проверка теории институциональной эффективности также не нашла своего подтверждения. Исследование показало, что просмотр ТВ новостей и политических программ положительным образом влияет на доверие к правительству.

В ходе работы были даны ответы на все исследовательские вопросы, сформулированные в начале исследования, а также проверены все гипотезы. Несмотря на это, представленное исследование имеет ограничения. Следует отметить использование данных социологического опроса только 7-й волны. Общественное мнение имеет такое свойство, как изменчивость и динамичность. Общественные настроения могут меняться под воздействием определенных факторов. Исходя из этого, для решения проблемы в последующих работах по теме имеет смысл работать с панельными данными, используя для анализа данные нескольких волн опросов Всемирного обзора ценностей.

## Литература

- Бедерсон В. Д.* (2020). Гражданские ассоциации и политический режим в мировой недемократической практике: между политическим контролем и социальной эффективностью // Полис. Политические исследования. № 2. С. 37–52.
- Давыборец Е. Н.* (2016). «Феномен» доверия президенту России // Социологические исследования. № 11. С. 107–113.
- Гидденс Э.* (2011). Последствия современности. М.: Издательская и консалтинговая группа «Праксис».
- Киселев В. О.* (2014). Доверие к политическим институтам в России: опыт социологического мониторинга // Мониторинг общественного мнения. № 6. С. 51–64.
- Козырева П. М., Смирнов А. И.* (2015). Политическое доверие в России: некоторые особенности и проблема оптимальности // Вестник Института социологии. № 12. С. 79–99.

- Лушников Д. А. (2019). Организованные правительством неправительственные организации (GONGO): генезис проблематики, интерпретация и функции // Полис. Политические исследования. № 2. С. 137–148.
- Малкина М. Ю., Овчинников В. Н., Холодильник К. А. (2020). Институциональные факторы политического доверия в современной России // Journal of Institutional Studies. № 4. С. 77–93.
- Нежина Т. Г., Петухова К. А., Четкина Н. И., Миндарова И. С. (2014). Мотивация участия молодежи в волонтерском движении // Вопросы государственного и муниципального управления. № 3. С. 49–71.
- Ноэль-Нойман Э. (1996). Общественное мнение: Открытие спирали молчания. М.: Прогресс: Весь мир.
- Патнем Р. (1996). Чтобы демократия сработала: гражданские традиции в современной Италии. М.: Ad Marginem.
- Скокова Ю. А. (2016). Движение наблюдателей на выборах в России: роль НКО как «школы демократии» // Социологический журнал. № 2. С. 55–72.
- Сироткина Е. В., Завадская М. А. (2016). Когда власть несет ответственность за экономический кризис: исследование атрибуции ответственности власти в сравнительной перспективе // Политическая наука. № 4. С. 242–261.
- Терин Д. (2018). Конструкция политического доверия в России: эффективность и справедливость политических институтов // Социологический журнал. № 2. С. 90–109.
- Токвиль А. (1992). Демократия в Америке. М.: Прогресс.
- Фукуяма Ф. (2004). Доверие: Социальные добродетели и путь к процветанию. М.: ООО «Издательство АСТ»: ЗАО НПП «Ермак».
- Хантингтон С. (2004). Политический порядок в меняющихся обществах. М.: Прогресс-Традиция.
- Штомпка П. (2012). Доверие — основа общества: монография. М.: Логос.
- Эрикссон Э. (1996). Детство и общество. СПб.: Ленато, АСТ, Фонд «Университетская книга».
- Якобсон Л. И. (2014). «Школа демократии»: формирование «гражданских добродетелей» // Общественные науки и современность. № 1. С. 93–106.
- Alesina A., La Ferrara E. (2002). Who trusts others? // Journal of Public Economics. Vol. 85. № 2. P. 207–223.
- Bauer P. C., Freitag M. (2017). Measuring Trust // Uslaner E. (ed.). The Oxford Handbook of Social and Political Trust. Oxford: Oxford University Press. P. 15–36.
- Bayley D. (1967). The Effects of Corruption in a Developing Nation // Western Political Quarterly. Vol. 19. № 4. P. 719–732.
- Berg L., Hjerm M. (2010). National Identity and Political Trust // Perspectives on European Politics and Society. Vol. 11. № 4. P. 390–407.
- Chang E. C., Chu Y-H. (2006). Corruption and Trust: Exceptionalism in Asian Democracies? // The Journal of Politics. Vol. 68. № 2. P. 259–271.
- Chen D. (2017). Local Distrust and Regime Support: Sources and Effects of Political Trust in China // Political Research Quarterly. Vol. 70. № 2. P. 314–326.

- Choi E., Woo J.* (2016). The Origins of Political Trust in East Asian Democracies: Psychological, Cultural, and Institutional Arguments // *Japanese Journal of Political Science*. Vol. 17. № 3. P. 410–426.
- Delhey J., Newton K.* (2003). Who Trusts?: The Origins of Social Trust in Seven Societies // *European Societies*. Vol. 5. № 2. P. 93–137.
- Downs A.* (1957). *An Economic Theory of Democracy*. New York: Harper and Brothers.
- Fitzgerald J., Wolak J.* (2016). The roots of trust in local government in western Europe // *International Political Science Review*. Vol. 37. № 1. P. 130–146.
- Easton D.* (1965). *A Systems Analysis of Political Life*. New York: John Wiley.
- Giustozzi C., Gangl M.* (2021). Unemployment and political trust across 24 Western democracies: Evidence on a welfare state paradox // *Acta Sociologica*. Vol. 64. № 1. P. 255–273.
- Godefroidt A., Langer A., Meuleman B.* (2017). Developing political trust in a developing country: the impact of institutional and cultural factors on political trust in Ghana // *Democratization*. Vol. 24. № 6. P. 906–928.
- Gontmakher E., Ross C.* (2015). The Middle Class and Democratisation in Russia // *Europe-Asia Studies*. Vol. 67. № 2. P. 269–284.
- Haerpfer C., Inglehart R., Moreno A., Welzel C., Kizilova K., Diez-Medrano J., Lagos M., Norris P., Ponarin E., Puranen B.* (2022). *World Values Survey: Round Seven — Country-Pooled Datafile Version 4.0*. Madrid, Spain & Vienna, Austria: JD Systems Institute & WVSA Secretariat.
- Habyarimana J., Humphreys M., Posner D., Weinstein J.* (2009). Coethnicity and Trust // *Cook K., Margaret L., Hardin R.* (eds.). *Whom Can We Trust?: How Groups, Networks, and Institutions Make Trust Possible*. New York: Russell Sage Foundation. P. 42–64.
- Hetherington M.* (1998). The political relevance of political trust // *American Political Science Review*. Vol. 92. № 4. P. 791–808.
- Hetherington M. J., Husser J. A.* (2012). How Trust Matters: The Changing Political Relevance of Political Trust // *American Journal of Political Science*. Vol. 56. № 2. P. 312–332.
- Hutchison M., Johnson K.* (2011). Institutional capacity, conflict, and political trust in Africa, 2000–2005 // *Journal of Peace Research*. Vol. 48. № 6. P. 737–752.
- Im T., Cho W., Porumbescu G., Park J.* (2014). Internet, Trust in Government, and Citizen Compliance // *Journal of Public Administration Research and Theory*. Vol. 24. № 3. P. 741–763.
- Kaasa A., Andriani L.* (2021). Determinants of institutional trust: the role of cultural context // *Journal of Institutional Economics*. Vol. 18. № 1. P. 45–65.
- Kramer R. M.* (1999). Trust and Distrust in Organizations: Emerging Perspectives, Enduring Questions // *Annual Review of Psychology*. Vol. 50. № 1. P. 569–598.
- Kucher M., Götte L.* (1998). Trust Me. An Empirical Analysis of Taxpayer Honesty // *Public Finance Analysis*. Vol. 55. № 3. P. 429–444.
- Kumagai S., Ilorio F.* (2020). Building Trust in Government through Citizen Engagement. URL: <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33346/>

- Building-Trust-in-Government-through-Citizen-Engagement.pdf?sequence=5 (дата доступа 12.08.2022).
- Lee D., Chang C., Hur H. (2020). Economic performance, income inequality and political trust: new evidence from a cross-national study of 14 Asian countries// *Asia Pacific Journal of Public Administration*. Vol. 2. № 2. P. 66–88.
- Leff N. H. (1964). Economic Development Through Bureaucratic Corruption// *American Behavioral Scientist*. Vol. 8. № 3. P. 8–14.
- Levi M., Stoker L. (2000). Political trust and trustworthiness// *Annual Review of Political Science*. Vol. 3. № 1. P. 475–507.
- Leys C. (1965). What is the problem about corruption?// *Journal of Modern African Studies*. № 3. P. 215–230.
- Lipset S. M. (1959). Some social requisites of democracy: economic development and political legitimacy// *American political science review*. Vol. 53. № 1. P. 69–105.
- Lu H., Tong P., Zhu R. (2020). Does Internet Use Affect Netizens' Trust in Government? Empirical Evidence from China// *Social Indicator Research*. Vol. 149. № 1. P. 167–185.
- Lühiste K. (2006). Explaining trust in political institutions: Some illustrations from the Baltic states// *Communist and Post-communist Studies*. Vol. 39. № 4. P. 475–496.
- Luhmann N. (2018). *Trust and Power*. John Wiley & Sons.
- Marcinkowski F., Starke C. (2018) Trust in Government: What's News Media got to do with it?// *Studies in Communication Sciences*. Vol. 18. № 1. P. 87–102.
- Mishler W., Rose R. (2001). What Are the Origins of Political Trust? Testing Institutional and Cultural Theories in Post-Communist Societies// *Comparative Political Studies*. Vol. 34. № 1. P. 30–62.
- Mishler W., Rose R. (2005). What are the political consequences of trust? A test of cultural and Institutional Theories in Russia// *Comparative Political Studies*. Vol. 38. № 9. P. 1050–1078.
- Morales L., De Ulzurrun D. (2002). Associational Membership and Social Capital in Comparative Perspective: A Note on the Problems of Measurement// *Politics & Society*. Vol. 30. № 3. P. 497–523.
- Naim M. (2009). What Is a GONGO? How government-sponsored groups masquerade as civil society. URL: <https://foreignpolicy.com/2009/10/13/what-is-a-gongo> (дата доступа: 12.08.2022).
- Newton K. (2001). Trust, Social Capital, Civil Society, and Democracy// *International Political Science Review*. Vol. 22. № 2. P. 201–214.
- Paxton P. (2007). Association Memberships and Generalized Trust: A Multilevel Model Across 31 Countries// *Social Forces*. Vol. 86. № 1. P. 47–76.
- Przeworski A., Limongi F. (1997). Modernization: Theories and facts// *World politics*. Vol. 49. № 2. P. 155–183.
- Rosenberg M. (1957). Misanthropy and attitudes toward international affairs// *Journal of Conflict Resolution*. Vol. 1. № 4. P. 340–345.
- Rosenfeld B. (2017). Reevaluating the Middle-Class Protest Paradigm: A Case-Control Study of Democratic Protest Coalitions in Russia// *American Political Science Review*. Vol. 111. № 4. P. 1–16.

- Rothstein B., Stolle D.* (2008). The State and Social Capital: An Institutional Theory of Generalized Trust // *Comparative politics*. Vol. 40. № 4. P. 441–459.
- Schiffman L., Thelen S. T., Sherman E.* (2010). Interpersonal and political trust: modeling levels of citizens' trust // *European Journal of Marketing*. Vol. 44. № 3/4. P. 369–381.
- Seligman A.* (1997). *The Problem of Trust*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- Shi T.* (2001). Cultural Values and Political Trust: A Comparison of the People's Republic of China and Taiwan // *Comparative Politics*. Vol. 33. № 4. P. 401–419.
- Shlapentokh V.* (2006). Trust in public institutions in Russia // *Communist and Post-Communist Studies*. Vol. 39. № 2. P. 153–174.
- Sirotkina E.* (2020). How biased media generate support for the ruling authorities: Causal mediation analysis of evidence from Russia // *European Journal of Communication*. Vol. 36. № 2. P. 183–200.
- Stolle D.* (2003). The Sources of Social Capital // *Stolle D., Hooghe M.* (eds). *Generating social capital*. New York: Palgrave Macmillan. P. 19–42.
- Stolle D., Rochon T.* (1998). Are All Associations Alike?: Member Diversity, Associational Type, and the Creation of Social Capital // *American Behavioral Scientist*. Vol. 42. № 1. P. 47–65.
- Stoyan A. T., Niedzwiecki S., Morgan J., Hartlyn J., Espinal R.* (2016). The effects of performance and participation in the Dominican Republic and Haiti // *International Political Science Review*. Vol. 37. № 1. P. 18–35.
- Uslaner E.* (1999). *Democracy and Social Capital* // *Warren M.* (ed.). *Democracy and Trust*. Cambridge: Cambridge University Press. P. 121–150.
- Tannenbergh M.* (2017) *The Autocratic Trust Bias: Politically Sensitive Survey Items and Self-censorship*. Working Paper. SERIES 2017:49.
- Tourangeau R., Yan T.* (2007). Sensitive questions in surveys // *Psychological bulletin*. Vol. 133. № 5. P. 859–883.
- Van der Meer T., Hakhverdian A.* (2017). Political Trust as the Evaluation of Process and Performance: A Cross-National Study of 42 European Countries // *Political Studies*. Vol. 65. № 1. P. 81–102.
- Van Der Meer T., Van Ingen E.* (2009). Schools of democracy? Disentangling the relationship between civic participation and political action in 17 European countries // *European Journal of Political Research*. Vol. 48. № 2. P. 281–308.
- Van der Meer T., Zmerli S.* (2017). The Deeply Rooted Concern with Political Trust // *Zmerli S., Meer T.* (eds.). *Handbook on Political Trust*. Chelton, UK: Edward Elgar Publishing. P. 1–16.
- Wischermann J., Bunk B., Köllner P., Lorch J.* (2018). Do associations support authoritarian rule? Evidence from Algeria, Mozambique, and Vietnam // *Journal of Civil Society*. Vol. 14. № 2. P. 95–115.
- Zmerli S., Newton K.* (2008). Social Trust and Attitudes toward Democracy // *Public Opinion Quarterly*. Vol. 72. № 4. P. 706–724.

## Why do citizens trust the government? The origins of political trust in modern Russia

*Ruslan Mukhametov*

Candidate of Political Sciences, Associate Professor, Ural Federal University,

Address: Lenin Avenue, 51, Ekaterinburg, Russian Federation 620083

E-mail: muhametov.ru@mail.ru

Political trust is central to the study of political regimes. The level of public support for a government or party is one of the most important indicators of political legitimacy and stability. The article examines the quantitative indicators of the influence of socio-psychological, civic, institutional, and informational factors on political trust. The purpose of the study was to understand the factors influencing trust in the Russian government. The analysis was based on data from the sociological survey of the 7th wave of the World Values Survey (2017–2022). Using the Russian data set, the authors assessed the impact of interpersonal and general trust, involvement in non-profit and non-governmental organizations, citizens' perceptions of their financial situation, security and corruption, and watching TV news on trust in government institutions. This study shows that high levels of interpersonal and societal trust have a positive impact on political trust. This study proposes and confirms the hypothesis that watching political television programs improves trust in the government. The article complements existing empirical studies on institutional trust and adapts well-known theories explaining the origin of trust to the Russian political context.

*Keywords:* trust, political trust, social capital, political institutions, government, 'school of democracy', non-profit organizations

### References

- Alesina A., La Ferrara E. (2002) Who trusts others? *Journal of Public Economics*, vol. 85, no 2, pp. 207–223.
- Bauer P.C., Freitag M. (2017) Measuring Trust, *The Oxford Handbook of Social and Political Trust* (ed. Uslaner E.), Oxford: Oxford University Press, pp. 15–36.
- Bayley D. (1967) The Effects of Corruption in a Developing Nation, *Western Political Quarterly*, vol. 19, no 4, pp. 719–732.
- Bederson V.D. (2020) «Grazhdanskie associacii i politicheskij rezhim v mirovoj nedemokraticeskoy praktike: mezhdru politicheskim kontrolem i social'noj jeffektivnost'ju» [Civil associations and political regime in the world undemocratic practice: between political control and social efficiency], *Polis. Politicheskie issledovanija*, no 2, pp. 37–52.
- Berg L., Hjerm M. (2010) National Identity and Political Trust, *Perspectives on European Politics and Society*, vol. 11, no 4, pp. 390–407.
- Catterberg G., Moreno A. (2006) The Individual Bases of Political Trust: Trends in New and Established Democracies, *International Journal of Public Opinion Research*, vol. 18, no 1, pp. 31–48.
- Chang E. C., Chu Y-H. (2006) Corruption and Trust: Exceptionalism in Asian Democracies? *The Journal of Politics*, vol. 68, no 2, pp. 259–271.
- Chen D. (2017) Local Distrust and Regime Support: Sources and Effects of Political Trust in China, *Political Research Quarterly*, vol. 70, no 2, pp. 314–326.
- Choi E., Woo J. (2016) The Origins of Political Trust in East Asian Democracies: Psychological, Cultural, and Institutional Arguments, *Japanese Journal of Political Science*, vol. 17, no 3, pp. 410–426.
- Davyborets E. N. (2016) «Fenomen» doveriia prezidentu Rossii [The «phenomenon» of trust in the President of Russia], *Sotsiologicheskie issledovaniia*, no 11, pp. 107–113.
- Delhey J., Newton K. (2003) Who Trusts?: The Origins of Social Trust in Seven Societies, *European Societies*, vol. 5, no 2, pp. 93–137.

- Downs A. (1957) *An Economic Theory of Democracy*, New York: Harper and Brothers.
- Easton D. (1965) *A Systems Analysis of Political Life*. New York: John Wiley.
- Erikson E. (1996) *Detstvo i obshchestvo* [Childhood and society], Saint Petersburg: Lenato, ACT, Fond «Universitetskaia kniga».
- Fitzgerald J., Wolak J. (2016) The roots of trust in local government in western Europe, *International Political Science Review*, vol. 37, no 1, pp. 130–146.
- Fukuiama F. (2004) *Doverie: Sotsial'nye dobrodeteli i put' k protsvetaniiu* [Trust: Social Virtues and the Path to Prosperity], Moscow: OOO «Izdatel'stvo AST»: ZAO NPP «Ermak».
- Giddens E. (2011). *Posledstviia sovremennosti* [Consequences of modernity], Moscow: Izdatel'skaja i konsaltingovaja gruppa «Praksis».
- Giustozzi C., Gangl M. (2021) Unemployment and political trust across 24 Western democracies: Evidence on a welfare state paradox, *Acta Sociologica*, vol. 64, no 1, pp. 255–273.
- Godefroidt A., Langer A., Meuleman B. (2017) Developing political trust in a developing country: the impact of institutional and cultural factors on political trust in Ghana, *Democratization*, vol. 24, no 6, pp. 906–928.
- Gontmakher E., Ross C. (2015) The Middle Class and Democratisation in Russia, *Europe-Asia Studies*, vol. 67, no 2, pp. 269–284.
- Haerper C., Inglehart R., Moreno A., Welzel C., Kizilova K., Diez-Medrano J., Lagos M, Norris P., Ponarin E., Puranen B. (eds.). 2022. World Values Survey: Round Seven - Country-Pooled Datafile Version 4.0. Madrid, Spain & Vienna, Austria: JD Systems Institute & WVSA Secretariat.
- Hantington S. (2004) *Politicheskii poriadok v meniaiushchikhsia obshchestvakh* [Political order in changing societies], Moscow: Progress-Traditsiia.
- Habyarimana J., Humphreys M., Posner D., Weinstein J. (2009) Coethnicity and Trust, *Whom Can We Trust?: How Groups, Networks, and Institutions Make Trust Possible* (eds. Cook K, Margaret L., Hardin R.), New York: Russell Sage Foundation, pp. 42–64.
- Hetherington M. (1998). The political relevance of political trust, *American Political Science Review*, vol. 92, no 4, pp. 791–808.
- Hetherington M.J., Husser J. A. (2012) How Trust Matters: The Changing Political Relevance of Political Trust, *American Journal of Political Science*, vol. 56, no 2, pp. 312–332.
- Hutchison M., Johnson K. (2011) Institutional capacity, conflict, and political trust in Africa, 2000–2005, *Journal of Peace Research*, vol. 48, no 6, pp. 737–752.
- Iakobson L.I. (2014) «Shkola demokrati»: formirovanie «grazhdanskikh dobrodeteli» [«School of Democracy»: formation of «civic virtues»], *Obshchestvennye nauki i sovremennost'*, no 1, pp. 93–106.
- Im T, Cho W., Porumbescu G., Park J. (2014) Internet, Trust in Government, and Citizen Compliance, *Journal of Public Administration Research and Theory*, vol. 24, no 3, pp. 741–763.
- Kaasa A., Andriani L. (2021) Determinants of institutional trust: the role of cultural context, *Journal of Institutional Economics*, vol. 18, no 1, pp. 45–65.
- Kiselev V. O. (2014) Doverie k politicheskim institutam v Rossii: opyt sotsiologicheskogo monitoringa [Trust in political institutions in Russia: experience of sociological monitoring], *Monitoring obshchestvennogo mneniia*, no 6, pp. 51–64.
- Kozyreva P.M., Smirnov A. I. (2015) Politicheskoe doverie v Rossii: nekotorye osobennosti i problema optimal'nosti [Political trust in Russia: some features and the optimality problem], *Vestnik Instituta sotsiologii*, no 12, pp. 79–99.
- Kramer R. M. (1999) Trust and Distrust in Organizations: Emerging Perspectives, Enduring Questions, *Annual Review of Psychology*, vol. 50, no 1, pp. 569–598.
- Kucher M., Götte L. (1998) Trust Me. An Empirical Analysis of Taxpayer Honesty, *Public Finance Analysis*, vol. 55, no 3, pp. 429–444.
- Kumagai S. Ilorio F. (2020) *Building Trust in Government through Citizen Engagement*. Available at: <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33346/Building-Trust-in-Government-through-Citizen-Engagement.pdf?sequence=5> (accessed 12 December 2022).
- Lee D., Chang C., Hur H. (2020) Economic performance, income inequality and political trust: new evidence from a cross-national study of 14 Asian countries, *Asia Pacific Journal of Public Administration*, vol. 2, no 2, pp. 66–88.



- Leff N. H. (1964) Economic Development Through Bureaucratic Corruption, *American Behavioral Scientist*, vol. 8, no 3, pp. 8–14.
- Levi M., Stoker L. (2000) Political trust and trustworthiness, *Annual Review of Political Science*, vol. 3, no 1, pp. 475–507.
- Leys C. (1965) What is the problem about corruption? *Journal of Modern African Studies*, no 3, pp. 215–230.
- Lipset S. M. (1959) Some social requisites of democracy: economic development and political legitimacy, *American political science review*, vol. 53, no 1, pp. 69–105.
- Lu H., Tong P., Zhu R. (2020) Does Internet Use Affect Netizens' Trust in Government? Empirical Evidence from China, *Social Indicator Research*, vol. 149, no 1, pp. 167–185.
- Lühiste K. (2006) Explaining trust in political institutions: Some illustrations from the Baltic states, *Communist and Post-communist Studies*, vol. 39, no 4, pp. 475–496.
- Luhmann N. (2018) *Trust and Power*. John Wiley & Sons.
- Lushnikov D. A. (2019) Organizovannye pravitel'stvom nepravitel'stvennye organizatsii (GONGO): genezis problematiki, interpretatsiia i funktsii [Government-organized non-governmental organizations (GONGO): the genesis of the problem, interpretation and functions], *Polis. Politicheskie issledovaniia*, no 2, pp. 137–148.
- Malkina M. Iu., Ovchinnikov V. N., Kholodilin K. A. (2020) Institutsional'nye faktory politicheskogo doveriia v sovremennoi Rossii [Institutional factors of political trust in Modern Russia], *Journal of Institutional Studies*, no 4, pp. 77–93.
- Marcinkowski F., Starke C. (2018) Trust in Government: What's News Media got to do with it? *Studies in Communication Sciences*, vol. 18, no 1, pp. 87–102.
- Mishler W., Rose R. (2001) What Are the Origins of Political Trust? Testing Institutional and Cultural Theories in Post-Communist Societies, *Comparative Political Studies*, vol. 34, no 1, pp. 30–62.
- Mishler W., Rose R. (2005) What are the political consequences of trust? A test of cultural and Institutional Theories in Russia, *Comparative Political Studies*, vol. 38, no 9, pp. 1050–1078.
- Morales L., De Ulzurrun D. (2002) Associational Membership and Social Capital in Comparative Perspective: A Note on the Problems of Measurement, *Politics & Society*, vol. 30, no 3, pp. 497–523.
- Naim M. (2009) *What Is a GONGO? How government-sponsored groups masquerade as civil society*. Available at: <https://foreignpolicy.com/2009/10/13/what-is-a-gongo> (accessed 12 August 2022).
- Newton K. (2001) Trust, Social Capital, Civil Society, and Democracy, *International Political Science Review*, vol. 22, no 2, pp. 201–214.
- Nezhina T. G., Petuhova K. A., Chechetkina N. I., Mindarova I. S. (2014) Motivaciya uchastija molodezhi v volonterskom dvizhenii [Motivation of youth participation in the volunteer movement], *Voprosy gosudarstvennogo i municipal'nogo upravlenija*, no 3, pp. 49–71.
- Nojel'-Nojman Je. (1996) «Obshhestvennoe mnenie: Otkrytie spirali molchanija» [Public opinion: The discovery of the spiral of silence], Moscow: Progress: Ves' mir.
- Norris P. (2011) *Democratic Deficit. Critical Citizens Revisited*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Patnem R. (1996) *Chtoby demokratiia srabotala: grazhdanskije traditsii v sovremennoi Italii* [Making Democracy work: Civic Traditions in Modern Italy], Moscow: Ad Marginem.
- Paxton P. (2007) Association Memberships and Generalized Trust: A Multilevel Model Across 31 Countries, *Social Forces*, vol. 86, no 1, pp. 47–76.
- Przeworski A., Limongi F. (1997) Modernization: Theories and facts, *World politics*, vol. 49, no 2, pp. 155–183.
- Rosenberg M. (1957) Misanthropy and attitudes toward international affairs, *Journal of Conflict Resolution*, vol. 1, no 4, pp. 340–345.
- Rosenfeld B. (2017) Reevaluating the Middle-Class Protest Paradigm: A Case-Control Study of Democratic Protest Coalitions in Russia, *American Political Science Review*, vol. 111, no 4, pp. 1–16.
- Rothstein B., Stolle D. (2008) The State and Social Capital: An Institutional Theory of Generalized Trust, *Comparative politics*, vol. 40, no 4, pp. 441–459.
- Schiffman L., Thelen S. T., Sherman E. (2010) Interpersonal and political trust: modeling levels of citizens' trust, *European Journal of Marketing*, vol. 44, no 3/4, pp. 369–381.
- Seligman A. (1997). *The Problem of Trust*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.

- Shi T. (2001) Cultural Values and Political Trust: A Comparison of the People's Republic of China and Taiwan, *Comparative Politics*, vol. 33, no 4, pp. 401–419.
- Shlapentokh V. (2006) Trust in public institutions in Russia, *Communist and Post-Communist Studies*, vol. 39, no 2, pp. 153–174.
- Shtompka P. (2012). «Doverie — osnova obshchestva» [Trust is the foundation of society], Moscow: Logos.
- Siebert F., Peterson T., Schramm W. (1956) *Four theories of the press: The Authoritarian, Libertarian, Social Responsibility, and Soviet Communist Concepts of what the Press Should be and Do*. University of Illinois Press.
- Sirotkina E. V., Zavadskaja M. A. (2016) Kogda vlast' neset otvetstvennost' za ekonomicheskii krizis: issledovanie atributsii otvetstvennosti vlasti v sravnitel'noi perspektive [When the government is responsible for the economic crisis: a study of attribution of the responsibility of the government in a comparative perspective], *Politicheskaja nauka*, no 4, pp. 242–261.
- Skokova Iu. A. (2016) Dvizhenie nabliudatelei na vyborah v Rossii: rol' NKO kak «shkoly demokratii» [The movement of Election Observers in Russia: the role of NGOs as a «school of democracy»], *Sotsiologicheskii zhurnal*, no 2, pp. 55–72.
- Stolle D. (2003) The Sources of Social Capital, *Generating social capital* (eds. Stolle D., Hooghe M.), New York: Palgrave Macmillan, pp. 19–42.
- Stolle D., Rochon T. (1998) Are All Associations Alike?: Member Diversity, Associational Type, and the Creation of Social Capital, *American Behavioral Scientist*, vol. 42, no 1, pp. 47–65.
- Stoyan A. T., Niedzwiecki S., Morgan J., Hartlyn J., Espinal R. (2016) The effects of performance and participation in the Dominican Republic and Haiti, *International Political Science Review*, vol. 37, no 1, pp. 18–35.
- Tannenberg M. (2017) The Autocratic Trust Bias: Politically Sensitive Survey Items and Self-censorship. Working Paper. SERIES 2017:49.
- Terin D. (2018) Konstruktsiia politicheskogo doveriia v Rossii: effektivnost' i spravedlivost' politicheskikh institutov [The Construction of Political Trust in Russia: the effectiveness and fairness of political institutions], *Sotsiologicheskii zhurnal*, no 2, pp. 90–109.
- Tokvil' A. (1992) *Demokratiia v Amerike* [Democracy in America], Moscow: Progress.
- Tourangeau R., Yan T. (2007) Sensitive questions in surveys, *Psychological bulletin*, vol. 133, no 5, pp. 859–883.
- Uslaner E. (1999) Democracy and Social Capital. Warren M., *Democracy and Trust*. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 121–150.
- Van der Meer T., Hakhverdian A. (2017) Political Trust as the Evaluation of Process and Performance: A Cross-National Study of 42 European Countries, *Political Studies*, vol. 65, no 1, pp. 81–102.
- Van Der Meer T., Van Ingen E. (2009) Schools of democracy? Disentangling the relationship between civic participation and political action in 17 European countries, *European Journal of Political Research*, vol. 48, no 2, pp. 281–308.
- Van der Meer T., Zmerli S. (2017) The Deeply Rooted Concern with Political Trust, *Handbook on Political Trust* (eds. Zmerli S., Meer T.), Chelton, UK: Edward Elgar Publishing, pp. 1–16.
- Wischermann J., Bunk B., Köllner P., Lorch J. (2018) Do associations support authoritarian rule? Evidence from Algeria, Mozambique, and Vietnam, *Journal of Civil Society*, vol. 14, no 2, pp. 95–115.
- Zmerli S., Newton K. (2008) Social Trust and Attitudes toward Democracy, *Public Opinion Quarterly*, vol. 72, no 4, pp. 706–724.

## Каноны и колонии: глобальный путь развития социологии\*

*Рэйвин Коннелл*

Профессор-эмеритус, Университет Сиднея.  
Адрес: Кампердаун, 2050, Новый Южный Уэльс, Австралия  
E-mail: raewyn.connell@sydney.edu.au

*Елена Тезина (переводчик)*

Магистр социологии, независимый исследователь.  
Адрес: ул. Мира, 12, Пенза, 440046 Россия  
E-mail: eltezina@gmail.com

*Иван Кисленко (переводчик)*

PhD in Sociology, независимый исследователь.  
Адрес: Навтлуги, 10, Тбилиси, 0194 Грузия  
E-mail: ivan.kislenko@fulbrightmail.org

История социологии как область знания, особенно в англоязычной ее части, долгое время пребывала в плену собственноручно созданного мифа о наличии некоего канона «классической теории», связанного с эпохой европейской модерности. Однако с самого начала социология существовала в мире империй, и расширения канона за счет гендерных, расовых или иных глобальных сюжетов недостаточно для изменения его сути. Важные разделы социального знания, такие как исследования социальных движений и «коренные знания» (*indigenous knowledges*), все еще остаются вне канонических рамок. Поворот к деколонизальным исследованиям или изучению Глобального Юга, наблюдаемый в настоящее время в социальных науках, открывает новые подходы к истории социологического знания, которые, в свою очередь, могут привести к более точным представлениям о коллективном производстве знания, а также расширить возможности, пусть порой и неравноправного, но все-таки взаимодействия ученых из разных дисциплин. Это в итоге может стать началом появления более эффективной и ангажированной социологии.

*Ключевые слова:* история социологии, формирование канона, классическая теория, колониализм, Глобальный Юг

### Введение: Прочь, Родс (Rhodes Must Go)

По всему холму напротив нижних склонов горных хребтов Тейбл Маунтин расположились главные здания верхнего кампуса Кейптаунского университета. Сама гора — знаковая часть пейзажа города, ранее называвшегося Капстад, а со зданий верхней части кампуса открываются потрясающие виды на северную и восточную части района Кейп Флэтс и далее, на всю Африку. Территория под строительство университета была пожертвована Сесилом Родсом — магнатом, сколотившим состояние на разработке алмазных месторождений, и одним из самых прославленных

---

\* Перевод сделан с согласия Рэйвин Коннелл с сайта <https://www.scielo.br/j/eh/a/HNcGkYJLzxJyNt-PfPC6cRH/?lang=en>

и безжалостных сторонников британской имперской экспансии в Южной Африке конца XIX века. Заняв пост премьер-министра Капской колонии, он принял ряд законодательных актов, направленных на вытеснение местного населения с их земель с целью пополнения дешевой рабочей силы у белых фермеров, компаний по добыче и разработке месторождений, а также других предприятий. В 1930 году университет на подходе к главному зданию воздвиг Родсу бронзовый памятник.

В 2015 году движение, инициированное группой африканских студентов, вынудило руководство университета убрать памятник. По мнению участников акции, ставшей известной как «Прочь, Родс», скульптура являлась символом продолжавшегося доминирования внутри стен университета белых, а также напоминанием о нереализованных социальных «преобразованиях», обещанных после завершения апартеида. Скандал разросся до обсуждения вопросов расового неравенства в преподавательском составе университета и зачисляемых на обучение студентов, и вылился в результате в требование африканизации образовательных программ — каррикулумов. Надо сказать, что движение следовало антиколониальной традиции темнокожих активистов — Франца Фанона и Стива Бико.

Парадоксальность ситуации заключалась в том, что университет являлся центром белой оппозиции режиму апартеида. С 1994 года страной управлял Африканский национальный конгресс, чье правительство взяло курс на неолиберальное экономическое развитие, что привело к росту безработицы среди темнокожего рабочего класса и одновременно к формированию привилегированного темнокожего меньшинства. Однако в неолиберальной экономике знания Кейптаунский университет, согласно мировым рейтингам, считался (и являлся таковым в действительности) ведущим южноафриканским университетом: университетский каррикулум многое заимствовал у европейской и североамериканской образовательных систем, даже несмотря на тот факт, что некоторые университетские профессора преподавали по альтернативным программам. В конце концов темнокожие националистически настроенные политики, чья риторика во многом перекликалась со взглядами движения «Прочь, Родс», бросили вызов правительству Африканского национального конгресса.

В скором времени руководство университета согласилось демонтировать памятник, и Родс действительно «ушел прочь». Однако проблемы, вскрытые кампанией по демонтажу скульптуры, никуда не ушли и распространились далеко за пределы Кейптауна. Это стало отправной точкой рассуждений об империалистическом характере истории оформления системы знания, на которую опираются университеты по всему миру, — «официального знания», как назвал такую систему североамериканский теоретик в области образования Майкл Эппл (Apple, 1993). Она до сих пор играет главенствующую роль в каррикулах и подходах к оцениванию профессиональной, преподавательской и исследовательской культуры. Гомогенность «официального знания» является исходным критерием при формировании мирового рейтинга университетов, о месте в котором так сильно печется университетское руководство и менеджмент.

В данной статье я попытаюсь подробно осветить постколониальную политику «официального знания» в социологии, в частности споры вокруг канона «классических» текстов. Анализируемый мною материал состоит преимущественно из англоязычных социологических источников. Я понимаю, что региональные траектории развития интеллектуальной жизни разнообразны: по сравнению со странами развитого капитализма социология посткоммунистических государств пошла совершенно иным путем (Titarenko, 2012). Точно так же и социология немецкоязычной страны не похожа на англоязычную социологию, даже в рамках одного региона. Однако я убеждена, что рассматриваемые проблемы присутствуют в дисциплине в целом.

### **Отцы-основатели: канон как псевдоистория**

В англоязычных странах история социологии обычно преподается студентам по следующей схеме. В XVIII и XIX веках общество в Европе и Северной Америке претерпело глубокую трансформацию, включая промышленную революцию, укрепление демократии, рост бюрократии в рамках государства модерна, а также культурные изменения, к которым привела секуляризация. Небольшая группа блестящих интеллектуалов, интерпретируя эти изменения, разработала науку о современном, отличном от традиционного, обществе. Эта наука и стала называться социологией. Ключевыми фигурами в ее становлении были Карл Маркс, Эмиль Дюркгейм и Макс Вебер. Их основные тексты, в частности «Капитал», «Самоубийство», «Разделение общественного труда» и «Хозяйство и общество», составляют канон, широко известный как «классическая теория». Внесла свой вклад и несколько менее выдающаяся «вторая команда», состоящая из Ф. Тённиса, Г. Спенсера, У. Самнера, Г. Зиммеля и В. Парето.

Это довольно схематичное изложение, но, по правде говоря, хрестоматийная версия «того блестящего века, в котором были заложены основы дисциплины» (Bottomore, Nisbet, 1978: x) часто столь же проста, как и изложенная мной. Идея о трех отцах-основателях как ключевых авторах классической теории была поддержана учеными, излагающими свои мысли уже более изысканно и последовательно. В монументальной книге Джеффри Александера «Теоретическая логика в социологии» (Alexander, 1982; 1983) после отказа от позитивизма классическая теория представлена в форме комплексного анализа Маркса, Дюркгейма и Вебера; Энтони Гидденс в своей влиятельной работе «Капитализм и современная социальная теория» (Giddens, 1971) проанализировал их же труды, а Питер Бэр (Baehr, 2002) уже в XXI веке встал на защиту классики социологии, поддержав имеющийся конвенциональный список, хотя ему самому и не нравится, когда его называют «каноном».

Эта картина истории социологии распространилась по всему миру. Поколение назад Кора Балдок и Джим Лалли (Baldock, Lally, 1974: гл. 8) провели небольшой опрос среди австралийских и новозеландских ученых на предмет принятых

ими теоретических взглядов в новой на тот момент академической дисциплине. В ответах были упомянуты три школы: марксистская, веберианская и дюркгеймианская. Не хочу смущать коллег, приводя плохие примеры, но могу заверить читателя, что в Австралии спустя более 30 лет учебник по введению в дисциплину все еще мог бы начать повествование с раздела «Появление социологии как дисциплины», целиком состоящим из 6 страниц о Дюркгейме, 10 страниц о Марксе и 6 страниц о Вебере.

Двадцать лет назад я написала длинное эссе «Почему классическая теория является классической?» (Connell, 1997), в которой высказала серьезные сомнения в общепринятой версии истории. Я указала на работы, в которых говорилось о том, что великая слава Дюркгейма и Вебера и даже включение Маркса в качестве социолога случились достаточно поздно (Platt, 1995). В основном канонизация этой троицы происходила с 1930-х по 1960-е годы, преимущественно в США. Это не была история, разделяемая поколением самих отцов-основателей. Социологи того периода рассматривали социологию как детище гораздо более широкой группы первопроходцев и называли два-три десятка имен во введении к своим трактатам. Лестер Уорд, например, в издании своей «Динамической социологии» 1897 года перечислил 37 выдающихся авторов новой науки. В его список входили Дюркгейм и Тённис, но не Маркс и не Вебер.

Язык «социальной науки», изобретенный Контом в первой половине века, был окончательно принят разного рода реформаторами лишь на пороге его смерти в 1850-х годах. Спустя поколение их труды и плоды их деятельности были неравномерно включены в академическую дисциплину, которая с энтузиазмом претендовала на роль полноценной эмпирической науки. Претензия на научность означала спекулятивные обобщения, подкрепленные большим объемом информации, таким образом, фиксация и классификация социального знания стали важной частью работы социолога. Такие тексты, как чрезвычайно авторитетная книга «Принципы социологии» Спенсера, опубликованная в 1870-х годах, или поколением позже «Народные обычаи» Самнера, имели формат огромного сборника описаний социальных институтов, обычаев и событий.

Исследования социальных контекстов в метрополии, безусловно, среди указанного присутствовали, но научные интересы Г. Спенсера, Л. Уорда, Ф. Энгельса, Ш. Летурно, Ф. Тённиса, Э. Дюркгейма, У. Самнера, Ф. Гиддингса, Л. Хобхауза и их коллег простирались далеко за пределы Европы. Они собрали и обобщили огромное количество данных из колонизированного и даже из доколониального мира. Для этого поколения социология в первую очередь фокусировалась не на индустриализации Европы и Северной Америки и даже не на современности.

Концептуальные рамки социологии основывались *прежде всего* на противопоставлении метрополии и колонии. Различие «примитивных» и «передовых» социальных форм подпитывало концепцию социального прогресса, которая господствовала в новой науке в течение первых двух ее поколений. Это различие было основано на допущении отсутствия тождества между колонизируемым и коло-

низатором. Его культурные корни восходят к противопоставлению христианства и язычества в средневековой европейской культуре, узаконившему крестовые походы в Палестину и Пруссию, и к ожесточенным спорам о законности заморских завоеваний, возникшим в Испании в XVI веке.

Не случайно социология как проект систематизированного знания возникла во время высшего расцвета европейского империализма. Доктрина прогресса дала либеральным интеллектуалам, создававшим эту дисциплину, решение серьезной культурной дилеммы, с которой они столкнулись как бенефициары империализма. К 1890-м годам именно данные, собираемые по всей планете, а не локальные эмпирические исследования, узаконили «социологию» как науку. Весьма поучительно ознакомиться с *L'annee sociologique* — периодическим изданием, выпускавшимся учеными, близкими к Дюркгейму, которое представляет собой крупнейшую попытку охватить все социологическое знание «классического» периода. Журнал публиковал сводки со всего колонизированного мира, а также тексты о других периодах истории в значительно большем количестве, чем работы о современной Европе. Темы индустриализации, классовой борьбы или бюрократии были весьма далеки от того, чтобы считаться доминирующими.

По содержанию и по структуре социология с самого начала была глобальной. Мой краткий экскурс в историю, конечно, может быть дополнен более полными нарративами, а тесная связь между социологией и империей убедительно подтверждается поздними историческими исследованиями (Steinmetz, 2013). Эта связь была фундаментальным, но замалчиваемым фактом об истоках социологии и выбором Маркса, Вебера и Дюркгейма, а не, скажем, Спенсера, Летурно и Самнера. Создание канона последовало за обращением к эмпирическому изучению самой метрополии после кризиса контовской социологии в начале XX века. Социология как мировоззренческий интеллектуальный проект либеральной буржуазии Европы рухнула под ударами войны, борьбы рабочего класса, национализма и авторитарного правления.

Социология столкнулась с чем-то вроде кризиса легитимации, когда после Первой мировой войны искала место в академической системе университетов США. Переосмысление ее как науки о современности и акцентирование поиска ее корней в «великих книгах» западного мира помогло решить эту проблему. По правде говоря, «великие книги» едва ли имели какое-либо отношение к методам полевых исследователей Чикагской школы и ученых Колумбийской школы, которые с 1920-х годов создали большую часть североамериканской социологии. Но разрыв в основном игнорировался — «теорию» и «метод» преподавали отдельными курсами. По иронии судьбы, она оказалась той самой консервативной версией социологии, сфокусированной на метрополии, которая затем во время холодной войны экспортировалась в развивающиеся страны: создание социальных наук по американской модели на Глобальном Юге стало проектом корпоративных фондов США, а также американских университетов и самого государства.

Создание канона — не просто формулировка общей идеи. Он стал конкретной практикой педагогики, сделавшей изучение «классики» обязательной частью

профессиональной подготовки академического социолога. Курс «Классическая теория» является стандартным элементом программ аспирантуры по социологии в университетах США (я испытала большое смущение от того, что мне пришлось преподавать такой курс, что в итоге и привело к написанию «Почему классическая теория является классической?»).

Образование в ту доинтернетную эпоху требовало для работы источник на материальном носителе, поэтому основные тексты отцов-основателей включались в сокращенном виде в антологии, переизданы и переведены на английский язык, если ранее этого еще не было сделано; типичный пример — англоязычная версия Зиммеля (Wolff, 1959). Возникла традиция интерпретации авторов, их чествования, изучения их биографий, комментирования и критики, продолжающаяся в том числе в книгах Александра и Гидденса. Коллективно поддерживаемые мифы о роли отцов-основателей могли затем с гордостью транслироваться студентам в начале их учебы (буквально в первой главе многих учебников по социологии) как правда об истоках их дисциплины.

В «Краткой истории социологической мысли» Алан Суингвуд (Swingewood, 2000: x) пишет: «Маркс, Вебер и Дюркгейм остались в основе современной социологии не только потому, что стояли у ее истоков, но и из-за глубины и строгости суждений, а также их способности поднимать животрепещущие вопросы состояния современного общества». Подобное отношение было широко распространено. Статья Джеффри Александра 1987 года «Центральное положение классики» (Alexander, 1987) содержит в себе много подобных рассуждений. Включая в свой состав беспрецедентно блестящие тексты, классический корпус выполняет следующую задачу для социологии: эти тексты позволяют и даже инициируют обсуждение в общем пространстве; центральное место классики превращает интерпретацию в ключевую форму теоретического аргумента, поскольку классические тексты становятся полем битвы. Это относительно рациональный аргумент. А вот слезливое эссе Артура Стинчкомба «Должны ли социологи забывать своих матерей и отцов?» (Stinchcombe, 1982) утверждало, что классика выполняет для социологии уже не менее шести функций.

Поразительно, что в версии Александра защита основополагающего мифа социологии возвращает нас в область религии, где интерпретация набора почитаемых текстов — герменевтики, иджтихада (*ijtihad*) — является основной формой учености и набожности. Тем не менее история религии может напомнить нам, что не только значение канона, но и сам канон может быть предметом ожесточенных споров. Были дебаты о том, какое из Евангелий следует признать достоверным, должны ли апокрифы составлять часть Библии и какие из хадисов следует воспринимать как слова Пророка Мухаммеда (мир ему и благословение).

Мысль о том, что включение в список классических авторов имеет не естественную историческую, а искусственную природу, еще отчетливее заявлена в литературоведении — другом великом источнике современной идеи канона. Попытки определить, очистить, расширить и разрушить канон английской литературы



уже давно занимают центральное место в англоязычной литературной критике (Showalter, 1977).

### Расшатывая канон

Такой более широкий взгляд на историю объясняет изменения, которые претерпел канон классической социологии. Базовые учебники по социологии, которые доминировали у Маркса, Дюркгейма и Вебера, подверглись серьезной критике со стороны социологов-феминисток, составлявших в 1970–1980-е годы значительную часть американских социологов. В то время как феминистское сообщество акцентировало внимание на том, что даже список социологов «второй команды» состоял исключительно из мужчин, афроамериканское сообщество указало, что среди каноничных авторов нет ни одного темнокожего исследователя. Мы также можем заметить, что канон был полностью буржуазным, несмотря на символическое включение Маркса в попытке защититься от критики социалистов. А во время студенческих движений 1960–1970-х годов социология стала главным академическим ресурсом нового левого радикализма.

Составители и издатели учебников по социологии чутко относились к подобным веяниям, ввиду чего вносили правки в список классических авторов. Теперь в главе о классической социологии можно было увидеть фотографию Джейн Аддамс или же Гарриет Мартино, объявленной первой женщиной-социологом (что невероятно бы ее удивило). Однако ни работы Аддамс, ни тексты Мартино так и не были «канонизированы».

То же самое случилось в ответ на критику со стороны афроамериканского сообщества: У.Э.Б. Дюбуа, безусловно, был автором выдающихся социологических работ, а «Темнокожие Филадельфии» (*The Philadelphia Negro*) и «Души черного народа» (*The Souls of Black Folk*) перепечатываются и включаются в антологии и по сей день. Тем не менее поздние работы Дюбуа подобного признания не получили. Даже будучи активным сторонником и участником антиколониального движения в Африке, кампаний за мир и, наконец, международного коммунистического движения, он не переставал писать социологические аналитические заметки. В этом я предполагаю серьезный барьер, отделяющий его от статуса каноничного автора. Это также выводит на передний план причину того, почему версии учебников о зарождении науки вращались вокруг Глобального Севера.

Более радикальный взгляд на канон предполагает включение в список авторов из не североатлантической части света. Наиболее предпочтительная кандидатура — магрибский мыслитель и политический деятель восьмого (Г.Х.<sup>2</sup>)/четырнадцатого (Р.Х.) века нашей эры, Ибн Хальдун, упоминаемый профессором Фуадом Баали (Baali, 1998) не просто как один из отцов-основателей социологической мысли, но как непосредственный создатель социологии как таковой. Книга «Мук-

---

2. Г.Х. — год хиджры. — Прим. перев.

кадима» («Начало») за авторством Ибн Хальдуна — действительно выдающееся во всех отношениях произведение, в ней рассматриваются вопросы социальных различий между сельскими и городскими районами, формирование государства и социокультурные корни политической нестабильности и перемен. Исторические тексты Ибн Хальдуна, к которым «Муккадима» является лишь концептуальным предисловием, представляют собой, по мнению Ива Лакоста (Lacoste, 1980), образец позднего расцвета широкой историографической традиции в мусульманской культуре. Ибн Хальдун обратил эту традицию к социальному анализу, отчасти в ответ на политические проблемы своего собственного общества, отчасти ради критики сверхрационалистических течений в исламской философии.

Саид Фарид Алатас (Alatas, 2006, 2010) подчеркивал творческий потенциал, скрытый за таким поворотом, и, что особенно важно, на конкретных примерах сумел продемонстрировать, как «Муккадима» может стать основой для понимания политических и религиозных изменений, происходивших в другое время и в другом месте. Таким образом, Алатас перешел от чистой схематизации к действительному выстраиванию социологического анализа неевропоцентричных устоев на базе труда Ибн Хальдуна, обладающего такой же концептуальной значимостью, как и тексты Маркса, Вебера и Дюркгейма в рамках европоцентричной социологической картины.

Возможно ли расширение такого подхода? Должно ли оно произойти? Следует ли нам пересобрать канон классической социологии с учетом не только североатлантических авторов?

Некоторые из рецензентов моей книги «Южная теория» (Connell, 2007) усмотрели в ней попытку совершить подобное. Я понимаю, почему она может рассматриваться именно с этих позиций, учитывая осведомленность о «каноничном» социологическом мышлении, а также принимая во внимание тот факт, что книга открывается критикой европейского канона. Я не возражаю против того, чтобы ряд приведенных в работе текстов стал обязательен к прочтению теми, кто считает себя социологом: например, прекрасным выбором (и проводником по реалиям начала XX века) станет работа Соломона Чекизо Плааки «Жизнь туземцев в Южной Африке», опубликованная за шесть лет до «Хозяйства и общества» Вебера и через четыре года после «Элементарных форм религиозной жизни» Дюркгейма.

Однако в мои намерения не входило назвать имена нескольких влиятельных фигур, на «плечах» которых можно построить новую традицию. Моя цель состояла в том, чтобы раскрыть все богатство социального анализа, появившегося на свет благодаря социальным изменениям и пертурбациям в колониальном и постколониальном мире, а также благодаря обилию жанров, в которых такие идеи нашли свое воплощение: источники варьируются от политических памфлетов и религиозных проповедей до заявлений об экономической политике и этнографических исследований.

В «Южной теории» действительно фигурируют имена и анализируются определенные тексты, но лишь в качестве предметного подтверждения, доказательства

центрального тезиса. Однако данная книга, несмотря на слово «теория» в названии, не претендует на переписывание истории и формально не является научной работой. Скорее, она представляет собой определенное повествование интеллигента из бывшей колонии, воспитанного в традициях европоцентричной социальной науки, но взаимодействующего с людьми, событиями и проблемами мира, лежащего вне этих рамок.

Можно назвать пророческим тот факт, что первой прочитанной мною постколониальной работой стала книга С. Л. Р. Джеймса «Выходя за границы» (*Beyond a Boundary*) (1963) — потрясающий труд о крикете и, вероятно, самое лучшее из написанного о спорте. С его ужасающими «Темнокожими якобинцами» — книгой 1938 года, рассказывающей на тот момент абсолютно все, что необходимо было знать о Просвещении — я познакомилась гораздо позже. Мысль о том, что помимо мнения небольшой группы теоретиков-классиков существовало огромное количество соразмерных взглядов и точек зрения, красной нитью проходит через всю работу, и предоставить тому доказательства не составит труда. В «Южной теории» не анализируются ни личность самого Джеймса, ни его более известного современника Франца Фанона; не нашлось в книге места и для разбора социологической мысли Ануара Абдель-Малека, Бины Агарвал, Самира Амина, Хэ-Инь Чжэнь, Картины, Хосе Карлоса Мариатеги, Кваме Нкрума, Хосе Рисаля (которого анализирует Алатас), Элейэт Саффьоти, Суня Ятсена или Леопольдо Сеа — по всем критериям исследователей второго эшелона. Этот список вполне можно продолжить — сообразно тому, как я сделала в другой своей работе (Connell, 2015a), посвященной гендерным теориям и теоретикам.

Недавняя дискуссия о глобальном плюрализме в социологии, организованная Международной социологической ассоциацией, быстро приобрела форму национальных нарративов — доказательством того служат ценные собрания сочинений под редакцией С. Патель (Patel, 2010), М. Буравого, М. Чана и М. Шей (Burawoy et al., 2010). Это жанр, в развитие которого я внесла свою лепту, описывая становление социологии в Австралии (Connell, 2015b), поэтому не считаю подобный подход откровенно неудачным. Он позволяет собрать чрезвычайно важные документы, среди прочего демонстрирующие различные последовательности интеллектуальной истории в различных мировых контекстах. Региональная история способна подсветить новые сюжеты, которые часто остаются в тени Северной теории. Примером может служить мощное осознание идеи пространства в социальном воображении глобальной периферии, задокументированное Жоао Майя (Maia, 2008, 2011) в исследовании по истории бразильской социальной мысли.

Однако по мере проявления многих социальных и интеллектуальных процессов мира империализма и постимпериалистской глобализации в гораздо большем масштабе возникают ограничения у национального или даже регионального нарратива. Существует риск того, что демонстрация множественности перспектив сведется в итоге к сомнительному проекту определения уникального национального стиля, этоса, духа или философии, чересчур хорошо знакомому

как Северу, так и Югу (из Глобального Севера можно вспомнить о Д. Левине (Levin, 1995); разгромную критику подобного проекта найти у П. Хоунтонджи (Hountondji, 1976)).

В конечном счете переформатирование, даже деколонизация канона, его замена на более разнообразную группу классиков не являются методологически адекватными способами решения проблемы в отношении истории социологической мысли. Исследуя дисциплинарную историю социологии, мы, безусловно, должны изучить причины появления и институционализации узкого канона и фантастической истории возникновения науки. Однако нам стоит уберечь себя от повторения ошибок прошлого.

### Неканонизируемая история

Существуют формы социального знания, не поддающиеся выражению в каноничных терминах. Внушительная часть социального анализа проистекает из радикальных социальных движений — рабочих движений, феминизма, движения за признание законности гомосексуализма, движения за права безземельного населения, движений низших каст, этнических групп, националистических и антиколониальных движений. Некоторые из них дали толчок к появлению важных текстов, таких как работа Б. Р. Амбедкара «Уничтожение касты», опубликованная в 1936 году и громко заявившая о противоречиях внутри индуистского общества с точки зрения угнетаемых каст, а также сурово критикующая М. Ганди. Однако подобные заявления имеют силу только в случае *коллективного* производства знания, лежащего в их основе.

За последние годы социологи постепенно свыклись с мыслью, что производство и циркуляция знания имеют глобальную природу и формируются под влиянием как имперской истории, так и чудовищного неравенства наряду с техническими возможностями неолиберальной мировой экономики современности. Постколониальные, деколониальные и Южные концепции разрабатывались в различных областях, например, в образовании (Epstein, Morrell, 2012), истории (Chakrobarty, 2000), исследованиях недееспособности (Meekosha, 2011) и криминологии (Aas, 2012), не говоря уже о социологии в общем (Sitas, 2006; Rodríguez, Voatcă, Costa, 2010; Reuter, Villa, 2010), а также в узких областях, например, в индустриальной социологии (Keim, 2008).

Пожалуй, осмелюсь заявить, что вектор подобной литературы антиканоничен и указывает не только на несостоятельность европейского/североамериканского канона, но и на трудности кристаллизации любой альтернативной версии канона стран третьего мира, постколониальных государств или Глобального Юга. Так, исследуя появление идеи «обществ знания» на Юге, Мария Лусия Масиэл и Сарита Альбальи (Maciel, Albagli, 2009) демонстрируют, что в действительности обобщенные знания не могут свободно циркулировать, в то время как локальные связи и неявные знания имеют большое значение.

Следуя другому направлению мысли, Марина Благоевич (Blagojević, 2009) исследует, каким образом *де-развитие* восточноевропейской полупериферии после падения коммунистического режима и прихода неолиберализма, создавшего новые условия для работников интеллектуального труда, повлияло на формирование знания в регионе. Под новыми условиями понимаются предоставление определенных привилегий и выделение финансирования для исследователей, которые готовы соблюдать политику университета и повестку метрополии. В пост-колониальных дискуссиях о знании концепция «коренного знания» играет центральную роль. Этот термин часто употребляется в противовес «западной науке» или западной системе знания, пример чему можно найти в бесценном собрании африканских исследований и теорий «Коренное знание и его интеграция в систему знания» (Horper, 2002) Кэтрин Одоры Хоппер. Говоря о Латинской Америке, Вальтер Миньоло (Mignolo, 2005, 2007) четко заявляет, что «коренная эпистемология» — жизненно необходимый фактор инаковости и сопротивления в «деколониальной» повестке. Коренные языки, культура и опыт аотеорской Новой Зеландии являются основой весомой критики общепризнанной социальной науки, представленной Линдой Тухивай Смит в ее книге «Методологии деколонизации» (Smith, 2012).

Это крайне спорная область; определить, что подразумевается под «коренным знанием», довольно непросто. К примеру, велись долгие и ожесточенные споры о концепции «африканской философии», которая предположительно укоренилась в устной культуре колонизированных африканских обществ (Serequeberhan, 1991; Hountondji, 2002). Идеи «коренного знания» действительно увязываются с националистическими программами и крайне сомнительной политической линией. Так, решение правительства Т. Мбеки в Южной Африке, которое выступило с вдохновляющей программой «Африканского возрождения», предложив отказаться от преобладающих трактовок эпидемии ВИЧ как расистских и ориентироваться на «коренные знания» о лечении в качестве адекватного ответа на СПИД, привело к катастрофе в области общественного здравоохранения (Cullinan, Thom, 2009).

Тем не менее не остается никаких сомнений в том, что колонизированные народы во всех частях планеты действительно обладали обширными знаниями о своих мирах, а также практиками и технологиями, основанными на таких знаниях. Паулин Хоунтонджи и его коллеги задокументировали это для западноафриканских обществ в значимом труде «Эндогенные знания: исследовательские маршруты» (Hountondji, 1997), который охватывает металлургическую промышленность, вызывание дождя, системы счисления, прогнозирование, зоологическую номенклатуру, фармакологию, психические расстройства и многое другое.

Даже те сообщества, которые европейские колонисты считали самыми примитивными из всех — койсанские народы Южной Африки, племена фуэгинов на южной оконечности Южной Америки и австралийские аборигены (чью форму религии Дюркгейм называл самой элементарной, несмотря на то что сам он ни разу не побывал на континенте), — обладали экологическими, биологическими

и социальными экспертными знаниями, а также природосберегающими технологиями, не говоря уже о сложных религиозных культурах.

Согласно наблюдениям П. Кроссмана и Р. Дэвиша (Crossman, Devisch, 2002), обсуждения вокруг «коренного знания» сконцентрировались на двух областях: сельском хозяйстве и «коренной» медицине; эти темы наиболее интересны для транснациональных корпораций и агентств по вопросам развития. Однако я бы отметила тот факт, что «коренное знание» мобильно и включает в себя большой компонент социального знания: это и записи социальных процессов, и концепции социальных отношений, способы понимания социальных конфликтов и пути их разрешения, представления об образовании и, разумеется, знание о социальных последствиях колонизации — в качестве великолепного примера рекомендую ознакомиться с восхитительной книгой М. Сомервилл и Т. Перкинса «Поющий берег» (Somerville, Perkins, 2010).

В таком знании можно обнаружить связи, редкие для европоцентричной социологии. К примеру, репрезентация социальных отношений в искусстве аборигенов Центральной Австралии непременно связывает людей с землей, с определенными местами и маршрутами внутри страны. Земля остается центральным сюжетом как в современной, так и в доколониальной культуре и политике общин аборигенов (Yunupingu, 1997).

«Коренное знание» не может быть изложено и зафиксировано в рамках канона. Его устную форму можно переложить на письмо, как это сделал Акинсола Акивово (Akiwovo, 1986) для самого известного варианта использования устной традиции (в данном примере — в отношении жреческих стихов на языке йоруба) в качестве основы для написания формальной социологии. Однако вариантов существования и исполнения устных традиций огромное множество, что препятствует выбору единственной транскрипции как самой авторитетной.

Размышляя над работой Акивово, Джими Адесина (Adesina, 2002) замечает, что, изымая данную устную традицию из контекста ситуации, очень легко утратить ее целеполагание, политическую повестку и даже воплощение в ней политических отношений.

Подобный вывод звучит справедливее по отношению к ситуациям, когда история, ритуал или произведение искусства крепко связаны с определенным местом. Я испытала подобный опыт, посетив национальный парк Какаду на севере Австралии и увидев Убирр. Традиционные истории, услышанные мной в месте, где они появились, ощущение духов прошлого и пережитых в этой точке событий полностью реализуют концепцию толкования Сновидения<sup>3</sup> и настоящего, столь чуждую общепринятой европейской социологической традиции, но такую знаковую для «коренного знания» Австралии. Как бы мы смогли обобщить знание, содержащееся в этой истории, отдельно от места? Исключительно путем ради-

---

3. Время сновидений (Сновидения) — характерное для австралийских племен представление о мифической эре сотворения природы и жизни духами предков. — *Прим. перев.*

кального отрыва от земли — операции, слишком похожей на разрушение связей аборигенов с землей, главенствовавшей во время колонизации.

### **К более радикальному взгляду на интеллектуальный труд**

В своих недавних текстах Милли Тайер (Thayer, 2010) указала на важность масштабной и гетерогенной «контрпубличности», в которой феминистская мысль о гендерном неравенстве распространяется на международном уровне. Специфика радикальных движений подразумевает наличие у них сомнений относительно иерархий не только в обществе в целом, но и внутри самих себя. Так, женское освободительное движение крайне энергично работало в интересах децентрализации процесса принятия решений и коллективной репрезентации. Согласно тезису, выдвинутому австралийской группой Арена (Arena), тенденция к совместному производству знания наиболее характерна для работников интеллектуального труда развитого капитализма (Sharp, 1968; Sharp, White, 1968; Connell, 2016). В обществах, сильно зависящих от организованного знания, интеллектуальный труд чрезвычайно коллективизирован, и условия такого труда подчеркивают горизонтальные, а не иерархические отношения между работниками, что, в свою очередь, способствует распространению демократического сознания.

Ярким примером тому служит работа, посвященная «зависимости» научной мысли в Латинской Америке. В англоязычном мире она была известна по большей части благодаря текстам Андре Гундера Франка (Frank, 1967). Согласно чудесному исследованию Фернанды Бейгель (Beigel, 2010), посвященному теории зависимо-го развития, научные идеи являлись продуктом коллективного труда. Опираясь на новаторскую работу Рауля Пребиша и Селсу Фуртаду по экономике развивающихся стран, группа молодых ученых, базировавшаяся в Сантьяго-де-Чили в 1960-е — начале 1970-х годов, предложила многогранную критику основной европейской/американской экономической теории, ортодоксального марксизма и первой модели Экономической комиссии ООН по странам Латинской Америки и Карибского бассейна (CEPAL) по вопросам индустриализации и импортозамещения. Именно взаимодействие множества исследовательских групп, рассредоточенных по различным институциям, а не централизация вокруг одного «классического» представления, дало толчок такому мощному всплеску творческой энергии.

Тем не менее существует склонность к оправданию канонов. Создание канонов — это фактически практика по сотворению кумира, а популярные массмедиа и подноготная академической жизни успешно демонстрируют силу «кумиризации» (Krieken, 2012). Обретение культового статуса влечет за собой дальнейшее наращивание массы такого статуса посредством получения большого количества «тегов» (пользуясь терминологией Твиттера) лишь по той простой причине, что работа или человек уже имеют широкую известность.

Я столкнулась с подобным — хоть и в гораздо меньших масштабах — в одной из областей социальной науки, поскольку мой труд хорошо известен в нише ген-

дерных исследований, касающейся изучения маскулинности. Судя по тому, как была принята работа, можно сделать вывод, что быть академически «известным» не значит быть правильно понятым. Жесткое сужение понятий и смыслов, перетекающее в искажение первоначальных идей, становится неотъемлемым спутником узнавания и признания (Connell, Messerschmidt, 2005).

Я понимаю, что моя работа в этой области стала основой для дальнейших замечательных исследований и теоретических выкладок других ученых. Таким образом, и в этой нише, как и подобает, наблюдается кумулятивное и саморегулирующееся наращивание и производство знания. Однако это зависит не от «культуности» или каноничности такого текста, как «Маскулинности» (Connell, 2005): все дело в упорном труде и независимом взгляде следующей волны исследователей и активистов. Основным эффектом «культуности» является закрепление ложной авторитетности по отношению к упрощенным и по большей части устаревшим описаниям предмета исследования.

Именно поэтому я довольно скептически отношусь к заявлениям, утверждающим, что наличие «ядра классических работ» идет социологии на пользу. Механизмы и следствия создания культа производят на свет усеченные и искаженные описания трудов Маркса, Дюркгейма и Вебера: странное толкование Маркса как «теоретика конфликта» служит тому примером. Другим подтверждением можно считать тот факт, что англоязычная интерпретация Дюркгейма практически целиком упускает из виду отчаянное стремление настоящего Дюркгейма создать светскую республиканскую культуру во Франции в связи с делом Дрейфуса; третье неверное толкование касалось Вебера.

Читатель, привыкший к облегченному англоязычному Веберу-«отцу-основателю», к абстрактному философу, чьи идеи анализировали Александер и Гидденс, с удивлением обнаружит, что уважаемый Макс Вебер был довольно амбициозным, хотя и уязвимым игроком в суровом мире национал-либеральной политики, экономической и политической борьбы, имперского правления и милитаризма. Как сухо заметил Кит Трайб (Tribe, 1989: 12), «значение, которое Вебер приобрел для социологической традиции, часто имеет сомнительную ценность».

Канонизация приводит не только к пресному и неверному толкованию жизни и работы мыслителей, чьи труды действительно заслуживают внимания и прочтения. Процесс канонизации имеет губительные последствия и для дисциплины, в рамках которой он происходит. Он подразумевает, что производство социологических точек зрения зависело исключительно от одного-единственного гениального ума. В действительности тезис Бейгель относительно создания зависимой (*dependentista*) системы применим также и к формированию социологии как академической дисциплины метрополии в 1880-1900-х годах: оно потребовало совместной работы целой сети интеллектуалов из пяти или шести стран, основывавших факультеты, журналы, проводивших конференции, создававших ассоциации, определявших повестку, писавших учебники. Как уже отмечалось ранее,



социологи того периода смотрели на появление дисциплины с коллективистских, а не канонических позиций.

Полагаться на канон как на структурообразующий элемент, в то же время устанавливающий границы области знания — наиболее частый тезис, выдвигаемый в пользу необходимости канона, — значит мешать естественному течению мысли, что кажется наиболее проблематичным из всех возможных «за» и «против». Канон тормозит самостоятельное мышление, препятствует выходу за очерченные рамки и не позволяет рискнуть стабильностью своей профессиональной идентичности. Довольно странно, что полемика мыслителя из метрополии 1890-х годов о методологической обособленности социального должна преподаваться студентам в Индии или Китае в 2010-х годах как часть определения их области изучения, в то время, когда они задыхаются от загрязнения в своих городах и напуганы антропогенным изменением климата.

Вслед за безрезультатным обсуждением программы Майкла Буравого в отношении «публичной социологии» (Clawson et al., 2007) некоторые коллеги пришли в глубокое уныние по поводу отсутствия влияния социологии на текущие общественные дела во времена усиления неолиберальной политики и роста глобальных противоречий (Prosono, 2012). Одной из причин неэффективности, безусловно, является структура официального знания в самой социологии.

Деконимальные и Южные перспективы, рассмотренные выше, предполагают, что любое обстоятельное переформатирование социологии должно происходить на глобальном уровне, однако подобное невозможно осуществить без понимания сил, производящих знание такого масштаба, а также без учета специфики неоконимальных обстоятельств, в рамках которых действуют такие силы (Mkandawire, 2005). Значительное неравенство среди работников интеллектуального труда по всему миру — одна из наиболее острых проблем, стоящих перед современной социологией.

В то же время глобальная перспектива предоставляет ряд возможностей для интеллектуальной перестройки. Родс должен уйти прочь, и у нас достаточно идей по замене колониальной структуры знания: эпистемологический плюрализм, с которым работают многие ученые (Olivé et al., 2009), «теория с юга», предложенная Джин и Джоном Комарофф (Commaroff, Commaroff, 2012), «связанные социологии» Гурминдер Бамбра (Bhambra, 2014), важнейшая и подробнейшая работа сети исследователей в контексте Глобального Юга, например, южноафриканское исследование образования за авторством Д. Эпштейн и Р. Моррелла (Epstein, Morrell, 2012).

Социология *может* высказываться по важным вопросам современного общества, но только в том случае, если больше социологов захотят мыслить самостоятельно, формировать новые типы международных связей и рисковать, как академически, так и лично, то есть поступать так, как поступали Маркс, Дюркгейм и Вебер, вместо того, чтобы бесконечно цитировать их труды. Такая деятельность вряд ли позволит оказаться в *American Sociological Review*, но может помочь изменить мир вокруг.

## References

- Aas K. F. (2012) The Earth is one but the world is not: criminological theory and its geopolitical divisions. *Theoretical Criminology*, vol. 16, no 1, pp. 5-20.
- Adesina J. O. (2002) Sociology and Yorùbá studies: epistemic intervention or doing sociology in the "vernacular"? *African Sociological Review*, vol. 6, no 1.
- Akiwowo A. A. (1986) Contributions to the sociology of knowledge from an African oral poetry. *International Sociology*, vol. 1, no 4, pp. 343-358.
- Alatas S. F. (2006) *Alternative Discourses in Asian Social Science: Responses to Eurocentrism*, New Delhi: Sage.
- Alatas S. F. (2010) Religion and reform: two exemplars for autonomous sociology in the non-Western context. *The ISA Handbook of Diverse Sociological Traditions*. S. Patel (ed.), Los Angeles: Sage, pp. 29-39.
- Alexander J. C. (1987) The centrality of the classics. *Social Theory Today*. Eds. A. Giddens, J. H. Turner, Cambridge: Polity Press, pp. 11-57.
- Alexander J. C. (1982) *Theoretical Logic in Sociology*. V. 2. The Antinomies of Classical Thought: Marx and Durkheim, Berkeley: University of California Press.
- Alexander J. C. (1983) *Theoretical Logic in Sociology*. V. 3. The Classical Attempt at Theoretical Synthesis: Max Weber, Berkeley: University of California Press.
- Ambedkar B. R. (2014) [1936] *Annihilation of Caste: Speech Prepared for the Annual Conference of the Jat-PatTodak Mandal of Lahore But Not Delivered*, London: Verso.
- Apple M. (1993) *Official Knowledge: Democratic Education in a Conservative Age*, New York: Routledge.
- Baali F. (1988) *Society, State, and Urbanism: Ibn Khaldun's Sociological Thought*, Albany: State University of New York Press.
- Baehr P. (2002) *Founders, Classics, Canons: Modern Disputes over the Origins and Appraisal of Sociology's Heritage*, New Brunswick/London: Transaction Publishers.
- Baldock C. V., Lally J. (1974) *Sociology in Australia and New Zealand: Theory and Methods*, Westport: Greenwood Press.
- Beigel F. (2010) Dependency analysis: the creation of new social theory in Latin America. *The ISA Handbook of Diverse Sociological Traditions*. S. Patel (ed.), Los Angeles: Sage, pp. 189-200.
- Bhambra G. K. (2014) *Connected Sociologies*, London: Bloomsbury Academic.
- Blagojevic M. (2009) *Knowledge Production at the Semiperiphery: A Gender Perspective*, Belgrade: IKSI.
- Bottomore T., Nisbet R. (eds.) (1978) *A History of Sociological Analysis*, London: Heinemann.
- Burawoy M., Chang Mau-kuei, Hsieh M. Fei-yu (eds.) (2010) *Facing an Unequal World*, Taipei: Academia Sinica.
- Chakrabarty D. (2000) *Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference*, Princeton: Princeton University Press.
- Clawson D. et al. (eds.) (2007) *Public Sociology: Fifteen Eminent Sociologists Debate Politics and the Profession in the Twenty-first Century*, Berkeley: University of California Press.
- Comaroff J., Comaroff J. L. (2012) *Theory from the South: or, How Euro-America is Evolving Toward Africa*, Boulder/London: Paradigm Publishers.
- Connell R. (2016) Theorizing intellectuals. *Arena Journal*, no 45/46, Special Issue "Cold War to Hot Planet: Fifty Years of Arena", pp. 12-27.
- Connell R. (2005) *Masculinities*. 2nd edition, Cambridge: Polity Press.
- Connell R. (2015a) Meeting at the edge of fear: theory on a world scale. *Feminist Theory*, vol. 16, no 1, pp. 49-66.
- Connell R. (2015b) Setting sail: the making of sociology in Australia, 1955-75. *Journal of Sociology*, vol. 51, no 2, pp. 354-369.
- Connell R. (2007) *Southern Theory: The Global Dynamics of Knowledge in Social Science*, Cambridge: Polity Press.
- Connell R. (1997) Why is classical theory classical? *American Journal of Sociology*, vol. 102, no 6, pp. 1511-57.
- Connell R., Messerschmidt J. W. (2005) Hegemonic masculinity: rethinking the concept. *Gender and Society*, vol. 19, no 6, pp. 829-859.

- Crossman P., Devisch R. (2002) Endogenous knowledge in anthropological perspective: a plea for a conceptual shift. *Indigenous Knowledge and the Integration of Knowledge Systems*. C. F. Hoppers (ed.), Claremont: New Africa Books, pp. 96-125.
- Cullinan K., Thom A. (2009) *The Virus, Vitamins and Vegetables: The South African HIV/AIDS Mystery*, Cape Town: Jacana.
- Epstein D., Morrell R. (2012) Approaching Southern theory: explorations of gender in South African education. *Gender and Education*, vol.24, no 5, pp. 469-482.
- Frank A. G. (1971) [1967] *Capitalism and Underdevelopment in Latin America: Historical Studies of Chile and Brazil*, Harmondsworth: Penguin
- Giddens A. (1971) *Capitalism and Modern Social Theory: An Analysis of the Writings of Marx, Durkheim and Max Weber*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Hoppers C. A. O. (ed.). (2002) *Indigenous Knowledge and the Integration of Knowledge Systems*, Claremont: New Africa Books.
- Houtondji P.J. (1996) [1976] *African Philosophy: Myth and Reality*. 2 ed., Bloomington: Indiana University Press.
- Houtondji P.J. (ed.). (1997) *Endogenous Knowledge: Research Trails*, Dakar: Codesria.
- Houtongji P.J. (2002) *The Struggle for Meaning: Reflections on Philosophy, Culture, and Democracy in Africa*, Atenas: Ohio University Press.
- James C. L. R. (1993) [1963] *Beyond A Boundary*, Durham: Duke University Press.
- James C. L. R. (1963) [1938] *The Black Jacobins: Toussaint L'Ouverture and the San Domingo Revolution*, New York: Vintage Books.
- Raewyn Connell (2019) 366 *Estudos Históricos Rio de Janeiro*, vol. 32, no 67, pp. 366-367.
- Keim W. (2008) *Vermessene Disziplin: Zum konterhegemonialen Potential afrikanischer und lateinamerikanischer Soziologien*, Bielefeld: Verlag.
- Krieken R. van. (2012) *Celebrity Society*, London/New York: Routledge.
- Lacoste Y. (1984) *Ibn Khaldun: The Birth of History and the Past of the Third World*, London: Verso.
- Levine D. N. (1995) *Visions of the Sociological Tradition*, Chicago: University of Chicago Press.
- Maciel M. L., Albagli S. (2009) Knowledge societies, seen from the South: local learning and innovation challenges. *International Social Science Journal*, no 195.
- Maia J. M. E. (2008) *A terra como invenção: o espaço no pensamento social brasileiro*, Rio de Janeiro: Zahar.
- Maia J. M. E. (2011) Space, social theory and peripheral imagination: Brazilian intellectual history and de-colonial debates. *International Sociology*, vol. 26, no 3, pp. 392-407.
- Meekosha H. (2011) Decolonising disability: thinking and acting globally. *Disability & Society*, vol. 26, no 6, pp. 667-682.
- Mignolo W.D. (2007) Delinking: The rhetoric of modernity, the logic of coloniality and the grammar of decoloniality. *Cultural Studies*, vol. 21, no 2-3, pp. 449-514.
- Mignolo W.D. (2005) *The Idea of Latin America*, Oxford: Blackwell.
- Mkandawire T. (ed.) (2005) *African Intellectuals: Rethinking Politics, Language, Gender and Development*, Dakar: Codesria/ London: Zed Books.
- Olive L. et al. (2009) *Pluralismo epistemológico*, La Paz: Muela del Diablo/Comuna/Clacso/Cides-Umsa.
- Patel S. (ed.). (2010) *The ISA Handbook of Diverse Sociological Traditions*, Los Angeles: Sage.
- Platt J. (1995) The United States reception of Durkheim's The Rules of Sociological Method. *Sociological Perspectives*, vol. 38, no 1, pp. 77-105.
- Prosono M. (2012) Bystander sociology and the Sonderbehandlung of the social. *The Shape of Sociology for the 21st Century: Tradition and Renewal*. D. Kalekin-Fishman, A. Dennis (ed.), Los Angeles: Sage, pp. 267-280.
- Reuter J., Villa P.-I. (ed.) (2010) *Postkoloniale Soziologie: Empirische Befunde, theoretische Anschlüsse, politische Intervention*, Bielefeld: Transcript.
- Rodriguez E. G., Boatca M., Costa S. (eds.) (2010) *Decolonizing European Sociology: Transdisciplinary Approaches*, Farnham/Surrey/Burlington: Ashgate.
- Serequeberhan T. (1991) *African Philosophy: The Essential Readings*, New York: Paragon House.
- Sharp G. (1968) A revolutionary culture. *Arena*, no 16, pp. 2-11.

- White D. (1968) Features of the intellectually trained. *Arena*, no 15, pp. 30-33.
- Showalter E. (1977) *A Literature of Their Own: British Women Novelists from Brontë to Lessing*, Princeton: Princeton University Press.
- Sitas A. (2006) The African Renaissance challenge and sociological reclamations in the South. *Current Sociology*, vol. 54, no 3, pp. 357-380.
- Smith L.T. (2012) *Decolonizing Methodologies: Research and Indigenous Peoples*. 2 ed., London: Zed Books.
- Somerville M., Perkins T. (2010) *Singing the Coast*, Canberra: Aboriginal Studies Press.
- Steinmetz G. (ed.) (2013) *Sociology & Empire: The Imperial Entanglements of a Discipline*, Durham/London: Duke University Press.
- Stinchcombe A. L. (1982) Should sociologists forget their mothers and fathers? *American Sociologist*, vol. 17, no 1, pp. 2-11.
- Swingewood A. (2000) *A Short History of Sociological Thought*. 3 ed., Basingstoke: Palgrave.
- Thayler M. (2010) Translations and refusals: resignifying meanings as feminist political practice. *Feminist Studies*, vol. 36, no 1, pp. 200-230.
- Titarenko L. (2012) Post-Soviet sociology as a pattern of "another sociology". *The Shape of Sociology for the 21st Century: Tradition and Renewal*. D. Kalekin-Fishman, A. Dennis (eds.), Los Angeles: Sage, pp. 218-237.
- Tribe K. (ed.) (1989) *Reading Weber*, London/New York: Routledge.
- Wolff K. H. (ed.) (1959) *Georg Simmel, 1858-1918: A Collection of Essays, with Translations and a Bibliography*, Columbus: Ohio State University Press.
- Yunupingu G. (ed.) (1997) *Our Land is Our Life*, Brisbane: University of Queensland Press

## Canons and colonies: a global trajectory of sociology

### *Raewyn Connell*

Emeritus Professor, University of Sydney  
Address: Camperdown, 2050, New South Wales, Australia  
E-mail: raewyn.connell@sydney.edu.au

### *Elena Tezina*

Translator, MA in Sociology, independent researcher.  
Address: ul. Mira 12, Penza, 440046, Russia.  
E-mail: eltezina@gmail.com

### *Ivan Kislenko*

Translator, PhD in Sociology, independent researcher.  
Address: Navtlugi str. 10, Tbilisi, 0194, Georgia  
E-mail: ivan.kislenko@fulbrightmail.org

The history of sociology as a field of knowledge, especially in the English-speaking world, has been obscured by the discipline's own origin myth in the form of a canon of "classical theory" concerned with European modernity. Sociology was involved in the world of empire from the start. Making the canon more inclusive, in gender, race, and even global terms, is not an adequate correction. Important types of social knowledge, including movement-based and indigenous knowledges, resist canonization. The turn towards decolonial and Southern perspectives, now happening across the social sciences, opens up new perspectives on the history of knowledge. These can be linked with a more sophisticated view of the collective production of knowledge by the workforces that are increasingly, though unequally, interacting. Potentials for a more effectively engaged sociology emerge.

**Keywords:** History of Sociology; canon formation; classical theory; colonialism; Global South.

# Отображение и политизация пандемии COVID-19 на первых полосах ежедневных газет России, Италии, Великобритании, Испании, Франции, Португалии, Германии и США

## *Сантьяго Техедор*

Доктор журналистики (Автономный университет Барселоны), доцент, заведующий кафедрой журналистики и коммуникационных наук факультета коммуникационных наук Автономного университета Барселоны (Испания).

Адрес: Бельятерра, Кампус Автономного университета Барселоны, факультет коммуникационных наук, Барселона, 08193 Испания  
E-mail: santiago.tejedor@uab.cat

## *Фернанда Туза*

Доктор коммуникационных наук (Южный университет Аргентины), преподаватель-исследователь факультета социальных наук Технического университета Мачалы (Эквадор).

Адрес: Кампус Технического университета Мачалы, факультет социальных наук, Мачала, 070201 Эквадор  
E-mail: ftusa@utmachala.edu.ec

## *Лаура Черви*

Доктор политических наук (Университет Павии), преподаватель-исследователь кафедры журналистики и коммуникационных наук факультета коммуникационных наук Автономного университета Барселоны (Испания).

Адрес: Бельятерра, Кампус Автономного университета Барселоны, факультет коммуникационных наук, Барселона, 08193 Испания  
E-mail: Laura.Cervi@uab.cat

## *Марта Порталес*

Доктор журналистики (Автономный университет Барселоны), исследователь кафедры журналистики и коммуникационных наук факультета коммуникационных наук Автономного университета Барселоны (Испания).

Адрес: Кампус Автономного университета Барселоны, факультет коммуникационных наук, Бельятерра, Барселона, 08193, Испания  
E-mail: martaportoli@gmail.com

## *Маргарита Заботина*

Магистр коммуникаций и образования (Автономный университет Барселоны), выпускница кафедры журналистики и коммуникационных наук Автономного университета Барселоны.

Адрес: Кампус Автономного университета Барселоны, факультет коммуникационных наук, Бельятерра, Барселона, 08193, Испания  
E-mail: marga.zabotina@gmail.com

Влияние пандемии COVID-19 распространилось и на средства массовой информации, которые вынуждены прилагать дополнительные усилия для освещения ситуации глобального вируса. В период карантина произошел рост информационного потребления, обусловленный заинтересованностью и обеспокоенностью граждан по поводу характеристик и опасности коронавируса. Несмотря на то что социальные сети занимают первое место среди интернет-платформ, к которым, согласно многочисленным исследованиям, чаще всего обращаются граждане, пользователи склонны полагать, что традиционные газеты и журналы демонстрируют «благие намерения» в противоположность «недобрым замыслам» электронных СМИ и сайтов. Принимая во внимание данное обстоятельство,

настоящее исследование строится на анализе первых полос бумажных версий ежедневных газет, которые выступают ключевым элементом, синтезирующим и выстраивающим иерархию информационных материалов, а также непосредственно связаны с цифровой версией конкретного СМИ. В статье представлен компаративный анализ первых полос ежедневных газет восьми стран (Италия, Великобритания, Испания, Франция, Португалия, США, Россия и Германия), в рамках которого оценивались следующие аспекты: количество новостных единиц, посвященных коронавирусу, типы текста, типология источников информации, персонажи новостей, использование цвета, наличие и специфика фотографий, а также расположение новостных единиц на странице. В ходе исследования были изучены 288 главных страниц из 16 ежедневных газет (по 2 для каждой страны) с 1478 новостными единицами, из которых 710 по жанру являются новостями, и 94 592 — параметрами данных при использовании смешанного метода прямого наблюдения и гемерографического анализа. Было зафиксировано незначительное присутствие в новостных единицах заглавной страницы заболевших и врачей, преобладание информативных жанров (кратких и ёмких), политики представлены как главные действующие лица, что тем самым указывает на высокий уровень политизации глобального кризиса. В заключение отметим, что визуальный материал ежедневных газет был призван повышать уровень гуманизации через эмоциональное изображение событий.

*Ключевые слова:* COVID-19, пандемия, газета, СМИ, медиатизация, политизация

Пандемия коронавируса COVID-19 с рекордными показателями заболеваемости быстро распространилась по всей планете. С политической точки зрения управление эпидемией подразумевает борьбу с последствиями, спровоцированными ею не только в области здравоохранения, но также и с последствиями социального, политического и экономического характера. В этой связи реакция на пандемию разных стран не была однотипной. Так, президент США Дональд Трамп и президент Бразилии Жаир Болсонару подошли к пандемической ситуации с деструктивным и отрицающим ее значимость отношением, это сделало общие усилия борьбы с пандемией менее эффективными. Для государств с авторитарными режимами, такими как Китай, введение ограничительных мер прошло с большей легкостью, чем для демократических стран. Примечательно, что в таких разных странах, как Бразилия, Россия и США, центральное правительство передало свои полномочия по регулированию пандемии в регионы, вынуждая тем самым их руководителей играть главную роль в решении сложных вопросов.

Впрочем, с полной уверенностью можно заявить, что общий кризис, вызванный COVID-19, повлек за собой и кризис коммуникационный.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) применила термин *infodemics* (инфодемия) для обозначения перенасыщения информацией о коронавирусе, с целью предупредить граждан о рисках, возникающих от избытка информации, среди которой встречается большое количество ложных новостей и слухов. По мнению Рамона Салаверрия и его коллег, возрос уровень дезинформации: на первое место вышли социальные сети, нередко предоставляющие «информацию, лишённую контекста, и разного рода ложь» (Salaverriá, Buslón, López-Pan, León, López-Goñi, Erviti, 2020: 2).

В ситуации глобального кризиса, особенно в периоды наиболее жесткого карантина, средства массовой информации превратились для граждан в основные источники

информации о распространении вируса. Учитывая это обстоятельство, изучение того, как пандемия COVID-19 отразилась в традиционных СМИ, имеет большое значение.

Принимая во внимание уровень доверия к печатным СМИ и их образ, как более строго проверяющих достоверность информации, настоящее исследование было построено на анализе 288 заглавных страниц основных ежедневных газет Италии, Великобритании, Испании, Франции, Португалии, США, России и Германии (по 36 на каждую страну). Были выявлены 710 новостей и 94 592 параметра данных о пандемии, а также были оценены следующие аспекты: типы текста, типология источников информации, персонажи новостей, использование цвета, наличие и специфика фотографий, а также расположение информационных единиц на странице.

В данном исследовании первая полоса газеты рассматривается в качестве ключевого синтезирующего элемента, на основании которого, по мнению конкретного издания, выстраивается иерархия всех остальных информационных материалов в зависимости от их важности. В конечном итоге первая полоса газеты выступает привилегированным пространством при обращении к своей читательской аудитории (Sunkel, 2002). В исследовании, охватившем период с 24 февраля по 4 апреля 2020 года, была предпринята попытка дать ответ на следующие вопросы:

— Как глобальный кризис, связанный с пандемией COVID-19, отразился на заглавных страницах основных ежедневных газет?

— Какие типы текстов использовались для передачи информации о пандемии?

— Какие персонажи и организации доминировали в новостных единицах?

— Какую роль в отображении пандемии COVID-19 на заглавных страницах ежедневных газет играли фотографии?

Говоря о цели исследования, подчеркнем, что она не заключалась в подтверждении или опровержении определенных гипотез, а состояла в попытке зафиксировать, каким образом реальная ситуация пандемии нашла свое отражение в журналистике разных стран. Ввиду относительной новизны темы (с пандемиями такого масштаба человечество не сталкивалось на протяжении последних десятилетий) исследование носило описательный характер и строилось на основе компаративного анализа ежедневных газет 8 стран с точки зрения присутствия/отсутствия в самые критические месяцы пандемии (февраль-апрель 2020) на их заглавных страницах связанной с ней информации.

## **Теоретическое обоснование**

### *Установление повестки дня и медиатизация реальности*

Модель установления повестки дня, появившаяся в 1970-е годы, строилась на отдельных объяснениях влияния новостных СМИ на общественное мнение (McCombs, Shaw, Weaver, 2014; Scheufele, Tewksbury, 2007). В основе теории установления повестки дня лежит предположение о том, что новостные СМИ не столько опреде-

ляют мнение масс, сколько играют значимую роль в формировании тематики (формируя, таким образом, повестку дня) для дальнейшего обсуждения их публикаций.

С другой стороны, в настоящее время средства массовой информации превратились в важных акторов политической системы, занимая при этом центральную позицию в большинстве политических практик (Mazzoleni, Schulz, 1999).

Политика, связанные с ней события и действующие лица, ранее часто находившиеся в тени, благодаря СМИ становятся более известными обществу.

Кроме того, в связи с ростом количества коммерческих СМИ и последующей таблоидизации информации (Mazzoleni) политики сталкиваются с принудительной властью СМИ, требующих удовлетворения коммерческих интересов компаний, а также запросов и вкусов публики.

Таким образом, в изложении политической информации начинает применяться императивный тон, пришедший на замену уравновешенному и беспристрастному стилю подачи информации. Сенсационность и драматизация как бы привлекает внимание к «продаваемым» аспектам информации, представляющим наибольшую привлекательность для читателей. Как следствие, зачастую исчезают и жанровые различия: политика, популярная культура, информация, развлечения смешиваются и создают новый жанр, названный англоязычным термином *politainment* (политеймент). *Политеймент* представляет собой *инфотеймент* (Delli Carpini, Williams, 2001) при применении к политической информации это смешение «политических тем, процессов, деятелей с культурой развлечения» (Nieland, 2008).

Для того чтобы понять особенности отражения кризиса COVID-19 в СМИ оба этих аспекта должны быть приняты во внимание.

### *Первая полоса газет*

Анализ первых полос печатных газет был в последние пятьдесят лет предметом регулярных исследований. Начиная с классических научных трудов, таких как (Kayser, 1974; Arnold, 1984; Evans, 1978, 1984a, 1984b; Bogart, 1985; El-Mir, Lallana, Hernández, 1995), до недавних исследований (López, 2001; Davara, López, Martínez-Fresneda, Humberto y Sánchez, 2004; Cunha da Silva Aires, 2006; Burgueño, 2008; Núñez-Romero, 2009; Canga, Coca, Pérez, 2010) большое количество разнообразных научных работ было посвящено анализу содержания первых полос печатных ежедневных газет. К ним следует отнести и исследование, проведенное С. Техедором, Г. Харабой и Л. Черви (Tejedor, Jaraba, Cervi, 2020) и установившее связи между содержанием заглавных страниц печатных изданий и их электронных версий, а также корреляцию с информацией на их страницах в социальных сетях, таких, например, как *Twitter*.

Первая полоса ежедневной газеты воспринимается в качестве главной страницы, она отражает информационные приоритеты и позицию издания по отношению к конкретному новостному событию. В этой связи, согласно наблюдениям Хесуса Канги и его коллег (Canga, Coca, Pérez, 2010), составление заглавной страницы является собой результат сложного процесса, учитывающего ее роль своего



рода витрины данного СМИ, информирующей своих читателей об актуальной информации, которой придается наибольшая важность. Согласно Ф. Сабесу и Х. Верону (Sabés, Verón, 2008), выделяются три элемента, присутствующие на первой полосе: заголовки (серия визуально-лингвистическая), тексты (серия визуально-паралингвистическая) и изображения (серия визуально-нелингвистическая).

## Методология

Объектом исследования, базирующегося на разработках Л. Пенарррета, Л. Родригеса и К. Рамос (Penarrieta, Rodríguez, Ramos, 2014), являются 710 новостных единиц с 288 главных страниц основных ежедневных газет Италии, Великобритании, Испании, Франции, Португалии, США, России и Германии (по 36 главных страниц на каждую страну). Будучи в большей степени индуктивным, заявленный анализ проводился на основе 15 параметров и 64 категорий (включены в таблицу).

Исследование, носящее дескриптивный и экспликативный характер, использует смешанный метод (квалитативный и квантитативный), базирующийся на изучении материалов содержания и дополненный проведением прямых наблюдений, а также гемерографическим анализом. Основной метод — анализ разнообразных элементов, образующих дизайн первой полосы, в соответствии с выделенными критериями. Одновременно проведенный гемерографический анализ помог содержательному описанию элементов каждой заглавной страницы по специальным категориям, выделенным по результатам библиографического обзора работ, близких настоящему предмету исследования, отдельно для текстов, заголовков и фотографий. Обработка данных производилась с применением программного обеспечения SPSS с использованием описательной статистики. Список анализируемых ежедневных газет см. в таблице 1.

Таблица 1. Список ежедневных газет, использованных при анализе

Наименование издания	Страна
The NY Times The Washington Post	США
Corriere della Sera Repubblica	Италия
Correio da Manhã Jornal de Notícias	Португалия
Известия Российская Газета	Россия
The Guardian The Times	Великобритания
Le Figaro Le Monde	Франция

Frankfurter Allgemeine Süddeutsche Zeitung	Германия
El País El Mundo	Испания

Таблица 2. Параметры анализа

Информационные единицы заглавной страницы	Общее количество
Информационные единицы о коронавирусе	Общее количество
Типология информационных единиц	Новость, интервью, хроника, репортаж, редакционная статья, статья-мнение, информационная заметка, редакционное фото, карикатура
Расположение на странице	Наверху слева, наверху справа, полностью верхняя часть, снизу справа, снизу слева, полностью нижняя часть, вся страница
Тип доминирующей информации	Данные или интерпретация данных
Организации/субъекты в информационных единицах	Национальные неполитические организации, национальные политические организации, географические субъекты, зарубежные политические организации, зарубежные неполитические организации
Персонажи информационных единиц	Национальные политики, зарубежные политики, граждане, медицинский персонал, ученые-исследователи, пострадавшие пациенты, публичные личности, другие
Тип заголовка	Информативный, экспрессивный, апеллятивный
Заголовок по характеру высказывания	Прямая цитата, непрямая цитата или частично прямая цитата
Типы глаголов заголовка	Повествовательные, интерпретирующие слабые, интерпретирующие сильные, перлокутивные
Фотография	Количество фотографий
Тип фотографии	Цветная или черно-белая
Функция фотографии	Документальная или художественная
Персонажи фотографий	Национальные политики, зарубежные политики, медицинский персонал, ученые-исследователи, заболевшие пациенты, граждане, публичные персоны, другие

Источник: создано авторами, основываясь на трудах (López, 1995; Cabrera, 2000; Salaverría, Díaz Noci, 2003; Parra y Álvarez, 2004; Boczkowski, 2004; Pavlik, 2005; Sabés, Verón, 2008; Tejedor, 2010; Cobo, 2012).

Итак, объектом данного исследования стали 710 новостных единиц главных страниц ежедневных газет, первая полоса газеты рассматривается в качестве ключевого синтезирующего элемента, выстраивающего, по мнению конкретного издания, иерархию своих информационных материалов в зависимости от их важности. Новостные единицы первой полосы не отражают весь содержательный материал ежедневной газеты, однако являются своеобразной выборкой, которую каждое издание осуществляет из всего объема информации. Более того, существует прямая связь между первой полосой печатной газеты и ее цифровой версией, которую каждое печатное СМИ предлагает на своей электронной странице. В некоторых электронных ежедневных газетах существует раздел, именуемый «Первые полосы» или «На первых полосах», в котором дается ссылка на печатную версию. Важность заглавной страницы газеты, по мнению Л. Панарьета и коллег (Penarrieta, Rodríguez, Ramos, 2014), заключается в разделении и интерпретации информации, в которой в основном отражены социальные темы. Первая полоса играет ключевую роль в привлечении внимания читателей, она служит пространством, на котором представлены формальные и содержательные характеристики определенного СМИ, то есть своего рода привилегированным местом для построения публичной идентичности, распознаваемой его читателями (Sunkel, 2002).

## Результаты

Анализ 16 ежедневных газет позволяет зафиксировать, что в рамках исследуемого периода, совпавшего с периодом развития пандемии, 48% информационных единиц, появившихся на первых полосах ежедневных газет, были посвящены темам, имеющим отношение к COVID-19. Данный показатель наглядно свидетельствует о том, что феномен коронавируса в прессе вышел на передний план, однако его доминирование не было полным. К тому же соотношение ковидной и нековидной тематики варьируется от страны к стране (рис. 1). Так, в Италии (80%), Великобритании (68%) или Испании (62%) присутствие новостей, связанных с пандемией COVID-19, на главных страницах газет было максимальным; напротив, в Германии (31%), России (32%) или США (43%) этот показатель оказался меньшим. Примечательно, что три последние страны занимали лидирующие позиции по общему числу заболевших и случаев заражения.

Жанры журналистики, исполняющие прежде всего информативную функцию, оказались самыми многочисленными (рис. 2). Заметки, концентрирующие информацию в заголовке или одной строке без фотографий или иного дополняющего элемента, являются доминирующей новостной единицей, и появились 586 раз на заглавных страницах исследуемых газет. «Новость» как жанр заняла второе место (391). Таким образом, можно сделать вывод, что в исследуемых ежедневных газетах упор был сделан на информирование, осуществляемое предпочтительно в краткой форме. Карикатуры (148), репортажи (131) и статьи-мнения (121) — еще несколько жанровых групп, также широко представленных на главных страницах

печатных газет. В то же время частое присутствие редакционного фото, опубликованного за исследуемый период 77 раз, свидетельствует и о важности визуализации в информировании о пандемии.

Рисунок 1. Процентный показатель новостных единиц о пандемии на первых полосах ежедневных газет разных стран

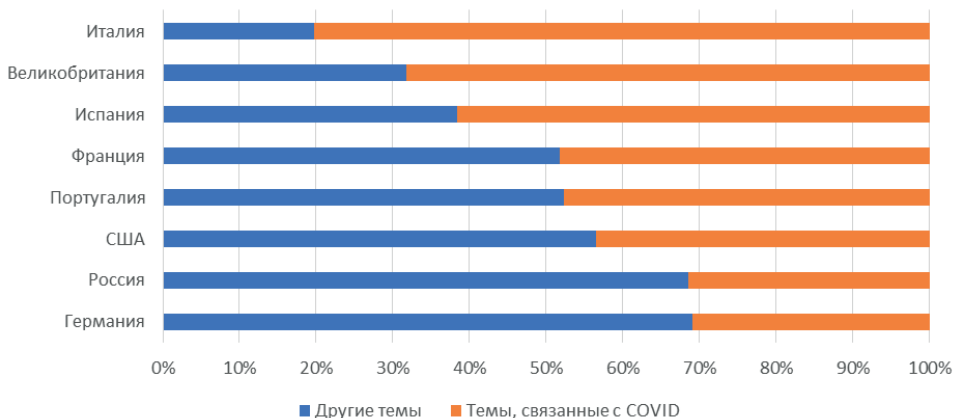


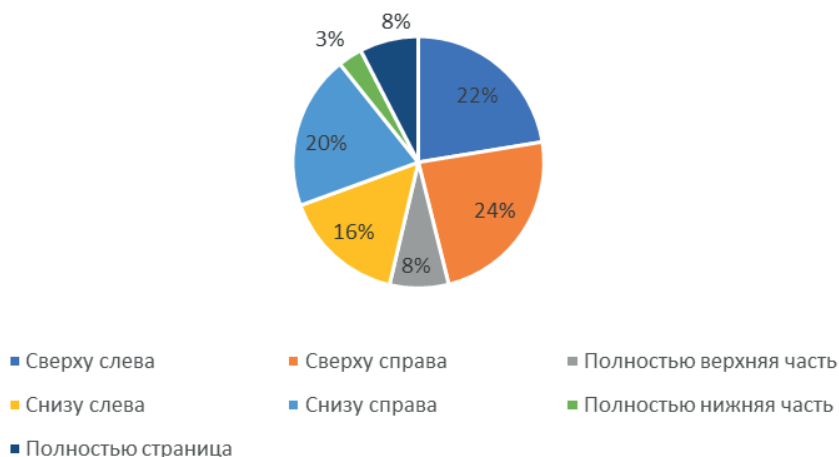
Рисунок 2. Типология основных журналистских жанров



Само расположение информационных единиц служит еще одним важным элементом. Например, размещение наибольшего количества информационных единиц о COVID-19 в верхней часть страницы справа (24%) и верхней части страницы слева (22%) также является показателем значимости этой темы (рис. 3). К этим показателям стоит добавить 8% газет, первые полосы которых целиком и полностью посвящены коронавирусу, что в совокупности составляет 54% проанализированных случаев. Расположение в нижней части (как справа, так и слева, а также полностью покрывающее всю нижнюю часть) имело место для 47% информационных единиц.

Рисунок 3. Анализ частей первой полосы: Расположение информационных единиц

## Расположение на странице



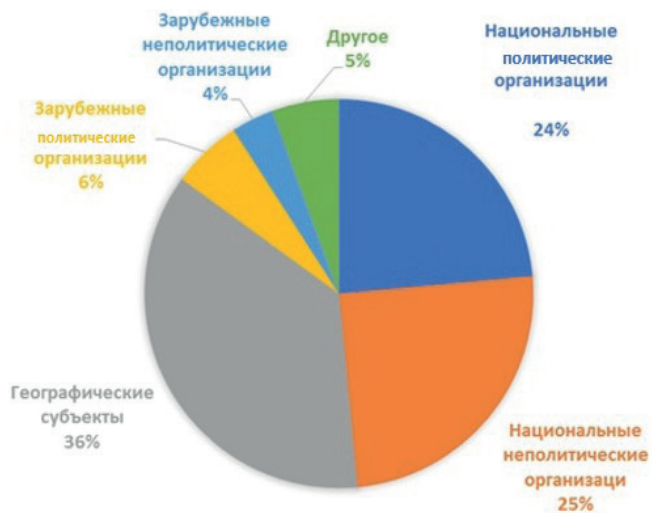
Типы организаций/субъектов, появившихся в информационных единицах на заглавных страницах в качестве акторов, стали еще одним параметром анализа (рис. 4). Географические объекты, такие как города, континенты, страны и т. д. (например, Мадрид, Барселона, Европа), оказались самой многочисленной категорией (36%). Национальные учреждения и организации (больницы, ассоциации и другие) фигурировали на первых полосах в 25%, а политические структуры (особенно политические партии и правительственные структуры, штаб президента, министерство здравоохранения, профсоюзы) — 24%. Присутствие зарубежных политических организаций на главных страницах газет (например, ВОЗ) отмечается в 6% случаев, а зарубежных неполитических организаций в 4%, что составляет минимум упоминаний.

На рисунке 5 можно увидеть страновые особенности в упоминании различных акторов на первых полосах газет. В целом же акторы в новостных единицах по частоте употребления располагаются следующим образом в порядке убывания: географические объекты, национальные политические организации и национальные неполитические организации. Заслуживает отдельного внимания тот факт, что на первых полосах ежедневных газет Великобритании в информационных единицах, посвященных коронавирусу, наиболее часто упоминаются национальные политические организации, в то время как в Португалии первенство принадлежит национальным неполитическим организациям.

Наряду с организациями/актерами в ходе исследования были проанализированы и персонажи новостных единиц (рис. 6). И вновь установлено, что политические деятели национального уровня (30% всех новостных единиц о пандемии) и непосредственно граждане (30%) стали основными героями новостей. С одной стороны, данный показатель демонстрирует важность политической сферы

в управлении кризисом, ставшем следствием вспышки коронавируса, с другой стороны, очевидно его влияние на простых жителей. Незначительное присутствие на первых полосах представителей медицинского персонала (в 7% от общего числа информационных единиц), а также ученых-исследователей (в 6%) является красноречивым подтверждением того факта, что хотя главная роль непосредственно в борьбе с пандемией и отводится представителям этих профессий (особенно врачам), это не находит отражения в новостных единицах. Впрочем, 11% информационных единиц, посвященных пострадавшим пациентам, также нельзя считать высоким показателем, особенно учитывая вовлеченность этой категории в развитие пандемии. Зарубежные политические деятели (6% от общего числа новостных единиц) имели наименьшее количество упоминаний в новостных единицах заглавных страниц. Примечательно, что даже публичные личности с 11% упоминаний заняли более высокую позицию по сравнению с политическими лидерами других стран.

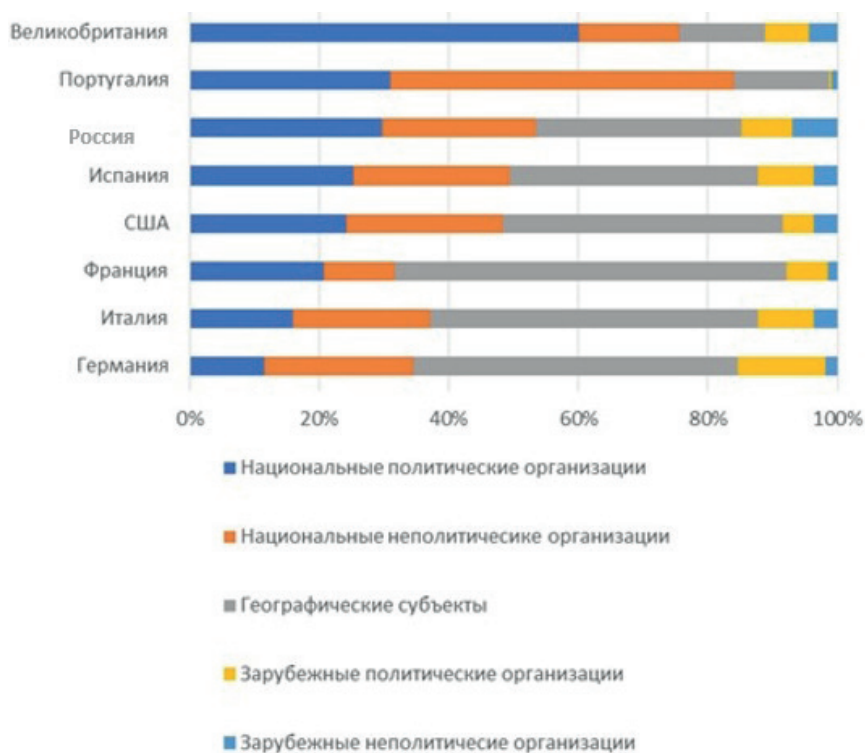
Рисунок 4. Организации/субъекты в информационных единицах, посвященных теме COVID-19, на первых полосах газет



Сравнительный анализ типологии персонажей, представленных в информации о COVID-19 на первых полосах газет анализируемых стран, подтверждает важность, по мнению руководства СМИ, роли именно национальных политиков по сравнению с гражданами (рис. 7), хотя и с очень небольшой разницей. Иными словами, медицинский персонал, ученые и исследователи, пациенты и пострадавшие не играют значительной роли в глобальном информационном пространстве, которое продолжают захватывать политики в каждой стране. Так, в Великобритании присутствие медицинского персонала составляет 2% новостных единиц; в ежедневных газетах России этот показатель достиг 6%, а в США — 7%. В инфор-

мационных единицах газет Испании в анализируемый период пациентам или пострадавшим от коронавируса отведено лишь 3% всей информации; в то время как в России этот показатель увеличивается до 4%, а в Великобритании — до 9%. Можно сделать вывод, что первые полосы ежедневных газет этих трех стран придают наименьшее значение пострадавшим (заболевшим и госпитализированным) от COVID-19.

Рисунок 5. Сравнительный анализ по типу организаций/субъектов в ежедневных газетах стран



Испания (с 26%) и Португалия (с 21%) оказываются странами, в которых публичные личности более широко представлены в информационных единицах о пандемии на первых полосах газет. В то же время ежедневные газеты Соединенных Штатов придают наименьшее значение зарубежным политическим лидерам, которые занимают 3% от общего количества информационных материалов о кризисе в области здравоохранения. А вот Германия (19%), Франция (11%) и Испания (11%) — страны, в газетах которых этот тип персонажей представлен наиболее полно.

В результате анализа 288 заглавных страниц газет было идентифицировано 537 фотографий, из которых только четыре черно-белые. За исключением 29 изучен-

ных снимков художественного характера, остальные являлись документальными фотографиями. Португалия и Испания представляют собой две страны с наибольшим количеством фотографий на первых полосах. А вот Франция, Великобритания и Германия, несмотря на собственную журналистскую традицию, оказались странами, где меньше всего изображений на первой полосе. Интересно было проанализировать типы персонажей, чьи фото размещены на этих фотографиях (рис. 8). Нами было зафиксировано следующее: рядовые граждане (28%) и публичные личности (25%), в отличие от текстовых материалов, чаще, чем национальные политические деятели (24%), фигурировали на фотографиях.

Рисунок 6. Типология персонажей, присутствующих в новостных единицах первых полос ежедневных газет разных стран



По результатам сравнительного анализа типа персонажей, подтверждается тенденция, отраженная на предыдущем графике (рис. 9): Италия (10%) и Германия (11%) — на заглавных страницах газет выделяют более всего пространства международным политикам, Россия предпочитает исследователей и ученых (11%), за ней следуют Германия (6%), Испания (3%), Италия (2%) и США (2%). В остальных странах научное сообщество на снимках главных страницах газет можно считать отсутствующим. Португалия (48%) и Испания (30%) представляют собой страны, в которых общественные деятели или знаменитости чаще появляются на обложках, что контрастирует с данными по Франции (3%) или Германии (0%).

И вновь присутствие зарубежных политических деятелей (4%) и исследователей или ученых (2%) минимально. В случае же пациентов и пострадавших низкий показатель в 5% вполне объясним трудностями доступа. Однако медицинский персонал, присутствие которого в текстовых информационных единицах главной страницы газет было незначительным, в визуальной части фигурирует в 12% анализируемых первых полос.



Рисунок 7. Сравнительный анализ типологий персонажей в новостных единицах, посвященных теме COVID-19, на первых полосах газет

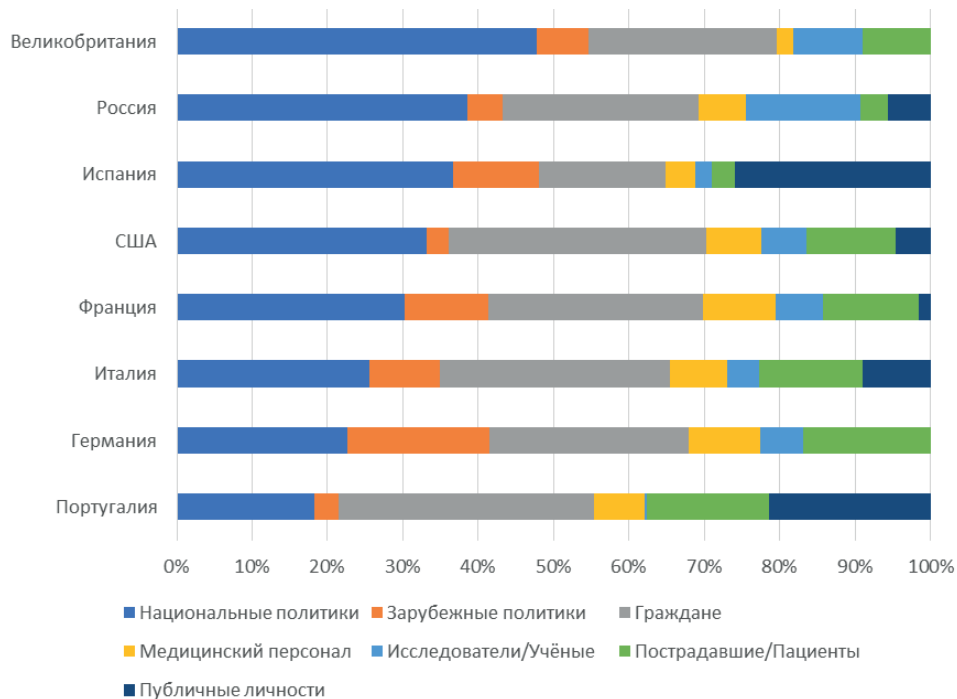
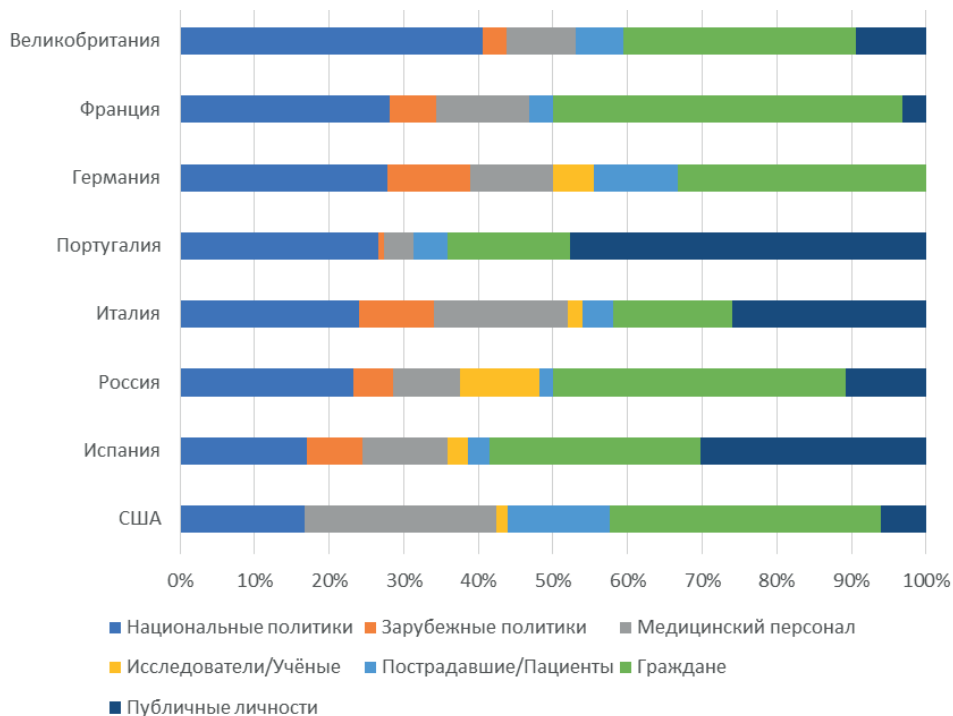


Рисунок 8. Типология персонажей фотографий первых полос ежедневных газет



Рисунок 9. Сравнительный анализ типологии персонажей фотографий, посвященных теме COVID-19



Анализ мест, изображенных на фото главных страниц газет, позволяет выявить преобладание урбанистических пространств (вокзалов, памятников и т. д.), которые составляют почти половину (45%) пространств, изображенных на снимках, имеющих отношение к пандемии (рис. 10). На втором месте — пространства политической деятельности (22%), за ними следуют медицинские центры и больницы (12%) и изображения с безлюдными местами, проспектами, улицами или площадями (10%). Кроме того, домашний карантин способствовал тому, что в ряде случаев (8%) на фотографиях первых полос газет исследуемых стран появляются сцены домашней жизни.

Наконец, сравнительное исследование мест, которые преобладают на фотографиях первых полос восьми проанализированных стран, подтверждает ранее отмеченную тенденцию к изображению урбанистических и политических пространств (рис. 11). Только Германия нарушает эту тенденцию, отдавая предпочтение опустевшим местам (43%). В газетах Италии наибольшее присутствие на главных страницах отводится сценам домашней жизни (19%); в то время как в Великобритании (37%), Португалии (26%) и Германии (26%) придают большее значение политическим пространствам (изображения с 1 по 7).

Рисунок 10. Типология мест, изображенных на фото, относящихся к теме COVID-19

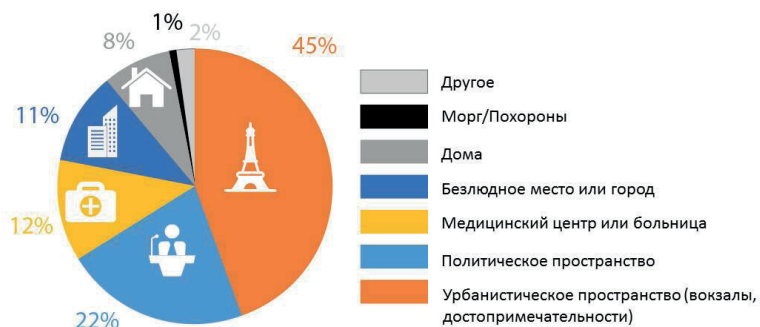
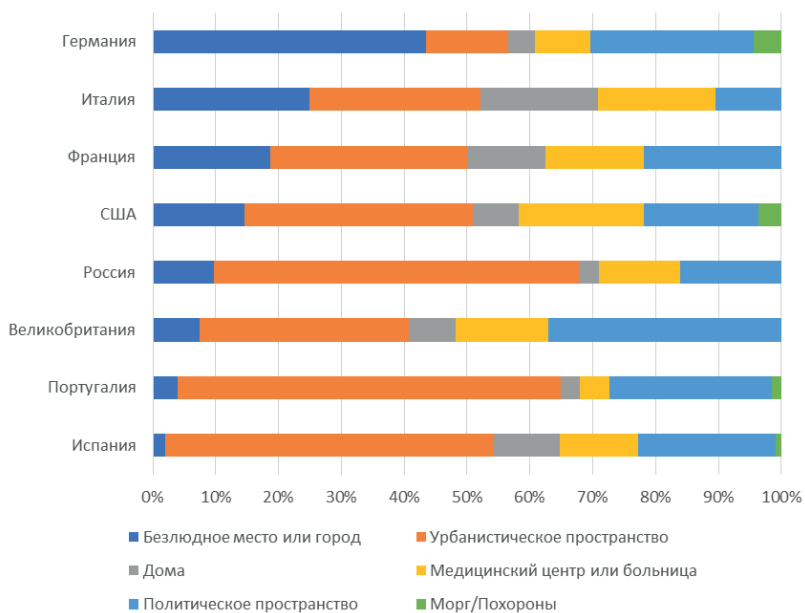


Рисунок 11. Сравнительный анализ типологии местностей на фотографиях, относящихся к теме COVID-19



Изображение 1. Примеры заглавных страниц ежедневных газет Испании



Источник: El Mundo y El País (2020).

Изображение 2. Примеры заглавных страниц ежедневных газет Франции



Источник: Le Figaro y Le Monde (2020).

Изображение 3. Примеры заглавных страниц ежедневных газет Германии



Источник: Süddeutsche Zeitung (2020).

Изображение 4. Примеры заглавных страниц ежедневных газет США



Источник: The New York Times (2020).

Изображение 5. Примеры заглавных страниц ежедневных газет России



Источник: Известия (2020).

Изображение 6. Примеры заглавных страниц ежедневных газет Великобритании



Источник: The Guardian (2020).

Изображение 7. Примеры заглавных страниц ежедневных газет Италии



Источник: *Repubblica* (2020).

На первых полосах газет ключевая роль отводится заголовкам. В среднем в материале восьми проанализированных стран преобладают заголовки информативного характера (всего 542 единицы). Эти заголовки позволяют обособленно идентифицировать действие, хотя грамматически они не всегда составляют подлежащее и сказуемое в предложении. В них содержится указание на предмет информации и основное действие события (ответы, как правило, на вопросы «что» и «кто»). Преобладание данного вида заголовков подчеркивает стремление СМИ информировать граждан о пандемии с помощью простых структур и в то же время указывает на большой объем данных и новостей, получаемых в результате освещения пандемии.

Однако примечательно, что вторыми по частоте употребления (в 413 информационных единицах) фиксируются апеллятивные заголовки, привлекающие внимание читателя к частично известным событиям. Это присутствие может быть объяснено продолжительностью пандемии во времени, ведущей к конечному ознакомлению общественности с указанным явлением. Это заголовки, подразумевающие более высокий, чем экспрессивные (встречающиеся в 200 проанализированных единицах), уровень детализации, они, в свою очередь, характеризуются экспрессией в обозначении события, уже известного читателю, а также, отсутствием грамматической структуры.

В целом такой тип заголовков акцентирует конкретные слова или выражения. Необходимо отметить, что Португалия, согласно проведенному исследованию, оказалась страной, в ежедневных газетах которой было выявлено наибольшее количество экспрессивных заголовков (81%). Далее по данному показателю расположились в порядке убывания Испания (66%), Франция (38%) и Германия (36%). Впрочем, на первых полосах газет Португалии и Испании было отмечено наименьшее количество информативных заголовков (из числа анализируемых стран) — 14% и 26% соответственно. При этом апеллятивные заголовки наиболее часто встречались на заглавных страницах итальянских (53%) и российских (46%) газет.

По характеру высказывания заголовки, являющиеся прямыми (100) или непрямыми цитатами (107), стали самыми многочисленными в изученном материале. Данный показатель свидетельствует о важности предоставления ссылки на источник, которому принадлежит конкретное высказывание, и в целом об осторожном освещении пандемии. В этой связи по итогам проведенного исследования Россия и Италия могут быть охарактеризованы как страны, наиболее часто использующие в своих газетах дословные цитаты (отображающие в кавычках заявления лиц) в информационных единицах, посвященных коронавирусу (82% и 71% соответственно).

Анализ типа глаголов, используемых в заголовках на первых полосах национальных печатных газет, также представляет большой интерес. В ходе исследования было установлено явное преобладание повествовательных глаголов (утверждать, сообщать, заявлять), за которыми следуют интерпретирующие сильные глаголы (угрожать, обвинять, оскорблять, дискредитировать), а далее — интерпретирующие слабые (предупреждать, заверять, настаивать). Глаголы перлокутивные, целью использования которых является оказание влияния на адресата для достижения желаемого результата (удивлять, влиять, убеждать, разубеждать), наиболее малочисленны. Однако, по данным сравнительного анализа настоящего показателя, результаты которого представлены на рисунке 12, обнаруживается, что перлокутивный тип глаголов часто употребим в заголовках российских (66%) и американских (35%) газет, стремящихся таким образом вызвать реакцию читателей. В случае испанских и португальских газет характерно отсутствие интерпретирующих слабых глаголов в анализируемых заголовках периода исследования.

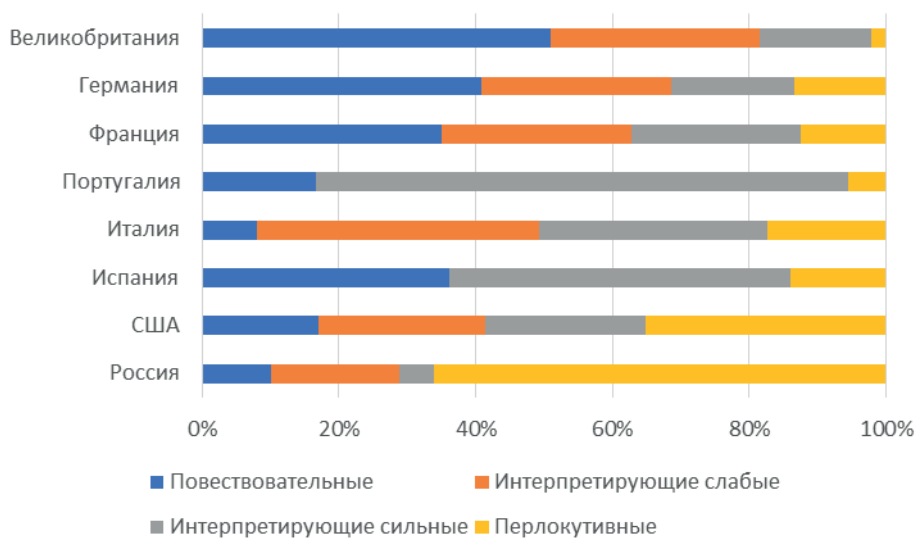
## Выводы

В заключение вернемся к вопросам, касающимся отображения в СМИ темы COVID-19, типов журналистских текстов, используемых для распространения информации, преобладания персонажей и организаций в новостных единицах. Итак, в 16 проанализированных ежедневных газетах 48% информационных материалов первых полос были посвящены пандемии COVID-19. Несмотря на высокое значение данного показателя, он не свидетельствует об исключительном значении



темы пандемии. Чаще всего в газетах использовались журналистские жанры информативного характера, при этом преобладающим жанром оказалась информационная заметка. При изучении параметра расположения информации на заглавной странице, в ходе исследования было установлено, что в правой верхней части (24%) и в верхней левой части (22%) сконцентрировано наибольшее количество материалов о COVID-19. Наиболее многочисленными акторами в информационных единицах были географические объекты и национальные неполитические организации — 36% и 25% соответственно. Сравнительный анализ типологии персонажей в информации первых полос, посвященных COVID-19, в ежедневных газетах разных стран наглядно подтвердил важность для СМИ фигур национальных политиков по сравнению с рядовыми гражданами.

Рисунок 12. Сравнительный анализ типологии глаголов, использованных в заголовках информационных единиц, относящихся к теме COVID-19



Источник: составлено авторами

В ходе проведенного анализа 288 главных страниц газет было выявлено 537 фотографий, связанных с темой COVID-19. Среди них фотографии граждан встречаются в 28% случаев, публичных личностей — в 25%, национальных политических фигур — в 24%. При рассмотрении параметра местности, изображенной на фотографиях, было установлено преобладание урбанистических пространств (вокзалы, городские достопримечательности и т. д.) с показателем в 45%. Наблюдается перевес информативных заголовков (всего 542 единицы) над апеллятивными (413 единиц). По типу цитирования, употребляемого в заголовках, заголовки с прямым (100) или косвенным (107) цитированием оказались самыми многочисленными.

Все вышеперечисленные аспекты указывают на явную политизацию кризиса, вызванного COVID-19. СМИ связывали данный кризис по большей части с фигурами политиков. С другой стороны, в ходе нашего исследования мы смогли убедиться во все более укрепляющейся тенденции инфотейнмента: в то время как политики оказываются главными действующими лицами новостных историй, а также служат почти единственными источниками прямых цитат, обычные люди, граждане представлены в основном через эмоциональные фотографии, как бы демонстрирующие «человеческое лицо» пандемии.

Глобальность санитарного кризиса, вызванного COVID-19, поставила вопрос о различиях и сходствах в отображении пандемии на страницах прессы разных стран. Особый интерес для исследователей состоял в попытке наблюдения за тем, как информация об абсолютно новой, но при этом волнующей всех ситуации, получает трактование в странах с разнообразными традициями в журналистике. Представление и фиксация специфики отражения информации о пандемии на страницах газет восьми конкретных стран (Италия, Великобритания, Испания, Франция, Португалия, США, Россия и Германия) может явиться первым результатом для более глобальной исследовательской работы.

По нашему мнению, будущие исследования могли бы сфокусироваться на выявлении различий в работе СМИ демократических, авторитарных и полуавторитарных режимов в рамках данной темы. Было бы важно уделить особое внимание взаимоотношениям ввиду их многогранности СМИ и демократических режимов.

Поскольку тема пандемии коронавируса присутствовала в общем новостном пространстве по меньшей мере около двух лет, в настоящем исследовании был охвачен лишь начальный, но при этом самый критический ее период. Потенциал дальнейшего исследования мог бы состоять также в подобном сравнении на материале ежедневных газет других стадий развития ситуации в выбранных странах. Вне зависимости от того, на примерах каких стран могло бы строиться будущее исследование, было бы целесообразно, во-первых, описать динамику изменения отражения темы пандемии в рамках каждой отдельно взятой страны, а во-вторых, отследить конкретные различия между печатными источниками информации этих стран.

## References

- Aleixandre-Benavent R., Castelló-Cogollos L., Valderrama-Zurián J.-C. (2020) Información y comunicación durante los primeros meses de Covid-19. Infodemia, desinformación y papel de los profesionales de la información. *Profesional de la información*, vol. 29, no 4, e290408.
- Arnold E. (1984) *Diseño total de un periódico*, México: Edamex.
- Boczkowski P. (2004) *Digitizing the news. Innovation in on-line newspapers*, Cambridge: MIT Press.
- Bogart L. (1985) *La prensa y su público*, Pamplona: Eunsa.
- Burgueño J.M. (2008) *La invención en el periodismo informativo*, Barcelona: Editorial UOC.

- Cabrera M. Á. (2000) *La prensa on-line. Los periódicos en la www*, Barcelona: CIMS.
- Canga J., Coca, César P., Simón P. J. (2010) Terrorismo y política dominan las portadas de la prensa vasca. Análisis de contenido y superficie de las primeras páginas de los diarios autonómicos”. *Revista Latina de Comunicación Social*, vol. 65, pp. 61-70.
- Canga J. (1994) *El diseño periodístico en la prensa diaria*, Barcelona: Bosch Casa Editorial.
- Castillo-Esparcia A., Fernández-Souto A.-B., Puentes-Rivera I. (2020) Comunicación política y Covid-19. Estrategias del Gobierno de España”. *Profesional de la información*, vol. 29, no 4, e290419.
- Cobo S. (2012) *Internet para periodistas*, Barcelona: UOC.
- Cunha da Silva Aires E. (2006) *A Estrutura Gráfica das Primeiras Páginas dos Jornais ‘O Comércio do Porto’, ‘O Primeiro de Janeiro’ e ‘Jornal de Notícias’. Entre o Início da Publicação e Final do Século XX*, Porto: Universidade do Porto (tesis doctoral).
- Daley B. (2020) *COVID-19: una oportunidad para mejorar la difusión del conocimiento científico*. En: <https://bit.ly/2EWyFge>
- Davara J., López P., Martínez-Fresneda H., Sánchez G. (2004) *España en Portada*, Madrid: Fragua.
- El-Mir A., Lallana F., Hernández R. (1995) *Diseño, color y tecnología en prensa*, Barcelona: Editorial Prensa Ibérica.
- Evans H. (1978) *Pictures on a page*, Londres: Heinemann.
- Evans H. (1984a) *Diseño y compaginación de la prensa diaria*, México: Editorial Gili.
- Evans H. (1984b) *La Historia en primera plana: 1900-1984: acontecimientos de nuestro siglo que conmocionaron el mundo*, Madrid: Technipress.
- Ferrer-Sapena A., Calabuig José-Manuel., Peset F., Sánchez-del-Toro I. (2020) Trabajar con datos abiertos en tiempos de pandemia: uso de covid DATA-19. *Profesional de la información*, vol. 29, no 4.
- Gianpietro Mazzoleni (2019) Populism and the media. *The Oxford Handbook of Populism* (Daniele Albertazzi, Duncan McDonnell eds), Oxford: Oxford University Press, pp. 87-88.
- Gianpietro M., Schulz W. (1999) Mediatization of Politics: A Challenge for Democracy? *Political Communication*, vol. 16, no 3, pp. 247-261.
- Jörg-Uwe N. (2008) Politainment. *The International Encyclopedia of Communication*, (Wolfgang Donsbach ed.), Oxford: Blackwell.
- Kayser J. (1974) *El diario francés*, ATE: Barcelona.
- López A. (2001) *El Titular. Manual de titulación periodística*, Sevilla: Comunicación social.
- López M. (1995) *Cómo se fabrican las noticias. Fuentes, selección y planificación*, Paidós: Barcelona.
- Marrone J. (2018) *La importancia de la portada en las ventas del diario Marca* (PhD Thesis), Madrid: Universidad Complutense de Madrid.
- McCombs M. E., Shaw D. L., Weaver D. H. (2014) New Directions in Agenda-Setting Theory and Research. *Mass Communication and Society*, vol. 17, no 6, pp. 781-802.

- Delli Carpini M. X., Williams B. (2001) Let us infotain you: Politics in the new media age. *Mediated politics: Communication in the future of democracy* (Lance Bennett, Robert M. Entman eds.), Cambridge University Press, Cambridge, pp. 160-181.
- Moreno Á., Fuentes-Lara C., Navarro C., (2020) Covid-19 communication management in Spain: Exploring the effect of information-seeking behavior and message reception in public's evaluation. *El profesional de la información*, vol. 29, no 4, e290402.
- Núñez-Romero F. (2009) *La formación de las secciones de deportes en los diarios de información general españoles antes de 1936. Análisis hemerográfico estructural comparado* (PhD Thesis), Valencia: Universidad Cardenal Herrera-CEU.
- Odrizola-Chéné J., Díaz-Noci J., Serrano-Tellería A., Pérez-Arozamena R., Pérez-Altable L., Linares-Lanzman J., García-Carretero L., Calvo-Rubio Luis-Mauricio M., Antón-Bravo A. (2020) Inequality in times of pandemics: How online media are starting to treat the economic consequences of the coronavirus crisis. *Profesional de la información*, vol. 29, no 4, e290403.
- Orduña-Malea E., Font-Julián C. I., Ontalba-Ruipérez J. A. (2020) Covid-19: análisis métrico de vídeos y canales de comunicación en YouTube. *Profesional de la información*, vol. 29, no 4, e290401.
- Parra D., Álvarez J. (2004) *Ciberperiodismo*, Madrid: Síntesis.
- Penarrieta L., Rodríguez Luigi y Ramos Katia. (2014) Análisis de los contenidos de elementos impresos de la portada del diario Correo edición Región Puno. *Comuni@cción*, vol. 5, no 2, pp. 1-7.
- Pavlik J. (2005) *El periodismo y los nuevos medios de comunicación*, Barcelona: Paidós Ibérica.
- Pérez-Tornero J. M., Varis T. (2010) *Media Literacy and New Humanism*, París: UNESCO.
- PrNoticias (2019) El 41% de los españoles desconfía de los medios audiovisuales. Available at: <https://prnoticias.com/2019/07/03/confianza-espanoles-en-medios-de-comunicacion/> (Accessed 3 July 2019).
- Sabés F., Verón J. J. (2008) *La eficacia de lo sencillo*, Sevilla: Comunicación Social Ediciones.
- Salaverría R., Díaz Noci J. (2003) *Manual de redacción ciberperiodística*, Barcelona: Ariel.
- Salaverría R., Buslón N., López-Pan F., León B., López-Goñi I., Erviti M.-C. (2020) Desinformación en tiempos de pandemia: tipología de los bulos sobre la Covid-19. *Profesional de la información*, vol. 29, no 3, e290315.
- Sales D., Cuevas-Cerveró A., Gómez-Hernández J. A. (2020) Perspectives on the information and digital competence of Social Sciences students and faculty before and during lockdown due to Covid-19. *Profesional de la información*, vol. 29, no 4, e290423.
- Scheufele D. A., Tewksbury D. (2007) Framing, Agenda Setting, and Priming: The Evolution of Three Media Effects Models. *Journal of Communication*, no 57, pp. 9-20.
- Sunkel G. (2002) *La prensa sensacionalista y los sectores populares*, Bogotá: Editorial Norma.
- Tejedor Santiago; Jaraba G., Cervi L. (2020) Análisis de los contenidos y tendencias de periodistas españoles en Twitter. *Cuadernos.info*. (En prensa).

Tejedor S., Carniel Bugs R., Giraldo Luque S. (2018) Los estudiantes de Comunicación en las redes sociales: estudio comparativo entre Brasil, Colombia y España. *Transinformação*, vol. 30, no 2, pp. 267-276.

Tejedor S. (2010) *Ciberperiodismo. Libro de estilo para ciberperiodistas*, Santo Domingo: ITLA.

Tusa J.F., Briceño C. X., Tusa J. E. (2017) Trasmisión histórica de estereotipos en el sensacionalismo de élite. Estudio de caso: Las mujeres más poderosas del Valle del Cauca, Colombia. *Estudios sobre el Mensaje Periodístico*, vol. 23, no 1, pp. 675-687.

## The representation and politicization of the COVID-19 pandemic on the front pages of the daily newspapers of Russia, Italy, the United Kingdom, Spain, France, Portugal, Germany, and the United States.

### *Santiago Tejedor*

Associate professor, Head of the Department of Journalism and Communication Sciences, Faculty of Communication Sciences, Autonomous University of Barcelona (Spain), PhD in Journalism (Autonomous University of Barcelona)

Address: UAB Campus, Faculty of Communication Sciences, Bellaterra, Barcelona, 08193 Spain

E-mail: santiago.tejedor@uab.cat

### *Fernanda Tusa*

Professor-researcher, Faculty of Social Sciences, Technical University of Machala (Ecuador), PhD in Social Communication (Austral University of Argentina)

Address: UTMACH Campus, Faculty of Social Sciences, Machala, Ecuador, 070201.

E-mail: ftusa@utmachala.edu.ec

### *Laura Cervi*

Professor-researcher, Department of Journalism and Communication Sciences, Faculty of Communication Sciences, Autonomous University of Barcelona (Spain), PhD in Political Sciences (University of Pavia).

Address: UAB Campus, Faculty of Communication Sciences, Bellaterra, Barcelona, Spain, 08193

E-mail: Laura.Cervi@uab.cat

### *Marta Portales*

Research fellow, Department of Journalism and Communication Sciences, Faculty of Communication Sciences, Autonomous University of Barcelona (Spain), PhD in Journalism (Autonomous University of Barcelona).

Address: UAB Campus, Faculty of Communication Sciences, Bellaterra, Barcelona, Spain, 08193

E-mail: martaportoli@gmail.com

### *Margarita Zobotina*

Master in Communication and Education (Autonomous University of Barcelona), alumnus of Autonomous University of Barcelona.

Address: UAB Campus, Faculty of Communication Sciences, Bellaterra, Barcelona, Spain, 08193

E-mail: marga.zobotina@gmail.com

The impact COVID-19 has demanded an additional effort from the media to report a virus of global reach. During the lockdown, there has been an increase in information consumption derived from the interest and concern of citizens to know the characteristics, development, and threats of the coronavirus. Although social networks have ranked first among the cyberspace platforms most consulted by citizens, different studies indicate that citizens consider newspapers and magazines to have 'good intentions' compared to the 'worst intentions' of cyber-media and websites. Based on this, the research focuses on the covers of the paper editions of the newspapers, conceived as a fundamental element that synthesizes and hierarchizes the content that each medium considers of greatest importance and that is connected to the digital version of each medium. This research presents a comparative study of the newspaper covers of eight countries in the world (Italy, United Kingdom, Spain, France, Portugal, United States, Russia, and Germany) to analyze the number of news items about the pandemic, the type of text, the typology of information sources, the characters, the use of color, the inclusion and the focus of the photographs or the location on the page, among other parameters. The study analyzes 288 front pages of 16 daily newspapers (2 per country) in the world, collecting 1,478 news items that include 710 pieces of news, and 94,592 pieces of evidence using a mixed method of direct observation and hemerographic analysis. As a result, the few mentions of affected people and health personnel in front page information is evident, as is the predominance of news journalistic genres (brief and news, especially), and the political figures as the most represented actors shows a high degree of politicization of the global crisis. Finally, it is observed that the visual frames in the analyzed newspapers tend to promote humanization through emotional representation.

*Keywords:* COVID-19, pandemic, newspaper, media, mediaization, politicization

## Взаимозависимость «человек-машина» за пределами искусственного интеллекта: случай биткойна\*

*Андрей Резаев*

Доктор философских наук, профессор, руководитель международной исследовательской лаборатории ТАНДЕМ, факультет социологии СПбГУ.  
Адрес: ул. Смольного, д. 1/3, Санкт-Петербург, 191124  
E-mail: rezaev@hotmail.com

*Наталья Трегубова*

Кандидат социологических наук, доцент кафедры сравнительной социологии СПбГУ.  
Адрес: ул. Смольного, д. 1/3, Санкт-Петербург 191124  
E-mail: n.tregubova@spbu.ru

Цель настоящей статьи — проанализировать биткойн как особую систему взаимозависимости между человеком и машиной и соотнести ее с распространением технологий искусственного интеллекта (ИИ) и развитием искусственной социальности. В первой части статьи авторы дают краткую историческую характеристику биткойна, после чего переходят к тем проблемам, которые его появление ставит перед социальными науками: Является ли биткойн деньгами? Как проект биткойна связан с идеями экономической теории? Чем определяется стоимость биткойна? Каковы условия доверия биткойну? Наконец, что происходит, когда проект биткойна становится реальностью? Во второй части статьи авторы соотносят существование биткойна с распространением технологий искусственного интеллекта (ИИ) в качестве активных посредников и участников взаимодействий между людьми. Выделяются сходства и различия между проектом ИИ и проектом биткойна, обсуждается вопрос, может ли биткойн выступать в качестве «искусственных денег» для ИИ, характеризуется понятие взаимозависимости «человек-машина». В заключение авторы формулируют определение и предлагают рассматривать биткойн как особую систему взаимозависимости «человек-машина», которая была задумана в виде альтернативы денег, но в реальности представляющая как дополнение существующему экономическому порядку.

*Ключевые слова:* биткойн, криптовалюта, криптоактив, взаимозависимость «человек-машина», искусственный интеллект, искусственная социальность

Цель настоящей статьи — проанализировать биткойн как особую систему взаимозависимости между человеком и машиной (human-machine interdependence) и соотнести ее с распространением технологий искусственного интеллекта (ИИ) и развитием искусственной социальности.

Биткойн — новое социальное явление, которое появилось сравнительно недавно и очень быстро, но нестабильно развивается. Принципиальный вопрос для работы над этой статьей для нас был в том, в какой мере и по каким основаниям биткойн может быть интересен социальным ученым как исследовательская про-

---

\* Работа опубликована при поддержке Программы «Университетское партнерство».

блема. Мы выделяем и обосновываем один из возможных вариантов подобного интереса — в рамках анализа взаимозависимости «человек-машина».

Из многообразия существующих криптовалют<sup>2</sup> в данной работе мы обращаемся к биткойну. Безусловно, с точки зрения формирования взаимозависимости «человек-машина» разные криптовалюты представляют собой разновидности одного и того же типического явления. Сходства и различия между ними определяются техническими решениями, конфигурацией алгоритмов, которые, в свою очередь, диктуют разные «правила игры», соотносятся с тем или иным разделением труда между людьми, машинами и алгоритмами<sup>3</sup>. Однако для социальной аналитики — а не специального экономического или технического анализа — биткойн, по сути дела, мало чем отличается от других криптовалют. При этом, несмотря на призывы «выйти за пределы» изучения биткойна<sup>4</sup>, он был первой и остается наиболее известной среди неспециалистов криптовалютой, поэтому в настоящей статье мы сосредотачиваем свое внимание именно на нем. Осмысление многообразных факторов, которые определяют участие других криптовалют в жизнедеятельности общества, потребовало бы сосредоточение усилий специалистов разного профиля и вышло бы за рамки одной журнальной статьи.

Дальнейшее изложение организовано следующим образом. Мы начнем с краткой истории биткойна, после чего обратимся к обзору исследовательской литературы. При этом мы сосредоточимся на отдельных проблемах, которые рассматривают социальные ученые в связи с возникновением и распространением биткойна: Является ли биткойн деньгами? Как проект биткойна связан с положениями экономической науки? Чем определяется стоимость биткойна? Каковы условия доверия биткойну? Наконец, что происходит, когда проект биткойна становится реальностью? После этого мы перейдем к обсуждению биткойна в системе координат искусственной социальности в соотнесении с выделенными ранее проблемами. Будут рассмотрены некоторые примечательные сходства и различия между проектом ИИ и идеей биткойна; мы также обсудим, может ли биткойн выступать как «искусственные деньги» для ИИ. В завершение будет раскрыт тезис о том, что распространение биткойна является одним из наиболее показательных

---

2. Обычно к криптовалютам относят те валюты, что, подобно биткойну, существуют только в цифровой форме, производятся на собственной платформе, защищенной с помощью криптографии, и предполагают децентрализованный контроль за транзакциями, основанный на технологии блокчейн. Понятие «криптовалюта» следует отличать от понятия «электронные деньги» (e-money), которое часто обозначает деньги, выпускаемые государством или банками, т.е. организациями, которые имеют на это лицензию; при таком определении криптовалюты к электронным деньгам не относятся. Кроме того, существует термин «цифровая валюта» (digital currency), который иногда используется как синоним «электронных денег», иногда — в более широком смысле, как все, что может быть средством платежа и существует в цифровой форме. Наконец, понятие «виртуальная валюта» (virtual currency) обычно используется для обозначения валют, существующих только в цифровом виде и принимаемых некоторым сообществом. Следует, однако, подчеркнуть, что все эти понятия не имеют однозначной трактовки и по-разному соотносятся друг с другом в исследовательских и правовых традициях. Один из вариантов типологизации «цифровых валют» см. в: Marple, 2021.

3. Отличия биткойна от Ethereum, например, обсуждаются в: Hayes, 2019.

4. См., например: Jalal, Alon, Paltrinieri, 2021; Kose, O'Hara, Saleh, 2021.



примеров трансформации искусственной социальности во взаимозависимость «человек-машина».

### Биткойн: краткая история

Биткойн (bitcoin) возник в 2008 году — сначала на бумаге (точнее, на экране монитора) — как проект электронной платежной системы, которая позволяет совершать экономические обмены анонимно, безопасно и без посредников (Nakamoto, 2008). За 15 лет своего существования биткойн переживал падения и взлеты, и сегодня он остается самой популярной криптовалютой в мире. Те, кто пытался разобраться, как работает биткойн, вероятно, были зачарованы красотой самой идеи. Математическая элегантность криптографических решений, хитроумная конструкция, связывающая обмен и производство, — все это делает проект биткойна весьма привлекательным<sup>5</sup>. Однако биткойн входит в жизнь общества не как математико-экономическая утопия, а как реальный феномен, не вполне похожий на то, что предполагалось изначально.

Возникновение биткойна было обусловлено сочетанием («конstellацией» в терминологии Макса Вебера: (Вебер, 1990)) нескольких условий (см. рис. 1):

1. Разработка математического аппарата, позволяющего решать криптографические проблемы (Karlström, 2014; Hayes, 2019). Последнее, в свою очередь, стало возможным благодаря развитию вычислительных мощностей компьютеров.
2. Наличие сообществ программистов, которые выкладывают в открытый доступ код и готовы совместно работать над ним (Parkin, 2019). Возникновение такого рода сообществ связано как с социально-профессиональными характеристиками самих программистов, так и с активным развитием Интернета в 2000-е годы.
3. Комплекс идей и идеологических установок, на которые опирается проект биткойна. Возникновение биткойна — это, помимо прочего, идеологическая реакция на экономический кризис 2007–2008 годов, который поставил под сомнение доверие государству и банкам как посредникам в денежных операциях (Dallyn, 2017). Здесь следует отметить идеи австрийской экономической школы и политическую идеологию либертарианства (Dallyn, 2017; Fantacci, 2019; Redshaw, 2017)<sup>6</sup>.

---

5. Существует множество источников, объясняющих, как работает биткойн. Для понимания технических деталей мы можем рекомендовать: URL: [https://www.youtube.com/watch?v=bBC-nX-j3Ng4&ab\\_channel=3Blue1Brown](https://www.youtube.com/watch?v=bBC-nX-j3Ng4&ab_channel=3Blue1Brown) (дата доступа: 02.05.2023); для понимания того, как биткойн соотносится с обычными деньгами: URL: <http://suitpossum.blogspot.com/2013/04/how-to-explain-bitcoin-to-you.html> (дата доступа: 02.05.2023).

6. О. Бычкова и А. Космарский предлагают иной взгляд: они рассматривают проект биткойна как продолжение классической республиканской традиции в ее усеченном виде, как воплощение «технической республики» (Bychkova, Kosmarski, 2023).

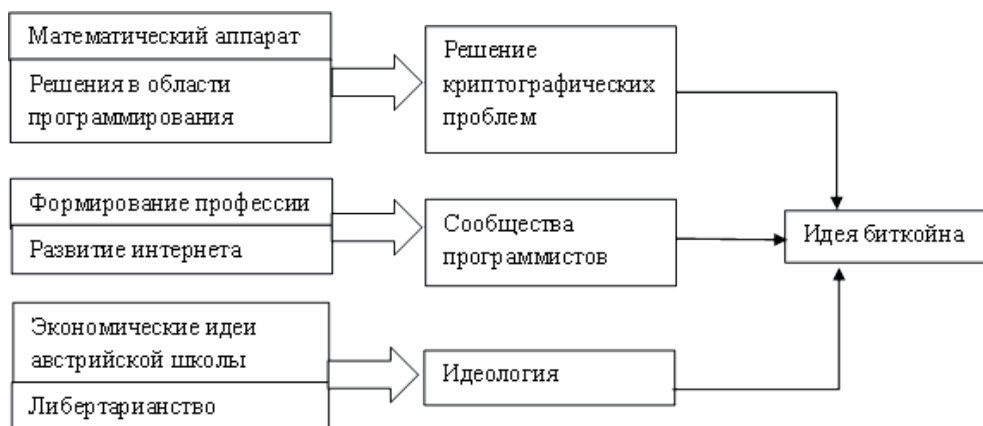


Рис. 1. Условия возникновения биткойна

Исследователи выделяют три стадии включения биткойна в социально-экономические отношения (Hütten, Thiemann, 2018). На первой биткойн возникает как альтернатива существующей денежной системе, поддерживаемая сообществом энтузиастов. На этой стадии инфраструктура для использования биткойна создается в Интернете, включая даркнет<sup>7</sup>, без соприкосновения с официальными структурами. На второй — интерес к биткойну проявляют ИТ-компании (Baidu, eBay и др.), которые начинают принимать платежи в биткойнах. На третьей стадии возникает регуляция биткойна со стороны национальных государств как средства платежа и как средства капиталовложения, также развивается законодательство о майнинге. На настоящий момент работа по включению биткойна в национальные экономики на уровне законодательства продолжается, и в разных странах принимаются разные решения (Кочергин, Покровская, 2020; Левашенко, Ермохин, Коваль, 2019). Причем кризис, связанный с пандемией COVID-19, криптовалюты пережили по-разному, и биткойн был одной из тех, что в целом «справилась» с пандемией (Iqbal et al., 2021).

## Проблема биткойна в исследовательской литературе

Существующая литература по проблематике биткойна весьма обширна, несмотря на то что с момента появления биткойна прошло всего 15 лет. Об объеме и разнообразии этой литературы свидетельствует сразу несколько обзорных статей: о биткойне, криптовалютах и технологиях блокчейн (Akar, Akar, 2020; Sharma et al., 2019; Manimuthu et al., 2019; Kose, O'Hara, Saleh, 2021), о биткойне в контексте

7. В частности, с 2011 по 2013 год существовал SilkRoad — черный рынок, принимавший биткойны и торговавший преимущественно наркотиками.

развития финансовых технологий (Wamba et al., 2020; Kher, Terjesen, Liu, 2021); об использовании биткойна в рамках Интернета вещей (Abadi, Ellul, Azzopardi, 2018). В данных обзорах экономика, финансы и право выделяются как области, в которых сложился устойчивый интерес к проблемам биткойна, к ним примыкает литература по компьютерным наукам — особенно в случае более детального обсуждения технологий блокчейн.

В русскоязычной литературе мы также фиксируем определенный интерес к проблематике криптовалют. Помимо статей общего характера об истории биткойна (Абреков, 2022), о сущности биткойна и иных криптовалют и перспективах их использования (Столбов, 2019; Портной, 2018), авторами рассматриваются такие проблемы, как правовое регулирование криптовалют/криптоактивов в России и в мире (Кочергин, Покровская, 2020; Левашенко, Ермохин, Коваль, 2019; Кузнецов, 2018), мотивы использования криптовалют россиянами (Баранов, 2018), доходность и выживаемость криптовалют (Симонов, Замялов, 2019), осмысление новых понятий, которые входят в жизнь общества в связи с развитием технологий блокчейн и криптовалют (Пантыкина, 2019).

Дальнейший анализ теоретических оснований и концептуальных поворотов в исследованиях биткойна будет основываться на ограниченной и специфической части литературы по предмету. Мы сосредоточимся на публикациях, которые обсуждают проблему биткойна для социогуманитарного знания — для социологии, экономики, исследований культуры, политической науки и философии, исследований науки и технологий. Анализ теоретических публикаций позволяет выделить несколько проблем, связанных с пониманием сущности биткойна и перспектив его вхождения в жизнь общества.

### *Биткойн и деньги*

Является ли биткойн деньгами? Это один из ключевых вопросов в специальной литературе. Причем появление биткойна становится тем событием, которое в очередной раз напоминает об отсутствии единого понимания сущности денег.

Наиболее типичный подход к ответу на данный вопрос состоит в следующем: биткойн — это деньги, если он используется так, как используются деньги. Но как именно они используются? Для одних экономистов деньги — это посредник экономического обмена (*medium of exchange*), для других деньги сочетают в себе несколько функций: посредник экономического обмена, единица для расчетов (*unit of account*) и носитель стоимости (*store of value*) (Passinsky, 2020). Различие можно провести и по-другому: между пониманием денег как средства обмена (товара, на который обменивают другие товары) и пониманием денег как социальных обязательств (Weber, 2016). В первом случае деньги используются для удобства рыночных обменов, во втором — централизованно, как единица для выполнения экономических расчетов и как кредитные обязательства.

Однако какие из функций денег ни принять в качестве ведущих, ответить на вопрос о сущности биткойна также можно по-разному. Изначально биткойн задумывался как инструмент для анонимного обмена, не опосредованного третьими лицами, но сегодня биткойн не выполняет в полной мере ни одну из функций денег (Weber, 2016). Используется ли биткойн как средство обмена? Да, но в основном — как средство для накопления или спекуляции, как актив. Выступает ли биткойн как единица для расчетов и носитель стоимости? Это происходит редко, из-за резких колебаний его курса (Passinsky, 2020). Иными словами, если мы отталкиваемся от некоторого идеального типа использования денег, оказывается, что биткойн на этот идеальный тип не очень похож. Но *достаточно* ли он похож, чтобы именоваться деньгами, — это вопрос проведения концептуальных границ.

И здесь представляется уместным выделить три сюжета, которые обсуждаются в рамках социологических исследований денег:

1) Использование денег основано в конечном итоге на взаимных ожиданиях: мы принимаем деньги потому, что ожидаем, что и другие люди будут принимать их в качестве средства платежа. Ожидания, в свою очередь, основаны на том, что за деньгами стоит *государство*. В современном мире, когда деньги — это не золото и не серебро, а бумага, гарантированная государством, это особенно очевидно.

2) Ссылка на государство, однако, не единственный способ указать на «социально сконструированный» характер денег. Георг Зиммель, один из классиков социологии, рассматривает распространение денег в связи с формированием *современного образа жизни*. Деньги, согласно Зиммелю, делают вещи взаимозаменяемыми, а их ценность — относительной, ведь все может быть сведено к количеству, к своей денежной стоимости (Зиммель, 2015)<sup>8</sup>. Выражением современного образа жизни для Зиммеля является не государство, а город, который представляет жителям ту же абстрактную свободу — «свободу от» — что и деньги (Зиммель, 2002). Таким образом, помимо авторитета государства, денежные обмены поддерживаются тем, что являются неотъемлемой частью современного образа жизни.

3) Вышеприведенные рассуждения о деньгах основаны на том, что деньги — нечто единое, универсальное и взаимозаменяемое. Но это не совсем так. Параллельно с процессами, описываемыми Зиммелем, имеет место диверсификация ситуаций и социальных контекстов, в которых используются разные виды денег и других платежных средств, что отмечала Вивиана Зелизер (2002). Несмотря на то что в современных обществах мы имеем дело с едиными денежными системами в рамках национальных экономик, в повседневной жизни использование денег адаптируется под *конкретные ситуации*, под отношения между людьми в конкретных социальных группах.

Приближают ли данные рассуждения к ответу на вопрос, является ли биткойн деньгами? Социологический взгляд на деньги позволяет *переформулировать* ис-

---

8. Интересная попытка обосновать аргумент о том, что биткойн — это деньги, с точки зрения «Философии денег» Зиммеля см. в: Butler, 2022. Автор, однако, предлагает скорее философский, нежели социологический анализ проблемы денег.

ходный вопрос: в каком случае биткойн может *стать* деньгами? Отвечая на него, мы фиксируем, что:

— для некоторых людей (например, некоторых пользователей даркнета) биткойн был или остается деньгами, причем деньгами, уместными для использования в определенных контекстах (например, для покупки запрещенных веществ);

— хотя проект биткойна, с его универсальными притязаниями и опорой на математические вычисления, есть выражение того духа современности, о котором пишет Зиммель, сам биткойн в реальной практике своего использования крайне далек от универсальности денег. Использование биткойна ограничено более или менее организованными сообществами, к которым примыкают отдельные индивиды<sup>9</sup>;

— в современном мире, мире национальных государств и наднациональных образований, биткойн должен быть легитимирован, встроен в правовые и финансовые структуры этих государств, получить поддержку политических и экономических элит (Hütten, Thiemann, 2018; Lawrence, Mudge, 2019). В противном случае его функционирование будет ограничено очень узким набором ситуаций.

Иными словами, сейчас биткойн выступает в качестве денег только в некоторых, весьма специфических ситуациях экономических обменов. Чаще он используется как средство капиталовложения, но и так — отнюдь не повсеместно.

Может ли биткойн стать универсальной денежной системой в будущем? Чтобы ответить на этот вопрос, перейдем к следующей проблеме, фиксируемой в исследовательской литературе.

### *Биткойн и экономическая наука*

Многие из сторонников биткойна рассматривают его как реализацию идей австрийской экономической школы. Особенно часто в отношении проекта биткойна ссылаются на идеи двух экономистов — Карла Менгера и Фридриха фон Хайека.

Карл Менгер, основатель австрийской школы, понимал деньги прежде всего как средство экономического обмена (Weber, 2016). Он также утверждал, что деньги основаны на субъективном приписывании ценности, а не на оценке реальной/объективной ценности, заложенной в самих вещах. Исходя из понимания денег как средства обмена (а не как кредитных обязательств), Менгер выступал за ограничение денежного запаса, чтобы у государства не было возможности постоянно «допечатывать» деньги. Так, золото в качестве денег хорошо тем, что его количество естественным образом ограничено. Именно идея ограничения количества —

---

9. Ярким примером здесь будет спекуляция на рынке криптоактивов в Южной Корее в 2017–2018 гг. По определенным причинам именно там и тогда биткойн и другие криптоактивы стали предметом интереса со стороны различных слоев населения, которые видели в них чуть ли не единственный способ разбогатеть. При этом логика продажи-покупки биткойна немногим отличалась, скажем, от игры в рулетку; вокруг игры на бирже сложилось особое сообщество со своими ритуалами и своими верованиями: Lee, 2022.

одна из важнейших для биткойна<sup>10</sup>. Один из проектов, предшествующих биткойну, назывался «bit gold» (Hayes, 2019), да и сам биткойн нередко сравнивают с золотом (Redshaw, 2017). Заметим, однако, что биткойн не подобен золоту в одном важном отношении: золото само по себе востребовано как товар, а биткойн — нет. Соответственно, нельзя ожидать, что биткойн будет приниматься как средство платежа на тех же основаниях (Weber, 2016).

И здесь мы подходим к следующему вопросу: верно ли, что биткойн вовсе лишен ценности? Не совсем так. Во-первых, биткойн несет в себе символическую ценность, связанную с идеями либертарианства и принадлежностью к определенному сообществу. Именно эта ценность, по-видимому, определила, что за биткойн на первом этапе его истории кто-то был готов платить (Dallyn, 2017). Во-вторых, биткойн позволяет совершать транзакции, не опосредованные третьими лицами, используя вычислительные мощности компьютеров для решения криптографических задач (Hayes, 2019)<sup>11</sup>. Таким образом, биткойн наделен ценностью для определенных сообществ, либо он становится ценным в рамках особых экономических обменов. Поэтому биткойн воплощает только один из аспектов теории Менгера — ограниченность количества денег, но не их универсальность.

Еще один представитель австрийской школы, Фридрих фон Хайек утверждал, что необходима конкуренция между различными деньгами, и притом выпускать деньги должны иметь возможность не только государства, но и частные организации. Биткойн, казалось бы, соответствует данному условию, создавая конкуренцию государственным деньгам (Fantacci, 2019). Однако здесь возникают проблемы дефляции и волатильности. В случае биткойна дефляция заложена в самом алгоритме: помимо ограниченного числа биткойнов, важно и то, что на один биткойн со временем приходится затрачивать все больше вычислительных мощностей. Как следствие, стоимость биткойна, скажем, в долларах в среднем дорожает. Как следствие, что биткойн выгодно не тратить, а сохранять у себя в качестве капиталовложения. Другая проблема биткойна — постоянные колебания курса, и здесь он ведет себя подобно другим финансовым активам (Corradi, Höfner, 2018). Дефляция и волатильность делают из биткойна хорошее средство для спекуляции и, возможно, неплохое капиталовложение, но создают проблемы для использования биткойна как средства обмена (Fantacci, 2019). Еще один пункт расхождения проекта биткойна с идеями Хайека состоит в том, что для последнего доверие к деньгам в конкурентной системе, предлагаемой им, основывается на доверии к рыночным

---

10. Программный код предусматривает, что всего будет выпущено 21 миллион биткойнов. На май 2023 года выпущено уже более 19 млн биткойнов.

11. Лишены ли ценности обычные бумажные деньги (fiat money)? По-видимому, тоже нет: ценность денег определяется тем, что государство принимает налоговые платежи именно в них, а также тем, что эмиссия денег центральным банком в итоге создает стоимость (Weber, 2016). Поэтому деньги стоят больше той бумаги, на которой они напечатаны, равно как и биткойн стоит больше, чем тратится вычислительных мощностей на его производство (иначе майнинг не был бы выгодным предприятием).

механизмам, биткойн же изначально основан на доверии не социальным институтам, а машине (Fantacci, 2019).

Подводя итоги, можно сделать два вывода. Во-первых, универсальной валюты из биткойна не получится из-за дефляции и высокой волатильности. Во-вторых, авторы биткойна весьма любопытным образом обращаются с экономической теорией. Они заимствуют отдельные идеи, выделяют их из контекста развития экономической науки, а потом придумывают для них технические решения<sup>12</sup>. Вместе с тем идеи, на которых основан проект биткойна, продолжают определять его привлекательность для отдельных людей и сообществ — несмотря на то что они в полной мере не были и, вероятно, не могут быть реализованы. Здесь экономика тесно сплетается с идеологией. Данный аспект будет важен для соотнесения биткойна и технологий искусственного интеллекта.

### *Биткойн и доверие*

С точки зрения социальной науки можно проследить некоторую логику в том, как меняется доверие — от личного к безличному (институциональному). От доверия конкретным людям и сообществам в современном мире нас во многих случаях освобождает доверие государству, точнее — институтам, гарантированным государством (Папакостас, 2016). Так, я доверяю банку, который выдает мне деньги, потому что знаю, что государство следит за тем, чтобы деньги не были подделаны, и гарантирует, что эти деньги будут приняты как платежное средство. Мне нет нужды доверять конкретному сотруднику банка или конкретному продавцу.

Но можно ли доверять самому государству? Как было отмечено, создание биткойна пришлось на экономический кризис 2007–2008 годов, когда доверие государству и банкам было серьезно подорвано. Биткойн призван устранить любых посредников между двумя сторонами экономического обмена. В первом приближении это означает переход от доверия государству к доверию машине/алгоритму (Karlström, 2014). Подобно тому, как государство делает излишним доверие конкретным людям, технология здесь делает ненужным доверие государству. Но каковы условия доверия машине? Что нужно для формирования доверия технологии биткойна?

Во-первых, необходимо иметь общие представления о том, как работает криптография — и/или доверять сообществу, которое заявляет, что криптография работает (Dodd, 2017; Swartz, 2018). Во втором случае мы возвращаемся от доверия институтам к доверию конкретным людям<sup>13</sup>.

---

12. В свою очередь, чтобы объяснить различные аспекты функционирования биткойна, исследователи используют разные экономические теории, поэтому общую ситуацию в исследованиях биткойна можно характеризовать как бриколаж идей и подходов (Hayes, 2019).

13. Причем доверие биткойну в сочетании с «фоновым» отрицательным общественным мнением в отношении криптовалют может создавать особую общность владельцев биткойна (Kinney, 2021).

Во-вторых, нужно доверять тому, что биткойны можно будет обменять на национальную валюту или на некоторые блага, то есть вопрос в том, как биткойн соединяется с существующей экономической (денежной) системой (Dallyn, 2017).

Наконец, необходимо доверять технике в целом — например, тому, что компьютеры не отключатся. А вера в то, что компьютер, на котором хранится биткойн, не взломают и не украдут, основана в конечном итоге на доверии государству в защите своей частной собственности (Weber, 2016).

Как мы видим, «доверие машине» в случае биткойна — это вовсе не отсутствие доверия. То, что на этапе задумки представляется как техно-утопия (Dodd, 2017), как замкнутая техническая система, в действительности представляет собой сложный социальный процесс, в который включаются доверие технике, доверие конкретным людям и даже доверие государству.

Почему проект биткойна не был реализован в том виде и с теми последствиями, которые предполагались на этапе его создания? С одной стороны, сами идеи, заложенные в биткойне — стремление к свободному рынку *в сочетании* со свободой передачи информации, — несут в себе потенциальные противоречия и конфликты: например, конфликт между биткойном как средством платежа и как предметом спекуляции (Swartz, 2018). С другой стороны, в ходе создания и распространения биткойна мы наблюдаем привычные для социологов картины: группы интересов, идеологические заявления, коллективные верования, борьбу за влияние, совместную выработку решений и критериев оценки (Dodd, 2017; Parkin, 2019). Код, который определяет правила создания биткойна, изменяется, решения принимаются и отменяются, при смене правил возникают расщепления цепочек транзакций (forking), и некоторые из них носят необратимый характер (Parkin, 2019)<sup>14</sup>.

Доверять биткойну — значит, доверять всем этим процессам. Так ли уж сильно это отличается от доверия государству?

Данный вопрос — ключевой, и ответ на него не такой однозначный, как может показаться на первый взгляд. Здесь мы имеем дело с ситуациями, где ключевую роль играют не только люди и их агрегированные интересы, но и машины и алгоритмы. Процессы управления созданием биткойна «будучи далеки от простой передачи контроля от людей машинам... представляют собой асимметричное соревнование между разными гибридами [людей и машин] (разработчики/системы управления версиями, майнеры/компьютеры, пользователи/программное обеспечение компаний) с различными степенями контроля. Это не ситуация «человек против машины», это ситуация «человек и машина против человека и машины»» (Parkin, 2019: 478).

---

14. Так, в 2017 году от биткойна отделилась «ветка» Bitcoin Cash, ставшая отдельной криптовалютой.



## Биткойн в системе координат искусственной социальности: постановка проблемы

Анализ проблем, которые обсуждаются в исследовательской литературе в связи с биткойном, позволил зафиксировать, что социальные процессы создания и распространения биткойна не менее сложны, чем в случае национальных денежных валют. В чем состоит специфика этих процессов? Мы полагаем, что биткойн является одним из наиболее интересных примеров взаимозависимости «человек-машина».

Чтобы рассуждать о проблемах этой взаимозависимости, следует начать с «рабочих определений» явлений, с ней связанных: искусственный интеллект, онлайн-культура, искусственная социальность (Резаев, Трегубова, 2019).

*Искусственный интеллект* представляет собой ансамбль разработанных и закодированных человеком рационально-логических, формализованных правил, которые организуют процессы, позволяющие имитировать интеллектуальные структуры, производить и воспроизводить целерациональные действия, а также осуществлять последующее кодирование и принятие инструментальных решений независимо от человека. Данное определение выделяет следующие характеристики ИИ: а) ИИ — не вещь, а процесс, воплощенный в техническом устройстве или онлайн-алгоритме; б) ИИ относительно автономен от человека и способен самостоятельно принимать инструментальные решения. Заметим, что биткойн отвечает первой, но не второй характеристике.

*Онлайн-культура* — ансамбль (гармоническая совокупность) сетей коммуникаций, технических устройств, алгоритмов, формальных и неформальных правил взаимодействия, паттернов поведения, культурных символов, которые делают возможной и структурируют активность людей в сети Интернет и аналогичных сетях, обеспечивающих удаленный доступ к созданию, обмену и получению информации. Развитие биткойна и других криптовалют/криптоактивов происходит в рамках формирования и распространения онлайн-культуры.

В современных обществах развитие онлайн-технологий и технологий искусственного интеллекта, являясь логически независимыми феноменами, на практике становятся все более и более взаимозависимыми. Как следствие, внедрение в повседневную жизнь общества искусственного интеллекта изменяет социальную среду существования человека и обуславливает возникновение *искусственной социальности* — системы взаимодействий с участием человека и искусственного интеллекта, в которых ИИ может выступать как посредником во взаимодействии между людьми, так и самостоятельным участником.

ИИ и искусственная социальность порождают новые элементы для организации своего существования в повседневной жизни, которые должны осмыслиться в современной социальной аналитике. Сегодня такие элементы возникают в рамках формирования *взаимозависимости «человек-машина/алгоритм»* (human-machine interdependence) (Rezaev, 2021). Полный цикл этой взаимозависимости про-

ходит в три этапа (рис. 2). Сначала человек создает машины, затем — передает контроль над автоматами алгоритмам (включая алгоритмы ИИ), на завершающем этапе возникает положение, когда человек не может организовывать и проживать свою жизнь без алгоритма, оказывается зависимым от него. Взаимозависимость между человеком и ИИ на последнем этапе становится самостоятельным фактором, который влияет на динамику рынков, законодательные инициативы и механизмы правоприменения государств и надгосударственных образований, в том числе — направленные на развитие и внедрение ИИ.

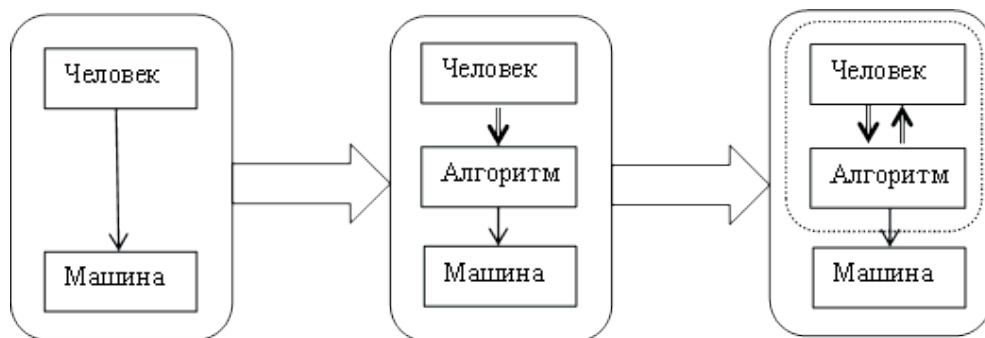


Рис. 2. Формирование взаимозависимости «человек-машина»

Отталкиваясь от данных определений и возвращаясь к проблеме биткойна, можно поставить следующие вопросы:

- Как проект биткойна соотносится с искусственным интеллектом?
- Как биткойн может быть встроен в существующие комплексы технологий ИИ?
- Способен ли биткойн стать «искусственными деньгами» для искусственного интеллекта?
- Как распространение биткойна связано с искусственной социальностью?
- Наконец, следует ли рассматривать биткойн как пример взаимозависимости «человек-машина»?

### Биткойн и искусственный интеллект: соотнесение понятий и соединение технологий

Исходя из приведенного выше определения ИИ, биткойн искусственным интеллектом не является. Как и ИИ, биткойн предстает перед пользователями как некоторая «вещь», но по своей сути является процессом, определяемым деятельностью алгоритмов. Однако биткойн не имитирует свойства человеческого разума и не принимает автономных решений.

Биткойн имитирует нечто другое — человеческую *социальность*. В самом деле, биткойн способен заменить социальные институты: деньги и стоящие за ними

правила, нормы и механизмы правоприменения. Проект биткойна призван создать новую социальную среду для взаимодействий между людьми. Тем самым он представляет собой новый элемент искусственной социальности за пределами технологий ИИ.

И здесь нельзя не отметить сходство между тем, как обращаются с научными теориями разработчики ИИ и создатели биткойна. Выше мы отметили, что создатели биткойна, ссылаясь на идеи австрийской экономической школы, извлекают эти идеи из научного контекста и воплощают (некоторым образом и в связи с собственным их пониманием) в алгоритмах программного кода. Создатели ИИ поступали и поступают сходным образом: они заимствуют и воплощают отдельные идеи о том, как мыслит, как решает задачи человек (Рассел, Норвиг, 2007). Хрестоматийный пример здесь — понятие «искусственных нейронных сетей» (ИНС) в разработках ИИ. Вдохновленные исследованиями мозга, ИНС не похожи на сети нейронов в мозге человека — точнее, схожи самым общим принципом работы. Для нейропсихолога очевидно, что ИНС — не сети нейронов мозга, и для экономиста очевидно, что биткойн не будет функционировать так, как функционируют деньги. Тем не менее использование понятий других наук (в сочетании — добавим — с идеологическими суждениями<sup>15</sup>) позволяет создать нечто новое — то, что потом возвращается в социальную реальность, к своим создателям<sup>16</sup>. Однако реально существующий биткойн — вовсе не та утопия, которую разработали его создатели, основываясь на идеях неортодоксальной экономической теории. Биткойн, призванный *заменить* социальные отношения, *дополнил* и *трансформировал* их.

Еще одно сходство между проектами биткойна и ИИ состоит в том, что их реализация побуждает исследователей (да и рядовых пользователей) задумываться о том, что казалось очевидным. Работа над созданием искусственного интеллекта обнаружила, что, несмотря на все достижения современной науки, мы до сих пор не знаем, что есть человек и как он мыслит. Изобретение биткойна показало, что мы не вполне понимаем, что такое деньги. Биткойн не является деньгами в полном смысле слова, но в некотором отношении он становится деньгами. Так и ИИ — не мыслит, не чувствует, не общается, однако он обрабатывает и передает информацию, будучи включен во взаимодействие с людьми, поэтому иногда он действует так, *как будто* он общается, чувствует и мыслит.

Наконец, общим для биткойна и ИИ является то, что люди зачарованы этими технологиями, хотя и верят в машины и приписывают им особые сакральные качества (Alexander, 1990). Идеи и идеологии, которые лежат в основании биткойна, хотя и не реализованные в полной мере, вносят свой вклад в эмоциональ-

15. В случае ИИ это идеология прогресса, идеология расширения возможностей человечества за счет развития науки и техники.

16. В случае биткойна и экономистов связь между наукой и практикой еще более заметна, чем в случае искусственного интеллекта и когнитивистов (cognitive scientists). Когнитивисты могут использовать ИИ как инструмент в своих исследованиях, тогда как экономисты анализируют биткойн как экономическое явление.

ный «заряд», связанный с этим явлением, — положительный или отрицательный. Как и в случае с ИИ, использование биткойна имеет прагматические цели, но при этом возникает энтузиазм (или страх), который к прагматике не сводится. Однако работают технологии не только за счет своих «чудесных» научно обоснованных свойств, но и благодаря малозаметным социальным связям. Мы рассмотрели, как техно-утопия биткойна отличается от биткойна реального — сходные процессы происходят и с технологиями ИИ (Collins, 2018).

Помимо теоретического соотнесения понятий, интерес представляет эмпирическое соединение биткойна и искусственного интеллекта. Может ли биткойн быть встроен в системы с участием технологий ИИ? Да, это уже происходит, например, в случае платежей в рамках «умного дома» (Abadi, Ellul, Azzopardi, 2018). Однако такие примеры пока немногочисленны. Может ли биткойн стать «искусственными деньгами» для искусственного интеллекта в будущем? В определенных, замкнутых и контролируемых условиях это было бы возможно. Однако сегодня технологии ИИ не создают отдельный мир. Они встраиваются в отношения между людьми, дополняя и изменяя их. И здесь с использованием биткойна возникают те же проблемы: дефляция и высокая волатильность. Иными словами, для ИИ биткойн — такие же «нишевые» деньги, как и для человека.

Следующий вопрос: что изменится, когда в системы взаимозависимости «человек-машина» с участием биткойна встраиваются технологии ИИ? Отличительная особенность искусственного интеллекта — в том, что он выполняет некоторые задачи вместо людей и при этом способен автономно принимать решения. Таким образом, мы можем ожидать, что вхождение ИИ в системы взаимозависимости только усложнит их, сделает еще менее предсказуемыми<sup>17</sup>.

Наконец, можно задать вопрос: есть ли другие технологии, которые, подобно биткойну, призваны заместить социальные институты? Какие еще социальные феномены могут быть имитированы и к каким последствиям приведет подобная имитация? По-видимому, биткойн пока остается чем-то уникальным, подобно тому, как уникальны деньги. Разумеется, можно вспомнить старую идею о компьютере, который заменил бы рынок и стал основой для плановой экономики: в 1970-е годы эту идею пытались реализовать в Чили (Medina, 2011); существует она и сегодня, причем некоторые исследователи предлагают воплотить ее в жизнь на основе технологий блокчейн (Hegadekatti, Yatish, 2017). Однако реальных попыток этого, насколько нам известно, пока не предпринимается<sup>18</sup>.

---

17. Например, алгоритмы ИИ могли бы использовать биткойн как средство накопления и спекуляции. Здесь возникает более широкая проблема: как технологии ИИ, входя на финансовые рынки, меняют их, как из средства предсказания они превращаются в фактор изменения стоимости отдельных активов, и делают ли они финансовые рынки более или менее предсказуемыми (OECD, 2020; Grout, 2021). Анализ способностей ИИ предсказывать цены на биткойн см. в: Aghashahi, Bamdad, 2023.

18. Стремление «просчитать» рынок на уровне действий отдельных людей, необходимость предсказать эти действия или подтолкнуть выбор людей в нужном направлении оказывается важным условием использования онлайн-алгоритмов в современной экономике. В специальной литературе данное явление осмысливается в рамках теории «надзорного капитализма» (surveillance capitalism)

Итак, мы видим, что биткойн и ИИ — разные проекты, между которыми есть примечательные сходства. Искусственный интеллект призван имитировать человеческий разум, биткойн — имитировать деньги как социальный институт. Оба основаны на некоторых научных идеях и на некоторой идеологии, при этом в исходном виде в реальность эти идеи не воплотились и вряд ли могут быть воплощены. Однако и технологии ИИ, и биткойн, включаясь в жизнь общества, оказывают на нее существенное и плохо предсказуемое влияние. Наконец, мы видим, что между технологиями ИИ и биткойном есть не только логическая, но и эмпирическая связь: биткойн может использоваться как средство обмена, накопления и спекуляции не только людьми, но и агентами ИИ. И здесь возникает необходимость рассмотреть связь биткойна не только с искусственным интеллектом, но и с искусственной социальностью.

### От искусственной социальности к взаимозависимости «человек-машина»

Как развитие биткойна связано с распространением искусственной социальности?

Во-первых, развитие искусственной социальности изменяет характер доверия к машинам и алгоритмам. С распространением различных гаджетов, с одной стороны, и онлайн-активностей — с другой, доверие технике становится фоновым, затрагивает все большее число людей. Однако в некоторых случаях явные сбои в работе технологий способствуют падению доверия к ним.

Во-вторых, развитие искусственной социальности позволяет биткойну встраиваться в цепочки взаимодействий между людьми и машинами (например, в рамках «умного дома»). Также следует отметить, что технология блокчейн, на которой основан биткойн, делает возможными новые формы искусственной социальности, например, в рамках «электронного управления» (e-governance) (Ølnes, 2016) или «Интернета вещей» (Abadi, Ellul, Azzopardi, 2018).

В-третьих, развитие искусственной социальности и онлайн-культуры видоизменяет формы социального неравенства, приводя к возникновению цифрового разрыва (digital divide) между различными категориями людей (Dijk, Hacker, 2003). Использование биткойна и других криптовалют/криптоактивов может рассматриваться как такой пример: для одних биткойн — средство обогащения, для других — потеря или упущенная возможность.

Наконец, биткойн — это ответ на проблему сохранения приватности в онлайн-среде (Dodd, 2017). Биткойн был задуман как средство осуществлять экономические обмены анонимно и без посредников. Сама потребность в этом возникает в связи с развитием Интернета в условиях искусственной социальности, где анонимность и безопасность передачи данных желательны, но труднодостижимы. В некотором смысле биткойн — это попытка осуществить утопическое видение

---

(Zuboff, 2019). Однако в ней речь идет не о создании новой технологии, а об использовании и совершенствовании уже существующих алгоритмов, в том числе алгоритмов ИИ.

Интернета как места свободных обменов между равными пользователями, которое характеризовало ранние этапы его развития.

Итак, с точки зрения развития искусственной социальности биткойн — феномен примечательный, но не центральный. Однако если мы рассуждаем о формировании *взаимозависимости* «человек-машина/алгоритм» в условиях искусственной социальности, биткойн становится *типическим примером* такой взаимозависимости. Биткойн задуман так, что в него встроена взаимозависимость между людьми, машинами и алгоритмами: действия и взаимодействия людей находятся в зависимости от работы алгоритмов и машин, и наоборот — действия алгоритмов меняются под влиянием действий людей. Проект биткойна подразумевает, что участники входят в уже «готовую», заданную систему отношений. Предполагается, что ты один раз принимаешь решение о входе, все остальное за тебя выполняет система. Причем гарантии того, что все работает честно и без утечки информации, определяются не только техническими характеристиками системы, но и децентрализацией контроля. Такого рода взаимозависимость предполагает отношения с равными (peers), но с этими равными не нужно общаться, им не нужно доверять. Система по умолчанию предполагает не сильные и не слабые, а временные, «одноразовые» связи между участниками (Nelms et al., 2018).

В ходе реального использования биткойна к взаимозависимости, которая была заложена на уровне проекта, добавляются новые нюансы. Там, где предполагались анонимность и недоверие, возникают сообщества энтузиастов. Там, где речь шла об отказе от взаимодействий с государством, возникают связи с ним. Там, где предполагалась полная децентрализация, возникает нечто похожее на олигополию.

Наконец, следует указать на особую роль технологии блокчейн в формировании взаимозависимости «человек-машина». В специальной литературе фиксируется широкий интерес к распространению данной технологии за рамки криптовалют. Блокчейн, отделенная от биткойна, становится особой формой коммуникации между машинами, обеспечивающая взаимодействие между людьми на основании «искусственного» (алгоритмического) доверия.

## Заключение

Появление и распространение биткойна ставит перед исследователями ряд проблем. Некоторые из них лежат на поверхности: Как производство и использование биткойна регламентируется государством? Как биткойн используется для нелегальных экономических обменов и как с этим бороться? Как изменяется общественное мнение в отношении биткойна? Однако представляется, что следует смотреть глубже — важнее понять те новые системы взаимозависимости «человек-машина», к которым относится и биткойн. В данной статье мы обратились к анализу именно этой проблемы. При этом мы стремились найти оптимальную исследовательскую перспективу: не слишком далеко (когда биткойн предстает как

утопия, как математическая модель), но и не слишком близко (когда мы видим лишь калейдоскоп исторических деталей и конкретных ситуаций использования биткойна).

Подводя итоги настоящего рассуждения, можно сформулировать следующее определение: *биткойн — это особая система взаимозависимости «человек-машина», задуманная как альтернатива денег, но в реальности выступающая как дополнение существующей экономической системы, где биткойн в различных ситуациях может выступать как валюта (средство обмена) и как актив (средство накопления или спекуляции)*. При этом специфика биткойна по сравнению с другими криптовалютами определяется как конкретным (изменяемым) набором правил, заложенным в его алгоритмах, так и сложившимися практиками использования и представлениями о биткойне как первой и наиболее популярной криптовалюте.

Завершая статью, попробуем сформулировать ответ на вопрос: Так является ли биткойн деньгами?

С одной стороны — нет. Деньги — это социальный феномен. Деньги требуют работы воображения, наделяния чего-то ценностью. Деньги встроены в социальные отношения, они сами являются институтом и связаны с другими институтами. Бытование денег в обществе многообразно. Биткойн — же закрытая «машинная» система, абстрактная и детерминированная алгоритмами. Принципы, на которых она построена, противоречат тому, как существует современная экономика. Иными словами, деньги искусственны (как человеческое изобретение), биткойн — реален в рамках искусственной (изобретенной) системы.

С другой стороны — является, но с оговорками. Биткойн, который описан в предыдущем абзаце, не существует в реальности — таков он в умах своих создателей и почитателей. В реальности биткойн встроен в социальные отношения, его алгоритмы изменяются определенными людьми в связи с определенной группировкой интересов различных сообществ и индивидов, вовлеченных в процессы производства и обмена биткойна. При этом биткойн занимает место в коллективном воображении людей, становится такой же «выдумкой», какой являются деньги. Биткойн встраивается в финансовые системы разных стран, в международную экономику, иногда как деньги, чаще — в качестве средства капиталовложения.

Не будучи альтернативой денег, биткойн — не он один, разумеется — изменяет облик существующей экономической системы. И чтобы понять эти изменения, необходимо обратиться к анализу взаимозависимости «человек-машина». Намечать координаты для такого анализа мы и попытались в рамках настоящей статьи.

## Литература

- Абреков М. М. (2022). Биткойн: краткая история и ценность // Московский экономический журнал. № 5. С. 470-488.
- Баранов И. С. (2018). Конструирование доверия на российском рынке криптовалют // Экономическая социология. Т. 19. № 5. С. 90-108.

- Вебер М. (1990). «Объективность» социально-научного и социально-политического познания / Пер. с нем. М. И. Левиной // Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс. С. 345-415.
- Зелизер В. (2002). Создание множественных денег // Экономическая социология. Т. 3. № 4. С. 58-72.
- Зиммель Г. (2002). Большие города и духовная жизнь // Логос. Т. 34. № 3. С. 1-12.
- Зиммель Г. (2015). Философия денег / Пер. с нем. А. Ф. Филиппова // Зиммель Г. Избранное. Проблемы социологии. М.; СПб.: Университетская книга, Центр гуманитарных инициатив. С. 159-208.
- Кочергин Д. А., Покровская Н. В. (2020). Международный опыт налогообложения криптоактивов // Экономический журнал ВШЭ. № 1. С. 53-84.
- Кузнецов Ю. В. (2018). Суд без закона: правовой режим криптовалюты в деле о банкротстве // Экономическая политика. Т. 13. № 6. С. 122-135.
- Левашенко А. Д., Ермохин И. С., Коваль А. А. (2019). Перспективы правового регулирования криптоэкономики и ICO в России и других странах // Экономическая политика. Т. 14. № 5. С. 80-99.
- Пантыкина М. (2019). Блокчейн и социальные концепты: экспозиция проблемного поля // Социологическое обозрение. Т. 18. № 1. С. 158-187.
- Папакостас А. (2016). Становление цивилизованной публичной сферы: недоверие, доверие и коррупция / Пер. с англ. Д. М. Жихаревича. М.: ВЦИОМ.
- Портной М. (2018). Криптовалюта и деньги — пути взаимодействия // Мировая экономика и международные отношения. Т. 62. № 10. С. 64-70.
- Рассел С., Норвиг П. (2007). Искусственный интеллект: современный подход, 2-е изд. / Пер. с англ. К. А. Птицына. М.: Издательский дом «Вильямс».
- Резаев А. В., Трегубова Н. Д. (2019). «Искусственный интеллект», «онлайн-культура», «искусственная социальность»: определение понятий // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. № 6. С. 35-47.
- Симонов А. Ю., Зямалов В. Е. (2019). Факторы доходности и выживаемости первичных предложений монет в долгосрочной перспективе // Экономический журнал ВШЭ. № 4. С. 585-604.
- Столбов М. И. (2019). К десятилетию рынка криптовалют: текущее состояние и перспективы // Вопросы экономики. № 5. С. 136-148.
- Abadi F. A., Ellul J., Azzopardi G. (2018). The Blockchain of Things, Beyond Bitcoin: A Systematic Review // 2018 IEEE Conference on Internet of Things, Green Computing and Communications, Cyber, Physical and Social Computing. P. 1666-1672.
- Aghashahi M., Bamdad Sh. (2023). Analysis of different artificial neural networks for Bitcoin price prediction // International Journal of Management Science and Engineering Management. Vol. 18. № 2. P. 126-133.
- Akar S., Akar E. (2020). Is it a New Tulip Mania Age? A Comprehensive Literature Review Beyond Cryptocurrencies, Bitcoin, and Blockchain Technology // Journal of Information Technology Research. Vol. 13. Issue 1. P. 44-67.



- Alexander J.* (1990). The Sacred and Profane Information Machine: Discourse about the Computer as Ideology // Archives de sciences sociales des religions. № 69. P. 161-171.
- Butler S.* (2022). The Philosophy of Bitcoin and the Question of Money // Theory, Culture & Society. Vol. 39. № 5. P. 81-102.
- Bychkova O., Kosmarski A.* (2023). Imagineering a new way of governing: the blockchain and res publica // Journal of Information Technology & Politics. Vol. 20. № 1. P. 34-43.
- Collins H.* (2018). Artificial Intelligence: Against Humanity's Surrender to Computers. Madford, MA: Polity Press.
- Corradi F., Höfner Ph.* (2018). The disenchantment of Bitcoin: unveiling the myth of a digital currency // International Review of Sociology. Vol. 28. № 1. P. 193-207.
- Dallyn S.* (2017). Cryptocurrencies as market singularities: the strange case of Bitcoin // Journal of Cultural Economy. Vol. 10. № 5. P. 462-473.
- Dijk J., Hacker K.* (2003). The Digital Divide as a Complex and Dynamic Phenomenon // The Information Society. Vol. 19. № 4. P. 315-326.
- Dodd N.* (2018). The Social Life of Bitcoin // Theory, Culture & Society. Vol. 35. № 3. P. 35-56.
- Fantacci L.* (2019). Cryptocurrencies and the Denationalization of Money // International Journal of Political Economy. Vol. 48. № 2. P. 105-126.
- Grout P.* (2021). AI, ML, and competition dynamics in financial markets // Oxford Review of Economic Policy. Vol. 37. Issue 3. P. 618-635.
- Hayes A.* (2019). The Socio-Technological Lives of Bitcoin // Theory, Culture & Society. Vol. 36. Issue 4. P. 49-72.
- Hegadekatti K., Yatish S. G.* (2017). The Programmable Economy: Envisaging an Entire Planned Economic System as a Single Computer Through Blockchain Networks. URL: <https://ssrn.com/abstract=2943227> (дата доступа: 02.05.2023).
- Hütten M., Thiemann M.* (2018). Moneys at the margins: From political experiment to cashless societies // Bitcoin and Beyond: Cryptocurrencies, Blockchains, and Global Governance / M. Campbell-Verduyn (ed.). Abington: Routledge. P. 25-68.
- Iqbal N., Zeeshan F., Wan G., Shahzad F.* (2021). Asymmetric nexus between COVID-19 outbreak in the world and cryptocurrency market // International Review of Financial Analysis. Vol. 73. 101613.
- Jalal R. N.-U.-D., Alon I., Paltrinieri A.* (2021). A bibliometric review of cryptocurrencies as a financial asset // Technology Analysis & Strategic Management. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09537325.2021.1939001>
- Karlström H.* (2014). Do libertarians dream of electric coins? The material embeddedness of Bitcoin // Distinktion: Scandinavian Journal of Social Theory. Vol. 15. № 1. P. 23-36.
- Kher R., Terjesen S., Liu Ch.* (2021). Blockchain, Bitcoin, and ICOs: a review and research agenda // Small Business Economics. Vol. 56. № 4. P. 1699-1720.
- Kinney A. B.* (2021). Embedding into an Emerging Money System: The Case of Bitcoin // Sociological Focus. Vol. 54. № 1. P. 77-92.
- Kose J., O'Hara M., Saleh F.* (2022). Bitcoin and Beyond // Annual Review of Financial Economics. Vol. 14. P. 95-115.

- Lawrence Ch. J., Mudge S. L.* (2019). Movement to market, currency to property: the rise and fall of Bitcoin as an anti-state movement, 2009–2014 // *Socio-Economic Review*. Vol. 17. № 1. P. 109–134.
- Lee S. Ch.* (2022). Magical capitalism, gambler subjects: South Korea's bitcoin investment frenzy // *Cultural Studies*. Vol. 36 № 1. P. 96–119.
- Manimuthu A., Sreedharan R., Rejikumar G., Marwaha D.* (2019). A Literature Review on Bitcoin: Transformation of Crypto Currency Into a Global Phenomenon // *IEEE Engineering Management Review*. Vol. 47. № 1. P. 28–35.
- Marple T.* (2021). Bigger than Bitcoin: A Theoretical Typology and Research Agenda for Digital Currencies // *Business and Politics*. Vol. 23. Issue 4. P. 439–455.
- Medina E.* (2011). *Cybernetic Revolutionaries: Technology and Politics in Allende's Chile*. Cambridge, MA: The MIT Press.
- Nakamoto S.* (2008). Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system. URL: [https://www.uscc.gov/sites/default/files/pdf/training/annual-national-training-seminar/2018/Emerging\\_Tech\\_Bitcoin\\_Crypto.pdf](https://www.uscc.gov/sites/default/files/pdf/training/annual-national-training-seminar/2018/Emerging_Tech_Bitcoin_Crypto.pdf) (дата доступа: 02.05.2023).
- Nelms T. C., Maurer B., Swartz L., Mainwaring S.* (2018). Social Payments: Innovation, Trust, Bitcoin, and the Sharing Economy // *Theory, Culture & Society*. Vol. 35. № 3. P. 13–33.
- OECD.* (2021). *Artificial Intelligence, Machine Learning and Big Data in Finance: Opportunities, Challenges, and Implications for Policy Makers*. URL: <https://www.oecd.org/finance/financial-markets/Artificial-intelligence-machine-learning-big-data-in-finance.pdf> (дата доступа: 02.05.2023).
- Ølnes S.* (2016). Beyond Bitcoin Enabling Smart Government: Using Blockchain Technology // *International Federation for Information Processing 2016*. / H. J. Scholl et al. (eds.). Springer. P. 253–264.
- Parkin J.* (2019). The senatorial governance of Bitcoin: making (de)centralized money // *Economy and Society*. Vol. 48. № 4. P. 463–487.
- Passinsky A.* (2020). Should Bitcoin Be Classified as Money? // *Journal of Social Ontology*. Vol. 6. № 2. P. 281–292.
- Redshaw T.* (2017). Bitcoin beyond ambivalence: Popular rationalization and Feenberg's technical politics // *Thesis Eleven*. Vol. 138. № 1. P. 46–64.
- Rezaev A. V.* (2021). Twelve Theses on Artificial Intelligence and Artificial Sociality // *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. № 1. P. 20–30.
- Sharma G. D., Jain M., Mahendru M., Bansal S., Kumar G.* (2019). Emergence of Bitcoin as an Investment Alternative: A Systematic Review and Research Agenda // *International Journal of Business and Information*. Vol. 14. № 1. P. 47–84.
- Swartz L.* (2018). What was Bitcoin, what will it be? The techno-economic imaginaries of a new money technology // *Cultural Studies*. Vol. 32. № 4. P. 623–650.
- Wamba S. F., Kamdjoug J. R. K., Bawack R. E., Keogh J. G.* (2020). Bitcoin, Blockchain and Fintech: a systematic review and case studies in the supply chain // *Production Planning & Control*. Vol. 31. № 2-3. P. 115–142.
- Weber B.* (2016). Bitcoin and the legitimacy crisis of money // *Cambridge Journal of Economics*. Vol. 40. Issue 1. P. 17–41.

Zuboff S. (2019). *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. New York, NY: Public Affairs.

## Human-machine interdependence beyond AI development: the case of Bitcoin

*Andrey V. Rezaev*

Doctor of Sciences (Philosophy), Director of International Research Laboratory TANDEM, St. Petersburg State University.

Address: Ul. Smolnogo, 1/3-9, Saint-Petersburg, Russia, 191124

E-mail: rezaev@hotmail.com

*Natalia D. Tregubova*

PhD in Sociology, Associate Professor of Comparative Sociology Chair.

Address: Ul. Smolnogo, 1/3-9, Saint-Petersburg, Russia, 191124

E-mail: n.tregubova@spbu.ru

This paper aims to analyze Bitcoin as an identifiable system of human-machine interdependence. The authors start with a brief historical outline of the Bitcoin project and discuss questions that Bitcoin poses to social sciences, such as whether Bitcoin is money, how the Bitcoin project relates to economic theory, what determines the value of a Bitcoin, and what are the conditions for trust in Bitcoin? Finally, what happens when the Bitcoin project becomes a reality? In what follows, the authors correlate the existence of Bitcoin with the spread of artificial intelligence (AI) technologies as active intermediaries and participants in human interactions. After observing the similarities and differences between AI and the Bitcoin project, the idea of whether Bitcoin can act as “artificial money” for AI is discussed, and the reality of human-machine interdependence is exemplified. In conclusion, the authors define Bitcoin as a particular system of human-machine interdependence initially conceived as an alternative to money; however, in reality, it supplements the existing economic order.

**Keywords:** Bitcoin, cryptocurrency, crypto-asset, human-machine interdependence, artificial intelligence, artificial sociality

### References

- Abadi F. A., Ellul J., Azzopardi G. (2018) The Blockchain of Things, Beyond Bitcoin: A Systematic Review. *2018 IEEE Conference on Internet of Things, Green Computing and Communications, Cyber, Physical and Social Computing*, pp. 1666-1672.
- Abrekov M. M. (2022) Bitkojn: kratkaja istorija i cennost' [Bitcoin: Brief history and value]. *Moskovskij ekonomicheskij zhurnal*, no 5, pp. 470-488.
- Aghashahi M., Bamdad Sh. (2023) Analysis of different artificial neural networks for Bitcoin price prediction. *International Journal of Management Science and Engineering Management*, vol. 18, no 2, pp. 126-133.
- Akar S., Akar E. (2020) Is it a New Tulip Mania Age? A Comprehensive Literature Review Beyond Cryptocurrencies, Bitcoin, and Blockchain Technology. *Journal of Information Technology Research*, vol. 13, issue 1, pp. 44-67.
- Alexander J. (1990) The Sacred and Profane Information Machine: Discourse about the Computer as Ideology. *Archives de sciences sociales des religions*, no 69, pp. 161-171.
- Baranov I. S. (2018) Konstruirovanie doverija na rossijskom rynke kriptoaljut [Creation of Trust in the Russian Cryptocurrency Market]. *Ekonomicheskaja sociologija*, vol. 19, no 5, pp. 90-108.

- Butler S. (2022) The Philosophy of Bitcoin and the Question of Money. *Theory, Culture & Society*, vol. 39, no 5, pp. 81–102.
- Bychkova O., Kosmarski A. (2023) Imagineering a new way of governing: the blockchain and res publica. *Journal of Information Technology & Politics*, vol. 20, no 1, pp. 34-43.
- Collins H. (2018) *Artificial Intelligence: Against Humanity's Surrender to Computers*, Madford, MA: Polity Press.
- Corradi F., Höfner Ph. (2018) The disenchantment of Bitcoin: unveiling the myth of a digital currency. *International Review of Sociology*, vol. 28, no 1, pp. 193-207.
- Dallyn S. (2017) Cryptocurrencies as market singularities: the strange case of Bitcoin. *Journal of Cultural Economy*, vol. 10, no 5, pp. 462-473.
- Dijk J., Hacker K. (2003) The Digital Divide as a Complex and Dynamic Phenomenon. *The Information Society*, vol. 19, no 4, pp. 315–326.
- Dodd N. (2018) The Social Life of Bitcoin. *Theory, Culture & Society*, vol. 35, no 3, pp. 35–56.
- Fantacci L. (2019) Cryptocurrencies and the Denationalization of Money. *International Journal of Political Economy*, vol. 48, no 2, pp. 105-126.
- Grout P. (2021) AI, ML, and competition dynamics in financial markets. *Oxford Review of Economic Policy*, vol. 37, issue 3, pp. 618–635.
- Hayes A. (2019) The Socio-Technological Lives of Bitcoin. *Theory, Culture & Society*, vol. 36, issue 4, pp. 49-72.
- Hegadekatti K., Yatish S. G. (2017) The Programmable Economy: Envisaging an Entire Planned Economic System as a Single Computer Through Blockchain Networks. Available at: <https://ssrn.com/abstract=2943227> (accessed 2 May March 2023).
- Hütten M., Thiemann M. (2018) Moneys at the margins: From political experiment to cashless societies. *Bitcoin and Beyond: Cryptocurrencies, Blockchains, and Global Governance* (ed. M. Campbell-Verduyn), Abington: Routledge, pp. 25-68.
- Iqbal N., Zeeshan F., Wan G., Shahzad F. (2021) Asymmetric nexus between COVID-19 outbreak in the world and cryptocurrency market. *International Review of Financial Analysis*, vol. 73, 101613.
- Jalal R. N.-U.-D., Alon I., Paltrinieri A. (2021) A bibliometric review of cryptocurrencies as a financial asset. *Technology Analysis & Strategic Management*. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09537325.2021.1939001>
- Karlstrøm H. (2014) Do libertarians dream of electric coins? The material embeddedness of Bitcoin. *Distinktion: Scandinavian Journal of Social Theory*, vol. 15, no 1, pp. 23-36.
- Kher R., Terjesen S., Liu Ch. (2021) Blockchain, Bitcoin, and ICOs: a review and research agenda. *Small Business Economics*, vol. 56, no 4, pp. 1699–1720.
- Kinney A. B. (2021). Embedding into an Emerging Money System: The Case of Bitcoin. *Sociological Focus*, vol. 54, no 1, pp. 77-92.
- Kochergin D., Pokrovskaja N. (2020) Mezhdunarodnyy opyt nalogooblozheniya kriptoaktivov [International Experience of Taxation of Crypto-assets]. *HSE Economic Journal*, vol. 24, no 1, pp. 53-84.
- Kose J., O'Hara M., Saleh F. (2022) Bitcoin and Beyond. *Annual Review of Financial Economics*, vol. 14, pp. 95-115.
- Kuznetsov Yu. V. (2018) Sud bez zakona: pravovoj rezhim kriptoal'juty v dele o bankrotstve [Justice without law: Legal status of cryptocurrency in a bankruptcy case]. *Ekonomicheskaja politika*, vol. 13, no 6, pp. 122–135.
- Lawrence Ch. J., Mudge S. L. (2019) Movement to market, currency to property: the rise and fall of Bitcoin as an anti-state movement, 2009–2014. *Socio-Economic Review*, vol. 17, no 1, pp. 109–134.
- Lee S. Ch. (2022) Magical capitalism, gambler subjects: South Korea's bitcoin investment frenzy. *Cultural Studies*, vol. 36, no 1, pp. 96–119.
- Levashenko A. D., Ermokhin I. S., Koval A. A. (2019) Perspektivy pravovogo regulirovaniya kriptoekonomiki i ICO v Rossii i drugih stranah [Prospects of legal regulation of crypto economy and ICO in Russia and other countries]. *Ekonomicheskaja politika*, vol. 14, no 5, pp. 80–99.
- Manimuthu A., Sreedharan R., Rejikumar G., Marwaha D. (2019) A Literature Review on Bitcoin: Transformation of Crypto Currency Into a Global Phenomenon. *IEEE Engineering Management Review*, vol. 47, no 1, pp. 28-35.

- Marple T. (2021) Bigger than Bitcoin: A Theoretical Typology and Research Agenda for Digital Currencies. *Business and Politics*, vol. 23, issue 4, pp. 439–455.
- Medina E. (2011) *Cybernetic Revolutionaries: Technology and Politics in Allende's Chile*, Cambridge, MA: The MIT Press.
- Nakamoto S. (2008) Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system. Available at: [https://www.uscc.gov/sites/default/files/pdf/training/annual-national-training-seminar/2018/Emerging\\_Tech\\_Bitcoin\\_Crypto.pdf](https://www.uscc.gov/sites/default/files/pdf/training/annual-national-training-seminar/2018/Emerging_Tech_Bitcoin_Crypto.pdf) (accessed 2 May March 2023).
- Nelms T. C., Maurer B., Swartz L., Mainwaring S. (2018) Social Payments: Innovation, Trust, Bitcoin, and the Sharing Economy. *Theory, Culture & Society*, vol. 35, no 3, pp. 13–33.
- OECD (2021) *Artificial Intelligence, Machine Learning and Big Data in Finance: Opportunities, Challenges, and Implications for Policy Makers*. Available at: <https://www.oecd.org/finance/financial-markets/Artificial-intelligence-machine-learning-big-data-in-finance.pdf> (accessed 2 May March 2023).
- Ølnes S. (2016) Beyond Bitcoin Enabling Smart Government: Using Blockchain Technology. *International Federation for Information Processing 2016* (eds. H. J. Scholl et al.), Springer, pp. 253–264.
- Pantykina M. (2019) Blokcheyn i sotsial'nye kontsepty: ekspozitsiya problemnogo polya [Blockchain and Social Concepts: Exposure of the Problem Field]. *The Russian Sociological Review*, vol. 18, no 1, pp. 158–187.
- Papakostas A. (2016) *Stanovlenie civilizovannoj publichnoj sfery: nedoverie, doverie i korrupcija* [Civilizing the Public Sphere: Distrust, Trust and Corruption], Moscow: VCIOM.
- Parkin J. (2019) The senatorial governance of Bitcoin: making (de)centralized money. *Economy and Society*, vol. 48, no 4, pp. 463–487.
- Passinsky A. (2020) Should Bitcoin Be Classified as Money? *Journal of Social Ontology*, vol. 6, no 2, pp. 281–292.
- Portnoy M. (2018) Kriptoaljuty i den'gi — puti vzaimodejstvija [Cryptocurrency and Money — The Way of Interaction]. *Mirovaja ekonomika i mezhdunarodnye otnoshenija*, vol. 62, no 10, pp. 64–70.
- Redshaw T. (2017) Bitcoin beyond ambivalence: Popular rationalization and Feenberg's technical politics. *Thesis Eleven*, vol. 138, no 1, pp. 46–64.
- Rezaev A. V. (2021) Twelve Theses on Artificial Intelligence and Artificial Sociality. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*, no 1, pp. 20–30.
- Rezaev A. V., Tregubova N. D. (2019) "Iskusstvennyj intellekt", "onlajn-kul'tura", "iskusstvennaja social'nost": opredelenie ponjatij [Artificial Intelligence, On-line Culture, Artificial Sociality: Definition of the Terms]. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*, no 6, pp. 35–47.
- Russell S., Norvig P. (2007) *Iskusstvennyj intellekt: sovremennyj podhod* [Artificial Intelligence: A Modern Approach], 2nd ed, Moscow: Williams.
- Sharma G. D., Jain M., Mahendru M., Bansal S., Kumar G. (2019) Emergence of Bitcoin as an Investment Alternative: A Systematic Review and Research Agenda. *International Journal of Business and Information*, vol. 14, no 1, pp. 47–84.
- Simmel G. (2002) Bol'shie goroda i duhovnaja zhizn' [The Metropolis and Mental Life]. *Logos*, vol. 34, no 3, pp. C. 1–12.
- Simmel G. (2015) *Filosofija deneg* [The Philosophy of Money]. *Izbrannoe. Problemy sociologii* [Selected works. The problems of sociology], Moscow; St. Petersburg: Universitetskaja kniga, Centr gumanitarnyh iniciativ, pp. 159–208.
- Simonov A., Zyamalov V. (2019) Faktory dokhodnosti i vyzhivaemosti pervichnykh predlozheniy monet v dolgosrochnoy perspektive [Long Run Return and Survival Factors of ICO]. *HSE Economic Journal*, vol. 23, no 4, pp. 585–604.
- Stolbov M. I. (2019) K desjatiletiju rynka kriptoaljut: tekushhee sostojanie i perspektivy [The 10th anniversary of the cryptocurrency market: Its current state and prospects]. *Voprosy Ekonomiki*, no 5, pp. 136–148.
- Swartz L. (2018) What was Bitcoin, what will it be? The techno-economic imaginaries of a new money technology. *Cultural Studies*, vol. 32, no 4, pp. 623–650.

- Wamba S.F., Kamdjoug J.R. K., Bawack R.E., Keogh J.G. (2020) Bitcoin, Blockchain and Fintech: a systematic review and case studies in the supply chain. *Production Planning & Control*, vol. 31, no 2-3, pp. 115-142.
- Weber B. (2016) Bitcoin and the legitimacy crisis of money. *Cambridge Journal of Economics*, vol. 40, issue 1, pp. 17–41.
- Weber M. (1990) «Ob'ektivnost'» social'no-nauchnogo i social'no-politicheskogo poznanija [The "Objectivity" of Knowledge in Social Science and Social Policy]. *Izbrannye proizvedenija* [Selected works], Moscow: Progress, pp. 345-415.
- Zelizer V. (2002) Sozdanie mnozhestvennykh deneg [Making Multiple Money]. *Ekonomicheskaja sociologija*, vol. 3, no 4, pp. 58-72.
- Zuboff S. (2019) *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*, New York, NY: Public Affairs.

# Эволюция модели культурных измерений Хофстеде: параллели между объективной и субъективной культурой\*

*Михаил Минков*

PhD по социальной антропологии, научный руководитель Лаборатории сравнительных социальных исследований им. Р. Ф. Инглхарта, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»; профессор кросс-культурных исследований, Варненский университет менеджмента, Болгария  
Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, Москва, Российская Федерация 101000  
E-mail: michaelminkov@yahoo.com.

*Борис Соколов*

Кандидат политических наук, заведующий, старший научный сотрудник Лаборатории сравнительных социальных исследований им. Р. Ф. Инглхарта, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»; доцент департамента социологии, Санкт-Петербургская школа социальных наук и востоковедения, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге

Адрес: ул. Седова, д. 55, корп. 2, Санкт-Петербург, Российская Федерация 192171  
E-mail: bssokolov@hse.ru; bssokolov@gmail.com

*Илья Ломакин*

Приглашенный исследователь Лаборатории сравнительных социальных исследований им. Р. Ф. Инглхарта, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»; эксперт Департамента издательских программ, Всероссийский центр изучения общественного мнения

Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, Москва, Российская Федерация 101000  
E-mail: ilomakin@hse.ru, elijah.lomakin@gmail.com

Более сорока лет назад голландский социолог Герт Хофстеде предложил популярную модель национальной культуры, до сих пор широко используемую в различных социально-научных дисциплинах. Вместе с тем за прошедшие годы стало очевидным, что эта модель имеет серьезные недостатки и требует всестороннего пересмотра. В настоящей статье описывается исходная концепция Хофстеде и основные связанные с ней проблемы, а также дается обзор наиболее важных ее уточнений, которые в итоге привели к появлению новой, более простой и в то же время лучше подтверждаемой данными модели Минкова-Хофстеде. Последняя позволяет объяснить межстрановые различия по таким индикаторам развития, как коррупция, гендерное равенство, смертность на дорогах и на производстве, образовательные достижения, насильственная преступность, подростковая рождаемость, преобладающая структура семьи, уровень инновационной активности и многие другие. Все эти страновые характеристики тесно связаны с культурными измерениями модели Минкова-Хофстеде. Это свидетельствует о том, что *субъективная культура* (что люди думают) отражается в *объективной культуре* (что люди делают). Более того, модель Минкова-Хофстеде может применяться для объяснения не только межстрановых, но и внутристрановых культурных различий (например, между штатами США или регионами России).

*Ключевые слова:* сравнительные исследования культуры, национальная культура, Герт Хофстеде, модель Минкова-Хофстеде, индивидуализм — коллективизм, монументализм — гибкость.

---

\* Статья подготовлена в рамках Программы фундаментальных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).

В 1980 году голландский социолог Герт Хофстеде опубликовал книгу (Hofstede, 1980), которая произвела революцию в сфере сравнительных исследований культуры. До выхода «*Последствий культуры*» в арсенале социальных наук практически не имелось надежных количественных инструментов для сравнения современных обществ и объяснения очевидных культурных различий между ними. Большинство работ в этой области, использовавших опросные данные, ограничивалось сопоставлением установок и ценностей жителей лишь небольшого числа стран (чаще всего — двух), например, американцев и японцев или китайцев. Крайне узкий пространственный фокус таких изысканий и отсутствие подлежащей унифицирующей концептуальной рамки не позволяли делать широкие обобщения и препятствовали развитию «больших» теорий, способных предложить систематический (т. е. исходящий из глобальной, надрегиональной перспективы) подход к фиксации и описанию межстрановых различий в преобладающих ценностях, установках и поведенческих паттернах, а также увязать эти различия с историческими, социально-политическими, экономическими и географическими факторами макроуровня.

Публикация Хофстеде кардинально изменила положение дел в дисциплине. В конце 1960-х годов он работал в IBM, где у него был доступ к данным внутреннего исследования дочерних предприятий корпорации в почти четырех десятках стран. Впоследствии добавились данные и по другим государствам, хотя в некоторых из них размер национальной выборки был настолько мал, что их пришлось объединять с соседними странами. В конечном итоге у Хофстеде оказались материалы свыше 110 000 респондентов из более чем 50 культурных единиц<sup>2</sup>. Согласно самому ученому, сначала он пытался обнаружить культурные паттерны, характеризующие взгляды индивидов, но ему не удалось найти ничего осмысленного на этом уровне. Тогда специалист по анализу данных, с которым Хофстеде сотрудничал на тот момент, предложил ему агрегировать результаты опросов и рассчитать средние значения для каждого целевого индикатора и каждой страны. После этого он оставил индивидуальный уровень и начал работать только со страновыми показателями.

Результаты этого анализа сделали Хофстеде самым знаменитым и уважаемым ученым в сфере кросс-культурных исследований. Майкл Бонд, один из наиболее известных специалистов в этой области, однажды заметил, что его коллеги на протяжении долгого времени были буквально «заморожены» интеллектуальным достижением Хофстеде (Bond, 2002: 73). Марк Петерсон, помощник редактора *Journal of International Business Studies* — ведущего научного издания, посвященного изучению международного бизнеса, — утверждает, что «<...> кросс-культурные исследования, возможно, существовали как отдельная научная дисциплина и до выхода первого издания “*Последствий культуры*”, но эта работа однозначно определила

---

2. То есть стран или групп соседних стран, объединенных по причине малого размера национальных выборок, и территориальных образований.



ключевые темы, структуру и противоречия дисциплины на следующие двадцать с лишним лет» (Peterson, 2003: 128).

Идеи Хофстеде повлияли не только на академическое сообщество. В составленном *Wall Street Journal* в 2008 году списке самых выдающихся бизнес-мыслителей XX века он оказался на 16-м месте, выше Джека Уэлча и Тома Питерса (White, 2008). Сам Хофстеде публично заявлял, что к 2010 году было продано около полумиллиона экземпляров его книги «*Культуры и организации: ментальное программное обеспечение*» (Hofstede, 1991). К настоящему моменту это число, вероятно, удвоилось, так как указанная работа была переведена на 25 языков и новые ее издания продолжают появляться по всему миру. К началу марта 2023 года общее число цитирований Хофстеде в Google Scholar перевалило за 230 000 — это почти в два раза больше, чем у других наиболее заметных исследователей в сфере сравнительного изучения культур.

Чем Хофстеде обязан своей популярности? Его основной заслугой считается «распаковка культуры» (*unpackaging of culture*) (Kurman, Dan, 2007; Singelis et al., 1999). До Хофстеде культура понималась как единый цельный объект, не поддающийся осмысленному анализу. Он же предложил разбить этот объект на отдельные составные части — измерения культуры (*dimensions of culture*). С точки зрения важности для кросс-культурной психологии эта идея оказалось сравнимой с такими научными достижениями, как обнаружение того, что атомы не являются неделимыми, а состоят из элементарных частиц; что свет не монохромен, а распадается на несколько цветов; что информацию можно кодировать и передавать с помощью последовательностей нулей и единиц. Разумеется, великие открытия никогда не оказываются результатом деятельности исключительно одного человека, и Хофстеде опирался на работы других авторов, пытавшихся до него выделить отдельные компоненты культуры. Однако эти более ранние исследования не смогли выявить какие-либо интересные или убедительные паттерны. Хотя Хофстеде и не является автором подхода к изучению культуры как набора частных измерений, его вклад в развитие и популяризацию этого подхода настолько велик, что сегодня имя Хофстеде прочно ассоциируется с ним<sup>3</sup>.

На русском языке описание оригинальной теории Хофстеде и некоторых ее последующих редакций можно найти в ряде публикаций (Латова, Латов, 2001; Латова, 2016, 2017; Данилова, Тарарухина, 2003; Безуглова, 2008; Науменко, Морозова, 2018; Хофстеде, 2014), хотя нельзя не отметить, что его идеи в меньшей степени знакомы отечественному читателю по сравнению с творчеством других ученых, внесших значительный вклад в сравнительные исследования культуры. В первую очередь здесь следует вспомнить Рональда Инглхарта и Кристиана Вельцеля (Инглхарт, Вельцель, 2011; Вельцель, 2018; Инглхарт, 2018), а также Шалом Шварца (напр.: Шварц, 2008; Магун, Руднев, 2008, 2010; Зинькина и др., 2018). Характер-

---

3. Похожим образом Чарльз Дарвин, не бывший ни первым, ни единственным ученым, выдвигавшим идею эволюции видов, оказался человеком, который смог сформулировать ее наиболее убедительным образом.

но, что ни одна книга Хофстеде до сих пор не переведена на русский (в отличие от многих других языков мира). Кроме того, важные новые результаты, полученные за последние два десятилетия, и основанные на них модификации исходных построений Хофстеде в упомянутых выше текстах практически не отражены.

Данная работа призвана восполнить указанный пробел. Основная ее цель — представить подробный обзор развития модели Хофстеде от ее исходного варианта, изложенного в «*Последствиях культуры*», до последней на данный момент версии, опирающейся на исследования Михаила Минкова, многолетнего соавтора знаменитого голландского социолога. Заявленная цель достигается через реализацию следующих задач: (1) представление оригинальной теории Хофстеде и ее основных слабых мест; (2) детальное изложение двухмерной модели межкультурных различий Минкова-Хофстеде, основанной на результатах большого сравнительного исследования компаний *MediaCom* и *Hofstede Insights*; и (3) обсуждение взаимосвязей между культурными измерениями Минкова-Хофстеде и объективными поведенческими, историко-географическими и экономическими различиями между современными обществами.

## Основные положения модели Хофстеде и ее критика

Измерения культуры могут быть представлены как геометрические или географические оси: Север-Юг и Восток-Запад. Зная координаты конкретной страны по этим измерениям, можно поместить ее на карту и сравнить ее позицию с позициями других стран. Каждое измерение представляет собой группу взаимосвязанных характеристик. Изначально Хофстеде (1980) предложил четыре измерения.

1. *Индивидуализм — коллективизм (Individualism — Collectivism)*. Это измерение отражает, насколько люди в стране обособлены от или, наоборот, привязаны к своему ближайшему окружению, то есть семье и друзьям — или племени/клану, если такие группы существуют в данном обществе.
2. *Дистанция власти (Power Distance)*. Это измерение показывает, насколько обществом поддерживаются социальные иерархии, в которых представители социальных верхов обладают гораздо большей властью, чем обычные люди.
3. *Избегание неопределенности (Uncertainty Avoidance)*. Это измерение фиксирует, насколько характерными являются для данного общества тревога и страх перед неизвестным будущим и насколько сильно его члены стремятся сделать это будущее более предсказуемым через установление строгих правил и законов.
4. *Маскулинность — феминность<sup>4</sup> (Masculinity — Femininity)*. Это измерение характеризует соотношение между «мужскими» (соревновательность

---

4. На русский язык также иногда переводится как «мужественность — женственность» (Безуглова, 2008; Науменко, Морозова, 2018).

и достижение успеха) и «женскими» (хорошие отношения с окружающими) ценностями.

Впоследствии Хофстеде, основываясь на работах канадского психолога Майкла Бонда (*The Chinese Culture Connection*, 1987), добавил пятое измерение, первоначально получившее название «конфуцианский [рабочий] динамизм» (*Confucian Work Dynamism*). Однако позже, полагая этот термин слишком непонятным, Хофстеде предложил альтернативный вариант — «долгосрочная ориентация» (*Long-Term Orientation*). Данное измерение отражает противопоставление приоритета инвестиций в будущее посредством накоплений и вложений в получение современного образования и повышенного внимания к настоящему и прошлому, проявляющегося в акцентировании важности традиций и противлении личностным и социальным переменам.

Наконец, уже в 2000-х годах Хофстеде дополнил свою модель шестым измерением, предложенным его соавтором Михаилом Минковым под обозначением «снисходительность — ограничение» (*Indulgence — Restraint*). «Снисходительные» общества позволяют своим членам жить так, как они хотят и считают нужным, в особенности в сфере досуга. В то же время в «ограничивающих» культурах индивидуальная свобода подавляется, в результате чего их представители чувствуют себя менее счастливыми.

Несмотря на в целом восторженное принятие работ Хофстеде в академическом мире, а также в сообществе международных бизнес-консультантов и управляющих транснациональных компаний, у его концепции появились и оппоненты, наиболее известными из которых стали Брендан Макссуини (McSweeney, 2002) и Рейчел Баскервиль (Baskerville, 2003). К сожалению, эти авторы, как и другие скептики, в своей критике не опирались на эмпирические свидетельства. Тем не менее Макссуини первым озвучил важный вопрос: насколько оправданным является тезис Хофстеде о том, что сравнение персонала национальных подразделений международных компаний тождественно сравнению всех жителей этих стран? Другими словами, если в ценностях и убеждениях японских и российских сотрудников *Coca-Cola* наблюдаются определенные различия, можно ли утверждать, что такие же различия будут обнаружены при сравнении репрезентативных выборок населения этих двух стран? Теория Хофстеде основывалась на рискованном предположении о том, что ответ на указанный вопрос является утвердительным. Макссуини же отстаивал противоположную точку зрения. Академическое сообщество в целом заняло сторону Хофстеде и, как стало очевидным к настоящему времени, «поставило не на ту лошадь».

Измерения Хофстеде десятилетиями использовались в академических исследованиях и прикладной аналитике в самых разнообразных сферах: социология, политология, психология, экономика, информатика, эпидемиология, финансы, образование, туризм, маркетинг, государственное управление, бухгалтерское дело, потребительское поведение и даже совсем, казалось бы, неожиданные области вроде менеджмента в сфере строительства, виноделия и пивоварения. Пора-

зительно, но при этом долгое время никто не пытался повторить его исследование и проверить, насколько воспроизводимыми окажутся исходные результаты. Единственная подобная работа, опубликованная в рецензируемом журнале (Merritt, 2000), вышла только в 2000 году и основывалась на небольшой выборке стран и данных по крайне нерепрезентативному срезу населения — пилотам авиакомпаний. Она подтвердила наличие измерения индивидуализм — коллективизм, но эмпирических свидетельств в пользу существования измерений избегания неопределенности и маскулинности — феминности обнаружить не удалось, а для *дистанции власти* они были противоречивыми. Хотя эта статья была опубликована в «Журнале кросс-культурной психологии» (*Journal of Cross-Cultural Psychology*), ведущем научном издании по сравнительным социальным исследованиям, она никак не повлияла на практическую популярность измерений Хофстеде, включая наиболее проблематичные из них. Тем не менее в 2012 году другие авторы (Taras, Steel, Kirkman, 2012) подтвердили выводы Эшли Мерритт: им также не удалось воспроизвести измерения *избегания неопределенности* и *маскулинности — феминности*. Относительно *дистанции власти* в академическом сообществе постепенно складывался консенсус, что это измерение не является независимым, а представляет собой лишь специфический компонент индивидуализма (Gelfand et al., 2004; Minkov et al., 2017; van de Vliert, 2020).

Тем временем в литературе начали появляться альтернативные модели культуры (House et al., 2004; Inglehart, Baker, 2000; Schwartz, 1994; Шварц, 2008), впрочем, тоже основанные на методологическом подходе Хофстеде. Это заставляло предположить, что подход, в котором страны использовались в качестве основной единицы анализа, являлся вполне адекватным — но не его практическое применение самим Хофстеде, равно как и сделанные последним содержательные выводы: ни одному исследователю так и не удалось убедительно продемонстрировать реальность измерений избегания неопределенности и маскулинности — феминности.

### **Исследование *MediaCom* и *Hofstede Insights***

В 2015 году международная медиакорпорация *MediaCom* проспонсировала масштабный проект по сбору данных в более чем пятидесяти странах мира, инициированный *Hofstede Insights* — голландско-финской консалтинговой компанией, специализирующейся в сфере кросс-культурного менеджмента и опирающейся в своей деятельности на модель культурных измерений Хофстеде. Основной целью этого проекта была проверка указанной модели на новом материале. Ключевую роль в реализации проекта сыграл Михаил Минков, болгарский лингвист и социальный психолог, многолетний соавтор Хофстеде. В частности, Минков отвечал за формирование вопросника, подбор стран-участников, определение параметров национальных выборок и анализ данных. Сами опросы в подавляющем большинстве стран (50 из 56) проводились исследовательской компанией *Lightspeed* (одним

из подразделений *Kantar*) на основе национальных репрезентативных потребительских панелей. В шести странах сбором данных занимались местные подрядчики. Итоговый размер объединенной выборки составил почти 53 000 человек; использованная анкета включала 108 содержательных вопросов по таким темам, как (а) ценности, установки и личностные черты (операционализованные согласно известной модели «Большая пятерка»: McCrae, Costa, 2008); (б) потребительские предпочтения и мотивы принятия решения о покупке тех или иных товаров и услуг; а также (в) стандартный социально-демографический блок. С точки зрения проверки модели Хофстеде наибольший интерес представляли следующие три группы вопросов:

1. Вопросы о том, как родители воспитывают своих детей и какие ценности пытаются им привить. Например, поощряют ли щедрость или, напротив, настаивают на том, что важно уметь бережно обращаться с деньгами? Учат ли скрывать негативные эмоции или выражать их открыто? Стыдят и ругают за неудачи либо советуют не принимать их близко к сердцу? (точные формулировки и результаты анализа данных соответствующего блока приводятся в работе: Minkov, Dutt et al., 2018).
2. Вопросы о том, как люди распоряжались бы деньгами, если бы были богатыми: например, откладывали в виде сбережений, инвестировали в бизнес или просто тратили большую часть? И если бы тратили, на что именно? (см. детали в: Minkov et al., 2019).
3. Вопросы о личных характеристиках респондентов. Например, нравится ли им помогать другим; насколько они религиозны; предпочитают избегать конфликтов или готовы отстаивать свои права; хотят ли обладать властью и быть известными; и т. д. (см. детали в: Minkov et al., 2017; Minkov, Dutt et al., 2018).

Большая часть вопросов, вошедших в анкету, изначально была разработана для фиксирования оригинальных культурных измерений Хофстеде. Впрочем, некоторые были заимствованы из работ Шломо Шварца (2008; см. также: Schwartz, 2006) и других авторов, чтобы попытаться отразить как можно больше межстрановых отличий по разнообразным культурным переменным.

## Проблемные измерения

Исследование *MediaCom* и *Hofstede Insights* отчетливо показало, что выделение избегания неопределенности в отдельное измерение культуры является необоснованным. Как утверждает Минков (Minkov, 2018), такой результат обусловлен не плохим качеством данных или культурными изменениями, произошедшими за полвека с момента первых публикаций Хофстеде по теме. Если бы дело заключалось только в качестве данных, то выявленные в ходе анализа паттерны были бы бессмысленными и лишеными какой-либо теоретической логики. Однако обнаруженные на данных *MediaCom* измерения вполне поддавались интерпретации —

просто эта интерпретация не совпадала с предсказаниями шестимерной модели Хофстеде.

Ссылки на глобальные культурные изменения, случившиеся между началом 1970-х и серединой 2010-х годов, также вряд ли способны объяснить исчезновение измерения избегания неопределенности. Согласно Хофстеде, в обществах с высоким средним уровнем тревожности (или невротизма — в терминах теории «Большой пятерки») существует массовый запрос на снижение интенсивности этой негативной эмоции, чему может способствовать внедрение строгих правил и норм, регулирующих индивидуальное поведение в различных сферах. Более того, зачастую такой запрос на личностном уровне ориентирован на ограничение свободы других членов социума, а не самого конкретного индивида; перефразируя Сартра, эту интенцию можно выразить как «зло — это другие [...а не я]».

Однако анализ результатов исследования *MediaCom* показывает, что, судя по всему, тревога, вызываемая неопределенностью, и запрос на строгие правила и контроль не связаны между собой на страновом уровне. При этом полученные в ходе национальных опросов оценки среднего уровня тревоги очень тесно коррелировали с результатами, обнаруженными ранее другими авторами с использованием значительного числа альтернативных метрик, так что валидность соответствующего инструмента не вызывает сомнений.

Результаты касательно распространенности потребности в социальном контроле также поддаются вполне осмысленной интерпретации: в богатых индивидуалистических обществах, особенно на севере и западе Европы, этот показатель находится на низком уровне. Максимальных значений он достигает в различных развивающихся странах, в первую очередь — в Африке и Южной Азии, где преобладают ценности коллективизма. При этом одной из главных отличительных черт индивидуализма оказывается представление о том, что люди в целом являются благонамеренными моральными агентами и поэтому не склонны злоупотреблять своей свободой. Для коллективистских обществ характерно противоположное убеждение: люди по природе своей корыстны и эгоистичны, так что единственными результатами отсутствия строгих поведенческих ограничений могут быть только полный социальный коллапс и хаос в духе гоббсовской *bellum omnium contra omnes*.

Подобный взгляд явно возник раньше 1970 года: практически все известные традиционные общества — как современные, так и исторические — жестко контролировали своих членов в плане их сексуального поведения, потребления пищи и алкоголя, манеры одеваться и многих других повседневных практик. Очевидно, что в большинстве этих обществ запрос на регулирующие нормы не имел и не имеет ничего общего со средним уровнем тревожности. Таким образом, избегание неопределенности в версии Хофстеде состоит из двух на самом деле не связанных между собой элементов: межстрановые различия в уровнях тревожности и потребности в строгих правилах нельзя объяснить одними и теми же причинами.

Другим культурным измерением, которое не удалось воспроизвести на данных *MediaCom*, оказалось маскулинность — феминность. Ни один из использованных в анализе методов снижения размерности не показал ничего, что можно было бы интерпретировать в терминах, использованных Хофстеде для описания этого измерения. Как и в случае с избеганием неопределенности, вряд ли причиной этого является недостаточное качество данных: на основании соответствующих вопросов анкеты удалось получить логичные и легко объяснимые географические паттерны, которые к тому же согласовывались с результатами других авторов, использовавших иные теоретические традиции (Schwartz, 1994; Шварц, 2008), — но не с теорией самого Хофстеде.

Один из основных аргументов в защиту оригинальной модели Хофстеде, выдвинутый в ответ на эти результаты, заключался в том, что культурные измерения следовало фиксировать с помощью вопросов о согласии не с утверждениями, описывающими общие характеристики, мнения и установки респондентов (например, «Я обычно много нервничаю»), как в исследовании *MediaCom*, а с похожими утверждениями, но касающимися трудовой деятельности («Я испытываю стресс во время работы»), как это делал сам Хофстеде. Однако анализ межстрановых опросов Международной программы социальных исследований (*International Social Survey Programme — ISSP*) и Всемирного исследования ценностей (*World Values Survey — WVS*), некоторые из которых включали индикаторы, отражающие самочувствие респондентов на рабочем месте и близкие к тем, что использовал Хофстеде, также не позволил воспроизвести исходную шестимерную модель культуры (Minkov, Kaasa, 2021a; Minkov, 2018).

### Обновленная модель культуры Минкова-Хофстеде

Неудачные попытки воспроизвести два упомянутых измерения модели культуры Хофстеде не означают, что сама эта модель — не говоря уже о методологии, использованной для ее построения, — является бесполезной или некорректной. Напротив, как показывают результаты анализа, представленные в работе Минкова (2018), обновленный ее вариант, в котором убраны проблемные элементы, а оставшиеся сгруппированы вокруг двух ключевых осей, обозначаемых как *индивидуализм — коллективизм* и *монументализм (постоянство) — гибкость (изменчивость)* (*Monumentalism — Flexibility*), позволяет в той или иной степени объяснить практически все основные культурные различия между современными государствами и даже между внутристрановыми регионами в некоторых обществах с высоким уровнем культурного разнообразия (например, США или Россия).

Более того, все валидные (то есть воспроизведенные в многочисленных исследованиях и коррелирующие с объективными экономическими, социальными, политическими и географическими межстрановыми различиями) измерения основных моделей культуры, альтернативных предложенному Минковым

варианту теории Хофстеде, сводятся к той же подлежащей двумерной структуре — разве что ориентация осей в пространстве у разных авторов отличается (Fog, 2021; Fog, 2023; Kaasa, Minkov, 2022). Примечательно, что оси всех этих моделей тесно связаны, по крайней мере статистически, с измерениями, на основе которых построена знаменитая культурная карта мира Инглхарта-Вельцеля (Inglehart, Welzel, 2005; Инглхарт, Вельцель, 2011; World Values Survey Association, 2023). Модель Минкова-Хофстеде представляет собой инвертированный вариант последней, слегка сдвинутый по часовой стрелке. Ее вертикальная ось (индивидуализм — коллективизм) примерно соответствует диагонали карты Инглхарта-Вельцеля. В свою очередь, горизонтальная ось Минкова-Хофстеде (монументализм — гибкость) — это повернутое на девяносто градусов вправо измерение традиционные — светские ценности; в обоих случаях в качестве полюсов выступают латиноамериканские (преимущественно традиционалистские и монументальные) и восточноазиатские (преимущественно секулярные и гибкие) общества<sup>5</sup>.

При этом сам Инглхарт никогда не полемизировал и не взаимодействовал с Хофстеде, а тематика и методология его исследований вдохновлялась совершенно иными вопросами и теориями. Если, начав в разных точках и независимо друг от друга, эти ученые пришли к крайне похожим результатам, то с большой долей вероятности открытая ими структура является корректным описанием ключевых культурных сходств и различий современных обществ.

На рисунке 1 показана схематическая версия культурной карты мира Минкова-Хофстеде, основанная на двух недавних публикациях, в которых анализировались самоописания (*self-descriptions*; то есть собственные высказывания людей о том, насколько у них выражены те или иные личностные черты и поведенческие привычки) более чем 50 000 респондентов из 56 стран мира (Minkov, 2018: 252; Minkov, Kaasa, 2021b: 240, 257). Крайне похожие по своей структуре карты были получены и с использованием культурных индикаторов других типов (Minkov, Dutt et al., 2018: 239; Minkov et al., 2019: 105).

Эта карта сильно напоминает географическую карту мира. Бросаются в глаза только два заметных отличия: (1) на культурной карте Минкова-Хофстеде отсутствуют океаны и (2) англоговорящие страны не разбросаны по различным регионам земного шара, как это имеет место в действительности, а образуют единую группу в рамках европейского макрокластера. Последнее вполне естественно, так как жителям большинства бывших англоязычных переселенческих колоний (США, Канада, Новая Зеландия, Австралия) в целом удалось сохранить культурное наследие метрополии.

---

5. Более раннее обозначение этого типа ценностей — секулярно-рациональные (*secular-rational*).





Рис. 1. Культурная карта мира Минкова-Хофстеде

Рисунок 2 суммирует элементы двух основных осей карты Минкова-Хофстеде. Прямоугольники, закрашенные одним и тем же цветом, обозначают противоположные полюса отдельных составляющих этих измерений. Например, коллективистские культуры характеризуются высоким уровнем nepoтизма (прямоугольник коричневого цвета снизу справа на вертикальной оси), то есть кумовства или — в более общем смысле — нормальности дискриминации в различных сферах представителей групп, внешних по отношению к группе индивида — семье, роду/клану, этносу или территориальному сообществу. Члены индивидуалистических сообществ, напротив, полагают, что все люди пользуются равными правами и поэтому дискриминация по каким-либо признакам групповой принадлежности при распределении общественных благ и во всех прочих областях недопустима.

Две нижеследующие таблицы более подробно раскрывают смысл терминов, представленных на рисунке 2: таблица 1 объясняет частные компоненты измерения индивидуализм — коллективизм, а таблица 2 — измерения монументализм — гибкость.

Следует отметить, что в литературе описан ряд культурных измерений, которые получены на других данных и/или основываются на иных теоретических предпосылках, но при этом содержательно и статистически тесно связаны с индивидуализмом — коллективизмом, вертикальной осью карты Минкова-Хофстеде. Наиболее известные из таких измерений — это укорененность/принадлежность — автономия Шалом Шварца (*embeddedness versus autonomy*: Schwartz, 1994, 2006, 2014; Шварц, 2008) и эмансипативные ценности Кристиана Вельцеля (*emancipative values*: Welzel, 2013; Вельцель, 2018), представляющие собой усовершенствованный

вариант концепции ценностей самовыражения Рональда Инглхарта (Inglehart, Baker, 2000; Inglehart, Welzel, 2005; Инглхарт, Вельцель, 2011)<sup>6</sup>.

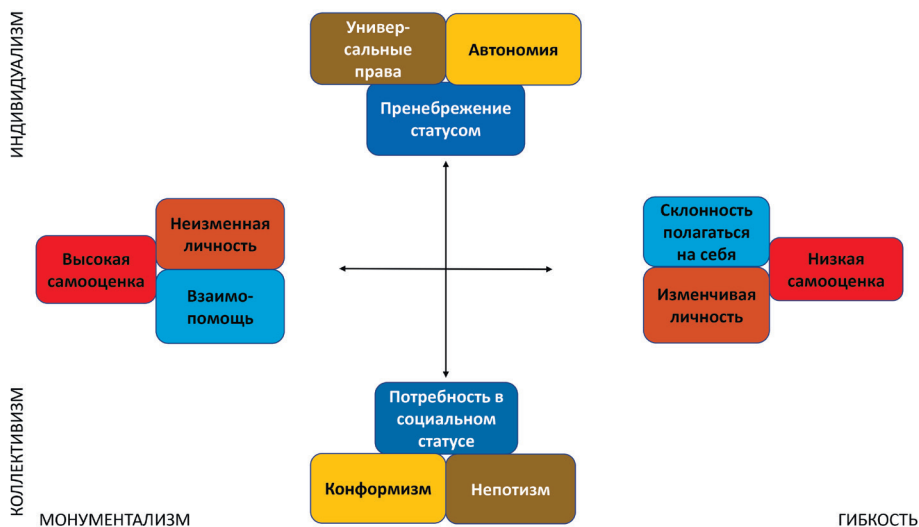


Рис. 2. Основные элементы измерений индивидуализм — коллективизм и гибкость — монументализм

Таблица 1. Главные отличительные черты коллективизма и индивидуализма

Коллективизм (Африка, Арабский мир, Южная Азия, тропическая часть Южной Америки)	Индивидуализм (северо-запад Европы, англоговорящие страны)
<i>Конформизм (conformism):</i> нормой считается следование традициям, принятым в обществе, подчинение людям, имеющим более высокий статус, и избегание конфликтов с ними. Индивид не должен отличаться от других членов группы.	<i>Автономия (autonomy):</i> люди пользуются определенной свободой и могут сами решать, имеет ли смысл следовать конкретной общественной норме или нет. Индивид может отличаться от других членов группы (например, гомосексуальность полагается допустимой), если это не несет никому вреда. При необходимости индивиды готовы бороться за свои права, даже если это подразумевает конфликт с представителями власти.

6. Все три сильно коррелируют между собой и могут рассматриваться как варианты некоторого фундаментального культурного измерения, отражающего межстрановую вариацию в уровне социально-экономического развития (Kaasa, Minkov, 2022; Fog, 2021, 2023). Эмпирические и теоретические сходства и различия моделей национальной культуры Минкова-Хофстеде, Инглхарта-Вельцеля, Шварца и других авторов детально разбираются в ряде недавних англо- и русскоязычных публикаций (Dobewall, Rudnev, 2014; Maleki, de Jong, 2014; Beugelsdijk, Welzel, 2018; Fog, 2021, Fog, 2023; Kaasa, 2021; Kaasa, Minkov, 2022; Kaasa, Welzel, 2023; Зинькина и др., 2018). Поэтому в данной работе, имеющей своей целью обзор исторического развития и современного состояния концепции Минкова-Хофстеде, а не ее сравнение с другими популярными теориями в кросс-культурных исследованиях, этот вопрос подробно не обсуждается.

<p><i>Потребность в статусе (need for status) или высоком социальном положении (social ascendancy):</i> так как богатые, известные и занимающие высокое общественное положение властью люди зачастую находятся над законом и имеют возможность делать то, что не позволено менее привилегированному большинству, материальный достаток, слава и власть являются значимыми ценностями.</p>	<p><i>Пренебрежение статусом (status insignificant):</i> социальный статус не дает особых привилегий, так как в условиях верховенства закона права каждого члена общества защищены. Поэтому достижение высокого статуса не является столь важной жизненной целью.</p>
<p><i>Непотизм/исключение «чужаков» (nepotism/exclusionism):</i> люди склонны предоставлять приоритет/привилегии друзьям, родственникам или землякам (а также мужчинам, а не женщинам) в различных социальных, экономических и политических взаимодействиях.</p>	<p><i>Универсальные права:</i> практика воспринимать и оценивать людей в первую очередь через их принадлежность к той или иной социальной группе проявляется слабо или вообще отсутствует. Все пользуются более или менее равными правами и возможностями.</p>

Основным фактором, порождающим корреляцию между конформизмом, потребностью в статусе и непотизмом, является бедность. Когда общество испытывает дефицит экономических (в широком смысле слова) ресурсов, последние зачастую присваиваются элитными группами, обеспечивающими подчинение и лояльность остального населения, предлагая в обмен защиту от разнообразных физических угроз. Подобные социумы можно сравнить с семьей, где родители принимают все решения, а дети послушно следуют этим решениям (отсюда происходит конформизм), однако взамен рассчитывают на заботу и поддержку. Между тем уровень помощи со стороны элит зачастую является недостаточным; при этом представители социальной верхушки могут пользоваться благами, недоступными простым людям, что способствует распространению представлений о важности достижения высокого общественного статуса, проявляющегося прежде всего в таких аспектах, как богатство, власть и известность. Наконец, в условиях, когда материальных ресурсов недостаточно, чтобы в приемлемой степени удовлетворить потребности всех, «свои» (родственники, друзья, земляки, представители той же этнической группы или конфессии) пользуются преимуществами при распределении благ, подконтрольных конкретному индивиду или группе (непотизм). По мере роста общественного благосостояния такие практики становятся менее распространенными: растет уровень индивидуальной автономии в плане принятия решений; достижение высокого статуса уже не является важнейшей жизненной целью для многих; восприятие людей как в первую очередь представителей той или иной группы, а не самодостаточных независимых личностей, начинает рассматриваться как анахронизм и даже подвергается моральному осуждению (здесь можно вспомнить многочисленные недавние публичные скандалы и попытки «отменить» известных фигур за проявление различных «-измов» и «-фобий»).

Горизонтальная ось карты, представленной на рисунке 1, исторически восходит к измерению, впервые выявленному коллективом исследователей, известным как

*The Chinese Culture Connection* (1987). Впоследствии это измерение удалось воспроизвести на материалах Всемирного исследования ценностей (Minkov, Hofstede, 2012) и упомянутого выше проекта *MediaCom* (Minkov, Bond et al., 2018). Ранее оно было известно под названиями «конфуцианский [рабочий] динамизм» (*Confucian [Work] Dynamism*), «долгосрочная ориентация» (*Long-Term Orientation*) или попросту «пятое измерение Хофстеде» (как уже было упомянуто выше, в модели Инглхарта-Вельцеля этому измерению примерно соответствует ось традиционные — светские ценности<sup>7</sup>), однако позже Минков, Бонд и соавторы предложили обозначение «монументализм — гибкость» (*Monumentalism versus Flexibility*). Термин «гибкость» в этом варианте отсылает к адаптивности жителей восточноазиатских обществ, их способности подстраиваться под часто меняющиеся жизненные условия, постоянно развиваться и меняться самим. В свою очередь, «монументализм» — это метафора неизменной, стабильной личности, удовлетворенной и гордой собой и не склонной прогибаться под обстоятельства, отсылающая к величественности и долговечности памятников, а также их физической однородности (и внутри, и снаружи монументы, как правило, сделаны из одного и того же материала).

Таблица 2. Главные отличительные черты монументализма и гибкости

Монументализм (Латинская Америка, Африка, Арабский мир)	Гибкость (Восточная Азия)
<i>Высокая самооценка (high self-esteem):</i> индивидам свойственно позитивное восприятие себя; они зачастую убеждены в том, что им, в общем-то, нечего улучшать и развивать в себе.	<i>Низкая самооценка (low self-esteem):</i> в «гибких» обществах распространено представление о том, что человек по природе своей несовершенен. Тем не менее любой имеет возможность стать лучше, чем он есть, в основном за счет образования и усердной работы.
<i>Неизменная/стабильная личность (invariant self):</i> людям в таких культурах присущи глубоко укорененные и неизменные ценности, направляющие их поведение. Предполагается, что каждый должен оставаться собой в любых условиях и не пытаться адаптироваться под изменяющиеся обстоятельства.	<i>Изменчивая личность (variable self):</i> конкретные поступки человека обуславливаются не столько его фундаментальными ценностями, сколько сложившимися внешними условиями. Одобряется практика подражания тем, кто преуспевает в той или иной сфере деятельности (учеба, спорт, работа и т. д.).

7. Хотя эти измерения вдохновляются разными теоретическими традициями и основываются на различных операционализациях и источниках данных, все же и ось монументализм — гибкость, и ось традиционные — светские ценности так или иначе отражают то, насколько распространенным в конкретных обществах является представление о важности сохранения существующего порядка вещей. Вероятно, именно этим объясняется высокая корреляция между ними (Kaasa, Minkov, 2022; Fog, 2021, 2023). В модели национальной культуры Шварца (Schwartz, 1994, 2006, 2014; Шварц, 2008) монументализму концептуально близки полюса гармонии (*harmony*) и равноправия/эгалитарности (*egalitarianism*), а гибкости — полюса власти/мастерства (*mastery*) и иерархии (*hierarchy*). Однако эмпирически эти измерения Шварца гораздо сильнее связаны с индивидуализмом — коллективизмом (Kaasa, Minkov, 2022: 143).

<p><i>Взаимопомощь (mutual help)</i>: нормально и даже желательно помогать другим членам сообщества и делиться с ними доступными ресурсами.</p>	<p><i>Склонность полагаться на себя (self-reliance)</i>: считается, что каждый должен быть способен позаботиться о себе сам, не ожидая помощи от других.</p>
---	--

Монументалистские ориентации преобладают в обществах, которые в прошлом, до эпохи Великих географических открытий, характеризовались простотой экономического и политического уклада. На большей части территорий, занимаемых сегодня этими странами, государственные образования до прихода колонизаторов отсутствовали как таковые либо значительная часть населения де-факто жила вне контроля государственных институтов (как, например, бедуинские племена в Северной Африке и на Ближнем Востоке при Халифатах и затем Османской империи), а преобладающими типами хозяйственной деятельности были кочевое скотоводство или переложное земледелие. В подобных условиях личностное развитие, в частности получение знаний, выходящих за пределы повседневного опыта, не дает особых преимуществ. Кроме того, выжить в одиночку в такой среде невозможно, в силу чего ключевое значение приобретает включенность в сети взаимной поддержки, участники которых обмениваются ресурсами и оказывают друг другу разнообразные услуги. Члены сообщества, которым удается достичь центрального положения в этих сетях, пользуются всеобщим уважением и авторитетом, что стимулирует их самооценку.

В тех же социумах, где государственные институты появились рано, а экономика исторически основывалась на комплексных видах хозяйственной деятельности, таких как выращивание риса, культурная эволюция шла в другом направлении. Рисоводство — это самый трудоемкий тип традиционной экономики, требующий от вовлеченных в него индивидов строгого самоконтроля и подавления естественных человеческих потребностей в досуге и развлечениях, а также способности работать в тесной связке с другими людьми и проявлять гибкость и умение подстраиваться, чтобы избегать конфликтов и поддерживать гармоничную атмосферу в группе. При этом наличие развитых бюрократических структур, необходимых для эффективной организации хозяйственных процессов в сложной экономике, предлагает доступные каналы восходящей вертикальной мобильности для тех, кто способен к обучению и освоению новых навыков.

Две ключевых оси культурной карты Минкова-Хофстеде основываются на преобладающих типах самоописаний в различных современных обществах. Однако они также прослеживаются и в том, какие ценности и качества родители в разных странах считают важным воспитывать в своих детях (Minkov, Dutt et al., 2018). Рисунок 3 показывает<sup>8</sup>, что в коллективистских социумах детей учат следовать традиционным нормам (интересно, что это не всегда распространяется на нормы, появившиеся недавно и/или пришедшие извне, например, правила дорожного

8. Как и на рисунке 2, прямоугольники одинаковых цветов обозначают содержательно противоположные друг другу родительские предпочтения.

движения), быть скромными и стараться избегать конфликтов, а также помнить о том, что будущее таит в себе значительную неопределенность, и, следовательно, надо быть бережливым, уметь откладывать на потом. В обществах, находящихся на индивидуалистическом полюсе этой оси, дети обычно получают от родителей советы противоположного толка.

В свою очередь, в культурах, ценящих гибкость, подрастающим поколениям прививаются самоконтроль и своеобразная «двойственность» (*duality*), способность скрывать свои негативные эмоции и подавлять естественные желания. Другими важными качествами, с точки зрения родителей, в таких обществах являются готовность постоянно меняться и развиваться за счет попыток перенять опыт и поведенческие практики людей, достигнувших успеха в тех или иных сферах, а также адаптивность, под которой прежде всего подразумевается способность отказываться от своих обязательств и планов в том случае, когда они выглядят очевидно невыполнимыми. В то же время считается, что потерпеть неудачу в каком-либо предприятии постыдно и заслуживает порицания. В странах с преобладанием монументалистской культуры, наоборот, ценятся прямота, открытость и постоянство.

Некоторые родительские представления о качествах, которые они бы хотели видеть у своих детей, не могут быть однозначно отнесены к конкретной оси и поэтому помещены примерно на одинаковом расстоянии от соответствующих полюсов. Например, и в коллективистских, и в монументалистских социумах родители часто считают важным бескорыстно помогать другим<sup>9</sup>, уметь делиться деньгами, быть великодушным, а также относиться ко всем одинаково. Впрочем, последний сюжет отражает скорее ценность постоянства личности (то есть умения поступать одинаковым образом в различных, но структурно схожих ситуациях, в том числе при взаимодействии с разными людьми), нежели неприятие nepotизма и кумовства (которые как раз свойственны обществам с преобладанием коллективистских взглядов).

Кроме того, материалы исследования *MediaCom* показывают, что ключевые ценности, характеризующие два фундаментальных измерения культуры, проявляются и в финансовых приоритетах людей (Minkov, Dutt et al., 2019). Рисунок 4 показывает, на что люди из разных обществ тратили бы деньги, если были неограниченно богатыми; размер прямоугольников, соответствующих конкретным вариантам трат, приблизительно показывает относительную важность этих вариантов для социумов, находящихся на различных концах осей индивидуализма — коллективизма и монументализма — гибкости.

---

9. Впрочем, и в монументалистских обществах оказание любой услуги обычно подразумевает ответную любезность в какой-то момент в будущем — сродни тому, как это описано в обширной литературе об экономике дара.

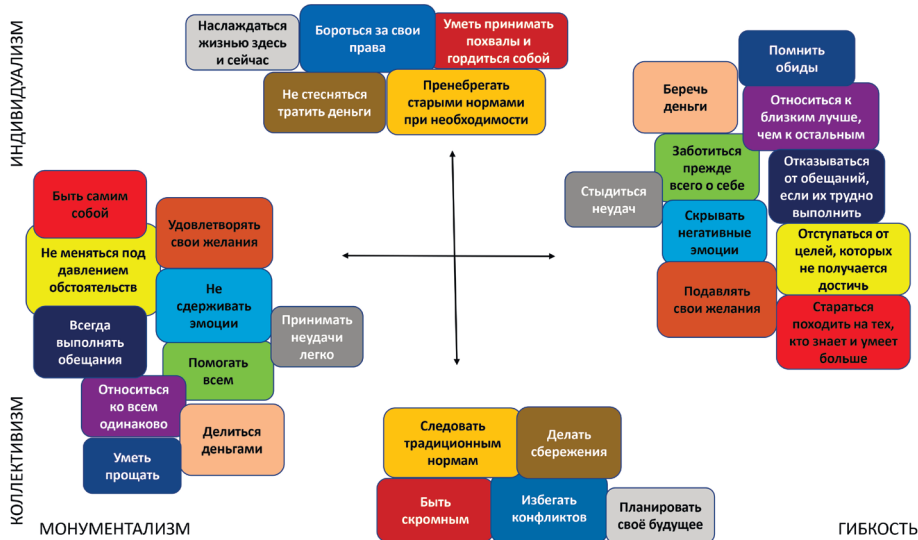


Рис. 3. Представления родителей о качествах, которые надо воспитывать в детях, ассоциирующиеся с межстрановыми культурными различиями

Так, жители стран, в которых распространены индивидуалистические установки, предпочли бы расходувать излишки своего бюджета на путешествия или на поддержку природоохранной деятельности, тогда как в коллективистских обществах намного чаще выбирают опцию пожертвований религиозным организациям. Там, где преобладают ценности гибкости, популярно демонстративное потребление (приобретение предметов роскоши; устройство эффектных, но затратных публичных мероприятий — например, свадеб), наглядно свидетельствующее окружающим о богатстве и влиятельности человека и тем самым повышающее традиционно низкую в таких обществах самооценку. Благотворительность в такой культурной среде относительно редка — так как нормой считается полагаться на самого себя и не ждать помощи от других. К инвестированию также относятся настороженно, потому что оно связано с попытками предугадать принципиально неопределенное будущее и, соответственно, рассматривается как чересчур рискованная деятельность. В монументалистских культурах люди, напротив, готовы тратить деньги на помощь другим и вкладываться в различные активы, но при этом не особо склонны к показной бравате материальным достатком и успешностью.

### Взаимосвязь между субъективной и объективной культурой

Михаил Минков и Аннели Кааса (Minkov, Kaasa, 2021б) показали, что обновленная модель субъективной культуры Минкова-Хофстеде, основанная на самоописа-

ниях людей, живущих в различных странах, непосредственно соотносится с объективными социетальными различиями между современными государствами. Используя разнообразные индикаторы национального политического, социального и экономического развития, им удалось выявить два измерения объективной культуры, тесно коррелирующие с осями индивидуализма — коллективизма и монументализма — гибкости (рис. 5).



Рис. 4. Культурные различия в финансовых приоритетах



Рис. 5. Ключевые аспекты межстрановых различий в объективной культуре



Первое, складывающееся из таких показателей, как уровень гендерного равенства, верховенство закона, распространенность несчастных случаев на производстве и дорожно-транспортных происшествий, Минков и Кааса обозначили — заимствовав термин у Вельцеля (Welzel, 2013; Вельцель, 2018) — как «эмансипация/эмансипированность» (*Emancipation*). Это измерение можно рассматривать как объективный эквивалент индивидуализма — коллективизма, так как все эти поведенческие различия в общем и целом проистекают из различий в том, насколько важными жители конкретных стран считают индивидуальные права и потребности. В коллективистских обществах данный аспект является второстепенным, в силу чего в них распространены сексизм и коррупция, а законы и, шире, любые формальные правила зачастую не соблюдаются. Это в том числе способствует и росту числа инцидентов из-за нарушения техники безопасности (включая дорожные аварии) (см. также: Minkov, 2016).

Второе измерение объективной культуры, основными компонентами которого являются результаты стандартизованных математических тестов TIMSS<sup>10</sup> и PISA<sup>11</sup>, распространенность подростковых беременностей, родительского абсентеизма (доли детей, растущих без отца) и умышленных убийств, получило название «долгосрочная ориентация» — в честь одного из измерений Хофстеде (2001). Оно тесно связано с межстрановыми различиями по оси монументализм — гибкость, но его также можно интерпретировать в терминах теории жизненных стратегий (*life-history strategy theory*). Согласно одной из наиболее емких и точных формулировок данной теории,

«<...> “медленные” жизненные стратегии характеризуются установками, обращенными в будущее, относительно долгосрочным поведенческим фокусом, например, способностью откладывать удовольствие. Им <...> свойственна высокая степень вовлеченности родителей в процесс воспитания детей, число которых обычно является небольшим. “Быстрые” стратегии, наоборот, предполагают краткосрочную ориентацию и поощряют риск и агрессию, нацеленные на максимизацию выгод, которые можно получить здесь и сейчас, а также приоритизируют (количественный. — *Авт.*) репродуктивный успех» (Csathó, Birkás, 2018: 2).

В обществах, где продолжительность жизни невелика, а уровень неопределенности высок (например, в Тропической Африке), нормой являются быстрые жизненные стратегии. Детей заводят рано, зачастую даже в подростковом возрасте, — в противном случае число доживших до совершеннолетия может оказаться попросту недостаточным для поддержания численности населения, необходимой для выживания группы. Как правило, родители не слишком много вкладывают

---

10. Международное мониторинговое исследование качества школьного математического и естественнонаучного образования (*Trends in Mathematics and Science Study*).

11. Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся (*Programme for International Student Assessment*).

в процесс воспитания: риски того, что такая «инвестиция» не вернется, крайне высоки из-за значительного уровня детской смертности. Репродуктивная «ставка» делается не на качество, а на количество: постараться завести как можно больше детей в надежде на то, что кто-то из них выживет без особых усилий со стороны родителей. По этой же причине многие считают бессмысленными затраты на получение образования — оно может окупиться только в отдаленном и неопределенном будущем, до которого еще надо дожить. Участие в преступной деятельности зачастую рассматривается в качестве куда более быстрого способа добиться жизненного успеха.

В стабильной и безопасной обстановке, характерной для восточноазиатских и скандинавских стран, люди предпочитают медленные стратегии. Детей обычно заводят в сравнительно позднем возрасте и вкладывают значительные ресурсы в их воспитание и образование, а насильственная преступность распространена в незначительной степени.

Связующим элементом теории монументализма — гибкости и теории жизненных стратегий является то, что обе построены на противопоставлении краткосрочных и долгосрочных целей и выгод. В культурном плане это противопоставление проявляется в том, какая установка является преобладающей в обществе: быть самим собой и жить настоящим, удовлетворяя текущие потребности по максимуму, либо заботиться о будущем, подавляя сиюминутные желания и эмоции и пытаясь улучшить себя, чтобы добиться успеха в будущем<sup>12</sup>.

Важно отметить, что объективная культурная карта мира (Minkov, Kaasa, 2021b: 257; см. также: Minkov, Kaasa, 2022) практически в точности воспроизводит субъективную, представленную выше на рисунке 1. Достаточно заменить названия осей: «индивидуализм — коллективизм» на «низкий — высокий уровень эмансипации» и «монументализм — гибкость» на «краткосрочную — долгосрочную ориентацию». Единственным существенным отличием является положение кластера, соответствующего арабским странам: на карте объективной культуры по горизонтальной оси он находится сразу под Европой, тогда как на карте субъективной культуры — в левой части графика вместе с африканскими и латиноамериканскими обществами. Другими словами, в Арабском мире медленные жизненные стратегии распространены в несколько большей степени, чем в Африке и Латинской Америке, хотя по общему уровню монументализма эти макрорегионы похожи.

Интересно, что двухмерная структура, возможно, описывает не только межстрановые, но и субнациональные различия между регионами гетерогенных

---

12. Готовность к самоограничению, характерная для гибких обществ, может объяснять недавние достижения восточноазиатских государств в различных аспектах социально-экономического развития. В частности, имеются свидетельства в пользу того, что именно благодаря преобладанию «гибких» ориентаций эти страны в среднем были более успешными в плане противодействия пандемии COVID-19 (Li et al., 2022). Другим важным следствием культурных различий в сфере общественного здоровья является относительная распространенность ожирения: в социумах с высоким уровнем гибкости, в отличие от монументалистских обществ, людей с лишним весом довольно мало. Индивидуализм тоже может способствовать ожирению, но только среди мужчин (Akaliyski et al., 2022).

в культурном отношении государств. В частности, Минков и Кааса (2021b) показали, что измерения, соответствующие осям как субъективной, так и объективной культурных карт мира, обнаруживаются при анализе агрегированных опросных данных и социально-экономических статистических показателей по 50 американским штатам (см. рис. 6). Штаты, в которых выше уровень религиозности и в большей степени распространены консервативные установки по отношению к абортам и однополым бракам (то есть преобладают коллективистские установки), также характеризуются большей дискриминацией женщин и значительной смертностью в дорожно-транспортных происшествиях. В свою очередь, штаты с более низкой средней школьной успеваемостью демонстрируют и другие признаки преобладания быстрых жизненных стратегий/краткосрочных ориентаций: в них выше доля матерей-одиночек, а также чаще фиксируются подростковые беременности и умышленные убийства.

Чем объясняется вариация в распространенности культурных установок различных типов? На данный момент в литературе сложился консенсус относительно того, что ключевым фактором, определяющим положение на оси индивидуализма — коллективизма, является уровень экономического развития и материального благосостояния общества (Hofstede, 2001; Welzel, 2013). Жители более богатых стран находятся в относительно защищенном положении: им не требуется ежедневная поддержка окружения для физического выживания и обеспечения приемлемого уровня жизни, что дает большую свободу от давления традиционных норм. Также высказывались предположения о том, что распространению индивидуалистических ценностей могут способствовать определенные конфигурации устойчивых долгосрочных геоклиматических характеристик конкретных территорий, например, доступность больших объемов пресной воды в комбинации с относительно прохладным и влажным климатом, характерным для умеренных широт, в частности для Северной Европы, на протяжении последних нескольких тысяч лет (Welzel, 2013; Welzel et al., 2023; Silva et al., 2023; Вельцель, 2018).

Другая гипотеза увязывает культурные паттерны с исторически преобладавшим в той или иной местности типом сельскохозяйственной деятельности. Минков и Кааса (2021b) обнаружили, что индивидуалистические установки распространены в тех регионах, где вплоть до начала XX века доминирующей отраслью сельского хозяйства (согласно известной классификации Деруэнта Уиттлси: Whittlesey, 1936) было молочное животноводство (*dairy farming*) — на севере и западе Европы, а также в некоторых англоязычных переселенческих колониях. Согласно антропологическим свидетельствам, молочное хозяйство характеризуется высокой вовлеченностью женщин, что дает последним определенную независимость и относительно высокий социальный статус и таким образом способствует формированию эгалитарных гендерных установок, являющихся важным элементом индивидуализма. Кроме того, оно не требует значительных трудовых ресурсов и потому может практиковаться нуклеарными домохозяйствами, распространенность которых является еще одним признаком индивидуалистических культур,

а также предполагает оседлость, стимулирующую развитие права собственности на землю (нормативное осмысление и обоснование которого в творчестве Джона Локка и других политических философов раннего Нового времени стало одним из оснований более общей — и фундаментально индивидуалистической — либеральной идеи прав человека).

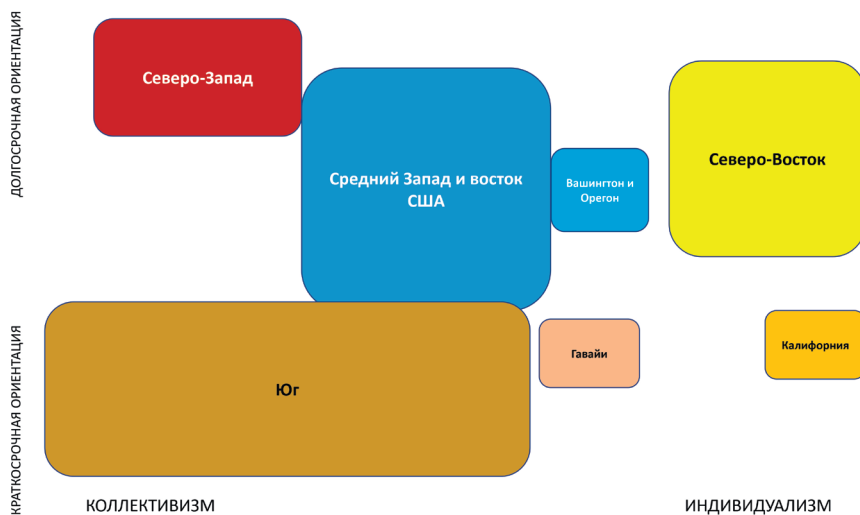


Рис. 6. Культурная карта США

Как уже отмечалось выше, в обществах, где сегодня население придерживается коллективистских взглядов, основными типами хозяйствования были кочевое скотоводство или переложное земледелие. В обоих случаях необходимость периодически менять ареал обитания препятствует развитию оседлости — и тем самым формированию индивидуальной земельной собственности, — а также порождает конкуренцию за территорию и другие ресурсы (например, распространенную в кочевых пастушеских сообществах практику кражи скота у соседних племен), в свою очередь провоцирующую физическое межгрупповое насилие. В таких условиях защита и поддержка со стороны сообщества являются базовыми потребностями, что приводит к формированию кланово-племенных структур, подразумевающих безоговорочное подчинение отдельных членов группы узкой элитной прослойке и — в обезличенном виде — коллективным нормам как основному механизму обеспечения внутригрупповой солидарности и, следовательно, выживания группы в целом.

Об истоках современных различий по измерению монументализм — гибкость известно меньше, однако они также могут в определенной степени отражать исторические различия в распространенности тех или иных типов сельского хозяйства. В частности, предполагается, что экономика, основывающаяся на возделывании риса, может способствовать развитию ценностей гибкости. Другим потенциально

важным дифференцирующим фактором в этом отношении является то, насколько долго (и непрерывно) на конкретной территории существуют сложные бюрократические структуры.

## Заключение

Несмотря на огромную популярность в научной и бизнес-литературе, модель культуры Хофстеде не подтверждается новыми, более надежными и представительными данными, полученными в исследовании *MediaCom* и из других источников, в том числе таких, как Всемирное исследование ценностей и Международная программа социальных исследований. Обновленная двухмерная модель Минкова-Хофстеде гораздо лучше согласуется с имеющимся массивом опросных данных. Более того, она воспроизводится с помощью различных типов индикаторов: самоописаний; представлений о качествах, которые стоит воспитывать в детях; финансовых приоритетов жителей разных стран мира и т. д. Оба компонента этой модели, индивидуализм — коллективизм и монументализм — гибкость, тесно связаны с межстрановыми различиями в объективных индикаторах социально-экономического развития, а также географических характеристиках и разнообразных исторических переменных.

Это, однако, не означает, что указанная модель является законченной и универсальной. Хотя национальная культура — довольно стабильный феномен, ей все же свойственно меняться (пусть и довольно медленно) под воздействием разного рода внешних и внутренних факторов, таких как экономический рост, политические трансформации или изменение средовых условий. Кроме того, открытым остается вопрос о возможности использования этой модели для объяснения субнациональных культурных различий (хотя пример США предполагает, что она может оказаться вполне эффективным аналитическим инструментом как минимум в случае других стран, обладающих похожими характеристиками: России<sup>13</sup>, Китая, Бразилии и т. д.). Вполне возможно, что через некоторое время модель Минкова-Хофстеде также потребует пересмотра или уточнения. Тем не менее на текущий момент она является одним из наиболее продвинутых теоретических описаний глобальной вариации в коллективных нормах и ценностях и обусловленных ими поведенческих паттернах и потому заслуживает пристального внимания исследователей, интересующихся соответствующей проблематикой.

---

13. Недавно опубликованное исследование Минкова и коллег (2023) показывает, что измерение индивидуализм — коллективизм воспроизводится на материалах масштабного опроса, охватывающего 60 крупнейших субъектов РФ. При этом агрегированные показатели субъективной культуры коррелируют как с объективными социально-экономическими и политическими индикаторами, так и с региональными географическими характеристиками.

## Литература

- Безуглова Н. П. (2008). Модель четырех параметров культуры Гирта Хофстеда // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. № 5. С. 29–32.
- Вельцель К. (2018). Рождение свободы / Под ред. Э. Д. Понарина, О. А. Оберемко; пер. с англ. А. В. Лисовского. М.: ВЦИОМ.
- Данилова Е., Тарарухина М. (2003). Российская производственная культура в параметрах Г. Хофстеде // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. № 3. С. 53–64.
- Зинькина Ю. В., Слинко Е. В., Быканова Д. А., Кортаев А. В. (2018). Динамика ценностей и модернизация: опыт количественного анализа // Журнал социологии и социальной антропологии. Т. 21. № 1. С. 44–72.
- Инглхарт Р., Вельцель К. (2011). Модернизация, культурные изменения и демократия / Под ред. Ю. Кузнецова; пер. с англ. М. Коробочкина. М.: Новое издательство.
- Инглхарт Р. (2018). Культурная эволюция: как изменяются человеческие мотивации и как это меняет мир / Под ред. М. А. Завадской, В. В. Костенко, А. А. Широкаковой; научн. ред. Э. Д. Понарин; пер. с англ. С. Л. Лопатиной. М.: Мысль.
- Инглхарт Р. (2022). Неожиданный упадок религиозности в развитых странах. / Под ред. Э. Д. Понарина; пер. с англ. Н. Ю. Фирсовой. СПб.: Изд. Европейского университета в Санкт-Петербурге.
- Латова Н. В. (2016). Культурная специфика россиян (этнометрический анализ на основе концепции Г. Хофстеде) // Вестник института социологии. Т. 7. № 4. С. 155–179.
- Латова Н. В. (2017). Производственная культура рабочих современной России как элемент их человеческого капитала (этнометрический анализ на основе концепции Г. Хофстеде) // Мир России. Т. 26. № 3. С. 36–63.
- Латова Н. В., Латов Ю. В. (2001). Российская экономическая ментальность на мировом фоне // Общественные науки и современность. № 4. С. 31–43.
- Магун В. С., Руднев М. Г. (2008). Жизненные ценности российского населения: сходства и отличия в сравнении с другими европейскими странами // Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии. № 1(93). С. 33–58.
- Магун В. С., Руднев М. Г. (2010). Базовые ценности россиян и других европейцев (по материалам опросов 2008 года) // Вопросы экономики. № 12. С. 107–130.
- Науменко Т. В., Морозова Д. А. (2018). Теория межкультурных измерений Г. Хофстеде как методологическая основа исследования современных социальных процессов // Международный журнал исследований культуры. № 1. С. 144–154.
- Хофстеде Г. (2014). Модель Хофстеде в контексте: параметры количественной характеристики культур / Пер. с англ. В. Б. Кашкина // Язык, коммуникация и социальная среда. № 12. С. 9–49.
- Шварц Ш. (2008). Культурные ценностные ориентации: природа и следствия национальных различий / Пер. с англ. Е. А. Валуевой // Психология. Журнал Высшей школы экономики. Т. 5. № 2. С. 37–67.

- Akaliyski P., Minkov M., Li J., Bond M. H., Gehrig S.* (2022). The Weight of Culture: Societal Individualism and Flexibility Explain Large Global Variations in Obesity // *Social Science & Medicine*. Vol. 307. Art. 115167.
- Baskerville R. F.* (2003). Hofstede Never Studied Culture // *Accounting, Organizations, and Society*. Vol. 28. № 1. P. 1–14.
- Beugelsdijk S., Welzel C.* (2018). Dimensions and Dynamics of National Culture: Synthesizing Hofstede with Inglehart // *Journal of Cross-Cultural Psychology*. Vol. 49. № 10. P. 1469–1505.
- Bond M. H.* (2002). Reclaiming the Individual from Hofstede's Ecological Analysis — A 20-Year Odyssey: Comment on Oyserman et al. (2002) // *Psychological Bulletin*. Vol. 128. № 1. P. 73–77.
- Csathó Á., Birkás B.* (2018). Early-Life Stressors, Personality Development and Fast Life Strategies: An Evolutionary Perspective on Malevolent Personality Features // *Frontiers in Psychology*. Vol. 9. Art. 305.
- Dobewall H., Rudnev M.* (2014). Common and Unique Features of Schwartz's and Inglehart's Value Theories at the Country and Individual Levels // *Cross-Cultural Research*. Vol. 48. № 1. P. 45–77.
- Fog A.* (2021). A Test of the Reproducibility of the Clustering of Cultural Variables // *Cross-Cultural Research*. Vol. 55. № 1. P. 29–57.
- Fog A.* (2023). Two-Dimensional Models of Cultural Differences: Statistical and Theoretical Analysis // *Cross-Cultural Research*. Vol. 57. № 2-3. P. 115-165.
- Gelfand M. J., Bhawuk D. P. S., Nishii L. H., Bechtold D. J.* (2004). Individualism and Collectivism // *Culture, Leadership, and Organizations: The GLOBE Study of 62 Societies* / R. J. House, P. J. Hanges, M. Javidan, P. W. Dorfman, V. Gupta (eds.). Thousand Oaks, CA: Sage. P. 437–512.
- Hofstede G.* (1980). *Culture's Consequences: International Differences in Work-Related Values*. Beverly Hills, CA: Sage.
- Hofstede G.* (1991). *Cultures and Organizations: Software of the Mind*. London: McGraw-Hill.
- Hofstede G.* (2001). *Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions, and Organizations across Nations*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- House R. J., Hanges P. J., Javidan M., Dorfman P. W., Gupta V.* (eds.). (2004). *Culture, Leadership, and Organizations: The GLOBE Study of 62 Societies*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Inglehart R., Baker W. E.* (2000). Modernization, Cultural Change, and the Persistence of Traditional Values // *American Sociological Review*. Vol. 65. № 1. P. 19–51.
- Inglehart R., Welzel C.* (2005). *Modernization, Cultural Change, and Democracy: The Human Development Sequence*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kaasa A.* (2021). Merging Hofstede, Schwartz, and Inglehart into a Single System // *Journal of Cross-Cultural Psychology*. Vol. 52. № 4. P. 339–353.
- Kaasa A., Minkov M.* (2022). Are Different Two-Dimensional Models of Culture Just a Matter of Different Rotations? Evidence from the Analysis Based on the WVS/EVS // *Journal of Cross-Cultural Psychology*. Vol. 53. № 2. P. 127–156.

- Kaasa A., Welzel C.* (2023). Elements of Schwartz's Model in the WVS: How Do They Relate to Other Cultural Models? // *Cross-Cultural Research*. URL: <https://doi.org/10.1177/10693971231179792> (дата доступа: 01.06.2023)
- Kurman J., Dan O.* (2007). Unpackaging Cross-Cultural Differences in Initiation between Israeli Subgroups: Tradition and Control Orientations as Mediating Factors // *Journal of Cross-Cultural Psychology*. Vol. 38. № 5. P. 581–594.
- Li J., Akaliyski P., Heisig J. P., Löbl S., Minkov M.* (2022). Flexible Societies Excelled in Saving Lives in the First Phase of the COVID-19 Pandemic // *Frontiers in Psychology*. Vol. 13. Art. 924385.
- Maleki A., de Jong M.* (2014). A Proposal for Clustering the Dimensions of National Culture // *Cross-Cultural Research*. Vol. 48. № 2. P. 107–143.
- McCrae R. R., Costa P. T. Jr.* (2008). The Five-Factor Theory of Personality // *Handbook of Personality: Theory and Research* / O. P. John, R. W. Robins, L. A. Pervin (eds.). New York, NY: Guilford Press. P. 159–181.
- McSweeney B.* (2002). Hofstede's Model of National Cultural Differences and Their Consequences: A Triumph of Faith — A Failure of Analysis // *Human Relations*. Vol. 55. № 1. P. 89–118.
- Merritt A.* (2000). Culture in the Cockpit: Do Hofstede's Dimensions Replicate? // *Journal of Cross-Cultural Psychology*. Vol. 31. № 3. P. 283–301.
- Minkov M.* (2016). Predictors of Societal Accident Proneness across 92 Countries // *Cross-Cultural Research*. Vol. 50. № 2. P. 103–122.
- Minkov M.* (2018). A Revision of Hofstede's Model of National Culture: Old Evidence and New Data from 56 Countries // *Cross Cultural & Strategic Management*. Vol. 25. № 2. P. 231–256.
- Minkov M., Bond M. H., Dutt P., Schachner M., Morales O., Sanchez C., Jandosova J., Khassenbekov Ye., Mudd B.* (2018). A Reconsideration of Hofstede's Fifth Dimension: New Flexibility Versus Monumentalism Data from 54 Countries // *Cross-Cultural Research*. Vol. 52. № 3. P. 309–333.
- Minkov M., Dutt P., Schachner M., Jandosova J., Khassenbekov Ye., Morales O., Sanchez C. J., Mudd B.* (2018). What Values and Traits Do Parents Teach to Their Children? New Data from 54 Countries // *Comparative Sociology*. Vol. 17. № 2. P. 221–252.
- Minkov M., Dutt P., Schachner M., Jandosova J., Khassenbekov Ye., Morales O., Blagoev B.* (2019). What Would People Do with Their Money If They Were Rich? A Search for Hofstede Dimensions across 52 Countries // *Cross Cultural & Strategic Management*. Vol. 26. № 1. P. 93–116.
- Minkov M., Dutt P., Varma T., Schachner M., Morales O., Sanchez C. J., Jandosova J., Khassenbekov Ye., Mudd B.* (2017). A Revision of Hofstede's Individualism — Collectivism Dimension: A New National Index from a 56-Country Study // *Cross-Cultural & Strategic Management*. Vol. 24. № 3. P. 386–404.
- Minkov M., Hofstede G.* (2012). Hofstede's Fifth Dimension: New Evidence from the World Values Survey // *Journal of Cross-Cultural Psychology*. Vol. 43. № 1. P. 3–14.



- Minkov M., Kaasa A.* (2021a). A Test of Hofstede's Model of Culture Following His Own Approach // *Cross Cultural & Strategic Management*. Vol. 28. № 2. P. 384–406.
- Minkov M., Kaasa A.* (2021b). A Test of the Revised Minkov — Hofstede Model of Culture: Mirror Images of Subjective and Objective Culture across Nations and the 50 US States // *Cross-Cultural Research*. Vol. 55. № 2–3. P. 230–281.
- Minkov M., Kaasa A.* (2022). Do Dimensions of Culture Exist Objectively? A Validation of the Revised Minkov-Hofstede Model of Culture with World Values Survey Items and Scores for 102 Countries // *Journal of International Management*. Vol. 28. № 4. 100971.
- Minkov M., Sokolov B., Ponarin E., Almakaeva A., Nastina E.* (2023). Is “Regional Culture” a Meaningful Concept? Cultural Differences Across 60 Russian regions // *Cross Cultural & Strategic Management*. Vol. 30. № 3. P. 637–656.
- Peterson M. F.* (2003). Review: Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions, and Organizations across Nations, 2nd ed. Geert Hofstede. Thousand Oaks, CA: Sage, 2001 // *Administrative Science Quarterly*. Vol. 48. № 1. P. 127–131.
- Schwartz Sh.* (1994). Beyond Individualism/Collectivism: New Cultural Dimensions of Values // *Individualism and Collectivism: Theory, Method, and Application* / U. Kim, H. C. Triandis, Ç. Kağıtçıbaşı, S.-Ch. Choi, G. Yoon (eds.). Thousand Oaks, CA: Sage. P. 85–119.
- Schwartz Sh.* (2006). A Theory of Cultural Value Orientations: Explication and Applications // *Comparative Sociology*. Vol. 5. № 2–3. P. 137–182.
- Schwartz Sh.* (2014). National Culture as Value Orientations: Consequences of Value Differences and Cultural Distance // *Handbook of the Economics of Art and Culture* / V. A. Ginsburgh, D. Throsby (eds.). Elsevier. Vol. 2. P. 547–586.
- Silva M. S., Alexander A. C., Klasen S., Welzel C.* (2023). The Roots of Female Emancipation: Initializing Role of Cool Water // *Journal of Comparative Economics*. Vol. 51. № 1. P. 133–159.
- Singelis T. M., Bond M. H., Sharkey W. F., Lai C. S. Y.* (1999). Unpackaging Culture's Influence on Self-Esteem and Embarrassability: The Role of Self-Construals // *Journal of Cross-Cultural Psychology*. Vol. 30. № 3. P. 315–341.
- Taras V., Steel P., Kirkman B. L.* (2012). Improving National Cultural Indices Using a Longitudinal Meta-Analysis of Hofstede's Dimensions // *Journal of World Business*. Vol. 47. № 3. P. 329–341.
- The Chinese Culture Connection* (1987). Chinese Values and the Search for Culture-Free Dimensions of Culture // *Journal of Cross-Cultural Psychology*. Vol. 18. № 2. P. 143–164.
- van de Vliert E.* (2020). The Global Ecology of Differentiation Between Us and Them // *Nature Human Behavior*. Vol. 4. № 3. P. 270–278.
- Welzel C.* (2013). *Freedom Rising: Human Empowerment and the Quest for Emancipation*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Welzel C., Kruse S., Brunkert L., Brieger S.* (2023). The Cool Water Effect: The Origin of Humankind's Emancipatory Turn. Preprint. URL: <https://www.coolwatereffect.com/publications> дата доступа: 27 July 2023)

- White E. (2008). Quest for Innovation, Motivation Inspires the Gurus. URL: <https://www.wsj.com/articles/SB120994652485566323> (дата доступа: 19.03.2023).
- Whittlesey D. (1936). Major Agricultural Regions of the Earth // *Annals of the Association of American Geographers*. Vol. 26. № 4. P. 199–240.
- World Values Survey Association (2023). Findings and Insights. URL: <https://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp?CMSID=Findings> (дата доступа: 19.03.2023).

## Evolution of the Hofstede Model of Cultural Dimensions: Parallels Between Objective and Subjective Culture<sup>14</sup>

*Michael Minkov*

PhD in Social Anthropology, Academic Supervisor at the Ronald F. Inglehart Laboratory for Comparative Social Research, HSE University, Russian Federation; Professor of Cross-Cultural Studies, Varna University of Management, Bulgaria.

Address: 20 Myasnitskaya str., Moscow, Russian Federation 101000

E-mail: [michaelminkov@yahoo.com](mailto:michaelminkov@yahoo.com)

*Boris Sokolov*

Candidate of Sciences in Political Science, Laboratory Head and Senior Research Fellow at the Ronald F. Inglehart Laboratory for Comparative Social Research, HSE University; Associate Professor at the Department of Sociology, St. Petersburg School of Social Sciences and Area Studies, HSE University in St. Petersburg.

Address: 55-2 Sedova str., Saint Petersburg, Russian Federation 192171

E-mail: [bssokolov@hse.ru](mailto:bssokolov@hse.ru); [bssokolov@gmail.com](mailto:bssokolov@gmail.com)

*Ilya Lomakin*

Visiting Researcher at the Ronald F. Inglehart Laboratory for Comparative Social Research, HSE University; Expert at the Department for Publishing Programs, Russian Public Opinion Research Center.

Address: 20 Myasnitskaya str., Moscow, Russian Federation 101000

E-mail: [ilomakin@hse.ru](mailto:ilomakin@hse.ru), [elijah.lomakin@gmail.com](mailto:elijah.lomakin@gmail.com)

Some 40 years ago, the Dutch social scientist Geert Hofstede laid the foundations of the science of modern cultural comparisons and created the most popular model of national culture that is still in use today across the world. Meanwhile, numerous issues with that model have been identified and the need for a thorough revision has become obvious. This article briefly explains Hofstede's model and its issues and summarizes the existing revisions of it, resulting in a new, simpler, and more robust Minkov-Hofstede model. This new version explains a wide range of differences in national indicators, such as transparency-corruption, gender equality, road death tolls and industrial fatalities, educational achievement, violent crime, adolescent fertility, family structure, and innovation rates, to name just a few. These indicators form a pattern that is similar to the new Minkov-Hofstede model and can be explained through similar theories. This is evidence that *subjective culture* (what people think and feel) has a mirror image in *objective culture* (what people do). The new Minkov-Hofstede model can be applied to countries, as well as to some sub-national units such as US states.

**Keywords:** cross-cultural research, national culture, Geert Hofstede, Minkov-Hofstede model, individualism-collectivism, monumentalism-flexibility

---

14. The article was prepared within the framework of the HSE University Basic Research Program.

## References

- Akaliyski P., Minkov M., Li J., Bond M. H., Gehrig S. (2022) The Weight of Culture: Societal Individualism and Flexibility Explain Large Global Variations in Obesity. *Social Science & Medicine*, vol. 307, art. 115167.
- Baskerville R. F. (2003) Hofstede Never Studied Culture. *Accounting, Organizations, and Society*, vol. 28, no 1, pp. 1–14.
- Beugelsdijk S., Welzel C. (2018) Dimensions and Dynamics of National Culture: Synthesizing Hofstede with Inglehart. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, vol. 49, no 10, pp. 1469–1505.
- Bezuglova N. P. (2008) Model' chetyreh parametrov kul'tury Girta Hofsteda [Geert Hofstede's Four Cultural Dimensions Model]. *Bulletin of the Moscow State University of Culture and Arts*, no 5, pp. 29–32.
- Bond M. H. (2002) Reclaiming the Individual from Hofstede's Ecological Analysis — A 20-Year Odyssey: Comment on Oyserman et al. (2002). *Psychological Bulletin*, vol. 128, no 1, pp. 73–77.
- Csathó Á., Birkás B. (2018) Early-Life Stressors, Personality Development and Fast Life Strategies: An Evolutionary Perspective on Malevolent Personality Features. *Frontiers in Psychology*, vol. 9, art. 305.
- Danilova E., Tararukhina M. (2003) Rossijskaja proizvodstvennaja kul'tura v parametroh G. Hofsteda [The Russian Industrial Culture in G. Hofstede's Dimensions]. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*, no 3, pp. 53–64.
- Dobewall H., Rudnev M. (2014) Common and Unique Features of Schwartz's and Inglehart's Value Theories at the Country and Individual Levels. *Cross-Cultural Research*, vol. 48, no 1, pp. 45–77.
- Fog A. (2021) A Test of the Reproducibility of the Clustering of Cultural Variables. *Cross-Cultural Research*, vol. 55, no 1, pp. 29–57.
- Fog A. (2023) Two-Dimensional Models of Cultural Differences: Statistical and Theoretical Analysis. *Cross-Cultural Research*, vol. 57, no 2-3, pp. 115-165.
- Gelfand M. J., Bhawuk D. P. S., Nishii L. H., Bechtold D. J. (2004) Individualism and Collectivism. *Culture, Leadership, and Organizations: The GLOBE Study of 62 Societies* (eds. R. J. House, P. J. Hanges, M. Javidan, P. W. Dorfman, V. Gupta), Thousand Oaks, CA: Sage, pp. 437–512.
- Hofstede G. (1980) *Culture's Consequences: International Differences in Work-Related Values*, Beverly Hills, CA: Sage.
- Hofstede G. (1991) *Cultures and Organizations: Software of the Mind*, London: McGraw-Hill.
- Hofstede G. (2001) *Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions, and Organizations across Nations*, Thousand Oaks, CA: Sage.
- Hofstede G. (2014) Model' Hofstede v kontekste: parametry kolichestvennoj karakteristiki kul'tur [Dimensionalizing Cultures: The Hofstede Model in Context]. *Language, Communication and Social Environment*, no 12, pp. 9–49.
- House R. J., Hanges P. J., Javidan M., Dorfman P. W., Gupta V. (eds.) (2004) *Culture, Leadership, and Organizations: The GLOBE Study of 62 Societies*, Thousand Oaks, CA: Sage.
- Inglehart R., Baker W. E. (2000) Modernization, Cultural Change, and the Persistence of Traditional Values. *American Sociological Review*, vol. 65, no 1, pp. 19–51.
- Inglehart R., Welzel C. (2005) *Modernization, Cultural Change, and Democracy: The Human Development Sequence*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Inglehart R., Welzel C. (2011) *Modernizatsia, kul'turnye izmeneiya i demokratia* [Modernization, Cultural Change, and Democracy], Moscow: Novoe Izdatel'stvo.
- Inglehart R. (2018) *Kulturnaya evolutsia: kak izmenyayutsya tchelovetcheskie motivatsii i kak eto menyaet mir* [Cultural Evolution: People's Motivations are Changing, and Reshaping the World], Moscow: Mysl'.
- Inglehart R. (2022) *Neozhidanniy upadok religioznosti v razvityikh stranah* [Religion's Sudden Decline], St. Petersburg: EUSP press.
- Kaasa A. (2021) Merging Hofstede, Schwartz, and Inglehart into a Single System. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, vol. 52, no 4, pp. 339–353.
- Kaasa A., Minkov M. (2022) Are Different Two-Dimensional Models of Culture Just a Matter of Different Rotations? Evidence from the Analysis Based on the WVS/EVS. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, vol. 53, no 2, pp. 127–156.

- Kaasa A., Welzel C. (2023) Elements of Schwartz's Model in the WVS: How Do They Relate to Other Cultural Models? *Cross-Cultural Research*. URL: <https://doi.org/10.1177/10693971231179792> (accessed 01 June 2023)
- Kurman J., Dan O. (2007) Unpackaging Cross-Cultural Differences in Initiation between Israeli Subgroups: Tradition and Control Orientations as Mediating Factors. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, vol. 38, no 5, pp. 581–594.
- Latova N.V. (2016) Kul'turnaja specifika rossijan (jetnometricheskij analiz na osnove koncepcii G. Hofsteda) [Russians' Cultural Specificity (An Ethnometrical Analysis Based on G. Hofstede's Concept)]. *Bulletin of the Institute of Sociology*, vol. 7, no 4, pp. 155–179.
- Latova N.V. (2017) Proizvodstvennaja kul'tura rabocnih sovremennoj Rossii kak jelement ih chelovecheskogo kapitala (jetnometricheskij analiz na osnove koncepcii G. Hofsteda) [The Industrial Culture of Modern Russian Workers as an Element of Their Human Capital (An Ethnometric Analysis Using G. Hofstede's Model)]. *Universe of Russia*, vol. 27, no 3, pp. 36–63.
- Latova N.V., Latov Yu. V. (2001) Rossijskaja jekonomicheskaja mental'nost' na mirovom fone [The Russian Economic Mentality in the World Context]. *Social Sciences and Contemporary World*, no 4, pp. 31–43.
- Li J., Akalyski P., Heisig J.P., Löbl S., Minkov M. (2022) Flexible Societies Excelled in Saving Lives in the First Phase of the COVID-19 Pandemic. *Frontiers in Psychology*, vol. 13, art. 924385.
- Magun V.S., Rudnev M. G. (2008) Zhiznenniye tsennosti rossiyskogo naseleniya: skhodstva i otlichiya v sravnenii s drugimi evropejskimi stranami [The life values of the Russian population: Similarities and differences in comparison with other European countries]. *Vestnik Obshchestvennogo mneniya. Dannije. Analiz. Discussii*, no 1(93), pp. 33–58.
- Magun V.S., Rudnev M. G. (2010) Bazoviye tsennosti rossiyan i drugikh evropejtcsev (po materialam oprosov 2008 goda) [Basic Human Values of Russians and Other Europeans (The Results of 2008 Surveys)]. *Voprosy Ekonomiki*, no 12, pp. 107–130.
- Maleki A., de Jong M. (2014) A Proposal for Clustering the Dimensions of National Culture. *Cross-Cultural Research*, vol. 48, no 2, pp. 107–143.
- McCrae R.R., Costa P.T. Jr. (2008) The Five-Factor Theory of Personality. *Handbook of Personality: Theory and Research* (eds. O.P. John, R.W. Robins, L. A. Pervin), New York, NY: Guilford Press, pp. 159–181.
- McSweeney B. (2002) Hofstede's Model of National Cultural Differences and Their Consequences: A Triumph of Faith — A Failure of Analysis. *Human Relations*, vol. 55, no 1, pp. 89–118.
- Merritt A. (2000) Culture in the Cockpit: Do Hofstede's Dimensions Replicate? *Journal of Cross-Cultural Psychology*, vol. 31, no 3, pp. 283–301.
- Minkov M. (2016) Predictors of Societal Accident Proneness across 92 Countries. *Cross-Cultural Research*, vol. 50, no 2, pp. 103–122.
- Minkov M. (2018) A Revision of Hofstede's Model of National Culture: Old Evidence and New Data from 56 Countries. *Cross Cultural & Strategic Management*, vol. 25, no 2, pp. 231–256.
- Minkov M., Bond M.H., Dutt P., Schachner M., Morales O., Sanchez C., Jandosova J., Khassenbekov Ye., Mudd B. (2018) A Reconsideration of Hofstede's Fifth Dimension: New Flexibility Versus Monumentalism Data from 54 Countries. *Cross-Cultural Research*, vol. 52, no 3, pp. 309–333.
- Minkov M., Dutt P., Schachner M., Jandosova J., Khassenbekov Ye., Morales O., Sanchez C.J., Mudd B. (2018) What Values and Traits Do Parents Teach to Their Children? New Data from 54 Countries. *Comparative Sociology*, vol. 17, no 2, pp. 221–252.
- Minkov M., Dutt P., Schachner M., Jandosova J., Khassenbekov Ye., Morales O., Blagoev B. (2019) What Would People Do with Their Money If They Were Rich? A Search for Hofstede Dimensions across 52 Countries. *Cross Cultural & Strategic Management*, vol. 26, no 1, pp. 93–116.
- Minkov M., Dutt P., Varma T., Schachner M., Morales O., Sanchez C.J., Jandosova J., Khassenbekov Ye., Mudd B. (2017) A Revision of Hofstede's Individualism — Collectivism Dimension: A New National Index from a 56-Country Study. *Cross-Cultural & Strategic Management*, vol. 24, no 3, pp. 386–404.
- Minkov M., Hofstede G. (2012) Hofstede's Fifth Dimension: New Evidence from the World Values Survey. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, vol. 43, no 1, pp. 3–14.
- Minkov M., Kaasa A. (2021a) A Test of Hofstede's Model of Culture Following His Own Approach. *Cross Cultural & Strategic Management*, vol. 28, no 2, pp. 384–406.

- Minkov M., Kaasa A. (2022) Do Dimensions of Culture Exist Objectively? A Validation of the Revised Minkov-Hofstede Model of Culture with World Values Survey Items and Scores for 102 Countries. *Journal of International Management*, vol. 28, no 4, 100971.
- Minkov M., Kaasa A. (20216) A Test of the Revised Minkov — Hofstede Model of Culture: Mirror Images of Subjective and Objective Culture across Nations and the 50 US States. *Cross-Cultural Research*, vol. 55, no 2–3, pp. 230–281.
- Minkov M., Sokolov B., Ponarin E., Almakaeva A., Nastina E. (2023) Is “regional culture” a meaningful concept? Cultural differences across 60 Russian regions. *Cross Cultural & Strategic Management*, vol. 30, no 3, pp. 637–656.
- Naumenko T.V., Morozova D.A. (2018) Teorija mezhkul'turnyh izmerenij G. Hofstede kak metodologicheskaja osnova issledovanija sovremennyh social'nyh processov [Cultural Dimensions Theory of G. Hofstede as a Methodological Basis for the Study of Modern Social Processes]. *International Journal of Cultural Research*, no 1, pp. 144–154.
- Peterson M. F. (2003) Review: Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions, and Organizations across Nations, 2nd ed. Geert Hofstede. Thousand Oaks, CA: Sage, 2001. *Administrative Science Quarterly*, vol. 48, no 1, pp. 127–131.
- Schwartz Sh. (1994) Beyond Individualism/Collectivism: New Cultural Dimensions of Values. *Individualism and Collectivism: Theory, Method, and Application* (eds. U. Kim, H. C. Triandis, Ç. Kağıtçıbaşı, S.-Ch. Choi, G. Yoon), Thousand Oaks, CA: Sage, pp. 85–119.
- Schwartz Sh. (2006) A Theory of Cultural Value Orientations: Explication and Applications. *Comparative Sociology*, vol. 5, no 2–3, pp. 137–182.
- Schwartz Sh. (2008) Kul'turnye cennostnye orientacii: priroda i sledstvija nacional'nyh razlichij [Cultural Value Orientations: Nature & Implications of National Differences]. *Psychology. Journal of the Higher School of Economics*, vol. 5, no 2, pp. 37–67.
- Schwartz Sh. (2014) National Culture as Value Orientations: Consequences of Value Differences and Cultural Distance. *Handbook of the Economics of Art and Culture* (eds. V. A. Ginsburgh, D. Throsby), Elsevier, vol. 2, pp. 547–586.
- Silva M. S., Alexander A. C., Klasek S., Welzel C. (2023) The Roots of Female Emancipation: Initializing Role of Cool Water. *Journal of Comparative Economics*, vol. 51, no 1, pp. 133–159.
- Singelis T. M., Bond M. H., Sharkey W. F., Lai C. S. Y. (1999) Unpackaging Culture's Influence on Self-Esteem and Embarrassability: The Role of Self-Construals. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, vol. 30, no 3, pp. 315–341.
- Taras V., Steel P., Kirkman B. L. (2012) Improving National Cultural Indices Using a Longitudinal Meta-Analysis of Hofstede's Dimensions. *Journal of World Business*, vol. 47, no 3, pp. 329–341.
- The Chinese Culture Connection (1987) Chinese Values and the Search for Culture-Free Dimensions of Culture. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, vol. 18, no 2, pp. 143–164.
- van de Vliert E. (2020) The Global Ecology of Differentiation Between Us and Them. *Nature Human Behavior*, vol. 4, no 3, pp. 270–278.
- Welzel C. (2013) *Freedom Rising: Human Empowerment and the Quest for Emancipation*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Welzel C. (2018) *Rozhdenie svobody* [Freedom Rising], Moscow: VCIOM. (in Russian)
- Welzel C., Kruse S., Brunkert L., Brieger S. (2023) *The Cool Water Effect: The Origin of Humankind's Emancipatory Turn*. Preprint. Available at: <https://www.coolwatereffect.com/publications> (accessed 27 July 2023)
- White E. (2008) Quest for Innovation, Motivation Inspires the Gurus. Available at: <https://www.wsj.com/articles/SB120994652485566323> (accessed 19 March 2023).
- Whittlesey D. (1936) Major Agricultural Regions of the Earth. *Annals of the Association of American Geographers*, vol. 26, no 4, pp. 199–240.
- World Values Survey Association (2023) Findings and Insights. Available at: <https://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp?CMSID=Findings> (accessed 19 March 2023).
- Zinkina J., Slinko E., Bykanova D., Korotaev A. (2018) Dinamika tsennostei I modernizatsiya: opyt kolichestvennogo analiza [Dynamics of Values and Modernization: A Quantitative Analysis]. *Journal of Sociology and Social Anthropology*, vol. 21, no 1, pp. 44–72.

## Рост структур организованного насилия и типы контроля над ними\*

*Николай Розов*

Доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник Института философии и права Сибирского отделения РАН, профессор кафедры международных отношений Новосибирского государственного технического университета

Адрес: ул. Николаева, д. 8, Новосибирск, Российская Федерация 630090

E-mail: nrozov@gmail.com

Макроисторические изменения практик и структур организованного насилия (далее — силовых) имеют свои закономерности, требующие теоретического анализа. Показано, что неуклонный рост и развитие этих структур определены главными трендами социальной эволюции: демографическим ростом, расширением и усложнением политик, развитием технологий и оружия. Рассмотрены внутренние механизмы как цикличности, так и направленности, необратимости этих изменений. Практики организованного насилия существенно менялись, причем многие неприемлемые сегодня были в свое время обычными, общественно одобряемыми и даже обязательными. Сформулированы гипотетические принципы складывания, распространения и прекращения таких практик, что всегда связано с характером и итогами политической борьбы, а также со сменой мировоззрений, прежде всего моральных, социальных и политических ценностей, соответствующих нормативных принципов. Неизбежные издержки роста силовых структур определяются прежде всего возможностью обретения их лидерами политической субъектности, претензиями на власть, что чревато заговорами, мятежами и подобными явлениями, подрывающими социальную и политическую стабильность. Эти издержки порождают заботы правителей и элит по контролю над силовыми структурами. Описаны в качестве «идеальных типов» три формы такого контроля: патримониально-харизматический контроль, основанный на эмоциональной приверженности правителю, конфликтно-репрессивный контроль со стратегиями типа «разделяй и властвуй» и бюрократический контроль, предполагающий подчиненность формальным правилам. Последний тип включает две версии: с опорой на принцип власти и на принцип права. Рассмотрены социальные и ментальные основы, поддерживающие верховенство права в институтах, организациях государственного насилия.

*Ключевые слова:* организованное насилие, силовые структуры, социальная эволюция, практики насилия, контроль над силовыми структурами, бюрократия, патримония, харизма, верховенство права

### Мегатренды расширения и усложнения контроля над насилием в мировой истории

Самыми очевидными и зримыми трендами социальной эволюции являются: 1) демографический рост, 2) технологическое развитие, 3) территориальное расширение и усложнение политических, экономических и культурных целостностей (с известного времени — государств).

---

\* Работа опубликована при поддержке Программы «Университетское партнерство».

Разумеется, неоднократно имели место периоды депопуляции в отдельных мировых регионах (из-за пандемий типа «Черной чумы», больших затяжных войн, масштабных бедствий), но общий рост мирового населения продолжался, особенно ускоряясь в последнее столетие. В более богатых, развитых обществах наблюдается замедление, даже некоторая убыль населения, но в глобальном плане тенденция не меняется<sup>2</sup>.

Тезис о технологическом развитии в обосновании не нуждается. Нужно только добавить, что это касается не только устройств для улучшения мирной жизни, средств их производства, но также вооружения и военных технологий как средств убийства и разрушения (Додни, 2003).

Несмотря на множественные распады крупных государств, от первых объединений племен, деревень, вождеств, от первых государств и до XX века продолжался рост контролируемой площади политиями — сообществами со своей организованной вооруженной силой. Наиболее обширными были территориальные, а затем и морские (колониальные) империи (Münkler, 2007). Крупнейшие империи в результате двух мировых войн и итогов холодной войны распались, однако по сию пору остается значительное количество обширных, в том числе весьма густонаселенных государств (Китай, Индия, США, Индонезия, Пакистан, Бразилия, Нигерия, Россия, Мексика и др.), большинству из которых никакой распад не угрожает.

Не подлежит сомнению также неуклонное усложнение внутренних и международных порядков на протяжении всей мировой истории, что многократно было зафиксировано даже для «традиционных» (домодерных) обществ (Carneiro, 1970; Turchin et al., 2022). Известные процессы модернизации (с начала XVI века), тем более глобализации (особенно интенсивные с конца XX века) прежде всего включают рост сложности: увеличение разнообразия элементов, структур, связей, механизмов функционирования, обновления и проч.

Главным принципом структурирования современных обществ остается разделение на государства (почти все они — члены ООН). Несмотря на спорадические кризисы с разрушением привычной жизни и локальными всполохами, даже анклавами социального хаоса, следует признать, что в большинстве обществ некие социальные порядки, включающие контроль над насилием, в какой-то мере поддерживаются. Вспыхивающие международные и гражданские войны (как бы они ни назывались) нарушают мирные порядки, но сами представляют собой особые — конфликтные — и неплохо изученные порядки вооруженной борьбы.

Учтем все эти утверждения в качестве предпосылок и зафиксируем следующие тезисы (Норт, Уоллис, Вайнгаст, 2011):

---

2. «Население мира продолжает расти, но темпы роста замедляются [...] Согласно последним прогнозам Организации Объединенных Наций, население планеты может вырасти до 8,5 миллиарда человек в 2030 году, 9,7 миллиарда в 2050 году и 10,4 миллиарда в 2100 году. Рост численности населения отчасти вызван снижением уровня смертности, что отражается в увеличении уровня ожидаемой продолжительности жизни при рождении» (World Population Prospects... 2022).

- Любой порядок в человеческих сообществах продолжается лишь постольку и до тех пор, пока люди выполняют некие правила (нормы) взаимодействия: обычные, моральные, религиозные, правовые, институциональные, организационные или какие-либо еще.
- Наиболее значимые для каждого порядка правила (обычно связанные с насилием, властью, иерархиями, собственностью, доступом к ресурсам, доступом к людям, родством) выполняются не только благодаря внутреннему (ментальному) контролю, но также поддерживаются внешним социальным контролем, включающим наказания за нарушения, а также применение прямого физического насилия при неподчинении<sup>3</sup>.
- Чем более географически обширной, демографически крупной и структурно сложной является социальная целостность (государство, союз, макро-регион), чем более унифицированы в ней порядки (в том числе кодексы правил), чем опаснее становится известное и доступное людям оружие и чем слабее внутренний ментальный контроль индивидов и групп, тем более крупной и сложно организованной должна быть система или совокупность структур организованного насилия (далее — силовых структур), для того чтобы в этих условиях обеспечивать порядки и соблюдение правил в данной целостности и в ее частях.

Совместив три предпосылки роста с этими принципами, выводим логически неуклонный рост силовых структур (армий, полиции и внутренних войск, спецслужб) на протяжении всей мировой истории.

Действительно, в каждой новой фазе социальной эволюции росла численность армий (ван Кревельд, 2006; Мак-Нил, 2008). Эти процессы ускорялись с каждым этапом военной революции (Parker, 1988; Downing, 1992). Разделялись рода войск, росла штабная бюрократия, усложнялись внутренние связи, более длительной становилась профессиональная подготовка военных (Коллинз, 2015; Malešević, 2017). Тенденции увеличения масштабов не нарушались даже при некотором сокращении численности армий, поскольку совершенствовались вооружения, средства связи и координации, способы организации и ресурсного обеспечения.

Возрастал контроль над индивидуальным насилием через развитие жандармерии, полиции, милиции (все они выросли из личных охранных гвардий правителей). В XVIII веке в Западной Европе стали строиться «полицейские государства», в которых полиция отвечала за детальную регуляцию поведения граждан ради достижения «общего блага» (Раев, 2000; Филиппов, 2011). После Наполеоновских войн функции полиции сузились до привычных нам поддержания внутреннего порядка, борьбы с преступностью, однако полицейские структуры продолжали расти в количественном отношении, разветвлялись как часть общей бюрократизации государств.

---

3. «Социальный порядок является необходимой предпосылкой для сдерживания насилия; насилие является необходимой предпосылкой для поддержания социального порядка» (Popitz, 1992: 63).



С начала XIX века охота за шпионами, противодействие заговорам, подрывной, революционной деятельности вели к значительному росту структур тайной полиции. В дальнейшем этот тренд только нарастал. Обе мировые войны стали мощными толчками в развитии шифрования и дешифровки, защиты секретных материалов, структур разведки и контрразведки, прочих специальных служб. Новые средства коммуникации, возможности Интернета, другие тренды глобализации способствовали появлению и развитию международного терроризма, а для борьбы с ним создаются, растут, объединяются национальные и региональные антитеррористические структуры.

В любом случае, при прочих равных сложность и эффективность силовых структур с необходимостью росли, чтобы обеспечивать порядок контроля над насилием и выполнением правил при укрупнении, усложнении подведомственных социальных целостностей. Фактический тренд роста масштабов и эффективности силовых структур (несмотря на частные провалы) соответствует логически выведенному тезису, а значит, делает более правдоподобными социологические принципы, которые использовались при этом выводе.

### **Тренды и циклы в международных порядках геополитики**

Рост размеров армий, развитие вооружений и военной организации всегда имеют множество побочных следствий (Мак-Нил, 2008; Тилли, 2009). Рассмотрим эффекты для международных порядков, которые задаются двусторонними и многосторонними договорами, альянсами, системами безопасности, в той или иной мере выполняющимися правовыми нормами.

С одной стороны, вооруженность государств, их включенность в оборонительные альянсы блокирует агрессивные намерения, поэтому способна приводить к относительно долгим мирным периодам, по крайней мере, в отдельных макрорегионах и геополитических ойкуменах. С другой стороны, неизбежные дисбалансы могущества, кризисы, ослабляющие отдельные государства или оборонительные альянсы, служат вызовами-возможностями (соблазнами) для потенциальных агрессоров. Сюда следует добавить эффект снижения спроса на порядок при долгом мире, когда затраты на вооружения перестают считаться необходимыми и сокращаются, что ведет к ослаблению отдельных звеньев, а это готовы использовать для своей агрессии державы-претенденты (*challengers*) (Модельски, 2003).

Вспыхивающие войны вполне закономерно ведут к росту спроса на порядок, а значит, к предложению порядка — дальнейшему развитию военной силы, складыванию новых коалиций и систем безопасности.

Таким образом, глобальная динамика развития военной организации включает цикличность (волны усиления, концентрации и ослабления, деконцентрации), а также «храповый механизм» неуклонного увеличения масштабов, сложности организации армий и эффективности вооружений.

## Роль организованного насилия в (гео)политике и коэволюции порядков

Охранные отряды (гвардии), армии, полиция и спецслужбы всегда создавались и реформировались как структуры, обеспечивавшие заботы правителей и элит, гораздо реже — низовых сообществ. Поскольку все структуры создаются из имеющихся ингредиентов, следует учитывать наряду с тривиальными (материальными, людскими) также те, что труднее выявляются и концептуализируются: привычные социальные отношения (вертикальные и горизонтальные), правила, образцы структур с механизмами взаимодействий, правилами, стандартами, даже терминологией, заимствованными у соседей, из референтных обществ и т. д.

Универсальными для всех государств являются забота об укреплении внешней безопасности, могущества, внутреннего мира с монополией на легитимное насилие, о пресечении сепаратизма и распада. Внешние завоевания и внутренние репрессии в настоящее время делегитимированы в моральном, политическом и правовом аспектах, но отнюдь не прекращаются, пусть и прикрываются эвфемизмами («гуманитарные интервенции», «принуждение к миру», «защита порядка, образа жизни, стабильности» и т. п.).

Здесь нас интересуют глубинные источники соответствующих вызовов и забот, а также механизмы, посредством которых развивающиеся структуры организованного насилия и типы контроля над ними участвуют в тех или иных векторах социальной эволюции.

Главными источниками вызовов и забот в геополитике являются сами войны, угрозы нападения извне и открывающиеся возможности разного рода приобретенной посредством военных операций. Сложные и разнообразные причины войн — отдельная проблемная область (Джервис, 2022; Розов, 2003).

Во внутренней политике типичными их источниками оказываются угрозы социальных беспорядков, мятежей, социальных революций, сепаратизма, а также организованная преступность. Сами мятежи и революции — это результаты падения легитимности власти и режима, последующих неадекватных ответов на эти вызовы со стороны правителей и элит. В периоды кризиса прежних порядков, подъема групп и движений, прокламирующих новые социальные и политические идеи, силовые структуры в разных условиях либо самоблокируются, либо встают на сторону этих движений, либо раскалываются, что чревато гражданскими войнами (Malešević, 2017; Лахман, 2021: 282–286; Handbook of Revolutions..., 2022; Баунов, 2023).

## Принципы динамики практик насилия

Множество разнообразных практик индивидуального и организованного насилия появлялись, распространялись, запрещались и угасали, хотя, пожалуй, ни одна не исчезла окончательно. Назовем только самые известные: каннибализм, охота за головами, снятие скальпов, человеческие жертвоприношения, набеги и гра-

бежи, войны и завоевания, разрушение жилищ, уничтожение запасов, полей, децимация (принуждение к групповому убийству каждого выбранного по жребию из десяти солдат), публичные казни и демонстративные пытки, общественное унижение с клетками, побоями, забрасыванием камнями, оплевыванием, порабощение и работорговля, этнические чистки и геноцид, вендетта, убийства чести, дуэли, тюремное заключение, избиения, групповые изнасилования в тюрьмах и других местах, из которых нельзя выйти, терроризм.

Заметим, что каждая из этих пренеприятных практик в свое время была социально одобряема, многие имели статус нормативно обязательных, а некоторые и до сих пор используются государствами как для дисциплинирования своих граждан, так и для борьбы с другими государствами.

Почему же одни практики почти исчезли, считаются неприемлемым кошмарным поведением, другие же широко распространены и воспринимаются как нормальные, даже необходимые?

Представим набор гипотез, обобщающих социологические и исторические наблюдения (Элиас, 2001; Норт, Уоллис, Вайнгаст, 2011; Коллинз, 2015; Malešević, 2017).

- *Условия появления новых практик насилия.* При возникновении вызова-угрозы или вызова-возможности, когда активизация имеющихся ответных стратегий и обеспечивающих структур показала их бесполезность, при наличии или появлении в арсенале ингредиентов насильственной практики, или чужих, или используемых в крайних случаях практик, при наличии или создании идейных оснований для оправдания насилия (прежде всего для дискредитации, ментального отчуждения его потенциальных жертв), а также при положительном подкреплении первых опытов применения (Скиннер, 2007), *новые практики насилия*, связанные с ними отношения, институты, организации становятся *ответной стратегией* на все подобные вызовы и *главной обеспечивающей структурой* для соответствующих предметов заботы. Это относится как к индивидуальному, так и к организованному насилию.
- *Устойчивость воспроизводства практик организованного насилия* предполагает следующие условия: предметы заботы, особенно значимые для элит и влиятельных групп, *успешно поддерживаются* такими практиками; доминирующее в обществе мировоззрение (религия, идеология, система ценностей) *оправдывает* принятые практики организованного насилия и дискредитирует, дискриминирует по тем или иным признакам его потенциальные жертвы; институты и организации, осуществляющие насилие, *богаты ресурсами, легитимны, интегрированы с элитами.*
- *Расширение функциональности практик организованного насилия.* При ресурсном богатстве соответствующих организаций, при налаженных структурах организационного строительства, рекрутирования и подготовки кадров; при появлении новых вызовов-угроз и вызовов-возможностей, напряжений, издержек, а также недостаточно обеспеченных в социальном

порядке предметов заботы, *практики организованного насилия апробируются в качестве ответных стратегий*, а при успехе (положительном подкреплении) и при получении идейного обоснования применения насилия эти практики становятся обеспечивающими структурами для поддержания все более широкого круга предметов заботы.

- *Условия установления ограничений и запретов на практики насилия.* При появлении идей, противоречащих принятым практикам насилия, и при политическом выигрыше вооружившейся этими идеями коалиции, экономические, престижные властные, геополитические интересы которой также противоречат допущению этих практик, будут введены соответствующие ограничения и запреты.
- *Свертывание ранее распространенных практик насилия* происходит при сочетании следующих условий:
  - возросли *издержки* привычных практик насилия, зачастую связанные с их противоречием новым идеям, образцам поведения, когда *установки неприятия* таких практик (появление которых требует специального объяснения) делегитимируют их исполнителей и заказчиков;
  - найдены успешные *альтернативные ответные стратегии* и обеспечивающие структуры, позволяющие поддерживать предметы заботы без этих практик;
  - *дискредитированы институты и разрушены организации*, реализовавшие эти практики, найдены места для их персонала;
  - созданы организации, способные к эффективным практикам *слежения, контроля и санкций за рецидивы* осуществления криминализированных практик насилия.

Итак, каждая практика насилия, продолжительное время входившая в некоторый социальный порядок, была по-своему функциональна; соответственно, условия ее появления, распространения, угасания можно сопоставить с вышеизложенными принципами, тем самым проверив их на валидность.

### **Издержки роста силовых структур и заботы контроля над ними**

Универсальной эвристикой для понимания причин исторической динамики является накопление издержек от функционирования обеспечивающих структур и достижение критических уровней напряжений — вызовов-угроз, которые требуют ответов. Укажем здесь только на два главных типа издержек роста организованного насилия.

Во-первых, силовые структуры способны быстро расходовать материальные и людские ресурсы (особенно в войнах), они постоянно требуют пополнения. В условиях гонки вооружений (надежды на прекращение которой оказались призрачными) все больше финансовых и интеллектуальных ресурсов приходится тратить на технологическое развитие в этой сфере, что связано с ростом напря-

жений в других сферах (бюджетные дефициты, недовольство элит и населения из-за повышения налогов). Если же не заполнять растущие прорехи и отставать в современных вооружениях, то увеличиваются угрозы внешней агрессии и риски проигрыша в конфликтах (Parker, 1988; Downing, 1992; Мак-Нил, 2008).

Во-вторых, лица, занимающие высшие позиции (военные или полицейские посты) в структурах насилия, нередко обретают свою субъектность, т. е. начинают осознавать собственные интересы. Для них подведомственный потенциал насилия становится вызовом-возможностью прежде всего для достижения более высоких политических позиций (вплоть до захвата верховной власти) и личного обогащения (варианты силового отъема чужих благ, ресурсов, производительных мощностей, активов, финансовых потоков и проч.) (Malešević, 2017; Манн, 2018).

Таким образом, правители, властные элиты получают *производную заботу контроля за своими структурами насилия и их руководством*, для чего, в свою очередь, заимствуются, складываются соответствующие практики и структуры контроля: отчетность, прокурорские проверки, «чистки», внутренние службы надзора, возможность для гражданских инспекций, поощрение доноительства, управляемые конфликты между силовыми ведомствами и т.п. Спорадически происходящие глубокие кризисы, перевороты, совершенные армейскими лидерами и/или при участии спецслужб, полиции, каждый раз указывают на слабость и провал таких структур контроля (Handbook of Revolutions..., 2022; Баунов, 2023).

Широкие колебания, связанные с ростом структур насилия, соответствующим ростом издержек и различиями в эффективности контроля, образуют драматические волны в судьбах империй и больших воинственных государств, нередко их распад и гибель (большинство империй, СССР), но иногда достаточно долгий период успешного развития (Британская империя XVII–XX веков, США с XVIII века, возможно, обновленный Китай в будущем).

Выделим основные типы контроля над силовыми структурами со стороны правителей и бюрократии со следующим (нестрогим) основанием: контроль осуществляется: а) за счет личной приверженности правителю, б) за счет управляемого конфликта и устрашения, в) за счет уважения к правилам, питаемого заботой о престиже и безопасности. Перечень оснований и соответствующих типов заведомо не полный. В реальных порядках обычно есть смешение черт разных типов, но каждый из трех основных должен быть описан как некая целостность («идеальный тип»).

### **Патримониально-харизматический контроль**

Здесь правитель (монарх, духовный лидер, народный вождь, избранный президент) предстает как «отец народа». Руководители армии, полиции, прочих силовых структур имеют личные отношения с правителем, в большей или меньшей степени испытывая к нему «сыновние» чувства.

Надежность этих отношений во многом определяется качествами правителя, который хоть в какой-то мере должен быть харизматичным. Иначе какое же к нему можно чувствовать почтение? Как видим, здесь сочетаются два веберовских концепта: *патримония* — способ управления страной как собственным домом, хозяйством, и личная *харизма* — одно из оснований политической легитимности. Неявным образом присутствует и традиционный тип легитимности, поскольку почтение к «отцу» и приверженность «законному монарху» имеют опору в принимаемой традиции: «так уж заведено, так было издавна, потому так и должно быть».

Контроль над структурами насилия здесь обеспечивается за счет внутренних установок «сыновнего» почтения и послушания, когда «предательство отца», тем более «отцеубийство», считаются худшими и позорнейшими из грехов.

Данный тип контроля самый древний и самый «естественный», но в нем присутствует внутренняя сложность и потенциальная динамика. Далеко не каждый правитель является харизматиком. Когда личная слабость правителя в этом плане совпадает с сильными структурными напряжениями и политическим кризисом, главы силовых структур перестают защищать его, поскольку «царь — ненастоящий».

В той же логике сильный харизматичный вождь, военачальник задает новый паттерн отношений «отец — почитающие его дети». Поэтому он имеет лучшие шансы основать новую династию, которая существует до тех пор, пока воспроизводится в поколениях этот эмоциональный паттерн, особенно когда он поддерживается почтением к монархической традиции, религией и внушительными ритуалами.

Вплоть до легитимации и широкого распространения парламентов и республик (середина XIX — начало XX века) патримониальный тип контроля был преобладающим, притом что все больше дополнялся бюрократическим.

### Конфликтно-репрессивный контроль

Известная управленческая стратегия «разделяй и властвуй» состоит в создании управляемого конфликта между силовыми структурами: армией, полицией, спецслужбами, которые могут быть поделены на еще более мелкие функциональные ведомства (личная гвардия, разведка, контрразведка, тайная полиция, жандармерия, всевозможные «штурмовики», «казацкие дружины» и т.п.).

Правитель со своим доверенным окружением берет на себя роль «верховного рефери», поощряя рвущихся к большей власти на взаимную борьбу, слежку и доносы. Так обеспечивается одна из важнейших забот правителя и его ближайшего круга — предотвращение заговоров. Кроме того, роль «рефери» позволяет держать в узде каждую группу, осаживая все попытки доминирования и захвата силовой монополии. Разумеется, свою роль играют уставы, формальное распределение полномочий, законы, санкции за их нарушения, но не эти нормативные, право-

вые рамки (бюрократические средства) обеспечивают данный порядок. Вынесем их за скобки и представим данный способ контроля как «идеальный тип».

Добавление в его название компонента «репрессивный» указывает на то, что для собственно «осаживания» также необходима сила, способная эффективно устрашать вышедших из милости и тем более — из подчинения. Эта сила, обычно формируемая на основе некоей личной охранной гвардии — аналога преторианцев, янычар или опричников, — не может быть слишком обширной и разветвленной. Здесь как раз обычно присутствует ограниченный по размеру анклав патримониально-харизматического контроля.

Поскольку сил личной гвардии часто не хватает, необходимые репрессии или акции устрашения осуществляются с опорой на т.н. *принудительную коалицию* большинства остальных структур насилия (Collins, 2008). Суть последней состоит в том, что для руководства каждой из них безопаснее оставаться в большой лояльной коалиции, чем отваживаться на фронду, рискуя остаться в меньшинстве, хуже того — в изоляции с неминуемым суровым наказанием вплоть до лишения жизни.

Как видим, принудительная коалиция держится на убежденности каждого участника в том, что при кризисе, конфликте, неясности самое надежное — сохранять лояльность правителю. Такая убежденность — важнейший компонент обеспечения безопасности правителя и стабильности его режима, поэтому вполне рациональным и оправданным следует считать отчасти целенаправленно создаваемый, отчасти «естественно» складывающийся «культ вождя» с ритуалами поклонения, вездесущими портретами, миллионными тиражами проповедей, речей, мемуаров, прижизненными памятниками и т.п. Так тираны и диктаторы с тем или иным успехом пытаются предстать в роли «отца народа», то есть дополнить контроль устрашения и «разводок» патримониально-харизматическим контролем.

Установки страха и лояльности, убежденности силовых руководителей в том, что оставаться членом принудительной коалиции — наиболее безопасная стратегия, должны поддерживаться специальными механизмами. Таковыми являются известные интерактивные ритуалы (Гофман, 2009; Collins, 2004): парады, коллективное прослушивание политических речей, награждение орденами, титулами и т.п. К менее очевидным ритуалам следует отнести систематическое лицезрение портретов и бюстов правителя во всех начальственных кабинетах, огромные портреты «любимого вождя» на улицах.

Даже при успехе такого ритуально-эмоционального обеспечения контроля оказываются необходимыми пусть не регулярные, но спорадические репрессии от «показательных порок» до «чисток». Устрашающие репрессии в отношении недостаточно лояльных, «берущих не по чину», зарвавшихся в своих политических амбициях представителей силовых структур являются эффективными дисциплинирующими ритуалами. При отсутствии этих практик «люди теряют страх», что затрудняет сохранение баланса, лояльности и надежного потенциала верховной власти над «пауками в банке».

Успешное сохранение контроля в этой перманентно тревожной, наполненной взаимным недоверием, страхами, ненавистью, подсиживанием, доносами обстановке требует особого склада характера правителя, умелого владения приемами манипуляций, провокаций, подкупа, шантажа и т.п. Если при таком типе контроля диктатор долгое время сохраняет власть, значит, он имеет редкие, специфические способности и приобретенные навыки.

Понятные издержки данного типа правления состоят в том, что персоналистский режим неминуемо переживает кризис и радикальную трансформацию после ухода правителя. Тому, кто займет его место, придется находить и ставить «своих людей» на ключевые посты в структурах насилия, заново выстраивать отношения лояльности, обеспечивать баланс, провоцировать управляемые конфликты и т. д.

Конфликтно-репрессивный контроль получил широкое применение в обществах зрелой государственности, особенно в империях с султанистскими и диктаторскими режимами. Он остается основным и в современных авторитарных режимах милитаристского, коммунистического, фашистского типов.

### Варианты бюрократического контроля

Суть такого контроля состоит не только в формализованности позиций, правил взаимодействия внутри силовых структур и вокруг них, но также в действительной реализации такого социального порядка, что возможен лишь благодаря внутреннему принятию участниками всех этих норм, т. е. «прилаженности» ментального порядка к социальному. Иными словами, бюрократичность не остается внешней навязанной средой, которую можно обходить и обманывать ради личных или клановых интересов, а проникает в установки и габитусы каждого военного и чиновника.

При сходстве всех бюрократий в аспектах формальности, иерархичности, обилию документации, инерционности и проч., они различаются в плане относительного веса *принципа власти* и *принципа права*. Грубо говоря, при разрешении конфликтных ситуаций главная роль принадлежит либо решениям начальства, либо выполнению всеми сторонами принятых законов, даже если это начальству не выгодно.

В авторитарных режимах на верхних этажах иерархии господствует принцип власти, однако для дисциплинирования средних и нижних слоев чиновников и военных правители и элиты нередко опираются на формальные правила, могут даже наказывать руководителей среднего звена «по закону». Всевозможные внутренние службы контроля, следственные комиссии, закрытые разбирательства осуществляют такие функции.

В консолидированных демократиях (обществах открытого доступа) обычно прокламируется верховенство права, подчиненность ему силовых структур и даже руководства высших уровней власти. При внешнем сходстве бюрократиче-



ского контроля (проверки, комиссии, расследования) различие состоит в большей открытости разбирательств в судах и трибуналах, в более широком участии в них представителей разных ведомств, оппозиции, прессы, чтобы вердикт определялся не начальственной волей, а законом. Собственно, в этом и состоит роль контроля над силовыми структурами со стороны гражданского общества, свободной прессы, независимой судебной системы.

Увы, далеко не всегда верховенство права удается реализовывать, особенно в закрытых от общественности сферах, таких как спецслужбы, секретные разработки, связи генералитета с высокими властными кабинетами, большим бизнесом и т.п. «Железный закон олигархии» Р. Михельса никому не удастся «отменить», поэтому его эффект всегда проявляется и растет при каждом ослаблении «сдержек и противовесов», правовой культуры участников, внешних социальных сил, защищающих принцип права.

### **Социальные и ментальные основы верховенства права в структурах государственного насилия**

Выборность шерифов, мировых судей, контроль со стороны оппозиционных партий, прессы, общественных организаций, возможность привлечения к суду любого военного или полицейского начальника — все эти характеристики отражают специфику институтов контроля над силовыми структурами в обществах открытого доступа.

Почему такой порядок вообще жизнеспособен? Ведь для ключевых участников, а именно для руководства, офицерского состава и рядовых исполнителей в армии, полиции, спецслужбах такие рамки, мягко говоря, не комфортны.

Действительно, бюрократические правила и правовые нормы представляют собой постоянно висящие угрозы санкций — лишения карьерных перспектив, должностей с прилагающимися благами, а то и свободы. Эти санкции накладываются прежде всего за незаконное применение полученных силовых ресурсов: оружия, подчиненных боевых отрядов, возможностей угрожать, использования личной или коммерческой информации, полученной благодаря особому доступу к ней, и т. д. Жажущий поставлен рядом с живительной влагой, а воспользоваться положением строго запрещено — кому же это понравится?

Если в какой-то степени в некоторых обществах правовой порядок действует и эффективно сдерживает незаконные поползновения обладателей силовых ресурсов, значит, помимо страха наказания есть иные и достаточно мощные ментальные факторы, смиряющие этих обладателей с этим порядком. Конечно же, речь должна идти о «правовой культуре», «правовом сознании», «ценностях», «идеалах», «сознательности», «чести», «совести», «чувстве долга» и подобных прекрасных вещах. Их природу составляют внутренние ментальные установки (и их комплексы — габитусы), которые отнюдь не «естественны», но должны специально воспитываться и поддерживаться в каждом поколении.

Механизмом формирования и укрепления установок являются опять же интерактивные ритуалы (Гофман, 2009; Collins, 2004), причем содержащие свои сакральные символы. Разумеется, моральная и правовая индоктринация в профессиональном обучении, душевспасительные речи и беседы играют свою роль. Нельзя отрицать, что такие ценности, как «демократия», «верховенство права», «справедливость», «конституция», становятся для некоторых руководителей, офицеров, рядовых силовых структур святынями, принятыми в качестве внутренних регулирующих поведение установок.

Более распространенным и надежным представляется воспитание в ритуалах установок идентичности с символами из смыслового гнезда «честная служба» и «выполнение долга». Весьма эффективными являются обсуждения случаев наказания за нарушения, особенно если они подтверждают справедливость норм и правомерность санкций.

Крепость таких установок во многом зависит от надежности их связи с «воздаянием»: доходом, качеством жизни, социальным статусом, которые считаются «достойными», а также с перспективами карьерного роста и достойного пенсионного обеспечения. Грубо говоря, таковы компенсации за вынужденное блокирование противоправных поползновений в применении своих силовых ресурсов.

Лучший способ использования политических амбиций генералов — открытые пути для институциональной борьбы за высокие статусные позиции депутатов, сенаторов, членов престижных и влиятельных комитетов и вплоть до высших постов верховной власти. Если «честная служба» для генералов, офицеров, исполнителей явно не конвертируется в открытость карьерных каналов, в достойные статусы и благосостояние, то и верность правовым принципам вполне может претерпевать коррозию.

Правовой принцип контроля очень непросто воплотить в жизнь, далеко не всегда это удастся. Даже налаженный механизм не может работать «сам собой» как заведенные часы, он требует внимания, отладки, особых способностей и установок у всех участников взаимодействий: от кадровиков до журналистов, судей и сотрудников неизбежных служб внутренней безопасности. При долгом успешном функционировании такого порядка контроля, при смене поколений следует ожидать повышения надежности. Сложность налаживания механизма и первоначальная хрупкость с лихвой компенсируются стабильностью при смене верховной власти, отсутствием страха произвола, психологической атмосферой надежности устоев и взаимного доверия.

Проведенный теоретический анализ развития структур и практик организованного насилия как одного из важнейших компонентов социальной эволюции позволил сформулировать общие закономерности и механизмы макроисторических изменений. Соответствующие положения отчасти основываются на классических макросоциологических, политологических парадигмах и ранее сделанных обобщениях, но, сохраняя гипотетический статус, нуждаются в систематической эмпирической проверке и уточнении.

## Литература

- Баунов А. (2023). Конец режима. Как закончились три европейские диктатуры. М.: Альпина Паблшер.
- Гофман Э. (2009). Ритуал взаимодействия: Очерки поведения лицом к лицу / Пер. с англ. Н. Н. Богомоловой, Д. А. Леонтьева. М.: Смысл.
- Джервис Р. (2022). Восприятие и неверное восприятие в международной политике / Пер. с англ. Т. Ованнисяна. М.: Центр анализа стратегий и технологий.
- Додни Д. (2003). Геополитика как теория: исторический материализм безопасности / Пер. с англ. Ю. Б. Вертгейм // Война и геополитика / Н. С. Розов (ред.). Альманах «Время мира». Вып. 3. Новосибирск: НГУ. С. 344–381.
- Карнейро Р. (2006). Теория происхождения государства // Раннее государство, его альтернативы и аналоги / Л. Е. Гринин (ред.). Волгоград: Учитель. С. 55–70.
- Коллинз Р. (2015). Макроистория. Очерки социологии большой длительности. М.: УРСС.
- Лахман Р. (2021). Государства и власть. М.: Дело.
- Манн М. (2018). Источники социальной власти. Том 1. М.: Дело.
- Модельски Дж. (2003). Объяснение долгих циклов в мировой политике: основные понятия // Война и геополитика / Н. С. Розов (ред.). Альманах «Время мира». Вып. 3. Новосибирск: НГУ. С. 455–485.
- Норт Д., Уоллис Дж., Вайнгаст Б. (2011). Насилие и социальные порядки. Концептуальные рамки для интерпретации письменной истории человечества. М.: Издательство Института Гайдара.
- Раев М. (2000). Регулярное полицейское государство и понятие модернизма в Европе XVII–XVIII веков: попытка сравнительного подхода к проблеме // Американская русистика. Императорский период / Д. Дэвид-Фокс (ред.). Самара: Самарский университет. С. 48–79.
- Розов Н. С. (2003). Война всегда рядом: сущность и происхождение массового организованного насилия // Война и геополитика / Н. С. Розов (ред.). Альманах «Время мира». Вып. 3. Новосибирск: НГУ. С. 75–120.
- Скиннер Б. (2007). Радикальный бихевиоризм. М.: Еврознак.
- Тилли Ч. (2009). Принуждение, капитал и европейские государства. 1990–1992 гг. М.: Территория будущего.
- Филиппов А. Ф. (2012). Полицейское государство и всеобщее благо: к истории одной идеологии. Статья первая // Отечественные записки. № 2. С. 328–340.
- Элиас Н. (2001). О процессе цивилизации. Социогенетические и психогенетические исследования. Т. 1, 2 / Пер. с нем. А. М. Руткевича. М.–СПб.: Университетская книга.
- Carneiro R. (1970). Scale Analysis, Evolutionary Sequences, and the Rating of Cultures. A Handbook in Cultural Anthropology / ed. R. Naroll & R. Cohen. New York: Natural History Press, Garden City. P. 834–871.
- Collins R. (2004). Interaction Ritual Chains. Princeton & Oxford: Princeton University Press.

- Collins R.* (2008). *Violence: A Micro-Sociological Theory*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Downing B. M.* (1992). *The Military Revolution and Political Change: Origins of Democracy and Autocracy in Early Modern Europe*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Handbook of Revolutions in the 21st Century. The New Waves of Revolutions, and the Causes and Effects of Disruptive Political Change (2022). Eds. J. A. Goldstone, L. Grinin, A. Korotayev. Springer Nature Switzerland.
- Malešević S.* (2017). *The Rise of Organised Brutality: A Historical Sociology of Violence*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Münkler H.* (2007). *Empires: The Logic of World Domination from Ancient Rome to the United States*. Polity Press.
- Parker G.* (1988). *The Military Revolution: Military Innovation and the Rise in the West*. New York: Cambridge University Press.
- Popitz H.* (1992). *Phänomene der Macht*. Tübingen: Mohr.
- Turchin et al.* (2022) Disentangling the Evolutionary Drivers of Social Complexity: A Comprehensive Test of Hypotheses // *Science Advances*. № 8(25). P. eabn3517.
- World Population Prospects: Summary of Results. United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2022). UN DESA/POP/2022/TR/NO. 3. URL: [https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa/pd/files/wpp2022\\_summary\\_of\\_results.pdf](https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa/pd/files/wpp2022_summary_of_results.pdf)

## The Growth of Organized Violence Structures and the Types of Control over them

*Nikolai S. Rozov*

Doctor of Philosophy, Professor, Chief Researcher of the Institute of Philosophy and Law of the Siberian Branch of Russian Academy of Sciences, Professor of the Department of International Relations of Novosibirsk State Technical University.

Address: Nikolaeva str., 8, Novosibirsk, Russian Federation 630090

E-mail: nrozov@gmail.com

Macro-historical changes in the practices and structures of organized violence have their own regularities that require theoretical analysis. It is shown that the steady growth and development of these structures are determined by the main trends of social evolution such as demographic growth, the expansion and complication of polities, and the development of technologies and weapons. The internal mechanisms of both the cyclicity and the direction and irreversibility of these changes are considered. The practices of organized violence have changed considerably, and many of those unacceptable today were once common, socially approved, and even obligatory. Hypothetical principles have been formulated for the emergence, spread, and termination of such practices, which are always connected with the nature and outcome of political struggle, as well as with the change of worldviews consisting of primarily moral, social and political values and corresponding normative principles. The inevitable costs of the growth of violence structures are associated primarily with the possibility of their leaders gaining political subjectivity and claims

to power, which is fraught with conspiracies, revolts, and similar phenomena that undermine social and political stability. These costs generate concerns of the rulers and elites to control the violence structures. Three basic forms of such control have been described as “ideal types”; those of patrimonial-charismatic control based on emotional commitment to the ruler, conflict-repressive control with divide-and-conquer strategies, and bureaucratic control involving subordination to formal rules. The last type includes two versions, with a reliance on the principle of power and on the principle of law. The social and mental foundations that support the rule of law in institutions and organizations of state violence are examined.

*Keywords:* organized violence, power structures, social evolution, practices of violence, control over violence structures, bureaucracy, patrimony, charisma, rule of law

## References

- Baunov A. (2023) *Konets rezhima. Kak zakonchilis' tri evropeiskie diktatury* [The End of the Regime. How Three European Dictatorships Ended], Moscow: Al'pina Publisher.
- Carneiro R. (1970) Scale Analysis, Evolutionary Sequences, and the Rating of Cultures. *A Handbook in Cultural Anthropology* (ed. R. Naroll & R. Cohen), New York: Natural History Press, Garden City, pp. 834–871.
- Carneiro R. (2006) *Teoriya proiskhozhdeniya gosudarstva* [A Theory of the Origin of the State]. *Rannee gosudarstvo, ego al'ternativy i analogi* [The Early State, Its Alternatives and Analogues] (ed. L. Grinin), Volgograd: Uchitel', pp. 55–70.
- Collins R. (2004) *Interaction Ritual Chains*, Princeton & Oxford: Princeton University Press.
- Collins R. (2008) *Violence: A Micro-Sociological Theory*, Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Collins R. (2015) *Makroistoriya. Ocherki sotsiologii bol'shoi dlitel'nosti* [Macrohistory: Essays in Sociology of the Long Run], Moscow: URSS.
- Dodny D. (2003) *Geopolitika kak teoriya: istoricheskii materializm bezopasnosti* [Geopolitics as Theory: Historical Materialism of Security]. *Voina i geopolitika. Al'manakh «Vremya mira», vyp. 3*, [War and Geopolitics. Almanac “The World Time”, Vol. 3.] (ed. N. Rozov), Novosibirsk, Novosibirsk State University, pp. 344–381.
- Downing B. M. (1992) *The Military Revolution and Political Change: Origins of Democracy and Autocracy in Early Modern Europe*, Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Elias N. (2001) *O protsesse tsivilizatsii. Sotsiogeneticheskie i psikhogeneticheskie issledovaniya, tt. 1, 2* [The Civilizing Process: Sociogenetic and Psychogenetic Investigations, Vol. 1, 2], Moscow — Sankt Petersburg: Universitetskaya kniga.
- Filippov A. F. (2012) *Politseiskoe gosudarstvo i vseobshchee blago: k istorii odnoi ideologii. Stat'ya pervaya* [The Police State and the Common Good: To the History of One Ideology. Article one]. *Otechestvennye zapiski*, no 2, pp. 328–340.
- Goffman E. (2009) *Ritual vzaimodeistviya: Ocherki povedeniya litsom k litsu* [Interaction Ritual: Essays on Face-to-Face Behavior], Moscow: Smysl.
- Handbook of Revolutions in the 21st Century. The New Waves of Revolutions, and the Causes and Effects of Disruptive Political Change* (2022) (eds. J. A. Goldstone, L. Grinin, A. Korotayev (eds), Springer Nature Switzerland.
- Jervis R. (2022) *Vospriyat' i nevernoe vospriyat' v mezhdunarodnoi politike* [Perception and Misperception in International Politics], Moscow: Tsentr analiza strategii i tekhnologii.
- Lachmann R. (2021) *Gosudarstva i vlast'* [States and Power], Moscow: Delo.
- Malešević S. (2017) *The Rise of Organised Brutality: A Historical Sociology of Violence*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Mann M. (2018) *Istochniki sotsial'noi vlasti. Tom 1* [Sources of Social Power. Vol. 1], Moscow: Delo.
- Modelsky J. (2003) *Ob'yasnenie dolgikh tsiklov v mirovoi politike: osnovnye ponyatiya* [Explaining long cycles in world politics: basic concepts] *Voina i geopolitika. Al'manakh «Vremya mira», vyp. 3*, [War and Geopolitics. Almanac “The World Time”, Vol. 3.] (ed. N. Rozov), Novosibirsk, Novosibirsk State University, pp. 455–485.
- Münkler H. (2007) *Empires: The Logic of World Domination from Ancient Rome to the United States*, Polity Press.

- North D., Wallis J., Weingast B. (2011) *Nasilie i sotsial'nye poryadki. Kontseptual'nye ramki dlya interpretatsii pis'mennoi istorii chelovechestva* [Violence and Social Orders. A Conceptual Framework for Interpreting Recorded Human History], Moscow: Institut Gaidara.
- Parker G. (1988) *The Military Revolution: Military Innovation and the Rise in the West*, New York: Cambridge University Press.
- Popitz H. (1992) *Phänomene der Macht*, Tübingen: Mohr.
- Raeff M. (2000) Regul'noe politseiskoe gosudarstvo i ponyatie modernizma v Evrope XVII–XVIII vekov: popytka sravnitel'nogo podkhoda k probleme [The Well-Ordered Police State and the Development of Modernity in Seventeenth and Eighteenth Century Europe: An Attempt at a Comparative Approach]. *Amerikanskaya rusistika. Imperatorskii period* [American Russian Studies. The Imperial Period] (ed. D. Devid-Foks), Samara: Samarskii universitet, pp. 48–79.
- Rozov N. S. (2003) Voina vsegda ryadom: sushchnost' i proiskhozhdenie massovogo organizovannogo nasiliya [War is Always Near: The Essence and Origin of Mass Organized Violence] *Voina i geopolitika. Al'manakh «Vremya mira», vyp. 3*, [War and Geopolitics. Almanac "The World Time", Vol. 3.] (ed. N. Rozov), Novosibirsk, Novosibirsk State University, pp. 75–120.
- Skinner B. (2007) *Radikal'nyi bikhevizm* [Radical Behaviorism], Moscow: Evroznak.
- Tilly Ch. (2009) *Prinuzhdenie, kapital i evropeiskie gosudarstva. 990-1992 gg.* [Coercion, Capital, and European States. 990-1992], Moscow: Territoriya budushchego.
- Turchin et al. (2022) Disentangling the Evolutionary Drivers of Social Complexity: A Comprehensive Test of Hypotheses. *Science Advances*, 8(25): eabn3517.
- World Population Prospects: Summary of Results. United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division* (2022). UN DESA/POP/2022/TR/NO. 3. URL: [https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/wpp2022\\_summary\\_of\\_results.pdf](https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/wpp2022_summary_of_results.pdf)

## Пути постижения русской культуры («Театральная рецензия»)

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ: Жукова О. А. (2022). ТВОРЧЕСТВО И РЕЛИГИОЗНОСТЬ В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ. ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. М.: Издательство «СОГЛАСИЕ». — 594 С. ISBN 978-5-907616-10-3

*Дмитрий Носов*

Кандидат философских наук, профессор, Школа философии и культурологии, факультет гуманитарных наук, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».

Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, Москва, Российская Федерация 101000

E-mail: dnossov@hse.ru

Объектом анализа в предлагаемой статье стала недавно вышедшая третья часть трилогии О. А. Жуковой, посвященной русской культуре, русской философии и философии русской культуры. Эта книга, как и предыдущие части трилогии, содержит обширный, в немалой степени неизвестный материал об исследуемой области. Ее достоинство, помимо богатства содержащегося в ней фактического материала, еще и в том, что она заставляет читателя проникнуться интересом к рассматриваемым сюжетам, но в то же время и провоцирует на внутреннюю полемику с автором книги, порождает желание обсудить многие высказанные утверждения, возможно, вступить в дискуссию. Краеугольным камнем культурологической концепции Жуковой является тезис о принципиальной обусловленности всех процессов в развитии русской культуры и русской философии восточным христианством. В одних случаях — согласно этой концепции — эта обусловленность прямая и непосредственная, в других — косвенная, через диалектически противоречивое снятие. Автор статьи с указанным тезисом не всегда готов согласиться. Отдельным объектом обсуждения в статье становятся особенности полиграфии рассматриваемой книги.

*Ключевые слова:* русская философия, православие, религиозность, абсолют, абсолютный деятель, художественный образ, сакрализация, секуляризация, десакрализация, персонифицизм, провокативность

Театр начинается с вешалки и завершается, кстати говоря, ею же. Книга начинается с обложки и завершается ею же.

На обложке нас встречает картина Михаила Васильевича Нестерова «Отцы пустынноики и жены непорочны»<sup>1</sup>. Полотно было создано в 1932 году. 1917 год уже позади, 1937 год еще впереди. Но тонкие и лишенные листьев северные березки очень точно передают специфику времени и непростой судьбы России в XX веке (которой — судьбе России в XX веке — и посвящена по большому счету рассматриваемая книга). Так что можно сказать, живописная цитата хорошо предваряет и предопределяет восприятие авторского текста, настраивает на нужный лад.

1. Обе предыдущие книги О. А. Жуковой, вышедшие в этом же издательстве, также открывались (интересно, обложка книги «открывает» или «прикрывает» книгу?) картинами Нестерова: «Философия русской культуры. Метафизическая перспектива человека и истории» (2017) — картиной «Видение отроку Варфоломею» и «Опыт о русской культуре. Философия истории, литературы и искусства» (2019) — картиной «На Руси. Душа народа».

Но если еще учесть, что сама картина Нестерова заставляет нас вспомнить одно из поздних стихотворений А. С. Пушкина с тем же названием «Отцы пустыньники и жены непорочны»<sup>2</sup> — написанное практически за столетие до живописного полотна, — то обложка книги оказывается еще более многозначной.

...Владыко дней моих! дух праздности унылой,  
Любоначалия, змеи сокрытой сей,  
И празднословия не дай душе моей.  
Но дай мне зреть мои, о боже, прегрешенья...

Я не силен в традиции церковного словоупотребления, может быть, в тех контекстах слово «любоначалие» имеет более строго определенные коннотации, но мне представляется, что в нем отражены две дурные «страсти» нашего народа. С одной стороны, готовность смотреть на любого начальника как на ниспосланного богом для окормления нас, сырых и убогих, а с другой стороны, при получении хоть малой власти над кем-то готовность «любить» свой статус начальника и относиться к тем, кто ниже, как к — в крайнем выражении — «лагерной пыли», и стараться всемерно унижить нижестоящего.

Посмотрим, найдут ли эти мои мысли, навеянные обложкой, соответствие себе в тексте книги...

Сдадим в театральный гардероб свой макинтош и отправимся смотреть на театральное действие, разворачивающееся на подмостках — страницах книги.

Содержание этого монументального труда заставляет с почтением склонить главу перед масштабом замысла автора и перед трудолюбием и самоотверженной работой, проделанной Ольгой Анатольевной Жуковой, доктором философских наук, профессором, автором многих и многих книг и статей, посвященных основной — любимой — теме: истории русской культуры во всех ее проявлениях. Нет нужды говорить об актуальности цели, стоящей перед рассматриваемым текстом во времена «культуры отмены», грозящей отменить все созданное на русском языке. Книга «Творчество и религиозность в русской культуре» «...развивает *идеологическую* философско-культурологическую концепцию, используемую при описании и интерпретации русской культуры, для которой характерно особым образом выстраиваемое в истории соотношение высоких духовных и интеллектуальных практик — религии, искусства, литературы и философии... В книге будет рассмотрен творческий опыт философов, писателей, а также идеи и просветительские практики общественных деятелей, их усилия по созиданию отечественной культуры и развитию социума, которые оказали огромное влияние на интеллектуальное, моральное и духовное самочувствие русского общества, на способ его понимания самого себя и своего места в истории» (с. 5–6).

---

2. Само же данное стихотворение является откликом на «Великопостную молитву», приписываемую Ефрему Сирину, христианскому богослову IV века.



Мне кажется, задача непредвзятого анализа специфики русской культуры, того, что порождает возможность говорить о ней как об «особой цивилизации» чрезвычайно важна как сегодня, так и в ближайшие десятилетия. Что наделяет русскую культуру «особостью» — державничество и имперскость или традиции исихазма и глубокая восточно-христианская религиозность? В этом контексте рассматриваемая книга имеет все основания рассчитывать на интерес к проведенному ее автором исследованию и найденным ею ответам.

О. А. Жукова подходит к объекту своего исследования с гегелевским размахом, что уже само по себе вызывает глубокое уважение к интеллектуальной отваге автора. «Возникает вопрос: возможно ли, в опоре на научные методы познания, предложить теоретически фундированную философскую интерпретацию русской культуры с точки зрения интересующей нас линии взаимодействия религиозного, художественного и философского опыта? Эту взаимосвязь, определившую значимое направление в преемственности творческого опыта представителей культуры России, можно увидеть в различных видах литературы, искусства и философской мысли. Насколько возможно сделать предметом философского осмысления и культурологического анализа религиозное содержание как самой культуры, так и опыта личности, интеллектуально-духовным ядром которой на протяжении многих веков выступала православная традиция? Предмет исследования предельно многогранен, в силу чего может быть изучен в рамках философии культуры и религии, эстетики и этики, культурной и интеллектуальной истории, искусствоведения и богословия, философии и психологии творчества» (с. 11).

Забегу вперед и сразу же скажу, что вот это чувство уважения к масштабности замысла (и свершения!) не покидает зрителя (читателя) до самого Эпилога.

Знакомство с «Программой» готовит зрителя (читателя) к тому, что его ожидает двухактная пьеса с прологом и эпилогом. Первый акт состоит из шести сцен, второй — из семи. Количество сцен в каждом из актов показывает, что спектакль будет длительным и потребует внимания и сосредоточенности.

Пролог (Введение), если посмотреть на него под определенным углом зрения, раскрывает все содержание пьесы (книги). Все фундаментообразующие мысли и интенции автора высказаны уже здесь. Это, конечно же, ни в коем случае не означает, что не стоит читать саму книгу, но позволяет понять, почему и зачем «на стене висит ружье». А уже все богатство сюжета, все нити интриги автор раскроет перед нами в актах и сценах спектакля.

Что же мы узнаем из Пролога?

Автор замахнулся даже не на «Вильяма нашего Шекспира», а на исследование той линии «преемственности русской культуры, в которой выражен принцип взаимообмена и смыслового взаимодействия творчества и религиозности как связанных, но могущих иметь автономный опыт существования культурных систем, обладающих собственными идеально-ценностными представлениями» (с. 7). Она утверждает, что «нам представляется допустимым предположение, что с философско-методологической точки зрения продуктивно рассматривать твор-

чество, ориентированное на новации, и религиозную веру, определяемую традицией, как две стороны единого жизненного опыта, онтологически имеющие общий исток. Свою задачу мы видим не в том, чтобы акцентировать противостояние творчества и религиозного опыта, что стало привычной оппозицией, а в том, чтобы обсудить возможность их синергии в философии. Такой подход продиктован, на наш взгляд, спецификой российской истории, которая в истоке формировалась как культура веры» (с. 15).

Здесь мне видится некоторая проблема. Что есть «исток российской истории»?

Деяния древнерусских князей (даже если их рассматривать лишь начиная с Владимира Крестителя)? Но что мы про них знаем, кроме историй междоусобиц и братоубийств? А агиографические сочинения о них если и были написаны, то спустя полтысячелетия. Насколько это надежный источник знаний?

Творения монахов-книжников, летописцев, митрополита Киевского Илариона? Да, позднее их произведения вошли в обязательный круг чтения образованных людей XIX века, но можно ли их считать «истоком российской истории» в более ранний — домонгольский — период? Как отмечал академик Б. И. Раушенбах, христианизация при Владимире, как и реформы в одежде при Петре I, затрагивали прежде всего социальные слои, приближенные к правителю (дружина Владимира, дворянство Петра), и оставляли «в покое» всех, кто не входил в политическую элиту (крестьян никто в Днепре не крестил, купцам никто бороды не брил) (Раушенбах, 1988: 231–232).

Возможно, именно трудность приписывания религиозного характера культуре домонгольской Руси (если не сводить ее к каменному строительству — строительству церквей), а также периоду зависимости от Орды, приводит к тому, что в книге Жуковой всему, что предшествует XVI веку, уделена всего пара страниц — страницы 43 и 44.

А если мы «исток российской истории» начинаем искать в XVI веке, то можно ли его называть истоком? Однако с тем, что русская культура XVI века — это культура религиозная, я целиком и полностью согласен.

Опора на *идеалоцентрическую* философско-культурологическую концепцию позволяет Жуковой представить исторический опыт национальной культуры как динамический процесс «формирования, трансляции, освоения и развития определенного набора идей и идеалов, репрезентирующих принципы отношения человека и общества к себе самому, природному и культурному миру, а также к реальности трансцендентного» (с. 5).

И далее: «Наш тезис заключен в том, что собственная природа человеческих целей заключается в преодолении пределов возможного опыта. ... человек не может не оценивать свою способность трансцендировать за положенные ему природой пределы, так как именно в этом находит свое отличие от окружающих его живых существ, ограниченных биологической программой. В этом случае самооценка человека возможна лишь относительно Абсолютного деятеля, внеположного ему и способного преодолевать любые пределы. Здесь и появляется проблема абсолютной меры, относительно которой человек и может себя оценивать. Как нам

представляется, генезис идеи трансцендентного в культурной истории человека связан именно с данной возможностью его самооценки относительно Абсолюта» (с. 14).

Это последнее утверждение представляется мне принципиально важным для понимания всего монументального труда Ольги Анатольевны. Дело в том, что (насколько я знаю) идея реально существующего «Абсолютного деятеля» присуща только тем культурам, которые вырастают на почве авраамических религий. Ни конфуцианство, ни даосизм, ни синтоизм такового не знают. Известный российский китаевед А. А. Маслов относительно религиозных представлений древних китайцев пишет: «Структурированной религии не было, как до конца она не возникла и в значительно более поздний период. Был лишь набор приемов общения с духами, знание техники экстатического транса и визуализации духов. По существу, места для веры, на которой зиждется всякая религия, не было, существовала лишь своеобразная дверь, через которую можно было проникнуть в мир запредельного» (Маслов, 2006: 153–154). Точно так же не является «Абсолютным деятелем» Брахман ведической религии (и всех религий, вырастающих из этого корня).

А уж Зевса (и даже Хроноса), Митру, Озириса, Ахура-Мазду в роли такового Абсолюта мы точно помышлять не будем.

Следовательно, утверждение, что «человек не может не оценивать свою способность трансцендировать за положенные ему природой пределы... самооценка человека возможна лишь относительно Абсолютного деятеля», относится только к человеку авраамических религий, а если посмотреть на текст всей книги О. А. Жуковой в целом, то и более узко — к человеку европейской — христианской — культуры.

Однако если учесть, что книга посвящена творчеству и религиозности в русской культуре, то автор производит еще большее сужение угла зрения — русская культура в его интерпретации оказывается культурой прямо или косвенно православной по сути своей.

И в самом деле, по признанию автора:

«Выделим несколько основных положений, составляющих концептуальную основу исследования и раскрывающих его логику. Во-первых, присущая культуре России в течение всей ее истории тенденция к сохранению ценностной доминанты, связанной с восточно-христианской традицией, с историко-философской точки зрения объясняется способом усвоения этой традиции в сложившемся и образно оформленном виде, что делает *диалектику целостности образа* исходным пунктом для анализа преемственности творческого опыта» (с. 22).

«Во-вторых, в русской культуре, исторически связанной с восточным христианством, доминирует ориентация на творческое осуществление целостности образа, сохраняющего интуицию трансцендентного в художественном и интеллектуальном опыте. В секулярной версии творчества религиозный смысл может быть удержан, если диалектика образа выступает основанием художественной и/или философской (эстетической) рефлексии.

В-третьих, творчество выступает как доминирующая установка самосознания человека, ориентированного религиозной культурой России, как порождающая модель существования человека в культуре, имеющая смысл спасения (в рамках религиозного мировоззрения) и оправдания творчеством (для секулярного мировоззрения)» (с. 23).

Внимательное отношение к Прологу помогает нам понять, чего мы можем и чего не можем ждать от действующих лиц пьесы. Если «диалектика образа выступает основанием художественной... рефлексии», то, следовательно, по мысли автора, любое произведение светского характера «удерживает» религиозный смысл творчества. (На минуту задумался, удерживают ли религиозный смысл романы «Жюстина» и «Жюльетта», но тут же понял: таки да, удерживают! Хотя и не православный.) Поэтому произведение любого талантливого автора (способного создавать «диалектику образа»), написанное на русском языке, будет естественным образом укладываться в предложенную Жуковой «гегелевскую» схему русской культуры.

При таком подходе вопрос взаимовлияния религиозности и творчества ставится автором как философская проблема и решается в предметном поле философии русской культуры, истории отечественной мысли. Автор указывает, что ее интересует «диалектическая сопряженность» творчества и религиозности, «на разных этапах истории Руси/России принимающая вид своего рода эпистемического иерархического соотношения», а также культурная обусловленность философии, которая была, по мнению Жуковой, понята русскими авторами рубежа XIX–XX веков как развитие традиции религиозности в ее взаимосвязи с высокими практиками культуры — искусством, литературой, философией (с. 8).

Автор описывает занимающий несколько веков процесс диалектического развития русской культурной традиции: сакрализации — секуляризации — ресакрализации культуры и помещает данное описание в основание теоретической модели ее исторической динамики (с. 20–21). Обращает на себя внимание тот факт, что этот процесс описывается как «естественно» текущий по своему руслу. Русло может быть извилистым, но река все равно будет течь в ту же сторону — к морю. Более широко распространено представление о непредзаданности исторического и культурного процессов. Так, например, отечественный исследователь А. А. Кара-Мурза пишет: «Для долгой истории цивилизации в России, динамику которой я определяю, как “преемственность через катастрофы”, выбор цивилизационного пути — это ситуация, которая имела место не единожды, и всегда она была болезненна и даже травматична для современников. Ибо “выбор цивилизации” — это ведь одновременно и обрушение, иногда очень жесткое, порой беспощадное, альтернативных цивилизационных возможностей» (Кара-Мурза, Шарова, 2021).

Интерпретируя историю русской культуры как диалектически единый (хоть и противоречивый) процесс взаимовлияния и взаимодействия религии, искусства и философии, Ольга Анатольевна совершает излишне, с моей точки зрения, сильное обобщение. Противоречие между ними представляется ею «как их взаимодей-

стве, выступающее и основанием, и содержанием истории их взаимоотношений. Данное противоречие или взаимодействие реализуется здесь в виде системы опосредствований, или — в виде оформившейся целостности. А в качестве таковой она есть индивид как результат, вобравший в себя содержание собственной истории: *индивид и есть целостность, репрезентирующая смысл своей истории*»

Давайте вспомним происхождение слова «индивид». Оно было изобретено Цицероном для перевода на латинский язык греческого слова «атом», то есть «неделимый». Если мы представим себе процесс диалектического взаимодействия религии-искусства-философии, проходящий через этапы сакрализации-секуляризации-ресакрализации, как целостность, то мы сможем «узреть мысленным взором» достаточно сложную молекулу, но никак не атом. А вот как эта молекула «репрезентирует смысл своей истории» — этого я (вероятно, в силу слабости своего образного мышления) воОБРАЗить не могу.

В Прологе зритель (читатель) сможет познакомиться с основными теоретическими положениями автора, методологией исследования и его теоретическими посылками (с. 22–31).

Но вот начинается собственно действие пьесы и на сцену последовательно выходят основные и второстепенные персонажи.

В первом акте (Часть 1. Историческая динамика русской культуры: религиозные ценности, общественные идеалы и культурно-политические практики) актеры активно действуют, во втором же акте (Часть 2. Самосознание русской культуры: творчество и религиозность в художественной и философской традиции) действие утрачивает бурную динамику, повзрослевшие персонажи впадают в задумчивость и пытаются осмыслить то, что было свершено и сотворено в первом, и что дальше со всем этим делать.

Сразу отмечу, что с точки зрения Жуковой, эта трагедия все-таки оптимистическая. Одна из целей автора — противостоять дискредитации метафизических систем «прошлого» и показать не только возможность исследовательской работы с данной традицией, но и ее культуротворческий потенциал в современности — способность онтологических, гносеологических, этических и художественно-эстетических решений (см.: с. 35–37). «Ставя проблему таким образом, мы стремимся задать новое направление историко-философских и культурфилософских русских исследований, выделить в отдельную предметную область творчество и религиозность в их онтологической, эпистемической, культурно-исторической соотнесенности и, подчеркивая междисциплинарный статус данной проблемы, побуждаем к объединению усилий философов, культурологов, искусствоведов, теологов в круг сформулированной нами актуальной *метатемы*» (с. 37).

Описывая исторические трансформации русской культуры, автор последовательно подчеркивает ее неразрывную связь с православием: «смысловая обусловленность религии, искусства и философии определена в культурной истории России процессом их взаимодействия, основанием которого выступает оформившаяся в истории опосредствованная целостность высоких практик культуры

(знаковой природы), изначально представленная в виде непосредственной целостности мира, Бога (в религиозном сознании), природы, человека и его культуры» (с. 41).

Тем самым вполне явным образом Ольга Анатольевна редуцирует культуру Древней Руси к культуре монахов-книжников, упуская из виду и былины, и «Слово о полку Игореве», и описание жизни князя Владимира в «Повести временных лет».

Когда Илья Муромец поссорился с Владимиром Красно Солнышко, то

«И тут-то Илья да раззодорился,

И тут-то Илья да розретивился.

Как скоро натянул он свой тугой лук,

И клал тут стрелочку каленую,

И тут-то сам Ильюшенька роздумался:

“А что мне молодцу буде поделати?

А я нынь молодец е разгневанной,

А я нынь молодец е раздраженной”.

Как он-то за тым тут повыдумал,

А стрелил-то он тут по божьим церквам,

А по тым стрелил по чудным крестам,

А по тым маковкам золоченым.

Да пали тут тыи маковки,

Да пали тут, опали на сыру землю...» (Русский фольклор. Эпическая поэзия, 1935: 80–81).

И князь Игорь характеризуется в «Слове...» весьма примечательно:

«А невеселая година настала:

уж степь-пустыня

Игорево войско прикрыла!

Сгубила усобица

силу Дажьбожья внука...» (Слово о полку Игореве, 1970: 96).

А про Красно Солнышко читаем в «Повести временных лет»:

«Был же Владимир побежден похотью, и были у него жены: Рогнеда, которую поселил на Лыбеди, где ныне находится сельцо Предславино, от нее имел он четырех сыновей: Изяслава, Мстислава, Ярослава, Всеволода, и двух дочерей; от гречанки имел он Святополка, от чехини — Вышеслава, а еще от одной жены — Святослава и Мстислава, а от болгарыни — Бориса и Глеба, а наложниц было у него 300 в Вышгороде, 300 в Белгороде и 200 на Берестове, в сельце, которое называют сейчас Берестовое. И был он ненасытен в блуде, приводя к себе замужних женщин и растляя девиц». И летописец вполне «гордится» своим героем, сопоставляя его с царем Соломоном: «Был он такой же женолюбец, как и Соломон, ибо говорят, что у Соломона было 700 жен и 300 наложниц» (Повесть временных лет, 1999: 174).

Да и в конце XIX — начале XX века религиозность значительной части российского народа была уже не столь существенной. Часть интеллигенции была

настроена весьма нигилистично по отношению к православию<sup>3</sup>, и общим местом в воспоминаниях бывших гимназистов этого периода было отвращение к урокам Закона Божьего, толкавшим их на стезю атеизма. Будущий академик-кораблестроитель А. Н. Крылов делился воспоминаниями о своем преподавателе Закона Божьего: «Протоиерей, настоятель собора, учил нас закону божию по катехизису Филарета, старого издания, в котором к тексту: “влаstem придержащим повинуйтесь и покоряйтесь” при переперечислении властей, которым надлежит покоряться, значилось: “крепостные своим помещикам и господам”. Крепостное право было отменено в 1861 г., но в севастопольской лавке более нового издания катехизиса не было, и мы смущали попа вопросом, как это “вера” была изменена царским указом. Обыкновенно следовал ответ: “Стань до конца урока в угол на колени, учи, как напечатано, а кто еще будет спрашивать, тому уши надеру”» (Крылов, 1979: 58). В общем, не случайно в 1916 году Синод в определении № 676 признал, что началось массовое отпадение от веры, что с «успехом» продемонстрировал «простой народ» в послереволюционные годы, разграбляя церкви и монастыри и глумясь над священнослужителями.

Но не будем слишком требовательны к автору, интерес которого «нацелен» в первую очередь на философское осмысление путей развития русской культуры, ведь со всей историей домонгольской (да и периода зависимости от Орды) Руси проблем больше, чем не вызывающих сомнений фактов. Поэтому воздадим должное проделанной автором работе по анализу процессов в художественной культуре Московской Руси, которые противопоставляются тому, что происходит в европейской культуре: «в то время, когда западная культура переживает процесс автономизации и индивидуализации творчества в рамках общей тенденции секуляризации, русская культура еще раз “возвращается” в традицию “культуры веры” с ее внелогическим способом узрения и постижения предельного предмета познания в исихастском дискурсе Божественных энергий. В этом смысле русское возрождение, сопоставимое по времени с европейским Ренессансом, — это эпоха прп. Сергия Радонежского и творчества иконописцев круга прп. Андрея Рублёва» (с. 65).

Здесь высказана нетривиальная мысль: время культуры — это время личного существования. С моей точки зрения, это небесспорный принцип, но Ольга Анатольевна исходит из того, что это важный философский аспект толкования культуры, истории и творческого опыта человека как события культуры. Она пишет: «Потому важной в раскрытии сформулированной нами проблемы оказывается задача создания модели исторической динамики культуры России, которая в методологическом плане предстает как типология творческой личности (курсив мой. — Д. Н.). Она позволяет оценить изменения, происходящие в сфере культуры на уровне целей, идеалов, смыслов и значений творчества. Существенно для нашего исследования, что изменения исторического типа творческой личности (и самой культуры) коррелятивны изменениям, происходящим в содержании

---

3. Можно вспомнить стихотворение Н. М. Минского «Последняя исповедь».

образа, в котором выражен опыт непосредственного восприятия Бога, природы, человека» (с. 67). Вызывает вопросы предпринятая персонификация «культуры России» в онтологически реальную личность, что-то в этом подходе напоминает мне давно известный социальный органицизм, только в данном случае это скорее некий культурный «персонифицизм».

Во второй сцене (главе «Социокультурная динамика русской религиозности: от культуры средневекового традиционализма к постсекулярному обществу») внимание автора сосредоточено на религиозной составляющей отечественной культуры от ее истоков до середины второго десятилетия XXI века. «Не имевшие длительной интеллектуальной традиции... русские мастера... художественный образ (архитектурный, живописный, музыкальный) понимали как способ постижения высших истин, приписывая тем самым художественному образу гносеологическую функцию»<sup>4</sup> (с. 73). Существенную часть сценического времени занимает такое любопытное действующее лицо, как подмосковный Николо-Угрешский монастырь, история которого, по мысли автора, отражает культурную и политическую историю России.

Действующие лица последующих сцен (Глава 3. Идеалы национальной литературы и миссия русского писателя; Глава 4. Религиозно-творческие начала общественной жизни как проблема русской политической мысли; Глава 5. Ценности русского Просвещения и практики общественного строительства; Глава 6. Национальный идеал культуры и политики) выглядят более привычным, чем монастырь, образом — Герцен, Достоевский, Стахович, Эрн, Караулов, Панина, Тыркова-Вильямс, Струве.

Обширный фактический (зачастую почти позабытый и исчезнувший с горизонта общеизвестного) материал, обобщенный и осмысленный автором в указанных главах, по большому счету проявляет одну основную мысль — развитие и трансформации общественно-культурного идеала в российском контексте. Все эти главы заставляют проникнуться огромным уважением к энциклопедическим познаниям автора, ее способности охватывать единым взором большие исторические процессы и вычленять существенное в них. А существенным, с точки зрения Жуковой, является прежде всего принадлежность русской культуры к традиции восточного христианства.

Второй акт (Часть 2. Самосознание русской культуры: творчество и религиозность в художественной и философской традиции) подразделяется на следующие сцены: Глава 1. Творчество и религиозность как эпистемологическая проблема; Глава 2. Свобода мысли и университетская философия; Глава 3. Религиозное самосознание художника и смысл творчества; Глава 4. В перспективе совершенства; Глава 5. Ренессансный идеал творчества в культуре Серебряного века; Глава 6. Поэзия как метафизика бытия и истории; Глава 7. Жизнь как событие творчества. Действующими лицами в этих сценах выступают Головин, Толстой, Бердяев, Карсавин, Зайцев, Мандельштам и Пастернак.

4. Сложно сказать, что происходило в умах и душах древнерусских мастеров — зодчих, ваятелей, музыкантов — но про «гносеологическую функцию», как мне кажется, они вряд ли думали.



Автор приходит к выводу: «История культуры России как “закон памяти” актуализирована религиозной традицией, что... позволяет выделить особую линию преемственности творчества, ориентированного взаимодействием искусства и религии, в которой художественное творчество предстает как особый способ самотрансцендирования в стремлении к Абсолюту, а религиозный опыт личности приобретает вид эстетического (философско-эстетического, философско-богословского) познания. Следовательно, анализ художественных и философских текстов, а также творческой эволюции создателей русской культуры должен выявить, с одной стороны, определяющие религиозные концепты, которые выступают смыслопорождающими моделями произведений культуры, с другой — соотношение свободного опыта мысли и религиозных ценностей, значимых для их морального и эстетического сознания» (с. 327).

Не вижу сейчас смысла более детально описывать каждую из сцен второго акта: читатель по именам действующих лиц может себе довольно живо представить то, что происходит на театральных подмостках соответствующих глав. Отмечу лишь, что путеводной звездой, за которой следует мысль автора этой пьесы, является смысловая обусловленность восточным христианством «религиозного и секулярного самосознания в духовно-интеллектуальном и художественном опыте культуры России» (с. 498).

В Эпilogue (Заключение. Философия русской культуры как философия творчества и интеллектуальная история России: исследовательская перспектива) автор подводит итоги исследования, дает описание концептуальных и методологических средств, им разработанных для изучения, реконструкции и интерпретации наследия интеллектуальной и художественной культуры России. Прописывает те теоретические положения, которые, по его мнению, могут стать основаниями для создания критической истории русской мысли.

Да простится мне обширная цитата, представляющая квинтэссенцию Эпilogue: «В результате проведенного исследования, с помощью оригинальных методологических подходов и способов тематизации отечественной философии и культурной истории России нам удастся: 1) определить архетипические свойства русской мысли в ее взаимосвязи с религиозной, политической и художественной традицией отечественной культуры, 2) осуществить аргументированную философскую критику исторического опыта России с точки зрения формулирования общественных идеалов и борьбы за них субъектов творчества — представителей общественной и религиозно-философской мысли, 3) выявить генезис и способ преемственности форм философского творчества на уровне духовно-этических и эстетических ценностей и идеалов, 4) разработать динамическую модель культурной истории России через философскую проблематизацию способа наследования традиций в трех формах: консервации (включая регрессивный вектор архаизации и рутинизации), реформирования (радикальной трансформации и/или прямого запрета старых культурных практик, ценностей и идей) и творческой преемственности и переосмысления тра-

диции, 5) охарактеризовать специфичную для истории русской культуры инверсионную логику возвращения к неопределенной целостности религиозности и творчества в смысловой взаимообусловленности художественного, религиозного и философского опыта с точки зрения диалектики изменения/сохранения интуиции целого, выраженного образом Абсолюта — трансцендентного Иного, 6) доказать, что идеалообразующее ядро русской культуры структурирует идея трансцензуса личности, преемственно воплощаемая в религиозном и секулярном модусе творческого опыта, 7) расширить поле отечественной философии, восстановить важные пропущенные структурные звенья в интеллектуальном процессе, ввести новые имена в российский историко-философский текст, такие как В. А. Караулов, А. В. Головнин, С. В. Панина, 8) в итоге создать модель интерпретации культурной и интеллектуальной истории России в преемственном развитии, рецепции и критике ее идеалообразующих концептов — личности, свободы, общественного идеала, религиозного спасения и культурного творчества» (с. 519–520).

Вслед за Ольгой Анатольевной постараюсь подвести и свои итоги — итоги размышлений над прочитанным масштабным текстом. Повторюсь, вызывает неподдельное уважение титанический замысел (и столь же титаническое воплощение!) автора «Творчества и религиозности...», введение им в научный оборот сюжетов и персоналий, до того не привлекавших к себе внимание исследователей русской культуры и философии.

Хочу отметить и такое сугубо позитивное (с точки зрения Карла Поппера) свойство рассматриваемого труда, как его «провокативность». Со многими высказанными автором идеями хочется спорить, приводить к ним контраргументы, не соглашаться. Очевидно, что это удел любых новых подходов, неожиданных умозаключений, не ставших еще общепотребительными методологическими приемами. Думаю, что и сам текст моих размышлений над книгой демонстрирует это желание вступить с О. А. Жуковой в теоретическую полемику, поспорить-порассуждать на предмет отдельных ее установок и умозаключений.

Про наиболее значимое мое расхождение с автором книги я уже писал — это стремление выстроить весь анализ русской культуры и философии вокруг религиозного стрежня. Могу уподобить это попытке разложить с помощью призмы луч света не на все цвета радуги, а, скажем, только на пять из них, а два других просто «срезать».

Есть и более частные случаи. Например, мне представляется совершенно оправданным интерес Ольги Анатольевны к таким фигурам, как Василий Андреевич Караулов и Ариадна Владимировна Тыркова-Вильямс и включение их в число анализируемых персоналий, но вызывает вопросы глава, посвященная Александру Васильевичу Головину. Безусловно, этот высокопоставленный чиновник — министр народного просвещения в 1861–1866 годах — оставил свой след в отечественной истории, но все же масштаб его влияния на историю русской культуры не столь велик, как других героев книги Жуковой.

Но, еще раз подчеркну, провокативность научного текста — это его знак качества. И на сформулированный в начале рецензии вопрос «Что наделяет русскую культуру “особостью” — державничество и имперскость или традиции исихазма и глубокая восточно-христианская религиозность?» рассматриваемая книга дает свой ответ — православная духовная традиция.

И напоследок несколько критических замечаний уже не по тексту книги, а о самой книге как продукте полиграфическом и издательском. Прежде всего следует сказать, что в тексте много «корректорского» брака: опечаток и — что хуже — орфографически неверных переносов слов и ненужных запятых, затрудняющих понимание написанного. Такое впечатление, что разные фрагменты текста прошли через руки разных корректоров — то на протяжении сотни страниц текст чистый, все переносы правильные, а потом на двух десятках страниц россыпь опечаток и неверных переносов.

Проблемы издательской работы над рукописью автора начинаются прямо с «Оглавления». Дело в том, что на 3-й и 4-й страницах книги находится «Содержание». А ведь издательские сотрудники должны знать, что если под обложкой скрывается целостное произведение одного автора, разделенное на части, разделы, главы, параграфы, то в книге должно быть «Оглавление». А вот если в одном томе собраны работы разных авторов или различные (различные!) произведения одного автора (например, пьесы Чехова), то в таком случае мы будем иметь дело с «Содержанием». Но книга «Творчество и религиозность в русской культуре» принадлежит перу одного автора — О. А. Жуковой.

Следовательно, мы однозначно имеем дело с тем, что должно называться «Оглавлением». Но стоит отметить, что это в традициях столь близкой сердцу автора русской культуры, ведь еще в 106-м фрагменте «Мыслей и афоризмов» Козьмы Пруткина было сказано: «Если на клетке слона прочтешь надпись “буйвол”, не верь глазам своим».

Однако здесь же (в этом самом «Содержании») нас встречает еще одна неожиданность, не поверить в которую наши глаза не могут. На 13-й строчке страницы 4 мы встречаем фамилию и инициалы «О. Э. Мандельштам» (ну и номер страницы, на которой начнется посвященная ему глава). И это единственная строчка в «Содержании» (да и во всей книге), которая набрана не кеглем петит (8 пунктов), а кеглем боргес (9 пунктов). Стоило бы об этом задуматься: может, Мандельштам более значимый автор в истории русской культуры, чем Герцен, Достоевский, Толстой и Бердяев, раз он единственный удостоился не петита!

Театр начинается и кончается вешалкой. Книга начинается и заканчивается переплетом (обложкой). И вот с ней большие проблемы: еще один недостаток книги как продукта типографии — она не предназначена для чтения, ее невозможно открыть и сосредоточиться на авторском тексте. С применением немалых физических усилий ее приходится удерживать в открытом состоянии, и как следствие этого физического насилия над книгой, к моменту, когда она прочитана «от корки

до корки» (в буквальном значении этого слова), эта самая корка уже оказывается лопнувшей, переплет выглядит так, будто он попал к нам в руки не из книжного магазина, а со склада макулатуры.

Но! Полиграфические недостатки ни в коем случае не омрачают впечатление от богатого и «густого» текста научного исследования.

## Литература

- Жукова О. А. (2022). Творчество и религиозность в русской культуре. Философские исследования. М.: Согласие.
- Жукова О. А. (2019). Опыт о русской культуре: философия истории, литературы и искусства. М.: Согласие.
- Жукова О. А. (2017). Философия русской культуры: метафизическая перспектива человека и истории. М.: Согласие.
- Кара-Мурза А. А., Шарова В. Л. (2021). Новая российская цивилизация будет цивилизацией Пушкина (к вопросу о «цивилизационном выборе») // Полилог/Polylogos. Т. 5. № 1. URL: <https://polylogos-journal.ru/s258770110014153-0-1/>.
- Козьма Прутков (1974). Плоды раздумья. Мысли и афоризмы. Пермь: Пермское книжное издательство.
- Крылов А. Н. (1979). Мои воспоминания. Ленинград: Судостроение.
- Маслов А. А. (2006). Китай: укрощение драконов. Духовные поиски и сакральный экстаз. М.: Алетейя.
- Повесть временных лет. (1999). СПб.: Наука.
- Раушенбах Б. В. (1988). Сквозь глубь веков // Как была крещена Русь. М.: Политиздат.
- Русский фольклор. Эпическая поэзия. (1935). М.: Советский писатель.
- Слово о полку Игореве. (1970). М.: Московский рабочий.

## Comprehension of Russian culture («Theater review»)

Book review: ZHUKOVA O. A. (2022) *CREATIVITY AND RELIGION IN RUSSIAN CULTURE. PHILOSOPHICAL STUDIES*, Moscow: PUBLISHING HOUSE "CONSENT". — 594 pp. ISBN 978-5-907616-10-3

### *Dmitry M. Nosov*

PhD in Philosophy, Professor, School of Philosophy and Cultural Studies,  
Faculty of Humanities, National Research University Higher School of Economics  
Address: Myasnitskaya str., 20, Moscow, Russian Federation 101000  
E-mail: [dgnosov@hse.ru](mailto:dgnosov@hse.ru)

The article analyzes the recently-published third part of Olga Zhukova's trilogy devoted to Russian culture, Russian philosophy, and the philosophy of Russian culture. The article's author suggests that this book, as well as previous parts of the trilogy, contains extensive, largely unknown material about the studied area. Besides the richness of the factual material, the advantage of the book is that it encourages a reader's interest in the considered stories; at the same time, it provokes an internal polemic with Zhukova, produces the desire to reflect on the various statements made,

and, probably, even enters the discussion with the author. The cornerstone of Zhukova's concept is the thesis about the fundamental conditionality of Russian culture and Russian philosophy on Eastern Christianity. According to this concept, there is a direct conditionality in some cases, while an indirect conditionality appears through the dialectical contradiction in some others. The article's author does not find this thesis to be ultimately correct. Another separate object of the article's discussion is the reviewed book's polygraphic features.

**Keywords:** Russian culture, Russian philosophy, Orthodoxy, religiosity, absolute, absolute actor, artistic image, sacralization, secularization, desacralization, personificationism, provocative

## References

- Zhukova O. (2022) *Evorchestvo i religioznost v russkoj culture. Filosofskie issledovaniya* [Creativity and religiosity in Russian culture. Philosophical research], Moscow: Soglasie.
- Zhukova O. (2019) *Opyt o russkoj kul'ture: filosofiya istorii, literatury i iskusstva* [An Essay on Russian Culture: Philosophy of History, Literature and Art], Moscow: Soglasie.
- Zhukova O. (2017) *Filosofiya russkoj kul'tury: metafizicheskaya perspektiva cheloveka i istorii* [Philosophy of Russian Culture: Metaphysical Perspective of Man and History], Moscow: Soglasie.
- Kara-Murza A. SHarova V. (2021) Novaya rossijskaya civilizaciya budet civilizaciej Pushkina (k voprosu o "civilizacionnom vybore") [The new Russian civilization will be Pushkin's civilization (on the question of "civilizational choice")]. *Polylogos*, vol. 5, no 1. URL: <https://polylogos-journal.ru/s258770110014153-0-1/>.
- Kozma Prutkov (1974) *Plody razdumya. Mysli i aforizmy* [Fruits of reflection. Thoughts and aphorisms], Perm: Permskoe knizhnoe izdatelstvo.
- Krylov A. (1979) *Moi vospominaniya*, Leningrad: Sudostroenie.
- Maslov A. (2006) *Kitaj: ukroshchenie drakonov. Duhovnye poiski i sakralnyj ehkstaz* [China: taming dragons. Spiritual quest and sacred ecstasy], Moscow: Aleteja.
- Povest vremennyh let* (1999) [Tale of Bygone Years], Saint Petersburg: Nauka.
- Raushenbah B. (1988) *Skvoz glub vekov. Kak byla kreshchena Rus* [Through the depths of centuries. How Russia was baptized], Moscow: Politizdat.
- Russkij folklore. EHpicheskaya poehziya* (1935) [Russian folklore. Epic Poetry], Moscow: Sovetskij pisatel.
- Slovo o polku Igoreve* (1970) [The Tale of Igor's Campaign], Moscow: Moskovskij rabochij.

## Магия, разврат и... переводы\*

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ: *Тогоева О. И.* (2022). *Короли и ведьмы: Колдовство в политической культуре Западной Европы XII-XVII вв.* М.-СПб.: Центр гуманитарных инициатив. — 328 с. ISBN 978-5-98712-334-8

*Александр Марей*

Кандидат юридических наук, старший научный сотрудник, Центр перспективных социальных исследований, Институт общественных наук Российской академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Адрес: пр. Вернадского, 82, Москва, 119571

E-mail: marey-av@ranepa.ru

В рамках христианской культуры магия всегда считалась (да и считается) чем-то по меньшей мере предосудительным, и тому есть несколько причин. Первая, и самая очевидная — прямой запрет на использование магии, содержащийся в книгах Ветхого Завета, и крайне негативное отношение к ней в книгах Нового Завета. Вторая причина, может, и менее очевидна, но ничуть не менее интересна. На протяжении подавляющей части своей истории христианство является политической религией и христианская Церковь идет рука об руку с властью, а значит, то, что задевает власть духовную, не может не волновать власть светскую.

Поэтому магия, колдовство, ведовство — терминологический ряд можно продлевать еще долго — с самого начала деятельного сотрудничества Церкви и власти считались занятиями запретными, иногда даже уголовно наказуемыми. Несмотря на это, они, с одной стороны, всегда были притягательными для власть имущих, поскольку давали им доступ к неведомому, к силам и знаниям, недоступным простым людям. Сильных правителей магия притягивала возможностью узнать будущее, слабым давала иллюзию силы, поскольку обещала им контроль над потусторонним миром. С другой стороны, власть традиционно преследовала магов и колдунов не только по религиозным соображениям, но и потому, что они своими действиями угрожали монополии правителя на знание и силу на контролируемой им территории. Так что немудрено, что при сильных правителях оккультные науки развивались менее интенсивно, тогда как при слабых их земли полнились всякого рода прорицателями, гадалками и прочими, вплоть до некромантов и заклинателей демонов.

Проблема взаимосвязи и взаимоотношений магии и власти в европейском сообществе XII-XVII веков подробно разбирается в недавней книге Ольги Игоревны Тогоевой, вышедшей в издательстве «Центр гуманитарной литературы» в прошлом году. О. И. Тогоева — ученица Юрия Львовича Бессмертного, одного из основных адептов направления микроистории в отечественной науке, и сама много лет работает в рамках этой парадигмы. Возможно, это объясняет построе-

---

\* Рецензия подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы государственного задания РАНХиГС.

ние материала в книге — там мало обобщающих выводов и генерализирующих объяснений. Напротив, свои идеи автор доносит через большое количество историй отдельных, конкретных людей: инквизиторов, ведьм, колдунов, героев и доносчиков, монархов или простых мирян. На первый взгляд неискушенного читателя книга сначала может показаться просто собранием таких занятных историй о колдовстве, ведьмовских процессах и королях. Если же вчитаться, становится видна авторская концепция, о нескольких моментах которой я и попробую порассуждать на последующих страницах, предварив это кратким анализом структуры монографии.

Книга состоит из двенадцати глав, сгруппированных в три раздела, в первом из которых рассматривается колдовство как часть политического (с. 17-118), второй посвящен анализу мифологемы королевства дьявола на земле (с. 119-222), а в третьем собраны наблюдения Тогоевой о внешнем облике ведьм, как его описывали источники (с. 223-275). Помимо этого, в книге есть введение с заключением и перечень использованной литературы (с. 285-313). Иными словами, на уровне структуры вся книга, получается, выстроена по единой логике, от анализа теории, через практические импликации теоретических выкладок к визуальным материалам, то есть к изображениям уже не всеобщего, но единичного.

В главах первой части Тогоева обращает внимание на то, как колдовство вписывалось в контекст средневековых политических и богословских теорий. Причем отмечу отдельно, что она анализирует именно богословский дискурс о колдовстве и власти, оставляя за пределами анализа дискурс юридический, что неизбежно несколько искажает панораму. Не погружаясь в развернутый анализ нормативного регулирования магии в период от поздней Античности до высокого Средневековья, отмечу только, что, начиная как минимум с «Кодекса Феодосия», т. е. с 438 года, правовые своды традиционно включали в себя более или менее развернутую подборку соответствующих норм. Их анализ, безусловно, представляет собой отдельное большое исследование, и уже потому нелепо было бы строить на его отсутствии претензии к рассматриваемой книге. Но полагаю, что упомянуть эту юридическую традицию и, может быть, дать ее краткий, лапидарный, очерк, возможно, стоило. Тем более что при разговоре о так называемых «ведьмовских процессах» одним из наиболее ценных источников для Тогоевой оказываются как раз судебные протоколы.

В богословской модели рассуждения о магии Тогоева, вслед за другими исследователями, выделяет две традиционные опорные точки, а именно один из канонов, вошедших в состав «Декрета Грациана» (т.н. канон *Episcopi*), и «Поликратик» Иоанна Солсберийского. Первая глава книги посвящена как раз анализу взглядов Шартрского прелата на колдовство и его связь с ремеслом правления — указывая на важность этого автора, Тогоева совершенно справедливо отмечает, что «проблема присутствия в свите правителя, в его самом близком окружении колдунов всех мастей <...>, а также ведьм, склонных к наведению порчи, в полном объеме впервые оказалась рассмотрена именно в “Поликратике”» (с. 17).

В отличие от достаточно обширной предшествовавшей ему традиции, в которой занятия колдовством часто приписывались людям ученым, то есть, во-первых, мужчинам, а во-вторых, имевшим серьезное — практически профессиональное — образование, Иоанн Солсберийский сделал акцент на женском колдовстве. Определение магии как женского занятия было для него принципиальным вопросом по ряду причин, прежде всего потому, что магия попадала для него в разряд безусловных соблазнов. Соблазном она была двояким — тем, кто сам занимался ею, она давала иллюзию могущества, тем же, кто становился клиентом ведьм, колдуний и прочих гадалок, магия служила еще и развлечением. Именно так, через сферу развлечений, магия, согласно Иоанну Солсберийскому, утверждалась при дворах людей, власть имущих (с. 22-23, 30-33 и т. д.). Там она тесно соседствовала с развратом — правитель, прибегавший к услугам женщин, занимавшихся колдовством, по мнению прелата, был всегда склонен и к другим их услугам, прежде всего к блуду. Правда, в отличие от прелюбодеяния, греха, разумеется, тяжкого, но душу не убивающего, увлечение магией в итоге приводило к тому, что правитель превращался в «адепта дьявола (*прародителя всякой похоти и колдовства*), в тирана, потакающего лишь собственным страстям, и, как следствие, в самого Люцифера» (с. 33).

На этом тезисе Тогоевой стоит остановиться подробнее, тем более что она в своей книге возвращается к этой эволюции несправедливого правителя неоднократно (с. 33, 37, 119 и т. д.). Мне представляется, что здесь автор допускает слишком широкое толкование слов Иоанна Солсберийского — если внимательно приглядеться к цитате, которую она приводит в подтверждение этого тезиса, можно увидеть, что нечестивый правитель становится *подобием Люцифера, его образом*, но не им самим. Более того, в начале этой фразы Иоанн Солсберийский прямо пишет: *Imago quaedam divinitatis est princeps et tyrannus est adversariae fortitudinis et Luciferianae pravitatis imago*, то есть «Князь есть образ Божества, тиран же — образ противоположной силы и Люциферова нечестия». Это представляет собой прямую отсылку к идеям средневекового энциклопедиста Исидора Севильского, а через него и Аврелия Августина. Праведный правитель в рамках этой парадигмы осмыслялся как подобие Бога, его наместник на земле, тиран же представлял собой его полную противоположность, то есть образ дьявола, но ни в коем случае не самого дьявола.

Несколько забегаая вперед, отмечу, что этот тезис оказывается принципиальным для всей второй части книги Тогоевой, посвященной рассказу о *королевстве дьявола на земле*. Как превосходно показано автором на с. 122-124, когда средневековые богословы писали о вербовке дьяволом себе адептов и создании своего королевства *здесь и сейчас*, на земле, среди людей, они отсылали своих читателей к образу двух градов, созданному Аврелием Августином. Королевство дьявола, по мнению богословов, имело свое население, но не имело территории, его подданные были рассеяны то тут, то там. Подобное описание представляло собой искомое описание *Града Божьего*, как описывал его Августин. Как и Град Божий,



королевство дьявола было везде и нигде одновременно. Его подданные странствовали среди людей града земного, совращая их, сбивая их с пути истинного и заставляя поклоняться своему владыке. То есть дьявол, в отличие от своих земных подобий — тиранов, не занимал какой-то конкретной геополитической точки, *имитируя* тем самым своего создателя, то есть Бога (не зря ведь дьявола называли «обезьяной Бога»). Более того, когда и если в каком-либо королевстве приходил к власти тиран, подражавший в жестокости и нечестии самому Люциферу, его королевство не становилось *королевством дьявола на земле*, что лишний раз подтверждает, что тиран был лишь *подобен* сатане, но не более того.

Заканчивая разговор о концепции Иоанна Солсберийского в книге Тогоевой, обращаю внимание на еще одно ее наблюдение, которое, при всей его кажущейся очевидности, очень сложно переоценить. Рассказывая о *возвращении* Иоанна Солсберийского в интеллектуальную жизнь Французского королевства в XIV веке, она отмечает, что оно стало возможным *«прежде всего благодаря деятельности переводчиков»* (с. 55). Здесь я позволю себе ненадолго остановиться, хотя для рецензируемой книги это наблюдение и имеет, скорее, побочный характер. Мы говорим сейчас о культуре Французского королевства второй половины XIII — первой четверти XIV века, то есть, во-первых, о стране, где многие еще читали (и даже говорили) на латыни, а во-вторых, о стране, язык которой гораздо ближе к латыни и одновременно к английскому, чем наш современный русский язык. И тем не менее даже там широкое знакомство образованной публики с сочинением Иоанна Солсберийского начинается в результате с создания переводов его трактата на *народный* язык. Мне бы очень хотелось, чтобы это наблюдение стало очевидным для как можно более широкого круга наших соотечественников, в том числе облеченных властью, — лишь посредством переводов, многочисленных, разнообразных и постоянных, мы можем развивать свою собственную интеллектуальную культуру. И поэтому на переводы не надо жалеть ни времени, ни денег, а тех, кто способен грамотно переводить, стоит всячески поощрять к этому занятию. В Средние века люди это понимали прекрасно, сейчас, кажется, это понимание, к сожалению, куда-то ушло.

Рецензировать вторую и третью части монографии Тогоевой очень и очень просто, прежде всего потому, что если начать пересказывать ее основные тезисы, оставляя за пределами пересказа отсылки к конкретным средневековым источникам, может показаться, что речь идет о современном нам мире, причем в худших его проявлениях. Собственно, практически так оно и есть, поскольку внимательное прочтение «Королей и ведьм» показывает, что мир, по сути, изменился очень мало. Это прекрасно видно, в частности, когда читаешь главу «Обратная сторона войны», посвященную демонологическим трактатам, написанным во Франции в последние годы Столетней войны и в первое время после нее. Прежде всего речь идет о трактате «Бич колдунов», созданном профессором университета Пуатье, теологом Пьером Мамори. Уже в первых строках своего трактата Мамори обвинял англичан в том, что они активно пользовались колдовством, чем объяснялись

их победы в предшествующие годы, и в том, что именно они научили колдовству французов, незнакомых прежде с магическими практиками (с. 143). И если с точки зрения демонологических трактатов *национальный* пафос Мамори был уникален — как подчеркивает Тогоева, ни один из предшествовавших ему французских демологов таких утверждений себе не позволял, все обычно фиксировали разгул магических практик во Франции, погруженной в хаос войны, но никто не обвинял в этом иностранцев, — то с точки зрения политической культуры все выглядело по-другому. Уже с середины XV века можно выделить во Франции сформировавшуюся традицию *«наделять бывших военных противников всеми возможными отрицательными чертами, вплоть до их ассоциации с поклонниками Сатаны, то есть с вероотступниками и колдунами»* (с. 158).

Те же самые впечатления не оставляют при чтении глав о Жане Бодене, а также глав третьей части, посвященной канону изображения ведьм в средневековых и раннемодерных текстах. Только применительно к главе «Обратная сторона войны» речь идет о практиках расчеловечивания своих военных оппонентов — ведь, по сути, не столь важно, называть их сторонниками сатаны или, скажем, орками, главное — показать, что они нелюди, и их победы, если они и есть, это победы нечисти над верными людьми. Главы же, посвященные Жану Бодену, Якову I, феномену «народного надзора» за ведьмами в Англии XVII века, а также проблеме описания внешнего облика ведьм и колдунов, отсылают к таким практикам, как разработка детального реестра врагов (или иностранных агентов, к примеру), поощрения доносительства и собственно конструирование внешности врага путем выделения ряда повторяющихся, хрестоматийных атрибутов (например, леворукость, рыжие волосы и косящие глаза у ведьм; или — почему бы и нет? — рубаха-вышиванка и чуб). И все эти практики оказываются хорошо знакомыми, да к тому же еще и воспроизводимыми здесь и сейчас, в современном медиапространстве.

С другой стороны, нельзя не отметить и еще один момент — и им завершить эту краткую рецензию, — касающийся того, почему книга Тогоевой, посвященная вроде бы историческим реалиям XII-XVII веков, звучит сейчас так пугающе актуальна. Полагаю, дело в том, что мы до сих пор не избавились от страха перед магией и не можем преодолеть, снять эту преграду. О том, что это утверждение близко к истине, свидетельствует, в частности, официальное табу на обращение к магическим практикам, нарушение которого ведет, конечно, уже не к уголовному наказанию, но к сильнейшему общественному порицанию. В качестве примера можно вспомнить относительно недавнюю историю, когда были опубликованы записи телефонных разговоров проректора одного из московских вузов с гадалкой. Это, по сути, совершенно невинное событие, не заслуживающее вроде бы вообще никакого внимания со стороны посторонних людей, вызвало невиданной силы шквал комментариев критического, да и просто оскорбительного толка. Магические практики и сейчас остаются зоной предельного, сам заход в которую стигматизирует того, кто на это осмелился. И поэтому книгу О. И. Тогоевой читать

безумно интересно не только из-за ее фабулы (ведь автор — превосходный рассказчик), но и по причине того, что в очень многих рассказанных там историях легко опознается современное нам общество.

## Magic, Debauchery and... ..Translations

Book review: Togoëva O. (2022) *Kings and Witches: Magic in Western European Political Culture, 12-17th cent.* Moscow-Sankt-Peterburg: Centre gumanitarnyh initsiativ. —328 p.  
ISBN 978-5-98712-334-8

*Alexander V. Marey*

PhD in Law, Senior Researcher, Center of Perspective Social Studies, Institute of Social Sciences, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration  
Address: Vernadskogo Prosp., 82, Moscow, 119571, Russia  
E-mail: marey-av@ranepa.ru

## Трепетная плоть, метаболические техники\*

РЕЦЕНЗИЯ НА: *SHILDRICK M.* (2023). *VISCERAL PROSTHESES: SOMATECHNICS AND POSTHUMAN EMBODIMENT.* LONDON, NEW YORK, NEW DELHI, SYDNEY: BLOOMSBURY ACADEMIC. — 272 P. ISBN 9781350176492

### Максим Мирошниченко

Кандидат философских наук, научный сотрудник, Школа философии и культурологии, факультет гуманитарных наук, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»  
Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва, Российская Федерация 101000  
E-mail: jaberwokky@gmail.com

Книга «Висцеральные протезы: соматотехника и постчеловеческое воплощение» профессора гендера и производства знания Стокгольмского университета Маргрит Шилдрик начинается с констатации: последние двести лет взаимоотношения человека с различными технологиями восхищали и ставили в тупик философов и теоретиков культуры. Эти отношения не только таят в себе очарование совершенствованием и преодолением изъянов человеческого тела, но и намекают на тревожную зависимость человека от внешних «запчастей»<sup>1</sup>. Свои размышления Шилдрик начинает с отсылки к Зигмунду Фрейду, который в «Недовольстве культурой» определял современного человека как «бога на протезах»<sup>2</sup>. Однако же, по ее мнению, протезы открывают альтернативную, *постчеловеческую* перспективу на вопрос о расширениях тела. Мы уже «киборги», а конвергенция биологии и технологий заставляет усомниться в общепринятых представлениях о том, что на самом деле значит быть человеком<sup>3</sup>.

«Расколдовывая» человеческий организм, биомедицина взяла под пристальное внимание цепочку ДНК, отграниченное кожей внутреннее пространство тела и стабильное самосознание — которые отныне уже не могут определять человека как самозамкнутую, автономную единицу мышления и действия. Автор утверждает, что с биологической точки зрения у тела есть множество заимствованных

\* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-18-00450, <https://rscf.ru/project/22-18-00450/> «Концепции множества миров как инструмент научного поиска и междисциплинарного синтеза знания».

1. Здесь напрашивается ярко поставленный коллегой Шилдрик по феминистскому интеллектуальному кругу Элизабет Гросс вопрос, являются ли «отделяемые» части тела — моча, кал, слюна, сперма, кровь, рвотные массы, волосы, ногти, кожа — его неотъемлемыми составляющими? (*Grosz E.* (1994). *Volatile Bodies: Toward a Corporeal Feminism.* Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press. P. 81).

2. *Фрейд З.* (2020). *Недовольство культурой // Фрейд З.* Полное собрание сочинений в 26 томах. Том 15. Статьи по теории культуры. Том 16. Статьи по теории культуры 2. СПб.: Восточно-Европейский институт психоанализа.

3. Донна Харауэй заявила, что для спасения земной биоты нужно «искалечить» киборга («сrip the cyborg for earthly survival!»). Исследовательница инвалидности Алисон Кафер предлагает трактовать это изречение как призыв к неэйблистской киборгической политике размытия телесных границ и усиления проницаемости кожи (*Kafer A.* (2013). *Feminist, Queer, Crip.* Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press).

извне компонентов, которые можно рассматривать как «природные» протезы. Рассматривая открытия наук о жизни последних лет, можно прийти к выводу, что каждый из нас содержит в себе множество компонентов, напрямую не связанных ни с психосоциальной самостью, ни с имманенцией органической активности:

Наше воплощение демонстрирует режим соматотехники (somatechnics). Таким образом, открывается сцена для связки неожиданных, но конститутивных сборок (assemblages), которые разрушают саму идею нормативной телесности. Инвалидность, как будет показано в главе 1, — это далеко не прискорбное состояние, которое можно улучшить с помощью механических приспособлений, а скорее отправная точка для приключения прикладного постгуманизма. Это не принижает дискриминационный опыт инвалидизированных (disabled) людей в мейнстримном обществе, но — как показывает моя адаптация радикального переосмысления Ив Кософски Седжвик в «Тенденциях» опыта ее рака — «приключение в прикладной деконструкции», которое сигнализирует о разрыве с нормативным мышлением. Мое исследование значения и смысла протезов трактует их через призму таких разных явлений, как инвалидность, трансплантация органов и микробиология иммунной системы в контексте микробиоты и микрохимизма (р. 3).

Работу отличает стремление найти новый подход к вопросу протезирования<sup>4</sup>. Автор вплетает пациентский опыт в исследования микрохимизма, проясняя глубокие взаимосвязи между этими областями — условно говоря, микро- и макроуровнями биомедицинского статуса тела, преследуя цель осмыслить межтелесное и межвидовое воплощение, кульминацией которого становится предлагаемая ею неовиталистская биоэтика инаковости<sup>5</sup>. Впрочем, понятие соматотехники так и остается неопределенным, к вящему раздражению читателя; косвенные же дефиниции оставляют еще больше вопросов и лакун.

В центре работы находится понятие микрохимизма: это явление, при котором индивид обладает клетками или частицами ДНК другого организма. Шилдрик настаивает: несмотря на важные следствия микрохимизма в опыте пациентов, он остается недооцененным и игнорируемым в мейнстриме исследований здравоохранения. Отсылая к клиническим исследованиям трансплантации органов, стволовых клеток и костного мозга, переливания крови, а также обмена органическими жидкостями при сексуальных контактах, беременности и лактации, она считает, что психосоциальным эффектам микрохимизма в опыте пациентов

---

4. О трансдисциплинарности и сетях знаний в «постгуманитаристике» см. обзорную статью Розы Брайдоути: *Braidotti R.* (2019). A Theoretical Framework for the Critical Posthumanities // *Theory, Culture & Society*. Vol. 36. No 6. P. 31–61.

5. Инаковость Шилдрик осмысляет, опираясь не только на Жака Деррида, но и на Эмманюэля Левинаса, причем наиболее развернутую интерпретацию философа Другого исследовательницей можно найти в ее книге «Воплощая монстра. Встречи с хрупкой самостью» (*Shildrick M.* (2002). *Embodying the Monster: Encounters with the Vulnerable Self*. London, Thousand Oaks, New Delhi: SAGE Publications). См. также релевантную интерпретацию у Джоанны Зилинской: *Zylinska J.* (2009). *Bioethics in the Age of New Media*. Cambridge, Massachusetts, London, England: The MIT Press.

подобаает занять центральное место в биоэтической экспертизе и терапевтических решениях. Тем не менее микрохимическое смешение ДНК в зиготах и клеточных процессах, связанных с аутоиммунными заболеваниями, болезнью Альцгеймера и общей морбидностью, явно требует переноса внимания с общего состояния пациента на микроуровень висцеральных процессов и их влияния на гомеостаз и психоэмоциональную регуляцию тела:

«Я уже не тот, кем был раньше». Большинство из нас тем не менее не в состоянии проверить такие утверждения на себе. Может показаться, что они оказывают минимальное влияние на нашу жизнь, а тогда действительно важно, способны ли мы идентифицировать отдельный [нечеловеческий. — М. М.] геном? Конечно, у этого имеются явные последствия для здоровья и болезней, которые варьируются от развивающейся области фекальной трансплантации в связи с изучением микробиома до нынешних исследований трансплантации органов, которые полагают, что на ее успех может повлиять терапия гельминтами (p. 78).

Книга состоит из восьми глав, образующих три части: определение висцеральных протезов; кейсы деменции, трансплантации стволовых клеток и суррогатного материнства; набросок «биоэтики жизни и смерти». Читателям предстоит окунуться в темы, явно не чуждые феноменологии и постструктурализму: чужак и его отношения с хозяином, гостеприимство, щедрость и темпоральные аспекты жизни и смерти. Вполне в духе своих континентальных учителей, Шилдрик не ставит себе цели давать окончательные ответы, и это приводит к несколько неудовлетворительным выводам. Она не предлагает сценариев создания более справедливого общества или более доступной системы здравоохранения, и это невыгодно отличает ее от работ представителей критических исследований инвалидности<sup>6</sup>.

Шилдрик мало заботят «приземленные» социальные аспекты здравоохранения. Скорее исследовательницу волнует спекулятивный подход к телесности, нормативности медицины и ее модели человека, а также слиянию человеческих и нечеловеческих тел в «квир-экологии жизни»<sup>7</sup>. Ее вопросы далеко отстоят от насущной проблематики биоэтики и медицинской антропологии, хотя и оперируют множеством релевантных им тем. Для нее важно понятие *дополнения*, которое она заимствует из деконструкции Жака Деррида. Дополнение предполагает изначальную неполноту, нехватку, вживленную в самую сердцевину индивида<sup>8</sup>. Сознанию, по Деррида, присуще особое несамоприсутствие, которое нуждается в восполнении извне. «Я» для своей самоидентичности нуждается в инако-

6. См. раздел в статье Стэнфордской философской энциклопедии об инвалидности: *Hall M. C.* (2019). *Critical Disability Theory* // *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Winter 2019 Edition) / E. N. Zalta (ed.). URL: <https://plato.stanford.edu/archives/win2019/entries/disability-critical/>

7. Термин «квир» Шилдрик использует как синоним ненормативного, «странного», согласно изначальной этимологии слова, безотносительно сексуальных идентичностей или ориентаций.

8. *Деррида Ж.* (1999). «Голос и феномен» и другие работы по теории знака Гуссерля. СПб.: Алетейя. С. 117.

ности, которая позволяет самости возникнуть как отдельному формированию. Таким образом, дополнение восполняет изначальную нехватку, и всегда уже присутствует самости. Эта конститутивная зависимость от «протезных других» является ключевой для существования субъекта. Присутствие зависит от того, что отсутствует, а опыт времени упорядочивается через надежду на то, чего нет, но что принесет искомую целостность.

Эта логика используется Шилдрик, чтобы показать: технология не просто улучшает, но создает то, что она, по идее, должна усиливать<sup>9</sup>. Не изначальное целостное тело дополняется протезом, но открытость к пересмотру границ вшита в структуру субъекта. Деррида говорил, что научно-технические новшества могут стать поводом для деконструирования субъекта; Шилдрик с готовностью подхватывает эту идею. Во второй главе она углубляется в проблему опыта трансплантации органов, уделяя особое внимание кейсу пересадки сердца. По ее словам,

официозный нарратив клиники не придает значения волнениям и страхам реципиентов, сводя их к проявлениям психологических расстройств. Для большинства пациентов, посещающих клинику, единственным подходящим и допустимым ответом на вопрос «как вы себя чувствуете?» является ссылка на показатели диеты, уровень дыхания, частота пульса и так далее — ожидаемые биомедицинские показатели выздоровления. Что почти не упоминается в таких условиях, так это какие-либо ощущения живого тела и его аффектов (p. 50).

В главе представлены два примечательных проекта, участницей которых была исследовательница: *Process of Incorporating a Transplanted Heart (PITH)* и *Gift of Life Analysis (GOLA)*. Проект PITH изучал эмоциональные и экзистенциальные трансформации опыта пациентов после трансплантации сердца. Самым необычным наблюдением Шилдрик стало то, что получатели донорского органа как бы усваивают личностные черты, предположительно присущие донору, его аффекты и ценности<sup>10</sup>. Здесь можно найти аналогию с донаучными представлениями о душе, живущей в теле, чью частицу, по сути, реципиент приобретает и «несет в себе». «Чужой» аффект, по ее мнению, — особый способ бытия, связанный с гибридностью биомедицинского тела. Родственники доноров — участники проекта сходились в том, что их ушедшие родные теперь живут в теле другого человека. Этим свидетельствуется невозможность объективирующего сведения умирающего пациента к репозиторию донорских органов, как и то, что практика анонимизации связей между донором и реципиентом является этически сомнительной. С этим же связано недовольство автора книги биоэтическим регулированием

9. Аналогичные размышления можно найти в «Контрасексуальном манифесте» Поля Б. Пресьядо относительно производства «нормальных» тел через технологии (*Preciado P.B.* (2018). *Countersexual Manifesto*. New York: Columbia University Press. P. 136-137).

10. В медицинской гуманитаристике, начиная с известной книги «Болезнь как метафора» Сьюзен Зонтаг, часто говорят о заболевании как части идентичности. См. классическую экспозицию в ключе социальных исследований медицины: *Charmaz K.* (1983). *Loss of Self: A Fundamental Form of Suffering in the Chronically Ill*// *Sociology of Health and Illness*. Vol. 5. No 2. P. 168-195.

критериев смерти, отождествляющих смерть с остановкой функционирования мозга. По смерти мозга пациент переходит в вегетативное состояние, однако же, по мнению родственников и лиц, оказывающих уход, искусственно живое тело проявляет признаки жизни — например, в описанном в начале 1980-х годов «синдроме Лазаря», когда остановившееся сердце умершего спонтанно возобновляет свою активность. Между тем общепринятый критерий смерти представляет собой не что иное, как натурализованный факт физиологии: со смертью мозга основные функции организма прекращают свое самостоятельное функционирование без внешней поддержки.

Как бы то ни было, опыт трансплантации и «воскрешения» умершего в пережитом больному органе есть свидетельство множественности тел и идентичностей, живущих в отдельном теле, границы которого совсем не совпадают с такими, прочерченными биоэтической автономностью и правовой субъектностью. Бытие биомедицинского тела охватывается «сотелесностью» (concorporeality): мы существуем не среди других существ, а *вместе* с ними, и субъектом является вся экосистема жизни. Здесь исследовательница делает шаг вперед по отношению к «межтелесности», изучаемой в феноменологии и, в частности, ее феминистских интерпретаций у Люс Иригарей или Айрис Мэрион Янг<sup>11</sup>. Отличие состоит в расширении перспективы зависимости способов использования тела от политического контекста в пользу спекулятивной, онтологической перспективы сплетения самости в молекулярно-генетическом и институционально-политическом регионах бытия. Коммуникация, происходящая в теле пациента с донорским органом, раскрывает глубоко экзистенциальные переживания такого дополнения в святая святых чистого и неприкосновенного тела<sup>12</sup>.

Отсюда следует, что постмодернистское, феминистское и постструктуралистское представление об эрозии индивидуального «я» подтверждается клинической практикой. А если модернистские представления Глобального Севера о самодостаточной автономной личности суть всего лишь социокультурный мираж, то открытость к инаковости становится отправной точкой исследования:

Перед лицом контингентности и уязвимости воплощения, где становление-в-мире всегда опосредовано другими, «я» и «другой» всегда сотелесны, сплетены, но не охвачены тождественностью. То, что постконвенциональная феминистская теория всегда подчеркивала — это текучесть тел, которые не ограничены кожей (p. 65).

---

11. Иригарей Л. (2004). Этика полового различия. М.: Художественный журнал; Young I. M. (2005). *On Female Body Experience: "Throwing Like a Girl" and Other Essays*. Oxford: Oxford University Press.

12. Как красноречиво высказалась Юлия Кристева, «вовсе не отсутствие чистоты или здоровья порождает отвратительное, но отвратительное — это то, что взрывает самоотждественность, систему, порядок. То, что не признает границ, положений дел, правил. Пробел, двусмысленность, разнородность» (Кристева Ю. (2003). *Силы ужаса. Эссе об отвращении*. Харьков: Ф-пресс, ХЦГИ; СПб.: Алетейя. С. 39).



Другой занятный момент работы — это анализ проекта «Микробиом человека» (*Human Microbiome Project*, HMP). Согласно Шилдрик, аналогичный и столь же щедро финансируемый проект «Геном человека» (*Human Genome Project*, HGP) способен показать куда менее парадоксальные вещи, чем исследование кишечной микробиоты. Шилдрик затрагивает влияние микробиома на развитие нервной системы, когнитивные способности, поведение и иммунитет. Связка «кишечник-мозг» (*gut-brain axis*, GBA) в блуждающем нерве, подключенная к эндокринной и иммунной системам, показывает актуальность понимания отношения между кишечником и психическим состоянием со времен Гиппократа. Непонимание этой холистической динамики, как считает исследовательница, может привести к затруднению, с которым столкнулась гастроэнтерология. Хотя той удалось установить каузальную связь между развитием гастрита и *H. pylori*, осталось неясным, что именно в окружающей среде превратило бактерию из безобидного организма в возбудителя заболевания.

Тот факт, что около половины массы человеческого тела составляют микроорганизмы, коих насчитывается около 10 тыс. видов, позволяет некоторым определять тело как колонию микроорганизмов<sup>13</sup>. По словам Шилдрик, это наводит на проблему разграничения самости и окружения. Данная проблема ближе всего к иммунологии, в частности — к пониманию функции иммунитета как защитной системы. Мейнстрим склоняется к милитаристским метафорам защиты рубежей тела от болезнетворных элементов. Однако альтернативное видение, предложенное в свое время Франсиско Варелой, развивает иную интуицию: иммунитет не устраняет все, что не относится к самости организма, а принимает в себя то, что не может ему навредить. Это самоутверждающаяся система, при каждом контакте со средой переизобретающая границы тела и живущей в нем самости<sup>14</sup>. Шилдрик интерпретирует автобиографический текст Варелы о пересадке печени незадолго до его смерти<sup>15</sup>; в нем она видит экзистенциальное утверждение о взаимосвязанности органических форм и принципиальной недоопределенности критериев жизни и смерти. Живет ли тело после смерти? Если мы признаем, что микроорганизмы в нашем теле живут вместе с нами, то после нашей смерти они будут продолжать жить, а значит, человек никогда не умирает «по-настоящему»: он живет в своих останках — таково эксцентричное видение Шилдрик. Своими оппонентами она считает тех, кто трактует жизнь нормативно, как движение от рождения к смерти, где последняя отождествляется с исчезновением индивидуального «Я». В такой картине, считает философ, смерть сулит угрозу полного

13. Интересное описание опыта микробиомности можно найти в тексте: *Locke P. M.* (2016). *Intimate Intertwining: A Merleau-Pontian Account of My Microbiota and Me*// *Chiasmi International*. Vol. 18. P. 247-260.

14. *Varela F. J., Anspach M. R.* (1994). *The Body Thinks: The Immune System in the Process of Somatic Individuation*// *Materialities of Communication* / H. U. Gumbrecht, K. L. Pfeiffer (eds.). Stanford, California: Stanford University Press. P. 273-285.

15. *Varela F.* (2001). *Intimate Distances: Fragments for a Phenomenology of Organ Transplantation*// *Journal of Consciousness Studies*. Vol. 8. No. 5-7. P. 259-271.

исчезновения субъекта и представляет собой финальную точку существования. Этику, ставящую выживание выше смерти, Шилдрик называет танатозетикой, противопоставляя ей свою оптимистичную биоэтику и, шире, биофилософию бессубъектного витализма. Смерти нет, утверждает она, жизнь есть никогда не прекращающийся круговорот материи в природе.

Этот смелый оптимизм наталкивает на сомнение, не является ли собой эта позиция регресс к старому витализму конца позапрошлого века? Можно приветствовать неовиталистический поворот в постструктуралистской биоэтике, хотя и возникает вопрос: всегда ли жизнь достойна проживания? Ведь есть такие состояния человеческого организма, которые делают жизнь невыносимым страданием, в связи с чем в биоэтике возникли дебаты об эвтаназии. Что, если не всякий способ существования стоит того, чтобы его жить? Вдруг жизнь — не дар, как это видится в дискурсе трансплантации органов и тканей, а ноша, которая порой непосильна? Как нам быть с теми, кого Катрин Малабу называет «новыми ранеными» — людьми, чьи жизни были сломлены травмирующим событием, связанным с нейрофизиологическими нарушениями от деменции и болезни Альцгеймера до нейроэнцефалита или бокового амиотрофического склероза? Аффирмативная биоэтика, которая «избегает ограничений бытия и вместо этого отдает предпочтение эксцессивной потенциальности становления жизни» (р. 144), само собой, приветствует жизнь в любых формах, но чего будут стоить жизни тех, кто предпочел бы умереть? Многочисленные дискуссии в онкологии и паллиативной помощи тут могли бы представить полную противоположность оптимизму Шилдрика.

Согласно статистическим данным, в 2018 году общее количество людей с деменцией достигало 50 млн человек. Если тенденция сохранится, то пациентов с таким диагнозом к 2030 году станет 82 млн, а к 2050-му — 152 млн. Болезнь молодеет, становясь глобальной социальной проблемой. Шилдрик считает, что так же, как микрочимизм и микробиом изменили представление о границах тела, технологии могут сделать это касательно идентичности, свободы воли и взаимоотношений с другими. При помощи интегрированных в оказание ухода за больными технологий можно облегчить проблемы, с которыми сталкиваются пациенты с деменцией, не отрицая их жизненного опыта и трансформации самости и когнитивных способностей, говорят энтузиасты. Автоматические вспомогательные средства, такие как терапевтические роботы, приложения для смартфонов на основе ИИ и другие устройства<sup>16</sup>, провоцируют вопросы «автоматизации» эмпатии, реализации нужд пациентов и признания над ними субъектности, пусть и модифицированной.

Из исследований известно, что профессиональные сиделки, медсестры и няни имитируют эмпатию и вовлеченность в ощущения пациента. Имитация правильных эмоций, верно подобранные слова и невербальные сигналы помогают медицинским работникам избежать выгорания. Может быть, тогда есть смысл

---

16. В контексте проблемы автоматизации эмпатии и ухода за детьми, стариками и неизлечимо больными и этических проблем, с этим связанных, см. раздел VI книги: *Lin P., Abney K., Bekey G. A. (eds.) The Ethical and Social Implications of Robotics. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.*

использовать новшества цифры, «машины эмпатии» — антропоморфные и неантропоморфные — раз те способны вызывать те же эмоции, что и контакт с живым человеком? Шилдрик с воодушевлением говорит о новых трендах, однако остается впечатление, что такое отношение обесценивает жизненный мир пациента, превращая коммуникацию в бихевиористское «нажатие кнопок» в его нервной системе, будь то в детской или в стариковской. Вообще тенденция инфантилизации стариков с деменцией, да и даже самих детей, представляет важную проблему для этики педиатрии и геронтологии. Однако Шилдрик воздерживается от серьезного разбора этой проблемы, концентрируясь на кейсах терапевтических роботов, таких как тактильный робот-тюлень PARO или неантропоморфный робот PaPeRo. По ее мнению, коммуникация с такими роботами, с их иллюзорной, по сути, агентностью и респонзивностью, «делает странными» (queers) взаимодействия между субъектами — одушевленным и неодушевленным. Однако более глубокий вопрос может заключаться в том, обеспечивают ли эти взаимодействия с не-людьми и прочими неорганическими протезами подлинный комфорт, облегчение страданий и чувство сопричастности? Ведь для деменции очень характерна и социальная смерть, когда пациента прекращают считать полноценным субъектом мышления и принятия решений, и заботиться о нем нужно как о маленьком ребенке, уязвимом, несамостоятельном и беспомощном<sup>17</sup>. Все эти вопросы Шилдрик оставляет без внятных ответов, уходя в спекуляции, более релевантные постгуманизму и феминизму, чем клинической практике.

По ее мнению, западная культура склоняется к оценке роботов на основе их имитации человеческого поведения. Однако же отношение к такого рода нянькам зависит от культуральных детерминант. Она ссылается на примеры Японии и Кореи, где робота PARO воспринимают скорее как домашнее животное, чем как партнера. В Великобритании, Швеции и Италии люди воспринимают его как «обнимательного» робота-компаньона. А, например, в США к нему относятся и как к домашнему животному, и как к тактильному терапевту. Специфические модели взаимоотношений между людьми и домашними животными влияют на то, воспринимаются ли роботы-животные как терапевтические<sup>18</sup>. Низкий статус до-

17. Можно привести слова активистки Шерил Мэри Уэйд, в которых сосредоточена боль человека, нуждающегося в сопровождении даже при отпадении физиологических функций: «Грубо говоря — ведь эта потребность становится все более острой — нам нужно подтирать задницы, когда мы срем и мочимся. Или нам вставляют пальцы в прямую кишку, чтобы помочь срать. Или в нас вставлены пластиковые трубочки, чтобы облегчить мочеиспускание, или мы прикрепил к промежности моче-приемники, чтобы все это помещалось в пакеты. Таковы грубые реалии. Наша повседневная жизнь... Разница между теми из нас, кому нужны сопровождающие, и теми, кому нет, — это разница между теми, кто знает, что такое приватность, и теми, кто этого не знает. Мы редко говорим об этих вещах, а когда говорим, реальность обычно скрывается за общими фразами или шуточками про калек. Поэтому что — давайте посмотрим правде в глаза — нам очень стыдно за эти потребности. Они есть только у младенцев и “дефективных”... И да, это отличает нас от вас, у тех, у кого есть частная жизнь...» (цит. по: Siebers T. (2001). Disability in Theory: From Social Constructionism to the New Realism of the Body// American Literary History. Vol. 13. No. 4. P. 747).

18. Как утверждает малоизвестная русскоязычному читателю исследовательница инвалидности и животных Сунаура Тейлор, в западной истории некоторые человеческие популяции считались

машных животных в Азии не позволяет доверять роботу как терапевтическому протезу. Да и отношение к деменции может быть различным: в той же Японии самость — не фиксированная сущность, а нечто постоянно преобразующееся, и утрата автономии при когнитивных нарушениях не отождествляется с трагедией утраты прежнего «Я». В японской культуре старость и прогрессирующее ухудшение умственных способностей видится как утрата способности разделять обязательства с другими и не становится для них обузой. Стало быть, признав разнообразие отношений к диагнозу в разных обществах и различия в восприятии технологий, мы не можем не проблематизировать однозначно трагичные коннотации деменции как возвращения в «детское» состояние. Звучит более чем странно, учитывая несомненное ухудшение качества жизни пациентов без дополнительной поддержки и особого ухода.

Еще один пример, когда конвергенция биомедицины и технологических достижений бросает вызов привычным представлениям — это трансплантация аутологических плюрипотентных<sup>19</sup> стволовых клеток. Возникновение регенеративной медицины в связи с этой инновацией было встречено с надеждами и ожиданиями, особенно в связи с перспективой неинвазивного лечения рака, диабета, ревматоидного артрита или травм спинного мозга. Но, как и в случае любой новаторской технологии, этические и экзистенциальные вопросы, которые она ставит, оказываются чрезвычайно трудными<sup>20</sup>. Онтологические вопросы, интересующие Шилдрик, таковы: возникает ли особая связь между организмами донора и реципиента при пересадке стволовых клеток из жировой ткани, костного мозга и частей сердечно-сосудистой системы? Является ли она только соматической, психологической или даже экзистенциальной?

В принципе, эти вопросы содержательно мало отличаются от таковых относительно кардиотрансплантации или суррогатного материнства и ЭКО, чему в книге также уделяется место. Исследовательница опирается на интервью с пациентами, которые, делаясь своим опытом, подчеркивали чувство благодарности к донору и даже заявляли, что могут видеть его сны. Шилдрик интересуется, как это объяснить. Это лишь побочные психологические эффекты операции, или нечто большее и онтологически значимое? Она отмечает, что те, кто был готов к новым и странным переживаниям, в целом показывали лучшее самочувствие:

Те, кто осознавал будущую потерю телесной уникальности, кто не фетишизировал автономию, были менее дезориентированы необычными пережива-

---

животными или, в лучшем случае, недостающими звеньями эволюции. Многие социальные группы оказались на пересечении различных векторов угнетения, включая способности (abilities), внешность и поведение, что имеет решающее значение для применимости критериев определения человека (Taylor S. (2017). *Beasts of Burden: Animal and Disability Liberation*. New York: New Press).

19. О плюрипотентности клеток головного мозга см. также аналогичный подход у Катрин Малабу: Малабу К. (2019). *Что нам делать с нашим мозгом?* Москва: V-A-C Press.

20. См., например, спекулятивное эссе Юджена Такера: Thacker E. (2002). *Bio-X: Removing Bodily Contingency in Regenerative Medicine* // *Journal of Medical Humanities*. Vol. 23, No. 3/4. P. 239-253.

ниями и аффектами. Независимо от того, касается ли это целых органов или микроскопических стволовых клеток, обещание выздоровления, которое дает трансплантация, оказывается утраченным. Экзистенциальное беспокойство, отражающееся в неопределенной реальности многих реципиентов, доноров и даже их семей, тем не менее является основанием для радикального переосмысления природы воплощения и обращения к более живучим (liveable) альтернативам (p. 138).

Биоэтические и правовые вопросы, которые ставят стволовые клетки, искусственно выращенные из плацентарной пуповинной крови, все еще кажутся неразрешимыми, но, безусловно, дают наглядный пример постчеловеческого существования человеческой материи, порождая тревожный дискурс нового вампиризма или каннибализма науки. Еще больше все усложняется, если принять на веру представления о клеточной памяти, которая, как считают некоторые пациенты, передалась им от донора. Шилдрик ссылается на особый случай Ребекки Лайонс, 45-летней женщины, получившей трансплантацию костного мозга от своего брата-близнеца. После выздоровления она утверждала, что у нее сохранились яркие воспоминания о событиях, которых она никогда не переживала, но позже обнаружила, что это были события жизни ее брата. Об этом явлении, хотя и редком, сообщали и другие получатели донорской ткани, что заставило многих поверить в идею передачи клеточной памяти. Здесь мы видим явное пересечение донаучных убеждений пациентов, научных объяснений и философской деконструкции. Однако мы бы не стали переоценивать масштабы этих открытий; все же речь пока что идет об экспериментальных прощупываниях новой методики лечения.

Неполнота тела делает его вместилищем для жизни на разных уровнях организации и развития. Тело суррогатной матери — не просто сосуд-инкубатор для вынашивания будущей жизни; суррогатная мать и плод смешиваются на клеточном уровне, не нанося друг другу вреда. Как считает Шилдрик, это бросает вызов общепринятым определениям материнства, в особенности в связи с возможностью у «детей из пробирки» иметь более чем двух (биологических, юридических) родителей. Взаимообмен органических жидкостей суррогатной матери и ребенка имеет биополитические последствия. Суррогатными матерями часто становятся женщины из бедных стран, готовые ради реализации социально-экономических потребностей предоставить свое тело для оплодотворения и вынашивания плода, с которым в конечном счете она расстанется. Тем не менее остаточный клеточный обмен означает, что их связь по-настоящему никогда не прерывается. Эта биологическая связь наталкивает на острые вопросы коммодификации репродуктивной способности. Рынки суррогатного материнства, особенно в странах Глобального Юга, являются весьма прибыльными. Хотя они и оказывают финансовую помощь суррогатным матерям, они извлекают выгоду из их уязвимости. В свою очередь, знания о долговременном клеточном обмене могут быть использованы для дальнейшей эксплуатации этих женщин. По мнению Шилдрика, проблема состоит в том, что некоторые формы жизни медико-

промышленный комплекс<sup>21</sup> считает *расходным материалом*, в то время как биоматериалы, которые они поставляют — органы, ткани, стволовые клетки, яйцеклетки, гаметы или матки, — остаются необходимыми элементами для технологий, продлевающих жизнь и созидających ее. В этом взаимодействии редко можно встретить равноправную кооперацию автономных индивидов; вопрос социальной справедливости, когда один человек может быть превращен в висцеральный протез другого, стоит особенно остро.

Но все же неясно, как автор относится к проблеме абортов или пренатального генетического тестирования, выявляющего «дефекты» плода. Сама практика абортирования по выяснении врожденных заболеваний или нарушений развития намекает на глубоко укоренившееся противоречие между медицинским взглядом и феноменологическим опытом, ставя под сомнение этические последствия такой практики. Более того, рутинный характер такого диагностического тестирования, возможно, наводит на мысль о лежащем в его основе нарративе, который позиционирует «не-совершенного» (disabled) ребенка как проблемного и рискует создать социальную среду с пониженной толерантностью к «отклонениям» от навязанных обществом и биомедициной норм. Эта потенциальная неадекватность в принятии клинических решений поднимает вопросы об автономии лиц, их принимающих, и моральных последствиях, которые возникают в результате решений, сформированных на основе неполной или социально ангажированной, предвзятой (biased) информации. И весь этот дискурс находится по ту сторону даже социальной модели инвалидности, не говоря о постструктуралистских моделях в ее критических исследованиях.

Стоит отметить некоторую размытость в словоупотреблении. Висцеральные протезы, соматотехника, микрохимизм/микробиология и постгуманистическая биоэтика определяются друг через друга, так и оставаясь без внятных определений. Рассуждения Шилдрик монотонны и на разные лады повторяют одну и ту же мысль, будто бы стремясь убедить в обоснованности представленных идей. Возможно, это связано с тем, что книга таргетирована на читателей с медицинским, а не философско-гуманитарным бэкграундом.

В ходе чтения возникает и никуда не девается вопрос: какую проблему стремится решить исследовательница? К чему клонит жест размытия границ человеческого тела и его сплетения с другими формами жизни и неорганическими процессами? набросок биоэтики инаковости и принятия радикально иного в себе и вокруг себя совсем не нов: в 2020–2021 годах опыт пандемии, социального дистанцирования, локдауна натолкнул многих на размышления о том же. Кэтрин Хейлс говорит о холобионте<sup>22</sup> и гибридности живых и неживых составляющих жизни, паразитизме

---

21. Этот термин я заимствую у Алисон Кафер и Эли Клэра. В частности, см. полную автобиографических рефлексий книгу: *Clare E. (2017). Brilliant Imperfection: Grappling with Cure. Durham and London: Duke University Press.*

22. См. также исторический анализ возникновения понятия холобионта в контексте гипотезы симбиогенеза и ее влияния на массовую и контркультуру в тексте Брюса Кларка: *Clarke B. (2017). Planetary Immunity: Biopolitics, Gaia Theory, the Holobiont, and the Systems Counterculture // General Ecology:*

и иммунитете как парадигмах сосуществования<sup>23</sup>; Розы Брайдотти учит, что всем людям и не-людям нужно объединиться перед чередой планетарных катастроф, начатой пандемией коронавируса<sup>24</sup>; Натали Депра рассказывает об опыте хрупкости и беззащитности во время локдауна, когда другой становится врагом, а человеческое общежитие рассыпается из-за угрозы смертельно опасного заболевания<sup>25</sup>.

Шилдрик говорит и о холобионте, и об общей ответственности, и о хрупкости как внечеловеческих структурах существования. Но в то же время ей не вполне удастся собрать все эти идеи и интуиции в целостное теоретическое высказывание, не просто спровоцированное теми или иными конкретными достижениями, новостями и фактоидами биомедицинской культуры, но и способное представить новую концептуальную рамку, в которой было бы место всем этим феноменам в единой конфигурации. Да, она говорит, что ее стремления не предполагают создания четких инструкций и однозначных ответов; что ее размышления скорее нащупывают проблемные места наук о жизни, здоровье и болезнях; что она не берет на себя обязательств по формированию и артикуляции работающей этики, не ограниченной нормативизмом и утилитаризмом мейнстрима биоэтики.

В принципе к этой попытке охватить столь широкое проблемное поле можно и нужно отнестись с сочувствием, ибо вызовы и экзистенциальные угрозы, с которыми мы сталкиваемся в последние годы, с их катастрофическим наслаиванием друг на друга, не позволяют соразмерно их осмыслить. Значит, такие попытки, даже при их возможной рыхлости и несистематичности, хороши сами по себе, и из них можно заимствовать приемы, вопросы, кейсы и спекуляции, дабы обновить понятийный аппарат биологии и медицины. Безусловно, книга Маргрит Шилдрик спровоцирует новые такие попытки в будущем.

## Trembling Flesh, Metabolic Techniques<sup>26</sup>

*Maxim Miroshnichenko*

Candidate of philosophical sciences, Research Fellow, School of Philosophy and Cultural Studies, Faculty of Humanities, National research University "Higher School of Economics"

Address: Myasnitskaya Str., 20, Moscow, Russian Federation 101000

E-mail: jaberwokky@gmail.com

---

The New Ecological Paradigm / E. Hörl, J. Burton (eds.). London, New York, New Delhi, Sydney: Bloomsbury Academic. P. 193-215.

23. Hayles N. K. (2021). Novel Corona: Posthuman Virus // *Critical Inquiry*. Vol. 47. No. 2. P. 68-72.

24. Braidotti R. (2020). "We" are in This Together, but We are not One and the Same // *Journal Of Bioethical Inquiry*. Vol. 17. No. 4. P. 465-469.

25. Depraz N. (2021). The Lived Experience of Being Fragile: On Becoming more "Living" During the Pandemic // *Constructivist Foundations*. Vol. 16. No. 3. P. 245-253.

26. The research was carried out at the expense of the grant of the Russian Science Foundation No. 22-18-00450, "The Many-Worlds Conceptions as a Tool of Scientific Research and Interdisciplinary Synthesis of Knowledge," <https://rscf.ru/project/22-18-00450/>.

## Историческая социология несвободы?\*

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ: СЕРГЕЕВ С. М. (2023). РУССКОЕ САМОВЛАСТИЕ. ВЛАСТЬ И ЕЕ ГРАНИЦЫ: 1462-1917. М.: ЯЗУЗА-КАТАЛОГ. — 576 с. ISBN: 978-5-00155-549-0

*Олег Кильдюшов*

Научный сотрудник, Центр фундаментальной социологии, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».  
Адрес: ул. Мясницкая, 20, Москва, 101100, Россия  
E-mail: kildyushov@mail.ru

Рецензируемая книга продолжает цикл работ автора, посвященных макроисторическому исследованию структурных проблем русского прошлого. Так, заметным событием отечественной интеллектуальной жизни стал выход в 2017 году его работы «Русская нация, или Рассказ об истории ее отсутствия»<sup>1</sup>, которая вызвала интенсивное обсуждение и в профессиональном сообществе, и среди широкой общественности<sup>2</sup>. За ней последовал сборник статей «Русская нация. Национализм и его враги»<sup>3</sup>, в основном уточняющий и научно фундирующий основные положения предшествующего сочинения. Весь многолетний цикл исследований известного историка и публициста, крупного специалиста в области истории русской общественной мысли, русского национального сознания и нацистроительства, был начат им почти 20 лет назад — в 2000-х годах<sup>4</sup>.

Новый труд Сергея Сергеева также ожидаемо был встречен публикой с критическим интересом, уже появились первые развернутые отклики на него в научно-исторической периодике<sup>5</sup>. Наверняка последует дальнейшая реакция со стороны профессиональных историков, для многих из которых проблематичной является сама хронологическая рамка книги, охватывающая почти 500-летний период русской государственности. Попытаемся здесь кратко показать значимость такого рода макроисторических работ именно с точки зрения исторической социологии, в значительной мере выполняющей сегодня функции аналитической философии истории. Очевидно, что дисциплинарная специфика современной исторической

\* Публикация подготовлена в рамках исследовательского проекта «Стратегии нормализации повседневности в чрезвычайных ситуациях: инерция аффекта и открытость вызовам», реализуемого Центром фундаментальной социологии НИУ ВШЭ в 2023 году в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ.

1. Сергеев С. М. (2017). Русская нация, или Рассказ об истории ее отсутствия. М.: Центрполиграф.

2. В качестве примера см. наш отклик на данную работу: Кильдюшов О. В. (2017). От макроистории — к исторической макросоциологии: к эвристике нового исследовательского направления // Социологическое обозрение. Т. 16. № 2. С. 348-353.

3. Сергеев С. М. (2017). Русская нация. Национализм и его враги. М.: Центрполиграф.

4. Сергеев С. М. (2004). Русский национализм и империализм начала XX века // Нация и империя в русской мысли начала XX века. М.: Скимень; Сергеев С. М. (2010). Пришествие нации? М.: Скимень.

5. Беляков С. С. (2023). «Русское самовластие» Сергея Сергеева // Историческая экспертиза. № 2. С. 233-245.



науки неизбежно ведет к ее постоянной дифференциации на все более специализированные сегменты знания, требующие особой теоретической и методической квалификации — уже в силу пространственной, темпоральной и содержательной локализованности предметов исследования. Напротив, социология — начиная с фундаментальных работ Макса Вебера по сравнительному анализу духовных культур<sup>6</sup> — изначально требовала масштабной рамочной перспективы генезиса и динамики современных обществ, не ограничиваясь отдельными эмпирическими работами на узкоспециальные темы. В этом смысле — вопреки известному и совершенно ошибочному тезису Жан-Франсуа Лиотара об избыточности попыток целостных интерпретаций<sup>7</sup> — «большие повествования» структурно встроены в теоретическую конституцию социологического самоописания модерна как качественно новой эпохи. Ведь даже самый удачный анализ конкретного сегмента социальной практики обретает смысл лишь в контексте общей картины исторической реальности, задающей рамочную возможность осмысленной эмпирической интерпретации отдельных кейсов и сюжетов. С этой точки зрения структурно неизбежными и тесно связанными являются макросоциологическая постановка вопроса — «В каком обществе мы, собственно, живем?» и постановка вопроса макроисторическая — «Как наше общество пришло к своему нынешнему состоянию?». Исследовательская задача новой книги Сергея столь же макроисторична — в ней он пытается реконструировать генеалогию и феноменологию русской политической власти, на его взгляд, уникальную по своему конституирующему воздействию на русское общество на протяжении многих веков.

Несмотря на преобладание узкоспециализированных и даже микроисторических подходов в современной историографии, объявляющих научно бессмысленным рассмотрение исторических феноменов на таком огромном промежутке времени хотя бы и в отдельно взятой стране — в случае Сергея это организация политического господства в России с середины XV века до начала века XX, — существует и противоположный запрос на масштабное изображение в виде более или менее целостной картины прошлого человечества или отдельных его частей. Помимо по-прежнему популярных курсов национальной истории в жанре «от Адама до Потсдама» или отраслевых историй, здесь можно вспомнить еще более амбициозные проекты вроде *Global History*<sup>8</sup>, увязывающей весь мир в единое целое, или даже *Big History*, пытающейся интегрировать в общий нарратив события естественной и культурной истории<sup>9</sup>.

В этом смысле макроисторическое исследование политической власти, осуществленное в рецензируемом сочинении, является вполне легитимным как

---

6. Вебер М. (2017). Хозяйственная этика мировых религий: Опыт сравнительной социологии религии. Конфуцианство и даосизм / Пер. с нем. О. В. Кильдюшов. СПб.: Владимир Даль.

7. Лиотар Ж.-Ф. (1998). Состояние постмодерна. М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя.

8. *Geschichte der Welt*. (2012–2023). Hrsg. von Akira Iriye und Jürgen Osterhammel. 6 Bde. München: C. H. Beck.

9. *Christian D.* (2018). *Origin Story: A Big History of Everything*. New York: Little, Brown and Company.

с точки зрения предмета, так и метода. Здесь достаточно вспомнить масштабный проект исторического социолога Майкла Манна «Источники социальной власти»<sup>10</sup>, на которого Сергей Сергеев неоднократно ссылается. Более того, несмотря на ожидаемо негативную реакцию многих отечественных историков-пуристов, эпистемологически несколько наивно и провинциально настаивающих на методологической чистоте своей дисциплины, среди крупных исследователей русского прошлого можно с некоторой осторожностью зафиксировать долгожданный тренд на социологизацию научно-исторического нарратива. Речь идет не только об эксплицитном позиционировании себя некоторыми социальными историками в качестве исторических социологов — в виде самого яркого примера можно привести известного петербургского исследователя Б. Н. Миронова, автора рубежной для советской науки работы «Историк и социология»<sup>11</sup> и современного учебника «Историческая социология России»<sup>12</sup>, сам концептуальный язык которого ориентирован на дискурс модерна / модернизации<sup>13</sup>. Активное применение социально-теоретической и социологической оптики можно обнаружить в недавних работах профессора ЕУСПб М. М. Крома<sup>14</sup>, успешно интегрирующего в свои исследования подходы исторической антропологии, исторической компаративистики и т. д., а также в лекционном цикле «История России: главное», который профессор СПбГУ К. Б. Назаренко ведет в рамках популярного интернет-проекта «Цифровая история», и др.

Социологический интерес к истории обусловлен как содержательно, так и генеалогически — отцы-основатели дисциплины вроде Макса Вебера пытались аналитически описать и каузально объяснить происходившие на их глазах фундаментальные трансформации способов социальной организации, труда и социального действия. При этом одним из центральных вопросов классики является появление в Новое время в Европе рационально организованного государства модерна типа, беспрецедентного с точки зрения предшествующего исторического опыта. Неслучайно Сергеев начинает свое теоретическое введение «Предположения о природе русской власти» с классического веберовского определения, данного в § 16 «Основных социологических понятий»: «Власть означает любой шанс осуществить свою волю в рамках некоторого социального отношения, даже вопреки сопротивлению, на чем бы такой шанс ни был основан». Вслед за ним автор дает не менее хрестоматийное определение господства, понимаемого Вебером как «шанс встретить повиновение у определенных лиц приказу известного содержания», отмечая специфику государственного господства в том, что оно «с успехом

---

10. Манн М. (2018). Источники социальной власти. В 4 т. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС.

11. Миронов Б. Н. (1984). Историк и социология. Л.: Наука.

12. Миронов Б. Н. (2009). Историческая социология России. СПб.: Издательский дом СПбГУ, Интерсоцис.

13. Миронов Б. Н. (2014). Российская империя: от традиции к модерну. В 3-х тт. СПб.: Дмитрий Буланин; Миронов Б. Н. (2019). Российская модернизация и революция. СПб.: Дмитрий Буланин.

14. Кром М. М. (2018). Рождение государства: Московская Русь XV–XVI веков. М.: Новое литературное обозрение.

пользуется монополией легитимного физического принуждения для осуществления порядка» (с. 7-8).

Отталкиваясь от этих канонических для политической социологии дефиниций, Сергеев пытается объяснить феномен того уникального для европейского региона способа самовластного господства, что сложился в Московской Руси при потомках Дмитрия Донского. При этом в качестве нормативной формулы патримониальной власти любого русского правителя, инвариантной для автора на протяжении всего исследуемого периода, используется цитата из «Записок о Московии» Сигизмунда Герберштейна: «Властью, которую он имеет над своими подданными, он далеко превосходит всех монархов целого мира... Всех одинаково гнетёт он жестоким рабством... Все они называют себя холопами, то есть рабами государя...» (с. 48). В целом критический западный взгляд на русскую систему господства широко представлен в книге множеством оригинальных цитат из сочинений иностранцев, которых патриотическая общественность обычно воспринимает в качестве патентованных русофобов, злонамеренно клеветавших на историческую Россию. Другим важным элементом исследования является компаративный подход, т. е. систематическое сопоставление автором девиантных отечественных практик радикального самовластия с более умеренными европейскими, выступающими в качестве исторически «нормальных» и ценностно нормативных. К сожалению, в работе можно найти гораздо меньше сравнений московской политической системы с соседними восточными странами, что эвристически могло бы дать не менее интересный результат...

Таким образом, рамочная концепция исследования Сергеева воспроизводит классический топос русской мысли, описывающий самодержавные практики, начиная с Ивана III, как ничем не ограниченный произвол верховной власти или тиранию — если говорить языком восходящей к Аристотелю западной традиции политической философии. Автор признает, что данный способ интерпретации вполне устойчив для части отечественной историографии и аргументативно восходит к публицистике XVI века. В этом смысле исследователь опирается на мощную литературную традицию и ставит перед собой цель фактологического фондирования данной концепции, опираясь на оригинальные исторические источники и авторитетные научные исследования. При этом он пытается максимально дать слово современникам описываемых событий, чтобы они сами свидетельствовали о своем опыте взаимодействия с московскими великими князьями/царями и петербургскими императорами.

В соответствии с хронологическим принципом книга разбита на 8 глав, посвященных определенному периоду русской истории: 1462-1546, 1547-1613, 1613-1698, 1698-1725, 1725-1801, 1801-1855, 1855-1894 и 1894-1917. Здесь следует сказать, что такой рубрикатор явно неудачен в том смысле, что собственно даты не заменяют качественной характеристики того или иного этапа эволюции политической системы России.

Концептуальное ядро авторского подхода формулируется во Введении, где Сергеев прямо рекомендует читателям, интересующимся лишь его объяснитель-

ной схемой, ограничиться этой вводной частью работы. Наиболее социально-теоретические релевантные положения содержатся именно здесь, поэтому обратимся к основным характеристикам московской системы господства, унаследованной петербургской империей Романовых:

1. Вслед за Максом Вебером Сергеев считает русское самодержавие разновидностью *патримониализма*, т. е. одной из форм традиционного господства, при которой подданные подчиняются правителю по модели «глава семьи — дети и домочадцы»<sup>15</sup>. Однако в отличие от простейшей формы традиционного господства, т. е. патриархализма, ограниченного домашним союзом большой семьи, в случае патримониализма речь идет о распространении власти верховного правителя на основе полного частного владения и распоряжения на обширные политические единства.
2. Следующий важнейший признак московской власти — ее *надзаконность*, отсутствие какой-либо юридически обязывающей фиксации границ и объемов полномочий правителя, с одной стороны, и прав и привилегий подданных — с другой, что неизбежно порождало массовые практики административно-полицейского произвола в центре и на местах.
3. *Авто- и моносуъектность* власти, ее ориентация на саму себя в качестве основного мотива господства, недопущение появления других политических акторов, что во властной практике постоянно приводило к уничтожению любых форм самоорганизации — от местного самоуправления до земств.
4. *Сакрализация* власти верховного правителя, выступающего самостоятельным объектом культа в рамках политически контролируемой религиозности. И хотя Сергеев признает, что подобные феномены были характерны для многих стран и эпох, в том числе европейского Средневековья, он отмечает чрезвычайно высокую степень сакрализации в России, вплоть до обожествления фигуры царя.
5. Парадоксальный *разрыв между уровнем властных компетенций*, связанных со способностью к интенсивному государственному насилию в отношении подданных (деспотическая власть, по М. Манну), и способностью решать их проблемы и координировать деятельность общества (инфраструктурная власть). Сергеев указывает на то, что спорадическая интенсивность насилия не компенсировала общую неэффективность властной организации — несмотря на косметические изменения во внешнем облике, Россия веками оставалась одной из самых недоуправляемых стран.

В сильной форме тезис Сергеева заключается в следующем: подобная исторически уникальная для Европы констелляция ничем не ограниченного господства, контингентно возникающая в Москве во второй половине XV века, структурно вос-

---

15. В веберовски ориентированной социологии второй половины XX века получил широкое распространение термин «неопатримониализм», часто применяемый и к постсоветским режимам власти-собственности.

производилась на протяжении нескольких веков русской истории, вплоть до свержения монархии поздних Романовых в 1917 году.

Естественно, такого рода феномен устойчивого деспотического правления среди модернизирующейся Европы Нового времени, радикально отличный от политических систем всех соседей-конкурентов, требует серьезного научного объяснения. Сергеев и здесь обращается к огромной историографической традиции и обнаруживает несколько сложившихся топосов:

— особенно популярный в XVIII-XIX веках географический подход, объясняющий стабильное воспроизводство деспотических форм скудостью ресурсов вследствие неудачного для интенсивного сельскохозяйственного производства климата Северо-Восточной Руси;

— военно-политический фактор в виде экстремального уровня внешней опасности, вынуждавшего государственную власть постоянно вести войны с агрессивными соседями или готовиться к ним, непродуктивно растрачивая тем самым и без того ограниченные ресурсы, необходимые для развития в общеевропейском духе;

— многовековая политическая зависимость Руси от внешнего господства вследствие монгольского завоевания («золотоордынское иго»), катастрофического как по одномоментным потерям, так и по долговременным последствиям; в результате нашествия русские князья выполняли для татар функции колониальной администрации (управление уделами, сбор дани, выставление воинских контингентов в интересах Орды и т. д.);

— культурно-дискурсивная зависимость от Византии, лишившая Русь доступа к римскому политико-правовому наследию и обусловившая слабость русского легалистского сознания, а также специфическую форму религиозности в виде внешней набожности и т. д.

Автор разумно отказывается считать определяющим лишь один из перечисленных факторов, предпочитая говорить об их наложении друг на друга (Макс Вебер в этом смысле говорил о *конstellации*): «Таким образом, сочетание внешнего (монгольское иго) и внутреннего (упадок вечевой жизни, слабость «легального» дискурса) факторов выработало у московских государей уникальную (по крайней мере для христианского мира) политическую культуру, основанную на неограниченности их власти» (с. 47).

Стоит ли говорить, что такого рода авторская концепция неизменной деспотичности русской власти, пусть и опирающаяся на целый ряд выдающихся русских историков (Н. М. Карамзина, Н. И. Костомарова, Б. Н. Чичерина, А. Д. Градовского, В. И. Сергеевича и др.), считавших, что московская политическая система претерпела деформацию в результате монгольского нашествия, не могла не вызвать целый ряд возражений различного уровня.

Своего рода «боевое крещение» содержательное ядро книги получило в результате интенсивного обсуждения, состоявшегося 25 февраля 2021 года на площадке Центра фундаментальной социологии НИУ ВШЭ в рамках цикла семинаров Logi-

са Socialis. В разгоревшейся дискуссии приняли участие не только социологи-теоретики, но и историки, и юристы, которые из своих дисциплинарных перспектив выдвинули несколько содержательно значимых возражений. Так, автор этих строк поставил вопрос о (дис)континуитете структур господства, анализируемых Сергеевым: была ли это социально-феноменологически одна и та же власть, сохраняющая единство на протяжении многих веков, или речь идет о множестве несводимых к одному целому феноменов господства? Ведь очевидно, что основные группы интересов, политические техники и способы легитимации власти сильно отличались, например, при Иване Грозном и Николае I! Насколько социологически осмысленно говорить о русской верховной власти как о целостном феномене на протяжении половины тысячелетия?! В ответ Сергеев выдвинул предположение о существовании некоего «неразложимого ядра» российской власти, которое, несмотря на попытки трансформации и внешние изменения, сохраняет единство и удерживает в своей основе определяющий принцип самовластия и надзаконности.

Возражения других участников дискуссии касались целого ряда проблемных моментов предложенной концепции: общего уровня юридизации политического в Средние века (развитие государственного права приходится на XIX-XX века, тогда как ранее большее развитие получило гражданское право и уголовное право), религиозного фактора как ограничителя власти через ее сакральную санкцию (венчание на царство), ненормальности именно западного исторического опыта (радикальное отличие европейского пути от большинства культурных регионов), нормативной значимости в древности не писанного права, а устного и обычая (отсутствие фиксации обычного права), проблематичность современного взгляда на прошлое как «неправильное» (при модернизации оптики игнорируется та локальная и историческая специфика, которая, собственно, является предметом исследования) и т. д.

Дискуссию завершил руководитель Центра фундаментальной социологии НИУ ВШЭ А. Ф. Филиппов, указавший на необходимость отдельного рассмотрения политического опыта в Российской империи, в которой предпринимались сознательные попытки создания структур полицейского государства европейского типа с ориентацией на западные представления о благе и безопасности. По крайней мере частично этот перенос состоялся и, несмотря на многочисленные неудачи, сам факт соответствующих попыток значим при разговоре о природе русской власти. Также профессор Филиппов отметил неоднородность в самой аргументации Сергеева: произвол на местах, отсутствие юридического обоснования власти или отсутствие правовых трактатов, свидетельства иностранцев о случаях злоупотребления властью — все это факты, лежащие на разных уровнях анализа. Еще одно замечание относилось к самой природе власти и ее устройству: социологически невозможно представить, чтобы государство, оказавшееся способным к расширению своих границ, успешному ведению многочисленных войн и существовавшее в течение столь длительного периода, держалось на одном лишь самоволии

и произволе власти. Уже поэтому концепция неразложимого и неизменного ядра власти, к тому же сводимого только к совокупности негативных характеристик, оказывается в затруднительном положении и нуждается как минимум в критическом осмыслении...

2 марта 2023 года на презентации уже вышедшей книги в московском книжном магазине «Фаланстер» прошло еще одно обсуждение, в ходе которого в центре внимания оказался все тот же круг вопросов: является ли западный исторический опыт нормативным, было ли чрезвычайное насилие со стороны верховной власти чисто русским феноменом и т. д. Автор этих строк также воспроизвел свое основное возражение именно из перспективы исторической социологии: ведущие социальные силы и их интересы, ресурсы и техники господства — все эти характеристики сильно менялись на протяжении веков, поэтому необходима большая дифференциация аналитической оптики. В ответ на прозвучавшие замечания и контрдоводы автор в основном воспроизвел аргумент, прозвучавший ранее.

В заключение следует отметить, что осуществленные в книге С. М. Сергеева подробная экспликация и дальнейшее развитие классического топоса русской историографии и историософии о природе власти оказались чрезвычайно продуктивными уже на новом уровне фактических знаний о прошлом русской государственности. Особый вклад в расширение и углубление наших представлений о генеалогии, формах легитимации и реальных практиках господства в России может внести историческая социология, интегрирующая методы и подходы современного социального знания<sup>16</sup>. Остается только надеяться на дальнейшую социологизацию отечественного научно-исторического познания, сулящую нам новые открытия, казалось бы, в уже хорошо изученном проблемном поле. И ожидать новых острополемических работ автора, провоцирующих живую дискуссию о далеком русском прошлом как актуальной проблеме нашего настоящего.

## Historical sociology of unfreedom?

Book review: Sergeev S. M. (2023) *Russian autocracy. Power and its limits: 1462-1917*. Moscow: Yauza-catalogue. — 576 p. ISBN: 978-5-00155-549-0. (In Russian).

*Oleg Kildyushov*

Research Fellow, Centre for Fundamental Sociology, National Research University — Higher School of Economics

Address: Myasnitskaya Str., 20, Moscow, Russian Federation 101000

E-mail: kildyushov@mail.ru

---

16. Лахман Р. (2016). Что такое историческая социология? М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС.

## Правда Нормана Дензина: введение в научный некролог

*Рогозин Дмитрий*

Кандидат социологических наук, директор Центра полевых исследований Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС при Президенте Российской Федерации.

Адрес: Пречистенская набережная, 11, корп. 1, Москва, 119034

E-mail: rogozin@ranepa.ru

Жадный, любопытный, случайный, не знавший иного закона, кроме закона наслаждения, мгновенно наступавшего равнодушия, он странствовал во многих землях и глядел, с того и другого берега моря, на города людей и их дворцы. На многолюдных рынках или у подножия горы, чья уходившая в облака вершина скрывала сатиров, он слушал запутанные истории, принимая их, как принимал реальность, и не спрашивал, правдивы они или лживы.

*Хорхе Луис Борхес «Делатель»*

Смерть ученого, как правило, сопровождается чередой некрологов — свидетельств близких и далеких ему людей о славной жизни и безвременной кончине. Жанр некролога, как «последней мистификации, посланной как бы вдогонку», прекрасно резюмировал Г. С. Батыгин. Что должен содержать некролог? «Научные регалии, формулы открытий, упоминания в учебниках, тома сочинений, перечисление правительственных наград и почетных званий» (Батыгин, 2003: 115) — все то, что конструирует как бы эпоху, которая безвозвратно уходит с почившим ее ярким представителем.

«С таким человеком уходит эпоха» — более чем подходит к Норману Дензину, для многих олицетворявшему борьбу за качественные методы, отцу-основателю интерпретативной и интеракционистской традиций в качественной методологии, ни разу не отказавшемуся от базового гуманистического принципа: прежде всего человек, уже потом наука, измерение, развитие и содействие какой бы то ни было исследовательской программе или направлению. Еще при жизни Норман Дензин вошел в число классиков методологии качественных исследований: не столько своими уникальными исследовательскими проектами, которых, к слову, было немало, сколько менторской, коллективной работой по институционализации, систематизации и реификации качественного подхода.

Вершиной этого можно считать пятикратно переизданный сборник по качественным исследованиям (*Handbook of qualitative research*, 2017, 2023), который уже три десятилетия репрезентирует методологию качественных исследований. Переиздания сборника особенны: в них нет повторяющихся текстов, за исключением



последнего, шестого издания, в которое включена дополнительная глава, содержащая тексты прошлых лет. Каждое переиздание повторяет лишь заглавие, общий замысел и структуру организации материалов, в остальном — к 2023 году это уникальный шеститомник, который займет достойное место в библиотеке любого современного исследователя.

Что такое качественное исследование? Для чего производится? Как качественные проекты включены в текущую социальную политику? Какое будущее ждет качественную методологию? Эти пять вопросов Норман Дензин задавал на протяжении всей своей жизни и призывал коллег дать на них ответы. За тридцать лет (период переизданий сборника по качественным исследованиям) активной деятельности по институционализации и систематизации качественной методологии ему удалось собрать вместе лучших из лучших мировой методологической мысли. В разные годы под его редакцией публиковались Пол Аткинсон, Зигмунд Бауман, Артур Бочнер, Дэвид Гринвуд, Клифорд Кристианс, Кен Пламмер, Дэвид Сильверман, Кэти Чармаз, Уве Флик, Кэролин Эллис, Фредерик Эрикссон и многие другие. Наряду с прикладными описаниями методов и этическими дилеммами, сопровождающими любой исследовательский проект, ставились эпистемологические и методологические вопросы осознанного развития качественной традиции.

Методология социальных исследований — дисциплина практическая, прикладная. От нее ожидают рецептов и рекомендаций, пошаговых инструкций и предупреждений. По ней определяют качество сделанного, статус научного, которому можно доверять, результатами которого можно пользоваться. В отчетах, презентациях, аналитических записках методология упоминается вскользь, она как бы вменена авторам в обязанность, определяется через их статус, научные регалии, прошлый опыт. Отчасти, считает Дензин, подобное отношение к методологии заложили методологические работы, в том числе Роберта Мертона (Denzin, 2017: 4), установившего подчиненную позицию метода, редуцировавшего его до технической и технологической оснастки исследования.

Методология — это матчасть, к которой отсылают новичков, о которой вспоминают, когда высказывают недоверие или призывают к ответственности. В остальное время обвешанные регалиями маститые ученые выступают гарантами значимости, валидности и надежности представленных результатов, ибо вера превышает знание. Я долго думал, что подобное бытование методологических дисциплин — прерогатива российской традиции, особенность нашего развития социальных дисциплин, вырвавшихся из плена марксистско-ленинского знания. Но нет, ровно с таким подходом все эти годы боролся Норман Дензин в Америке, выступая непримиримым критиком практического и прикладного всезнания, построенного на доверии и авторитете.

Если в количественной традиции отказ от методологических догматов реализовался в повороте к теории общей ошибки исследования, то в качественной, поддержанной усилиями Дензина, — в «отвороте» от прагматики и доказательной политики. Методология не учит тому, как делать правильно. Методологи могут

лишь указать на ошибки, сбои и недочеты, обнаружить то место, где научное исследование подвергается профанации, фальсификации и фабрикации. Так считают, продолжая попперовскую традицию фальсификационизма, количественники. Методология не предназначена для обслуживания управленческих решений, политических программ и приоритетов. Методология социальных исследований определяет границы человеческого познания, обнаруживает пороги, за которыми технократизм, доказательность и желание совершенства начинают доминировать над свободой взаимодействия, субъектностью, гуманитарными принципами человеческого существования. Так говорит отец-основатель интерпретативного интеракционизма Норман Дензин. Говорит громко и убедительно, через тексты, выступления и манифесты.

Что такое доказательный подход? Как достигается доказательство? Что служит базовым аргументом, критерием для конкретной задачи? — вопросы, которые чрезвычайно важны для Нормана Дензина. Научный подход в глазах политиков редуцировался до менеджериализма, маркетинга и процедур измерения. Общество охотно включается в такие процедуры, погружается в череду принятия решений, но роль общественных интересов неизменно снижается, уступая место количественным, как бы объективным процедурам. Доказательный подход, как «слон в посудной лавке», по убеждению Дензина (Denzin, 2009, 2023), обосновался не только в государственных структурах, но и проник в управление университетами, некоммерческими организациями, волонтерскими коллективами. Убежденность в доказательности численных процедур исключила из внимания принимающих решения человека. Изменчивость мнений, эмоциональность, этические проблемы рассматриваются как ошибки, недоразумения при всеобщем триумфе цифрового управления. Провозглашенный безошибочным и научным, доказательный подход зачастую демонстрирует черты антигуманного, антидемократического, антилиберального направления, становится прямой угрозой развитию общества.

В России доказательный подход только-только набирает обороты. Так, Счетная палата Российской Федерации демонстрирует фронтиры доказательной социальной политики, призывая все государственные органы подключиться к возобновляемой цифровизации. В США парадигма доказательности в госуправлении достигла зрелости, а значит, и критического к ней отношения, одну из ключевых ролей в котором сыграл Норман Дензин. Попробуем разобрать траекторию его движения от преподавателя социологии и кумира студенток до позиции критика объективной доказательности, врага объективизма и объективации.

Норман Кент Дензин (для родителей, а потом друзей и коллег — просто Норм) родился 24 марта 1941 года в Айова-Сити, штат Айова, в военной семье. Отец дослужился до капитана военно-морского флота. Мама, как многие жены военных, поделила судьбу мужа. Высшее образование Норман получил в 1963 году в родном городе в Университете Айова, там же в 1966 защитил докторскую диссертацию: «Хобби и другие интересы: ловля форели, чтение детективов и джаз». Сразу после защиты Дензин переезжает в соседний штат Иллинойс на позицию препода-

давателя-исследователя в Университет Иллинойса, где и остается, с небольшим перерывом (три года был доцентом в Калифорнийском университете), вплоть до выхода на пенсию в 2012 году.

Доцент социологии, профессор социологии, почетный профессор по коммуникативным наукам. Роль внешних событий в судьбе Нормана Дензина незначительна. Ровная, уместившаяся в несколько строк профессиональная биография насыщена иного рода интеллектуальными событиями, реифицированными в монографиях и статьях. Остановлюсь лишь на трех наиболее близких и понятных мне конstellациях таких событий, сформировавших три направления или перспективы научной деятельности.

Во-первых, сквозным, определяющим творчество Нормана Дензина лейтмотивом научной работы выступает соучаствующий формат исследования. Социальная повестка, в какой бы области научного знания — психологии, социологии, антропологии, этнографии или лингвистики — она ни реализовывалась, нуждается в соучаствующем, коллаборативном формате. Сотрудничество, поддержка, кооперация в исследовании необходимы не только исследователю, социальному предпринимателю или политическому деятелю, но и тем, кто обычно определяется в качестве объектов исследования: угнетенным, стигматизированным, маргинализированным и невидимым до того участникам.

Одна из значимых и наиболее вдохновляющих задач социологического проекта — это субъективация, выявление и насыщение смыслами до того объективированной, подавленной властными порядками социальной среды. В этом реализуется исследовательский акт (Denzin, 2017), состоит понимание эмоциональной сферы (Denzin, 1984), приобретает значимость биографический нарратив (Denzin, 1989a) и находит свое воплощение интерпретативная этнография (Denzin, 1997), в предельной форме открытости — автоэтнографическом письме (Denzin, 2014) и качественном манифесте (Denzin, 2016).

Качественный манифест Нормана Дензина — прямое продолжение и ответ на исследовательскую манифестацию Чарльза Райта Миллса, его критику наукообразного и пустого в своем наукообразии дискурса больших исследовательских проектов, призыв к простоте, открытости и социологическому воображению. «Я получил образование в 1963-м. Чарльз Райт Миллс был моим героем. Его «Социологическое воображение» (см. русский перевод: (Миллс, 2001)) было моей Библией», — напишет Дензин во введении к своему манифесту (Denzin, 2016: 10). Качественный манифест Нормана Дензина — это программа соучаствующего исследования, в котором роль исследователя заключается не в замещении или интерпретации происходящего, а в построении коммуникативной среды, в которой возможно разногласие, пересечение перспектив и множественных, подчас противоречивых, аргументаций.

Во-вторых, Норман Дензин выступил последовательным учеником, исследователем, а затем и учителем символического интеракционизма — сверхмодного когда-то направления (теперь неискушенный в методологических вопросах читатель

чаще встречается его в учебных пособиях и исторических статьях), но набравшего, в том числе благодаря усилиям Дензина, такую интеллектуальную мощь, что еще долгие десятилетия символический интеракционизм будет оставаться в актуальной повестке. Герберт Блумер, один из основателей символического интеракционизма, высоко оценил «Исследовательский акт», впервые вышедший в свет в 1970 году (Denzin, 2017a), как одну из наиболее перспективных и фундированных работ этого направления. Что не удивительно, этой монографией Норман Дензин развивает и обогащает блумеровское горизонтальное представление о методе и теории как равноправных участниках исследовательских интеракций.

В 1977 году в монографии, представляющей новый взгляд на вопросы детской социализации (Denzin, 1977), Норман Дензин закрепил за собой лидирующие позиции в развитии теоретических и методологических оснований символического интеракционизма как подхода, рассматривающего индивидов в пространстве их собственных представлений и перспектив (Дензин, 2012: 227). Сейчас привычно читать рассуждения о правах ребенка, необходимости говорить на его языке, включать в принятие взрослых решений. Но тогда, в 1970-х, о голосе ребенка не могло идти и речи. Отношения с детьми строились исключительно через образование, воспитание и передачу нормативного поведения взрослых. Монография Нормана Дензина оказалась неожиданной и прорывной. Через наблюдение за интеракциями, смысловыми конфигурациями, которыми насыщены детские диалоги, не просто подверглись сомнению, а были разбиты в своей несостоятельности многие педагогические постулаты, определяющиеся доминантным дискурсом взрослых. Ребенок не просто имеет право на свой голос, но в обязанности взрослого входит поддержание и защита этого права.

Основание для прорыва в изучении взросления были заложены еще в первой монографии о детстве, в которой одним из базовых методологических принципов декларировалась обязательность сенсibilизированной (sensitizing) настройки опросного инструмента (Denzin, 2017a: 14–15). Между концептом и операциональным определением не существует прямой связи. Нельзя сидя в кресле операционализировать, скажем, понятие патриотизма, любви или ненависти. Необходимым условием операционализации выступает наблюдение за опросным инструментом в полевых условиях, фиксация различных смысловых нагрузок, возникающих у всех участников опросной интеракции. Сенсibilизация опросного инструмента — это включение в исследовательскую работу всех участников взаимодействия, формирование общей смысловой рамки, в которой уникальность взаимодействия выступает необходимым элементом для нахождения общих, выходящих за рамки конкретной коммуникации свойств. Невозможно услышать голос ребенка, оставаясь в плену предзаданных концептов. Необходимо включить текущую интеракцию с ребенком и смыслы, ей сопутствующие, в исследовательскую программу, что с успехом и было продемонстрировано Дензином.

После ярких методологических и эмпирических работ, выполненных в традиции символического интеракционизма, последовали теоретические описания,

закрепляющие это направление. Сенсуализированный язык описания позволил Норману Дензину на первом шаге трансформировать классическую теорию символического интеракционизма в «интерпретативный интеракционизм» (Denzin, 1989b), и на втором — предложить востребованные интеллектуальной средой инструменты для наблюдения и формирования социологических описаний в культурологических исследованиях (Denzin, 1992).

В-третьих, с самого начала и до завершения исследовательской карьеры Норман Дензин оставался классическим американским социологом, концентрирующим внимание на социальных проблемах, находящимся в поиске решений наиболее важных и значимых вызовов современности. Алкоголизм (Denzin, 1987a, 1987b, 1987c), эмоциональная депривация (Denzin, 1984), последствия террористической атаки 11 сентября 2001 года (9/11 in American Culture, 2003; Denzin, 2003) — лишь малая часть исследовательских проектов, инициированных Норманом Дензином. В каждом из них социальная проблема рассматривается не только с точки зрения исследователя или публичного заинтересованного лица, но и самих участников, сопереживающих последствиям от своей или чужой деятельности.

Исследование всецело зависит от того, какие люди в него попадают. Какие люди перед вами? Что они говорят? Что думают? Какой смысл вкладывают в происходящее? Это важнейшие вопросы, подрывающие стройность и прямолинейность доказательной цифровой социальной работы, опирающейся на обезличенные экспериментальные планы и статистические таблицы.

Правда Нормана Дензина состоит в свободном, открытом, продолжающемся диалоге. Говорить правду — не значит быть во всем логичным и последовательным, отвечать за прошлые слова, согласовывать их с последующими делами. Говорить правду — значит ответственно участвовать в социальных взаимодействиях, заявлять о своей перспективе, проявлять уважение к перспективе другого, пусть неопределенной, нелогичной и даже противоречащей себе в прошлом. Правда не разрушается ложью, она спотыкается на неверии в себя, в других, в коммуникацию. Правда разрушается от умолчаний и ложных последовательностей.

Правда Дензина не держится за правдолюбив, идущих до конца в поисках истины и избличении лжи. Более того, правдолюбивы легко найдут в работах Нормана Дензина сбой и недочеты, обнаружат автоплагиат, избличат в бесконечных повторах и пересказах одной мысли в многочисленных монографиях и статьях. Так, написанная когда-то монография об интерпретативной биографии (Denzin, 1989a) трансформируется через годы в интерпретативную автоэтнографию (Denzin, 2014), а монография о вызовах качественных поисков (как и многие другие его работы) построена на переиздании фрагментов других монографий и статей (Denzin, 2017b). Можно запутаться в многочисленных переизданиях его работ, сменах соавторов, перестановках в главах, заменах ключевых доводов.

Меняются слова, порядок изложения, тасуются исходные посылки — ничто не гарантирует стройной последовательности, цитирования и точного обозначения оставленных в прошлом аргументов. Неизменным остается базовый принцип

символического интеракционизма — смысл рождается в интеракции. Только множественные диалоги могут вытащить из трясины затвердевающих, умирающих еще в ходе обдумывания представлений о мире. Мысль невозможна без смысла. Смысл невозможен без общения. Потому задача научного работника, по Норману Дензину, организовать свободное общение во всех доступных ему режимах, устных и письменных.

Пока добропорядочный ученый будет годы размышлять над положениями, выносимыми на защиту, оправдывать свое присутствие в научном дискурсе, Норман Дензин напишет и перепишет десятки работ, организует новые журналы, выступит на конференциях, а если не найдет нужную по тематическому репертуару площадку, создаст свою. Из российских гуманитариев по стилю и базовым научным принципам наиболее близок Дензину Борис Докторов. Читая его тексты, порой поражаешься многословию, многочисленным автобиографическим отсылкам, переизданиям, переписываниям, вставкам из одних текстов в другие. Это создает путаницу, ломает стройность изложения, но одновременно конструирует почву для диалога, свободного и правдивого, в котором отсутствует скованность «научной новизной» или «актуальностью». Все, что заботит сейчас научного работника, ново и актуально, а проверка этому — наличие собеседника, вдумчивого, критичного, откликающегося на сказанное или написанное.

В неутомимом поиске собеседника и текстовом формате диалога Норман Дензин черпает вдохновение у Жана-Поля Сартра, не раз повторяя, что слова о текстоцентричности человеческой жизни и судьбы, о необходимости состояться через обогащенную другими текстовую ткань окружающего мира, в которую вплетены события, места и лица. Только в диалогах жизнь человека обретает смысл, который остается хрупкой и неустойчивой конструкцией, как огонь в камине, требующей постоянной подпитки вопросами, суждениями, критикой. Речевой поток Дензина — это не желание выделиться, прославиться, быть у истока научных дискуссий, это сама научная жизнь, идентичность ученого, создающего и поддерживающего производство научного знания. Правда, по Дензину, — это правда потока смыслов и домыслов, рождающихся и умирающих в диалогах. Правда не может быть страшной, ее не нужно открывать или оправдывать. Правдой можно лишь делиться и жить.

Норман Дензин основал множество научных журналов. Среди них наиболее авторитетный — *Qualitative Inquiry*, учрежден в 1995 году. В первом номере вместе с неизменным коллегой, соредактором, соратником многих начинаний, Ивонной Линкольн Норман определил тематический репертуар журнала (Denzin, Lincoln, 1995: 7): этические и политические дебаты в качественных исследованиях; теоретические дискуссии, построенные на прочном философском фундаменте; методологические стратегии и технологии; результаты качественной работы в широком спектре междисциплинарных исследований; практические приложения качественных исследований; эксперименты с высказываниями, нарративными структурами, методами, формами репрезентации; постмодернистская, постструк-

туралистская и критическая обработка качественных или интерпретативных исследований. Но кроме того, он высказал и главное ограничение, определяющее лейтмотив его исследовательской работы: для журнала не годятся никакие самые изысканные результаты качественных исследований, если для их получения важнейшим приоритетом не выступают методологические вопросы.

Прошло больше года, когда на страницах нового журнала появилась первая статья Нормана Дензина, в которой он поставил важнейший для себя вопрос о правдивости социологического нарратива, или соотношении факта и вымысла (Denzin, 1996). И отправной точкой для этого послужили методологические размышления над классической работой Вильяма Фута Уайта «Street corner society» (Whyte, 1993). На тот момент Вильям Уайт, научный директор Программ по трудоустройству и рабочим системам Школы индустриальных и рабочих отношений Корнельского университета в штате Нью-Йорк, только что опубликовал расширенную автобиографию (Whyte, 1995) и в целом исчерпывающе описал свои методологические представления. Однако Норман Дензин не ограничился обращением лишь к текстам. Он пригласил Вильяма Уайта принять участие в дискуссии и, критикуя взгляды последнего, предоставил ему возможность не только возражать, но и развивать собственную теоретическую позицию.

Важнейшее для Нормана Дензина качество современной социологической теории, деконструкционизм, Вильямом Уайтом относится к проходящему, временному увлечению (Whyte, 1996b: 242), а попытки доказать неразличимость во многих случаях фактов и вымысла — к отходу от научной методологии (Whyte, 1996a). Но это не мешает редактору-основателю разместить конфликтующие тексты в одном пространстве. Более того, открытая публичная дискуссия становится основанием для того самого деконструктивизма научного дискурса.

Вера в верифицируемость фактов, надежность научных процедур, в отстраненную, беспристрастную позицию исследователя, окрылявшая поколение Вильяма Уайта, разбивается о критику последующих методологических работ. Сам концепт факта становится весьма сомнительным и неустойчивым, больше отражает убеждающую речь ученого, нежели его поиски истины (Denzin, 1996). Разделяя позицию о том, что социальная жизнь и ее описание представляют собой не что иное, как социальные конструкты, Норман Дензин предлагает отказаться от привычных объективирующих мир критериев качества — валидности, надежности, нейтральности и самой объективности, в пользу рефлексивности и интерпретативности, построенной на деконструкции претендующих на истину взглядов.

Споры о соотношении факта и вымысла не затихли по сей день. Высказывания Дензина могут вызывать сомнения, желание возразить, оспорить приведенную аргументацию, но в этом и состоит преимущество современного этапа развития качественной методологии, преодолевшей кризис репрезентации конца 1980-х, о котором не раз упоминал Норман Дензин (см., например: Denzin, 1996: 238). Научный дискурс не репрезентирует истину, а создает основания для критики заблуждений.

Важно помнить, что различие между качественной и количественной традициями, позитивизмом и символическим интеракционизмом заключается не в любви или ненависти к цифрам, не в приверженности или критике статистических критериев значимости, а в базовом отношении к фактам, которые для одних есть некоторые наблюдаемые, ввне отстоящие сущности, для других — фигуры дискурса, погруженные в речь обывателя, журналиста или научного сотрудника. Привычное, но уже отошедшее в прошлое деление методологии на количественную и качественную продуцирует разделение труда самих социологов.

Казалось бы, качественные социологи — это те, кто занимается качественной социологией, кто прикован к методологии качественных исследований. Но это не так. Качественная социология, по Норману Дензину, — это отрасль критического взгляда на все формы человеческой деятельности, в том числе реализованной посредством количественного опросного инструментария, анализу которого были посвящены первые работы Дензина (см., например: Denzin, 2017a).

Биография Нормана Кента Дензина линейна и доступна для построения некролога. Доцент социологии, профессор социологии, почетный профессор по коммуникативным наукам. Но научным делает его не перечисление мест работы, научных регалий, правительственных наград или почетных званий. Научность определяется перспективами научного поиска, которые открыл умерший для своих последователей и противников, сделал доступными для критики или поддержки. Я увидел таковых три: развитие соучаствующего формата исследований; символический интеракционизм, переходящий в интерпретативный; социальные проблемы как приоритет социологического исследования. Но перспектив у Дензина куда больше. Попробуйте увидеть те, которые ближе вам, благо для этого есть огромное количество публикаций как самого Нормана Дензина, так и его коллег.

Если научная биография — это основа для понимания текстов исследователя, то научный некролог — это отправная точка для построения его постбиографии. Норман Дензин умер 6 августа 2023 года, но его тексты будут выходить в свет еще много-много лет. Остались друзья, коллеги, остались мысли, посеянные в дискуссионные поля научных дискуссий. И остался завет слушать запутанные истории, принимая их, как и любую реальность, не спрашивая, правдивы они или лживы. Куда важнее, чтобы в приоритете оставались методологические вопросы, желание разобраться в особенностях конструирования знания, привычка подвергать сомнению любые взгляды и доводы, какими бы истинными и безупречными они ни представлялись.

## Литература

Батыгин Г. С. (2003). Ремесло Пауля Лазарсфельда: введение в научную биографию // Социологический журнал. № 2. С. 115–131.



- Дензин Н. К. (2012). Взаимодействие, право и нравственность: вклад Льва Петражицкого / Пер. с англ. А. А. Краевского; под науч. ред. Е. В. Тимошиной // Известия высших учебных заведений. Правоведение. № 5. С. 225–243.
- Миллс Ч. Р. (2001). Социологическое воображение / Пер. с англ. О. А. Оберемко; под общ. ред., предисл. Г. С. Батыгина. М.: Изд. дом NOTA BENE.
- 9/11 in American Culture (2003). Ed. by N. K. Denzin, Y. S. Lincoln. New York: AltaMira Press.
- Denzin N. K. (1977). *Childhood socialization*. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Denzin N. K. (1984). *On understanding of emotion*. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Denzin N. K. (1987a). *The alcoholic self* / Foreword by J. M. Johnson. Newbury Park, CA: Sage.
- Denzin N. K. (1987b). *The recovering alcoholic* / Foreword by J. M. Johnson. Newbury Park, CA: Sage.
- Denzin N. K. (1987c). *Treating alcoholism: An alcoholics anonymous approach*. Newbury Park, CA: Sage.
- Denzin N. K. (1989a). *Interpretive biography*. Newbury Park: Sage.
- Denzin N. K. (1989b). *Interpretive interactionism*. Newbury Park: Sage.
- Denzin N. K. (1992). *Symbolic Interactionism and Cultural Studies: The Politics of Interpretation*. New York, London: Blackwell.
- Denzin N. K. (1996). The facts and fictions of qualitative inquiry // *Qualitative Inquiry*. Vol. 2. No. 2. P. 230–341.
- Denzin N. K. (1997). *Interpretive ethnography: Ethnographic Practices for the 21st Century*. Thousand Oaks: Sage.
- Denzin N. K. (2003). What will we tell the children? // *9/11 in American Culture* / Ed. by N. K. Denzin, Y. S. Lincoln. New York: AltaMira Press. P. 99–100.
- Denzin N. K. (2009). The elephant in the living room: Or extending the conversation about the politics of evidence // *Qualitative Research*. Vol. 9. No. 2. P. 139–160.
- Denzin N. K. (2014). *Interpretive autoethnography*. 2nd ed. London: Sage.
- Denzin N. K. (2016). *The qualitative manifesto: A call to arms*. New York: Routledge. [First published 2010 by Left Coast Press]
- Denzin N. K. (2017a). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods*. New York: Routledge. [1st ed. New York: Aldine, 1970].
- Denzin N. K. (2017b). *Qualitative inquiry under fire: Toward a new paradigm dialogue*. New York: Routledge.
- Denzin N. K. (2023). The elephant in the living room, or extending the conversation about the politics of evidence, part 2 // *The SAGE handbook of qualitative research*. 6th ed. / Ed. By N. K. Denzin, Y. S. Lincoln, M. D. Giardina, G. S. Cannella. Thousand Oaks: Sage. P. 549–566.
- Denzin N. K., Lincoln Y. S. (1995). Editor's introduction // *Qualitative Inquiry*. Vol. 1. No. 2. P. 3–6.
- Handbook of qualitative research*. 5th ed. (2017). / Ed. by Y. S. Lincoln, N. Denzin. Thousand Oaks: Sage. [1st ed. 1994; 2nd ed. 2000; 3rd ed. 2005; 4th ed. 2011]

Handbook of qualitative research. 6th ed. (2023). / Ed. by N. K. Denzin, Y. S. Lincoln, M. D. Giardina, G. S. Cannella. Thousand Oaks: Sage.

*Whyte W. F.* (1993). *Street corner society*. 4th ed. Chicago: University of Chicago Press.

*Whyte W. F.* (1995). *Participant observer: An autobiography*. New York: Cornell University Press.

*Whyte W. F.* (1996a). Qualitative sociology and deconstructionism // *Qualitative Inquiry*. Vol. 2. No. 2. P. 220–226.

*Whyte W. F.* (1996b). Facts, interpretations, and ethics in qualitative inquiry // *Qualitative Inquiry*. Vol. 2. No. 2. P. 242–344.

## Norman Denzin's Truth: an Introduction to the Scientific Obituary

*Dmitry Rogozin*

Candidate of Sociological Sciences, director of the Center for Field Research, Institute of Social Analysis and Forecasting, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration

Address: Prechistenskaya Embankment, 11, bldg. 1, Moscow, 119034, Russia

E-mail: rogozin@ranepa.ru